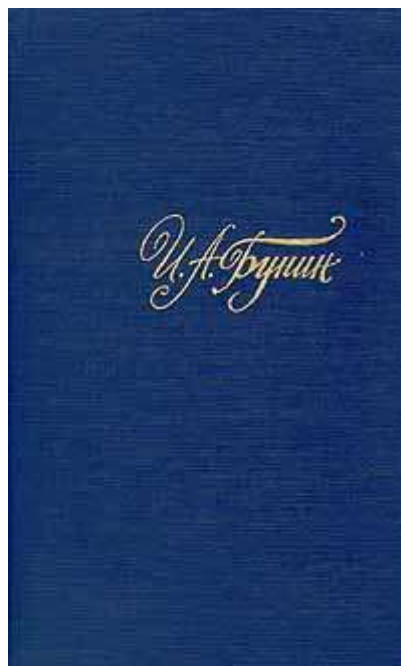


Иван Алексеевич Бунин
Том 2. Тень Птицы. Повести и рассказы 1909-1916

Серия: Собрание сочинений Бунина в четырех томах – 2



Москва, "Правда", 1988;

Аннотация

Во второй том вошли цикл рассказов "Тень птицы" и повести и рассказы 1909–1916 годов.

Иван Алексеевич Бунин
Собрание сочинений в четырех томах
Том 2. Тень Птицы. Повести и рассказы 1909-1916

Тень Птицы

Тень Птицы

I

Второй день в пустынном Черном море. Начало апреля, с утра свежо и облачно. Воздух прозрачен, краски несколько дики.

Стая краснолапых чаек долго провожала нас вчера, долго плыла на тугих острых крыльях, косясь на длинный малахитовый след за кормою. Низкие, плоские берега Новороссии скрылись вчера еще в полдень. Перед вечером скрылись и чайки...

Quoscumque adspicias nihil est nisi pontus et aer...

Сизо-алый закат был холоден и мутен. Огонек, еще при свете заката вспыхнувший на верушке мачты, был печален, как лампада над могилой. Неприятный ветер, крепко дувший по правому борту, рано согнал всех с палуб, и тяжелая черная труба хрипела, распуская по ветру космы дыма. А ночь с мутно-бледной луной и неясными тенями, едва означавшимися от вант и дыма, была еще холоднее...

Шумно и тревожно было вчера утром. С тревожным и радостным чувством спустился я с одесской горы в этот постоянно волнующий меня мир порта – в этот усеянный мачтами город агентств, контор, складов, рельсовых путей, каменного угля, товаров. По жидкой весенней грязи среди сброда босяков и грузчиков-кавказцев с их чалмами из башлыков и орлиными глазами, среди извозчиков, волов, влачащих нагруженные телеги, и жалобно кричащих паровозов, пробрался я к черной громаде нашего переполненного людьми и грузом парохода, вымпела которого, в знак скорого выхода в море, уже трепетали в жидком бледно-голубом небе. И, как всегда, бесконечно долгими казались часы последних торопливых работ, топот ног по сходням, грохот лебедок, проносящих над головами огромные клады, и яростная команда капитанских помощников. Но затихли лебедки, сошли, как серые лошади, рослые жандармы на сорную пристань – и, с грохотом сдвинув с себя сходни, пароход сразу порвал всякую связь с землею. Все ладно заняло на нем свое определенное место – в наступившей тишине, под стеклянное треньканье телеграфа, начался медленный выход в море. Тяжелая корма дрожит, плавно отделяясь от пристани и выбивая из-под себя клубы кипени, чайки жалобно визжат и дерутся над красной рачьей скорлупой в радужных кухонных помоях. С берега, из затихшей черной толпы, и с лодок машут белыми платками. Берег все отходит, уменьшается. По правому борту уже тянется каменная лента мола. Неожиданно выглянуло солнце – и сзади, за трубами и мачтами, резче обозначился город, а впереди, в зеркальных бликах от зеленой качающейся воды, засияла белая маячная башня. Потом и маяк прошел мимо, озарив своим отблеском, бугшприт медленно и неуклонно стал заворачивать к югу, огромной дугой выгнулись широкий клубящийся след винта и черный хвост дыма над ним, солнечный свет и ветер переменяли по бортам места...

Сутки прошли незаметно. Просыпаешься под топот матросов, моющих палубу, с отрадной мыслью, что ночь провел, предавшись воле Божьей, возле тонкой железной стенки, за которой всю ночь шумно переливались волны. Одеваешься возле открытого иллюминатора, в который тянет прохладной свежестью, и с радостью вспоминаешь, что Россия уже за триста миль от тебя... В пути со мною Тезкират Саади, "усладительнейшего из писателей предшествовавших и лучшего из последующих, шейха Саади Ширазского, да будет священна память его!" И вот, в этой свежести утра, весны и моря, я сижу на юте и читаю:

– "Рождение шейха последовало во дни Атабека Саади, сына Зенги...

– Родившись, употребил он тридцать лет на приобретение познаний, тридцать на странствования и тридцать на размышления, созерцание и творчество...

– И так протекли дни Саади, пока не воспарил феникс чистого духа шейха на небо – в пят-

ницу в месяце Шеввале, когда погрузился он, как водолаз, в пучину милосердия Божия...

– Как прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы обозреть Красоту Мира и оставить по себе чекан души своей!

– Много странствовал я в дальних краях земли, – читаю я дальше.

– Я коротал дни с людьми всех народов и срывал по колоску с каждой нивы.

– Ибо лучше ходить босиком, чем в обуви узкой, лучше терпеть все невзгоды пути, чем сидеть дома!

– Ибо на каждую новую весну нужно выбирать и новую любовь: друг, прошлогодний календарь не годится для нового года!"

В круглых сиренево-серых облаках все чаще начинает проглядывать живое небо. Иногда появляется и солнце, – тогда кажется, что кто-то радостно и широко раскрывает ласковые глаза. Мгновенно меняются краски далей, мгновенно оживает море в золотистом, теплом свете...

– "Да, да! Да, да!" – твердит машина, мимо которой твердо прохожу я по чистой, крепкой палубе, убегающей и повышающейся к носу.

Я прохожу среди наставленных друг на друга клеток, переполненных мирно переговаривающимися курами, слышу странный в море запах птичника, останавливаюсь у решетки борта: густым сине-лиловым маслом светит сквозь решетку вода, бегущая навстречу, и с каждым часом, делается все более тяжелой, непохожей на жидкую, желтоватую воду возле берегов Новороссии... Дальше трап, перекинутый над шахтой трюма от спардека к носу. Из шахты глядят крупы лошадей и дымчатых быков, по-деревенски пахнет стойлом, прелым сеном... Потом я стою на носу и смотрю то на острую железную грудь, грубо режущую воду, то на лежащую мачту бугшприта, медленно, но упорно лезущую в голубой склон неба. Вода стекловидными валами разваливается на стороны и бежит назад широкими снежными грядами; глубоко внизу краснеет подводная часть носа, – и вдруг из-под него стрелой вырывается острорылая туша дельфина, за ней другая... и долго-долго мелькают в воде их летящие вперегонки спины. Моему телу живо передается это буйное животное веселье, и вся душа моя содрогается от счастья. Через несколько часов я опять увижу святую Софию. Через несколько дней я буду в Греции. Потом на Ниле, близ Сфинкса... И пойду к Баальбеку, к руинам капища, "воздвигнутого самим Каином в гордости и безумии"...

II

Перед вечером над спардеком появился белый китель грузного старика-командира, против солнца блеснули круглые глаза бинокля; уже открываются на горизонте, в золотистом предвечернем свете, дымчатые силуэты Малоазийских и Балканских предгорий. Хохол, едущий на Афон, старик в огромных сапогах, в коротком сером казакине и с очень маленькой головою, вышел на трап над трюмом и крестится, кланяясь им. По трапу бегут на бак босые, с подвернутыми штанами, матросы. Жадно смотрю вперед – и, наконец, различаю, что предгория, расступаясь, медленно открывают устье Босфора.

Пароход легко режет заштилевшее море и как бы уменьшается, приближаясь к четким линиям вырастающих впереди каменистых, серо-зеленых холмов Азии и Европы.

Вот поднялись справа и слева белые маяки – и потянуло теплом берега и знакомым ароматом каких-то турецких цветов, – прелестным сладковатым ароматом, похожим на аромат сухой трухи в дуплистом дереве.

Затихая, замедляя ход, в блеске отражений от зеркальной воды на красноватых скалах, бесшумно входим в Коваки.

Первые турецкие сады, первые черепичные крыши, первый минарет и первый кипарис...

– Отдай! – ясно слышится в тишине, наступившей на пароходе.

И с грохотом летит вниз стопудовый якорь...

Когда-то я купил в этой стране руин и кладбищ, еще до сих пор именуемой на языке старой Турции "Вратами счастья", несколько лубочных картин. На одной был турецкий богатырь в желтом тюрбане, бьющийся с кентавром Полканом возле ярко-зеленого дуба. На другой – святой город, состоящий из одних мечетей, минаретов и надгробных столбиков. На третьей – караван верблюдов, нагруженный гробами.

"Возвести народам о путешествии к дому святому, дабы приходили они туда из дальних

стран пешком и на быстрых верблюдах", – были начертаны над гробами слова Корана.

Да, они были когда-то, эти святые города. Бьиги благочестивые старцы, отказывавшие по смерти своей все имение свое на нищих, калек и стамбульских собак, завещавшие доставить гроб свой через пустыню в Мекку и восклицавшие перед смертью, подобно Абд-эль-Кадеру, молившемуся в ограде Меккского храма:

– Господи, воскреси меня в день общего восстания слепым, дабы не стыдился я пред лицом праведных!

Были шитые золотом одежды, кривые ятаганы бесценной стали, тюрбаны из багдадских шалей... Но давно уже –

Паук заткал паутиной царские входы,

И ночная сова кричит на башне Афразиба...

Через полчаса пароход снова левиафаном потянулся по извилам Босфора и пошли кругом зеленые холмистые побережья в цветущих садах и могильных кипарисовых рощах, в парках, мраморных дворцах и виллах, в развалинах крепостей и деревянных турецких домишках, тесными уступами нагроможденных среди развалин и зелени... Ветхость, запустение – как странны эти слова для вступающего в Турцию по Босфору! Ветхость – и чудовищные руины Румели-Гисар, ее зубчатых твердынь и допотопной башни, глядящей из Европы в Азию, на красноватые развалины Анатоли-Гисар, от которой когда-то наводил мосты в Европу сам Дарий. Запустение – и роскошь султанских вилл, пороги которых купаются в зелено-голубой воде пролива, эти сплошные сады и селенья, каики из золотой лакированной ясени, устланные бархатными коврами, на которых полулежат щеголи-греки в фесках, турецкие офицеры с меланхолически-прекрасными девичьими глазами или гаремы, закутанные в радужные брусские газы...

Свежеет, и горы и холмы, овеваемые морским воздухом, принимают лиловые тоны. Босфор вьется, холмы впереди смыкаются – кажется, что плывешь по зеркально-опаловым озерам. Но вот эти холмы расступились еще раз, – и медленно принимает нас в свою флотилию великий город. Налево, на холмистых побережьях Малоазийских гор, пестрят в сплошных садах несметные кровли и окна Скутари. Направо, в Европе, громоздится по высокой горе тесная Галата с возвышающейся над ней круглой громадой генуэзской башни Христа. А впереди, на закате, единственный в мире силуэт Стамбула, над которым – копыта минаретов и полусферы на султанских мечетях... При заходящем солнце, в тесноте судов, бригантин, барок и лодок, при стоголосых криках фесок, тюрбанов и шляп, качающихся на зеленой сорной воде вокруг наших высоких бортов, снова кидаем якорь. Ревут вокруг трубы отходящих пароходов, в терцию кричат колесные пакеботы, гудит от топота копыт деревянный мост Султан-Валидэ на Золотом Роге, хлопают бичи, раздаются крики водоносов в толпе, кипящей на набережной Галаты... Оттуда, из товарных складов, возбуждающе пахнет ванилью и рогожами колониальных товаров; с пароходов – смолой, кокосом и зерновым хлебом, сыплющимся в трюмы, от воды, взбудораженной винтами и веслами – огуречной свежестью... Солнце меж тем скрывается за Стамбулом – и багряным глянец загораются стекла в Скутари, мрачно краснеет кипарисовый лес его Великого кладбища, в фиолетовые тоны переходит сизый дымный воздух над рейдом, и возносятся в зеленеющее небо печальные, медленно возрастающие и замирающие голоса муэззинов...

В старых святых городах Ислама для этих вечерних славословий еще до сих пор предпочитают глашатаи-слепые: да не смущает их земная прелесть наступающей ночи! А те, которых Творец не лишил счастья зрения, закрывают в час изана глаза... Закрывают ли глашатаи константинопольские? Голоса их все же звучат великой печалью старины и пустыни. И я вспоминаю пыль и ветхость бревенчатого моста Валидэ, черные деревянные сараи возле него... Вспоминаю сгнившие в труху и почерневшие лачуги Стамбула, его развалины, тихие кофейни и кладбища... Потом гляжу на приземистый купол Софии, в котором есть что-то непередаваемо-древнее, как в куполе синагоги... Вижу, среди запущенного серальского сада, на берегу стамбульского мыса, остатки древних стен Византии и дворца Константина...

– Возвышается София над городом, как корабль на якоре! – говорили когда-то.

Теперь она осела, затерялась среди новых мечетей. Издалека она кажется даже небольшою. Не велик и дворец. Он из серого камня, прост, груб, как крепостная тюрьма, крыша на нем без выступа, окошечки узкие, высоко пробитые... И как чужд он всему – он и София – даже здесь, в старом Стамбуле!

Солнце закатилось, на турецких часах двенадцать – и меня постигает участь, подобная уча-

сти турецких женщин: женщинам нельзя после заката выходить из дому, путешественникам – вступать в город. Но, стоя возле борта и глядя вниз, на лодку афонских монахов, высматривающих, нет ли паломников, которым они дают приют на своих подворьях в Галате, я вдруг замечаю среди них знакомого, проводника-грека Герасима, и радостно кричу ему по-русски, по-гречески и по-арабски:

– Герасиме! Добрый вечер! Калиспера! Меса бель хайр!

Герасим поднимает кверху очки, ищет меня в толпе и не спеша – ему уже за сорок – улучшает среди качки удобный момент, чтобы ухватиться за перила трапа.

Проводник мне не нужен, но не проберешься один после семи часов в город. И Герасим немедленно вступает в свои обязанности.

Бережно несет он под мышкой тяжелый черный зонт, с которым никогда не разлучается, бережно снимает черную шляпу и вытирает ситцевым платком свою большую коротко стриженную, серебристо-сизую голову... Жарко под черной шляпой! Но Герасим является на пароход всегда в шляпе, в бумажных отложенных воротничках и ветхом черном галстуке в виде летучей мыши...

III

Возле какой-нибудь маленькой, полуразвалившейся мечети в Скутари, – в этом старинном хане всех караванов Азии, – на каком-нибудь пыльном базаре, окруженном кофейнями, из которых несет чадом жаровен, облитых кипящим бараньим салом, и пестреют халаты толстых хозяев в больших тюрбанах, не редкость видеть грязно-грифельную грудку верблюда и погонщика в еще большем тюрбане и овчинной куртке. На главной скутарийской улице есть кофейни почище, где так сладко мечтать за чашечкой кофе на длинных диванах в пестром ситце, тихо поглаживая спину кошки и опустив одну ногу в туфле, на пол, а другую, в чулке, поставив на сиденье. В переулках Скутари, среди пекарен, шорных мастерских и лавочек, заваленных медными болванами для глажения фесок, среди облезлых собак, скитающихся по пыли и ослиному помету, в жаркие и нежные дни ранней приморской весны цветут розовыми восковыми свечечками темно-зеленые платаны, из-за древних садовых стен снегом белеют цветущие плодовые деревья, глядит осыпанное кроваво-лиловым цветом голое иудино дерево...

– Селям! – ласково и сдержанно говорят сидящие под деревьями возле кофейен крупные старики в белых и зеленых чалмах, в меховых безрукавках и халатах, отороченных мехом. – Селям! – говорят они подходящим, легко и красиво касаясь груди и лба, и опять замолкают, отдавая дымку нергиле и спокойному созерцанию собак, туристов, ковыляющих женщин, закутанных в розовые и черные фередже, и медленно, важно качающихся на ходу горбунов-верблюдов.

И мне никогда не забыть сладкой, деревенской тишины Скутари, его стен, кладбищ, густых садов, запутанных переулков, где двухэтажные деревянные домики выступают над пешеходными тропинками серыми решетчатыми окнами. Сколько в этой сплошной садовой глуши, называемой Скутари, старых мраморных фонтанов, в хрустальной воде которых моют загорелые ноги странники, благословящие именем Бога и эту воду, и легкую весеннюю тень развесистого дерева над фонтаном, и дремотное жужжание пчел на цветущих абрикосах! Сколько там, в этой глуши, мечетей, на куполах которых растет трава, а внутри воркуют голуби! Сколько кладбищ, затерявшихся между садами, мечетями и стенами, сколько кипарисов с голыми стволами телесного цвета и могильных белых столбиков в чалмах и золотых надписях, где так мирно, ласково и с такой трогательной верой говорится о весенних радостях жизни, о холодных ветрах рока, о соловьях и розах в стране Блаженной!

Не то Галата. Недаром Галату называют помойной ямой Европы, сравнивают с Вавилоном, Содомом.

Среди несметных каиков, стоящих возле потемневших от воды и времени деревянных свай, я выхожу вслед за Герасимом на Галатскую набережную, отдаю паспорт турецкому чиновнику, сидящему в сарае таможи, и вступаю в Галату в тот час, когда замирают призывы муэззинов, день по закону Ислама кончается и лавки должны запираются.

Но какое дело до изана Галате!

По пыльной и ухабистой набережной, заставленной с одной стороны железными боками гигантов с разноцветными знаками на трубах, а с другой – сплошными кофейнями, шумными и

уже ярко освещенными, непрерывно текут навстречу друг другу потоки разноязычного народа. Зеленоватое небо еще светло над темным и четким восточным силуэтом Стамбула, над сиренево-стальной водой и над шестью мачт в Золотом Роге. Но над набережной и над рейдом уже висит опускающийся книзу дым, пыль и сумрак. Между носами и кормами пароходов я вижу темную Скутарийскую гору, засыпанную роями огненно-золотых пчел. Тысячи самоцветных камней – крупных изумрудов, брильянтов и рубинов – рассеяны по кораблям темнеющего рейда. Бледные топовые огни, как лампадки, высоко висят на всех мачтах возле набережной. Но это уже огни ночного отдыха. Совсем другими огнями горят раскрытые настежь окна и двери в галатских домах, в кофейнях, в табачных и фруктовых лавочках, в парикмахерских. Сколько тут этих огней, сколько народа, играющего в кости, в шашки, пьющего виски, мастику, кофе и воду и занявшего своими табуретами, кальянами и столиками половину набережной! От тесноты, от запаха цветов, пыли, сигар и жаровен, на которых уличные повара подшкваривают кофейные зерна, кебаб и лепешки, воздух зноен и душен. Из вторых этажей домов, из освещенных окон несутся звуки граммофонов, дешевых пианино. В толпе, текущей по набережной, раздаются бешено-сиплые басы водоносов, звонкие альты чистильщиков сапог и продавцов газет, сладкие тенора греческих кондитеров, хлопают бичами худые черномазые извозчики в фесках и пыльных пиджаках. И по всем лицам и разноцветным одеждам то и дело легкими гигантскими взмахами проходят светлые столпы прожекторов: один за другим бегут шумные колесные пакеботы, переполненные народом, с загородных гуляний...

IV

Ночь я провожу в одном из афонских подворий, близ набережной Галаты.

Поздним вечером покидаю я набережную и вхожу в узкие проходы между высокими домами.

Окна верхних этажей еще светят, но лавки и склады нижних давно заперты, и в проходах мрак: только бродят кое-где, низко над мостовую, фонарики нищих, выбирающих из уличного сора корки хлеба, окурки, жестянки, бутылки из-под оливкового масла. Поминутно натываюсь на спящих собак, на сторожей, звонко бьющих на ходу железными дубинками в мостовую, на огоньки сигар, на разговоры мелькающих мимо матросов и других ночных гуляк. Из освещенных окон тоже слышится говор и смех или прыгающие звуки шарманок с позвонками... Но дом подворья тих и темен.

Привратник, спящий в прохладных сенях, за тяжелыми полукруглыми дверями, не спеша отворяет – и, вместе с темнотою, меня охватывает запах плесени, сырости.

Тот же запах и в гулких каменных коридорах, по которым, со свечой в руке, бежит впереди меня молодой монах в мужицких сапогах, в черном подряснике и черной вязаной шапке, рябой, с бирюзовыми живыми глазами, с торопливо-услужливыми движениями.

В высоком номере, крашенном масляной краской, очень чисто, кровать покрыта грубым, но свежим бельем. Быстро раздеваюсь, тушу свечу и засыпаю среди криков, несущихся с улицы, стука сторожей, говора проходящих под окнами и нескладной, страстно-радостной и в то же время страстно-скорбной восточной музыки, прыгающей в лад с позвонками.

Утром вскакиваю очень рано от свежести, плывущей в окно с моря, от звона колокола в верхнем этаже подворья. И, одеваясь, вижу в окно вымпела за домами, а внизу – узкую улицу, еще влажную, в прохладной тени, но уже полную деревенскими бараньими шапками погонщиков и целыми стадами ослов, на которых качаются корзины дров, овощей и сыра... Слава богу, день солнечный – я опять увижу Ая-Софию в солнечное весеннее утро!

Герасим стоит возле подворья и рассеянно болтает с монахами, поминутно пожимая, по южному обычаю, плечом. Сегодня он в старом картузике с пуговкой, но зонт, который никогда не раскрывается, опять с ним.

Обмениваемся улыбками и пускаемся в путь.

Из окон тянет воню оливкового масла, в котором шкварят рыбу, летят на улицу помои и слышится бранчивая скороговорка гречанок. Дурачок в лохмотьях и в двух рваных шляпах, криво надетых одна на другую, со всех ног бросается мимо меня в стаю соловых шелудивых собак и, отбив у них тухлое яйцо, с жадностью выпивает его, дико косясь на проходящих бельмом красного глаза. Сплошная волнующаяся масса черных баранов, мелко перебирающих копытца-

ми, теснится под азартные крики чабана, а среди них, на худенькой лошадке, на деревянном седле, опутанном веревками, пробирается старик-турок, лопоухий, лилово-бурый от загара, в тюрбане и бараньей куртке, с седыми курчавыми волосами на раскрытой груди. За ним бежит и на бегу орет диким голосом босоногий водонос с мокрым сизым бурдюком на спине. Дальше идут длинноухие, задумчивые ослики под корзинами с мусором и кирпичами, тяжело и быстро семенил носильщик-армянин, согнувшийся в три погибели под огромным зеркальным шкапом, от которого по домам мелькают веселые блики солнца. Ковыляют на французских каблучках две толстеньких турчанки, с головой закутанные в фередже цвета засушенной розы.

"Лица их, – думаю я словами Корана, – похожи на яйца страуса, сохраненные в песке".

Но приподнялось как будто случайно покрывало – и я убеждаюсь, что прав Саади:

"Не всякая раковина беременна жемчугом".

Зато сколько красивых, умных и энергичных мужских лиц, особенно среди турок из простонародья, из провинций, с берегов моря! Сколько гордых и приветливых глаз!

Переулки между этими высокими домами возле набережной похожи на переулки в порту Генуи, Марселя. "Сюда, сюда!" – говорит Герасим, в десятый раз поворачивая за угол. И вот опять пахнуло ванилью, рогожами, арбузной свежестью зелено-голубой воды, – и в глаза глянули ослепительное солнце, голубой простор рейда, крылья белых рыбалок, мачты барок, черные с разноцветными полосами трубы, белая башня Леандра у берегов Скутари... Опять хлопают бичами извозчики, опять в быстро текущей толпе кричат газетчики, водоносы с кувшинами розовых напитков, продавцы бубликов и приторно-сладких греческих печений, насквозь пропитанных ореховым маслом... И не успеваю я сесть на крохотный табуретик возле кофейни, жарко нагретый солнцем, как лиловый арабчонок в одной синей женской рубашке уже тянет мой сапог на скамеечку, расцвеченную фольгой, жестью, медными гвоздиками.

– Рух! – говорю я сердито.

Но в это время надо мной раздается оглушительный бас:

– Газо-ос! – орет он, удаляясь.

И мой сосед справа, миловидный турецкий офицер в малиновой феске, в синем мундире с иголки и с блестящим медным полумесяцем на груди, скромно улыбается, а сосед слева, черный старик в белом халате и белой чалме, в больших желто-зеленых очках, без носа, с голой верхней губой в лиловых швах, важно поднимает свою мертвую голову, булькая кальяном.

И я покорюсь арабчонку.

В это жаркое солнечное утро все хорошо: и блеск сапога, и новенький мундир офицера, и стакан воды с розой, который быстро ставит передо мною молодой кафеджи.

Потом мы покупаем каких-то желтых сладко-пахучих цветов у ласкового турка, сидящего на корточках возле своей корзины, поставленной прямо на мостовую, и по дрожащим от топота копыт бревнам моста Валидэ спешим в густой толпе в Стамбул.

Уже становится жарко, запылились наши расчищенные сапоги, яркой бирюзой сквозит вода в щели моста, ярко и нежно зеленеют на горе Стамбула сады, с горячим шумом отходят от моста пакеботы, обдавая бегущую толпу теплым белым дымом... Опять маскарад, но еще более пестрый и праздничный, чем вчера! И дружно мешает этот маскарад венские сюртуки с рыжими верблюжьими куртками, панамы с бараньими папахами, светлоглазого англичанина с сизыми бедуинами, гиганта-черногорца в белом шерстяном наряде, шитом золотом и обремененном оружием, с худосочным польским евреем, коричневую рясу францисканца с негром, сестру-кармелитку с китайцем с неподвижной головой, с черной косой до пят и в лиловой кофте... Все это льется от Султан-Валидэ к самому людному месту Галаты – к углу набережной, к бирже и столикам уличных менял, и от биржи – к Султан-Валидэ, где останавливаются вагоны конки, где вечная теснота фиакров, разносчиков, цветочников, нищих, полуголых прокаженных, сидящих на мостовой, и теснота базаров, заваленных коврами, оружием, медной посудой, сырами, зеленью, шафраном, сбруей, фруктами и туфлями – сотнями связок лиловых, канареечных, черных и оливковых туфель, висящих на стенах подобно сушеной рыбе на шнурах.

Здесь, на маленькой площади, всегда тень и влажная прохлада под стенами мечети, где, у фонтана возле портала, проходящие, сидя на корточках, торопливо и таинственно совершают омовения среди солого-грязных короткошерстных собак. Дальше, возле кофейен и за старыми стенами, ярко зеленеют деревья. Чем дальше мы поднимаемся по улице, идущей слегка в гору, влево, тем все тише и безлюднее становится вокруг. И уже совершенное безлюдье царит у высоких

ворот Старого Серая, при входе в его запущенные сады и широкие дворы, заросшие травой и белеющие обломками греческих колонн, статуй и надгробных плит.

Герасим косится и мистически шепчет:

– Смотри, смотри, с крестом!

За внутренними стенами Серая, охраняющими покои, недоступные для европейца, расцветают под надзором евнухов те редкие цветы девичьей красоты, которые ежегодно дарит, по древнему обычаю, Турция своему повелителю. И весенней прелестью веет незримое присутствие этих юных затворниц в садах Серая, где зеленая трава пробивается из древней земли, красный мак светит среди обломков мрамора и белым и розовым цветом цветут чащи деревьев в оврагах возле Старого Музея, облицованного лазурными фаянсами, пригретого жарким солнцем под бальзамически благоухающими кипарисами. В мире, в котором я существую, нынче весеннее утро, здесь – тишина, узорчатые тени, пение птиц и незримое присутствие девушек за стенами мертвых дворцов. Я заглядываю в их ворота, в аллею платанов за воротами, выходя на горячий солнечный свет, на зеленый Двор Янычар. Древний дуплистый Платан Янычар дремлет на припеке возле тысячелетней св. Ирины, давно обветшалой и обращенной в склады старого оружия. Но когда мы выходим мимо Ирины в другие ворота Серая, к обрыву мыса, нас охватывает свежесть моря – и снега: в блеске солнца, в золотисто-голубой дымке тонет зыбкий простор Пропонтиды, миражем означаются силуэты Принцевых островов и заступивших горизонт Малоазийских гор – там смутно рисуется в небе что-то мертвенное, некое подобие неподвижного облака.

– Олимп! – говорит Герасим.

Я навожу морской бинокль – и различаю блестящие пустыни снежных полей Олимпа, его теснины, полные утренних фиолетовых теней, и мне кажется, что на меня тянет оттуда зимним холодом.

А когда я оборачиваюсь, я вижу на яркой густой синеве бледно-желтую с красными полосами громаду Ая-Софии: громаду неуклюжую, выходящую из циклопических каменных подпорок и пристроек, над которыми, в каменном кольце окон, царит одно из чудес земли – древнеприземистый, первобытно-простой, огромный и единственный на земле по легкости полушаркупол. И четыре стража этой грубой громады, скрывающей в недрах своих сокровища искусства и роскоши, четыре белых минарета исполинскими копьями возносятся по углам ее в синюю глубину неба.

– Где вход? – говорю я.

Я опять не сразу нашел бы его, но Герасим уже идет в какой-то узенький переулок, где на солнце пахнет сухими нечистотами, потом поворачивает в другой и по отлогому спуску, мощенному камнем, мы подходим к боковому порталу, завешенному тяжелой завесой из буйволовьих кож.

Дико это, первобытно, но как хорошо! Нравится мне и обычай надевать, входя, туфли: так когда-то у входа в святилище оставляли пыльные сандалии...

Сумрак, холод и величавая громадность капища охватывают меня в тройном портале. А когда я вступаю в храм, пигмеями кажутся среди его необъятного простора и необъятной высоты фигурки молящихся – сидящих на огромной площади ухабистого от землетрясений мраморного пола, сплошь покрытого золотистыми скользкими циновками из тростника. Шестьдесят окон пробили купол, и никогда мне не забыть радостного солнечного света, который столпами озаряет из этой опрокинутой чаши всю середину храма! И светлая, безмятежная тишина, чуждая всему миру, царит кругом, тишина, нарушаемая только плеском и свистом голубиных крыльев в куполе, да певучими, печально-задумчивыми возгласами молящихся, гулко и музыкально замирающими среди высоты и простора, среди древних стен, в которых немало скрыто пустых амфор-голосников. Первобытны эти милые голуби, их известковый помет, падающий с высоты на циновки. Первобытно-просты огромные железные люстры, низко висящие над циновками на железных цепях. Величава и сумрачна окраска исполинских стен, шершаво полинявшее золото сводов. Капищем веет от колонн, мутно-красных, мутно-малахитовых и голубовато-желтых. Таинственностью капища исполнены и призраки мертвых византийских мозаик, просвечивающих сквозь белила, которыми покрыли их турки. Жутки чуть видные лики апокалиптических шестикрылых серафимов в углах боковых сводов. Строги фигуры святых в выгибах алтарной стены. И почти страшен возвышающийся среди них образ Спасителя, этот тысячелетний хозяин храма, по

преданию, ежегодно проступающий сквозь ежегодную закраску...

Чувствуя и себя пигмеем, тихо брожу я среди этой высоты и простора. Надо мной – светоносный купол, горячее солнце золотистым потоком льется на меня сверху. А налево и направо – два яруса хор. По отлогим каменным всходам туда могли въезжать из пропилии две колесницы. Две колесницы могли разъехаться и на тяжелых хорах, мраморные плиты которых покосились от землетрясения. И как легко держат эту тяжесть два яруса аркад и колонн!

Не знаю путешественника, не укорившего турок за то, что они оголили храм, лишили его изваяний, картин, мозаик. Но турецкая простота, нагота Софии возвращает меня к началу Ислама, рожденного в пустыне. И с первобытной простотой, босыми входят сюда молящиеся, – входят когда кому вздумается, ибо всегда и для всех открыты двери мечети. С древней доверчивостью, с поднятым к небу лицом и с поднятыми открытыми ладонями обращают они свои мольбы к Богу в этом светоносном и тихом храме:

Во имя Бога, милосердного и милостивого!

Хвала ему, властителю вселенной!

Владыке Дня Суда и Воздаяния!

Но велик и непостижим Владыка – и вот покорно падают руки вдоль тела, а голова на грудь. И еще покорнее отдаются эти руки в узы его, соединясь после падения под грудью, и быстро и бесшумно начинает вслед за этим падать человек на колени и касаться челом праха. И тайные мольбы и славословия падающего ниц человека со всех концов мира несутся всегда к единому месту: к святому городу, к ветхозаветному камню в пустыне Измаила и Агари...

Медленно подвигаемся мы в боковых проходах за колоннами, шмыгая туфлями по скользким циновкам. Потом шмыгаем по еще более скользкому мрамору пропилии, где девять огромных и тяжелых бронзовых дверей – все в один ряд – еще хранят рельефы византийских крестов. Потом поднимаемся по широким отлогим всходам на хоры, и с высоты я еще раз наслаждаюсь головокружительной бездной этого капища и маленькими фигурками сидящих глубоко подо мною, на полу, в широком столпе света, падающего из купола. А из древней амбразуры открытого окна снова тянет на меня теплом солнечного света и свежестью снега. Я подхожу – и ласковый ветер ударяет мне в лицо, розовая голубка срывается с подоконника в простор весеннего воздуха... И опять развертывается предо мною зыбкая синева Мраморного моря, блеск солнца, лилово-пепельные силуэты горных вершин и мертвенно-белое облако Малоазийского Олимпа...

V

На мраморной паперти Софии, когда мы покидаем ее, лежит деревенский нищий в лохмотьях овчины, темный, как мумия, с большими оттопыренными ушами и потухшими глазами.

– Бакшиш! – жалобно говорит он старческим отдаленным голосом, и правая рука его несмело касается сердца, губ и лба.

Но в его левой руке деревянная мисочка с вареным рисом – и просьба о милостыне звучит безжизненно: Бог уже послал ему дневное пропитание, в остальном он не нуждается.

Со двора выходим на Атмейдан, славный когда-то по всему миру Ипподром Византии. Слева Атмейдан замыкается одной из великолепнейших султанских мечетей – колоссальной белой мечетью Ахмедие, окруженной платанами и шестью исполинскими минаретами. Но, боже, чем замыкается площадь с других сторон! Ветхие бревенчатые хибарки под черепицей, старозаветные кофейни, полузасохшие акации. Ипподром теперь пуст и пылен, и печально стоят на нем в ямах, обнесенных решетками, три памятника великой древности: обелиск розового гранита, когда-то стороживший вход в храм Солнца в Гелиополе, грубая каменная колонна Константина Багрянородного и бронзовая, позеленевшая Змеиная колонна – три перевившихся и вставших на хвосты змеи: "слава Дельфийского капища".

Большая улица Стамбула, по которой мы возвращаемся в Галату, вид имеет милый, южный: много солнца, акаций, турецких таверн, где всегда так весело от чистоты мраморных столиков, цветов на них и приветливости хозяина в белом фартуке и феске... Весел даже надгробный павильон султана Махмута – большой киоск под вековыми деревьями, за высокой решеткой, отделяющей его от тротуара.

– Султану везде хорошо! – улыбается и вздыхает Герасим.

Густая толпа в перепутанных вонючих переулочках, в которые мы вступаем затем, кажется

еще пестрее и крикливей от зноя и духоты. Хорошо еще, что на пути Голубиная мечеть Баязета и крытые ряды Чарши, Большого базара!

Двор мечети пленителен своей патриархальностью. Ограждает его сквозная мавританская аркада, посреди его – фонтан, платаны, отдыхающие странники, нищие, тысячи голубей, а кругом – целый базар четок, которыми, сидя на коврах, торгуют старые-престарые обезьяны в тюрбанах. Прохожие покупают тут и пшено, кидают его в воздух – и тогда весь двор превращается на минуту в живой, свистящий, дрожащий несметными крыльями, дети начинают прыгать и на все лады вопить:

– Бакшиш! Бакшиш!

В полутемном крытом лабиринте Чарши тоже вопят – по-турецки, по-армянски, по-гречески, по-французски – и хватают за руки, завлекая в лавки; но отрадная прохлада спокон веку царит в этих сводчатых коридорах, пряно пахучих и вместивших в себя, кажется, все, что есть на базарах Востока.

Все же шумней и пестрей Галаты нет ничего на свете!

Улица, ведущая в гору, к Пере, полита, но политая и уже согревшаяся пыль только увеличивает духоту. Яркие белые маркизы над окнами магазинов, яркие красные лоскуты – вывески с полумесяцем и арабскими письменами... И ослепительно ярка синяя лента неба над толпой и коридором домов... Во имя Бога милостивого, хоть бы здесь-то, по улице, ведущей в европейскую Перу, не пускали верблюдов! Но нет, араб-полицейский, в коротком синем мундире и в феске, совершенно равнодушно смотрит на эту горбатую грудку, шагающую среди толпы за боконогим проводником.

Зато как прохладно в жерле башни Христа!

Сладок среди вони и плесени базарных улиц, среди чада простонародных таверн и пекарен, свежий запах овощей и лимонов, но еще слаще после галатской духоты чистый морской воздух. Медленно поднимаемся мы по темным лестницам возле стен башни, достигаем ее круглой вышки – и выходим на каменный покатый балкон, кольцом охватывающий вышку и огражденный железными перилами. Легкое головокружение туманит меня при взгляде в бездну подо мною, раскрывается в ней целая необозримая страна, занятая городами, морями и таинственными хребтами Малоазийских гор – страна, на которую пала "тень Птицы Хумай".

Кто знает, что такое птица Хумай? О ней говорит Саади:

"Нет жаждущих приюта под тенью совы, хотя бы птица Хумай и не существовала на свете!"

И комментаторы Саади поясняют, что это – легендарная птица и что тень ее приносит всему, на что она падает, царственность и бессмертие.

Песню Песней, чудом чудес, столицей земли называли город Константина греческие летописцы. Молва всего мира объясняла его происхождение Божественным вмешательством. Одна легенда говорит, что на месте Византии орел Зевса уронил сердце жертвенного быка. Другая – что основателю ее было повелено основать город знамением креста, явившимся в облаках над скутарийскими холмами, "при слиянии водных путей и путей караванных". Но восточный поэт сказал не хуже: "Здесь пала тень Птицы Хумай".

В двух шагах от меня, возле этой башни, еще и доныне совершаются мучительно-сладостные мистерии Кружащихся Дервишей.

Их монастырь затерялся теперь среди высоких европейских домов. Несколько лет тому назад, в один из таких же жарких весенних дней, Герасим привел меня к его старой каменной ограде, и мы вошли, вместе с другими «франками», в небольшой каменный двор.

Помню фонтан и старое зеленое дерево посреди его, направо – гробницы шейхов-настоятелей, налево – кельи в ветхом деревянном доме под черепицей, а против входа – деревянную мечеть.

Мы отдали несколько мелких монет, и нас впустили в восьмигранный высокий зал, обведенный с трех сторон хорами и украшенный только сурами Корана.

На хорах, над входом, поместились музыканты с длинными флейтами и барабанами, по бокам – зрители.

Когда наступила тишина, вошел шейх-настоятель, а за ним десятка два дервишей – все босые, в коричневых мантиях, в войлочных черепенниках, с опущенными ресницами, с руками, смиренно сложенными на груди.

Шейх сел у стены против входа, разделившиеся дервиши – по сторонам, друг против друга.

Шейх, медленно повышая жалобный, строгий и печальный голос, начал молитву, флейты внезапно подхватили ее на верхней страстной ноте – и в тот же миг, столь же внезапно и страстно, дервиши ударили ладонями в пол с криком во славу Бога, откинулись назад – и снова ударили.

И вдруг все замерли, встали – и, сложив на груди руки, двинулись гуськом за шейхом вокруг зала, обертываясь и низко кланяясь друг другу возле его места.

Кончив же поклоны, быстро скинули мантии, остались в белых юбках и белых кофтах с длинными широкими рукавами – и закружились в танце: взвизгнула флейта, бухнул барабан – и дервиши стали подбегать с поклоном к шейху, как мяч, отпрыдывать от него и, раскинув руки, волчком пускаться по залу.

И скоро весь зал наполнился белыми вихрями с раскинутыми руками и раздувшимися в колокол юбками.

И по мере того как все выше и выше поднимались голоса флейт, жалобная печаль которых уже перешла в упоение этой печалью, все быстрее неслись по залу белые кресты-вихри, все бледнее становились лица, склонявшиеся набок, все туже надувались юбки и все крепче топал ногою шейх: приближалось страшное и сладчайшее "исчезновение в Боге и вечности"...

Теперь, на башне Христа, я переживаю нечто подобное тому, что пережил у дервишей. Теплый, сильный ветер гудит за мною в вышке, пространство точно плывет подо мною, туманно-голубая даль тянет в бесконечность... Этот вихрь вокруг шейха зародился там, в этой дали: в мистериях индусов, в таинствах огнепоклонников, в «расплавке» и «опьянении» суфийства с его мистическим языком, в котором под вином и хмелем разумелось упоение божеством. И опять мне вспоминаются слова Саади, "употребившего жизнь свою на то, чтобы обозреть Красоту Мира":

"Ты, который некогда пройдешь по могиле поэта, вспомни поэта добрым словом!

– Он отдал сердце земле, хотя и кружился по свету, как ветер, который, после смерти поэта, разнес по вселенной благоухание цветника его сердца.

– Ибо он всходил на башни Маана, Созерцания, и слышал Симаа, Музыку Мира, влекшую в халет, веселие.

– Целый мир полон этим веселием, танцем – ужели одни мы не чувствуем его вина?

– Хмельной верблюд легче несет свой вьюк. Он, при звуках арабской песни, приходит в восторг. Как же назвать человека, не чувствующего этого восторга?

– Он осел, сухое полено".

1907

Море богов

I

Когда подняли якорь, в толпу на спардеке вошли молодые, французы. И, заглядевшись на них, я не заметил, как поплыли кровли и купола Стамбула.

По глянцевиной мраморно-голубой воде черными кругами, показывая перо, шли дельфины. Утренние пары таяли в тепле и свете, но даль еще терялась в матовом тумане.

За мысом дорогу перерезал колесный пакебот, переполненный фесками, и, мелькнув, обдал теплым дымом. Старые стены дворца Константина и цветущие сады Сералея дремали, пригретые солнцем. В оврагах алело искривленное иудино дерево. Бледно-розовые минареты Софии уносились в небо...

Извиваясь, протянулись, вслед за Сералем, стены Феодосия, полчища кипарисов в Полях Мертвых... Стены кончились руиной Семибашенного замка... И сиренево-серый очерк Стамбула стал уменьшаться и таять. Справа шли обрывы плоского побережья, цвета пемзы. А налево, до нежно-туманной сини Принцевых островов, и впереди, до еще более туманных гор Азии, все шире разбегались сияющие среди утреннего пара заливы. Над их необозримой гладью кое-где висели дымки невидных пароходов...

Нижние палубы, заваленные грузом в Пирей и Александрию, наполняли фески и

верблюжьи куртки, ласково-застенчивые улыбки и блестящие зубы, карие глаза и гортанный говор. Белыми коконами сидели на коврах закутанные женщины. Мечтательно играли четками хаджи в чалмах и халатах. Пели, пили мастику, страстно спорили и бились в кости греки, похожие на плохеньких итальянцев. Седобородый еврей в люстриновом пальто, в черной непрямой шляпе на затылок, с пейсами и поднятыми бровями, ел, уединенно сидя на крышке трюма, маслины с белым хлебом и обсасывал пальцы. В проходах несло кухонным чадом, теплом из стальной утробы мерно работающей машины, бегали белые повара с помоями. Наверху было чисто, просторно и солнечно.

Надо было надвигать на глаза фуражку, глядя на ослепительный блеск под левым бортом. За этим блеском расстилались и как будто наклонно скользили вдаль, в чуть видной Азии, зеркала Кианского залива. В миле, в полумиле от нас проходили итальянские и греческие грузовики с низкими бортами и голыми мачтами. Медленно, стройно и плавно тянулись в Стамбул, раскинувшись по всему морю, парусные барки. Одна бригантина прошла так близко, что вся закачалась и закланялась, попав в волну от парохода, и ярко озарила нас парусами. Под их серебристой тенью бежал загорелый человек в полосатой фуфайке. А зеленый хрусталь под бригантинной был так прозрачен, что видно было все дно ее.

Ют загромождали тюки прессованного сена. Матросы натягивали над ними тент. Близился полдень, и в проходах между сеном уже стоял жаркий сладковатый запах степи.

За завтраком в кают-компании открыли все иллюминаторы. По белому низкому потолку переливались зеркальные змеи, отраженные из-под левого борта водою и солнцем.

Часа в два слева заголубели каменистые побережья древней Фригии. Близко прошла дикая горбина острова Марморя, и было весело смотреть на его блиставшие над водой обрывы, на сероватую зелень, покрывавшую его ребра и скаты, на белые точки какого-то селенья, рассыпанного в одной из его впадин.

Очень близко прошел перед вечером и Галлиполи, желтевший на пустынных обрывах справа.

В темноте, усеянной зоркими огнями, осторожно пропустила нас теснина Дарданелл.

II

Троя, Скамандр, Холмы Ахиллеса – сколько прелести в этих звуках! Равнина Скамандра серебрилась в эту ночь легким туманом и печальным лунным светом. Я видел ее смутно... Но это была уже Греция.

Шерстяная вишневая занавеска на открытом иллюминаторе в моей каюте стала утром, против солнца, прозрачно-красной. Сладкий ветер ходил по каюте. Быстро одевшись, я выбежал на недавно вымытую, еще темную палубу.

Был опять тонкий пар, полный блеска, легкий, влажный воздух. Но море было уже не то. Это было густое сине-лиловое масло. И впереди и влево по его равнине таяли в светлой дымке фиолетовые силуэты Архипелага. А направо тянулись зелено-сиреневые горы: Эвбея.

И все утро выгибалась мимо нас эта каменистая страна, вся в складках, как кожа бегемота. А позднее, когда солнце уже жгло плечи и я с изумлением глядел на это горящее масло, лизавшее пароход и порою плескавшее языками бирюзового пламени, открылись, наконец, "пустынные горы" Гимета.

По мертвенно-белым волооким статуям, по тысячелетним толкам о вакханках и дриадах, о богах и празднествах с цветами и хорами, – как будто в древней Греции только и делали, что праздновали, – тысячи тысяч людей рисуют себе какой-то пошлый элизиум вместо этой каменистой, сухой страны. Каков-то Акрополь? Все бинокли искали его, греки с юта с азартом тыкали пальцами вдаль. И вот нашел, наконец, я нечто смутно-желтевшее на каменистом холме, одиноко стоящем за морем крыш в долине, – нечто вроде небольшой дикой крепости. И, взглянув на этот голый холм пелазгов, впервые в жизни всем существом своим ощутил я *древность*.

В Пирсе, где в жаркий полдень мы бросили якорь, нас окружили гиды, комиссионеры отелей... Маленький быстрый поезд в полчаса доставил нас в Афины. По ослепительно-белым улицам еду я, выйдя из вагона. Высоко сидит на козлах кучер в соломенной шляпе, хлопая бичом над парой резвых кляч в дышле. Яркая лента неба льется над коридором улицы с белой мостовой и запыленными кипарисами, вытянувшимися между домами. Даже и в тени чувствуешь и ви-

дишь, как прозрачен сухой жаркий воздух. Спущены зеленые жалюзи на окнах, спущены маркизы над витринами. Быстро выезжаем, миновав площадь, королевский дворец и предместье, на меловое шоссе, – и этот холм пелазгов с руинами храмов поражает меня своей золотистой желтизной и наготой. Громадная подкова гор, громадная долина, а среди долины одиноко высится желто-каменный пик холма, воедино слитый двадцатипятивековой древностью с голым остовом Акрополя, – останками стен, колоннад и порталов. Зной и ветер давно обожгли кости этой чуждой и уже непонятной нам жизни. Медленно тянут лошади по мелу, хрустит щебень шоссе, кольцом охватившего холм и поднимающегося все в гору, – со всех сторон оглядываю я загорелый камень стен Акрополя и его желобчатых колонн... Наконец, коляска останавливается как раз против входа в гранитной стене, за которым широкая лестница из лоснящегося мрамора поднимается к Пропилеям и Парфенону... И на мгновение я теряюсь... Боже, как все это просто, старо и прекрасно!. Налево, в сквозной тени маслин, стоит другая коляска. Высокий, очень прямой человек с биноклем через плечо, в сером костюме и тропическом шлеме, и высокая худая женщина, тоже в сером шлеме, в фильдекосовых перчатках, с длинной тонкой палочкой в одной руке и с книжкой в другой, направляются ко входу. Но даже и эти спокойнейшие люди изумленно смотрят круглыми глазами на то, что блещет перед нами золотыми руинами в жарком синем небе, на то, что так божественно-легко и стройно громоздится на гранитных укреплениях, вросших в темя этого "Алтаря Солнца". Они входят, поднимаются по лестнице, делаются маленькими среди колонн, уцелевших от Пропилей... Я тоже иду и смотрю... Но я уже все видел!

Я иду, но души древности, создавшей все это, я коснулся еще с парохода. А божественное совершенство Акрополя раскрывает один взгляд на него.

Вот я поднялся по скользким плитам к Пропилеям и храму Победы. Я теряюсь в беспредельном пространстве Эгейского моря и вижу отсюда и маленький порт в Пирее, и бесконечно-далекие силуэты каких-то голубых островов, и Саламин, и Эгину. А когда я оборачиваюсь, меня озаряет сине-лиловый пламень неба, налитого между руинами храмов, между золотисто-обожженным мрамором колоннад и капителей, между желобчатыми столпами такой красоты, мощи и стройности, пред которыми слово бессильно. Я вступаю в громаду раскрытого Парфенона, вижу скользкие мраморные плиты, легкий мак в их расселинах... Что иное, кроме неба и солнца, могло создать все это? Какой воздух, кроме воздуха Архипелага, мог сохранить в такой чистоте этот мрамор? Глыбам гранита и мрамора, кряжам каменистых гор, накаленных зноем, поклонялись древнейшие греческие племена. "Амфион, древнейший из поэтов, извлекал из лиры столь сладкие звуки, что вечный мрамор, в котором заключена высшая чистота земли, сам стал складываться в колоннады, стены и ступени". А Гомер изваял образы богов-людей: ведь Эллада "только устами поэтов и философов" созидала пантеоны и культы. И "уста поэтов" высшей религией признали красоту, высшим загробным блаженством – Элизиум, "от века не знавший тьмы и холода", высшей загробной мукой – лишение света...

"Бог – жизнь, свет и красота", – сказал народ, населивший землю в этом "прелестнейшем из морей". – "Бог – это мое тело", – сказал он, возмужав и забыв, что земля его, как и всюду, щедро насыщается кровью и что смерть, как и всюду, разрушает на его земле плотскую радость. "Я завоевал высшую мудрость", – сказал он – и отлил свои завоеванья в мрамор – воздвиг "Алтарь Возврата", как Александр на границах Индии. И чтобы не слышать о новых завоеваниях, умертил Сократа. Но дух искал и жаждал. Александр, снедаемый этой жаждой, раздвинул пределы земли, смешал народы и, возвратясь, сказал: "Мир бесконечен, и Бог тысячник. Я поклонялся всем ликам; но истинный – неведом. Иудея говорит, что лик его – мощь и пламя гнева; Египет, что лик его – Солнце в лике Сфинкса и Ястреба. Но Иудея – это горячее Мертвое море, Египет – могила в пустыне: он тоже свершил свой путь – от поклонения вечно возрождающемуся "сыну Солнца", Гору, до своего Алтаря Возврата – до Великой пирамиды. И храмы Солнца ныне пусты и безмолвны". Тогда Греция снова послала поэтов в философов искать Бога. И они пошли в Сирию и Александрию – и среди смешавшегося человечества зачалось смутное и радостное предчувствие нового рассвета. Впервые случилось, что завоеватель мира не дерзнул покорить мир богу своей нации. И всемирная монархия, смешав человечество, распалась. Человечество пресытилось кровью, землею и смертью – и возжаждало братства, неба, бессмертия. И когда, наконец, снова взошло Солнце, "Радуйся! – сказал миру ясный голос. – Нет более ни рабов, ни царей, ни жрецов, ни богов, ни отечества, ни смерти. Я – египтянин, иудей и эллин, я сын земли и духа. Дух животворит и роднит все сущее: и лилии полевые, и птицы небесные, и Соломона в славе

его, и раба Соломона. Сила и жизнь его так велики во мне, что вот я полагаю руку мою на голову умирающего – и слышу, как трепетно исходит из меня любовь и жизнь. На Фаворе, в росистое солнечное утро, мир, в блеске и голубых туманах лежащий подо мною, наполняет мою душу таким восторгом, светом отца моего, что лицо мое повергает на землю братьев моих..."

III

На предвечернее солнце было больно смотреть, когда я возвращался на рейд. Зеркальные отражения струились, переливались по нагретому за день борту. Медные ободки открытых иллюминаторов искрились. Лебедки уже затихли, трюмы были нагружены и закрыты... Потом заревела, сотрясая все палубы, труба и забурил винт...

В несказанной пышности и нежности червонной пыли и воздушно-фиолетовых вулканов пламенело солнце за беспредельным Эгинским заливом, из которого мы уходили от Акрополя к югу. Потом оно сразу потеряло весь свой блеск, стало огромным малиновым диском, стало меркнуть – и скрылось. Тогда в золотисто-бирюзовую глубину небосклона высоко поднялись дымчато-аметистовые радиусы. Но на острова и на горы за заливом уже пал вечерний пепел, а все необозримое пространство заштилевшего моря внезапно покрыла мертвенная, малахитовая бледность. Я стоял на юте, облокотясь на решетку борта, и смотрел то на этот малахит, то на запад. Вдруг по кораблю там и сям тепло и весело вспыхнуло электричество. На минуту оно отвлекло меня, а когда я снова взглянул на запад, его уже настигла тьма южной ночи.

Скоро в ней потонули и море и небо. Но вот за бортом стал реять слабый таинственный свет – темно-лиловый полукруг моря, явственно отделившийся от более легкого неба, как бы задымился водным светом.

– Миль десять идем? – спросил я забелевшего в сумраке матроса, по шороху за бортом угадывая ровный полный ход.

– Миль тринадцать идем...

И по тому, как мелькали навстречу мне, когда я пошел на бак, горбы волн, полных дымившегося фосфора, видно было, что правда.

Черный и в темноте особенно упорный бугшприт неуклонно вел в звездный склон неба. На северо-востоке широко раскидывалась Большая Медведица, "любимое созвездие Гомера". На юго-западе низко, но ярче и великолепнее всех сверкала розово-серебристая Венера. Темно-синяя глубь была переполнена повисшими в Млечном Пути алмазами. И отовсюду лились в море нити тонкого, дивного света. Но свет моря был еще прекраснее.

– Эй, не курить на баке! – раздался молодой звучный голос.

И опять наступила глубокая тишина, полная шороха волн и дыханий машины.

Спотыкаясь на цепи и паруса, я добрался до бугшприта. Острая железная грудь резала кипевшую бледно-синим пламенем воду – и все пространство моря, озаренного и полного таинственным светом, быстро бежало навстречу. Звезды дрожали от едва уловимого теплого воздушного тока... Да, "свет и во тьме светит". Вот закатилось солнце, но и во тьме только солнцем живет и дышит все сущее. Это оно вращает винт парохода, оно несет навстречу мне море; оно, неиссякаемый родник всех сил, льющихся на землю, правит и непостижимым для моего разума стремлением своего необъятного царства в бесконечность – к Веге, и безумной радостью этого стрелой летящего подо мною дельфина – как бы сплошной массы дымно-синего фосфора. И только к свету стремится все в мире. Мириады едва зримых семян жизни, лишенных солнца тьмою ночи и глубинами вод, все же светят сами себе – теми атомами его, которыми рождена в них жизнь. И над всем этим морем, видевшим на берегах своих все служения Богу, всегда имевшие в основе своей служение только Солнцу, стоит как бы голубой дым: дым каждения ему.

1907

Дельта

Солнце потонуло в бледно-сизой мути. Волны, мелькавшие за бортом, стали кубовыми. Вспыхнуло электричество и сразу отделило пароход от ночи.

Внутри, в кают-компаниях и рубках, было ярко, светло, за бортами была тьма, теплый ветер и шорох волн, бежавших качающимися холмами. Маслянисто-золотые полосы падали на них

из иллюминаторов и змеевидно извивались. Ветер усиливался, – и вдруг одна из этих полос провалилась в черную пропасть, а вся глыба парохода зыбко приподнялась с носа и еще более зыбко и плавно опустилась среди закипевшей почти до бортов голубовато-дымной воды. Какая-то женщина, показавшаяся в это время в светлом пространстве входа в рубку, ухватилась было за притолоку, но в ту же минуту оторвалась и со смехом, с протянутыми руками побежала по наклонной палубе. А немного погодя из той же двери вышел мужчина, оглянулся и, увидев меня, неестественно запел и твердыми шагами пошел по опускающейся и поднимающейся палубе следом за ней...

Около полуночи над темно-лиловой равниной моря взошел оранжевый печальный полумесяц. Сея на горизонте шафранный свет, он наклонно висел над бегущей на нас и качающейся зыбью, и от него несло теплым, теплым ветром...

Утром открылся берег Африки.

Сильно припекало. Небо было знойно и белесо, море тускло, блестело оловом. Вода под кормой бурлила жидкая, зелено-голубая.

Командир, весь в белом, стоял на мостике, "не отводя от глаз бинокля. Медленной вздыхала машина: шли уже средним ходом, ждали араба-лоцмана, ибо взморье перед Александрией густо усеяно подводными камнями. Промелькнула первая чайка... Прошел навстречу тупоносый и весь черный пароход, и я увидел на нем белые буквы: «Дельта»... А из мути на горизонте уже выделялась башня, преемница того знаменитого маяка, что был когда-то "символом света александрийской мудрости" и одним из чудес мира, ибо "вел к городу полубога, дошедшего от столпов Геркулеса до индийских деревьев, вершин которых не достигают стрелы", был посвящен "богам, спасающим плавающих", блистал зеркалом – "Талисманом Александрии, отражавшим землю, небо и все паруса Средиземного моря", и так возвышался, что "камень, брошенный с него на закате, падал в воду только в полночь..." Потом слабо обозначилась белая полоска города, бесчисленные палочки, – мачты порта, – и крестики – крылья ветряных мельниц, вправо же от них – бледно-желтая линия пустыни, терявшаяся на западе, линия безграничной плоскости, соседней с Дельтой, и там, в этой стекловидной дали – призраки тех единственных по своим очертаниям деревьев, вид которых всегда волнует: финиковые пальмы.

Мы идем медленно, но он все растет и приближается, этот песчаный берег с пальмами, все выше растут эти бесчисленные мачты, видны каменные ленты волнорезов и сияющий белизной маяк. И зной африканского утра все увеличивается по мере того, как мы все тише и глубже входим в тесноту Старого Порта, переполненного судами и разноцветными лодками с разноцветными флагами отелей и загорелым людом в фесках, обмотанных платками, и в длинных синих рубашках. Все это тянется среди пароходов за нами, а справа надвигаются серопесчаные обрывы, на которых среди однообразных палевых кубиков-домов стоят шероховатые стволы в перистых султанах. Долгий морской путь кончен, – взглянув назад, на белый волнорез, я не вижу больше моря: вижу только мачты да синюю ленту над волнорезом. Кругом пестрота людей и лодок, эти палевые кубики и пальмы, – и все залито сухим, ослепительным светом... Африка!

Въезжая в Александрию, я все клонил голову: солнце стояло как раз над головою. Встретилась медленная вереница соловых дромадеров, навьюченных сахарным тростником и предводительствуемых босоногим погонщиком в красной ермолке и коротком белом кунбазе. Потом проехали английские солдаты в тропической форме, верхом на великолепных гнедых лошадях, лоснившихся на солнце, и, прижимаясь от них к глиняной ограде, мелко перебирая по пыли маленькими ножками, прошла молоденькая феллашка в голубой полинявшей рубашке, круглолицая, с полными губками и расширенными ноздрями. Она подняла ресницы над темными глазами – и опустила их. На ее пепельно-смуглом лице, татуированном синеватыми полосками по бокам подбородка и звездочками на висках, покрывала не было. Не было и библейского кувшина на ее голове, прикрытой легким платком из черно-синей шерсти: на голове она несла то, что теперь так ходко сменяет на Востоке библейский кувшин, – большую жестянку из-под керосина. А за феллашкой показался ослик-иноходец, быстро и тупо семенявший копытцами, под красным бархатным седлом, на котором, почти задевая землю ботинками, сидел большой араб в пиджаке сверх длинного халата-подрясника, в плоской феске, обмотанной золотисто-пестрым платком...

В отеле близ Площади Консулов мне отвели просторную комнату с каменным полом, покрытым тонкими коврами. В ней стояла постель под кисейным балдахинном, было полутемно и прохладно. Ставни балкона были закрыты. За ними стоял оглушительный гам Востока, говор и

стук копыт, гул и рожки трамвая, вопли продавцов воды... А когда я раскрыл ставни, в комнату, вместе со всеми этими звуками, так и хлынул свет, жар африканского полдня...

В каком-то маленьком греческом ресторане я ел какую-то розовую морскую рыбу, щедро облитую лимонным соком, и пил какое-то густое вино. Потом побрел к морю, глядя на мелкую зыбь его сиреневого простора, на раковины облаков, таявших над ним в бездонном шелковистом небе, на кубики палевых домов, терявшихся вдоль широкого изгиба песчаного побережья... И вихры отдаленных пальм опять сладко напомнили: Африка!

На Площади Консулов, вокруг сквера, в жидкой и легкой тени подсыхающих деревьев, стояли коляски, дремали лошади. Смуглые, в белом, извозчики, вместе с прочей арабской толпой, занимавшей несметные столики сквера, пили воды, курили, болтали... Сидели два негра из Судана. Их черные скуластые лица и черные палки ног в огромных пыльных туфлях казались еще чернее и страшнее от белых кидар; сверх рубашек на них были короткие халаты цвета полохатых гиен. С раздувающимися ноздрями раздавленных носов, с блестящими глазами, с нагло вывороченными губами негры радостно и удивленно осматривали проходящих женщин. А у женщин, закутанных в черный шелк, только и видно было что глаза, странно разделенные металлическим цилиндром, соединяющим чадры с покрывалами.

Часам к четырем город снова ожил. Поливали мостовые, и косой блеск с запада ярко золотил и площадь, снова наполнившуюся народом, и всю улицу Шериф-Паша, по которой я поехал к каналу и которая казалась бы совсем европейской, если бы не ослики, не этот босоногий черноликий люд и шарабаны с детьми и женщинами, очень нарядными, но уж чересчур смуглыми. Канал соединяет море с Нилом. Виллы и сады тянулись вдоль его правого берега, на зеркальной воде его мирно дремали в низком блеске еще жаркого солнца грубые косые паруса барок, и по-африкански желтели среди пальмовых рощ глиняные хижины на левом берегу...

По-африкански бедно было и в кварталах, прилегающих к Старому Порту, к тому голому холмистому пространству, где когда-то были дворцы и храмы Птоломеев и где теперь, на месте Серапеума, стоит так называемая колонна Помпея. По-африкански горели против опускавшегося солнца стекла в желтых домах разноплеменной александрийской бедноты. Женщины в туфлях и халатиках, похожие на евреек наших южных городов, с раскрытыми тощими грудями, почерневшими от зноя, лениво сидели у порогов и держали на коленях полуголых детишек, лица которых сплошь облепляли мухи. Тут же шатались шелудивые бездомные собаки. Ни кустика не было среди глиняных рогатых памятников арабского кладбища, уже давно смешавшего свои кости с несметными костями древних кладбищ и с мусором тысячелетних останков стократ погибавшей и вновь возрождавшейся Александрии. И надо всеми этими братскими могилами высилась колонна розового асуанского мрамора. Меланхолически-прекрасен вид от колонны: на западе – вечернее солнце, опускающееся к золотой полосе Средиземного моря, на востоке – рощи пальм, синяя пустынная равнина Мареотиса и пески, пески...

А на пути в Каир сперва мелькали стены Александрии. Потом вагоны озарились золотистыми песчаными выемками, белыми виллами и яркой синью утреннего неба.

Скоро их сменил Мареотис: водная сияющая гладь, острова камышей, необозримая зеркальность, на отмелях которой розовыми лилиями блистали тысячи длинноногих фламинго, ибисов и цапель. А за лагунами и поймами начали разворачиваться топи и равнины, возделанные, как огороды, изрезанные каналами и плотинами, и стекловидные дали с чуть видимыми оазами селений...

Поезд уносил меня к югу, и все живее чувствовал я, что нигде так быстро не падаешь в глубь времен, как здесь. Как древен этот смуглый люд, орошающий поля, едущий по плотинам на осликах, отдыхающий вместе с буйволами под жидкой тенью смоковниц!

Вагон был переполнен женщинами, до глаз закутанными в черное и белое, фесками, шляпами, халатами, табачным дымом, пылью и светом. Воздух, веющий в окна с нив и каналов, становился все жарче и суше, – и вот начали хлопать поднимаемые рамы, а за ними – решетчатые ставни. Воцарился полумрак, изрезанный полосами света и дыма, но духота стала уже дурманить. Я вышел на площадку – и ослеп от белого блеска. Обдает пламенем, точно стоишь возле огромного костра, удушает желтой пылью... Вижу сквозь пыль, что под колесами с грохотом мелькает сквозной мост и горячим стеклом блещет внизу река в илистых берегах. Это уже Нил. Мимо поезда начинают мелькать белые яркие стены и высокие пальмы: Танта. С разлета стал поезд, и хлынувшая из вагонов толпа мгновенно смешалась с цветистой толпой на раскаленной

платформе. Но едва успел я схватить в буфете апельсин и пачку папирос, как дверцы вагонов уже опять захлопали. И опять – равнины зреющего хлеба, каналы и черные деревушки феллахов – полузвериные хижины из ила, крытые дурро-вой соломой... И опять против меня – копт и феллах. Копт – толстый, в черном халате, в черной туго завернутой чалме, с темно-оливковым круглым лицом, карими глазами и раздувающимися ноздрями. Феллах – в белой чалме и грубом балахоне, расстегнутом на груди. Это совершенный бык, по своему нечеловеческому сложению, с бронзовой шеей изумительной мощи. И сидит он так, как и подобает ему, прямому потомку древнего египетского человека: прямо, нечеловечески спокойно, с поднятыми плечами, ровно положивши ладони на колени...

1907

Свет Зодиака

I

Каир шумен, богат, многолюден.

К вечеру улицы политы. Нежно и свежо пахнет цветами, тепло и пряно – влажной пылью и нагретыми за день мостовыми. Оживленнее гудят трамваи, реками текут шарабаны, коляски, кареты и верховые к мосту через Нил, на катанье, гремят в садах оркестры... Но вот по людным широким тротуарам, никого и ничего не замечая, идут бедуины – худые, огнеглазые, высокие, – и на их чугунных лицах – алый отблеск жаркого заката. Их тонкие, сухие, почти черные ноги голы от колен до больших жестких башмаков. Лица грозны, головы женственны: на головы накинута и висят по плечам кэфии – большие платки из черно-синей шерсти, а сверх платков лежит двойной обруч, два черных шерстяных жгута. На теле рубаха до колен, подпоясанная шалью, на рубахе – теплая безрукавка, а сверх всего – абая, шерстяная пегая хламида, грубая, тяжелая с короткими рукавами, но такая широкоплечая, такая свободная, что рукава, спускаясь, достигают до кистей маленьких лиловых рук. И царственно-гордо выгнуты тонкие шеи, обмотанные шелковыми платками, и небрежно опирается левая рука с серебряным перстнем на мизинце на рукоятку огромного ятагана, засунутого за пояс...

Старый Каир, сарацинский, окружает Каир новый, европейский, со стороны желтого Мокатамского кряжа. Ему уже тысяча триста лет. Он основан "милостью и велением Бога". Фостат – его первое имя – значит палатка. У подошвы Мокатама был Новый Вавилон, основанный еще при фараонах выходцами из Вавилона Халдейского. Настало время, когда над миром восторжествовала грозная и дикая мощь Ислама. Амру, полководец Омара, пришел к Нилу и взял Вавилон. В его палатке свила гнездо голубка. Уходя, Амру оставил палатку, дабы не трогать гнезда. И на этом месте зачался «Победоносный», Великий Каир.

Его узкие, длинные и кривые улицы переполнены лавками, цирюльнями, кофейнями, столиками, табуретами, людьми, ослами, собаками и верблюдами. Его сказочники и певцы, повествующие о подвигах Али, зятя пророка, известны всему миру. Его шахматисты и курильщики молчаливы и мудры. Его базары равны шумом и богатством базарам Стамбула и Дамаска. В нем полтысячи мечетей, а вокруг него, в пустыне, – сотни тысяч могил. Мечети и минареты царят надо всем. Мечети плечисты, полосаты, как абай, все в огромных и пестрых куполах-тюрбанах. Минареты высоки, узорны и тонки, как пики. Это ли не старина? Стары и погосты его, стары и голы. Там, среди усыпальниц халифов, среди усыпальниц мамелюков и вокруг полуразрушенной мечети Амру, похожей на громадную палатку, – вечное безмолвие песков и несметных рогатых бугорков из глины, усыпляемое жалобною песнью пустынного жаворонка или пестрокрылых чекканок. Но вот проходит и звонко и страстно кричит по узким и шумным коридорам базаров и улиц сожженная нуждою и зноем женщина, со спутанными черными волосами, босая, в одной полинявшей кубовой рубахе. Все достояние ее в козе, которую она ведет за собою, – в старой козе с длинной шелковисто-черной шерстью, с длинными колокольцами-ушами и горбатым носом. Женщина кричит, предлагая подоить эту козу и за грош напоить "сладким молоком" всякого желающего. И вся старина сарацинского Каира тонет в аравийской древности этого крика. А когда смотришь на мечети Каира и на его погосты, то думаешь о том, что мечети его сложены из порфира мемфисских храмов и гранита разрушенных пирамид, что дорога мимо погостов ведет

по пустыне к обелиску Гелиополя-Она. И тогда и от европейского Каира и от Каира мусульманского мысль уносится к древнему царству фараонов, видя вдали каменные мощи этого царства – пирамиды Гизе и Саккара...

II

Солнце склонялось к Ливийской пустыне. Я смотрел со стен цитадели Каира, утвержденной на выступе скал Мокатама, на запад, на восток и на север, – на город, занявший необозримую долину под цитаделью. Подошел и предложил свои услуги какой-то милый и тихий человек в темном балахоне и белой чалме. Он прежде всего показал мне колодец халифа Юсуфа. Но что же это за старина? Колодец глубок, как преисподняя, и только. Камни цитадели постарше – они из малых пирамид Гизе!

Я все глядел в пыль над долиною Нила и за Нил, где, в сухо-туманной пустыне, рисовались фиолетовые конусы самых старых пирамид и среди них – ступенчатая пирамида Аписов: Ко-Комех – "пирамида черного быка". Внутри она уже разрушается, а снаружи полусасыпана песками. Она даже не из камня, а из кирпичей нильского ила. Она на тысячу лет древнее великой пирамиды Хуфу. А близ нее – Серапеум, бесконечные чернотенные катакомбы, высеченные в скалах. И, взглянув в сторону Серапеума, я забыл на минуту все окружающее. Ах, как пышно-прекрасны были эти "земные воплощения бога Нила", эти мощные траурные быки – черные, с белым ястребом на спине, с белым треугольником на лбу! Как мрачно-торжественны были их погребальные галереи и гигантские саркофаги из гранита!

– Эль-Азхар, Гассан, – бормотал араб, перечисляя каирские мечети и, бесшумно перебирая легкими босыми ногами, привел меня к северной стене, к другому обрыву, и опять стал указывать на море серого огромного города, теряющегося в пыли под нами.

Воздух был тепел и душен. Далеко на западе склонялось к слоистым пескам горячее мутное солнце. Пирамиды Гизе были ближе и левей его: они мягко и четко выделялись среди этих пепельных дюн фиолетовыми конусами. Необъятное пространство между небом, пустыней и долиной Каира было все в пыльно-золотистом блеске. Солнце опускалось все ниже, белый шлем, который я держал в руках, стал алеть. С минаретов понеслись к бледному бездонному небу древне-печальные прославления Бога. Летучие мыши дрожащими зигзагами зареяли вокруг: они любят теплые вечера, катакомбы, пустынные скалы...

В пустыне, сзади цитадели, раскинуты среди песков мечети-гробницы халифов. Они всеми забыты, приходят в ветхость. Там в усыпальнице Каид-Бея окна горят такой цветной мозаикой, равной которой нет на земле. Там есть два камня из Мекки – один сиреневый, другой розовый – и на них следы Магомета. Но что Каид-Бей и Магомет! За могилами халифов, среди песков, уходящих до Красного моря, на самой окраине холмов Иудейских, есть оаз, где, по слову Осии, "тернии и волчцы выросли на жертвенниках Израиля", где с землею сровнялись следы города, более славного и древнего, чем самый Мемфис, – следы Она-Гелиополя, Бет-Шемеса, по-еврейски, – "Дома Солнца". Это было средоточие культа Гора и высшей жреческой мудрости. Усиртесен Первый пять тысяч лет тому назад воздвиг перед онейским храмом Солнца, самым чтимым в древнем мире, свои обелиски из розовых гранитов и украсил их золотыми наконечниками. В дни патриархов Иосиф, сын Иакова, женился в Оне на дочери первосвященника Потифера – "посвященного Солнцу"; Моисей, воспитавшийся там, основал на служении Изиде служение Иегове; Солон слушал первый рассказ о потопе; Геродот – первые главы истории, Пифагор – математику и астрономию; Платон, проведенный в академии Она тринадцать лет, – презрительно-грустные слова: "Вы, эллины, – дети"; в Оне жила сама Богоматерь с младенцем...

Солнце тонет в сухой сизой мути, и шафранный свет запада быстро меркнет. Мириады веселых огней рассыпаются по темнеющей долине Каира. Со всех сторон обступает Каир африканская душная ночь. Из тьмы неведомых горячих стран пролагает свой путь священная река, источники которой знали лишь жрецы Саиса. Неведомые экваториальные созвездия поднимаются оттуда, – и звездное небо принимает "вид лучистых алмазов на черно-бархатном покрове гроба". Черное! Сколько тут черного! Черны были палатки таинственных азиатских кочевников, «царей-пастухов», несметной ратью охватившие некогда Египет на целых пятьсот лет. Черны были Аписы Мемфиса. Черным гранитом лоснились скаты пирамиды Хуфу. «Семусином» – черно-пламенным ураганом песков – прошел по Египту Камбиз, до основания разрушив и Он и

Мемфис, и это в его полчищах семусин пожрал в один день полтора ста тысяч жизней на пути к черной Нубии! И вот тогда-то и дохнуло на Египет дыхание смерти, и "помутилось солнце его от пыли сражений и от курений жрецов, и прибег он к идолам и чародеям и к вызывающим мертвых"...

На месте Она, ныне покрытом хлебами, пальмами и хижинами арабской деревушки Матариз, среди оаза, что питается родником Айн-Шемес – "Солнечным источником", – одиноко стоит десятисаженный обелиск, на треть утонувший в земле, изъеденный иероглифами и облепленный гнездами ос. А в Ливийской пустыне сонные змеи песков бегут и бегут во входы пирамид, уже давно пустующих. Мумии из гробниц и пирамид Саккара выкинул еще Камбиз. Пустой саркофаг из базальта, найденный в пирамиде Менкери, потонул вместе с кораблем в океане, на пути в Британию. Пустой огромный саркофаг стоит и в Великой пирамиде. Кто тот, что покоился в ней? Хуфу? Копты говорят: нет, Саурид, живший за три века до потопа и от потопа сохранившийся в ней и свой труп, и все сокровища египетской мудрости... В те долгие века, когда умерший Египет пребывал в тишине и забвении, пришли в его пустыни новые завоеватели, арабы, пробили, после долгих исканий, уже ободранную Великую пирамиду и в гробовой тьме, по узким проходам, ведущим в сердце пирамиды, проникли, в надежде на клады, в покой человека, умершего в начале мира. Но, озарив факелами заблестевшие, как черный лед, шлифованно-гранитные стены этого покоя, в ужасе отступили: посреди него стоял прямоугольный и тоже весь черный саркофаг. В нем лежала мумия в золотой броне, осыпанной драгоценными камнями, и с золотым мечом у бедра. На лбу же мумии красным огнем горел громадный карбункул, весь в письменах, непонятных ни единому смертному...

III

Я кончил этот вечер в театре, на площади, сплошь занятой табуретами и столиками, шумной и людной, как ярмарка.

Двери театра были открыты настежь, но в партере, усеянном фесками, стояла одуряющая духота. Что же было в решетчатых ложах, где помещаются гаремы? Подняли под музыку занавес – и в глубине сцены открылся плакат: лиловая ночь и пребольшая луна над лиловым силуэтом города, состоящего из одних пальм и мечетей и четко отраженного в бледно-лиловой реке. На полу среди сцены стояло ярко-зеленое дерево, а под деревом – араб в пышной старинной одежде и громадном тюрбане. Страстно завыл и загудел оркестр, и араб, приложив одну руку к сердцу, а другую, дрожащую, вытянув, разразился такими гнусавыми воплями, что весь партер затрепетал от рукоплесканий. Араб жаловался на несчастную любовь и прозакладывал кому-то душу, лишь бы увидеть свою милую. Затем он смолк, закрыл лицо руками и затрясся от беззвучных рыданий. А наплакавшись, глубоко вздохнул, снял темный широчайший халат, положил его подушкой под деревом и, оставшись в другом, бледно-розовом, лег спать. Музыка под сурдинку запиликала что-то осторожное, хитрое. И тогда из-за кулис бесшумно выпорхнули черти в красных балахонах, с белыми изображениями черепов на груди. Радостно подвывая и взвизгивая, они закружились над своей добычей. И вдруг ухнул барабан – и, подхватив спящего, черти бросились за кулисы...

Домой я вернулся за полночь. Каир затихал. Съедаемый москитами, я без сна лежал на широкой постели в жарком номере. Перед рассветом взошел месяц, озарил теплым золотистым светом верхушки пальм во дворе отеля и противоположные балконы, и в окна потянуло свежестью. Я стал забываться. Но тут воздух внезапно дрогнул от мощного трубного рева. Рев загремел победно, оглушающе – и, внезапно сорвавшись, разразился страшным, захлебывающимся скрипом. Рыдал в соседнем дворе осел – и рыдал бесконечно долго!

Утро в Каире восхитительно. Чистые широкие проспекты еще в тени и пусты. Снова полила зелень в цветниках, палисадниках и скверах, нежно и свежо пахнущих. Верхушки пальм розовеют, небо легко и жемчужно-бирюзово. Экипаж быстро катится по гладким мостовым. Едем к пирамидам. Вот мост с бронзовыми львами через Нил. Свет утреннего солнца ослепительно блещет над розово-голубым морем пара, в котором тонут и острова, и вся долина Нила. "Привет тебе, Амон-Ра-Гормахис, сам себя производящий! Привет тебе, священный ястреб со сверкающими крыльями, многоцветный феникс! Привет тебе, дитя, ежедневно рождающееся, старец, проплывающий вечность!"

Нил под мостом дымится, и в дыму медленно идут серые паруса барок. Вереницы ослов и верблюдов, нагруженных овощами, зеленью, молоком, птицей, тянутся на базары и несут в город простоту деревни, здоровье полей. Переезжаем остров, потом рукав Нила, едем мимо зоологического парка, – и впереди открывается низменность, равнина зреющих ячменей и пшеницы: стоит время Шаму, как называли египтяне жатву. И прямая, как стрела, аллея акаций до самой пустыни прорезывает эту равнину. Там, в самом конце аллеи, как деревенские риги, стоят на обрыве скалисто-песчаного плоскогорья три каменных треугольника цвета старой соломы.

Когда мы подъезжаем к этому обрыву, резко желтеет его песок и мягко и четко возносятся над ним в прозрачный воздух зубчатые грани каменной громады ржаво-соломенного цвета: Великая пирамида Хуфу!

От нее – один из самых дивных видов в мире. Целая страна, чуть не вся низменность Дельты, теряется на севере, радуя вечной молодостью природы: молоды кажутся отсюда, из пустыни, с древнейшего на земле кладбища, эти нивы, пальмы, селения! На юге тонет в солнечном тумане долина Нила. Впереди чуть виден мутно-аспидный Каир и призраки Аравийских гор. А сама пирамида, стоящая сзади меня, восходит до ярких небес великой ребристой горой.

Обойдя ее, я вижу, что северный бок ее высоко занесен песком. Вдали, в сторону Ливийской пустыни, – второй треугольник, пирамида Хафри. Ее громада, почти равная первой и тоже утонувшая в слоистых песках, снизу ободрана, доисторически груба и проста, как и Хуфу, но сверху блестит розовым гранитом. В чистом воздухе она кажется необыкновенно близкой. Но еще более четки на сини небосклона грани третьей – «красной» пирамиды Менкери, еще сплошь покрытой сиенитом. Она гораздо меньше и острее двух первых. А к горизонту, там, где пустыня, поднимаясь волнистыми буграми, ярко подчеркивает сине-лиловое небо, теряется за песками еще несколько маленьких конусов... Вот она, ясность красок, нагота и радость пустыни!

Вход в Великую пирамиду передо мною. Пески засыпали ее скат как раз до того места, где нашли когда-то отверстие в "самое таинственное святилище мира". Я знаю, что это отверстие падает вниз по скользкому склону в триста футов, в удушающий мрак, в тесноту. Там теперь нет ничего, кроме тьмы, летучих мышей и огромной гробницы без крышки... Где же кости того, кто вот уже шесть тысяч лет изумляет землю? Они, говорят, покоились на дне шахты, – под пирамидой, а не в ней. Шахта будто бы соединялась подземным ходом с Нилом... с подземным капищем Изиды, которой посвящена пирамида... с ходом под Сфинкса... Но не все ли равно? Вот я стою и касаюсь камней, может быть, самых древних из тех, что вытесали люди! С тех пор, как их клали в такое же знойное утро, как и нынче, тысячи раз изменялось лицо земли. Только через двадцать веков после этого утра родился Моисей. Через сорок – пришел на берег Тивериадского моря Иисус... Но исчезают века, тысячелетия, – и вот, братски соединяется моя рука с сизой рукой аравийского пленника, клавшего эти камни...

К Сфинксу иду по указаниям самого Хуфу: "Гор живой, царь Египта Хуфу, нашел храм Изиды, покровительницы пирамиды, рядом с храмом Сфинкса, к северо-западу от храма Озириса, господина гробницы, и построил себе пирамиду рядом с храмом этой богини... Место Сфинкса – к югу от храма Изиды, покровительницы пирамиды, и к северу от храма Озириса..."

По песчаным шелковистым буграм цвета львиной шкуры я спускаюсь от пирамиды в котловину, где лежит каменное стоаршинное чудовище, каменная гряда с тринадцатидюймовой головой. И вступаю в святая святых Египта. Это уже последняя ступень истории!

Вокруг меня мертвое, жаркое море дюн и долин, полузасыпанных песками скал и могильников. Все блестит, как атлас, отделяясь от шелковистой лазури. Всюду гробовая тишина и бездна пламенного света. Вот страшная извилистая полоса на песке, – здесь протащила свой жгут змея, может быть, сама Фи, знаменитая в священных писаниях Египта, вся желто-бурая, вся в бурых поперечных лентах, с маленькими вертикальными глазками, от всех гадов отличная рожками. Ноги мои вязнут, солнце жжет тело сквозь тонкую белую одежду. Пробковый шлем внутри весь мокрый. Но я иду и не свожу глаз со Сфинкса.

Туловище его высечено из гранита целиком, – приставлены только голова и плечи. Грудь обита, плоска, слоиста. Лапы обезображены. И весь он, грубый, дикий, сказочно-громадный, носит следы жуткой древности и той борьбы, что с незапамятных времен суждена ему, как защитнику "Страны Солнца", Страны Жизни, от Сета, бога Смерти. Он весь в трещинах и кажется покосившимся от песков наискось засыпающих его. Но как спокойно, спокойно глядит он куда-то на восток, на далекую солнечно-мглистую долину Нила! Его женственная голова, его пятиар-

шинное безносое лицо вызывают в моем сердце почти такое же благоговение, какое было в сердцах подданных Хуфу:

"Чсть тебе, старец, многоликий владыка, испускающий лучи, разгоняющий мрак!"

И, спустившись к лапам Сфинкса, я заглядываю в полузасыпанную шахту между ними и несмело поднимаю глаза на красноватый исполинский лик его...

Есть "Свет Зодиака". Он встает серебристым пирамидальным сиянием на темном небе жарких стран долго спустя по закате. Он еще не разгадан. Но божественная наука о небе называет его свечением первобытного светоносного вещества, из которого склудилось солнце. Я еще помню отблеск закатившегося Солнца Греции. Теперь, возле Сфинкса, в катакомбах мира, зодиакальный свет первобытной веры встает передо мною во всем своем страшном величии.

IV

От света, от блеска песков и неба я был пьян всю дорогу до Каира. Жаркая сквозная тень бесконечной аллеи кружевом бежала по лошадям, по спине извозчика, по моим коленям. Разливы спелых хлебов дремали полуденной дремотой. Полуденным сном и солнцем был отягчен зоологический парк. Жутко и пышно было в нем в этот час! Я остановил коляску и вошел.

До земли висели ветви мимоз. Высоко возносились в пламенный воздух, в пыльно-серебристое небо пальмы. Накалялись цветники. На горячих дорожках млели, цепенели огромные, сказочно разноцветные бабочки сказочно богатых рисунков. В загоне под какими-то высокими зонтичными деревьями стоял покатым жираф, древнеегипетские изображения которого считались когда-то баснословной смесью всех животных, и, поводя змеиной шеей, тянулся рогатой головкой к листьям макушек; и нельзя было понять, льются ли это узоры светотени или блестит и переливается его песочно-пантеровая шкура. В других загонах, закрыв ясные девичьи глазки, истомленные душной тенью, лежали палевые газели и антилопы. Дальше снова шли открытые солнцу пруды и поляны. Неподвижно, на одной ноге, как на блестящей трости, стояли в теплой грязной воде прудов розовые фламинго, надутые пеликаны, хохлатые тонкие цапли. Неподвижно, бронзово-зелеными маслянистыми бревнами, лежали среди плавучих островов допотопные хампсы Египта – свиноголовые крокодилы, до половины высунувшись на горячую илистую отмель. И бессильно, плоско растягивались на песке и пестрых камнях, за частой сеткой клеток, плетевидные гады, большеротые, остроглазые, с самоцветными головками. Иные сверкали всем великолепием палитры в свежих красках, иные – иероглифами точек, решеток, полос. Медленно ползла серая, в черных чешуйках, "кошачья змея" и, как всякий ползучий гад, казалась длинной-длинной. «Ночные» змеи дремали. Они так втирались в песок и так сливались с ним, что лишь случайно наталкивался я на их неподвижно-стеклянные глаза с вертикально-хищными зрачками. Самоцветными камнями сверкали, скользя, ящерицы. Искрились тысячи золотистокупоросных мух. Пряно пахли нагретые травы. Животной теплой вонью несло из загона, где бродили голенастые страусы, нося на своих лошадиных ногах кургузые туловища в атласно-белоснежных курчавых перьях и с глупым удивлением вытягивая лысые головки на голых шеях. Хищно, восторженно и неожиданно вскрикивали в мертвой тишине крепкоклювые, горбоносые попугаи, – радужные, рубиново-синие, золотые и зеленые. И тогда сад казался Эдемом, заповедным приютом блаженства и «незнания». Но, снедаемый жаждой знания, жаждой запретного, я ходил от решетки к решетке змеиных клеток. Ужас и отвращение вселяла ленивая, широколобая, пучеглазая "капская гадюка", лежащая толстым ярко-соломенным жгутом в темных подковках. Свившись в палевую спираль, отливавшую голубым пеплом, неподвижно смотрела в пространство круглоглазая, с яйцевидной головкой Гайя, неотразимо-смертоносная покровительница всего древнего Египта, – символ величия и власти, уреус на царских митрах, жгут, обвивающий крылатую эмблему Гора, «ара», стократ изображенная над входами храмов...

А Каир встретил меня закрытыми ставнями, сохнувшими от зноя деревьями, белыми пустыми улицами. Небо было тускло, дул жгучий пыльный ветер. То был вестник самого бога Сета. И дышал он, пламенный, над страной могил от первородных чад ее с таинственного и грозного Юга, – оттуда, "где бог в своем лучезарном течении покрывает кожу людей мрачным блеском сажи и, иссушая, курчавит их волосы".

Иудея

И Господь поставил меня среди поля, и оно было полно костей.

Иезекииль

I

Штиль, зной, утро. Кинули якорь на рейде перед Яффой.

На палубе гам, давка. Босые лодочники в полосатых фуфайках и шароварах юбкой, с бурозымыми, облитыми потом лицами, с выкаченными кровавыми белками, в фесках на затылок орут и мечут в барки все, что попадает под руку. Градом летят туда чемоданы, срываются с трапов люди. Срываюсь и я. Барка полным-полна кричащими арабами, евреями и русскими.

Пароход, чернея среди зеркального взморья, отдаляется, кажется маленьким. Мала и Яффа. До нее еще далеко, но воздух так чист, а восточные контуры ее кубических домиков, среди которых то там, то тут метелкой торчит пальма, так четки и просты. Уступами громоздится этот каменный, цвета банана, городок на обрывистом побережье. От рейда его отделяет длинная гряда рифов. За ними, у береговых отмелей, шелком сияют обвисшие паруса на высоких, тонких мачтах лодок. Их больше всего возле северной отмели, где когда-то был Водоем Луны, финикийская гавань. С севера к Яффе подступает золотисто-синяя от воздуха и солнца Саронская долина. С юга – желто-серые филистимские пески. На востоке – знойно-голубой мираж Иудеи. Там, за горами, – Иерусалим.

В штиль рифы обнажаются – барка спокойно проскальзывает между их ржавыми, мокрыми и нестерпимо блестящими на солнце глыбами. На пристани сараи – таможни. По гладким каменным уступам, в тени звонких переулочков поднимаемся к базару. О Стамбуле напоминает в первую минуту запах гниющих апельсинов и укропа, смешанный с чадом восточной кухни. Но нет, даже в самых глухих закоулках Стамбула нет плит, столь выбитых и отшлифованных копытами и туфлями, и такой толпы – таких грубых одежд, такого жесткого загара и таких гортанных криков! Вот базар с мокрым фонтаном, с водоносами под бурдюками и кувшинами, с верблюдами и собаками, с грудями фруктов и зелени, с кофейнями и лавчонками в крытых полутемных рядах... Да, тут все старее, восточнее. И небо над базаром ярче, и зной не тот. А какие дряхлые хананеи с красными кроличьими глазами меняют в сумраке рядов бешлыки на лепты и пиастры!

В садах вокруг Яффы – пальмы, магнолии, олеандры, чащи померанцев, усеянных огненной россыпью плодов. Запыленные ограды из кактусов в желтом цвету делят эти сады. Между оградями, по песчано-каменистым тропинкам, медленно струится меланхолический звон бубенчиков – тянется караван верблюдов. Где-то журчит по канальчикам вода – под однотонный скрип колес, качающих ее из цистерн. Этот ветхозаветный скрип волнует. Но еще больше волнует сама Яффа. Эти темные лавчонки, где тысячу лет торгуют все одним и тем же – хлебом, жареной рыбой, уздечками, серебряными кольцами, связками чесноку, шафраном, бобами; эти черные, курчаво-седые старики-семиты с обнаженными бурыми грудями, в своих пегих хламидах и бедуинских платках; эти измаилитянки в черно-синих рубахах, идущие гордой и легкой походкой с огромными кувшинами на плечах; эти нищие, хромые, слепые и увечные на каждом шагу – вот она, подлинная Палестина древних варваров, земных дней Христа!

На другой день покидаем Яффу, направляясь по Саронской долине к Иерусалиму. Пустынный путь! Нарциссы долины, из-за легендарного плодородия которой было пролито столько крови, теперь начинают выпаживать. Иудея опять понемногу заселяется своими прежними хозяевами, страстно мечтающими о возврате дней Давида. Но цветов еще много, слишком много. Всюду мак, мак и мак: щедро усеял он эти пашни и нивы своими огненными лепестками.

Очаровательный ветер весеннего дня и приморской степи, солнечное тепло, сладкий аромат цветущих олив, хлебов и горячей земли веет в окна коротенького поезда, раз в сутки пробегающего по долине и горам к Иерусалиму. Он идет по волнистым полям, среди ржавых пашней и зеленых посевов, то и дело встречает вереницы верблюдов, стада черных коз и серых овец, кучками толпящихся то там, то здесь под охраной полудиких пастухов и собак, похожих на шакалов.

– Но, боже, сколько маку! – говорит мой спутник, русский еврей, старик с большой серо-

сизой бородой.

А за Лиддой и Рамлэ, – каменными кубами арабских городков, ярко белеющих под яркосиним небом среди финиковых пальм и кипарисов, – почва становится еще суше, еще кремнистое и волнистей, а хлеба еще слабее и жиже. Начинается подъем, – до самого Иерусалима. Уже виден впереди серый камень, синь впадин и ущелий. Поезд медленно выбивает такт короткими вздохами, свистки его делаются гулки и звонки, путь извилистей; мы глядим на небо уже из какой-то голой, каменистой котловины. И вот котловины начинают сменяться котловинами, ущелья ущельями... Иногда они оживляются сожженной зноем зеленью деревьев, растущих на их кремнистых ложах, или пелазгическими останками хананейских укреплений на куполообразных вершинах; иногда овцами, рассыпанными по сухим обрывам, среди гольшей в лишаях и колючках; или рядами каменных оградок, – следами террас, на которых спокон веку разводили здесь сады и виноградники... Только где же те «бездны», которыми будто бы поражают Иудейские горы? Где высоты, что будто бы "еще дышат величием Иеговы и ужасами смерти"?

Солнце скрылось, в горах тень. Мы уже в самой сердцевине их. Все поднимаясь и поднимаясь, проползаем кремнистые долины, извивающейся гусеницей огибает поезд серо-желтые каменные ковриги, густо усыпанные круглыми гольшами... Это именно здесь, в одной из этих котловин, "взял посох свой в руку свою Давид и выбрал пять гладких камней из ручья и поразил Голиафа..."

Перед вечером поезд выползает, наконец, на темя гор – и вдали, среди нагих перевалов и впадин, изрезанных белыми лентами дорог, показываются черепичные кровли нового Иерусалима, окружившего с запада зубчатую сарацинскую стену старого, лежащего на скрытом от нас скате к востоку. Тут мой спутник поднимается с места, становится лицом к окну, закрывает глаза и быстро-быстро начинает бормотать молитвы. Мы уже на большой высоте, солнце стоит низко, поднялся ветер – и дрожь пробегает по телу при выходе из жаркого вагона. Не дрожь ли горького разочарования? Новый, но какой-то захолустный вокзал из серого камня. Перед вокзалом галдят оборванные извозчики – евреи и арабы. Дряхлый, гремящий всеми винтами и гайками фаэтон, пара кляч в дышле... И в то время как сизый носильщик швыряет в фаэтон наши чемоданы, спутник мой по-детски, ладонью наружу, закрывает глаза и тихо плачет, покачивая шляпой.

II

Вчера весь день я бродил по Иерусалиму, нынче объехал верхом вокруг его стен и на закате возвратился к Западным воротам.

Как груба и стара громада ворот! Зубчатая сарацинская башня, в упор освещенная низким солнцем, вся как будто из потемневшего от времени железа. Небольшая площадь за воротами почти вся в тени, падающей и от них, и от тяжелой цитадели Давида с ее рвами и бойницами. Направо – несколько европейских домов, магазинов. Напротив – улица Давида: узкий, темный, крытый холстами и сводами ход между старыми-старыми мастерскими и лавками. Из него выныривают навьюченные ослы, фески, женщины, с головой завернутые в покрывала, постукивающие деревянными скамеечками, заменяющими здесь туфли... Вечерний свет, падающий из ворот на жерло этого входа, делает его совсем черным. Как раз возле него – высокий, узкий дом, наш отель. Спрыгнув с лошади, я иду туда, где провожу все вечера, – на крышу. Иду по внутренним и наружным лестницам, на одном повороте останавливаюсь: за окном подо мной – громадный "водоем пророка Иезекии", темно-зеленая вода которого стоит прямо среди домовых стен с решетчатыми окошечками, пробитыми как попало – и очень высоко, и очень низко. Медленно спускается из одного такого окошечка кожаное ведро на веревке...

Солнце на закате. Я выхожу на крышу, снимаю пробковый шлем, и по голове моей дует с запада сильный и прохладный ветер. Небо глубокое, бледно-синее, без единого облачка. Я на темени Иудеи, среди волнистого плоскогорья, лишь кое-где покрытого скудной зеленью. Все мягкого, но очень определенного серо-фиолетового тона. Застывшие перевалы, глубокие долины, куполообразные холмы... За мной, в закате – оливковые рощи и раскиданные по холмам здания: католические приюты, школы, госпитали, виллы. На севере, на горизонте, – четкий известковый конус, гора Самуила. На востоке, за Кедром и горой Елеонской, – Иудейская пустыня, долина Иордана и стеной нежно-фиолетового дыма заступивший полнеба, ровный и высокий хребет от века таинственных Моавитских гор. Прямо же подо мною плоской, голой

кровлей желто-розового цвета лежит каменная масса небольшого аравийского города, со всех сторон окруженного глубокими долинами и оврагами.

"Иерусалим, устроенный, как одно здание!" – вспоминаю я восклицание Давида. И правда: как одно здание лежит он подо мною, весь в каменных купольчиках, опрокинутыми чашами раскиданных по уступам его сплошной кровли, озаренной низким солнцем. Первобытно-простой по цвету, первобытно-грубый по кладке, без единого деревца, – только одна старая высокая пальма на южной стороне, – он весь заключен в зубчатую толщу стен и кажется несокрушимым. Он, воспетый Давидом и Соломоном, некогда блиставший золотом и мрамором, окруженный садами Песни Песней, ныне возвратился к аравийской патриархальной нищете. Уступами сходящий к кремнистой ложбине Кедрона, к переполненной несметными могилами Иосафатовой долине, окруженный пустырями и оврагами, он кажется тяжким и грубым вретисцем, одевшим славный прах былого.

Над ним высятся редкие минареты, католические колокольни и рубчатый черно-синий купол приземистой мечети Омара, занявшей место храма Соломона. За стеной домов, над водоемом, лежащим подо мною, два тоже рубчатых черно-синих купола. Это главы тяжких, вросших в землю храмов над Гробом и Голгофой. В чистом воздухе необыкновенно близка кажется мечеть. А до купола Гроба просто хочется дотронуться. Тысячи черных стрижей верезжат и носятся над этой каменной стариною. Солнце опускается, в темных норах и переходах, скрытых кровлею города, в грязных базарных рядах замирает шум и говор торга... Боже, неужели это правда, что вот именно здесь был распят Иисус? И неужели это над его Гробом блещет теперь в полумраке византийских сводов и подземелий жуткое великолепие несметных лампад, огромных погребальных свечей, золота и драгоценных камней, стоит бальзамический дым ладана, запах воска, кипариса, розовой воды!

Вот с какой-то католической башни одинокий звонкий колокол бьет семь. Когда замирает его последний звук, издали раздастся грустный сильный альт, призывающий к смиренному прославлению Аллы за мирно угасший день. Ветер с запада, холодный. Солнце скрылось. На город и на всю Иудею пала легкая пепельная тень. Моавитские горы – как южное море в тумане. Блекнет серо-сиреневая пустыня Иордана. Пепел, павший на город, становится розово-сизым. Ветер колеблет перья одинокой пальмы, возвышающейся над ним...

Я оборачиваюсь: мутно-лиловые облака плывут по бледно-алому закату. Выше заката неба точно нет: что-то бездонное, зеленоватое, прозрачное. Потом я снова гляжу на восток, и меня уже слепит печальная тьма быстро набегающей ночи. Внизу стучат, поспешно закрывая лавки. Жизнь замирает, прячется в свои норы. Сумрачны стали купола Мечети и Гроба. Темным ветхозаветным Богом веет в оврагах и провалах вокруг нищих останков великого города. Или нет, – даже и ветхозаветного Бога здесь нет: только веянье Смерти над пустырями и царскими гробницами, подземными тайниками, рвами и оврагами, полными пещер да костей всех племен и народов. Место могилы Иисуса задавлено чернокупольными храмами. Мечеть Омара похожа на черный шатер какого-то тысячелетия тому назад исчезнувшего с лица земли завоевателя. И мрачно высятся возле нее несколько смоляных исполинских кипарисов...

"Се оставляется вам дом сей пуст..."

III

На Сионе за гробницей Давида видел я провалившуюся могилу, густо заросшую маком. Вся Иудея – как эта могила.

Я был в Вифлееме и Хевроне. Путь до Вифлеема самый живой из всех Иудейских путей. Я ехал утром, и в жарком блеске утреннего солнца и золотисто-синего воздуха тонули горы и долины на востоке, горячо и ярко белело шоссе передо мною, весело зеленели посевы по красноватым перевалам вокруг, в садах миссий ворковали дикие голуби. И вспоминались сады и виноградники Соломона:

– Цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышится в стране нашей... Встань, возлюбленная моя! Выйдем в поле, побудем в селах; поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустились ли виноградные лозы...

Как голос Жениха-Христа, обращенный к Невесте-Церкви, понимала древняя церковь этот сладкий весенний зов: "Встань, возлюбленная моя!" Но не ко всей ли земле был обращен этот

зов?

По пути в Вифлеем зеленели когда-то сплошные сады, где "деревья опускали цветы долу, воды цистерн выходили из краев и на всех ветвях пели птицы, приветствуя проходящую с младенцем на руках Марию..."

Вифлеем – жизнь, воздух, солнце, плодородие; его тесно насыпанные по холмам палевые кубы смотрят на восток, на солнечно-мглистые дали Моавитских гор, от которых некогда пришла кроткая прамаменья Давида Руфь.

Но за Вифлеемом – пустыня. Целый день только глинистые ковриги гор, усеянные круглыми гольшами, да кремнистые долины. А ведь эта ржавая земля, перемешанная со щебнем, ведь это и есть Страна Обетованная, страна, что родит теперь больше всего дикого маку. Точно фиолетово-красные озера стоят в долинах среди гор, усыпанных гольшами. Точно сперва кровавый, а потом каменный ливень прошел по этой стране...

Водоемы Соломона! Я ждал их с волнением – и вот увидел наконец. Влево от дороги стоят руины зубчатой сарацинской крепости. За ней вход в новую глухую, мертвую долину. И уступами лежат в этой долине три гигантских цистерны. Первая суха, пуста. Во второй половина пока того дна чуть прикрыта бирюзовой водой. В третьей покрыто все дно. Густые зеленые кудри дикого плюща виснут со стен. Сквозь них шелковисто и дремотно шумят в тишине серебристые каскады. И заунывно-равнодушно наигрывает на плакучей свирели мимо проходящий пастух, зорко поглядывая на черных коз, рассыпанных среди гольшей по окрестным обрывам. Маленькое, совсем черное лицо, женственно обрамленное шерстяным платком под двойным шерстяным обручем. Маленькая вьющаяся борода, огненные глаза. Грубые бедуинские башмаки. На худое тело надета белая рубаха до колен, подпоясанная платком. На плечи накинута траурная шерстяная хламида, белая в черных полосах. За плечами – кремневое ружье... Совсем не о Соломоне напоминает этот потомок Измаила и Агари! Жизнь совершила огромный круг, создала на этой земле великие царства и, разрушив, истребив их, вернулась к первобытной нищете и простоте...

Перед вечером видел я еще один след Иудеи. Ехали мы опять по долине, и проводник указал мне на пещеру у подошвы холма – на "пещеру Иеремии". Я свернул к ней. Вечер был мирный, с нежно синеющими далями, – летний вечер на юге России. Возле пещеры цвел куст дикого шиповника. Стрелой вылетел из нее шакал, мелькнул лисьим хвостом и, вскочив на пригорок, сел и наострил уши. На земле, при входе в пещеру, закопченной дымом, валялись пестренькие крылышки съеденной совки...

Под Хевроном холмы живописней. Все они опоясаны рядами террас, на которых зеленеют старые дубы, сереют старые сливы, лежат толстые лозы ханаанского винограда. Но чувствуется одно: приближаясь к первой столице Иудейского царства, все более углубляешься в страну ветхозаветных кочевников. Повстречался караван. Медленно двигались высокие верблюды, важно выгнув свои тонкие шеи, откинув маленькие головки с темными умными глазами и показывая большие продольные ноздри. Несколько черных оборванных разбойников шло сзади...

А Хеврон – это дикое мусульманское гнездо, серый каменный поселок в узкой Долине Возлюбленного. Базарная улочка его стара и грязна несказанно. Пройдя ее, поднимешься на взгорье. Там одиноко стоит нечто вроде маленькой крепости, где почивают Авраам и Сарра – прах равно священный христианам, мусульманам и иудеям. Но мальчишки все-таки швыряют камнями в подходящих к нему поклонников немусульман, травят их собаками...

В Греции, Риме, Египте историческая жизнь почти не прерывалась. Гибли и они в свой срок. "И зарастали дворцы их колючими растениями, крапивой и репейником – твердыни их; и были они жилищем шакалов, пристанищем страусов; и звери пустыни встречались в них с дикими кошками, и демоны перекликались друг с другом". Но мешало ли это возникновению среди развалин новых царств?

Не то было в Иудее.

В мире нет страны с более сложным и кровавым прошлым. В списках древних царств нет, кажется, царства, не предавшего Иудею легендарным бедствиям. Но в Ветхом Завете Иудея все же была частью исторического мира. В Новом она стала такою пустошью, засеянной костями, что могла сравниться лишь с Полем Мертвых в страшном сне Иезекииля. Ее необозримые развалины ужаснули самого Адриана. Что Навуходоносор перед Титом или Адрианом! Навуходоносор "пахал Сион". Тит "выше стен" загрозил его трупами. Приближение его было приближением воинства Сатанаила. Тучи сгустились, спустились над храмом Соломона, и, в гробовом

молчании, сами собой распахнулись бронзовые двери его, выпуская воинство Иеговы. "Мы уходим!" – сказал Иудее неведомый голос. А при Адриане внезапно распалась гробница Давида, и "волки и гиены с воем появились на улицах пустынного Иерусалима". То был знак близкого возмездия за последнее отчаянное восстание иудеев, перебивших на Кипре около трехсот тысяч язычников, в ветхозаветной ярости пожиравших мясо убитых, сдиравших с них кожу на одежды... И чудовищно было это возмездие!

Оно было исполнением пророчеств. Да замрет в Иудее "голос торжества и голос веселия, голос жениха и голос невесты". Да не останется камня на камне от великого, стократ погибавшего в крови и пламени Города Мира. Ибо на долгий, долгий срок земля его, вся пропитанная кровью, должна была стать "терном и волчцами".

Жить обычной жизнью после всего того страшного, что совершилось над ней, Иудея не могла. Долгий отдых нужен был ей. Пусть исчезнет с лица ее всякая память о прошлом. Пусть истлеют несметные кости, покроются маком могилы. Пусть почиет она в тысячелетнем забвении, возвратится ко дням патриархов...

И она возвратилась.

1908

Камень

I

Открыв глаза, почему-то с особенной радостью увидел я нынче открытое окно своей холодной каменной комнаты. На аршин от окна – высокая желтоватая стена соседнего дома. Ранний солнечный свет золотит ее, заглядывает и ко мне. Где-то внизу по-деревенски блеет коза, где-то вверху раздаются звонкие голоса детей, собирающихся в школу. Вдали, на базарах, восторженно рыдает осел.

Холодно и на крыше, но ослепительное солнце, только что поднявшееся из-за Моавитских гор, над долинами, затопленными светлым паром, уже пригревает одежду, руки. Прячут утренний запах тлеющего на очагах кизяка, его горячего дыма, выходящего из труб прозрачным, дрожащим. В тишине слышен плеск бурдюков, опускаемых из окон в зеленую воду водоема, еще полного густой тени; слышен зычный крик водоносов, бегущих по крытым улочкам базаров, говор и дробный стук копыт на площади возле цитадели. Весело верезжат и носятся несметные стрижи над розово-желтой кровлей города, над ее опрокинутыми каменными и глиняными чашами, и вокруг черного купола Гроба. Жарко блещет полумесяц на великолепной мечети Омара, такой одинокий среди окрестной старины и бедности.

Стук копыт – это приводят лошадей для туристов и паломников европейцев. Европейцы живут по отелям, католическим и протестантским миссиям, осматривают святыни почтительно и спокойно. А говор – это говор русских мужиков и польских евреев, идущих плакать. Одни будут лить слезы у Гроба, другие – у Стены Плача, уцелевшей от храма Иеговы. Русские живут в скучных казенных корпусах Православного Общества за Западными воротами. А евреи ютятся в трущобах южного квартала и плачут у останков древнего Сиона, нарядившись в бархатные халаты и польские шапки из остистого меха, под которыми видны на затылках ермолки, а на висках огромные завитки.

Все те, что спешат к мечети Омара, Стене Плача или просто на базары, неминуемо должны пройти по улице Давида. В этом длинном каменном коридоре, уступами спускающемся под уклон, в этих тесных и пахучих рядах старого Востока течет непрерывная река – ослов, патеров, имамов, верблюдов, женщин, турецких солдат, бедуинов и паломников всех исповеданий. Своды, холсты и циновки делают его тенистым, но кое-где между ними видно яркое небо, пыльно-золотистыми столпами прорезывается солнце, и даже в тени чувствуешь, как быстро приближается жаркое палестинское утро. Вот серебром блеснули в этой живой солнечной полосе две белые женские фигуры, вот, напомним Яффу, промелькнул в ней старик, курчаво-седой, черно-сизый, с толстыми губами, тонкими борцами и раскрытой грудью, под черным платком и в пастушеской пегой хламиде; вот ярко озаренный угол какого-то вросшего в землю дома, сложенного из обломков дикого камня и древнееврейского мрамора, с травой на карнизе – над входом в

мясную лавку... Все сильнее и радостнее чувствуется близость к какому-то далекому радостному утру дней Иисуса...

Один из переулков налево весь состоит из лавок с крестиками и образками. Дальше калитка в каменной ограде, а за ней каменный двор, полный жаркого солнца, стиснутый стенами греческих и латинских подворий и самого храма. Мраморная паперть его занята торговцами, разложившими на ней все те же кипарисные и перламутровые крестики, четки и раковинки. И этот двор, храм – это-то и есть "Юдоль Мертвых". Некогда она лежала вне городских стен, была пустошью, служила для свалки нечистот и крестной казни. Потом стала величайшей святыней мира. И владели ею то Рим, поставивший над могилой распятого храм Венеры, то Византия, то Хозрой, то Омар, то Готфрид, то султаны Стамбула...

Фасад храма сер и тяжел. Входы его в больших глубоких сводах, украшенных обветшалыми барельефами.

Один грубо заложен камнями. Другой широко зияет темнотой, усеянной цветными огоньками лампад. Два старинных решетчатых окна во втором ярусе слишком малы, незаметны по сравнению с фасадом. И фасад кажется частью слепой крепостной стены. Толпой выходят русские мужики и бабы, оборачиваются, кланяются до земли и, встряхнув волосами, вздыхая и вытирая лапами заплаканные глаза, идут бродить по базарам... Злорадно верезжат и черными стрелами носятся вокруг горячо нагретых стен стрижи... Снисходительно-ласково, притворно-сердито воркуют голуби на выступе карниза...

В портале, на широких нарах, курят, пристально глядя на шахматы, турецкие солдаты. Дальше – сумрак первого притвора, и среди исполинских погребальных свечей, на низком помосте, под балдахином, увешанным дорогими разноцветными лампадами, – желто-розовая плита: Камень Помазания. Налево – ротонда под колоссальным несведенным куполом, детски расписанным облаками, лазурью, ангелами. Посреди – часовня песочного мрамора, вся в блестящих окладах и горящих лампадах. У входа ее горят разноцветные свечи, перевитые сусальным золотом, выше роста человеческого... Вот он, этот жуткий погребальный Вертеп, такой тесный, что в нем трудно повернуться, и настолько залитый светом, что в нем слепнешь и не сразу разглядишь у стены направо низкую лежаночку из мрамора! А к ней-то и текут со всего мира, ее-то и кропят ежечасно розовой водой, над ней-то и пылают пятьдесят лампад и целые костры восковых свечей...

После жара и блеска Вертепа, сумрачно кажется в Ротонде. Тут с утра до вечера – сплошной крестный ход, давка, слезы, рыдания, служба на всех языках. Служат и в греческом соборе, рядом, и в католических приделах, и на Голгофе – маленьком темном алтаре, куда поднимаются из преддверия Ротонды по мраморной лестнице. Служат и в дальних подземных храмах, где стоит вечная ночь, мрак, озаренный лампадами, и холод могилы... И всюду золото, иконостасы, драгоценные камни, образа всех времен и всяческого письма, ладан, распятия, статуи Мадонны...

"На горе сей пьют радость, пьют вино!"

II

Но еще более горькая радость – у Стены Плача, у останков святилища Иеговы.

Если не свернешь с улицы Давида к Гробу и пройдешь немного ниже, то необходимо свернешь вправо, в узенькие и жаркие трущобные ходы, что уступами приводят в глухой длинный закоулок. С трех сторон замыкают его стены каменных домишек. С четвертой, – если стать лицом к востоку, – громадная крепостная стена: Стена Плача, остаток укреплений вокруг храма Соломона, а теперь часть стен вокруг мечети Омара.

По утрам здесь тень. Зелень нескольких акаций радует глаза, отвыкшие в Иерусалиме от зелени. Радостными синими глазами глядит сверху небо. Но под стеной, под ее золотистыми камнями, отшлифованными мириадами уст, стоит немолчный стон, дрожащий гнусавый вой, жалобный ропот и говор. Он то замирает, то возрастает; то сливается в нестройный хор, то делится на выкрики. Женщины, накрытые шелковыми шальями, прислоняют к стене головы и бормочут ей свои жалобы покорно и несмело. Мужчины, прижавшись к ней левым плечом, держат в левой руке старинные молитвенники, а правую простирают к верхним камням. Они быстро-быстро читают, выкрикивают какие-то заклинания и страстно молят, ищут кого-то в ясном небе.

Они в отчаянии опускают веки, поднимают брови и, стона, раскачиваются... И вдруг опять оживают, раскрывают заблестевшие глаза... И в то время, как одни хватаются за головы, топают ногами и рыдают, другие жадно покрывают поцелуями стену, с восторженными воплями подсакивают и бьют в ладоши...

Сколько здесь круглоликих, огнеглазых юношей с черно-синими пейсами, в одеждах испанских евреев, и тонконогих, худосочных старцев, точно сбежавших из Долины Иосафата! Лица их бледны как смерть, головы закинута, большие выпуклые веки сомкнуты, крутые серые пейсы и белые длинные бороды трясутся. Страшно то, что эти библейские покойники наряжены – в новые меховые шапки сверх ермолок и в алые бархатные халаты, которые открывают жидкие ноги в белых чулках и погребальных туфлях. Но еще страшнее, когда они, на вечерних литаниях в пятницу, соединяют свои дрожащие голоса в один мучительный вопль, отвечая предстоящему.

– Ради чертогов покинутых! – скорбным тенором восклицает предстоящий.

– Одинокие, сидим мы и плачем! – жалобно, фальцетами вскрикивают старцы.

– Ради чертогов разрушенных...

– Одинокие, сидим мы и плачем!

– Ради стен ниспровергнутых...

– Одинокие, сидим мы и плачем!

– Молим тебя, умиلسердись над Сионом, – запекает предстоящий.

– Собери чад Иерусалима! – подхватывают старцы.

– Поспеш, поспеш, искупитель!

– Да воцарится на Сионе мир и радость!

– И опять расцветает жезл Иесея!

Но уже никогда, никогда не расцветит ему снова ветхозаветными цветами! Разве может забыть земля о том незабвенном утре две тысячи лет тому назад, когда вошел отрок в Назаретскую синагогу?

"Ему подали книгу пророка Исаии; и он, раскрыв ее, нашел место, где было написано: Дух Господен на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу..."

III

Мечеть Омара цветет над нищей и нагой Иудеей во всем богатстве и великолепии своих палевых кафель, голубых фаянсов, черно-синего купола, громадного мраморного двора и тысячелетних кипарисов.

Даже из-за Мертвого моря, с первых уступов Моава, видна она. В знойном неоглядном просторе открываются оттуда огнем горящие на юге и теряющиеся в блеске неба и солнца воды, поглотившие Содом и Гоморру; за ними – таинственная светоносная Аравия. На севере, в глубине бесконечных извилистых долин, – Иерихон. Маленьким оазисом темнеет он в пустыне, у слоистого подножья Иудейских гор. Выше, среди их голых желто-серых перевалов и впадин, как модель аравийской крепости, лежит Иерусалим – и тускло блестя над ним купола мечети и Гроба. И от Аравии, из-за Иордана, с морских побережий – отовсюду стекаются к стенам и святыням этой крепости пути поклонников всех стран и народов. Мечеть – первая Кебла Ислама. Сам пророк заповедал молиться, обратясь лицом к Камню Мориа, ныне покрытому ею: Мекка стала Кеблой позднее, уже после его смерти. И "пилигрим, вступивший за священную ограду мечети и поклонившийся Камню, один получает награду, равную награде тысячи мучеников, ибо здесь молитвы его так близки к Богу, как если бы он молился на небе".

Черномазый араб-часовой, в феске и синей турецкой форме, с карабином на плече, медленно бродил возле старых крепостных ворот, когда мы, спустясь по улице Давида, несмело остановились возле них. Еще очень недавно великих трудов стоило не только войти, но даже заглянуть во двор Святынища, а сто лет тому назад за это платили жизнью. Теперь часовой только покосил своими голубоватыми белками, только блеснул огненно-черным зрачком.

Близился полдень, странным металлическим светом блистали (в пролеты длинной отдельно стоящей прямо против ворот колоннады) грани этой огромной мечети, вознесенной на мраморный помост среди ослепительно-белого простора каменного двора. Древние кипарисы стражами

стояли возле нее. Несколько ветхозаветных олив раскидывались там и сям своими серебристо-пыльными пущами над плитами двора, проросшего тонкою бледно-зеленой травой. Под одной из олив, прямо, по-женски, вытянув ноги, сидели две благочестивые мусульманки, закутанные в легкие бледно-розовые покрывала. Голуби, трепеща и свистя крыльями, падали порою на горячие ступени помоста. Но казалось, что уже давно-давно не ступала в этом светлом дворе нога человеческая, – что в каком-то заповедном царстве растут эти черные картинные деревья и блистают чистотой эти каменные плиты. Мертвенно-холодно сияли вечно-свежие краски мечети, возвышавшейся в своем азиатском великолепии среди света и зноя, под слегка аспидным аравийским небом.

Она царит надо всем, что вокруг нее, и вся на фоне этого неба. Ее длинный восьмиугольник, весь из золотистых мраморов, и нежно-лазурный барабан, поддерживающий купол, все это немного приземисто по сравнению с величиной темно-синего свинцового полушария, рубчатого сарацинского купола, увенчанного необычно большим золотым серпом луны с соединяющимися острыми концами. По-аравийски сумрачная вверху, по-дамасски блистающая инкрустациями снизу, мечеть резко глядит в пролеты колоннады.

Мы поднялись на помост. И тогда мечеть еще ослепительнее предстала перед нами своей громадой. Почти правильная полусфера купола чуть-чуть заострена на вершине, чуть-чуть вогнута у основания – и кажется легкой. Верхний карниз барабана и пространство между его окнами – все в лазурных и белых майоликах, испещренных золотою вязью куфических надписей. Широкая, блистающая полировкой лента белых и лазурных изразцов, тоже вся в золотой вязи, идет и над большими полукруглыми окнами по стене самого восьмиугольника.

Худой, живоглазый мулла быстро распахнул дверь, и, разутые, скользя по желтым камышовым циновкам, вступили мы в прохладу и сумрак, слабо озаренный голубым и розовым светом драгоценных разноцветных стекол. "Что это кажется странным в этой мечети?" – думал я, пока глаза мои привыкли к ее полусвету. И, наконец, понял: ах, то, что нет в ней обычного простора!

Простора нет потому, что стоит в ней восьмиугольная колоннада: восемь широких столпов и шестнадцать колонн, соединенных архитравом. Пролеты между ними – арками. Как старинная парча, покрывает эти столпы и архитрав блеклая зелень, матовое серебро и золото мозаики, переносящей мысль к Византии. Византийскими капителями увенчаны и колонны.

Но мало того: за этой аркадой высится вторая – круг из четырех столпов и двенадцати колонн, поддерживающий барабан с куполом, круг колонн яшмовых и порфириновых – наследие Соломона и Адриана. И уже совсем необычно то, что с великим изумлением видишь в этом круге, за этими колоннами, за соединяющей их невысокой бронзовой решеткой: под зеленым шелковым балдахинном, нарушая всякое представление о всяческой человеческой постройке, тяжело и грубо чернеет дикая морщинистая глыба гигантского камня! Купол выстлан внутри той же матовой зелено-золотой парчой мозаики. Сказочно-разноцветное сияние льют рубиновые, сапфировые, топазовые стекла. Неясно блистает весь храм мраморами и загорающимися гранями хрустала на несметных люстрах. Тонким ароматом кипариса и розовой воды напоен прохладный сумрак... Зачем же так первобытно вторглась в этот божественный молитвенный чертог сама природа?

Талмуд говорит:

"Камень Мориа, скала, на которой первый человек принес первую жертву Богу, есть средоточие мира. Скалу Мориа, что была покрыта некогда храмом Соломона, а ныне хранима мечтью Омара, положил в основание вселенной сам Бог".

Древние книги и легенды Иудеи и Аравии говорят:

"В Иерусалиме Бог сказал Скале: ты – основание, от коего начал я создание мира... От тебя воскреснут сыны человеческие из мертвых".

"Сойдя в пещеру под Скалой, Медшир-ед-Дан видел чудо чудес: колеблющаяся глыба Скалы, ничем и никем не поддерживаемая, висела в высоте, подобно парящему орлу".

Магомет – в ночь своего путешествия из Медины в Иерусалим на верблюдице Молнии – "стал своей священной стопю на Скалу Мориа, раскачивающуюся между небом и землею". Был взмах, почти достигший врат рая, – и Скала издала крик радости. Но пророк повелел ей молчать – и вошел во врата рая. А Скала вновь пала к земле – и вновь вознеслась – и в движении своем пребывает и доныне: "не мешаясь с прахом и не смея преступить неба".

Кабалистические книги говорят:

"Адонай-Господь воздвиг в Бездне Камень и начертал на Камне имя святое. Когда поднимаются воды Бездны до Камня, они отбегают вспять в ужасе. Когда произносится ложное слово, Камень погружается в воды – и смываются буквы святого имени. Но ангел Азариэла, имеющий 17 ключей к таинству святого имени, снова пишет его на Камне, и оно снова гонит прочь воды".

"В дни пророков Камень был внутри святилища храма Соломона, и первосвященник ставил на нем курящуюся кадьницу. На нем же стоял и Ковчег Завета, урна с манной и лежал вечно цветущий жезл Аарона. Ныне Ковчег Завета скрыт в тайниках под Камнем, где сохранял его от врагов сам Соломон, которому Камень давал неземную силу: с него видел царь весь мир от края и до края – и понимал язык птиц и зверей".

Но вот в день падения храма, в девятое число месяца Аба, Камень Жизни останавливается. Сила его иссякает. Тайну Тайн, неизреченные письма, означающие святое имя, прочел Иисус. И к нему же перешла и сила Камня. "Иисус, воспринявший силу его, творил чудеса этой силой". Где же теперь силы Камня?

После Иисуса, говорит Ислам, сила Камня перешла к пророку. И прав Ислам: пророк дал «движение» Камню. "Но недолго сияло солнце Ислама во всей славе своей". Что же готовит миру будущее?

1908

Шеол

В сумерки, проходя по базару в Яффе, я нечаянно поднял глаза и увидел тонкий серп луны. Закрывались в полумраке рядов лавочки, проносили от фонтана последние кувшины. Собаки, горбясь и сливаясь с темнотой внизу, подбирали остатки торга. Неожиданно дошла откуда-то нежная сладость цветущего дерева. Я поднял глаза и увидел в легком и прозрачном небе вихор пальмы, а над ним – острый, чистый, тонкий "лук Астарты".

На берегу, под городской стеной, тянуло теплым ветром с неоглядной мелкой зыби взморья. Чуть видные, мягко и красиво намазанные сизой мутью облака терялись на закате... "Сумерки, море, угол ханаанско-аравийских берегов..." – подумал я. Над стеной, в старом каменном домишке, зияет черная оконная дыра без стекол. Слышно, как там, в камерке без огня, укладываются спать и, плача, ссорятся дети. На западе, над лиловой тьмой моря, склоняется покрасневший, меркнувший и теряющийся в небе полумесяц. И так пустынные сумерки над гаванью бесследно исчезнувшего с лица земли Ханаана, так все просто и бедно вокруг, точно я один в мире, у его безлюдного начала...

На другой день я покинул Яффу. Убирали трапы, вечерело. Жаркое солнце склонялось к золотому морю. Рейд стоял как зеркало, рифы обнажились, отдыхали, белые чайки, плававшие над кормой, казались огромными. В упор освещенная Яффа, громоздясь на холме перед нами, переливалась зеркальным отражением воды и вся была цвета банана. Задрожала, поворачиваясь, корма, забурился винт – и Яффа тронулась. Но я не спускал с нее глаз до тех пор, пока она, все отдаляясь, не слилась, наконец, с песками на юге, фиолетовыми от голубой дымки воздуха и опускающегося солнца.

А потом я смотрел на Саронскую долину, вдоль которой мы шли на север. Все смутней и печальней становилась долина. Солнце погасло, и вода у берегов стала тяжелой, кубовой. Одиноким, затерянным казалось какое-то селенье, далеко-далеко белевшее в сини равнины. Я смотрел и дивился безлюдности этого побережья. Вон где-то там, в устьях мелких рек, бегущих от Кармила, лежала Кесария. Некогда это был славный порт и город Ирода; теперь только пески, камни и колючий кустарник... И так – по всему побережью.

С вечера было тепло и ясно. Палуба, испещренная легкими тенями снастей, блестела. В вышине, сквозь снасти, тепло сиял полумесяц. Но близился Ливан. На ночь я открыл в каюте иллюминатор – и после полуночи проснулся: стало прохладно, по темной каюте ходил сильный влажный ветер. Я заглянул в иллюминатор: и там была серая темь. Пахло морем. Ливан дышал мглою. Во мгле, как на краю земли, висели два мутных маячных огня. Дальний был красноватый. Я подумал: это Тир или Сидон. И мне стало жутко.

За Кесарией – следы Египта и Финикии. Во времена служения Астарте на месте Кесарии был какой-то большой ханаанский город, упоминаемый в надгробном заклитии царя Эзмунаца-

ра. Ранее, во времена поклонения "богу всепожирающего времени", крокодилу, был египетский Крокодилопос. И в песках, затянувших останки этих городов, и теперь еще находят разбитые синиты, погребальные колодцы крокодилов...

В полночь мы прошли Кармил, горный мыс Ваала Громовержца. С Кармила иудейские пророки метали самые ярые проклятия язычеству. На Кармиле, в одной из пещер троглодитов, жил Илия, лютейший враг Ваала. Но жизнь на Кармиле, бывшем ипостасью Ваала, не прошла для Илии даром. Тысячи преданий слили его образ с образом солнечного бога: Илия был питаем вранами, повелевал громами и бурями, низводил огонь и дождь с неба, превращал в камни растения, заживо, как истый сын Солнца, вознесся к нему на пламенной колеснице. И все это сделал Кармил, на котором не было даже капищ, – только каменные жертвенники, – Кармил, у подошвы которого Лемех убил одичавшего Каина, приняв его за зверя. Необозримое море, с трех сторон лежащее под Кармилом, бушует круглый год. И богослужения в монастыре кармелитов, стоящем теперь на Кармиле, принимают порой жуткое величие древних языческих богослужений. "Море заглушало голоса поющих и орган, – говорит один паломник. – Над горою стоял непрерывающийся гул – глас Божий, потрясающий пустыню и приводящий в содрогание горы..."

Качало у Кармила и нынче. Засыпая, я чувствовал, как темная каюта опускается и поднимается, слышал скрип переборок. Теперь было тихо. Кармил был уже далеко. Ровно, с однообразным плеском бежала вода вдоль борта погруженного в сон и тьму парохода. Мы шли уже мимо "блудилищных гротов Астарты" и погребальных спэосов, мимо каменисто-песчаной полосы под волнистыми отрогами и скатами Ливана, – мимо самого Шеола, этого сплошного некрополя между Тиром и Сидоном. Когда-то от Тира до Сидона "можно было пройти под землей – по гробовым пещерам и колодцам". И как дерзко мешались когда-то с ними «гроты» Астарты! Ее поклонники и поклонницы чертили мистический знак треугольника даже на стенах спэосов. А Тир? Разве думал он о смерти, – он, "Сын Солнца и Моря, рожденный в веках баснословных, превзошедший все народы жаждой жизни, алкавший земель всего мира"?

И все же победила – смерть. "Тир, умолкший среди моря! Кую мзду приобрел ты от него? Сия глаголет Адонаи-Господь: се аз на тя, Сур, и приведу на тя языки многи, яко же восходит море волнами своими..." Ужасные слова! Но есть еще ужаснее: "Вот я приведу на тебя. Тир, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей... Сделаю тебя городом опустелым, подобно городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину... Низведу тебя с отходящими в могилу, к народу, давно бывшему, и помещу тебя в преисподних земли... Ибо вознеслось сердце твое и сказало: аз есмь Бог!"

"Аз есмь Бог..." Библейские пророки до потрясающей высоты вознесли проклятия слишком «вознесшейся» жизни. И по слову их и вышло: тиро-сидонский берег, столь щедро оплодотворяемый Богиней Жизни, дал начало образу Шеола – преисподней. Его погребальные камеры и колодцы, перемешанные с гротами страсти, получили страшные названия "сетей смерти", "колодцев гибели". И "простерся страх смертный над радостной страной Ваала-Солнца". Это ведь он, этот страх, внушил царю Эзмунациру мольбу его скорби и беззащитности:

"В месяц дождей, в год четырнадцатый царствования... Поражен, пленен я, наследник дней героев, сошел в ад, сын бога смерти... Заклятие мое перед всем царством и всем человечеством: да не вскрывает никто входа моего, не сдвигает гробницы моей, не оскорбляет меня внесением другого гроба!"

Бог ли человек? Или "сын бога смерти"?

На это ответил сын Божий.

1909

Пустыня дьявола

I

"Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему..."

Глядя с крыш Иерусалима на каменные окрестности – чаще всего на восток, на пустыню Иудейскую, – каждый раз вспоминаю я эти слова, – пролог величайшей из земных трагедий.

Дьявол, Азazel, имя и образ которого так и остались тайной, был издревле владыкой пу-

стыни. Это он обитал в ее знойном серо-каменном море, некогда взбудораженном подземными силами и навсегда застывшем. Это ему каждый год – в десятый день седьмого месяца – посылали левиты и первосвященники Козла Отпущения – от лица всего Израиля, за все грехи его. И не странно ли, что именно оттуда прозвучали первые глаголы предтечи!

После бури и молний Бог пришел в пещеру Илии в сладостном веянье ветра. Сладостным ветром было и пришествие в мир Иисуса. Но лежала "секира при корне дерева". Жуткими пророчествами возвестил предтеча о грядущем за ним.

Не было тогда города, равного богатством и красой Иерусалиму. Из Яффы были видны его здания, блиставшие золотом и мрамором: "Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих".

В тишине зеленых долин, в мирных людных селениях протекла молодость Иисуса. Но в первые же дни служения своего должен был он отдать дань пустыне. Он крестится – и уже готов раскрыть уста, дабы благовествовать миру величайшую радость. Но – "Дух ведет его в пустыню", в царство Азазела, тех ветхозаветных, Богом проклятых мест, где "скрылся Каин, жаждущий крови брата своего". "И был Иисус там сорок дней, искушаемый сатаной, и был со зверями".

Пустыня видна с крыш Иерусалима. Пустыней называется только тот скат, та дикая и от века бесплодная вулканическая страна, что за Элеоном, эти растрескавшиеся от жгучего солнца бугры и перевалы, усеянные колючками и голышами, волны и впадины былых землетрясений. Но разве власть Азазела не простирается и на тропически-знойный дол Иордана, – эту глубочайшую в мире низменность, с ее смертоносными лихорадками и воистину мертвыми водами, одно дыхание которых убивает все живое?

Небо нынче нежное, бледно-голубое. Небо и солнце затуманены дыханием полдня, сухого, горячего, душного. Жаром веет от старого каменного города, его узких и грязных базарных ходов под сплошную кровлей сизо-песочного цвета. Одинокая пальма, возвышающаяся на южной окраине, опустила свое неподвижное опахало. Тускло темнеют куполы Гроба Господня и мечети Омара. Тысячи черных стрижей кружат, сверлят полдневную тишину скрипучим верезжанием. И море пепельно-сиреневых холмов, простирающееся окрест, дремлет, теряется в мгlistой суши...

Побледнела даже сказочно яркая бирюза у подошвы Моава.

II

После полдня тянет легкий ветер, небо, воздух, солнце – все становится ярче, яснее.

За иссохшим руслом Кедрона дорога поднимается – мимо погребальной пещеры Богоматери, Гефсиманского сада и гробниц Авесалома и Иосафата, по каменистым склонам Элеона, среди несметных плит еврейского некрополя, стоящих как раскрытые книги, испещренные крупными письменами.

Есть ли в мире другая земля, где бы сочеталось столько дорогих для человеческого сердца воспоминаний?

Гроб Мариам! У стен сада, столь любимого сыном, в ложе кремнистой долины, под сводами древнего полуподземного храма, во тьме которого блещут огни, оклады и самоцветы, почил она, простая женщина из Назарета, венчанная высшею славой – земной и небесной.

А русло Кедрона? Это дол Иосафата, место грядущего Страшного суда, великая житница Смерти. Нет правоверного иудея и мусульманина, который не полагал бы несказанной радостью быть погребенным в этой юдоли и не верил бы, что и всех лишенных этой радости созовет в нее Господь в день суда своего. Он ведь сказал устами Иоила: "Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафатову".

Солнце уже клонится к западу, за Иерусалим. От его восточной стены пала тень. Но ослепительно-золотисты скаты Элеона, дорога, извилисто прорезанная по ним, плиты и гробницы. Золотиста лазурь над Кедроном и горой, золотисто-песочного цвета ястреба, реющие над нами, трепещущие своими острыми, в черных ободках крыльями: любят они эти скаты, любят сушь пустыни, в которую медленно вступаем мы, огибая среди запыленных олив Элеон.

За Элеоном – Вифания. Это уже преддверие пустыни. Несколько старых верблюдов в грязно-рыжей сухой шерсти загораживают дорогу на повороте, грубым видом своим говоря о патри-

архальных скитаньях в камнях и песках. Но кругом еще мирно и весело. Чист и силен предвечерний свет, дали ясны, небо бездонно, склоны и холмы в садах и виноградниках. Даже тощие посеы зреют кое-где на глинистой почве между ними. И Абудис, что направо, и Вифания, что налево, – несколько кубов из серого булыжника, окруженных смоковницами, огромными кактусами, запыленными терновниками; в крутых, кривых и узких проходах между ними всюду сор и тряпки, полуголые черные дети, слепцы и убогие. Но как все-таки должны были радовать после пустыни их сады и люди!

И живым кажется образ Иисуса. Сколько раз подходил он сюда, похудевший, побледневший за дорогу в пустыне! Здесь жили друзья его. О древности могилы Лазаря говорят те камни времен Ирода, из которых сложен вход в могильную пещеру, куда спускаются узкой холодной шахтой, со свечой в руке. Подлинней же всего древность того пути, что ведет от Вифании в страну Азазела глубокой, извилистой и страшной в своей мертвенности ложиной Эль-Хот. Этот путь неизменен от века. Иных сносных путей в пустыне Иудейской нет, не было, да и не могло быть, ибо только на этом пути есть источник, – источник Апостолов, – без которого немислимы переходы по ней.

От Вифании начинается спуск, неуклонное падение. И страна, лежащая окрест, сперва поражает своей красотой, волнует радостью, обманывает, как искуситель.

На одном из скатов за Вифанией мы останавливаемся, очарованные. Воздух так прозрачен, точно его совсем нет. И пустыня, каменным волнистым морем падающая к Иордану, кажется так мала! Как серебристо-голубой туман – далекая и неоглядная долина Иордана. Южное устье ее налито сейчас таким густым и ярким аквамарином, который кажется неестественным на земле. А Моавитские горы похожи на великую грозовую тучу против солнца, заступившую весь восток и ни с чем не сравнимую по нежности, воздушности. Но минута – и это видение исчезает надолго, надолго...

Мы теперь в стране, лишенной всякого очарования, – если не считать редких пятен огненного мака, кое-где оживляющего ее. Резкими, крутыми изломами вьется и падает дорога с возвышенности на возвышенность. Быстро замыкается горизонт скалистыми и глинистыми ковригами, разделенными такими же логами... Мы уже давно в глубоком, извилистом ложе потока, иссохшего в незапамятное время, и известковая дорога, пробитая здесь тоже с незапамятного времени, поминутно переходит с одного бока на другой. Ни единого живого существа, кроме ящериц, не замечает глаз и не слышит ухо, гробовая тишина стоит над этой страной, столь бесплодной, что даже древнейших кочевников ужасала она, навеки связанная с образом незримо Обитающего в ней. Недаром бедуины еще и до сих пор складывают вдоль Вади-эль-Хот пирамидки из щебня – в знак заклания темных сил пустыни. Нет никакого сомнения в правоте тех, что называют этот путь именно тем, по которому, до самой таинственной «середины» его, провозжали левиты жертву Азазелу. Какой же ужас должен был охватывать проходящих здесь при виде Иоанна, решившегося разделить его обитель, когда внезапно, во весь свой рост, с громовыми глаголами, появлялся он перед ними из-за камней, в одежде из верблюжьего волоса! И что должно было испытать сердце Иисуса, обреченного провести здесь столько ночей – с их призраками, с лихорадочно-знойным ветром от Мертвого моря!

III

В глубокой котловине, из которой видны только жесткие очертания окрестных бугров да вечернее небо, белеет хан, – нечто вроде каменного сарая, – и жарко блестит при низком солнце вода возле него. Это место, где не раз отдыхал Иисус. Это "источник Апостолов", или, по древнему, источник Солнца, ибо не могли не посвятить древние эту "жизнь пустыни" богу жизни. Три бедуина, без плащей, с черными палками в серебряных обручах, стоят возле худых осликов и поджарых потных лошадей под седлами, с жадностью пьющих. Два сидят на пороге хана и курят, пристально глядя на нас черными византийскими глазами. Эти глаза ровно ничего не выражают, но кто знает, что на уме у этих измаильтян?

Те, что у источника, – народ оборванный и невзрачный. Сидящие на пороге – дело иное. И особенно один из них. Он неподвижным взглядом следит за нами, пока мы поим лошадей. Потом, ни на йоту не изменяя лица, кидает своему спутнику какую-то короткую гортанную фразу, совершенно не шевеля губами и так бесстрастно, точно это не он говорит, а кто-то внутри его. И

поднимается во весь свой громадный рост. Ноги его, обутые в стоптанные сапоги, очень длинны и слегка кривы, голова мала, откинута назад. Он на редкость худ, одежды на нем без числа. По плечам висят концы белого шерстяного платка, накинутого на голову и резко оттеняющего черноту глаз, сизый загар маленького жесткого лица, блестящую смоль редкой жесткой бородки. Тонкая, цвета мумии, шея обмотана шелковым лиловым платком. На теле – белая рубаха до колен, поверх рубахи бланжевый шерстяной халат в синеватых полосках, поверх халата – кубовая кофта на вате; и все это под широкой и длинной хламидой из черно-синей шерсти. Он идет, поправляя одной рукой заткнутые за широкий пояс из шали кремневые пистолеты и кинжалы, а другой – карабин за плечами.

– Откуда?

– Из Газы.

– А куда?

– В Иерусалим.

Но почему же, севши на свою резвую, злую и поджарую лошаденку, он поворачивает за нами? Мы едем на изволок рысью, – он не отстает. Мы прибавляем рыси, прибавляет и он, расширяя ничего не выражающие глаза и блестя зубами в ответ на наши удивленные взгляды... И вдруг, поравнявшись со мной, сует мне в руки медный латинский образок. Он кричит, что это – золото, и просит за него всего десять франков. Соглашается, впрочем, и на два. А получив их, круто поворачивает и исчезает за холмами и буграми, по которым уже синеют вечерние тени.

Вечернее низкое солнце все реже блещет на перевалах. Временами, из боковых оврагов и ущелий, из-за скал и известковых бугров, дует ветер, – порывистый, как дыхание горячего. И только топот копыт раздастся в гробовой тишине окрест, в скатах вдоль извилистого дна Вадиль-Хот. "Отсюда начинается дедь самая дикая, – говорит один старинный паломник. – Эта дорога есть древняя, проложенная самую природою. Иосиф Флавий упоминает о дикости ее. Невступно через два часа от Иерусалима мы поднимались на гору, на вершине которой видны остатки хана или гостиницы Благого Самаритянина. Это место называлось издревле Адомим, или Кровавое, по причине частых разбоев, здесь происходивших..." И глубокая тоска охватывает душу на этой горе, возле пустого хана, при гаснущем солнце. Вот она, эта «середина» пути, Бет-Гадрур, где бросали на произвол судьбы жертву Аззелу, – известковый перевал, поразивший некогда воображение самого Иисуса и создавший такую трогательную притчу! На этой "середине пути", который считался путем в преисподнюю, плакал сам прародитель, лишенный Эдема...

Чем дальше от Гадрура, тем все круче падает в провалы и ущелья известковая дорога, а с перевалов уже видно, что окрестные бугры изменили свой вид и состав, – стали конусообразными, похожими на потухшие вулканы, однообразного верблюжьего цвета. Уже несколько раз открывалась перед нами и долина Иордана, поражая обманчивой близостью своего пустынного, серо-блестящего от соли пространства, по которому, вдоль узкой реки, вьется темная лента зелени. Пространство за Иорданом, горы, кажущиеся теперь еще более похожими на тучи, и синее устье Мертвого моря ярко озарены низким солнцем. Но уже почти до самой середины долины достигает тень от Иудейской пустыни, обрывающейся над Иерихоном высокими скалистыми стенами. Тень и вокруг нас, – на всех буграх и во всех котловинах.

Многих обгоняем мы теперь, столь же диких и нищих, как в дни доисторические. Вот опять идут верблюды и за ними – идумейцы, в уголь сожженные ветрами и голодом, в одних кубовых линючих балахонах, их полуголые дети, облезлые собаки и с отрочества состарившиеся жены с лениво-скорбными, темными, как древнеаравийские предания, глазами. Вот черный и губастый старик в одной грязной рубахе, раскрытой на груди. Он сидит на ослике, гонит его, волоча по земле свои черные босые лапы. Вот верховой турецкий солдат, с карабином наперевес, зорко оглядывающий окрестные ущелья и овраги... Все спешат в Иерихон – единственное человеческое жилье, единственный оазис во всей Иорданской долине. И как только стемнеет, ни души не останется на этой страшной древней дороге.

IV

Ночи здесь сказочно-прекрасны. Они околдовывают трижды мертвую страну лихорадочными сновидениями, воскрешающими содомскую прелесть ее давно минувшей жизни.

В сумерки, на последнем, самом крутом спуске в долину, влево от дороги, внезапно открылась глубокая каменистая трещина – ущелье Кельта – и проводила нас до самой долины. Смутно белела дорога, шумел поток на дне уже совсем темного ущелья, и печально краснело несколько огоньков в скалистой стене за ним: там древнейшие притоны аскетов, тысячами погребавших себя заживо в криптах, которыми сплошь изрыты скалы Кельта. А когда мы спустились в долину и повернули влево, к Иерихону, черным и тяжким обрывом, уходящим в небо, встал перед нами кряж горы Сорокадневной. И огонек, чуть заметной точкой красневший и на этом обрыве, опять напомнил о той страшной борьбе, которую впервые воздвигли здесь люди против искусителя.

Вся иорданская низменность, страна, что некогда "орошалась, как сад Господень" и на весь мир славилась легендарным плодородием, красотой и греховностью Пятиградия, дворцами и твердынями трижды возрождавшегося из развалин Иерихона, поражает теперь тем запустением, "где лишь жупел и соль, где злак не прозябает, где ни голос человеческий, ни бег животного не нарушает безмолвия". Сады Иерихона дышали в дни его славы благовониями бальзамических растений, индийских цветов и трав. "Пальмы и мимозы, сахарный тростник и рис, индиго и хлопок произрастали в долине Иордана". Об этом свидетельствует даже и тот оазис, что уцелел на местах исчезнувшего с лица земли иорданского рая, даже имя того селенья, что наследовало Иерихону: Риха – благовоние. Но оазис этот, тропически зеленеющий у подножия горы Сорокадневной, близ источника пророка Елисея, так мал в окрестной пустыне, а селенье все состоит из двух-трех каменных домов, нескольких глиняных арабских хижин и бедуинских шатров.

В сумерки долина была молчалива, задумчива. Я сидел за Рихой, на одном из жестких аспидных холмов, что волнами идут к горе, – на могилах Иерихона, кое-где покрытых колючей травкой, до черноты сожженной. Далекое Моавитские горы, – край таинственной могилы Моисея, – были предо мною, а запад заступали черные обрывы гор Иудеи, возносивших в бледно-прозрачное небо заката свой высший гребень, место Искушения. Оттуда тянуло теплым сладостным ветром. В небе таяло и бледнело легкое мутно-фиолетовое облако. И того же тона были и горы за пепельно-туманной долиной, за ее меланхолическим простором. И туманной бирюзою мерцало на юге устье Моря, что терялось среди смыкавшихся там гор...

Но вот наступила и длится ночь. Она коротка, но кажется бесконечной. Еще в сумерки зачался таинственно-звонкий, горячечный шепот насекомых, незримыми мириадами наполняющих душную чашу оазиса, и приторно-сладко запахла его эвкалипты и мимозы, загоревшиеся мириадами светящихся мух. Теперь этот звонкий шепот стоит сплошным хрустальным бредом, сливаясь с отдаленно-смутным гулом, с дрожащим стоном всей долины, с сладострастно сомнамбулическим ропотом жаб. Стены отеля, его каменный двор – все мертвенно-бледно и необыкновенно четко в серебристом свете этих тропических звезд, огромными самоцветами повисших в необъятном пространстве неба. Оно необъятно от необыкновенной прозрачности воздуха – звезды именно висят в нем, а на земле далеко-далеко виден каждый куст, каждый камень. И мне странно глядеть на мою белую одежду, как бы фосфорящуюся от звездного блеска. Я сам себе кажусь призраком, ибо я весь в этом знойном, хрустально-звонящем полусне, который наводит на меня дьявол Содомы и Гоморры.

Я лунатиком брожу по саду и по двору отеля, но, кажется, никогда еще не было столь обострено мое зрение, слух. Все сливается в блеск и тишину. Но вместе с тем я вижу каждую отдельную искру, слышу каждый отдельный звук. Я вынимаю часы. Понимаю, что уже два, что самоцветы, плывущие в бездонном пространстве с востока, становятся все крупнее и лучистее, что мои ноги подламываются от смертельной усталости. Но разве у меня есть власть над собой?

Сад кружится в беззвучном кружении зелено-лиловых мух, их скользящих огненных вихрей. Как райское дерево, трепещет и переливается искрами сикомор во дворе. Сверху донизу горят и блещут ими кустарники, сахарный тростник...

Много раз я пытался заснуть, входил в дом, в свою темную, горячую комнату, ложился под душный кисейный балдахин, но и здесь эти ароматы, эти скользящие искры, этот дрожащий хрустальный бред, которым околдован весь мир. Сердце тоже дрожит, тело, поминутно палимое жадами москитов, покрывается горячечным потом. И так звонко кричит жаба в бассейне среди Двора, и так отдается ее однообразно вибрирующий призыв в этом каменном доме с раскрытыми окнами и настезь распахнутыми дверями, что я опять спешу покинуть его – и с болезненной жадностью и радостью ловлю глоток воздуха на пороге крыльца...

Крыльцо белеет все ярче, фигура спящего на нем слуги-араба стала еще чернее. Раздвоив-

шийся Млечный Путь, густым, но прозрачно-фосфорическим дымом протянувшийся с севера на юг, совершенно отделился от неба, повис на самой середине пространства между ним и землею. Кажется, близок рассвет! Кажется, стихает, замирает бред и ропот вокруг. Сперва по камням, а потом по теплему песку я спешу за селение – взглянуть на долину, на Моав, на восток. Но на востоке все еще только поздние крупные звезды. Бледный серебристый свет их стоит над далеким мертвенно-бледным Морем. Бледные пески долины мерцают как бы манной. Бледные полосы тумана тянутся по извилам Иордана, – и уже смертоносная влажность чувствуется в воздухе. И бледным дымом спустилось и легло облако у подножия горы Сорокадневной, чернеющей среди звезд своей вершиной...

"Отойди от меня, Сатана".

1909

Страна содомская

Только на рассвете тянет в окна легкая прохлада вместе с ароматом эвкалипта.

Ночью, при звездах, старые деревья во дворе отеля казались сказочно-высоки и ветвисты. Теперь они принимают обычные очертания. Смолкли жабы, замер звон насекомых в кустарниках, погасли огненные мухи. Мы выходим за ворота, садимся на лошадей; все молчит и в тех немногих хижинах, что зовутся Иерихоном или Рихой; всюду сон, один сверчок трюкает в каменной верее, от которой еще дышит тепло ночи. Но за мечетью уже слышен говор.

Ее белый невысокий минарет стоит при дороге, на самой окраине Рихи. Под ним часто ночуют бедуины. Ночевал небольшой караван и нынче. Мы проезжаем мимо него; понукаемые вожаками, глухо урчат верблюды, поднимаясь с теплого песка. Над мечетью, в светлеющей вышине крупной слезой висит Венера. На востоке, над синеватым Моавитским кряжем, небо шафранное. Но еще по-ночному тлеет костер табора, летучие мыши реют вокруг мечети.

За садами Рихи, на западе, – обрывы Иудеи. Отчетливо слоятся серо-фиолетовые уступы горы Искушения. Но внизу еще тень, и, верно, мыши принимают ее за сумерки, когда и создал их Христос. Он сорок дней и ночей провел в пещере над Иерихоном, на обрыве, закрывающем запад, – он не знал, когда садится солнце и когда надлежит совершать молитву. И вот однажды поднялся он на вершину и, как только скрылось солнце, начертал на пыли то легкое, таинственное создание, что так любит сумрак. Он вдохнул в него жизнь и сказал: "Каждый вечер на закате солнца вылетай из расселин горы, где отныне будет твое жилище, дабы знал я час молитвы..." Я поднимаю голову, вспомнив эту дамасскую легенду, и не узнаю окрестности: мы проехали версту, не больше, а уже день, совсем день.

Глухой котловиной, бесплодным и безлюдным долом тянется с севера на юг, от самого моря Тивериадского, известково-песчаная пустыня, которую почти напрямик пересекает путь от Рихи к Иордану. Те, что пытались исследовать ее, видели по реке всего два-три селения, – даже каменистый Моав, дочерна спаленный солнцем, люднее иорданских берегов. То же и здесь: на всем огромном пространстве, окружающем нас, лишь одно живое место – оазис Рихи. Оглядываясь, видишь белые пятна хижин среди темной зелени, приотлившейся под горным обрывом. Там, в садах, еще растет деревцо небд, приносящее акриды, растет бальзамический цакум, сизый терн, из которого сплели венец Иисусу, а весной цветет много диких индийских цветов. Но как поверить, что это там был и неприступный Иерихон ханаанский, и "божественный город садов" Ирода, что вот этой долиной искушал Иисуса дьявол?

Впереди все то же: пепельно-серые дюны, кое-где жесткий, осыпанный солью кустарник. Небо просторно, огромно. Чуть не в самом зените тает алая звезда Венеры. Но и до нее уже достигает восходящий из-за гор Моава, охвативший полвселенной сухой, золотисто-шафранный свет. Одно Мертвое море прячется от света. Вот оно – у самого подножия ее, за тем голым побережьем, что белеет вдали, вправо. Ясно виден и обманчиво близок кажется северный залив. Но синее он тускло, керосинно...

"Символ страшной страны сей – море Асфальтическое", говорили когда-то. Страх внушает она пилигримам и донныне, трижды проклятая и трижды благословенная. Мало совершивших путь по всей извилистой стремнине Иордана с его зноем и лихорадками. Но еще меньше тех, что пускались в заповедные асфальтические воды. Легче, говорили они, пройти все океаны земные, чем это крохотное море, черные прибрежные утесы которого неприступно круты, пугают глаз

человекоподобными очертаниями и так смолисты, что могут быть зажжены, как факелы, – море, дно которого столько раз трескалось от землетрясений и выкидывало на поверхность те таинственные вещества, что служили египтянам для сохранения мертвых от тлена, море, жгуче-соленые, горькие волны которого тяжки, как чугун, и в бурю, "покрытые кипящим рассолом", потрясают берега своим гулом, между тем как пламенный ветер до самого Иерусалима мчит столбы песку и соли... Длится и все светлее становится золотисто-шафранное аравийское утро. Толкут и толкут копыта наших лошадей твердую, растрескавшуюся дорогу. Но ни единая птица не взвивалась еще с радостной утренней песней над долиной. И, верно, ни единой живой души и не встретим мы, кроме разве жадно-грусливой души кочевника или гиены. Впереди, среди пустыни цвета пемзы, – лента прииорданской зелени, чащи ив, тамарисков, камышей...

Так богата и прекрасна была некогда эта долина, что дьявол издревле избрал ее местом греха, искушений. Это он опьянил сладостью страсти и порока Пятиградие, переполнившее чашу терпения Предвечного. Это он внушил дочерям Лота жажду кровосмешения, дабы от родного отца зачала старшая из них Моава: "И дождем пролил Господь огонь и серу, ниспроверг города сии, и всю окрестность их, и всех жителей, и все произрастания земли..." Но легендой патриархов стали дни гнева, и снова зацвел "сад Предвечного", снова возродился столь прекрасным, что заповедан был любимейшему из чад божиих. – Солнце встало над Моавом, затопило его блеском и уже палит долину. Какие-то большие металлически-серые мухи липнут к жарким гривам лошадей, скорпион шуршит, бежит укрыться в легкой голубой тени под застывшей песчаной волной. Вольно смотреть из-под шлема на дорогу, но тянет взглянуть в блеск Моава, тянет найти ту вершину, с которой показал Господь Моисею всю радость земли обетованной: "Взойди на гору сию, на гору Нево, что в земле Моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложишь к народу твоему..."

Библия подчеркивает, что *блудница* дала приют первым израильтянам, проникшим в Иерихон. И страшным заклятием заклял Навин Израиля, овладев страной и дотла уничтожив красу Иерихона: "Проклят перед Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон!" Но разве не следы Навина – те гилгалы, что рассеяны в долине Иерихонской, те огромные диски из камня, первобытные кровавые жертвенники Ваала-Солнца, что благоговейно полагал в круги сам народ израильский?

На тропические шлемы мы накидываем бедуинские платки. Лошади пошли шагом, неустанно мотая головами, отбиваясь от мух. Они машут кистями и разноцветными бусами, которыми украшают здесь уздечки. Шеи их стали мокры, темны и тонки. В легкой и все же душной тени платка дышишь как бы жаром раскаленного костра. Близок Иордан, – уже тянет запахом речной воды, запахом горячего ила... Теперь и от великой реки остался только узкий и мутный поток, от первобытно-густых зарослей на берегах ее – кайма ив, камышей и кустарников, опутанных лианами.

Масара, то место Иордана, где отдыхают пилигримы, предания называют местом крещения Иисуса. "В те дни пришел Иисус из Назарета Галилейского..." В те дни долина переживала третий и последний расцвет. Тщетно было заклятие Навина, – еще раз вырос новый Иерихон. И вот дьявол искушает прелестью его самого крестившегося Сына Божия. "Возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему: тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, *ибо она предана мне*". Серо-песчаный берег обрывист и крут. Густая желтоватая вода, крутясь, бежит под ветвями ив, под корнями, покрытыми наносною травой, илом. Лошади тянутся к воде, вязнут по колена и долго, жадно пьют. Мертвая тишина кругом и сквозная горячая тень над головою. Мысли беспорядочны, смутны, но стремятся все к одному – связать то простое, что перед глазами, с страшным прошлым этой пустыни. Хочешь представить себе то, что доступно только Богу, – жизнь тех легендарных ханаанских городов, от которых уцелели лишь названия. Думаешь о знойно-мглистом Моаве и опять слышишь слова Второзакония: "И полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм, до Сигора увидал Моисей... И умер там, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен в земле Моавитской, и никто не знает места погребения его даже до сего дня..." Думаешь об иерихонских бальзамах Клеопатры, о термах Ирода – и опять возвращаешься к искушению Иисуса от дьявола... И теряешься в образах времен Рима, Византии, Омаров... Великими крестовыми битвами во имя и славу того, кто отверг здесь славу всего земного, обрывается летопись этой страны. За ними века молчания, никому не ведомых и несчетных подвигов отшельничества, погребен-

ния себя заживо в могильниках навеки забвенной Иудеи. В молчании, вдали от жизни всего мира, множатся, как соты ос, крипты в каменистых обрывах Иудейских и Аравийских гор; в прибрежных скалах страшного Асфальтического моря, в огненных ущельях созидаются дикие обители. Но ураганами проносятся набеги от Дамаска, от Багдада, от Геджаса, и вот – пустеют и крипты, переполненные костями избиенных иноков, гложут разоренные обители... И опять, опять воцаряется он, древний бог пустыни!

Полдень проводим у самого моря. Жутко звучит на его нагом, ослепительно-белом прибрежье это слово – полдень. Прииорданские камыши и кустарники не смеют дойти сюда вместе с Иорданом: далеко вокруг песчано-каменисто и покрыто солью, селитрой то место, где сливается река с маслянистой, жгуче-горькой и тускло-зеленоватой водой асфальтической. На коралловые похожи те как бы окаменевшие ветви, что приносит сюда течение реки и что снова, уже мертвыми, выкидывает море. В знойно-мглистой дали теряется оно на юге. Там – дни Авраама, Агари, Измаила. Там, в капище Эль-Лат, племя Тарик еще доныне поклоняется гилгалу Солнца – полубога, полудьявола.

1909

Храм Солнца

Так говорит Господь: сокрушу затворы Дамаска и истреблю жителей долины Авен.

Кн. прор. Амоса

I

Рано утром покинули мы Бейрут. Поезд через час был уже под Хадеттом. За Хадеттом он переменял темп на торопливый, горный: стуча, раскачиваясь, он стал извиваться все выше и выше по красноватым предгорьям. Из-за цветущих садов, покрывающих их, из-за гранатов, шелковиц, кипарисов, роз и глициний несколько раз мелькнуло туманно-синее море. Слушая разноречивый говор, гул колес и грохот энергично работающего паровика, я выглянул в окно,дохнул посвежевшим воздухом: в необъятное пространство за нами все ниже и ниже падала далекая бейрутская долина, ставшая маленькой, плоской, кучки белых и оранжевых точек – крыш, темно-зеленые пятна садов, кирпичные отмели бухты – и необозримая синь моря. Скоро все это скрылось – и снова развернулось еще шире... Все мельче, тесней становились точки, все игрушечной – бухта и все величавей – море. Море росло, поднималось синей туманностью к светлому небу. А небо было несказанно огромно.

Под Джамхуром паровик стал на подъеме к котловине, повернувшись к Бейруту, – и за горами направо я вдруг близко увидел серебряную с чернью громаду Саннина. Пахло снегом, но серая каменная стена маленькой станции вся была в цветущей, ярко-пунцовой герани. Потом паровик звонко, по-горному крикнул – и опять застучал коротким дыханием в кручу. И опять открылась головокружительная панорама с далеким Бейрутом на дне. Зыбко зияли глубокие ущелья с одной стороны, торжественно возрастал Саннин с другой... А за Арайей подъем пошел еще круче. Стало просторно и голо, прохладно и облачно. Дымом сползали облака по скатам. Миновавши Алэй, мы опять повернули к востоку. Был туннель. Налево открылась долина Хамана, за ней – горы в сплошных темно-зеленых борах... За Софаром мы опять окунулись в тьму, дым и грохот, а когда выскочили, о, как дико и вольно стало кругом! Из-за голых вершин глянул Джебель-Кенээз весь в ярких серебряных лентах, четко, одиноко засиял в этой ясной, прохладной пустыне. Приближался перевал, паровик выбивался из сил, одолевая последний подъем. Из окон вагонов высывались фески, дым падал и стлался по придорожным скалам... К полудню мы пришли на Бейдар, к перевалу.

Было тихо, свежо. Пять тысяч футов не бог весть какая высота, но волновала мысль, что ты на Ливане. А впереди – долина Солнца, долина Авен, Келесирия. Тронувшись, мы пошли с головокружительной быстротой. С грохотом нырнули опять в длинный-длинный туннель. А когда этот грохот оборвался, ослепли от света и не сразу поняли, что это, как море, сияет впереди. Впереди же была – Келесирия.

В глубокой дали раскрылась она, ровная, пустая, котловиной среди гор, смутно видных в

солнечном тумане. Против левого окна, над скатами, сияла все та же голая громада в белых лентах. На скатах возле нас лежал тающий снег. А дорога все падала, и все ближе становилась огромная изумрудная долина в фиолетовых пятнах пашен. И еще огромное был далекий вал гор за нею. Вот сосед трогает меня сизой рукой за рукав и, блеснув зубами, говорит:

– Джебель Шейх!

И, взглянув, я вдруг вижу за долиной, в солнечном тумане, величаво выделяющуюся из-за валов Антиливана куполообразную гору. Она вся в полосах снега, идущих сверху вниз, – как талес. Гермон, Великий Шейх! Над ним, почти на нем – купы светлых легких облаков...

На Мерейате стало совсем тепло. Летний ветер, белые акации в цвету... Но по горе налево все еще был снег – на изумительно-ярком поле неба. За Мерейатом, после очень крутого спуска, открылась Штора, большая и дикая на вид арабская деревня с плоскими глиняными кровлями. За Шторой, после полудня, мы были уже в долине.

Пошли сады, в них – тополя, шелковицы. Сквозь сады мелькали синие и красные одежды сирийцев, пахавших на волах ржавую глину в виноградниках... Близился Райяк, где нужно было покинуть дамаский путь и свернуть на север.

Близилась места Эдема, Баальбек.

II

Край баснословных племен, родина Адама, святилище Солнца! Эта низменность, – в ней около полутора верст, – с незапамятных времен называется Бека, то есть страна, долина. Баальбек есть таким образом "долина Ваала-Солнца". Слово Сирия – санскритское – значит опять-таки – солнце. Но мало того: эта долина, средоточие солнечных служений, связана еще с именем Рая, близость которого к Баальбеку была неоспорима в древности.

Я глядел в окна вагона. Прохладный, сероватый день. Дорога от Райяка ровно и почти незаметно для глаз идет на подъем, все к северу. Кругом – слегка волнистая пустыня, тощие посевы, сквозит красноватая почва, – именно та, из которой и был создан Адам! – и кое-где – дико цветущие кустарники. В открытое окно слева дует свежий степной ветер, за долиной видны холмы предгорий и без конца тянется горбатый вал Ливана – диких тонов, весь в продольных белых лентах. И такая же гряда идет и справа – Антиливан. Я глядел – и вдруг опять вспомнил талес, плат, который накидывают на голову во время молитвы евреи, – подобие древнейшей кочевой одежды. Вот откуда все эти пегие хламиды, раскиданные по Востоку, и даже полосатая чересполосица мраморов в мечетях! Все отсюда, из исполинского развала этих ни на что не похожих гор.

Они не кажутся высоки, – сама долина на четыре тысячи футов выше моря. Издалека не поражают они и очертаниями. Но что сравнится с этими синеватыми валами и пегими горбами, точно перенесенными с другой, более старой планеты? С другой планеты и все памятники их. Вон чуть сереет на Ливане местечко Керак с высеченной в скалах стофутовой гробницей Ноя. Вон там, на Антиливане, есть селенье Неби-Шит, где чтут могилу Сифа. А впереди – Баальбек, руины храма, "превышающего размерами все сделанное рукою человека". Камни его возили на мастодонтах; в святилищах его сливались в служение единому Солнцу служения Арамеи и Египта, Ассирии и Финикии, Греции и Рима. Баальбеку уступали не только все финикийские, но даже египетские храмы. Там лик Солнца дробился: там были боги, нисходившие до людских распрей, воплощавшиеся в царях и вождах; здесь был единый Бог... А за Баальбеком, к северу, долина еще пустынее. На ней смешались и слились со скалами предгорий камни несметных городов и храмов, самое имя которых исчезло бесследно, навеки. Земля там – одна из самых плодороднейших в мире – запущена, одичала. И высится на ней Гермиль, "памятник Рая" – каменный куб на помосте черного базальта, украшенный барельефными луками, стрелами и фигурами тигра, кабана и слона, – охоты тех дней, когда Ливан, утопавший в исполинских кедровых лесах и великом обилии вод, был еще подлинным раем...

В открытое окно дул сильный ветер. С севера, из-за гор, шла неохватная градовая туча, уже покрывшая и замутившая вершины туманом. Я подумал: там Кедр... Следует ли, говорят некоторые, искать на Ливане отдельных мест, связанных преданием с Эдемом? Не Эдем ли весь Ливан? Ведь, кроме Гермиля, есть и было еще несколько селений, носящих это имя: например, древнесирийское селение на Антиливане – Гедим; потом Эдем близ Дамаска... Более же всего

соперничает с Эдемом Гермиля Эдем близ Кедров, на северо-западе. Взбираются к этому Эдему по ужасающим кручам Ливана, чтобы достигнуть подошвы вечноснежных вершин. И видны отсюда целые страны – края, долины, воды, леса и селения, необозримая пустыня Келесирии, реки и царственные руины Баальбека на ней, мутная синева Антиливана на востоке, бездна Средиземного моря, сливающаяся с горизонтом, на западе... И вот одно из этих-то селений и есть Эдем, а несколько хвойных рощ суть остатки кедров ливанских, тех, которые Библия называла заоблачными, тень их – тенью, покрывшей все земные царства, бальзам – божественным, на тысячи лет сохраняющим трупы от тления, древесину – не боящейся вечности... Одна из пяти рощ, уцелевших близ Эдема, еще и доныне почитается священной.

Я смотрел в окна... Что такое теперь Баальбек? Даже происхождение его никому не известно. Известно только, что упоминается он в египетских и ассирийских надписях; что был он колонией Рима, которому и принадлежит построение – в честь богов солнечных – двух всемирно-славных баальбекских храмов: Великого и Малого. Брали и разрушали его и арабы и монголы, а их разрушениям помогло несколько страшных землетрясений, и вот, на месте огромного города, остался бедный городок с пятью тысячами разноплеменного сирийского люда и развалинами акрополя, в котором от Великого храма уцелело всего шесть колонн... Вдруг вагон ярко озарился солнцем. И внезапно увидел я вдали нечто поражающее: густой зеленый оазис садов и тополей, тянувшихся среди долины и окружавших желто-белые руины какой-то крепости, такой огромной, что сады казались под ней кустарниками, а над ними – шесть как бы повисших в воздухе мраморных колоссов.

Солнце из грозových туч озаряло сады и руины сильно и резко. Темно-сизый фон неба еще более усиливал яркость зелени и допотопных стволов колоннады. И в пролеты ее ветхозаветно глядел пегий горный талес. Белым огнем горели широкие снежные полосы этого талеса. И загорелись еще более, когда мы приблизились к Баальбеку. Но вдруг померкли, воздух потемнел – и буря, докатившись с Ливана, смерчем закрутила пыль над городком, белевшим за руинами, тучей помчала ее над садами и сквозь колонны... Едва успели мы вскочить в холодный и пустой отель на каменистом холме вблизи их, как все смешалось в лютom ливне с градом. Град с треском сек помутившиеся окна, летел и прыгал по земле. Ваал из-за облачной высоты величаво кидал в мрачно откликавшиеся горы гул и грохот, от которых в страхе метались фиолетовые молнии...

Но когда, через час, вышел я на балкон, золотым блеском ослепила меня дождевая вода на балконе. Буря пронеслась, и на земле воцарились безмятежный мир и ясность, один из тех вечеров, что так любят ласточки. Воздух был чист и тепел, талесы далеких куполообразных вершин четки и близки, мокрые сады против балкона райски свежи, густы и зелены. А над садами и над крепостными руинами, тонувшими в них, стройно и державно возносились шесть желтоватых колоссов Великого храма. С балкона я глядел на предвечернее солнце, на Ливан, на северо-запад. На запад тянулись по долине руины. Тополя и фруктовые деревья шли вдоль южной стены их, подымавшейся над зеленью каменными зубьями, грубыми брешами. И мне виден был весь акрополь, заключающий в себе на восточном краю вход. Пропилеи, на западном – Великий храм, а посредине – Гексагон и Жертвенный двор. Малый храм построен отдельно, вне этой стены. Его циклопический периптер сохранился на диво. Но здесь он терялся: все подавляли колонны Великого храма. Верх одной из них – крайней справа – был уже почти свободен от архитрава. Скоро она рухнет, подумал я, и рухнет ужасно! Ведь в одном фундаменте акрополя пятнадцать аршин высоты, но колонны стоят не на нем: для Великого храма был воздвигнут еще другой фундамент, высотой почти равный первому. А в самих колоннах росту аршин сорок! Некогда перистиль храма – окружавшая его колоннада – состоял из пятидесяти четырех таких колонн. Теперь их только шесть, – третья часть южной части перистилия, удержавшаяся на единственной сохранившейся стене второго фундамента. И как одиноки они! Воздух долины становился голубым, вал Ливана синим. Далеко на северо-западе начинали желтеть ленты одного из высочайших горбов, все яснее выделявшихся на небе. Между небом и землей был несказанный простор. Но величие этих колонн, одиноких "наследников дней героев", было ни с чем не сравнимо.

III

Солнце склонялось; в мокрых зеленых садах, казавшихся еще свежее от шума горной мут-

но-зеленой речки, в садовой глуши вокруг акрополя, была тень. Маленькими казались тополя, стоявшие вдоль фундамента... Привратник пропустил нас за железную решетку к Пропилеям.

Некогда к ним вела мраморная лестница; сарацины до последней плиты разрушили ее, превращая акрополь в крепость. Некогда Пропилеи были стройным, величавым зданием. Двенадцать сиенитовых колонн, за ними – портал в три пролета, по бокам – павильоны – экзедры, воздвигнутые из огромных камней со всей роскошью и силой древнего зодчества и ваяния, с двумя ярусами ниш для статуй богов. Теперь от колонн остались только пьедесталы, портал являет вид проломов в крепостной стене, проход к нему завален каменными глыбами и разбитыми капителями, полуразрушенные экзедры зияют. Тень была в этих раскрытых развалинах. Глубоко и густо синело над ними вечернее небо. Зеленая верхушка тополя тянулась снизу, заглядывая в брешь. И мертвая тишина стояла вокруг...

За стеной Пропилеи – Гексагон, первый двор. Огромный шестиугольник его замкнут шестиугольником стен и сплошных экзедр, опять-таки разрушенных. Мраморный скользкий шестиугольник в три ступени идет вокруг площади двора, на расстоянии шагов двадцати от экзедр. На нем возвышалась шестиугольная колоннада, связанная с экзедрами сводом. В тени этой галереи толпились ожидавшие входа во двор Жертвенный. От колонн не осталось теперь ни единой. Пустой двор окружают громады руин. Сарацины пробили в них бойницы, понаделали много грубых амбразур. Землетрясение и осады почти ничего не оставили и от этой работы. Чувствуешь лишь дикость древней цитадели, следы свирепых древних битв и – тяжесть, величие Рима.

А за Гексагоном – двор Жертвенный, двор, повторяющий первый, но лишь в иной, квадратной форме и чуть не втрое превосходящий его по размерам. Мало оставило время и от второго тройного портала, – проходов из Гексагона на площадь Всесожжения: вместо портала зияет теперь пустота среди остовов крайних экзедр, что похожи на остовы каких-то допотопных жилищ, на сквозные пещеры. И когда я, оглянув Гексагон, кинул взгляд далее, необозримый каменный хаос, хаос целого города, ниспровергнутого землетрясением, открылся предо мною. Не на Гексагон и Пропилеи, а ведь именно сюда, где последовательно возрастали и размеры и святость храма Солнца, направлены были силы подземные, ужасы осад и варварство византийских императоров. Но великое осталось великим. Чуть не на полверсты тянулся среди этого хаоса отшлифованный мириадами ног, местами зияющий провалами, местами заросший колючками проход. Шесть колоссов, стоящих почти на самом конце его, на остатках фундамента, глядели на юг и сливались в один, занимая полнеба. Их стволы, обожженные зноем и ветром, были вблизи красноваты. Горизонт за ними замыкался зубцами и проломами Стены Циклопов. Небо бледнело, низко опустившееся солнце все слегка золотило... Я сел среди двора на камень.

Было тихо-тихо. Без конца лежали и стояли вокруг меня обломки сиенитовых туловищ, точно какие-то каменные страшные существа. Позади и вправо широко раскрывали свои каменные утробы искаженные и разрушенные экзедры; только две-три из них напоминали о прежнем великолепии раковинообразных ниш, пилястров и горельефов. А налево громоздились камни, шли какие-то рвы и провалы – и тяжело и вместе с тем легко, стройно и громадно высился храм Малый, чудом сохранивший весь свой, как бы литой из желтоватого мрамора, корпус и целых девять колонн как раз на том фланге, который был виден мне. Я глядел на них и долго не мог понять, что это так резко отличает их от *тех* шести колонн. Малый храм, этот редкий образец эллинской красоты и несокрушимой римской мощи, был немного менее Великого. Нет при нем ни Пропилеи, ни Гексагона, ни двора Всесожжения, но фундамент его почти равен тому, исчезнувшему фундаменту, на котором стояло святилище Солнца. Почти равны и перистили их... В чем же тогда дело? Только в том, что колонны храма Солнца вверху не суживаются. Но как далеко уносит это в глубину веков!

Можно представить себе красоту Малого храма. Пропилеи, Гексагона, двора Жертвенного – в те дни, когда только что отлилось в совершенные формы и сочеталось в Баальбеке "самое прекрасное на земле с самым величественным". Этот хаотический простор, ныне подобный страшным картинам Исаии, лоснился тогда мозаичными настилами. Стены и экзедры, где помещалось более трехсот ниш для всех богов Олимпа, стройно замыкали его с трех сторон, на четвертой, западной, шла лестница к высоко вознесенному portalу Великого храма. Квадрат из огромных сиенитовых колонн – темно-розовых, гладко шлифованных египетских монолитов – охватывал средину двора, и галереи между ними и экзедрами всегда были полны света, тени, белых хитонов. Нельзя было найти места, не блиставшего мрамором статуй, пилястрами, фронто-

нами и причудливой лепкой карнизов, капителей – этих окаменевших листьев, узоров, цветов. Ярко млела синь неба над квадратом двора. Дым непрерывных сожжений и языки пламени поднимались с гигантского жертвенника, с раскаленной медной плиты его – с алтаря возле мраморных ступеней, тремя переходами поднимавшихся к чудовищному периптеру Великого святилища... Но легко сказать: чудовищному! Как представить себе его?

Та часть основного фундамента, на которой стоял фундамент святилища, равна только половине двора Жертвенного. Но древние недаром называли святилище «первобытным»: дело было не в ширине и длине, а в высоте и размерах строительного камня. И уже одно то, что периптер святилища был вознесен еще и на другой громадный фундамент с подземельями внутри, свидетельствует о том, что Рим здесь кончается. Кем был сложен основной фундамент? Какими-то древнеарамейскими племенами – из самых больших монолитов, "какие когда-либо поднимал человек", и в те дни, когда легенды о титанах еще дышали жизнью. Неизвестно, кем построено и самое святилище Солнца: Рим только реставрировал его. Но и реставрировал под несомненным влиянием преданий о великих капищах, о столпотворениях, об уступчатых зиккуратах, этих "башнях до небес", и посвятил его Солнцу-Ваалу, сочетавшему здесь свое имя с именем Юпитера. И святилищем Ваала, прежде всего Ваала, и было и осталось святилище Великого храма, уступами вознесенное к небу и охваченное колоссами, имевшими и внизу и вверху одну толщину – первобытно. А сказочным монолитам, из которых сложен основной фундамент, его подземелья и Стены Циклопов, Рим мог только дивиться: тайна передвижения и кладки этих монолитов, из которых иные имеют по тридцати аршин в длину, даже для него была непостижима.

Солнце село, и, как всегда на Востоке, стало на минуту особенно светло. И в этом странном свете без солнца, в пространстве, как бы лишенном воздуха, резко обожженные красноватым загаром колонны вдруг приобрели ужасающую выпуклость, тяжесть и высоту. Я пробрался к ним по глыбам камня, по оврагам и возвышенностям, по остаткам мраморных ступеней и тысячелетнему мусору, зашел под фундамент, на котором стоят колонны, и, закинув голову, глянул вверх... Дивно было сочетание бездонного бледно-голубого неба и красноватого тона этих поднебесных стволов! Но они уже меркли. Быстро падал сумрак. Спотыкаясь, я сбежал в ров, в угол, образованный Циклопическими стенами. Их теперь две: западная и северная. Обе искажены проломами. Но искажения только усугубляют их допотопный вид. Из темного оврага выбрался я по каменисто-мусорным холмам, поднимающимся к пролому в углу стен, на свет заката и стал в проломе. Подо мной был обрыв, вдали – темное море долины, а за ним – валы Ливана и далекие, чуть краснеющие в сумраке ленты его горбов. Подо мной была стена, сложенная сынами Солнца, – стена, камни которой останутся здесь недвижимыми до конца мира.

1909

Геннисарет

В Вифлееме, в подземном приделе храма Рождества, блещет среди мраморного пола, неровного от времени, большая серебряная звезда. И вокруг нее – крупные латинские литеры, твердая и краткая надпись:

Hie de Virgine Maria Iesus Christus natus est.

В приделе, как и подобает пещере, бедно. Но огнями, серебром, самоцветами переливаются над звездой неугасимые лампы. Там, наверху – жаркое и веселое солнечное утро, пестрота и крик восточного базара. Здесь – холод, сумрак, благоговейное молчание:

Hie de Virgine Maria Iesus Christus natus est.

Есть древние пергаменты, называемые палимпсестами, – хартии, письма которых полустерты или покрыты чем-либо, чтобы, на месте их, можно было начертать новые. В Вифлееме чувствуешь, прозреваешь то драгоценное, *первое*, что сохранилось на его священном палимпсесте. В царские одеяния облекли рожденного здесь, царям, путеводимым звездой, повелели принести ему, лежащему в яслях, венцы свои, злато, ливан, смирну, и легендами, прекраснее которых нет на земле, расцвели сладчайшую из земных поэм – поэму его рождения. Но, когда

благоговейно склоняешься над нею в Вифлееме, проступает простое, *первое*.

Назарет – детство его. Там протекло оно в тишине, в безвестности. Там огорчали и радовали его игры со сверстниками, там ласковая рука матери чинила его детскую рубашечку... Ветхие пергаменты Назарета остались во всей своей древней простоте. Но скудны и чуть видны письменна, уцелевшие на них! И великую грусть и нежность оставляет в сердце Назарет. Помню темные весенние сумерки, черных коз, бегущих по каменистым улочкам, тот первобытно-грубый каменный водоем, к которому когда-то приходила она, помню ее жилище, маленькое, тесное, пещерное, полное вечерней тьмы, пустующее уже две тысячи лет... Как полевой цветок, мало кому ведомый, выросший из случайно занесенного ветром семени в углу покинутого дома, расцвела и здесь легенда, может быть самая прекрасная, самая трогательная: без огня, по бедности родителей, засыпал Божественный младенец; мать сидела у его постельки, тихо заговаривая, убаюкивая его; а чтобы не было скучно и жутко ему в наступающей ночи, светящиеся мушки по очереди прилетали радовать его своим зеленым огоньком.

А страна Геннисаретская, где прошла вся молодость его, все годы благовествования, все те дни, незабвенные до скончания века, для них же и был он в мире, – она совсем не сохранила зримых следов его. Но нет страны прелестнее, и нигде так не чувствуется он!

В ясный вечер, при заходящем солнце, подходим мы к Геннисарету по Иорданской долине. Все дико, голо, просто вокруг: и в долине, и по каменистым предгорьям, обступившим ее, – серо-коричневым, в золотисто-рыжих пятнах по склонам, где от солнца выгорели травы. Тропинка ведет нас среди желтого, уже созревшего и подсохшего ячменя. За ним – прибрежная деревушка, глиняная, без единого деревца, кажущаяся необитаемой. Пройдя по серым пескам, на которых стоит она, увидели мы водную равнину чудесного зеленого тона, теряющуюся в горной дали, замкнутой неясной громадой пегого Гермона.

Солнце было за горами. Свет его гаснет здесь быстро, а как только он гаснет, с гор срывается недолгий, но сильный ветер. И темнеющее озеро уже шумело от крупной зыби. Четыре гребца наших поспешили кинуть весла, вздернуть парус и привалиться к бортам, затянув что-то тоскливо-беззаботное. Ветер ударил в парус, крепко накренил его, – и мы понеслись в сумрак, на дальние огоньки Тивериады, рассыпанные под черной горою, стукая днищем по волнам, черпая воду. Я крикнул, чтобы ослабили парус: эти полуголые, худые, загорелые галилеяне, в своих войлочных круглых колпачках, прикрывающих только макушку, крикнули что-то в ответ. "Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось..." Да, да, это было здесь! Он дышал этим мягким, сильным, благовонным ветром! – Через час мы были уже в Тивериаде, маленькой, тесной и грязной, где лишь один сносный приют – старый латинский монастырь на самом берегу.

От Тивериады кесарей ничего не осталось. Француз-настоятель, пригласивший нас ночевать в монастыре, а перед сном выйти на кровлю, с которой далеко видно было успокоенное в лунном свете озеро, жаловался: они изнемогают от скуки и тропического зноя в этом навозном местечке; вокруг них – пустыня; от Магдалы сохранилось только название; от Капернаума – груды камней, где итальянцы-монахи ведут раскопки; в Табхе всего пять человек братии... "Это близ Капернаума, на северном берегу?" – Да, да, – сказал настоятель, глядя на туманные предгория Гадаринские, за озеро. Луна сияла – высоко-высоко. Все озеро было в светлом, тончайшем пару. Знойно звенели внизу ночные цикады – на пыльных кустарниках, на столетних придорожных кактусах. Тивериада спала...

Мне долго не давал уснуть козленок, жалобно плакавший где-то по соседству. В маленькое окошечко, пробитое в каменной стене почти под потолком, белело сквозь железную решетку лунное небо. В полутемной жаркой келье беззвучно плакали москиты. Блохи же Тивериады упоминаются даже в путеводителях... Но я поминутно говорил себе: я в Тивериаде! Эта ночь была одной из счастливейших во всей моей жизни.

Ранним утром мы поплыли в Капернаум. Озеро недолго дышало утренней свежестью. Вот уже растянули белый парусиновый навес над лодкой, – и он озаряет лица. Солнце все ослепительней и жарче. Озеро штилеет. Желто-рыжие верхи предгорий Гадаринских делают водные зеркала у берегов золотыми. Вода же под лодкой – зеленая, прозрачная, кажется бездонной. Гребцы дружно работают, и от поворачивающихся в воде весел извиваются, уходят в глубину как бы толстые змеи медянки с серебряными брюхами. Пот уже градом льет с красных лиц гребцов. Они – рыбаки, в лодке лежат их сети... "Проходя же близ моря Галилейского, он увидел

двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море..." Разве не мог призвать он и этих? Они еще несколько раз налегают на весла – и поднимают их: лодка, чуть журча, добегают до берега. Мы выходим и оглядываемся. На берегу, среди колючих кустарников и розовых цветов олеандра, – груды белых камней, колонн: это и есть развалины знаменитой синагоги Капернаумской, куда столько раз, в такие же знойные дни, входил он, теснимый народом, искавшим коснуться его. Тишина, солнце, блеск воды. Сухо, жарко, радостно. И вот он, с раскрытой головою, в белой одежде, идет по берегу, мимо таких же рыбаков, как наши гребцы... Симон и Петр, "оставив лодку и отца своего, тотчас последовали за ним"...

Табха между Капернаумом и Магдалой. Мы опять поплыли мимо невысоких холмов в тех же бурых, выгоревших травах. Возле Табхи единственное живое место этой пустыни: в озеро впадает источник, дающий о себе знать несколькими эвкалиптами и посевами в долинке меж холмами. Под эвкалиптами черный мальчик пасет десяток черных вислоухих коз с колокольчиками на шее. Это стадо братии. А приют ее – на холме, рядом: нечто вроде маленькой крепости, два-три здания из дикого камня за высокими стенами. Настоятель здесь старик-немец, чистота и порядок у него немецкие. Встретил он нас, сожженных зноем, сдержанно, но приветливо, комнаты дал в нижнем этаже, самые прохладные, выходящие на большую каменную террасу, в садик по скату холма, усыпанный гравием, испещренный легкой тенью светлой, сквозной зелени перечных деревьев, нежнейших мимоз и нежнейших хвойных пород – серебристо-голубых, легких, как пух. Среди них поднимались две-три пальмы, чернели молоденькие кипарисы, цвели розы, ворковали дикие горлинки, наслаждаясь солнечным затишьем... И, оставшись один на террасе, я взял с каменного стола лежавшее на нем Евангелие, развернутое как раз на тех страницах, что говорят о море Галилейском. Теперь оно было предо мною. Воздушно-зеленое, во всей тропической мягкости своей, оно тонуло, млело в серебристом полуденном свете, теряясь на юге.

Как сладок, как ласков здесь изредка набегающий, теплый от дыхания затуманенных зноем гор, сильный южный ветер! Как широко, все сгущаясь и темнея, бежит перед ним лиловая зыбь по зеркалам у берегов, где светит золото предгорий! Как долго, как дремотно кланяются после него кипарисы и шелестят вайи пальм, напоминая о Египте, сохранившем его драгоценную жизнь в младенчестве!

1911

Повести и рассказы 1909-1916

Деревня

I

Прадеда Красовых, прозванного на дворе Цыганом, затравил борзыми барин Дурново. Цыган отбил у него, у своего господина, любовницу. Дурново приказал вывести Цыгана в поле, за Дурновку, и посадить на бугре. Сам же выехал со сворой и крикнул: "Ату его!" Цыган, сидевший в оцепенении, кинулся бежать. А бегать от борзых не следует.

Деду Красовых удалось получить вольную. Он ушел с семьей в город – и скоро прославился: стал знаменитым вором. Нанял в Черной Слободе хибарку для жены, посадил ее плести на продажу кружево, а сам, с каким-то мещанином Белокопытовым, поехал по губернии грабить церкви. Когда его поймали, он вел себя так, что им долго восхищались по всему уезду: стоит себе будто бы в плисовом кафтане и в козловых сапожках, нахально играет скулами, глазами и почтительнейше сознается даже в самом малейшем из своих несметных дел:

– Так точно-с. Так точно-с.

А родитель Красовых был мелким шибаем. Ездил по уезду, жил одно время в родной Дурновке, завел было там лавочку, но прогорел, запил, воротился в город и помер. Послужив по лавкам, торгашили и сыновья его, Тихон и Кузьма. Тянутся, бывало, в телеге с рундуком посередке и заунывно орут:

– Ба-абы, това-ару! Ба-абы, това-ару!

Товар – зеркальца, мыльца, перстни, нитки, платки, иголки, крендели – в рундуке. А в теле-

ге все, что добыто в обмен на товар: дохлые кошки, яйца, холсты, тряпки...

Но, проездив несколько лет, братья однажды чуть ножами не порезались – и разошлись от греха. Кузьма нанялся к гуртовщику, Тихон снял постоянный дворик на шоссе при станции Воргол, верстах в пяти от Дурновки, и открыл кабак и «черную» лавочку: "торговля мелочного товара чаю сахару табаку сигар и прочего".

Годам к сорока борода Тихона уже кое-где серебрилась. Но красив, высок, строен был он по-прежнему; лицом строг, смугл, чуть-чуть ряб, в плечах широк и сух, в разговоре властен и резок, в движениях быстр и ловок. Только брови стали сдвигаться все чаще да глаза блестеть еще острее, чем прежде.

Неутомимо гонял он за станowymi – в те глухие осенние поры, когда взыскивают подати и идут по деревне торги за торгами. Неутомимо скупал у помещиков хлеб на корню, снимал за бесценок землю... Жил он долго с немой кухаркой, – "не плохо, ничего не разбершет!" – имел от нее ребенка, которого она приспала, задавила во сне, потом женился на пожилой горничной старухи-княжны Шаховой. А женившись, взял приданого, «доконал» потомка обнищавших Дурново, полного, ласкового барчука, лысого на двадцать пятом году, но с великолепной каштановой бородой. И мужики так и ахнули от гордости, когда взял он дурновское именье: ведь чуть не вся Дурновка состоит из Красовых!

Ахали они и на то, как это ухитрялся он не разорваться: торговать, покупать, чуть не каждый день бывать в именье, ястребом следить за каждой пядью земли... Ахали и говорили:

– Лют! Зато и хозяин!

Убеждал их в этом и сам Тихон Ильич. Часто наставлял:

– Живем – не мотаем, попадешься – обротаем. Но по справедливости. Я, брат, человек русский. Мне твоего даром не надо, но имей в виду: своего я тебе тринки не отдам! Баловать – нет, заметь, не побалую!

А Настасья Петровна (ходившая по-утиному, носками внутрь, переваливаясь, – от постоянной беременности, все кончавшейся мертвыми девочками, – желтая, опухшая, с редкими белесыми волосами) стонала, слушая:

– Ох, и прост же ты, посмотрю я на тебя! Что ты с ним, глупым, трудишься? Ты его ум-разуму учишь, а ему и горя мало. Ишь ноги-то расставил, – эмирский бухар какой!

Осенью возле постоянного двора, стоявшего одним боком к шоссе, другим к станции и элеватору, стоном стонал скрип колес: обозы с хлебом сворачивали и сверху и снизу. И поминутно визжал блок то на двери в кабак, где отпускала Настасья Петровна, то на двери в лавку, – темную, грязную, крепко пахнущую мылом, сельдями, махоркой, мятным пряником, керосином. И поминутно раздавалось в кабаке:

– У-ух! И здорова же водка у тебя, Петровна! Аж в лоб стукнула, пропади она пропадом.

– Сахаром в уста, любезный!

– Либо она у тебя с нюхальным табаком?

– Вот и вышел дураком! А в лавке было еще люднее:

– Ильич! Хунтик ветчинки не отвесишь?

– Ветчинкой я, брат, нынешний год, благодаря богу, так обеспечен, так обеспечен!

– А почему?

– Дешевка!

– Хозяин! Деготь у вас хороший есть?

– Такого дегтю, любезный, у твоего деда на свадьбе не было!

– А почему?

Потеря надежды на детей и закрытие кабаков были крупными событиями в жизни Тихона Ильича. Он явно постарел, когда уже не осталось сомнений, что не быть ему отцом. Сперва он пошучивал:

– Нет-с, уж я своего добьюсь, – говорил он знакомым. – Без детей человек – не человек. Так, обсевок какой-то...

Потом даже страх стал нападать на него: что же это, – одна приспала, другая – все мертвых рождает! И время последней беременности Настасьи Петровны было особенно тяжким временем. Тихон Ильич томился, злобил; Настасья Петровна тайком молилась, тайком плакала и была жалка, когда потихоньку слезала по ночам, при свете лампадки, с постели, думая, что муж спит, и начинала с трудом становиться на колени, с шепотом припадать к полу, с тоской смотреть па

иконы и старчески, мучительно подниматься с колен. С детства, не решаясь даже самому себе признаться, не любил Тихон Ильич лампадок, их неверного церковного света: на всю жизнь осталась в памяти та ноябрьская ночь, когда в крохотной, кособокой хибарке в Черной Слободе тоже горела лампадка, – так смиренно и ласково-грустно, – темнели тени от цепей ее, было мертво-тихо, на лавке, под святыми, неподвижно лежал отец, закрыв глаза, подняв острый нос и сложив на груди восковые руки, а возле него, за окошечком, завешенным красной тряпкой, с буйно-тоскливыми песнями, с воплями и не в лад орущими гармоньями, проходили годные... Теперь лампадка горела постоянно.

Кормили на постоялом дворе лошадей владимирские коробочники и в доме появился "Новый полный аракул и чародей, предсказывающий будущее по предложенным вопросам с присовокуплением легчайшего способа гадать на картах, бобах и кофе". И Настасья Петровна надевала по вечерам очки, катала из воска шарик и начинала кидать его на круги оракула. А Тихон Ильич искоса поглядывал. Но ответы получались все грубые, зловещие или бессмысленные.

– "Любит ли меня мой муж?" – спрашивала Настасья Петровна.

И оракул отвечал:

– "Любит, как собака палку".

– "Сколько детей будет у меня?"

– "Судьбой назначено тебе умереть, худая трава из поля вон".

Тогда Тихон Ильич говорил:

– Дай-ка я кину... И загадывал:

– "Затевать ли мне тяжбу с известною мне особою?" Но и ему выходила чепуха:

– "Считай во рту зубы".

Раз, заглянув в пустую кухню, Тихон Ильич увидел жену возле люльки кухаркина ребенка. Пестренький цыпленок, попискивая, бродил по подоконнику, стучал клювом в стекла, ловя мух, а она сидела на нарах, качала люльку и жалким, дрожащим голосом пела старинную колыбельную песню:

Где мой дитятко лежит?

Где постелюшка его?

Он в высоком терему,
В колыбельке расписной.

Не ходите к нам никто,

Не стучите в терему!

Он уснул, започивал,

Темным пологом покрыт,

Расцвеченною тафтой...

И так изменилось лицо Тихона Ильича в эту минуту, что, взглянув на него, Настасья Петровна не смутилась, не оробела, – только заплакала и, сморкаясь, тихо сказала:

– Отвези ты меня, Христа ради, к угоднику...

И Тихон Ильич повез ее в Задонск. Но дорогой думал, что все равно бог должен наказать его за то, что он, в суете и хлопотах, только под Светлый день бывает в церкви. Да и лезли в голову кощунственные мысли: он все сравнивал себя с родителями святых, тоже долго не имевшими детей. Это было не умно, но он уже давно заметил, что есть в нем еще кто-то – глупей его. Перед отъездом он получил письмо с Афона: "Боголюбивейший Благодетель Тихон Ильич! Мир вам и спасение, благословение господне я честный покров всепетой богоматери от земного ее жребия, св. горы Афонской! Я имел счастье слышать о ваших добрых делах и о том, что вы с любовью уделяете лепты на созидание и украшение храмов божиих, на келий иноческие. Ныне хижина моя пришла от времени в такое ветхое состояние..." И Тихон Ильич послал на поправку этой хижины красненькую. Давно прошло то время, когда он с наивной гордостью верил, что и впрямь до самого Афона дошли слухи о нем, хорошо знал, что уж слишком много афонских хижин пришло в ветхость, – и все-таки послал. Но не помогло и это, кончилась беременность прямо мукою: перед тем как родить последнего мертвого ребенка, стала Настасья Петровна, засыпая, вздрагивать, стонать, взвизгивать... Ею, по ее словам, мгновенно овладевала во сне какая-то дикая веселость, соединенная с невыразимым страхом: то видела она, что идет к ней по полям,

вся сияя золотыми ризами, царица небесная и несется откуда-то стройное, все растущее пение; то выскакивал из-под кровати чертенок, неотличимый от темноты, но ясно видимый зрением внутренним, и так-то звонко, лихо, с перехватами, начинал отжаривать на губной гармонье! Легче было бы спать не в духоте, на перинах, а на воздухе, под навесом амбаров. Но Настасья Петровна боялась:

– Подойдут собаки и голову нанюхают...

Когда пропала надежда на детей, стало все чаще приходиться в голову: "Да для кого же вся эта каторга, пропади она пропадом?" Монополия же была солью на рану. Стали трястись руки, болезненно сдвигаться и подниматься брови, стало косить губу, – особенно при фразе, не сходившей с языка: "Имейте в виду". По-прежнему он молодился – носил щеголеватые опойковые сапоги и расшитую косоворотку под двубортным пиджаком. Но борода седела, редела, путалась...

А лето, как нарочно, выдалось жаркое, засушливое. Совсем пропала рожь. И наслаждением стало жаловаться покупателям.

– Прекращаем-с, прекращаем-с! – с радостью, отчеканивая каждый слог, говорил Тихон Ильич о своей винной торговле. – Как же-с! Монополия! Министру финансов самому захотелось поторговать!

– Ох, посмотрю я на тебя! – стонала Настасья Петровна. – Договорись ты! Загонят тебя, куда ворон костей не таскал!

– Не испугаете-с! – отсекал Тихон Ильич, вскидывая бровями. – Нет-с! На всякий роток не накинешь платок! И опять, еще резче чеканя слова, обращался к покупателю:

– И ржица-с радует! Имейте в виду: всех радует! Ночью-с – и то видать. Выйдешь на порог, глянешь по месяцу в поле: сквозит-с, как лысина! Выйдешь, глянешь: блистает!

В Петровки в тот год Тихон Ильич пробыл четверо суток в городе на ярмарке и расстроился еще больше – от дум, от жары, от бессонных ночей. Обычно отправлялся он на ярмарку с большой охотой. В сумерки подмазывали телеги, набивали их сеном; в ту, в которой ехал сам хозяин с работником-стариком, клали подушки, чуйку. Выезжали поздно и, поскрипывая, тянулись до рассвета. Сперва вели дружественные разговоры, курили, рассказывали друг другу страшные старинные истории о купцах, убитых в дороге и на ночевках; потом Тихон Ильич укладывался спать – и так приятно было слышать сквозь сон голоса встречных, чувствовать, как зыбко покачивается и как будто все под гору едет телега, ерзает щека по подушке, сваливается картуз и холодит голову ночная свежесть; хорошо было и проснуться до солнца, розовым росистым утром, среди матово-зеленых хлебов, увидеть вдаль, в голубой низменности, весело белеющий город, блеск его церквей, крепко зевнуть, перекреститься на отдаленный звон и взять вожжи из рук полусонного старика, по-детски ослабевшего на утреннем холодке, бледного как мел при свете зари... Теперь Тихон Ильич отослал телеги со старостой, а сам поехал один, на бегунках. Ночь была теплая, светлая, но ничто не радовало; за дорогу он устал; огоньки на ярмарке, в остроге и больнице, что при въезде в город, видны в степи верст за десять, и казалось, что до них никогда не доедешь, до этих дальних, сонных огоньков. А на постоялом дворе на Щепной площади было так жарко, так кусали блохи и так часто раздавались голоса у ворот, так гремели въезжавшие на каменный двор телеги и так рано заорали петухи, заворковали голуби и побелело за открытыми окнами, что он и глаз не сомкнул. Мало спал и вторую ночь, которую попробовал провести на ярмарке, в телеге: ржали лошади, горели огни в палатках, кругом ходили и разговаривали, а на рассвете, когда так и слипались глаза, зазвонили в остроге, в больнице – и над самой головой подняла ужасный рев корова...

– "Каторга!" – поминутно приходило в голову за эти дни и ночи.

Ярмарка, раскинувшаяся по выгону на целую версту, была, как всегда, шумна, бестолкова. Стоял нестройный гомон, ржание лошадей, трели детских свистулков, марши и польки гремящих на каруселях оркестрионов. Говорливая толпа мужиков и баб валом валила с утра до вечера по пыльным, унавоженным переулкам между телегами и палатками, лошадьми и коровами, балаганами и съестными, откуда несло вонючим чадом спальных жаровен. Как всегда, была пропасть барышников, придававших страшный азарт всем спорам и сделкам; бесконечными вереницами, с гнусавыми напевами тянулись слепые и убогие, нищие и калеки, на костылях и в тележках; медленно двигалась среди толпы гремящая бубенчиками тройка исправника, сдерживаемая кучером в плисовой безрукавке и в шапочке с павлиньими перьями... Покупателей у Тихона Ильича 'бы-

ло много. Подходили сизые цыгане, рыжие польские евреи в парусиновых балахонах и сбитых сапогах, загорелые мелкопоместные дворяне в поддевках и картузах; подходил красавец-гусар князь Бахтин с женой в английском костюме, дряхлый, севастопольский герой Хвостов – высокий и костистый, с удивительно крупными чертами темного морщинистого лица, в длинном мундире и обвислых штанах, в сапогах с широкими носками и в большом картузе с желтым околышем, из-под которого были начесаны на виски крашенные волосы мертвого бурого цвета... Бахтин откидывался назад, глядя на лошадь, сдержанно улыбался в усы с подусниками, поигрывая ногой в рейтузе вишневого цвета. Хвостов, дошаркав до лошади, косившей на него огненным глазом, останавливался так, что казалось, что он падает, "поднимал костыль и в десятый раз спрашивал глухим, ничего не выражающим голосом:

– Сколько просишь?

И всем надо было отвечать. И Тихон Ильич отвечал, но через силу, стискивая челюсти, и ломил такую цену, что все отходили ни с чем.

Он очень загорел, похудел и побледнел, запылится, чувствовал смертельную тоску и слабость во всем теле. Он расстроил желудок, да так, что начались корчи. Пришлось сходить в больницу. Но там он часа два ждал очереди, сидел в гулком коридоре, нюхая противный запах карболки, и чувствовал себя не Тихоном Ильичом, а так, как будто он был в прихожей хозяина или начальника. И когда доктор, похожий на дьякона, красный, светлоглазый, в кургузом черном сюртуке, пахнущем медью, сопя, приложил холодное ухо к его груди, он поспешил сказать, что "живот почти прошел", и только по робости не отказался от касторки. И воротясь на ярмарку, проглотил стакан водки с перцем и с солью и опять стал есть колбасу и подрукавный хлеб, пить чай, сырую воду, кислые щи – и все не мог утолить жажды. Звали знакомые "пивком освежиться" – и он шел. Орал квасник:

– Во-т квасок, попыривает в носок! По копейке бокал, самый главный лимонад!

И он останавливал квасника.

– Вот-от морожено! – тенором кричал лысый потный мороженщик, брюхатый старик в красной рубахе.

И он ел с костяной ложечки мороженое, почти снег, от которого жестоко ломило в висках.

Пыльный, истолченный ногами, колесами и копытами, засоренный и унавоженный выгон уже пустел, ярмарка разъезжалась. Но Тихон Ильич, точно назло кому-то, все держал и держал на жаре и в пыли непроданных лошадей, все сидел на телеге. Господи боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода. Город на всю Россию славен хлебной торговлей, – ест же этот хлеб досыта сто человек во всем городе. А ярмарка? Нищих, дурачков, слепых и калек, – да все таких, что смотреть страшно и тошно, – прямо полк целый!

Домой Тихон Ильич ехал в солнечное жаркое утро до Старой большой дороге. Ехал сперва городом, базаром, потом через мелкую и кислую от кожевенных заводов речку, а за речкой в гору, через Черную Слободу. На базаре он когда-то служил вместе с братом в лавке Маторина. Теперь на базаре все кланялись ему. В Слободe прошло его детство, – на этой полугоре, среди вросших в землю мазанок с прогнившими и почерневшими крышами, среди навоза, который сушат перед ними для топки, среди мусора, золы и тряпок... Теперь и следа не было той мазанки, где родился и рос Тихон Ильич. На ее месте стоял новый тесовый домик со ржавой вывеской над входом: "Духовный портной Соболев". Все прочее было в Слободe по-старому: свиньи и куры возле порогов; высокие шесты у ворот, а на шестах – бараньи рога; белые большие лица кружевниц, выглядывающих из-за горшков с цветами, из крохотных окошечек; босые мальчишки с одной помочей через плечо, запускающие бумажного змея с мочальным хвостом; белобрысые тихие девочки, играющие возле завалинок в любимую игру – похороны кукол... На горе, в поле, он перекрестился на кладбище, за оградой которого, среди старых деревьев, была когда-то страшная могила богача и скряги Зыкова, провалившаяся в ту же минуту, как только засыпали ее. И, подумав, повернул лошадь к воротам кладбища.

У этих больших белых ворот сидела и вязала чулок старуха, похожая на старуху из сказки, – в очках, с клювом, с провалившимися губами – одна из вдов, живущих в приюте при кладбище.

– Здорово, бабка! – крикнул Тихон Ильич, привязывая лошадь к столбу у ворот. – Можешь мою лошадь постеречь?

Старуха встала, низко поклонилась и прошамкала:

– Могу, батюшка.

Тихон Ильич снял картуз, еще раз, подкатывая глаза под лоб, перекрестился на картину Успения богородицы над воротами и прибавил:

– Много вас тут теперь?

– Целых двенадцать старушек, батюшка.

– Что ж, часто ругаетесь?

– Часто, батюшка...

И Тихон Ильич не спеша пошел среди деревьев и крестов, по аллее, ведущей к старой деревянной церкви. На ярмарке он постриг волосы, подровнял и укоротил бороду – и очень помолодел. Молодила его и удобка после болезни. Молодил загар, – белели нежной кожей только выстриженные треугольники на висках. Молодили воспоминания детства и молодости, новый парусиновый картуз. Он шел и глядел по сторонам... Как коротка и бестолкова жизнь! И какой мир и покой вокруг, в этом солнечном затишье, в ограде старого погоста! Горячий ветер пронесся по верхушкам светлых деревьев, сквозившим на безоблачном небе, до времени поредевшим от зноя, волновал по камням, памятникам их прозрачную, легкую тень. А когда затихал, жарко пригревало солнце цветы и травы, сладко пели птицы в кустах, в сладкой истоме замирали на горячих дорожках бабочки... На одном кресте Тихон Ильич прочел:

Какие страшные оброки
Смерть собирает от людей!

Но ничего страшного не было вокруг. Он шел, даже как бы с удовольствием замечая, что кладбище растет, что по, явилось много новых мавзолеев среди тех старинных камней в виде гробов на ножках, тяжелых чугунных плит и огромных, грубых и уже гниющих крестов, которыми полно оно. "Скончалась 1819 года Ноября 7 в 5 часов утра" – такие надписи было жутко читать, нехороша смерть на рассвете ненастного осеннего дня, в старом уездном городе! Но рядом светил среди деревьев своей белизной гипсовый ангел с очами, устремленными в небо и на цоколе под ним были выбиты золотые буквы: "Блаженны мертвые, умирающие в госпoде!" На железном, радужном от непогоды и времени, памятнике какого-то коллежского асессора можно было разобрать стихи:

Царю он честно послужил,
Сердечно ближнего любил,
Был уважаем от людей...

Стихи эти показались Тихону Ильичу лживыми. Но – где правда? Вот в кустах валяется человеческая челюсть, точно сделанная из грязного воска, – все, что осталось от человека... Но все ли? Гниют цветы, ленты, кресты, гробы и кости в земле, – все смерть и тлен! Но шел далее Тихон Ильич и читал: "Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении".

Все надписи трогательно говорили о покое и отдыхе, о нежности, о любви, которой как будто нет и не будет на земле, о той преданности друг другу и покорности богу, о тех горячих упованиях на жизнь будущую и свидание в иной, блаженной стране, которым веришь только здесь, и о том равенстве, что дает только смерть, – те минуты, когда мертвого нищего целуют в уста последним целованием, как брата, сравнивают его с царями и владыками... А там, в дальнем углу ограды, в кустах бузины, дремлющих на припеке, увидел Тихон Ильич свежую детскую могилку, крест, а на кресте – двустилишие:

тише, листья, не шумите,
мово Костю не будите! –

и, вспомнив своего ребенка, задавленного во сне немой кухаркой, заморгал от навернувшихся слез.

По шоссе, идущему мимо кладбища и пропадающему среди волнистых полей, никто никогда не ездит. Ездят по пыльному проселку, рядом. По проселку поехал и Тихон Ильич. Навстрече

чу ему пронеслась ободранная извозчичья пролетка, – лихо носятся уездные извозчики! – а в пролетке – городской охотник: у ног – пегая легавая собака, на коленях – ружье в чехле, на ногах – высокие болотные сапоги, хотя болот в уезде и не бывало. И Тихон Ильич сердито стиснул зубы: в работники бы этого лодыря! Полднее солнце палило, ветер дул горячий, безоблачное небо становилось грифельным. И все сердитее отвертывался Тихон Ильич от пыли, летевшей по дороге, все озабоченнее косился на тощие, до времени подсыхающие хлеба.

Мерным шагом, с высокими посошками, шли толпы замученных усталостью и зноем богомолок. Они отвешивали Тихону Ильичу низкие, смиренные поклоны, но теперь ему уже опять все казалось жульничеством.

– Смирenniцы! А грызутся небось на ночевках, как собаки!

Подымая тучи пыли, гнали лошадемок пьяные мужики, возвращавшиеся с ярмарки, – рыжие, сивые, черные, но все одинаково безобразные, тощие и лохматые. И, обгоняя их гремящие телеги, Тихон Ильич мотал головой:

– У, нищелброды, пропади вы пропадом!

Один, в изорванной на ленты ситцевой рубахе, спал, колотился, как мертвый, лежа на спине, закинув голову, задрал окровавленную бороду и распухший в засохшей крови нос. Другой бежал, догонял сорванную ветром шапку, споткнулся – и Тихон Ильич с злобным наслаждением вытянул его кнутом. Попалась телега, полная решет, лопат и баб; сидя к лошади спинами, они тряслись и подпрыгивали; у одной на голове был новый детский картузик козырьком назад, другая пела, третья махала руками и с хохотом орала вдогонку Тихону Ильичу:

– Дядя! Чеку потерял!

За заставой, где свернуло шоссе в сторону, где отстали гремящие телеги и охватила тишина, простор и зной степи, опять почувствовал он, что все-таки самое главное на свете – «дело». Эх, и нищета же кругом! Дотла разорились мужики, трынки не осталось в оскудевших усадебных дворах, раскиданных по уезду... Хозяина бы сюда, хозяина!

На полпути было большое село Ровное. Суховей пронесся вдоль пустых улиц, по лозинкам, спаленным жаром. У порогов ерошились, зарывались в золу куры. Грубо торчала на голом выгоне церковь дикого цвета. За церковью блестел на солнце мелкий глинистый пруд под навозной плотиной – густая желтая вода, в которой стояло стадо коров, поминутно отправлявшее свои нужды, и намыливал голову голый мужик. Он по пояс вошел в воду, на груди его блестел медный крестик, шея и лицо были черны от загара, а тело поразительно бледно и бело.

– Разнуздай-ка лошадь-то, – сказал Тихон Ильич, въезжая в пруд, пахнувший стадом.

Мужик кинул мраморно-синеватый обмылок на черный от коровьего помета берег и, с серой, намыленной головой стыдливо закрываясь, поспешил исполнить приказание. Лошадь жадно припала к воде, но вода была так тепла и противна, что она подняла морду и отвернулась. Посвистывая ей, Тихон Ильич покачал картузом:

– Ну, и водица у вас! Ужли пьете?

– А у вас-то ай сахарная? – ласково и весело возразил мужик. – Тыщу лет пьем! Да вода что – вот хлебушка нетути...

За Ровным дорога пошла среди сплошных ржей, – опять тощих, слабых, переполненных васильками... А возле Выселок, под Дурновкой, тучей сидели на дуплистой корявой раките грачи с раскрытыми серебристыми клювами, – любят они почему-то пожарище: от Выселок осталось в эти дни только одно звание – только черные остовы изб среди мусора. Мусор курился молочно-синеватым дымком, кисло воняло гарью... И мысль о пожаре молнией пронзила Тихона Ильича. "Беда!" – подумал он, бледнея. Ничего-то у него не застраховано, все может в один час слететь. С этих Петровок, с этой памятной поездки на ярмарку, Тихон Ильич начал попивать – и таки частенько, не допьяну, но до порядочной красноты лица. Однако это ничуть не мешало делам, да не мешало, по его словам, и здоровью. "Водка кровь полирует", – говорил он. Жизнь свою он и теперь нередко называл каторгой, петлей, золотою клеткой. Но шагал он по своей дороге все увереннее, и несколько лет прошло так однообразно, что все слилось в один рабочий день. А новыми крупными событиями оказалось то, чего и не чаяли, – война с Японией и революция. Разговоры о войне начались, конечно, бахвальством. "Казак желтую-то шкуру скоро спустит, брат!" Но скоро слышались иные речи.

– Своей земли девать некуда! – строгим хозяйственным тоном говорил и Тихон Ильич. – Не война-с, а прямо бессмыслица!

Ив злорадное восхищение приводили его вести о страшных разгромах русской армии:

– Ух, здорово! Так их, мать их так!

Восхищала сперва и революция, восхищали убийства.

– Как дал этому самому министру под жилу, – говорил иногда Тихон Ильич в пылу восторга, – как дал – праху от него не осталось!

Но как только заговорили об отчуждении земель, стала просыпаться в нем злоба. – "Все жида работают! Все жида-с да вот еще лохмачи эти – студенты!" И непонятно было: все говорят – революция, революция, а вокруг – все прежнее, будничное: солнце светит, в поле ржи цветут, подводы тянутся на станцию... Непонятен был в своем молчании, в своих уклончивых речах народ.

– Скрытен он стал, народ-то! Прямо жуть, как скрытен! – говорил Тихон Ильич.

И, забыв о «жидах», прибавлял:

– Положим, что и музыка-то вся эта нехитрая-с. Правительство сменить да земелькой поворнять – это ведь и младенец поймет-с. И, значит, дело ясно, за кого он гнет, – народ-то. Но, конечно, помалкивает. И надо, значит, следить, да так норовить, чтоб помалкивал. Не давать ему ходу! Не то держись: почует удачу, почует шлею под хвостом – вдребезги расшибет-с!

Когда он читал или слышал, что будут отнимать землю только у тех, у кого больше пятисот десятин, он и сам становился «смутьяном». Даже в спор с мужиками пускался. Случалось – стоит возле его лавки мужик и говорит:

– Нет, это ты, Ильич, не толкуй. По справедливой оценке – это можно, взять-то ее. А так – нет, нехорошо...

Жарко, пахнет сосновым тесом, сваленным возле амбаров, напротив двора. Слышно, как за деревьями и за постройками станции сипит, разводит лары горячий паровоз товарного поезда. Без шапки стоит, щурясь и хитро улыбаясь, Тихон Ильич. Улыбается и отвечает:

– Так. А если он не хозяин, а лодырь?

– Кто? Барин-то? Ну, это дело особая. У такого-то и со всеми потрохами отнять не грех!

– Ну вот то-то и оно-то!

Но приходила другая весть – будут и меньше пятисот брать! – и сразу овладевала душой рассеянность, придирчивость. Все, что делается по дому, начинало казаться отвратительным.

Выносил из лавки Егорка, подручный, мучные мешки и начинал вытрясать их. Макушка клином, волосы жестки и густы – "и отчего это так густы они у дураков?" – лоб вдавленный, лицо как яйцо косое, глаза рыбы, выпуклые, а веки с белыми, телячьими ресницами точно натянуты на них: кажется, что не хватило кожи, что если малый сомкнет их, нужно будет рот разинуть, если закроет рот – придется широко раскрыть веки. И Тихон Ильич злобно кричал:

– Далдон! Дулеб! Что ж ты на меня-то трясешь?

Горницы его, кухня, лавка и амбар, где прежде была винная торговля, – все это составляло один сруб, под одной железной крышей. С трех сторон вплотную примыкали к нему навесы скотного варка, крытые соломой – и получался уютный квадрат. Амбары стояли против дома, через дорогу. Направо была станция, налево шоссе. За шоссе – березовый лесок. И когда Тихону Ильичу было не по себе, он выходил на шоссе. Белой лентой, с перевала на перевал, убегало оно к югу, все понижаясь вместе с полями и снова поднимаясь к горизонту только от далекой будки, где его пересекала идущая с юго-востока чугунка. И если случалось, что ехал кто-нибудь из дурновских мужиков, – конечно, кто поделнее, поразумнее, например, Яков, которого все зовут Яковом Микитичем за то, что он «богат» и жаден, Тихон Ильич останавливал его.

– Хоть бы картузишко-то купил себе! – кричал он с усмешкой.

Яков, в шапке, в замашкой рубахе, в коротких тяжелых портках и босой, сидел на грядке телеги. Он натягивал веревочные вожжи, останавливая сытую кобылу.

– Здорово, Тихон Ильич, – сдержанно говорил он.

– Здорово! Шапку-то, говорю, пора пожертвовать на галчиные гнезда!

Яков, с хитрой усмешкой в землю, кивал головой.

– Это... как сказать?... не плохо бы. Да, капитал-то, к примеру, не позволяет.

– Будет толковать-то! Знаем мы вас, казанских сирот! Девку отдал, малого женил, деньги есть... Чего тебе еще от господа бога желать?

Это льстило Якову, но сдерживало еще более.

– О, господи! – вдыхая, бормотал он дрожащим голосом. – Деньги... У меня их, к примеру,

и в заведение-то не бывало... А малый... что ж малый? Малый не радуется... Прямо надо сказать – не радуется!

Был Яков, как многие мужики, очень нервен и особенно тогда, когда доходило дело до его семьи, хозяйства. Был очень скрытен, но тут нервность одолевала, хотя избличала ее только отрывистая, дрожащая речь. И, чтобы уже совсем растрогать его, Тихон Ильич участливо спрашивал:

– Не радуется? Скажи, пожалуйста! И все из-за бабы? Яков, озираясь, скреб ногтями грудь:

– Из-за бабы, родимец ее расшиби...

– Ревнует?

– Ревнует... В снохачи меня записала... И у Якова бегали глаза:

– Там нажалилась мужу, там нажалилась! Да что – отравить хотела! Иной раз, к примеру, остудишься... покуришь маленько, чтоб на груди полегчало... Ну, и сунула мне под подушку сигарку... Кабы не глянул- пропал бы!

– Что ж за сигарка такая?

– Костей мертвых натолкла да заместо табаку и всыпала...

– То-то малый-то дурак! Поучил бы ее по-русски!

– Куда тебе! Мне же, к примеру, на грудь полез! А сам как змей вьется!.. Ухвачу за голову, ан голова-то стриженная... Ухвачу за пельки – рубаху драть жалко!

Тихон Ильич качал головой, молчал минуту и, наконец, решился:

– Ну, а как у вас там? Все бунту ждете? Но тут скрытность сразу возвращалась к Якову. Он усмехался и махал рукой.

– Ну! – скороговоркой бормотал он. – Какого там рожна – бунту! У нас народ смирный... Смирный народ...

И натягивал вожжи, будто не стоит лошадь.

– А сходка-то зачем в воскресенье была? – вдруг злобно кидал Тихон Ильич.

– Сходка-то? А чума их знает! Погалдели, к примеру...

– Знаю, о чем галдели-то!

– Да что ж, я не таюсь... Болтали, к примеру, что вышла, мол, распоряжение... вышла будто распоряжение – никак не работать у господ по прежней цене...

Очень обидно было думать, – что из-за какой-то Дурновки руки отваливаются от дела. И дворов-то в этой Дурновке всего три десятка. И лежит-то она в чертовой яруге: широкий овраг, на одном боку – избы, на другом – усадьбишка. И переглядывается эта усадьбишка с избами и со дня на день ждет какого-то «распоряжения»... Эх, взять бы несколько казаков с плетьюми!

Но «распоряжение» – таки вышло. Пронесся в одно из вокресений слух, что в Дурновке – сходка, вырабатывается план наступления на усадьбу. С злобно-радостными глазами, с ощущением силы и дерзости, с готовностью "самому черту рога сломать", Тихон Ильич крикнул "запречь в бегунки жеребчика" и через десять минут уже гнал его вдоль шоссе к Дурновке. Солнце садилось после дождливого дня в серо-красные тучи, стволы в березовом лесочке были алые, проселок, резко выделявшийся черно-фиолетовой грязью среди свежей зелени, был тяжел. С ляжек жеребчика, со шлеи, ерзавшей по ним, падала розовая пена. Крепко шелкая вожжами, Тихон Ильич свернул от чугунки, взял направо полевой дорогой и, увидав Дурновку, на минуту усомнился в правдивости слухов о бунте. Мирная тишина была вокруг, мирно пели свои вечерние песни жаворонки, просто и спокойно пахло влажной землей и сладостью полевых цветов... Но вдруг взгляд упал на пары возле усадьбы, густо усеянные желтым донником: на его парах пасся мужицкий табун! Началось, значит! И, передернув вожжи, Тихон Ильич пролетел мимо табуна, мимо риги, заросшей лопухами и крапивой, мимо низкорослого сада, полного воробьями, мимо конюшни и людской избы и вскочил во двор...

А потом творилось что-то несуразное: в сумерках, замирая от злобы, обиды и страха, Тихон Ильич сидел в поле на бегунках. Сердце колотилось, руки дрожали, лицо горело, слух был чуток, как у зверя. Он сидел, слушал крики, доносившиеся из Дурновки, и вспоминал, как толпа, показавшаяся огромной, повалила, завидя его, через овраг к усадьбе, наполнила двор галдой и бранью, сгрудилась у крыльца и прижала его к двери. В руках у него был только кнут. И он махал им, то отступая, то отчаянно кидаясь в толпу. Но еще шире и смелее махал палкой наступавший шорник, – злой, поджарый, с провалившимся животом, востроносый, в сапогах и лиловой ситцевой рубахе. Он, от лица всей толпы, орал, что вышло распоряжение "пошабашить это

дело" – пошабашить в один и тот же день и час по всей губернии: согнать из всех экономии посторонних батраков, заступить на их работу местным, – по целковому на день! И Тихон Ильич орал еще неистовее, стараясь заглушить шорника:

– А-а! Вот как! Навострился, бродяга, у агитаторов? Насобачился?

И шорник цепко, на лету, ловил его слова.

– Ты бродяга-то, – вопил он, наливаясь кровью. – Ты, дурак седой! Ай я сам не знаю, сколько земли-то у тебя? Сколько, кошкодер? Двести? А у меня – черт! – у меня ее и всей-то с твое крыльцо! А почему! Кто ты такой? Кто ты такой есть, спрашиваю я тебя? Из каких таких квасов?

– Ну, помни, Митька! – крикнул наконец Тихон Ильич беспомощно и, чувствуя, что голова его мутится, кинулся сквозь толпу к бегункам. – Помни ты это себе!

Но никто не боялся угроз – и дружный гогот, рев и свист понеслись ему вслед... А потом он колесил вокруг усадьбы, замирал, слушал. Он выезжал на дорогу, на перекресток и становился лицом к заре, к станции, готовый каждую минуту ударить по лошади. Было тихо, тепло, сыро и темно. Земля, поднимаясь к горизонту, где еще тлел красноватый слабый свет, была черна, как пропасть.

– С-стой, стерва! – сквозь зубы шептал Тихон Ильич шевелившейся лошади. – Сто-ой!

А издали доносились голоса, крики. И изо всех голосов выделялся голос Ваньки Красного, уже два раза побывавшего на донецких шахтах. А потом над усадьбой вдруг поднялся темно-огненный столб: мужики зажгли в саду шалаш – и пистолет, забытый в шалаше сбежавшим мясанином-садовником, стал сам собой палить из огня...

Впоследствии узнали, что и правда, совершилось чудо: в один и тот же день взбунтовались мужики чуть не по всему уезду. И гостиницы города долго были переполнены помещиками, искавшими защиты у властей. Но впоследствии Тихон Ильич с великим стыдом вспоминал, что искал и он ее: со стыдом потому, что весь бунт кончился тем, что поорали по уезду мужики, сожгли и разгромили несколько усадеб, да и смолкли. Шорник вскоре как ни в чем не бывало опять стал появляться в лавке на Воргле и почтительно снимал шапку на пороге, точно не замечая, что Тихон Ильич в лице темнеет при его появлении. Однако еще ходили слухи, что собираются дурновцы убить Тихона Ильича. И он побаивался запаздывать на пути из Дурновки, ощущал в кармане бульдог, надоедливо оттягивавший карман шаровар, давал себе клятву сжечь дотла Дурновку в одну прекрасную ночь... отравить воду в дурновских прудах... Потом прекратились слухи. Но Тихон Ильич стал твердо подумывать развязаться с Дурновкой. "Не те деньги, что у бабушки, а те, что в пазушке!"

В этот год Тихону Ильичу сравнялось уже пятьдесят. Но мечта стать отцом не покидала его. И вот она-то и столкнула его с Родькой.

Родька, долговязый, хмурый малый из Ульяновки, пошел назад тому два года во двор ко вдовому брату Якова, Федоту; женился, схоронил Федота, умершего с перепоя па свадьбе, и ушел в солдаты. А Молодая, – стройная, с очень белой, нежной кожей, с тонким румянцем, с вечно опущенными ресницами, – стала работать в усадьбе, на поденщине. И эти ресницы волновали Тихона Ильича страшно. Носят дурновские бабы «рога» на голове: как только из-под венца, косы кладутся на макушке, покрываются платком и образуют нечто дикое, коровье. Носят старинные темно-лиловые поневы с пазументом, белый передник вроде сарафана и лапти. Но Молодая, – за ней так и осталась эта кличка, – была и в этом наряде хороша. И однажды вечером, в темной риге, где Молодая одна дометала колос, Тихон Ильич, оглянувшись, быстро подошел к ней и быстро сказал:

– В полсапожках ходить будешь, в платках шелковых... Четвертнова не пожалею! Но Молодая молчала как убитая.

– Слышишь, что ли? – шепотом крикнул Тихон Ильич.

Но Молодая точно окаменела, склонив голову и кидая граблями.

И так он не добился ничего. Как вдруг явился Родька: раньше срока, кривой. Было это вскоре после бунта дурновцев, и Тихон Ильич тотчас же нанял Родьку вместе с женой в дурновскую усадьбу, ссылаясь на то, что "без солдата теперь не обойдешься". Под Ильин день Родька уехал в город за новыми метлами и лопатами, а Молодая мыла полы в доме. Шагая через лужи, Тихон Ильич вошел в комнату, глянул на склонившуюся к полу Молодую, на ее белые икры, забрызганные грязной водой, на все ее раздавленное в замужестве тело... И вдруг, как-то особенно

ловко владея силой и желанием, шагнул к Молодой. Она быстро выпрямилась, подняла возбужденное, раскрасневшееся лицо и, держа в руке мокрую ветошку, странно крикнула:

– Так и смажу тебя, мальш!

Пахло горячими помоями, горячим телом, потом... И, схватив руку Молодой, зверски стиснув ее, тряхнув, и выбив ветошку, Тихон Ильич правой рукой поймал Молодую за талию, прижал к себе, да так, что хрустнули кости, – и понес в другую комнату, где была постель. И, откинув голову, расширив глаза, Молодая уже не билась, не противилась...

Стало после этого мучительно видеть жену, Родьку, знать, что он спит с Молодой, что он свирепо бьет ее – ежедневно и еженощно. А вскоре стало и жутко. Неисповедимы пути, по которым доходит до правды ревнующий человек. И Родька дошел. Худой, кривой, длиннорукий и сильный, как обезьяна, с маленькой коротко стриженной черной головой, которую он всегда гнул, глядя глубоко задавшим глазом исподлобья, он стал страшен. В солдатах он нахватался хохлацких слов и ударений. И если Молодая осмеливалась возражать ему на его краткие, жесткие речи, он спокойно брал ременный кнут, подходил к ней с злой усмешкой и, сквозь зубы, спокойно спрашивал, ударяя на «во»:

– Вы шо говорите?

И так вытягивал ее, что у нее в глазах темнело. Раз наткнулся на эту расправу Тихон Ильич и, не выдержав, крикнул:

– Что ты делаешь, мерзавец ты этакий? Но Родька спокойно сел на лавку и только глянул на него.

– Вы шо говорите? – спросил он.

И Тихон Ильич поспешил хлопнуть дверь...

Стали мелькать уже дикие мысли: подстроить так, например, чтобы Родьку где-нибудь придавило крышей или землей... Но прошел месяц, прошел другой, – и надежда, та надежда, которая и опьянила-то этими мыслями, жестоко обманула: Молодая не забеременела! Из-за чего было после этого продолжать играть с огнем? Надо было разделаться с Родькой, как можно скорее прогнать его.

Но кем было его заменить?

Выручил случай. Неожиданно Тихон Ильич помирился с братом и уговорил его взять на себя управление Дурновкой.

Узнал он от знакомого в городе, что Кузьма долго служил конторщиком у помещика Касаткина и, что всего удивительнее, – стал «автором». Да, напечатали будто бы целую книжку его стихов и на обороте обозначили "Склад у автора".

– Та-ак-с! – протянул Тихон Ильич, услыхавши это. – Он Кузьма, а ничего! И что же, позвольте спросить, так и напечатали: сочинение Кузьмы Красова?

– Все честь честью, – ответил знакомый, твердо веривший, впрочем, – как и многие в городе, – что стихи свои Кузьма «сдирает» из книг, из журналов.

Тогда Тихон Ильич, не сходя с места, за столом в трактире Даева, написал брату твердую и краткую записку: пора старикам помириться, покаяться. А на другой день и примирение и деловой разговор у Даева.

Было утро, в трактире еще пусто. Солнце светило в запыленные окна, озаряло столики, крытые сыроватыми красными скатертями, темный, только что вымытый отрубями пол, Пахнущий конюшней, половых в белых рубашках и белых штанах. В клетке на все лады, как неживая, как заведенная, заливалась канарейка. Тихон Ильич, с нервным и серьезным лицом, сел за стол и, как только потребовал пару чаю, над его ухом раздался давно знакомый голос:

– Ну, здравствуй.

Был Кузьма ниже его ростом, костистее, суше. Было у него большое, худое, слегка скуластое лицо, насупленные серые брови, небольшие зеленоватые глаза. Начал он но просто.

– Спервоначалу изложу я тебе, Тихон Ильич, – начал он, как только Тихон Ильич налил ему чаю, – изложу тебе, кто я такой, чтоб ты знал... – Он усмехнулся: – С кем ты связываешься...

И у него была манера отчеканивать слоги, поднимать брови, расстегивать и застегивать при разговоре пиджак на верхнюю пуговицу. И, застегнувшись, он продолжал:

– Я, видишь ли, – анархист... Тихон Ильич вскинул бровями.

– Не бойся. Политикой я не занимаюсь. А думать никому не закажешь. И вреда тебе тут –

никакого. Буду хозяйствовать исправно, но, прямо говорю, – драть шкуру не буду.

– Да и времена не те, – вздохнул Тихон Ильич.

– Ну, времена-то все те же. Можно еще, – драть-то. Да нет, не годится. Буду хозяйствовать, свободное же время отдам саморазвитию... чтению, то есть.

– Ох, имей в виду: зачитаешься – в кармане не досчитаешься! – сказал, тряхнув головой и дернув кончиком губы, Тихон Ильич. – Да, пожалуй, и не наше это дело.

– Ну, я так не думаю, – возразил Кузьма. – Я, брат, – как бы это тебе сказать? – странный русский тип.

– Я и сам русский человек, имей в виду, – вставил Тихон Ильич.

– Да иной. Не хочу сказать, что я лучше тебя, но – иной. Ты вот, вижу, гордишься, что ты русский, а я, брат, ох, далеко не славянофил! Много баять не подобает, но скажу одно: не хвалитесь вы, за ради бога, что вы – русские. Дикий мы народ!

Тихон Ильич, нахмуриваясь, побарабанивал пальцем по столу.

– Это-то, пожалуй, правильно, – сказал он. – Дикий народ. Шальной.

– Ну, вот то-то и есть. Я, могу сказать, довольно-таки пошатался по свету, – ну и что ж? – прямо нигде не видал скучнее и ленивее типов. А кто и не ленив, – покосился Кузьма на брата, – так и в том толку нет. Рвет, гандобит себе гнездо, а толку что?

– Как же так – толку что? – спросил Тихон Ильич.

– Да так. Вить его, гнездо-то, тоже надо со смыслом. Совью, мол, да и поживу по-человечески. Вот этим-то да вот этим-то.

И Кузьма постучал себя пальцем в грудь и в лоб.

– Нам, брат, видно, не до этого, – сказал Тихон Ильич. – "Поживи-ка у деревни, похлебайка сырых щей, поноси худых лаптей!"

– Лаптей! – едко отозвался Кузьма. – Вторую тыщу лет, брат, таскаем их, будь они трижды прокляты! А кто виноват? Татары, видишь ли, задавили! Мы, видишь ли, народ молодой! Да ведь авось и там-то, в Европе-то, тоже давили немало – монголы-то всякие. Авось и германцы-то не старше... Ну, да это разговор особый!

– Верно! – сказал Тихон Ильич. – Давай-ка лучше об делу поговорим!

Кузьма, однако, стал договаривать:

– В церковь я не хожу...

– Значит, ты молокан? – спросил Тихон Ильич и подумал: "Пропал я! Видно, надо развязываться с Дурновкой!"

– Вроде молокана, – усмехнулся Кузьма. – Да, а ты-то ходишь? Кабы не страх да не нуждишка, – и совсем забыл бы.

– Ну, это не я первый, не я последний, – возразил Тихон Ильич, нахмуриваясь. – Все грешны. Да ведь сказано: за один вздох все прощается.

Кузьма покачал головою.

– Говоришь привычное! – сказал он строго. – А ты остановись да подумай: как же это так? Жил-жил свиньей всю жизнь, вздохнул, – и все как рукой сняло! Есть тут смысл ай нет?

Разговор становился тяжелым. "Правильно и это", – подумал Тихон Ильич, глядя в стол блестящими глазами. Но, как всегда, хотелось уклониться от дум и разговора о боге, о жизни, и он сказал первое, что подвернулось на язык:

– И рад бы в рай, да грехи не пускают.

– Вот, вот, вот! – подхватил Кузьма, стуча ногтем по столу. – Самое что ни на есть любимое наше, самая погибельная наша черта: слово – одно, а дело – другое! Русская, брат, музыка: жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи! Ну, а засим говори дело. – Канарейка стихла. В трактир набирался народ. Теперь было слышно с базара, как где-то в лавке удивительно четко и звонко бил перепел. И, пока шел деловой разговор, Кузьма, все прислушиваясь к нему и порою вполголоса подхватывал: "Ловко!" А договорившись, хлопнул по столу ладонью, энергично сказал:

– Ну, значит, так, – не стать перетакивать! – и, запустив руку в боковой карман пиджака, вынул целую кипу бумаг и бумажек, нашел среди них в мраморно-серой обложке книжечку и положил ее перед братом.

– Вот! – сказал он. – Уступаю твоей просьбе да своей слабости. Книжонка плохая, стихи необдуманные, давнишние... Но делать нечего. На, бери и прячь.

И опять Тихона Ильича взволновало, что брат его – автор, что на этой мраморно-серой обложке напечатано: "Стихотворения К. И. Красова". Он повертел книжку в руках и несмело сказал:

– А то бы прочитал что-нибудь... А? Уж сделай милость, прочти стишка три-четыре!

И, опустив голову, надев пенсне, далеко отставив от себя книжку и строго глядя на нее сквозь стекла, Кузьма стал читать то, что обычно читают самоучки: подражания Кольцову, Никитину, жалобы на судьбу и нужду, вызовы заходящей туче-непогоде. Но на худых скулах выступали розовые пятна, голос порою дрожал, блестели глаза и у Тихона Ильича. Неважно было, хороши или дурны стихи, – важно то, что сочинил их его родной брат, простой человек, от которого пахло махоркой и старыми сапогами...

– А у нас, Кузьма Ильич, – сказал он, когда Кузьма смолк и, сняв пенсне, потупился, – а у нас одна песня... И непонятно, горько дернул губою:

– У нас одна песня: что почем?

Водворив брата в Дурновке, он, однако, принялся за эту песню еще охотнее, чем прежде. Перед тем, как сдать брату на руки Дурновку, он придрался к Родьке из-за новых гужей, съеденных собаками, и отказал ему. Родька дерзко усмехнулся в ответ и спокойно пошел в избу собирать свое добро. Молодая выслушала отказ тоже как будто спокойно. Она, разойдясь с Тихоном Ильичом, опять взяла манеру бесстрастно молчать, не глядеть ему в глаза. Но через полчаса, уже собравшись, Родька пришел вместе с ней просить прощения. Молодая стояла на пороге, бледная, с опухшими от слез веками, и молчала; Родька гнул голову, мял картуз и тоже пытался плакать, – противно гримасничал, а Тихон Ильич сидел да косил бровями, Щелкал на счетах. Смилостивился он только в одном – не вычел за гужи.

Теперь он был тверд. Отдельваясь от Родьки и передавая дела брату, он чувствовал себя бодро, ладно. "Ненадежен брат, пустой, кажись, человек, ну, да куда сойдет!" И, возвратись на Воргол, без устали хлопотал весь октябрь. И, как бы в лад с его настроением, весь октябрь стояла чудесная погода. Но вдруг она переломилась, – сменилась бурей, ливнями, а в Дурновке случилось нечто совершенно неожиданное.

Родька работал в октябре на линии чугуны, а Молодая без дела жила дома, только изредка зарабатывала пятиалтынный, двугривенный в саду при усадьбе. Вела она себя странно: дома молчала, плакала, а в саду была резко-весела, хохотала, пела песни с Донькой Козой, очень глупой и красивой девкой, похожей на египтянку. Коза жила с мещанином, снимавшим сад, а Молодая, почему-то подружившаяся с ней, вызывающе поглядывала на его брата, нахального мальчишку, и, поглядывая, намекала в песнях, что она по ком-то сохнет. Было ли у нее с ним что-нибудь, неизвестно, но только кончилось все это большой бедой: уезжая под Казанскую в город, мещане устроили у себя в шалаше «вечерок», – пригласили Козу и Молодую, вей ночь играли на двух ливенках, кормили подруг жамками, поили чаем и водкой, а на рассвете, когда уже запрягли телегу, внезапно, с хохотом, повалили пьяную Молодую наземь, связали ей руки, подняли юбки, собрали их в жгут над головою и стали закручивать веревкой. Коза кинулась бежать, забилась со страху в мокрые бурьяны, а когда выглянула из них, – после того, как телега с мещанами шибко покатила вон из сада, – то увидела, что Молодая, но пояс голая, висит на дереве. Был печальный туманный рассвет, по саду шептал мелкий дождик, Коза плакала в три ручья, зуб на зуб не попадала, развязывая Молодую, клялась отцом-матерью, что скорее ее, Козу, громом убьет, чем узнают на деревне, что случилось в саду... Но не сравнялось и недели, как пошли по Дурновке слухи о позоре Молодой.

Проверить эти слухи было, конечно, невозможно: "видеть – никто не видал, ну, а Коза-то и сбредить недорого возьмет". Однако разговоры, вызванные слухами, не прекращались, и все с великим нетерпением ожидали прихода Родьки и его расправы с женой. Волнуясь, – опять выбившись из колеи! – ожидал этой расправы и Тихон Ильич, узнавший историю в саду от своих работников: ведь история-то могла кончиться убийством! Но кончилась она так, что еще неизвестно, что поразило бы Дурновку сильнее, – убийство или такой конец: в ночь на Михайлов день Родька, пришедший домой "рубашку сменить", умер "от живота"! На Воргле стало известно об этом поздно вечером, но Тихон Ильич тотчас же приказал запрячь лошадь и в темноте, под дождем, понесся к брату. И сгоряча, выпив за чаем бутылку наливки, в страстных выражениях, с бегающими глазами, покалялся ему:

– Мой грех, брат, мой грех!

Кузьма долго молчал, выслушав его, долго ходил по комнате, перебирая пальцы, ломая их и хрустя суставами. Наконец ни с того ни с сего сказал:

– Вот ты и подумай: есть ли кто лютее нашего народа? В городе за воришкой, схватившим с лотка лепешку грошовую, весь обжорный ряд гонится, а нагонит, мылом его кормит. На пожар, на драку весь город бежит, да ведь как жалеет-то, что пожар али драка скоро кончились! Не мотай, не мотай головой-то: жалеет! А как наслаждаются, когда кто-нибудь жену бьет смертным боем, али мальчишку дерет как Сидорову козу, али потешается над ним? Это-то уж самая что ни на есть веселая тема.

– Имей в виду, – горячо перебил Тихон Ильич, – охальников всегда и везде было много.

– Так. А ты сам не привозил этого... ну, как его? Дурачка-то этого?

– Мотю Утиную Головку, что ли? – спросил Тихон Ильич.

– Ну, вот, вот... Не привозил ты его к себе на потеху?

И Тихон Ильич усмехнулся: привозил. Раз даже по чугулке доставили к нему Мотю – в бочке сахарной. Начальство знакомое – ну, и доставили. А на бочке написали: "Осторожно. Дурак битый".

– И учат этих самых дураков для потехи рукоблудству! – горько продолжал Кузьма. – Мажут бедным невестам ворота дегтем! Травят нищих собаками! Для забавы голубей сшибают с крыш камнями! А есть этих голубей, видите ли, – грех великий. Сам дух святой, видите ли, голубиный образ принимает!

Самовар давно остыл, свечка оплыла, в комнате тускло синел дым, вся полоскательница полна была вонючими размокшими окурками. Вентилятор, – жестяная труба в верхнем углу окна, – был открыт, и порою в нем что-то начинало визжать, кружиться и скучно-скучно ныть – "как в волостном правлении", – думал Тихон Ильич. Но накурено было так, что не помогли бы и десять вентиляторов. А по крыше шумел дождь, а Кузьма ходил как маятник из угла в угол и говорил:

– Да-а, хороши, нечего сказать! Доброта неописанная! Историю считаешь – волосы дыбом станут: брат на брата, сват на свата, сын на отца, вероломство да убийство, убийство да вероломство... Былины – тоже одно удовольствие: "распорол ему груди белые", "выпускал черева на землю"... Илья, так тот своей собственной родной дочери "ступил на леву ногу и подернул за праву ногу"... А песни? Все одно, все одно: мачеха – "лихая да алчная", свекор – "лютый да придирчивый", "сидит на палате, ровно кобель на канате", свекровь опять-таки «лютая», "сидит па печи, ровно сука на цепи", золовки – непременно "псовки да клязницы", деверья – "злые насмешники", муж – "либо дурак, либо пьяница", ему "свекор-батюшка вялит жану больней бить, шкуру до пят спустить", а невестушка этому самому батюшке "полы мыла – во щи вылила, порог скребла – пирог спекла", к муженьку же обращается с такой речью: "Встань, постылый, пробудися, вот тебе помой – умойся, вот тебе онучи – утрися, вот тебе обрывок – удавися"... А прибаутки наши, Тихон Ильич! Можно ли выдумать грязней и похабнее! А пословицы! "За битого двух небитых дают"... "Простота хуже воровства"...

– Значит, по-твоему, нищим-то лучше жить? – насмешливо спросил Тихон Ильич.

И Кузьма радостно подхватил его слова:

– Ну, вот, вот! Нету во всем свете голее нас, да зато и нету охальнее на эту самую голь. Чем позлей уязвить? Бедностью! "Черт! Тебе лопать нечего..." Да вот тебе пример: Дениска... ну, этот., сын Серого-то... сапожник... на днях и говорит мне...

– Стой, – перебил Тихон Ильич, – а как поживает сам Серый?

– Дениска говорит – "с голоду околевает".

– Стерва мужик! – сказал Тихон Ильич убежденно. – И ты мне про него песен не пой.

– Я и не пою, – сердито ответил Кузьма. – Слушай лучше про Дениску-то. Вот он и рассказывает мне: "Бывало, в голодный год, выйдем мы, подмастерья, на Черную Слободу, а там этих приституток – видимо-невидимо. И голодные, шкуры, преголодные! Дашь ей полхунта хлеба за всю работу, а она и сожрет его весь под тобой... То-то смеху было!.." Заметь! – строго крикнул Кузьма, останавливаясь: – "То-то смеху было!"

– Да постой ты, Христа ради, – опять перебил Тихон Ильич, – дай мне про дела-то слово сказать! Кузьма остановился.

– Ну, говори, – сказал он. – Только что говорить-то? Как быть тебе? Да никак! Денег дать – вот и вся недолга. Ведь ты подумай: топить нечем, есть нечего, хоронить не на что! А потом

опять ее нанять. Ко мне в кухарки...

Домой уехал Тихон Ильич чем свет, холодным туманным утром, когда еще пахло мокрыми гумнами и дымом, сонно пели петухи на деревне, скрытой туманом, спали собаки у крыльца, спала старая индюшка, взгромоздясь на сук полуголой, расцвеченной мертвыми осенними листьями яблони возле дома. В поле в двух шагах ничего не было видно за густой серой мглой, гонимой ветром. Спать Тихону Ильичу не хотелось, но чувствовал он себя измученным и, как всегда, шибко гнал лошадь, большую гнедую кобылу с подвязанным хвостом, намокшую и казавшуюся худей, щеголеватей, чернее. Он отвернулся от ветра, поднял справа холодный и влажный воротник чуйки, серебрившейся от мельчайшего дождевого бисера, сплошь покрывшего ее, глядел сквозь холодные капельки, висевшие на ресницах, как все толще наворачивается липкий чернозем на бегущее колесо, как стоит перед ним и не проходит целый фонтан высоко толкущихся комьев грязи, уже залепивших его голенища, косился на работающую ляжку лошади, на ее прижатые затуманенные уши... А когда он, с пестрым от грязи лицом, подлетел, наконец, к дому, первое, что кинулось ему в глаза, была лошадь Якова у коновязки. Быстро замотав вожжи на передок, он соскочил с бегунков, подбежал к отворенной двери лавки – и в испуге остановился.

– Далдо-он! – говорила за стойкой Настасья Петровна, видимо подражая ему, Тихону Ильичу, но большим, ласковым голосом, и все ниже склонялась к ящику с деньгами, роясь в гремящих медяках и не находя в темноте монеты для сдачи. – Далдон! Где он, керосин-то, нынче дешевле продается?

И, не найдя, разогнулась, поглядела на стоящего перед ней в шапке и армяке, но босого Якова, на его косую бороду неопределенного цвета и прибавила:

– А не отравила она его?

И Яков поспешно забормотал:

– Не наше дело, Петровна... Чума ее знает... Наша дело – сторона... Сторона, к примеру...

И весь день у Тихона Ильича дрожали руки при воспоминании об этом бормотанье. Все, все думают, что отравила!

К счастью, тайна так и осталась тайной: Родьку схоронили, Молодая голосила, провожая гроб, так искренно, что была даже неприлична, – ведь эта голосьба должна быть не выражением чувств, а исполнением обряда, – и мало-помалу тревога Тихона Ильича улеглась.

Хлопот к тому же было по горло, а помощников – нет. От Настасьи Петровны помощи было мало. В батраки Тихон Ильич нанимал только «полетчиков» – до осенних заговен. И они уже разошлись. Остались только годовые, – кухарка, старик-караульщик, прозванный Жмыхом, да малый Оська, "олух царя небесного". А сколько заботы требовала одна скотина! Зимовало двадцать штук овец. В закуте сидело шесть черных, вечно угрюмых и чем-то недовольных кабанов. На варке стояло три коровы, бычок, красная телушка. На дворе – одиннадцать лошадей; а на стойле – сивый жеребец, злой, тяжелый, гривастый, грудастый, – мужик, но рублей в четыреста: отец аттестат имел, полторы тысячи стоил. И все это требовало глаза да глаза.

Настасья Петровна давно собиралась поехать погостить к знакомым в город. И наконец собралась и уехала. Проводив ее, Тихон Ильич бесцельно побрел в поле. По шоссе проходил с ружьем за плечами начальник почтового отделения в Ульяновке Сахаров, известный таким свирепым обращением с мужиками, что они говорили: "Подаешь письмо – руки-ноги трясутся!" Тихон Ильич вышел к нему под дорогу. Приподняв бровь, он глянул на него и подумал: "Дурак старик. Ишь, слоны слоняет по грязи".

И дружелюбно крикнул:

– С полем, что ли, Антон Маркыч?

Почтарь остановился. Тихон Ильич подошел и поздоровался.

– Ну, какое там поле! – сумрачно ответил почтарь, огромный, сутулый, с густыми серыми волосами, торчавшими из ушей и ноздрей, с большими бровями дугами и глубоко запавшими глазами. – Так, прошелся ради геморроя, – сказал он, особенно старательно выговаривая последнее слово.

– А имейте в виду, – с неожиданной горячностью отозвался Тихон Ильич, протягивая руку с растопыренными пальцами, – имейте в виду: совсем опустели наши палестины! Звания не осталось – что птицы, что зверя-с!

– Леса везде вырубил, – сказал почтарь.

– Да еще как-с! Как вырубил-то-с! Под гребеночку! – подхватил Тихон Ильич. И неожиданно прибавил:

– Линяет-с! Все линяет-с!

Почему сорвалось с языка то слово, Тихон Ильич и сам не знал, но чувствовал, что сказано оно все-таки не даром. "Все линяет, – думал он, – вот как скотина после долгой и трудной зимы..." И, простившись с почтарем, долго стоял на шоссе, недовольно поглядывая кругом. Опять накрапывал дождь, дул неприятный мокрый ветер. Над волнистыми полями – озимями, пашнями, жнивьями и и коричневыми перелесками – темно. Сумрачное небо все ниже спускалось к земле. Оловом поблескивали залитые дождем дороги. На станции ждали почтового поезда в Москву, оттуда пахло самоваром, и это будило тоскливое желание уюта, теплой чистой комнаты, семьи...

Ночью опять лил дождь, темь была, хоть глаз выколи. Спал Тихон Ильич плохо, мучительно скрипел зубами. Его знобило, – верно, простыл, стоя вечером на шоссе, – чуйка, которой он прикрылся, сползла на пол, и тогда снилось то, что преследовало с самого детства, когда по ночам зябла спина: сумерки, какие-то узкие переулки, бегущая толпа, скачущие на тяжелых телегах, на злых вороных битюгах пожарные... Раз он очнулся, зажег спичку, глянул на будильник, – он показывал три, – поднял чуйку и, опять засыпая, стал тревожиться: обворуют лавку, сведут лошадей...

Иногда казалось, что он на постоялом дворе в Данкове, что ночной дождь шумит по навесу ворот и поминутно дергается, звонит колоколец над ними, – приехали воры, привели в эту непроглядную темь его жеребца и, если узнают, что он тут, убьют его... Иногда же возвращалось сознание действительности. Но и действительность была тревожна. Старик ходил под окнами с колотушкой, но то казалось, что он где-то далеко-далеко, то Буян, захлебываясь, рвал кого-то, с бурным лаем убежал в поле и вдруг снова появлялся под окнами и будил, упорно брехал, стоя на одном месте. Тогда Тихон Ильич собирался выйти, глянуть, – что такое, все ли в порядке. Но как только доходило до того, чтобы решиться встать, как гуще и чаще начинал стрекотать в темные окошечки крупный косой дождь, гонимый ветром из темных беспредельных полей, и милей отца-матери казался сон...

Наконец стукнула дверь, понесло сырым холодом, – караульщик, Жмых, шурша, втащил в прихожую вязанку соломы. Тихон Ильич открыл глаза: мутно, водянисто светало, окошечки были потные.

– Протопи, протопи, братушка, – сказал Тихон Ильич сиплым со сна голосом. – Да пойдем кормочку скотине дадим, и иди себе спать.

Старик, похудевший за ночь, весь синий от холода, сырости и усталости, глянул на него провалившимися мертвыми глазами. В мокрой шапке, в мокром коротком чекменишке и растрепанных лаптях, насыщенных водой и грязью, он что-то глухо заворчал, с трудом становясь на колени перед печкой, набивая ее холодной пахучей старновкой и вздувая серник.

– Ай язык-то корова отжевала? – сипло крикнул Тихон Ильич, слезая с постели. – Что под нос-то бубнишь?

– Цельную ночь шатался, теперь – кормочку давай, – пробормотал старик, не поднимая головы, как бы сам с собою.

Тихон Ильич покосился на него:

– Видел я, как ты шатался!

– Ох! – сказал он, закрывая глаза и трясая головой. – Ох, мати царица небесная!

Он надел поддевку и, пересиливая мелкую дрожь в животе, вышел на истоптанное крылечко, на ледяную свежесть бледного ненастного утра. Всюду налило свинцовых луж, все стены потемнели от дождя. Чуть моросило, "но, верно, к обеду опять польет", – подумал он. И с удивлением глянул на лохматого Буяна, кинувшегося к нему из-за угла: глаза блестят, язык свеж и красен, как огонь, горячее дыхание так и пышет псиной... И это после целой ночи беготни и лая!

Он взял Буяна за ошейник и, шлепая по грязи, обошел, оглядел все замки. Потом привязал его на цепь под амбаром, вернулся в сени и заглянул в большую кухню, в избу. В избе противно и тепло воняло; кухарка спала на голом конике, закрыв лицо фартуком, выставив костреч и подогнув к животу ноги в старых больших валенках с толсто натоптанными по земляному полу подошвами; Оська лежал на нарах, в полушубке, в лаптях, уткнув голову в сальную тяжелую по-

душку.

"Связался черт с младенцем! – подумал Тихон Ильич с отвращением. – Ишь, всю ночь распутничала, а под утро – на лавочку!"

И, оглянув черные стены, маленькие окошечки, лохань с помоями, громадную плечистую печь, громко и строго крикнул:

– Эй! Господа-бояре! Пора и честь знать!

Пока кухарка затапливала печку, варила кабанам картошки и раздувала самовар, Оська, без шапки, спотыкаясь от дремоты, таскал хоботье лошадям и коровам. Тихон Ильич сам отпер скрипучие ворота варка и первый вошел в его теплый и грязный уют, обнесенный навесами, денниками и закутами. Выше щиколки был унавожен варок. Навоз, моча, дождь – все слилось и образовало густую коричневую жижу. Лошади, уже темнея бархатной зимней шерстью, бродили под навесами. Овцы грязно-серой массой сбились в один угол. Старый бурый мерин одиноко дремал возле пустых яслей, измазанных тестом. С неприветливого ненастного неба над квадратом двора моросило и моросило. Кабаны болезненно, настойчиво ныли, урчали в закуте.

"Скука!" – подумал Тихон Ильич и тотчас же свирепо гаркнул на старика, тащившего вязанку старновки:

– Что ж по грязи-то тащишь, старая транда? Старик бросил старновку наземь, поглядел на него и вдруг спокойно сказал:

– От транды слышу.

Тихон Ильич быстро оглянулся, – вышел ли малый, – и, убедившись, что вышел, быстро и тоже как будто спокойно подошел к старику, дал ему в зубы, да так, что тот головой мотнул, схватил его за шиворот и изо всей силы пустил к воротам.

– Вон! – крикнул он, задохнувшись и побледнев, как мел. – Чтоб твоего и духу здесь не пахло больше, рвань ты этакая!

Старик вылетел за ворота – и через пять минут, с мешком за плечами и с палкой в руке, уже шагал по шоссе, домой. Тихон Ильич трясущимися руками напоил жеребца, засыпал ему свежего овса, – вчерашний он только перерыл, переслюнявил, – и, широко шагая, утопая в жиже и навозе, пошел в избу.

– Готово, что ли? – крикнул он, притворив дверь.

– Поспеешь! – огрызнулась кухарка.

Избу застилало теплым пресным паром, валившим из чугуна от картошек. Кухарка, вместе с малым, яростно толкла их толкачами, посыпая мукой, и за стуком Тихон Ильич не слышал ответа. Хлопнув дверью, он пошел пить чай.

В маленькой прихожей он поддал ногой грязную тяжелую попону, лежавшую у порога, и направился в угол, где над табуреткой с оловянным тазом был прибит медный рукомойник и на полочке лежал обмызганный кусочек кокосового мыла. Гремя рукомойником, он косил, двигал бровями, раздувал ноздри, не мог остановить злого, бегающего взгляда и с особенной отчетливостью говорил:

– Вот так работнички! Скажи ты ему слово – он тебе десять! Скажи ему десять – он тебе сто! Да нет, брешешь! Авось не к лету, авось вас, чертей много! К зиме-то, брат, жрать захочешь, – придешь, сукин сын, приде-ешь, поклоо-нишься!

Утирка висела возле рукомойника с Михайлова дня. Она была так затерта, что, взглянув на нее, Тихон Ильич стиснул челюсти.

– Ох, – сказал он, закрывая глаза и трясая головой. – Ох, мати царица небесная!

Две двери вели из прихожей. Одна, налево, – в комнату для приезжающих, длинную, полутемную, окошечками на варок; стояли в ней два больших дивана, жестких, как камень, обитых черной клеенкой, переполненных и живыми и раздавленными, высохшими клопами, а на простенке висел портрет генерала с лихими бобровыми бакенбардами; портрет окаймляли маленькие портреты героев русско-турецкой войны, а внизу была подпись: "Долго будут дети наши и славянские братушки помнить славные дела, как отец наш, воин смелый, Сулейман-пашу разбил, победил Врагов неверных и прошел с детьми своими по таким крутизнам, где носились лишь туманы да пернатые цари". Другая дверь вела в комнату хозяев. Там направо, возле двери, блестя стеклами горка, налево белела печь-лежанка; печь когда-то треснула, ее, по белому, замазали глиной – и получились очертания чего-то вроде изломанного худого человека, крепко надо-евшего Тихону Ильичу. За печью высилась двуспальная постель: над постелью был прибит

ковер мутно-зеленых и кирпичных шерстей с изображением тигра, усатого, с торчащими кошачьими ушами. Против двери, у стены, стоял комод, крытый вязаной скатертью, на нем – венчальная шкатулка Настасьи Петровны...

– В лавку! – крикнула, приотворив дверь, кухарка.

Дали затянуло водянистым туманом, опять становилось похоже на сумерки, моросил дождь, но ветер повернул, дул с севера – и воздух посвежел. Веселее и звончей, чем за все последние дни, крикнул на станции отходивший товарный поезд.

– Здорово, Ильич, – сказал, кивая мокрой манджурской папахой, трегубый мужик, державший у крыльца мокрую пегую лошадь.

– Здорово, – кинул Тихон Ильич, косо глянув на белый крепкий зуб, блестящий из-за раздвоенной губы мужика. – Что надо?

И, торопливо отпустив соли и керосину, торопливо вернулся в горницы.

– Лба не дадут перекрестить, собаки! – бормотал он на ходу.

Самовар, стоявший на столе возле простенка, бурлил, клокотал, зеркальце, висевшее над столом, подернулось налетом белого пара. Отпотели окна и олеография, прибитая под зеркалом, – великан в желтом кафтане и красных сафьяновых сапогах, с российским стягом в руках, из-за которого глядел башнями и глазами московский кремль. Фотографические карточки в рамках из раковин окружали эту картину. На самом почетном месте висел портрет знаменитого иерея в муаровой рясе, с реденькой бородкой, с припухшими щеками и маленькими пронзительными глазками. И, взглянув на него, Тихон Ильич истово перекрестился на икону в углу. Потом снял с самовара закопченный чайник, налил стакан чаю, крепко пахнущего распаренным веником.

"Лба не дадут перекрестить, – думал он, страдальчески морщась. – Зарезали, будь они прокляты!"

Казалось, что нужно что-то вспомнить, сообразить или просто лечь и выспаться как следует. Хотелось тепла, покоя, ясности, твердости мысли. Он встал, подошел к горке, задребезжавшей стеклами и посудой, взял с полки бутылку рябиновки, кубастенький стаканчик, на котором было написано: "Его же и монаси приемлют"...

– Ай не надо? – сказал он вслух.

И налил и выпил, еще налил и еще выпил. И, закусывая толстым кренделем, сел за стол.

Он жадно хлебал с блюдечка горячий чай, сосал, держа на языке, кусочек сахара. Он рассеянно и подозрительно покосился, хлебая чай, на простенок, на мужика в желтом кафтане, на карточки в рамках из раковин и даже на иерея в муаровой рясе.

"Не до леригии нам, свиньям!" – подумал он и, как бы оправдываясь перед кем-то, грубо прибавил: – Поживи-ка у деревни, похлебай-ка кислых щей!

Косясь на иерея, он чувствовал, что все сомнительно... даже, кажется, и обычное благоговение его к этому иерею... сомнительно и не продумано. Если подумать хорошенько... Но тут он поспешил перевести взгляд на московский кремль.

– Страм сказать! – пробормотал он. – В Москве сроду не бывал!

Да, не бывал. А почему? Кабаны не велят! То торгашество не пускало, то постоянный двор, то кабак. Теперь вот жеребец, кабаны. Да что – Москва! В березовый лешишко, что за шоссе, и то десять лет напрасно прособирался. Все надеялся как-нибудь урвать свободный вечерок, захватить с собой ковер, самовар, посидеть на траве, в прохладе, в зелени, – да так и не урвал... Как вода меж пальцев, скользят дни, опомниться не успел – пятьдесят стукнуло, вот-вот и конец всему, а давно ли, кажись, без порток бегал? Прямо вчера!

Неподвижно смотрели лица из рамок-раковинок. Вот, на полу (но среди густой ржи) лежат двое – сам Тихон Ильич и молодой купец Ростовцев – и держат в руках стаканы, ровно до половины налитые темным пивом... Какая дружба завязалась было между Ростовцевым и Тихоном Ильичом! Как запомнился тот серый масленичный день, когда снимались! Но в каком году это было? Куда исчез Ростовцев? Теперь нет даже уверенности, жив он или нет... А вот стоят, вытянувшись во фронт и окаменев, три мещанина, гладко причесанные на прямой ряд, в вышитых косоворотках, в длинных сюртуках, в расчищенных сапогах, – Бучнев, Выставкин и Богомоллов. Выставкин, тот, что посредине, держит перед грудью хлеб-соль на деревянной тарелке, прикрытой полотенцем, расшитым петухами, Бучнев и Богомоллов – по иконе. Эти снимались в пыльный, ветреный день, когда освящали элеватор, – когда приезжали архиерей и губернатор, когда

Тихон Ильич так горд был тем, что попал в число публики, приветствовавшей начальство. Но что осталось в памяти от этого дня? Только то, что часов пять ждали возле элеватора, что тучей летела белая пыль по ветру, что губернатор, длинный и чистый покойник в белых штанах с золотыми лампасами, в шитом золотом мундире и треуголке, шел к депутации необыкновенно медленно... что было очень страшно, когда он заговорил, принимая хлеб-соль, что всех поразили необыкновенной худобой и белизной его руки, их кожа, тончайшая и блестящая, как снятая со змеи шкурка, блестящие, размытые перстни и кольца на сухих тонких пальцах с прозрачными длинными ногтями... Теперь губернатора этого уже нет в живых, нет в живых и Выставкина... А через пять, десять лет также будут говорить и про Тихона Ильича:

– Покойный Тихон Ильич...

В горнице стало теплей и уютней от нагретой печки, зеркала прояснилось, но за окнами ничего не было видно, стекла белели матовым паром, – значит, на дворе свежело. Все слышнее доносился нудный стон голодных кабанов, – и вдруг этот стон превратился в дружный и мощный рев: верно, кабаны слышали голоса кухарки и Оськи, тащивших к ним тяжелую лоханку с месивом. И, не кончив дум о смерти, Тихон Ильич кинул папиросу в полоскательницу, надернул поддевку и поспешил на варок. Широко и глубоко шагая по хлюпающему навозу, он сам отворил закуту – и долго не сводил жадных и тоскливых глаз с кабанов, кинувшихся к корыту, в которое с паром вывалили месиво.

Думу о смерти перебивала другая: покойный-то покойный, а этого покойного, может быть, в пример будут ставить. Кто он был? Сирота, нищий, в детстве не жвавший по два дня куска хлеба... А теперь?

– Твою биографию жизни описать следует, – насмешливо сказал однажды Кузьма.

А насмехаться-то, пожалуй, и не над чем. Значит, была башка на плечах, если из нищего, едва умевшего читать мальчишки вышел не Тишка, а Тихон Ильич...

Но вдруг кухарка, тоже пристально глядевшая на кабанов, теснивших друг друга и залезавших в корыто передними ножками, икнула и сказала:

– Ох, господи! Кабы у нас какой беды нынче не было! Вижу нынче во сне – нагнали к нам будто бы скотины на двор, нагнали овец, коров, свиней всяких... Да все черных, все черных!

И опять засосало сердце. Да, вот скотина эта самая! От одной скотины удавиться можно. Трех часов не прошло, – опять берись за ключи, опять таскай корм всему двору. В общем деннике – три дойных коровы, в отдельных – красная телушка, бык Бисмарк: им теперь подавай сена. Лошадям, овцам в обед полагается хоботье, а жеребцу – и сам черт не придумает что! Жеребец просунул; морду в решетчатый верх двери, поднял верхнюю губу, обнажил розовые десны и белые зубы, исказил ноздри... И Тихон Ильич, с неожиданным для самого себя бешенством, вдруг гаркнул на него:

– Балуй, анафема, разрази тебя громом!

Опять он промочил ноги, прозяб – шла крупа – и опять выпил рябиновки. Ел картошки с подсолнечным маслом и солеными огурцами, щи с грибной подливкой, пшенную кашу... Лицо покраснелось, голова отяжелела.

Не раздеваясь, – только стащив нога об ногу грязные сапоги, – он лег на постель. Но тревожило то, что придется вот-вот опять вставать: лошадям, коровам и овцам надо к вечеру задать овсяной соломы, жеребцу – тоже... или нет; лучше перебить ее с сеном, а потом полить и посолить хорошенько... Только ведь непременно проспишь, если дашь себе волю. И Тихон Ильич потянулся к комоду, взял будильник и стал заводить его. И будильник ожил, застучал и в горнице стало как будто покойнее под его бегущий мерный стук. Мысли спутались... -

Но только что спутались, как внезапно раздалось грубое и громкое церковное пение. В испуге открыв глаза, Тихон Ильич сперва разобрал только одно: орут в нос два мужика, а из прихожей несет холодом и запахом мокрых чекменей. Потом вскочил, сел и разглядел, что это за мужики: один был слепец, рябой, с маленьким носом, длинной верхней губой и большим круглым черепом, а другой – сам Макар Иванович!

Был Макар Иванович когда-то просто Макарой – так и звали все: "Макарка Странник" – и зашел однажды в кабак к Тихону Ильичу. Брел куда-то по шоссе, – в лаптях, скуфье и засаленном подряснике, – и зашел. В руках высокая палка, выкрашенная медянкой, с крестом на верхнем конце и с копьём на нижнем, за плечами – ранец и солдатская манерка; волосы длинные, желтые; лицо – широкое, цвета замазки, ноздри – как два ружейных дула, нос – переломленный,

вроде седельного арчака, а глаза, как это часто бывает при таких носах, светлые, остро-блестящие. Бесстыжий, сметливый, жадно куривший сигарку и пускавший дым в ноздри, говоривший грубо и отрывисто, тоном, совершенно исключавшим возражения, он очень понравился Тихону Ильичу, и как раз за этот тон, – за то, что сразу было видно: "прожженный сукин сын".

И Тихон Ильич оставил его у себя – за подручного. Скинул с него бродяжью одежду и оставил. Но вором Макарка оказался таким, что пришлось жестоко избить его и прогнать. А через год Макарка на весь уезд прославился прорицаниями, – настолько зловещими, что его посещения стали бояться, как огня. Подойдет к кому-нибудь йод окно, заунывно затынет "со святыми упокой" или подаст кусочек ладану, щепотку пыли – и уж не обойтись тому дому без покойника.

Теперь Макарка, в своей прежней одежде и с палкой в руке, стоял у порога и пел. Слепой подхватывал, закатывая молочные глаза под лоб, и по той несоразмерности, которая была в его чертах, Тихон Ильич сразу определил его, как беглого каторжника, страшного и беспощадного зверя. Но еще страшнее было то, что пели эти бродяги. Слепой, сумрачно шевеля поднятыми бровями, смело запивался мерзким гнусавым тенором. Макарка, остро блестя неподвижными глазами, гудел свирепым басом. Выходило что-то не в меру громкое, грубо-стройное, древне-церковное, властное и грозящее.

Расплачется мать, сыра-земля, разрыдается! –

заливался слепой.

Ра-спла-че-тся, раз-ры-да-ется! –

убежденно вторил Макарка.

Перед Спасом, перед образом,

– вопил слепой.

Авось грешники покаются! –

угрожал Макарка, раскрывая нахальные ноздри. И, сливая свой бас с тенором слепого, твердо выговаривал:

Не минуют суда божьего!

Не минуют огня вечного!

И вдруг оборвал, – в лад со слепым, – крикнул и просто, своим обычным дерзким тоном, приказал:

– Пожалуйте, купец, рюмочкой погреться.

И, не дождавшись ответа, шагнул через порог, подошел к постели и сунул Тихону Ильичу в руки какую-то картинку.

Это была простая вырезка из иллюстрированного журнала, но, взглянув на нее, Тихон Ильич почувствовал внезапный холод под ложечкой. Под картинкой, изображавшей гнущиеся от бури деревья, белый зигзаг по тучам в падающего человека, была подпись: "Жан-Поль Рихтер, убитый молнией".

И Тихон Ильич опешил.

Но тотчас же медленно изорвал картинку на мелкие клочки. Потом слез с постели и, натягивая сапоги, сказал:

– Ты напугивай кого подурее меня. Я-то, брат, хорошо знаком с тобою! Получи, что следует, и – с богом.

Потом пошел в лавку, вынес Макарке, стоявшему со слепым возле крыльца, два фунта кренделей, пару селедок и повторил еще строже:

– С господом!

– А табачку? – нагло спросил Макарка.

– Табачку у самого к одному бочку, – отрезал Тихон Ильич. – Меня, брат, не перебрешешь! И, помолчав, прибавил:

– Удавить тебя, Макарка, мало за твои шашни! Макарка поглядел на слепого, стоявшего прямо, твердо, с высоко поднятыми бровями, и спросил его:

– Человек божий, как по-твоему? Удавить ай расстрелять?

– Расстрелять вернее, – ответил слепой серьезно. – Тут, по крайности, прямая сообщение.

Смеркалось, гряды сплошных облаков синели, холодели, дышали зимою. Грязь густела. Спровадив Макарку, Тихон Ильич потопал озябшими ногами по крыльцу и пошел в горницу. Там он, не раздеваясь, сел на стул возле окошка, закурил и опять задумался. Вспомнилось лето, бунт, Молодая, брат, жена... и то, что еще до сих пор не платил по квиткам за рабочую пору. Был у него обычай затягивать платежи. Девки и ребята, ходившие к нему на поденщину, по целым дням стояли осенью у его порога, жаловались на самые крайние нужды, раздражались, говорили иногда дерзости. Но он был непреклонен. Он кричал, призывая бога во свидетели, что у него "во всем доме две тринки, хоть обыщи!" – и вывертывал карманы, кошелек, в притворном бешенстве плевал, как бы пораженный недоверием, «бессовестностью» просителей... И нехорошим ему показался этот обычай теперь. Беспощадно-строг, холоден был он с женой, чужд ей на редкость. И вдруг и это поразило его: боже мой, да ведь он даже понятия не имеет, что она за человек! Чем она жила, что думала, что чувствовала все эти годы, прожитые с ним в непрерывных заботах?

Он кинул папиросу, закурил другую... Ух, и умен эта бестия, Макарка! А раз умен, разве не может он предугадать – кого, что и когда ждет? Его же, Тихона Ильича, ждет непременно что-нибудь скверное. Ведь уж и не молоденький! Сколько его сверстников на том свете! А от смерти да старости – спасенья нет. Не спасли бы и дети. И детей бы он не знал, и детям был бы чужой, как чужд он всем близким – и живым и умершим. Народу на свете – как звезд на небе; но так коротка жизнь, так быстро растут, мужают и умирают люди, так мало знают друг друга и так быстро забывают все пережитое, что с ума сойдешь, если вдуматься хорошенько! Вот он давеча про себя сказал:

– Жизнь мою описать следует...

А описывать-то что? Нечего. Нечего. Нечего или не стоит. Ведь он сам почти ничего не помнит из этой жизни. Совсем, например, забыл детство: так, мерещится порой день какой-нибудь летний, какой-нибудь случай, какой-нибудь сверстник... Кошку чью-то опалил однажды – секли. Плеточку со свистулькой подарили – и несказанно обрадовали. Пьяный отец подозвал как-то, – ласково, с грустью в голосе:

– Поди ко мне, Тиша, поди, родной!

И неожиданно сгреб за волосы...

Если б жив был теперь шибай Илья Миронов, Тихон Ильич кормил бы старика из милости и не знал бы, едва замечал его. Ведь было же так с матерью, спроси его теперь: помнишь мать? – и он ответил: помню какую-то гнутую старуху... навоз сушила, печку топила, тайком пила, ворчала... И больше ничего. Чуть не десять лет служил он у Маторина, но и эти десять лет слились в один-два дня: апрельский дождик накрапывает и пятнит железные листы, которые, грохоча и звеня, кидают на телегу возле соседней лавки... серый морозный полдень, голуби шумной стаей падают на снег возле лавки другого соседа, торгующего мукой, крупой, халуем, – гуртуют, воркуют, трепещут крыльями, – а они с братом бычьим хвостом подхлестывают жужжащий у порога кубарь... Маторин был тогда молод, крепок, сизо-красен, с чисто выбритым подбородком, с рыжими бачками, срезанными до половины. Теперь он обеднел, шмыгает старческой походкой в своей выгоревшей на солнце чуйке и глубоком картузе от лавки к лавке, от знакомого к знакомому, играет в шашки, сидит в трактире Даева, пьет понемножку, хмелеет и приговаривает:

– Мы – люди маленькие: выпили, закусили, расплатились – и домой!

А встречая Тихона Ильича, не узнает его, жалко улыбается:

– Никак, ты, Тиша?

А сам Тихон Ильич не узнал при первой встрече, нынешней осенью, – брата родного: "Да неужели это Кузьма, с которым столько лет скитались по полям, деревьям и проселкам?"

– Постарел ты, брат!

– Есть малость.

– А раненько!

– На то я и русский. У нас это – живо!

Закуривая третью папиросу, Тихон Ильич упорно и вопросительно глядел в окошко:

– Да неужели так и в других странах?

Нет, не может того быть. Бывали знакомые за границей, – например, купец Рукавишников, – рассказывали... Да я без Рукавишникова можно сообразить. Взять хоть русских немцев или жидов: все ведут себя дельно, аккуратно, все друг друга знают, все приятели, – и не только по пьяному делу, – все помогают друг другу; если разъезжаются – переписываются, портреты отцов, матерей, знакомых из семьи в семью передают; детей учат, любит, гуляют с ними, разговаривают, как с равными, – вот вспомнить-то ребенку и будет что. А у нас все враги друг другу, завистники, сплетники, друг у друга раз в год бывают, мечутся как угорелые, когда нечаянно заедет кто, кидаются комнаты прибирать... Да что! Ложки варенья жалеют гостю! Без упрасиваний гость лишнего стакана не выпьет...

Мимо окон прошла чья-то тройка. Тихон Ильич внимательно оглядел ее. Лошади поджарые, но, видно, резвые. Тарантас в исправности. За кем бы это? Поблизости ни у кого нет такой тройки. Поблизости помещики такая голь, что без хлеба по три дня сидят, последние ризы с икон продали, разбитого стекла вставить, крышу поправить не на что; окна подушками затыкают, а по полу, как дождь, лотки и ведра расставляют, – сквозь потолки как сквозь решета льет... Потом прошел Дениска-сапожник. Куда это? И с чем? Никак, с чемоданом? Ох, и дурак же, прости ты, господи, мое согрешение!

Тихон Ильич сунул ноги в калоши и вышел на крыльцо. Выйдя и глубокодохнув свежим воздухом предзимних синеватых сумерек, опять остановился, сел на лавочку... Да, вот тоже семейка – Серый с сыном! Мысленно Тихон Ильич сделал ту дорогу, которую одолел Дениска по грязи, с чемоданом в руке. Увидел Дурновку, свою усадьбу, овраг, избы, сумерки, огонек у брата, огоньки по дворам... Кузьма сидит небось и читает. Молодая стоит в темной и холодной прихожей, возле чуть теплой печки, греет руки, спину, ждет, когда скажут – "ужинать!" – и, поджав постаревшие, подсохшие губы, думает... О чем? О Родьке? Брехня все это, будто она его отравила, брехня! А если отравила... Господи боже! Если отравила – что должна она чувствовать? Какой могильный камень лежит на ее скрытой душе!

Мысленно он взглянул с крыльца своего дурновского дома на Дурновку, на черные избы по косогору за оврагом, на риги и лозинки на задворках... За полями влево, на горизонте, – железнодорожная будка. В сумерки мимо нее все проходит поезд – бежит цепь огненных глаз. А потом загораются глаза по избам. Темнеет, становится уютней – и неприятное чувство шевелиться каждый раз, когда взглянешь на избы Молодой и Серого, что стоят почти среди Дурновки, через три двора друг от друга: ни в той, ни в другой нет огня. Детишки Серого, как кроты, слепнут, шалеют от радости и удивления, когда удастся в какой-нибудь счастливый вечер осветить избу...

– Нет, грешно! – твердо сказал Тихон Ильич и поднялся с места. – Нет, безбожно! Надо хоть маленько помочь делу, – сказал он, направляясь к станции.

Морозило, душистее тянуло от вокзала запахом самовара. Чище блестели там огни, звучно гроыхали бубенчики на тройке. Хоть куда троечка! Зато лошаденки мужиков-извозчиков, их крохотные тележки на полурассыпавшихся, косых колесах, облепленных грязью, – смотреть жалко! Визжала и глухо хлопала за палисадником вокзальная дверь. Обогнув его, Тихон Ильич поднялся на высокое каменное крыльцо, на котором шумел двухведерный медный самовар, краснея, как огненными зубами, своей решеткой, и столкнулся как раз с кем и нужно было, – с Дениской.

Дениска, в раздумье опустив голову, стоял на крыльце и держал в правой руке дешевый серый чемоданишко, щедро усеянный жестяными шляпками и перевязанный веревкой. Был Дениска в поддевке, старой и, видимо, очень тяжелой, с обвисшими плечами и очень низкой талией, в новом картузе и разбитых сапогах. Ростом он не вышел, ноги его, сравнительно с туловищем, были очень коротки. Теперь, при низкой талии и сбитых сапогах, ноги казались еще короче.

– Денис? – окликнул Тихон Ильич. – Ты зачем здесь, архаровец?

Никогда и ничему не удивлявшийся Дениска спокойно поднял на него свои темные и томные, с грустной усмешкой, с большими ресницами глаза и стащил с волос картуз. Волосы у него были мышинного цвета и не в меру густы, лицо землистое и как будто промасленное, но глаза

красивые.

– Здравствуйте, Тихон Ильич, – ответил он певучим городском тенорком и, как всегда, как будто застенчиво. – Еду... в эту самую... в Тулу.

– Это зачем же, позвольте спросить?

– Може, место какая выйдет...

Тихон Ильич оглядел его. В руке – чемодан, из кармана поддевки торчат какие-то зеленые и красные книжечки, свернутые в трубку. Поддевка...

– А щеголь-то ты не тульский!

Дениска тоже оглядел себя.

– Поддевка-то? – скромно ответил он. – Что ж, вот наживу в Туле денег, вендерку себе куплю, – сказал он, называя венгерку вендеркой. – Я летом как было справился! Газетами торговал.

Тихон Ильич кивнул на чемодан;

– А это что ж за штука такая? Дениска опустил ресницы:

– Чумадан себе купил.

– Да уж в венгерке без чемодана никак нельзя! – насмешливо сказал Тихон Ильич. – А в кармане что?

– Так, кляповинка разная...

– Покажь-ка.

Дениска поставил чемодан на крыльцо и вытащил из кармана книжечки. Тихон Ильич взял и внимательно переглядел их. Песенник «Маруся», «Жена-развратница», "Невинная девушка в цепях насилия", "Поздравительные стихотворения родителям, воспитателям и благодетелям", "Роль..."

Тут Тихон Ильич запнулся, но Дениска, следивший за ним, бойко и скромно подсказал:

– Роль пролетарията в России. Тихон Ильич качнул головой.

– Новости! Жрать нечего, а чемоданы да книжки покупаешь. Да еще какие! Верно, недаром тебя смутьяном-то зовут. Ты, говорят, все царя ругаешь? Смотри, брат!

– Да авось не имение купил, – ответил Дениска с грустной усмешкой. – А царя я не трогал. На меня брешут, как на мертвого. А я и в мыслях того не держал. Ай я лунатик какой?

Завизжал блок на двери, показался станционный сторож, – седой отставной солдат с свистящей и хрипящей одышкой, – и буфетчик, толстый, с заплывшими глазками, с сальными волосами.

– Посторонитесь-ка, господа купцы, позвольте самоварчик взять...

Дениска посторонился и опять взялся за ручку чемодана.

– Спер, верно, где-нибудь? – спросил Тихон Ильич, кивая на чемодан и думая о деле, по которому пошел на станцию.

Дениска промолчал, нагнув голову.

– И пустой ведь?

Дениска рассмеялся.

– Пустой...

– С места-то прогнали?

– Я сам ушел.

Тихон Ильич вздохнул.

– Живой отец! – сказал он. – Тот тоже всегда так-то; наладят его в шею, а он – "я сам ушел".

– Глаза лопни, не брешу.

– Ну, хорошо, хорошо... Дома-то был?

– Был две недели.

– Отец-то опять без дела?

– Таперь без дела.

– Таперь! – передразнил Тихон Ильич. – Деревня стоеросовая! А еще революцанер. Лезешь в волки, а хвост собачий.

"Авось и ты-то из тех же квасов", – с усмешкой подумал Дениска, не поднимая головы.

– Значит, сидит себе Серый да покуривает?

– Пустой малый! – убежденно сказал Дениска.

Тихон Ильич постучал ему в голову костяшками.

– Хоть бы дурь-то свою не выказывал! Кто ж так-то про отца говорит?

– Стар кобель, да не батькой звать, – ответил Дениска спокойно. – Отец – так корми. А он дюже меня кормил?

Но Тихон Ильич не дослушал. Он выбирал удобную минуту, чтобы начать деловой разговор И, не слушая, перебил:

– А на билет-то до Тулы есть?

– А на кой он мне, билет-то? – ответил Дениска. – Приду в вагон, – прямо, господи благослови, под лавку.

– А книжечкой-то где рассчитывать? Под лавкой-то не считаешься.

Дениска подумал.

– Она! – сказал он. – Не все ж под лавкой. Залезу в нужник, – читай хошь до свету.

Тихон Ильич сдвинул брови.

– Ну вот что, – начал он. – Вот что: всю эту музыку пора тебе бросать. Не маленький, дурак. Вали-ка назад, на Дурновку, – пора к делу прибиваться. А то ведь на вас смотреть тошно. У меня вон... надворные советники лучше живут, – сказал он, разумея дворовых собак. – Помогу, уж так и быть... на первое время. Ну, на товаришко там, на струмент... И будешь и сам кормиться, и отцу хоть немного подавать.

"К чему это он гнет?" – подумал Дениска.

А Тихон Ильич решил и докончил:

– Да и жениться пора.

"Та-ак!" – подумал Дениска и не спеша стал завертывать сигарку.

– Что ж, – спокойно и чуть-чуть печально отозвался он, не поднимая ресниц. – Я калянить-ся не стану. Жениться можно. По приституткам хуже ходить.

– Ну вот то-то и оно-то, – подхватил Тихон Ильич. – Только, брат, имей в виду, – жениться с умом надо. Их, детей-то, с капиталом хорошо водить.

Дениска захохотал.

– Чего гогочешь-то?

– Да как же! Водить! Вроде кур али свиней.

– Не меньше кур и свиней есть просят.

– А на ком? – с печальной усмешкой спросил Дениска.

– Да на ком? Да... на ком хочешь.

– Это на Молодой, что ли?

Тихон Ильич густо покраснел.

– Дурак! А Молодая чем плоха? Баба смирная, работящая...

Дениска помолчал, ковыряя ногтем жестяную шляпку на чемодане. Потом прикинулся дураком.

– Их, молодых-то, много, – сказал он протяжно. – Не знаю, про какую вы балакаете... Про эту, что ль, с какой вы жили?

Но Тихон Ильич уже оправился.

– Жил я ай нет, – это не твоего, свинья, ума дело, – ответил он и так быстро и внушительно, что Дениска покорно пробормотал:

– Да мне одна честь... Я ведь это так... к слову...

– Ну, значит, и не бреши попусту. Людьями сделаю. Понял? Приданого дам... Понял?

Дениска задумался.

– Вот съезжу в Тулу... – начал он.

– Нашел петух земчужное зерно! На кой ляд тебе Тула-то?

– Дюже дома оголодал...

Тихон Ильич распахнул чуйку, сунул руку в карман поддевки – решил было дать Дениске двугривенный. Но спохватился, – глупо деньги швырять, да еще и зазнается этот толкач, подкупают, мол, – и сделал вид, что ищет что-то.

– Эх, папиросы забыл! Дай-ка свернуть.

Дениска подал ему кисет. Над крыльцом уже зажгли фонарь, и при его тусклом свете Тихон Ильич вслух прочел крупно вышитое белыми нитками на кисете:

"Каво люблю таму дарю люблю сердечна дарю кисет на вечно".

– Ловко! – сказал он, прочитав. Дениска застенчиво потупился.

– Значит, уж есть краля-то?

– Мало ль их, сук, шатается! – ответил Дениска беспечно. – А жениться я не отказываюсь. Ворочусь к мясоеду, и господи благослови...

Из-за палисадника загремела и с грохотом подкатила к крыльцу телега, вся закиданная грязью, с мужиком на грядке и ульяновским дьяконом Говоровым посредине, в соломе.

– Ушел? – тревожно крикнул дьякон, выкидывая из соломы ногу в новой калоше.

Каждый волос его красно-рыжей лохматой головы буйно вился, шапка съехала на затылок, лицо разорделось от ветра и волнения.

– Поезд-то? – спросил Тихон Ильич. – Нет-с, еще и не выходил-с.

– Ага! Ну, слава богу! – радостно воскликнул дьякон и все-таки, выскочив из телеги, стремглав кинулся к дверям.

– Ну, стало быть, так, – сказал Тихон Ильич. – Стало быть – до мясоеда.

В вокзале пахло мокрыми полушубками, самоваром, махоркой, керосином. Накурено было так, что точило горло, еле светили лампы в дыму, в полумраке, сырости и холоде. Визжали и хлопали двери, толпились и галдели мужики с кнутами в руках – извозчики из Ульяновки, дождавшиеся седока иногда по целой неделе. Среди них, подняв брови, ходил еврей-хлеботорговец, в котелке, в пальто с капюшоном. Возле кассы мужики тащили на весы чьи-то господские чемоданы и корзины, обшитые клеенкой, на мужиков кричал телеграфист, исполнявший должность помощника начальника станции, – молодой коротконогий малый с большой головой, с кудрявым желтым коконом, по-казацки взбитым из-под картуза на левом виске, – и крупной, дрожью дрожал сидевший на грязном полу пойнтер, пятнистый, как лягушка, с печальными глазами.

Протолкавшись среди мужиков, Тихон Ильич подошел к буфетной стойке, поболтал с буфетчиком. Потом пошел назад домой. На крыльце все еще стоял Дениска.

– Что я вас хотел попросить, Тихон Ильич, – сказал он еще застенчивее, чем всегда.

– Что еще такое? – сердито спросил Тихон Ильич. – Денег? Не дам.

– Нет, каких денег! Письмо мое прочитать.

– Письмо? К кому?

– К вам. Хотел давеча отдать, да не насмелился.

– Да об чем?

– Так... житье свое описал...

Тихон Ильич взял из рук Дениски клочок бумажки, сунул его в карман и зашагал домой по упругой, застывшей грязи.

Теперь он настроен был мужественно. Хотелось работы, и он с удовольствием подумал, что опять надо корм скотине задавать. Вот жалко – погорячился. Жмыха прогнал, придется теперь самому ночь не спать. На Оську надежда плохая. Небошь спит уже. А не то сидит с кухаркой и ругает хозяина... И, пройдя мимо освещенных окон избы, Тихон Ильич прокрался в сени и прильнул ухом к двери. За дверью послышался смех, потом голос Оськи:

– А то еще история была. Жил на селе мужик, – бедный-пребедный, беднее во всем селе не было. И выехал раз, братцы мои, этот самый мужик пахать. И увяжись за ним кобель рябой. Мужик пашет, а кобель сычует по полю и все что-й-то роет. Рыл-рыл, да как заво-оет! Что за притча такая? Кинулся мужик к нему, глядь в яму, а там – чугун...

– Чугун-ун? – спросила кухарка.

– Да ты слушай. Чугун-то чугун, да в чугуне-то золото! Видимо-невидимо... Ну и забогател мужик...

"Ах, пустоболты!" – подумал Тихон Ильич и жадно стал слушать, что дальше будет с мужиком.

– Забогател мужик, расстроился, как купец какой...

– Не хуже нашего Тугоногого, – вставила кухарка. Тихон Ильич усмехнулся: он знал, что его уже давно зовут Тугоногим... Нет человека без прозвища!

А Оська продолжал:

– Еще побогаче... Да... А кобель-то возьми да околеет. Как тут быть? Мочи нет – жалко кобеля, надо его честь честью хоронить...

Раздался взрыв хохота. Захохотал и сам рассказчик и еще кто-то – со старческим кашлем,

– Никак, Жмых? – встрепенулся Тихон Ильич. – Ну, слава богу. Ведь говорил дураку:

верне-ешься!

– Пошел мужик к попу, – продолжал Оська, – пошел к попу: так и так, батюшка, кобель околел, – надо хоронить...

Кухарка опять не выдержала и радостно крикнула:

– У, пропасти на тебя нету!

– Да дай досказать-то! – крикнул и Оська и опять перешел на повествовательный тон, изображая то попа, то мужика.

– Так и так, батюшка, – надо кобеля хоронить. Как затопает поп ногами: "Как хоронить? Кобеля на кладбище хоронить? Да я тебя в остроге сгною, да я тебя в кандалы забью!" – "Батюшка, да ведь это не простой кобель: он, как околевал, вам пятьдесят целковых отказал!" Как ускочит поп с места: "Дурак! Да разве я тебя за то браню, что хоронить? За то браню – где хоронить? Его в церковной ограде надо хоронить!"

Тихон Ильич громко кашлянул и отворил дверь. За столом, возле коптящей лампочки, разбитое стекло которой было заклеено с одного боку почерневшей бумажкой, сидела, наклонив голову и завесив все лицо мокрыми волосами кухарка. Она чесалась деревянным гребнем и сквозь волосы рассматривала гребень на свет. Оська, с сигаркой в зубах, хохотал, откинувшись назад и болтая лаптями. Возле печки, в полутемноте, краснел огонек – трубка. Когда Тихон Ильич дернул и показался на пороге, хохот сразу оборвался и куривший трубку робко поднялся с места, вынул ее изо рта и сунул в карман... Да, Жмых! Но, как будто и ничего не было утром, Тихон Ильич бодро и дружелюбно крикнул:

– Ребят! Корм задавать...

С фонарем бродили по варку, освещая застывший? навоз, рассыпанную солому, ясли, столбы, кидая огромные тени, будя кур на переметах под навесами. Куры слетали, падали и, наклоняясь вперед, засылая на бегу, бежали куда попало. Большие лиловые глаза лошадей, поворачивавших на свет головы, блестели и глядели странно и великолепно. От дыхания шел пар, – точно все курили. И когда Тихон Ильич опускал фонарь и взглядывал вверх, он с радостью видел над квадратом двора, в глубоком чистом небе, яркие разноцветные звезды. Слышно было, как сухо шуршал по крышам и морозной свежестью дул в щели северный ветер... Слава тебе, господи, зима!

Отделавшись и заказав самовар, Тихон Ильич с фонарем сходил в холодную пахучую лавку, выбрал маринованную селедку получше – не плохо перед чаем-то подсолонцевать! – и за чаем съел ее, выпил несколько стаканчиков горько-сладкой, желто-красной рябиновки, налил чашку чаю, нашел в кармане письмо Дениски и стал разбирать его каракули.

"Деня получил 40 рублей денег патом собрал вещи..."

"Сорок! – подумал Тихон Ильич. – Ах, голоштаный!"

"Нашел Деня на станцию Тула и как раз его обабрали вытащили Все докопеки детца некуда и Взяла его тоска..."

Разбирать эту брехню было трудно и скучно, но вечер длинен, делать нечего... Самовар хлопотливо бурлил, спокойным светом светила лампа – и была в тишине и покое вечера грусть. Мерно ходила колотушка под окнами, звонко выделявала на морозном воздухе плясовую...

"Патом соскучился я как ехоть домой дюже отец грозен..."

"Ну и дурак же, прости, господи! – подумал Тихон Ильич. – Это Серый-то грозен!"

"Найду В дремучай лес выбрать повыше ель и взять от сахарной головы бечевычку определится на ней навечную жизнь вновых брюках но безсапох..." –

– Без сапог, что ли? – сказал Тихон Ильич, отставляя от уставших глаз бумажку. – Вот что правда, то правда...

Кинув письмо в полоскательницу, он поставил локти на стол, глядя на лампу... Чудной мы народ! Пестрая душа. То чистая собака человек, то грустит, жалкует, нежничает, сам над собою плачет... вот вроде Дениски или его самого, Тихона Ильича... Стекла запотели, четко и бойко, по-зимнему, выговаривала колотушка что-то ладное... Эх, если бы дети! Если бы – ну, любовница, что ли, хорошая вместо этой пухлой старухи, которая осточертела одними своими рассказами о княжне и о какой-то благочестивой монахине Поликарпии, что зовут в городе Полукарпией! Да поздно, поздно...

Расстегнув шитый ворот рубахи, Тихон Ильич с горькой усмешкой ощупал шею, впадины по шее за ушами... Первый знак старости эти впадины, – лошадиной становится голова! Да и

прочее недурно. Он нагнул голову, запустил пальцы в бороду... И борода седая, сухая, путаная. Нет, шабаш, шабаш, Тихон Ильич!

Он пил, хмелел, все плотнее стискивал челюсти, все пристальнее, щуря глаза, глядел на горящий ровным огнем фитиль лампы... Вы подумайте: к брату родному нельзя съездить, – кабаны не пускают, свиньи! А и пустили бы, – тоже радости мало. Читал бы ему Кузьма нотации, стояла бы с поджатыми губами, с опущенными ресницами Молодая... Да от одних этих опущенных глаз сбежишь!

Сердце ныло, голову туманило... Где это слышал он эту песню?

Пришел мой скучный вечер,
Не знаю, что начать,
Пришел мой друг любезный,
Он стал меня ласкать...

Ах да, это в Лебедяни, на постоялом дворе. Сидят в зимний вечер девки-кружевницы и поют... Сидят, плетут и, не поднимая ресниц, звонкими грудными голосами выводят:

Целует, обнимает,
Прощается со мной.

Голову туманило, – то казалось, что все еще впереди и радость, и воля, и беззаботность, – то опять начинало безнадежно ныть сердце. То он бодрился:

– Были б денежки в кармане, – будет тетушка в торгу! То зло глядел на лампу и бормотал, разумея брата:

– Учитель! Проповедник! Филарет милосливый... Голоштаный черт!

Он допил рябиновку, накурил так, что потемнело... Неверными шагами, по зыбкому полу, вышел он в одном пиджаке в темные сени, ощутил крепкую свежесть воздуха, запах соломы, запах псины, увидел два зеленоватых огня, мелькнувших на пороге...

– Буян! – позвал он.

Изо всей силы ударил Буяна сапогом в голову и стал мочиться на порог.

Мертвая тишина стояла над землей, мягко черневшей в звездном свете. Блестели разноцветные узоры звезд. Слабо белело шоссе, пропадая в сумраке. Вдали глухо, точно изпод земли, слышался все возрастающий грохот. И вдруг вырвался наружу и загудел окрест: бело блистая цепью окон, освещенных электричеством, разметав, как летящая ведьма, дымные косы, ало озаренные из-под низу, несся вдали, пересекая шоссе, юго-восточный экспресс.

– Это мимо Дурновки-то! – сказал Тихон Ильич, икая и возвращаясь в горницу.

Сонная кухарка вошла в нее, тускло освещенную выгорающей лампой и провонявшую табаком, внесла сальный чугунок со щами, захватив его в черные от сала и сажи веточки. Тихон Ильич покосился и сказал:

– Сию минуту выйди вон.

Кухарка повернулась, толкнула ногой дверь и скрылась.

Уже хотелось в постель, но он еще долго сидел, стискивая зубы, и сонно, мрачно глядел в стол.

II

Кузьма всю жизнь мечтал учиться и писать.

Что стихи! Стихами он только «баловался». Ему хотелось рассказать, как погибал он, с небывалой беспощадностью изобразить свою нищету и тот страшный в своей обыденности быт, что калечил его, делал "бесплодной смоковницей".

Обдумывая свою жизнь, он и казнил себя и оправдывал.

Что ж, его история – история всех русских самоучек. Он родился в стране, имеющей более ста миллионов безграмотных. Он рос в Черной Слободе, где еще до сих пор насмерть убивают в кулачных боях, среди великой дикости и глубочайшего невежества. Буквам и цифрам выучил его и Тихона сосед, заливщик калаш Белкин; но и то только потому, что работы у него никогда

не было, – уж какие там калоши в Слободе! – что драть кого-нибудь за «виски» всегда приятно и что не все же сидеть на завалинке распояской, наклонив и подставив солнцу лохматую голову, поплеывая на пыль между босыми ногами. В базарной лавке Маторина братья постигли письмо, чтение, стал Кузьма и книжками увлекаться, которые дарил ему базарный вольнодумец и чудак, старик-гармонист Балашкин. Но до чтения ли в лавке! Маторин очень часто кричал: "Я тебе уши оболтаю за твоих Гуаков, дьяволенок ты этакий!"

Там Кузьма и писать стал, – начал рассказом о том, как один купец ехал в страшную грозу, ночью по Муромским лесам, попал на ночлег к разбойникам и был зарезан. Кузьма горячо изложил его предсмертные мольбы, думы, его скорбь о своей несправедливой и "так рано пресекшейся жизни...". Но базар без пощады окатил его холодной водой:

– Ну и дурак же ты, прости господи! "Рано!" Давно пора черту пузатому! Да и как же это ты узнал-то, что он думал? Ведь его же зарезали?

Тогда Кузьма написал кольцовским ладом песню престарелого витязя, завещающего сыну своего верного коня. "Он носил меня в моей молодости!" – восклицал в песне витязь.

– Так! – сказали ему. – Сколько же лет было этому самому коню? Ах, Кузьма, Кузьма! Ты бы лучше дельное-то что-нибудь сочинил, – ну, хоть про войну, к примеру...

И Кузьма, подделываясь под базарный вкус, стал писать о том, о чем толковал тогда базар, – о русско-турецкой войне: о том, как

В семьдесят седьмом году
Вздумал турка воевать,
Подвигал свою орду
И хотел Россию взять, –

и как эта орда –

В безобразных колпаках
Подкрадалась под Царь-Пушку...

С большой болью сознавал он потом, сколько тупости, невежества было в таких виршах и чего стоит этот хамский язык, это русское презрение к чужим колпакам!

Бросив лавку и продав, что осталось после умершей матери, стали они торгашить. В родном городе бывать случалось часто, и с Балашкиным Кузьма дружил по-прежнему, книги, которые ему давал или указывал Балашкин; читал жадно. Однако, беседуя с Балашкиным о Шиллере, страстно мечтал он в то же время выпросить у него в долг «ливенку». Восторгаясь «Дымом», он, однако, твердил, что "кто умен, да не учен, в том без ученья много света". Побывав на могиле Кольцова, с восхищением записал безграмотную надпись на плите ее: "Подсим памятником погребено тело мещанина и поэта воронежского алесея василевича Калцова награжденного монаршаю милостию просвещеннаго _без наук природою_..."

Старый, огромный, худой, зиму и лето не снимавший позеленевшей чуйки и теплого картуза, большелицкий, бритый и косоротый, Балашкин бывал почти страшен своими злыми речами, своим глубоким стариковским басом, колючей серебристой щетиной на серых щеках и зеленым левым глазом, выпученным, сверкавшим и косившим в ту Сторону, куда был скошен и рот его. И как рывкнул он однажды, выслушав речь Кузьмы "о просвещении без наук", как сверкнул этим глазом, отшвырнув сигарку, которую насыпал махоркой над коробкой из-под килек!

– Ослиная челюсть! Что мелешь? Обдумал ли, что значит это наше "без наук просвещение"?

И опять схватил сигарку и стал глухо реветь:

– Боже милостливый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаев! Скажешь, – правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят?

Тревожно теребя пуговицы длиннополого сюртука, то застегиваясь, то расстегиваясь, хмурясь и ухмыляясь, смущенный Кузьма сказал в ответ:

– Такой народ! Величайший народ, а не «такой», позвольте вам заметить.

– Не смей призы раздавать! – опять крикнул Балашкин.

– Нет-с, посмею! Ведь писатели-то эти – дети этого самого народа!

– А почему же не Ерошка, почему не Лукашка? Я, брат, ежели литературу-то захочу трянуть, всем богам по сапогам найду! Почему Каратаев, а не Разуваев, с Колупаевым, не мироед-паук, не поп-лиходимец, не дьяк продажный, не Салтычиха какая-нибудь, не Карамазов с Обломовым, не Хлестаков с Ноздревым али, чтобы не далеко ходить, не твой негодяй-братец?

– Платон Каратаев...

– Вши съели твоего Каратаева! Не вижу тут идеала!

– А русские мученики, подвижники, угодники, Христа ради юродивые, раскольники?

– Что-о? А Колизей, хрестовые походы, войны леригиозные, секты несметные? Лютер, наконец того? Нот, шаяишь! Мне-то, сразу клык не сломишь!

Да, нужно было одно – учиться. Но когда, где?

Целых пять лет торгашества – и это в самую лучшую пору жизни! Великим счастьем казался даже приезд в город. Отдых, знакомые, запах пекарен и железных крыш, мостовая на торговой улице, чай, булки и персидский марш в трактире «Карс»... Политые из чайников полы в лавках, бой знаменитого перепела у дверей Рудакова, запах рыбного ряда, укропа, романовской махорки... Добрая и страшная улыбка Балашкина при виде проходящего Кузьмы... Потом – громы и проклятия славянофилам, Белинский и скверная брань, бессвязное и страстное забрасывание друг друга именами, цитатами... И самые безнадежные выводы – в конце концов. "Теперь-то уж и впрямь шабаш, – во весь дух ломим назад, в Азию! – гудел старик и вдруг, понижая голос, озирался: – Слышал? Салтыков, говорят, помирает. Последний! Отравили, говорят..." А наутро – опять телега, степь, зной или грязь, напряженно-мучительное чтение под толчки бегущих колес... Долгое созерцание степной дали, сладко-тоскливый напев стихов в душе, перебиваемый думами о выручке или перебранкой с Тихоном... Волнующий запах дороги – пыли и дегтя... Запах мятных пряников и удушливая вонь кошачьих шкур из тележного ящика... Поистине изнурили эти годы, – по две недели не снимаемые рубахи, еда всухомятку, хромота от кривых сапог, от сбитых в кровь пятен, ночевки в чужих избах и сенцах!

Широко перекрестился Кузьма, когда наконец выскочил из этой кабалы. Но опять нужно было добывать как-нибудь кусок хлеба. Послужив без году неделю у гуртовщика под Ельцом, подался он на Воронеж. В Воронеже давно началась у него любовь, связь с чужой женой туда и потянуло. И почти десять лет околачивался он в Воронеже – возле ссыпки хлеба, маклерствуя и пописывая в газетах статейки по хлебному делу, отводя или, вернее, растравляя душу статьями Толстого, сатирами Щедрина. И все томился неотступной думой, что пропадает, пропала его жизнь.

В начале девяностых годов умер от грыжи Балашкин, а незадолго до того видел его Кузьма в последний раз. И что это за свидание было!

– Писать надо, – хмуро и зло жаловался один. – Вянешь, как лопух в поле...

– Да, да, – гудел другой, уже сонно кося своим помертвевшим глазом, с трудом ворочая челюстью и не попадая махоркой в сигарку. – Сказано: каждый час учись, каждый час мысли... гляди кругом-то – на все беды и убожества наши...

Потом застенчиво ухмыльнулся, отложил сигарку и полез в столик.

– Вот, – забормотал он, роясь в пачке каких-то истершихся бумаг и вырезок из газет. – Вот тут, друг, куча добра... Я все почитывал, да вырезывал, да записывал... Помру, – годится тебе, матерьял о русской жизни дьявольский. Да вот постой, я тебе найду сейчас одну историюку...

Но рылся, рылся – и не нашел, стал искать очки, стал тревожно шарить по карманам – и махнул рукой. И, махнув, насупился и замотал головой:

– Да нет, нет, – этого ты пока и касаться не смей. Ты еще неуч слабоумный. Руби дерево по себе. На эту тему, что давал-то я тебе, про Сухоносова-то, написал? Нет еще? Ну, и вышел ослиная челюсть. Какая тема-то!

– Про деревню бы надо, про народ, – сказал Кузьма. – Вот, сами же говорите: Россия, Россия...

– А Сухоносый не народ, не Россия? _Да она вся – деревня, на носу заруби себе это!_ Глянь кругом-то: город это, по-твоему? Стадо каждый вечер по улицам прет – от пыли соседа не видать... А ты – «город»!

Сухоносый... Много лет не выходил из головы Кузьмы этот гнусный слободской старик,

все имущество которого заключалось в загаженном клопами тюфяке и съеденном молью салопе, – в наследстве после жены. Он побирался, болел, голодал, ютился за полтинник в месяц в углу у торговки из "обжорного ряда" и, по мнению ее, мог отлично поправить свои обстоятельства продажей наследства. Но он дорожил им как зеницей ока – и, конечно, совсем не в силу нежных чувств к покойной: оно давало ему сознание, что у него есть, не в пример прочим, имущество. Ему казалось, что стоит оно дьявольски дорого: "Нынче таких салопов-то уже нетути!" Он не прочь был продать его. Но ломил такие нелепые цены, что в столбняк приводил покупателей... И Кузьма очень хорошо понимал эту слободскую трагедию. Но, начиная обдумывать, как изложить ее, начинал жить всем сложным бытом слободы, воспоминаниями детства, молодости – и запутывался, топил Сухоносова в обилии картин, осаждавших воображение, опускал руки, подавленный потребностью высказать свою собственную душу, выложить все, что калечило его собственную жизнь. А в этой жизни страшней всего было то, что она проста, обыденна, с непонятной быстротой разменивается на мелочи...

С тех пор прошло еще немало бесплодных лет. Он маклерствовал в Воронеже, потом, когда умерла в родильной горячке женщина, с которой он жил, маклерствовал в Ельце, торговал в свечной лавке в Липецке, был конторщиком в экономии Касаткина. Стал он было страстным приверженцем Толстого: с год не курил, в рот не брал водки, не ел мяса, не расставался с «Исповедью», хотел переселиться на Кавказ, к духоборам... Но вот поручили ему побывать по делам в Киеве. Был ясный конец сентября, все было весело, прекрасно: и чистый воздух, и нежаркое солнце, и бег поезда, и открытые окна, и цветистые леса, мелькавшие вдоль них... Вдруг, на остановке в Нежине, увидел Кузьма большую толпу у дверей вокзала. Толпа окружала кого-то и кричала, волновалась, спорила. У Кузьмы застучало сердце, и он побежал к ней. Быстро протолкался – и увидел красную фуражку начальника станции и серую шинель рослого жандарма, который распекая трех покорно, но упрямо стоявших перед ним хохлов в коротких толстых свитках, в несокрушимых сапогах, в коричневых бараньих шапках. Шапки эти едва держались на чем-то страшном – на круглых головах, увязанных жесткой от засохшей сукровицы марлей, над запухшими глазами, над вздутыми и остекленевшими лицами в зелено-желтых кровоподтеках, в запекшихся и почерневших ранах: хохлы были искусаны бешеным волком, отправлены в Киев в лечебницу и по суткам сидели чуть не на каждой большой станции без хлеба и без копейки денег. И, узнав, что их не пускают теперь только потому, что поезд называется скорым, Кузьма внезапно пришел в ярость и, йод одобрительные крики евреев из толпы, заорал, затопал ногами на жандарма. Его задержали, составили протокол, и, ожидая следующего поезда, напился он до беспамятства.

Хохлы были из Черниговской губернии. Всегда она представлялась глухим краем, с тусклой, пасмурной синью над лесами. О временах Владимира, о давней жизни, боровой, древне-мужицкой, напомнили эти люди, испытавшие рукопашную схватку с бешеным зверем. И, напиваясь, наливая рюмку трясущимися после скандала руками.

Кузьма восторгался: "Ах, и время же было!" Он задохнулся от злобы и на жандарма, и на этих покорных скотов в свитках. Тупые, дикие, будь они прокляты... Но – Русь, древняя Русь! И слезы пьяной радости и силы, искажающей всякую картину до противоестественных размеров, застилали глаза Кузьмы. "А непротивление?" – вспоминал он порою и качал головой, ухмыляясь. Спиной к нему, за общим столом, обедал молоденький чистенький офицер; и Кузьма ласково-нагло смотрел на его белый китель, такой короткий, с такой высокой талией, что хотелось подойти, одернуть его. "И подойду! – думал Кузьма. – А вскочит, крикнет – в рыло! Вот тебе и непротивление..." Затем поехал в Киев и, махнув рукой на дела, три дня проходил, хмельной и радостно возбужденный, по городу, по обрывам над Днепром. И в Софийском соборе, за обедней, многие с удивлением оглядывали худого кацапа, стоявшего перед саркофагом Ярослава. Вид имел он странный: обедня кончилась, народ выходил, сторожа тушили свечи, он же, сжав зубы, опустив на грудь редкую сереющую бородку и страдальчески-счастливо закрыв запавшие глаза, слушал звон, певуче и глухо гудевший над собором... А вечером видели его у лавры. Он сидел возле калеки-мальчишки, с мутной и грустной усмешкой глядя на ее белые стены, на золото мелких куполов в осеннем небе. Мальчишка был без шапки, с холщовой сумой через плечо, в грязной рвани на тощем теле, в одной руке держал он деревянную чашечку, с копейкой на дне, а другой все перекалывал, как чужую, как вещь, свою уродливую, обнаженную до колена правую ногу, вялую, неестественно-тонкую, дочерна загорелую и поросшую золотистой шерстью. Нико-

го не было кругом, но, сонно и болезненно откинув стриженую, жесткую от солнца и пыли голову, показывая тонкие детские ключицы и не обращая внимания на мух, точивших его сопли, мальчишка непрерывно тянул:

Взгляните, мамыши,
какие мы есть несчастные, страдащие!
Ах, не дай господь, мамыши,
Таким страдачим быть!

И Кузьма поддакивал: "Так, так! Правильно!" В Киеве он ясно понял, что у Касаткина держаться ему осталось теперь недолго, и что впереди – нищета, потеря лика человеческого. Так и случилось. Продержался он еще некоторое время, но в положении очень постыдном и тяжком: вечно полупьяный, неопрятный, охрипший, насквозь пропитанный махоркой, через силу скрывающий свою непригодность к делу... Затем пал еще ниже: вернулся в родной город, проживал последние гроши; ночевал целую зиму в общем номере на подворье Ходова, дни убивал в трактире Авдеича на Бабьем базаре. Из этих грошей много ушло на глупую затею – на издание книжки стихов, и пришлось потом шататься среди посетителей Авдеича и навязывать им книжку за полцены... Да мало того: он шутком стал! Раз стоял он на базаре возле мучных лавок и глядел на босяка, который кривлялся перед купцом Мозжухиным, вышедшим на порог. Мозжухин, сонно-насмешливый, похожий лицом на отражение в самоваре, занят был больше котом, который лизал его расчищенный сапог. Но босяк не унимался. Он ударил себя кулаком в грудь, стал, поднимая плечи и хрипя, декламировать:

Кто пьянствует с похмелья,
Тот действует умно...

И Кузьма, блестя запухшими глазами, внезапно подхватил:

Да здравствует веселье,
Да здравствует вино!

А проходившая мимо старуха-мещанка, похожая лицом на старую львицу, остановилась, исподлобья поглядела на него и, подняв костыль, отдельно, зло сказала:

– Небось молитву-то не заучил так-то!

Ниже падать стало некуда. Но это-то и спасло его. Он пережил несколько страшных сердечных припадков – и сразу оборвал пьянство, твердо решив начать самую простую, трудовую жизнь, снимать, например, сады, огороды...

Мысль эта радовала его. "Да, да, – думал он, – давно пора!". И правда, нужен был отдых, нищая, но чистая жизнь. Стал он уже стареть. Совсем посерела его бородка, поредели, приобрели железный цвет его причесанные на прямой ряд, завивавшиеся на концах волосы, потемнело и еще худее стало широкое в скулах лицо...

Весной, за несколько месяцев до мира с Тихоном, Кузьма прослышал, что сдается сад в селе Казакове, в родном уезде, и поспешил туда.

Было начало мая; после жары завернули холода, дожди, шли над городом осенние мрачные тучи. Кузьма, в старой чуйке и старом картузе, в сбитых сапогах, шагал на вокзал, за Пушкарную Слободу, и, качая головой, морщась от сигарки в зубах, заложив руки назад, под чуйку, иронически улыбался: навстречу ему только что пробежал босоногий мальчишка с кипой газет и на бегу бойко крикнул привычную фразу:

– Всяобщая забастовка!

– Опоздал, малый, – сказал Кузьма. – Поновой-то чего нету?

Мальчишка, блестя глазами, приостановился.

– Новые городской на вокзале отнял, – ответил он.

– Ай да конституция! – едко сказал Кузьма и двинулся дальше, прыгая среди грязи под темными от дождей, гнилыми заборами, под ветвями мокрых садов и окнами косых хибарок, сходявших под гору, в конец городской улицы. "Чудеса в решете!" – думал он, прыгая. Прежде в

такую погоду по лавкам, трактирам зевали, еле перекидывались словами. Теперь по всему городу – толки о Думе, о бунтах и пожарах, о том, как "Муромцев отбил примьер-министра"... Ну, да ненадолго лягушке хвост! В городском саду играет оркестр стражников... Казаков прислали целую сотню... И третьего дня на Торговой улице один из них, пьяный, подошел к открытому окну общественной библиотеки и, расстегивая штаны, предложил барышне-библиотекарше купить «арихметику». Старик, извозчик, стоявший подле, стал стыдить его, а казак выхватил шашку, рассек ему плечо и с матерной бранью кинулся по улице за летящими куда попало, ошалевшими от страха прохожими и проезжими...

– Кошкодер, кошкодер, завалился под забор! – тонкими голосами завопили за Кузьмой девочки, прыгавшие по камням мелкого слободского ручья. – Там кошек дерут, ему лапку дадут!

– У, паршивые! – цыкнул на них шедший впереди Кузьмы кондуктор в страшно тяжелой даже на вид шинели. – Ровесника нашли!

Но по голосу можно было понять, что он сдерживает смех. Старые глубокие калоши кондуктора были в засохшей грязи, хлястик шинели висел на одной пуговице. Бревенчатый мостик, по которому он шел, лежал косо. Дальше, возле рвов, промытых вешней водой, росли чахлые лозинки. И Кузьма невесело взглянул и на них, и на соломенные крыши по слободской горе, и на дымчатые и синеватые тучи над ними, и на рыжую собаку, грызшую во рву кость...

"Да, да, – думал он, поднимаясь на гору. – Ненадолго лягушке хвост!" Поднявшись, увидав среди пустых зеленых полей красные вокзальные постройки, он опять ухмыльнулся. Парламент, депутаты! Вчера воротился он из сада, где, по случаю праздника, была иллюминация, взвивались ракеты, а стражники играли «Гореадора» и "Возле речки, возле моста", «Матчиш» и «Тройку», вскрикивая среди галопы: "Эй, мила-и!" – вернулся и стал звонить у ворот своего подворья. Дергал, дергал гремящую проволоку – ни души. Ни души и крутом, тишина, сумерки, холодное зеленое небо на закате за площадью в конце улицы, над головой – тучи... Наконец, плетется кто-то за воротами, кричит. Гремит ключами и бормочет: – В отделку охромел...

– Отчего это? – спросил Кузьма.

– Лошадь убила, – ответил отворявший и, распахнув калитку, прибавил: – Ну, теперь еще двое осталось.

– Это судейские, что ли?

– Судейские.

– А не знаешь, зачем суд приехал?

– Депутата судить... Говорят... реку хотел отравить.

– Депутата? Дурак, да разве депутаты этим занимаются?

– А чума их знает...

На окраине слободы, возле порога глиняной мазанки, стоял высокий старик в опорках. В руке у старика была длинная ореховая палка и, увидав проходящего, он поспешил притвориться гораздо более старым, чем был, – взял палку в обе руки, поднял плечи, сделал усталое, грустное лицо. Серый, холодный ветер, дувший с поля, трепал космы его серых волос. И Кузьма вспомнил отца, детство... "Русь, Русь! Куда мчишься ты?" – пришло ему в голову восклицание Гоголя. – "Русь, Русь!.. Ах, пустоболты, пропасти на вас нету! Вот это будет почище – "депутат хотел реку отравить"... Да, но с кого и взыскивать-то? Несчастный народ, прежде всего – несчастный!.. – "И на маленькие зеленые глаза Кузьмы навернулись слезы – внезапно, как это стало часто случаться с ним последнее время. Забрел он недавно в трактир Авдеича на Бабьем базаре. Вошел во двор, утопая по щиколку в грязи, и со двора поднялся во второй этаж по такой вонючей, насквозь сгнившей деревянной лестнице, что даже его, человека, выдавшего виды, затошнило; с трудом отворил тяжелую, сальную дверь в клоках войлока, в рваных ветошках вместо обивки, с блоком из веревки и кирпича, – и ослеп от табачного дыма, оглох от звона посуды на стойке, от топота бегущих во все стороны половых и гнусавого крика граммофона. Затем прошел в дальнюю комнату, где народу было, меньше, сел за столик, спросил бутылку меду. Под ногами, на затоптанном и заплыванном полу – ломтики высосанного лимона, яичная скорлупа, окурки... А у стены напротив сидит длинный мужик в лаптях и блаженно улыбается, мотает лохматой головой, прислушаваясь к кричащему граммофону. На столике сотка водки, стаканчик, крендели. Но мужик не пьет, а только мотает головой, смотрит себе на лапти и вдруг, почувствовав ни себе взгляд Кузьмы, открывает радостные глаза, поднимает чудесное доброе лицо в рыжей вьющейся бороде. "Ну, залетел!" – восклицает он радостно и изумленно. И спешит добавить

– в оправдание: "У меня, господин, брат тут служа... Брат родной...". И, сморгнув слезы, Кузьма стиснул зубы. У, анафемы, до чего затоптали, забили народ! «Залетел!» Это к Авдеичу-то! Да мало того: когда Кузьма поднялся и сказал: – "Ну, прощай!" – поспешно поднялся и мужик и от полноты счастливого сердца, с глубокой благодарностью и за роскошь обстановки, и за то, что поговорили с ним по-человечески, поспешно ответил: "Не прогневайтесь..."

В вагонах прежде разговаривали только о дождях и засухах, о том, что "цены на хлеб бог строит". Теперь у многих в руках шуршали газетные листы, а толк шел опять-таки о Думе, о свободах, отчуждении земель – никто и не замечал проливного дождя, шумевшего по крышам, хотя ехал народ все жадный до весенних дождей – хлеботорговцы, мужики, мещане с хуторов. Прошел молодой солдат с отрезанной ногой, в желтухе, с черными печальными глазами, ковыляя, стуча деревяшкой, снимая манджурскую папаху и, как нищий, крестясь при каждом подаении. И поднялся шумный негодующий говор о правительстве, о министре Дурново и каком-то казенном овсе... Издеваясь, вспомнили то, чем прежде восхищались: как «Витя», чтобы напугать японцев в Портсмуте, приказывал свой чемоданы увязывать... Сидевший против Кузьмы молодой человек, стриженный бобриком, покраснел, заволновался и поспешил вмешаться:

– Позвольте, господа! Вот вы говорите – свобода... Вот я служу письмоводителем у податного инспектора и посылаю статейки в столичные газеты... Разве это его касается? Он уверяет, что он тоже за свободу, а между тем узнал, что я написал о ненормальной постановке нашего пожарного дела, призывает меня и говорит; "Если ты будешь, сукин сын, писать эти штуки, я тебе голову отмотаю!" Позвольте: если мои взгляды левее его...

– Взгляды? – альтом карлика вдруг крикнул сосед молодого человека, толстый скопец в сапогах бутылками, ручник Черняев, все время косивший на него свиными глазками. И, не дав ему опомниться, завопил!

– Взгляды? Это у тебя-то взгляды? Это ты-то левее? Да я тебя еще без порток видал! Да ты о голоду околевал, ре хуже отца своего, побирушки! Ты у инспектора-то ноги должен мыть да юшку пить!

– Кон-сти-ту-у-ция, – тонким голосом, перебивая скопца, запел Кузьма и, поднявшись с места, задевая колени сидящих, пошел по вагону к дверям.

Ступни у скопца были маленькие, полные и противные, как у какой-нибудь старой ключницы, лицо тоже бабье, большое, желтое, плотное, губы тонкие... Да хорош был и Полозов, – учитель прогимназии, тот, что так ласково кивал головой, слушая скопца и опираясь на трость, коренастый человек в серой шляпе и серой крылатке, ясноглазый, с круглым носом и роскошной русой бородой во всю грудь... Отворив дверь на площадку вагона, Кузьма с отрадой вздохнул холодной и душистой дождевой свежестью. Дождь глухо гудел по навесу над площадкой, лил с него ручьями, летел брызгами. Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свежее-зеленые опушки орешника. Пестрая куча мальчишек вдруг выскочила из-под насыпи и звонко, хором закричала что-то. Кузьма умиленно улыбнулся, и все лицо его покрылось мелкими морщинами. А подняв глаза, он увидел на противоположной площадке странника: доброе, измученное крестьянское лицо, седую бороду, широкополую шляпу, драповое пальто, подпоясанное веревкой, мешок и жестяной чайник за плечами, на тонких ногах – бахилки. И крикнул сквозь грохот и шум!

– С богомолья?

– Из Воронежа, – с милой готовностью ответил слабым криком странник.

– Жгут там помещиков?

– Жгут...

– И чудесно!

– Ась?

– Чудесно, говорю! – крикнул Кузьма.

И, отвернувшись, дрожащими руками, смаргивая набежавшие слезы умиления, стал свертывать сигарку... Но мысли опять спутались. "Странник – народ, а скопец и учитель – не народ? Рабство отменили всего сорок пять лет назад, – что ж и взыскивать с этого народа? Дат но кто виноват в этом? Сам же народ!" И лицо Кузьмы опять потемнело и осунулось.

На четвертой станции он слез и нанял подводу. Мужики-извозчики просили сперва семь рублей – до Казакова было двенадцать верст, – потом пять с полтиной. Наконец, один сказал:

"Трояк отдашь – повезу, а то и язык трепать нечего. Нынче вам не прежнее..." Но не выдержал тона и прибавил привычную фразу: "Опять же корма дорогие..." И повез за полтора. Грязь была непролазная, телега маленькая, еле живая, лошаденка – ушастая, как осел, слабосильная. Медленно потянулись со двора станции, мужик, сидевший на грядке, стал томиться, дергая веревочные вожжи, как бы желая всем своим существом помочь лошади. Он на станции хвастался, что ее "не удержишь", и теперь, видимо, стыдился. Но что было хуже всего, так это он сам. Молодой, огромный, полный, в лаптях и белых онучах, в коротком чекмене, подпоясанный оборкой, и в старом картузе на прямых, желтых волосах. Пахнет курной избой, коноплей, – пахарь времен царя Гороха! – лицо белое, безусое, а горло распухшее, голос сиплый.

– Как тебя зовут? – спросил Кузьма.

Звали Ахванасьем...

"Ахванасьем!" – подумал Кузьма с сердцем.

– А дальше?

– Меньшов... Н-но, анчихрист!

– Дурная, что ль? – кивнул Кузьма на горло.

– Ну, уж и дурная, – пробормотал Меньшов, отводя глаза в сторону. – Квасу холодного напился.

– Да глотать-то больно?

– Глотать – нет, не больно...

– Ну, значит, и не болтай попусту, – сказал Кузьма строго. – Налаживай-ка лучше в больницу поскорее. Женатый небось?

– Женатый...

– Ну, вот видишь; Пойдут дети – и наградишь ты их всех в лучшем виде.

– Уж это как пить дать, – согласился Меньшов.

И, томясь, стал дергать вожжи. "Не-но... Сладу с тобой нету, анчихрист!" Наконец бросил это бесполезное занятие и успокоился. Долго молчал и вдруг спросил:

– Собрали, купец, Думу-то ай нет?

– Собрали.

– А Макаров-то, говорят, жив, – только не велел сказывать...

Кузьма даже плечами вздернул: черт знает что в этих степных головах! "А богатство-то какое!" – думал он, мучительно сидя с поднятыми коленями на голом дне телеги, на клоке соломы, крытом веретьем, и оглядывая улицу. Чернозем-то какой! Грязь на дорогах – синяя, жирная зелень деревьев, трав, огородов – темная, густая... Но избы – глиняные, маленькие, с навозными крышами. Возле изб – разошедшиеся водовозки. Вода в них, конечно, с головастиками... Вот богатый двор. Старая рига на гумне. Варок, ворота, изба – все под одной крышей, под старновкой в начес. Изба кирпичная, в две связи, простенки разрисованы мелом: на одном – палочка и по ней вверх – рогульки, – елка, на другом что-то вроде петуха; окошечки тоже окаймлены мелом – зубцами. "Творчество! – ухмыльнулся Кузьма. – Пещерные времена, накажи бог, пещерные!" На дверях пунек – кресты, написанные углем, у крыльца – большой могильный камень, – видно, дед или бабка про смерть приготовили... Да, двор богатый. Но грязь кругом по колено, на крыльце лежит свинья. Окошечки – крохотные, и в жилой половине избы небось темнота, – вечная теснота: полати, ткацкий стан, здоровенная печь, лохань с помоями... А семья большая, детей много, зимой – ягнята, телята... И сырость, угар такой, что зеленый пар стоит. А дети хнычут – и орут, получая подзатыльники; невестки ругаются – "чтоб тебя громом расшибло, сука подворотная!" – желают друг другу "подавиться куском на Велик день"; старушонка-свекровь поминутно швыряет ухваты, миски, кидается на невесток, засучивая темные, жилистые руки, надрывается от визгливой брани, брызжет слюной и проклятиями то на одну, то на другую... Зол, болен и старик, изнурил всех наставлениями...

Дальше повернули на выгон. На выгоне налаживалась ярмарка. Уже кое-где торчали остовы палаток, навалены были колеса, глиняная посуда; дымилась смазанная на живую руку печь, пахло оладьями; серела походная кибитка цыган, и возле колес ее сидели овчарки на цепях. Дальше, возле казенного кабака, стояла тесная толпа девок, мужиков, и раздавались вскрикивания.

– Гуляет народ, – задумчиво сказал Меньшов.

– Это с какой радости? – спросил Кузьма.

– Надеется...

– На что?

– Известно, на что... На домового!

– И-их! – крикнул кто-то в толпе под крепкий глухой топот:

Не пахать, не косить, –

Девкам жамки носить!

И невысокий мужик, стоявший сзади толпы, вдруг взмахнул руками. Все на нем было домовито, чисто, прочно – и лапти, и онучи, и новые тяжелые портки, и очень коротко, кургузо подрезанная сборчатая юбка поддевки из толстого сивого сукна. Он вдруг мягко и ловко топнул лаптем, взмахнул руками, тенором крикнул: "Расступись, дай купцу глянуть!" – и, вскочив в разомкнувшийся круг, отчаянно затряс портками перед молодым высоким малым, который, склонив картуз, дьявольски вывертывал сапогами и, вывертывая, сбрасывал с себя, с новой ситцевой рубахи, черную поддевку. Лицо малого было мрачно, бледно и потно.

– Сынок! Желанный! – вопила, среди гама и дробного топота, старушка в поневе, протягивая руки. – Будя тебе за ради Христа! Желанный, будя – помрешь!

И сынок вдруг вскинул голову, сжал кулаки и зубы и с яростным лицом и топотом выкрикнул:

Ццыц, бабка, не кукуй...

– А она и так последние холсты для него продала, – говорил Меньшов, тащась по выгону. – Любит она его без памяти, – дело вдове, – а он почесть каждый день мордует ее, пьяный... Знать, того стоит.

– Это каким же манером – "того стоит"? – спросил Кузьма.

– А таким... Не потакай...

У одной избы сидел на скамейке длинный мужик – краше в гроб кладут: ноги стоят в валенках, как палки, большие мертвые руки ровно лежат на острых коленях, на протертых портках. На лоб по-стариковски надвинута шапка, глаза замученные, просящие, нечеловечески-худое лицо вытянуто, губы пепельные, полураскрытые...

– Это Чучень, – сказал Меньшов, кивая на больного. – От живота второй год помирает.

– Чучень? Это что ж – прозвище?

– Прозвишша...

– Глупо! – сказал Кузьма.

И отвернулся, чтобы не видеть девчонки возле следующей избы: она, перевалившись назад, держала на руках ребенка в чепчике, пристально глазела на проезжих и, высывая язык, нажевывала, готовила для ребенка соску из черного хлеба... А на крайнем гумне гудели от ветра лозинки, трепалось покосившееся пугало пустыми рукавами. Гумно, что выходит в степь, всегда неуютно, скучно, а тут еще это пугало, осенние тучки, от которых лежит на всем синеватый тон, и гудит ветер с поля, раздувает хвосты кур, бродящих по току, заросшему лебедой и чернобылинником, возле риги с раскрытым хребтом...

Лесок, синевший на горизонте, – две длинных лощины, заросших дубняком, – назывался Порточками. И около этих Порточек захватил Кузьму проливной дождь с градом до самого Казакова. Лошаденку Меньшов гнал под селом вскачь, а Кузьма, зажмурясь, сидел под мокрым холодным веретьем. Руки костенели от стужи, за ворот чуйки текли ледяные струйки, отяжелевшее под дождем веретье воняло прелым завромом. В голову стучали градины, летели лепешки грязи, в колеях, дод колесами, шумела вода, где-то бляели ягнята... Наконец стало так душно, что Кузьма отшвырнул веретье с головы назад. Дождь редел, вечерело, мимо телеги по зеленому выгону бежало к избам стадо. Тонконогая черная овца отбилась в сторону, и за ней гонялась, накрывшись мокрой юбкой, блестя белыми икрами, босая баба. На западе, за селом, светлело, на востоке, на сизо-пыльной туче, над хлебами, стояли две зелено-фиолетовые дуги. Густо и влажно пахло зеленью полей и тепло – жильем.

– Где тут господский двор? – крикнул Кузьма плечистой бабе в белой рубахе и красной шерстяной юбке.

Баба стояла на каменном пороге избы и держала за руку голосившую девочку. Девочка го-

лосила с невероятной пронзительностью.

– Двор? – повторила баба. – Чей?

– Господский.

– Чей? Ничего не слышать... А, да захлебнись ты, родимец те расшиби! – крикнула баба, дернув девочку за руку так сильно, что та перевернулась.

Расспросили в другом дворе. Проехали широкую улицу, взяли влево, потом вправо я мимо чьей-то старосветской усадьбы с забытым наглухо домом стали спускаться под крутую гору, к мосту через речку. С лица, с волос, с чекменя Меньшова падали капли. Умытое толстое лицо его с белыми крупными ресницами казалось еще тупее. Он с любопытством заглядывал куда-то вперед. Глянул и Кузьма. На том боку, на покатоном выгоне, – темный казаковский сад, широкий двор, обнесенный разрушающимися службами и развалинами каменной ограды; среди двора, за тремя засохшими елками, – обшитый серым тесом дом под ржаво-красной крышей. Внизу, у моста, – кучка мужиков. А впереди, на крутой размытой дороге, бьется в грязи, вытягивается вверх тройка худых рабочих лошадей, запряженных в тарантас. Оборванный, но красивый батрак, бледный, с красноватой бородкой, с умными глазами, стоял возле тройки, дергал вожжи и, надсаживаясь, кричал: "Н-но! Н-но-о!" А мужики с гоготом и свистом подхватывали: "Тпру! Тпру!" И отчаянно простирали вперед руки сидевшая в тарантасе молодая женщина в трауре, с крупными слезами на длинных ресницах. Отчаяние было и в бирюзовых глазах толстого рыжеусого человека, сидевшего с ней рядом. Обручальное кольцо блестело на его правой руке, сжимавшей револьвер; левой он все махал, и, верно, ему было очень жарко в верблюжьей поддевке и суконном картузе, съехавшем на затылок. А со скамеечки против сиденья с кротким любопытством озирались дети – мальчик и девочка, бледные, закутанные в шали.

– Это Мишка Сиверский, – громко и сипло сказал Меньшов, объезжая тройку и равнодушно глядя на детей. – Его сожгли вчера... Видно, стоит того.

Делами господ Казаковых правил староста, бывший солдат-кавалерист, человек рослый и грубый. К нему, в людскую, и надо было обратиться, как сказал Кузьме работник, въезжавший на двор в телеге с накошенной крупной мокро-зеленой травой. У старосты случилось в этот день несчастье – умер ребенок, – и встречен был Кузьма неласково. Когда он, оставив Меньшова за воротами, подошел к людской, заплаканная, серьезная старостиха несла от сада рябую курицу, смиренно сидевшую у нее под мышкой. Среди колонок на ветхом крыльце стоял высокий молодой человек в высоких сапогах и ситцевой косоворотке и, увидав старостиху, крикнул:

– Агафья, куда-й-то ты ее несешь?

– Резать, – ответила старостиха серьезно и печально.

– Дай-ка я зарежу.

И молодой человек направился к леднику, не обращая внимания на дождь, снова начавший накрапывать с насупившегося неба. Отворив дверь ледника, он взял с порога топор – и через минуту раздался короткий стук, и безголовая курица, с красным обрубочным шею, побежала по траве, спотыкнулась и завертелась, трепыхая крыльями и разбрасывая во все стороны перья и брызги крови. Молодой человек кинул топор и направился к саду, а старостиха, поймав курицу, подошла к Кузьме:

– Тебе что?

– Насчет сада, – сказал Кузьма.

– Федор Иваныча подожди.

– А где он?

– Сейчас с поля приедет.

И Кузьма стал ждать у открытого окна людской. Он заглянул туда, увидел в полутьме печь, нары, стол, корытце на лавке у окна – гробик корытцем, где лежал мертвый ребенок с большой, почти голой головкой, с синеватым личиком... За столом сидела толстая слепая девка и большой деревянной ложкой ловила из миски молоко с кусками хлеба. Мухи, как пчелы в улье, гудели над ней, ползали по мертвому личику, потом падали в молоко, но слепая, сидя прямо, как истукан, и уставив в сумрак бельма, ела и ела. Кузьме стало страшно, и он отвернулся. Порывами дул холодный ветер, от туч становилось все темнее. Среди двора возвышались два столба с перекладиной, на перекладине, как икона, висела большая чугунная доска: значит, но ночам боялись, били в нее. По двору валялись худые борзые собаки. Мальчик лет восьми бегал среди них, возил на тележке белоголового бурдастого братишку в большом черном картузе – и тележка неистово

визжала. Дом был сер, грузен и, должно быть, чертовски скучен в эти сумерки. "Хоть бы огонь зажгли!" – подумал Кузьма. Он смертельно устал, ему казалось, что он выехал из города чуть не год тому назад...

А вечер и ночь он провел в саду. Староста, приехав верхом с поля, сердито сказал, что "сад давно сдаден", а на просьбу о ночлеге только нагло изумился: "Однако ты умен! – крикнул он. – Постоялый двор какой нашел! Много вас теперь таких шатается..." Но смиловился – разрешил ночевать в саду, в бане. Кузьма расчелся с Меньшовым и пошел мимо дома к воротам липовой аллеи. Из темных раскрытых окон, из-за железных сеток от мух, гремел рояль, покрываемый великолепным голосом, затейливыми вокализмами, совершенно не идущими ни к вечеру, ни к усадьбе. По грязному песку покато́й аллеи, в конце которой, как на краю света, тускло белело облачное небо, не спеша двигался навстречу Кузьме темно-рыжий мужичок с ведром в руке, распоясанный, без шапки и в тяжелых сапогах.

– Ишь, ишь! – насмешливо говорил он, на ходу, при* слушиваясь к вокализмам. – Ишь, раздолевается!

– Кто раздолевается? – спросил Кузьма. Мужичок поднял голову и приостановился.

– Да барчук-то, – весело сказал он, сильно картавя. – Говорят, семой год так-то!

– Это какой же – что курицу рубил? – Н-нет, другой... Да это еще что! Иной раз как примется кричать: "Нонче ты, завтра я" – прямо бяда-а!

– Учится, верно?

– Хороша ученье!

Все это было рассказано как будто небрежно, вскользь, с передышками, но с такой едкой усмешкой и картавостью, что Кузьма внимательно глянул на встречного. Похож на дурачка. Волосы прямые, в скобку. Лицо небольшое, незначительное, старинно-русское, суздальское. Сапоги огромные, тело тощее и какое-то деревянное. Глаза под большими сонными веками – ястребиные. Опустит веки – обыкновенный дурачок, поднимет – даже жутко немного,

– Ты в саду сидишь? – спросил Кузьма.

– В саду. А то где же?

– А как тебя зовут?

– Меня-то? Аким... А тебя?

– Я сад хотел снять, хватился!

И Аким, насмешливо мотнув головой, пошел своей дорогой.

Ветер дул все порывистее, сыпля брызги с ярко-зеленых деревьев, за садом, где-то низко, гремел тугой гром, – бледно-голубые сполохи озаряли аллею, и повсюду пели соловьи. Совершенно непонятно было, как могут они так старательно, в таком упорном забытьи, так сладко и сильно цокать, щелкать и рассыпаться под этим тяжким свинцово-облачным небом, среди гнущихся от ветра деревьев, в густых мокрых кустах. Но еще непонятнее было, как проводят караульщики на этом ветру ночи, как спят они на сырой соломе под навесом гнилого шалаша!

Их было трое. И все были больны. Один молодой, бывший пекарь, теперь босяк, жаловался на лихорадку; у другого, Митрофана, тоже босяка, была чахотка, хоть он говорил, что ему ничего, "только промеж крыльев холодит"; Аким страдал "куриной слепотой" – от худосочия плохо видел в сумерках. Пекарь, бледный и ласковый, сидел, когда подошел Кузьма, возле шалаша на корточках и, засучив на худых, слабых руках рукава ватной кофты, промывал в деревянной чашке пшено. Чахоточный Митрофан, человек небольшого роста, широкий и темнолицый, весь в мокрому отрепье и опорках, сбитых и жестких, как старое лошадиное копыто, стоял возле пекаря и, подняв плечи, карими блестящими глазами, расширенными и ничего не выражающими, глядел на его работу. Аким притащил ведро и разводил, поддувал в земляной печурке против шалаша огонь. Он входил в шалаш, выбирал там пуки соломы посуше и опять шел к пахуче дымившему под чугуном костру, все бормоча что-то, дыша со свистом и насмешливо-загадочно, небрежно улыбаясь на подтруниванья сотоварищей, зло и ловко срезая их порою. А Кузьма закрывал глаза и слушал то разговор, то соловьев, сидя на сырой скамейке возле шалаша, осыпаемой ледяными брызгами, когда по аллее под сумрачным, вздрагивавшим от бледных зарниц и рокошущим небом проносился сырой ветер. Под ложечкой сосало от голода и тютюна. Кулеш, казалось, никогда не поспеет, из головы не выходила мысль, что, может, и самому придется жить такой же звериной жизнью, как эти караульщики... И раздражали порывы ветра, дальний однообразный гром, соловьи и медлительная, небрежно-едкая картавость Акима, его скрипучий го-

лос.

– Ты бы, Акимушка, хотя поясок-то купил, – притворно-просто говорил пекарь, труня и поглядывая на Кузьму, – приглашая и его послушать Акима.

– Вот погоди, – рассеянно-насмешливо отвечал Аким, снимая длинной ложкой из закипевшего котелка пенистую жижу. – Вот отживем у хозяина лето – сапоги тебе со скрипом куплю.

– "Со скггипом"! Да я у тебя не прошу.

– А сам в опорках!

И Аким стал заботливо пробовать с ложки жижу.

Пекарь смутился и вздохнул:

– Уж где нам сапоги носить!

– Да будет вам, – сказал Кузьма, – вы вот лучше скажите, как вы тут коштуетесь. Небось каждый день все кулеш да кулеш?

– А тебе что ж – рыбки, ветчинки захотелось? – спросил Аким, не оборачиваясь и облизывая ложку. – Она бы ничего так-то: водочки осьмушку, сомовинки хунтика три, хвостик ветчинки, чайку хруктового... А это не кулеш, а называется реденькая кашка.

– А щи, похлебку варите?

– У нас, брат, были они, щи-то, да какие еще! На кобеля плеснешь – шерсть соскочит!

Кузьма покачал головой:

– А ведь это ты от болезни так зол! Полечился бы, что ли, маленько...

Аким не ответил. Огонь уже потухал, под чугуном краснела горка угольков; сад темнел и темнел, и голубые сполохи при порывах ветра, раздувавших рубаху Акима, стали бледно озарять лица. Митрофан сидел рядом с Кузьмой, опершись на палку, пекарь – на пне под липой. Услышав последние слова Кузьмы, пекарь стал серьезен.

– А я так полагаю, – сказал он покорно и грустно, – что не иначе, как все господь. Не даст господь здоровья, так никакие доктора тебе не помогут. Вон Аким правду говорит: раньше смерти не помрешь.

– Доктора! – подхватил Аким, глядя на угли и особенно едко выговаривая это слово: дохтогга!.. – Доктора, брат, свой карман блюдут. Я б ему, доктору-то энтому, кишки за его дела выпустил!

– Не все блюдут, – сказал Кузьма.

– Я всех не видал.

– Ну, и не бреши, если не видал, – строго сказал Митрофан,

Но тут насмешливое спокойствие внезапно покинуло Акима. И, выкатив свои ястребиные глаза, он вдруг вскочил и закричал с запальчивостью идиота:

– Что? Это я-то не брешу? Ты был в больнице-то? Был? А я был! Я в ней семь ден сидел, – много он мне булок-то давал, дохтор-то твой? Много?

– Да дурак, – перебил Митрофан, – булки не всем же полагаются: это по болезни.

– А! По болезни! Ну, и подавись он ими, пузо его лопни! – крикнул Аким.

И, бешено озираясь, шваркнул длинную ложку в "реденькую кашку" и пошел в шалаш.

Там он, со свистом дыша, зажег лампочку, и в шалаше стало уютно. Потом достал откуда-то из-под крыши ложки, кинул их на стол и крикнул: "Несите, что ль, кулеш-то!" Пекарь встал и пошел за чугуном. "Милости просим", – сказал он, проходя мимо Кузьмы. Но Кузьма попросил только хлеба, посолил его и, с наслаждением жуя, опять вернулся к скамейке. Стало совсем темно. Бледно-голубой свет все шире, быстрее и ярче озарял шумящие деревья, точно раздуваемый ветром, и при каждом сполохе мертвенно-зеленая листва становилась на мгновение видна, как днем, после чего все заливалось могильной чернотой. Соловьи смолкли, – складно и сильно цокал и рассыпался только один – над самым шалашом. "Даже и не спросили, кто я, откуда? – думал Кузьма. – Народ, пропади он пропадом!" И шутливо крикнул в шалаш:

– Аким! А ты и не спросил даже: кто я, откуда? – А на что ты мне нужен-то? – ответил Аким.

– Я вот его о другом спрашиваю, – послышался голос пекаря, – сколько он от Думы земли чаёт получить? Как думаешь, Акимушка? А?

– Я не письменный, – сказал Аким. – Тебе из навозу, видней.

И пекарь, должно быть, опять смутился: на минуту наступило молчание.

– Это он насчет нашего брата, – заговорил Митрофан. – Я рассказывал как-то, что в Росто-

ве бедный народ, пролетариат то есть, зимой в навозе спасается...

– Выйдет за город, – радостно подхватил Аким, – и в навоз! Зароется, не хуже свиньи, и горя мало.

– Дурак! – отрезал Митрофан. – Чего гогочешь? Застигнет бедность – зароешься!

Аким, опустив ложку, сонно посмотрел на него. И снова с внезапной запальчивостью раскрыл свои пустые ястребиные глаза и бешено крикнул:

– А-а! Бедность! По часам захотел работать?

– А как же? – бешено крикнул и Митрофан, раздувая свои дагомейские ноздри и в упор глядя на Акима блестящими глазами. – Двадцать часов за двугривенный?

– А-а! А тебе бы час за целковый? Дюже жаден, пузо твое лопни!

Но ссора столь же быстро и потухла, как разгорелась. Через минуту Митрофан уже спокойно говорил, обжигаясь кулешом:

– Это он-то не жаден! Да он, дьявол слепой, за копейку в алтаре удавится. Верите ли – жене за пятиалтынный продал! Ей-богу, не шучу. Там у нас в Липецке есть такой старичок, Панков прозывается, тоже прежде садовничая, ну, а теперь на покое и очень любит это дело...

– Аким, значит, тоже липецкий? – спросил Кузьма.

– Из деревни Студенки, – равнодушно сказал Аким, точно и не про него шел толк.

– При брате живет, – подтвердил Митрофан. – Землей, двором сообча владеет с ним, но только все-таки вроде как заместо дурачка, и жена от него, конечно, уж сбежала; а отчего сбежала – как раз от этого от самого: сторговался с Нанковым за пятиалтынный, чтоб пустить его, заместо себя, ночью в клеть – и пустил.

Аким молчал, постукивая ложкой по столу и глядя на лампочку. Он уже наелся, утерся и теперь что-то думал.

– Брехать, малый, не пахать, – сказал он наконец. – А хоть бы и пустил: ай она слиняет?

И, прислушиваясь, осклабился, поднял брови, и его суздальское личико стало радостно-грустно, покрылось крупными деревянными морщинами;

– Вот бы из ружья-то его! – сказал он особенно скрипуче и картаво. – Так бы и кувыркнулся!

– Это ты про кого же? – спросил Кузьма.

– Да про соловья-то этого...

Кузьма сжал зубы и, подумав, сказал:

– А стерва ты мужик. Зверь.

– Поцелуй меня в ж... теперь, – отозвался Аким. И, икнув, поднялся:

– Ну, что ж дагом огонь-то жечь?

Митрофан стал завертывать сигарку, пекарь – убирать ложки, а он вылез из-за стола, повернулся к лампочке спиной и, поспешно перекрестившись три раза, с размаху поклонился в темный угол шалаша, встряхнул мочальными прямыми волосами и, подняв лицо, зашептал молитву. От него пала на какие-то тесовые ящики и переломилась большая тень. Он опять торопливо перекрестился и опять с размаху поклонился – и Кузьма уже с ненавистью взглянул на него. Вот Аким молится – и попробуй-ка спросить его, верит ли он в бога! Из орбит выскочат его ястребиные глаза! Разве он татарин какой!

Казалось, что год тому назад выехал он из города и что никогда-то теперь не доберешься до него. Тяготил мокрый картуз, ныли холодные ноги, сжатые грязными сапогами. Лицо за день обветрилось, горело. Поднявшись со скамьи, Кузьма пошел навстречу сырому ветру, к воротам в поле, к пустоши давно упраздненного погоста. Из шалаша падал на грязь слабый свет, но, как только Кузьма отошел, Аким дунул на лампочку, свет исчез, и сразу наступила ночь. Голубоватая зарница блеснула смелее, неожиданней, раскрыла все небо, всю глубину сада до самых отдаленных елок, где стояла баня, и вдруг залила все такой чернотой, что закружилась голова. И опять где-то низко загремел дальний гром. Постояв и различив тусклый просвет в воротах, Кузьма вышел на дорогу, пролежавшую вдоль вала, мимо шумящих старых лип и кленов, и стал медленно ходить взад и вперед. На картуз, на руки опять посыпался дождь. И опять глубоко запахла черная тьма, засверкали капли дождя, и на пустоши, в мертвенно-голубом свете, вырезалась фигура мокрой тонкошейей лошади. Бледное, металлически-зеленое поле овсов мелькнуло за пустошью на чернильном фоне, а лошадь подняла голову – и Кузьме стало жутко. Он повернул назад, к воротам. Когда же ошупью добрался до бани, стоявшей в ельнике, дождь об-

рушился на землю с такой силой, что, как в детстве, стали мелькать страшные мысли о потопе. Он дернул спичкой, увидел широкие нары возле окошечка и, свернув чуйку, кинул ее в изголодь. В темноте влез на нары и с глубоким вздохом растянулся на них, лег по-стариковски, на спину, и закрыл усталые глаза. Боже мой, какая нелепая и тяжкая поездка! И как это он попал сюда? В барском доме теперь тоже тьма, и зарницы, на лету, украдкой отражаются в зеркалах... В шалаше, под проливным дождем, спит Аким... Вот в этой бане не раз, конечно, видали чертей: верит ли Аким хоть в черта как следует? Нет. А все-таки с уверенностью рассказывает о том, как его покойник-дед – непременно дед и непременно покойник – пошел раз в ригу за хоботьем, а черт сидит себе на водиле, ножки переплел, лохматый, как собака... И, выставив одно колено, Кузьма положил кисть руки на лоб и стал, вздыхая и тоскуя, задремывать...

Лето он провел в ожидании места. Мечты о садах оказались очень глупы. Возвратясь в город и хорошенько обдумав свое положение, начал он искать место приказчика, конторщика; потом стал соглашаться на любое – лишь бы был кусок хлеба. Но поиски, хлопоты, просьбы пропадали даром. В городе он давным-давно слыл за большого чудака. Пьянство и безделье превратили его в посмешище. Жизнь его сперва изумляла город, потом стала казаться подозрительной. Да и правда: где это видано, чтобы мещанин в его годы жил на подворье, был холост и нищ, как шарманщик: всего имущества – сундучок да тяжелый старый зонтик! И Кузьма стал поглядывать в зеркало: что это, в самом деле, за человек перед ним? Ночует в "общем номере", среди чужих, приезжающих и уезжающих людей, утром плетется по жаре на базар, в трактиры, где ловит слухи о местах; после обеда спит, потом сидит у окна и читает, глядит на пыльную белую улицу и бледно-голубое от жары небо... Для кого и для чего живет на свете этот худой и уже седой от голода и строгих дум мещанин, называющий себя анархистом и не умеющий толком объяснить, что значит – анархист? Сидит, читает; вздохнет, пройдет по комнате; опустится на корточки, отомкнет свой сундучок; переложит поаккуратнее истрепанные книжки и рукописи, две-три линючих косоворотки, старый длиннополый сюртук, жилетку, истершееся метрическое свидетельство... А что дальше делать?

И лето тянулось бесконечно долго. Теперь в городе стояла адская сушь. Угловой дом подворья жарился на солнце. По ночам от духоты кровь стучала в голову, и будил каждый звук за открытыми окнами. А на сеновале нельзя было спать от блох, крика петухов и вони навозного двора. Все лето не покидала Кузьму мечта съездить в Воронеж. Хоть бы до поезда побродить по воронежским улицам, посмотреть на знакомые тополя, на тот голубенький домик за городом... Да зачем? Истратить десять, пятнадцать рублей, а потом отказывать себе в свечке, в булке? Да и стыдно старику предаваться любовным воспоминаниям. А что до Клаши, так его ли еще дочь-то она? Видел он ее года два тому назад: сидит у окна, плетет кружево, облик милый и скромный, но похожа только на мать...

К осени Кузьма убедился, что необходимо или по святым местам уйти, в монастырь какой-нибудь, или – прости дернуть по горлу бритвой. Наступала осень. Уже пахло на базаре яблоками, сливами. Навезли гимназистов. Стало солнце садиться за Щепной площадью: выйдешь из Ворота вечером и, переходя перекресток, ослепнешь: налево вся улица, упирающаяся вдали в площадь, залита низким скучным блеском. Сады за заборами – в пыли, паутине. Идет Полозов навстречу – на нем крылатка, но шляпу уже сменил картуз с кокардой. В городском саду ни души. Забита раковина музыкантов, забит киоск, где продавали летом кумыс и лимонад, закрыт дощатый буфет. И однажды, сидя возле этой раковины, Кузьма так затосковал, что уже не шутя задумался о самоубийстве. Солнце садилось, свет его был красноватый, летела мелкая розовая листва до аллеи, дул холодный ветер. В соборе звонили ко всенощной, и под этот мерный, густой звон, уездный, субботний, душа ныла нестерпимо. Вдруг под раковиной послышался кашель, кряхтенье... «Мотья», – подумал Кузьма. И правда: вылез из-под лестницы Мотья-Утиная-Головка. Был он в рыжих солдатских сапогах, в очень длинном гимназическом мундире, обсыпанном мукой, – видно, базар позабавился, – и в соломенной шляпе, много раз попадавшей под колеса. Не раскрывая глаз, отплевываясь и шатаясь с похмелья, он прошел мимо. Кузьма, сдерживая слезы, сам окликнул его:

– Мотья! Иди потолкуем, покурим...

И Мотья вернулся, сел на скамью, стал сонно, шевеля бровями, заворачивать сигарку, но, кажется, плохо соображал, кто это с ним, кто это жалуется ему на свою судьбу...

А на другой день тот же Мотья принес Кузьме записку Тихона.

В конце сентября Кузьма переехал в Дурновку.

III

В ту давнюю пору, когда Илья Миронов года два жил в Дурновке, был Кузьма совсем ребенок, и остались у него в памяти только темно-зеленые пахучие конопляники, в которых тонула Дурновка, да еще одна темная летняя ночь: ни единого огня не было в деревне, а мимо избы Ильи шли, белея в темноте рубахами, "девять девок, девять баб, десятая удова", все босые, простоволосые, с метлами, дубинами, вилами, и стоял оглушительный звон и стук в заслонки, в сковороды, покрываемый дикой хоровой песнью: вдова тащила соху, рядом с ней шла девка с большой иконой, а прочие звонили, стучали и, когда вдова низким голосом выводила:

Ты, коровья смерть,
Не ходи в наше село! –

хор, на погребальный лад, протяжно вторил:

Мы опахиваем –

и, тоскуя, резкими горловыми голосами подхватывал:

Со ладаном, со крестом...

Теперь вид дурновских полей был будничным. Ехал Кузьма с Воргла веселый и слегка хмельной, – Тихон Ильич угощал его за обедом наливкой, был очень добр в этот день, – и с удовольствием смотрел на равнины сухих бурых пашен, расстилавшиеся вокруг него. Почти летнее солнце, прозрачный воздух, бледно-голубое ясное небо, – все радовало и обещало долгий покой. Седой, корявой полыни, вывороченной с корнем сохами, было так много, что ее возили возами. Под самой усадьбой стояла на пашне лошаденка, с репьями в холке, и телега, высоко нагруженная полынью, а подле лежал Яков, босой, в коротких запыленных портках и длинной посконной рубахе, и, придавив боком большого седого кобеля, держал его за уши. Кобель рычал и косился.

– Ай кусается? – крикнул Кузьма.

– Лют – мочи нет! – торопливо отозвался Яков, поднимая свою косую бороду. – На морды лошадям сигаает...

И Кузьма засмеялся от удовольствия. Уж мужик так мужик, степь так степь!

А дорога шла под изволок, и горизонт суживался. Впереди зеленела новая железная крыша риги, казавшаяся потонувшей в глухом низкорослом саду. За садом, на противоположном косогоре, стоял длинный ряд изб из глинобитных кирпичей, под соломой. Справа, за пашнями, тянулся большой лог, входивший в тот, что отделял усадьбу от деревни. И там, где лога сходились, торчали на мысу крылья двух раскрытых ветряков, окруженных несколькими избами однодворцев, – Мысовых, как назвал их Оська, – и белела на выгоне вымазанная мелом школа.

– Что ж, учатся ребяташки-то? – спросил Кузьма.

– Обязательно, – сказал Оська. – Ученик у них бедовый!

– Какой ученик? Учитель, что ли?

– Ну, учитель, одна часть. Вышколил, говорю, ихнего брата – куда годишься. Солдат. Бьет не судом, да зато у него уж и прилажено все! Заехали мы как-то с Тихоном Ильичом – как вскочут все разом да как гаркнут: "Здравия желаем!" – где тебе и солдатам так-то!

И опять засмеялся Кузьма.

А когда проехали гумно, прокатили по убитой дороге мимо небольшого сада и повернули влево, на длинный двор, подсохший, золотившийся под солнцем, даже сердце заколотилось: вот он и дома наконец. И, взойдя на крыльцо, переступив порог, Кузьма низко поклонился темной иконе в углу прихожей...

Против дома, задом к Дурновке, к широкому логу, стояли амбары. С крыльца дома, чуть влево, видна была Дурновка, вправо – часть мыса: ветряк и школа. Комнаты были малы и пусты. В кабинете была ссыпана рожь, в зале и гостиной стояло только несколько стульев с продран-

ными сиденьями. Гостиная выходила окнами в сад, и всю осень Кузьма ночевал в ней на продавленном диване, не закрывая окон. Пол никогда не мели: за кухарку первое время жила вдова Однодворка, бывшая любовница молодого Дурново, которой надо было и к ребятишкам своим бегать, и себе кое-что стряпать, и "Кузьме с работником. Кузьма сам ставил по утрам самовар, потом сидел под окном в зале, пил чай с яблоками. В утреннем блеске, за логом, густо дымились крыши деревни. Сад свежо благоухал. А в полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду рдели клены и липы, тихо роняя разноцветные листья. Голуби, пригретые солнцем, весь день спали на скате кухонной крыши, желтевшей новой соломой в ясном синем небе. Отдыхал после обеда работник. Однодворка уходила домой. А Кузьма бродил. Он шел на гумно, радуясь солнцу, твердой дороге, высохшим бурьянам, побуревшему подсекольник, милому позднему цветку голубого цикория и тихо летевшему по воздуху пуху татарок. Пашни в поле блестя под солнцем шелковистыми сетями паутины, затянувшей их на необозримое пространство.

По огороду на сухих репейниках сидели щеглы. На гумне, в глубокой тишине, на припеке, горячо сипели кузнечики... С гумна Кузьма перелезал через вал, возвращался в усадьбу садом, по ельнику. В саду болтал с мещанами, съемщиками сада, с Молодой и Козой, сбиравшими падальцы, залезал с ними в крапивную глушь, где лежали самые спелые. Порой он брел на деревню, в школу...

Солдат-учитель, глупый от природы, на службе сбился с толку совершенно. По виду это был самый обыкновенный мужик. Но говорил он всегда так необыкновенно и нес такую чепуху, что приходилось только руками разводиться. Он все чему-то с величайшей хитростью улыбался, глядел на собеседника снисходительно, щурясь, на вопросы никогда не отвечал сразу.

– Как величать-то тебя? – спросил его Кузьма, в первый раз зайдя в школу.

Солдат прищурился, подумал.

– Без имени и овца баран, – сказал он наконец, не спеша. – Но спрошу и я вас: Адам – это имя ай нет?

– Имя.

– Так. А сколько же, к примеру, народу померло с тех нор?

– Не знаю, – сказал Кузьма. – Да ты это к чему?

– А к тому самому, что нам этого отроду не понять! Я, к примеру, солдат и коновал. Иду недавно по ярмарке – глядь, лошадь в сапе. Сейчас к становому: так и так, ваше высокоблагородие. "А можешь ты эту лошадь пером зарезать?" – "С великим удовольствием!"

– Каким пером? – спросил Кузьма.

– А гусиным. Взял, очинил, в жилу становую чкнул, дунул маленько, в перо-то, – и готово. Дело-то, кажись, просто, ан поди-ка, ухитрись!

И солдат лукаво подмигнул и постучал себя пальцем в лоб:

– Тут еще есть смекалка-то!

Кузьма пожал плечами и смолк. И, уж проходя мимо Однодворки, от ее Сеньки узнал, как зовут солдата. Оказалось – Пармен.

– А что вам задано на завтра? – прибавил Кузьма, с любопытством глядя на огненные вихры Сеньш, на его живые зеленые глаза, конопатое лицо, щуплое тельце и потрескавшиеся от грязи и цыпок руки и ноги.

– Задачи, стихи, – сказал Сенька, подхватив правой рукой поднятую назад ногу и прыгая на одном месте.

– Какие задачи?

– Гусей сосчитать. Летело стадо гусей...

– А, знаю, – сказал Кузьма. – А еще что?

– Еще мышей...

– Тоже сосчитать?

– Да. Шли шесть мышей, несли по шесть грошей, – быстро забормотал Сенька, косясь на серебряную часовую цепочку Кузьмы. – Одна мышшь поплоче несла два гроша... Сколько выйдет всего...

– Великолепно. А стихи какие?

Сенька выпустил ногу.

– Стихи – "Кто он?"

– Выучил?

– Выучил....

– А ну-ка.

И Сенька еще быстрее забормотал – про всадника, ехавшего над Невой по лесам, где были только

Ель, сосна да мох сядой...

– Седой, – сказал Кузьма, – а не сядой.

– Ну, сидой, – согласился Сенька.

– А всадник-то этот кто же?

Сенька подумал.

– Да колдун, – сказал он.

– Так. Ну, скажи матери, чтоб она хоть виски-то тебе подстригла. Тебе же хуже, когда учитель дерет.

– А он уши найдет, – беспечно сказал Сенька, снова берясь за ногу, и запрыгал по выгону.

Мыс и Дурновка, как это всегда бывает со смежными: деревнями, жили в постоянной вражде и взаимном презрении. Мысовые считали разбойниками и побирушками дурновцев, дурновцы – мысовых. Дурновка была «барская», а на Мысу обитали «галманы», однодворцы. Вне вражды, вне распрей находилась только Однодворка. Небольшая, худая, аккуратная, она была жива, ровна и приятна в обращении, наблюдательна. Она знала, как свою, каждую семью, и на Мысу и в Дурновке, первая извещала усадьбу о каждом, даже малейшем деревенском событии. Да и ее жизнь знали все отлично. Она никогда и ни от кого ничего не скрывала, спокойно и просто рассказывала о муже, о Дурново.

– Что ж делать-то, – говорила она, легонько вздыхая. – Бедность была лютая, хлебушка и в новину не хватало. Мужик меня, правду надо сказать, любил, да ведь покоришься. Целых три воза ржи дал за меня барин. "Как же быть-то?" – говорю мужику. – "Видно, иди", – говорит. Поехал за рожью, таскает мерку за меркой, а у самого слезы кап-кап, кап-кап...

Днем работала она не покладая рук, по ночам штопала, шила, воровала щиты на чугушке. Раз, поздно вечером, выехал Кузьма к Тихону Ильичу, поднялся на изволок и обмер от страха: над потонувшими во мраке пашнями, на чуть тлеющей полосе заката росло и плавно несло на Кузьму что-то черное, громадное...

– Кто это? – слабо крикнул он, натягивая вожжи.

– Ой! – слабо, в ужасе крикнуло и то, что так быстро и плавно росло в небе, и с треском рассыпалось.

Кузьма очнулся – и сразу узнал в темноте Однодворку. Это она бежала на него на своих легких босых ногах, согнувшись, взгромоздив на себя два саженных щита – из тех, что ставят зимой вдоль чугушки от заносов. И, оправившись, с тихим смехом зашептала:

– Напугали вы меня до смерти. Бежишь так-то ночью – дрожишь вся, а что ж делать-то? Вся деревня топится ими, только тем и спасаемся...

Зато совершенно неинтересный человек был работник Кошель. Говорить с ним было не о чем, да он и не словоохотлив был. Как большинство дурновцев, он все только повторял старые немудреные изречения, подтверждал то, что давным-давно известно. Погода портилась – и он поглядывал на небо:

– Портится погодка. Дожжок теперь для зеленой первое дело.

Двоили пар – и он замечал:

– Не передвоишь – без хлеба посидишь. Так-то старички-то говаривали.

Он служил, в свое время, был на Кавказе, но солдатчина не оставила на нем никаких следов. Он ничего не мог рассказать о Кавказе, кроме того только, что там гора на горе, что из земли бьют там страшно горячие и странные воды: "положишь баранину – в одну минуту сварится, а не вынешь вовремя – опять сырая станет..." И нисколько не гордился тем, что повидал свет; он даже с презрением относился к людям бывалым: ведь «шатаются» люди только поневоле или по бедности. Ни одному слуху не верил – "все брешут!" – но верил, божился, что недавно под сельцом Басовым катилось в сумерки тележное колесо – ведьма, а один мужик, не будь дурак, взял да и поймал это колесо, всунул во втулок подпояску и завязал ее.

– Ну, и что же? – спрашивал Кузьма.

– Да что? – отвечал Кошель. – Проснулась эта ведьма нарани, глядь – а у ней подпояска из рота и из заду торчит, на животе завязана...

– А чего ж она не развязала-то ее?

– Видно, узел закрещен был.

– И тебе не стыдно такой чепухе верить?

– А мне что ж стыдиться? Люди ложь, и я тож. И любил Кузьма только напевы его слушать. Сидишь в темноте у открытого окна, нигде ни огонька, деревня чуть чернеет за логом, тихо так, что слышно падение яблок с лесовки за углом дома, а он медленно похаживает по двору с колотушкой и заунывно-мирно напевает себе фальцетом: "Смолкни, пташка-канарейка..." До утра он караулил усадьбу, днем спал, – дела почти не было: с дурновскими делами Тихон Ильич поспешил в этот год управиться рано, из скотины оставил всего лошадь да корову.

Ясные дни сменились холодными, синевато-серенькими, беззвучными. Стали щеглы и синицы посвистывать в голом саду, снегири и еще какие-то неторопливые крохотные птички, стайками перелетавшие с места на место по гумну, падрины которого уже проросли ярко-зелеными всходами; иногда такая молчаливая легонькая птичка одиноко сидела где-нибудь на былинке в поле... На огородах за Дурновкой докапывали последние картошки. Стало рано темнеть, и в усадьбе говорили: "Как поздно машина-то теперь проходит!" – хотя расписание поездов ничуть не изменилось... Кузьма, сидя под окном, целый день читал газеты; он записал свою весеннюю поездку в Казакове и разговоры с Акимом, делал заметки в старой счетоводной книге, – то, что видел и слышал в деревне... Больше всех занимал его Серый.

Серый был самый нищий и бездельный мужик во всей деревне. Землю он сдавал, на местах не жил. Дома сидел в голоде и холоде, но думал только о том, как бы разжиться покурить. На всех сходках бывал он, не пропускал ни одной свадьбы, ни одних крестин, ни одних похорон. Магарычи никогда не обходились без него: он встречал не только во все мирские, но и во все соседские – после купли, продажи, мены. Наружность Серого оправдывала его кличку: сер, худ, росту среднего, плечи обвислые, полушубочек короткий, рваный, замызганный, валенки разбиты и подшиты бечевой, о шапке и говорить нечего. Сидя в избе, никогда не снимая этой шапки, не выпуская изо рта трубки, вид он имел такой, будто все ждал чего-то. Но ему, но его мнению, чертовски не везло. Не подпадало дела настоящего, да и только! Ну, а в бирюльки играть был он не охотник. Всякий, конечно, норовил охаять...

– Да ведь язык-то без костей, – говорил Серый. – Ты сперва дело в руки дай, а потом уж и брешу.

Земли у него было порядочно – три десятины. Но податей зашло – на десятерых. И отвалились от земли руки у Серого: "Поневоле сдашь ее, землю-то: ее, матушку, в порядке надо держать, а уж какой тут порядок!" Сам он сеял не больше полнивы, но и ту продавал на корню, – "милое за немилое сбывал". И опять с резонном: дождись-ка ее, попробуй! – "Все, к примеру, дожждаться-то лучше..." – бормотал Яков, глядя в сторону и зло усмехаясь. Но усмехался и Серый – печально и презрительно.

– Лучше! – хмыкал он. – Тебе хорошо брехать: девку отдал, малого женил. А у меня – глянь, угол-то сидит, ребятишек-то. Не чужие ведь. Я вон козу для них держу, поросенка выкармливаю... Тоже небось пить-есть просят.

– Ну, коза, к примеру, в этом деле не повинна, – возражал, раздражаясь, Яков. – Это у нас, к примеру, все водочки да трубочки на уме... трубочки да водочки...

И, чтоб не поругаться с соседом без толку, спешил отойти от Серого. А Серый спокойно и дельно замечал ему вслед:

– Пьяница, брат, проспится, дурак никогда.

Разделившись с братом, долго скитался Серый по квартирам, нанимался и в городе и по именьям. Ходил и на клевера. И вот на клеверах-то и довезло ему однажды. Нанялась артель, к какой пристрял Серый, отделать большую партию по восьми гривен с пуда, а клевер возьми и дай больше двух пудов. Вытрясли его – Серый подрядился машонку бить. Нагнал в азадки зерна и купил их. И забогател: в ту же осень поставил кирпичную избу. Но не рассчитал: оказалось, что избу нужно топить. А чем, спрашивается? Да нечем было и кормиться. И пришлось сжечь верх избы, и простояла она без крыши год, почернела вся.

А труба пошла на хомут. Правда, лошади еще не было; да ведь надо же когда-нибудь начи-

нать обзаведение... И Серый махнул рукой: решил продать избу, поставить или купить по дешевле, глинобитную. Рассуждал он так: будет в избе – ну, на худой конец, десять тысяч кирпичей; за тысячу дают пять, а то и шесть рублей; выходит, значит, больше полсотни... Но кирпичей оказалось три с половиной тысячи, за матицу пришлось взять не пять целковых, а два с полтиной... Озабоченно приглядывая себе новую избу, целый год приторговывался он только к тем, что были совсем не по деньгам ему. И примирился с теперешней только в твердой надежде на будущую – крепкую, просторную, теплую.

– В этой я, прямо говорю, не жилец! – отрезал он однажды.

Яков внимательно посмотрел на него, тряхнул шапкой.

– Так. Значит, ждешь, корабли приплывут?

– И приплывут, – ответил Серый загадочно.

– Ой, брось дурь, – сказал Яков, – наймись куда ни на есть, да зубами, к примеру, держись за место...

Но мысль о хорошем дворе, о порядке, о какой-то ладной, настоящей работе отравляла всю жизнь Серому. Скучал он на местах.

– Она, видно, работа-то не мед, – говорили соседи.

– Небось была бы мед, кабы хозяин попался путный!

И Серый, вдруг оживившись, вынимал изо рта холодную трубку и начинал любимую историю: как он, будучи холостым, целых два года честно-благородно отжил у попа под Ельцом.

– Да я и сейчас поди туда – с руками оторвут! – восклицал он. – Только слово сказать: пришел, мол, папаша, поработаться на вас.

– Ну, к примеру, и шел бы...

– Шел бы! Когда у меня детей цельный угол сидит! Вестимо: чужую беду – руками разведу. А тут человек без толку пропадает...

Без толку пропадал Серый и нынешний год. Всю зиму с озабоченным видом просидел дома, без огня, в холоде, в голоде. Великим постом пристроился каким-то манером к Русановым под Тулой: в своих-то местах его уж не брали. Но не прошло и месяца, как осточертела ему русановская – экономия хуже горькой редьки.

– Ой, малый! – сказал раз приказчик. – Наскрозь тебя вижу: придираешься ты лыжи наладить. Забираете, сукины дети, денежки вперед, да и норовите в кусты.

– Это, может, бродяга какой так-то норовит, а не мы, – отрезал Серый.

Но приказчик намека не понял. И пришлось действовать решительнее. Заставили раз Серого навозить к вечеру хоботья для скотины. Он поехал на гумно и стал навивать воз соломы. Подошел приказчик:

– Разве я тебе не русским языком сказал – хоботье накладывать?

– Не время его накладывать, – твердо ответил Серый.

– Это почему?

– Путные хозяева хоботье в обед дают, а не на ночь.

– Да ты-то что за учитель такой?

– Не люблю морить скотину. Вот и учитель весь.

– А везешь солому?

– На все время надо знать.

– Сию же минуту брось накладывать!

Серый побледнел.

– Нет, дела я не брошу. Дела мне нельзя, бросать,

– Дай сюда вилы, собака, и отойди от греха.

– Я не собака, а хрещеный человек. Вот отвезу – и отойду. И совсем уйду.

– Ну, брат, навряд! Уйдешь, да вскорости и назад, в волость припрешь.

Серый соскочил с воза, бросил вилы в солому.

– Это я-то припру?

– Ты-то!

– Ой, милый, не припри ты! Авось и за тобой знаем. Тоже, брат, не похвалит хозяин...

Толстые щеки приказчика налились сизой кровью, белки выпучились.

– А-а! Вот как! Не похвалит? Говори же, когда такое дело, – за что?

– Мне нечего говорить, – пробормотал Серый, чувствуя, что у него сразу отяжелели ноги

от страха.

– Нет, брат, брешешь – скажешь!

– А куда мука девалась? – внезапно крикнул Серый.

– Мука? Какая такая мука? Какая?

– Сляпая. С мельницы...

Приказчик мертвой хваткой сгреб Серого за ворот, за душу – и на мгновение оба замерли.

– Ты что же это, – за пельки хватать? – спросил Серый спокойно. – Задушить хочешь?

И вдруг яростно завизжал:

– Ну, бей, бей, пока сердце кипит!

И, рванувшись, вырвался и схватил вилы.

– Ребята! – заорал приказчик, хотя кругом никого не было. – За старостой! Прислушайте: он меня заколоть хотел, сукин сын!

– Не суйся, нос сшибешь, – сказал Серый, держа вилы наперевес. – Авось не прежнее вам времечко!

Но тут приказчик размахнулся – и Серый торчмя головой полетел в солому...

Все лето Серый сидел опять дома, поджидая милостей от Думы. Всю осень шатался от двора к двору, надеясь пристроиться к кому-нибудь, едущему на клевера... Загорелся однажды новый омет на краю деревни. Серый первым явился на пожар и орал до сипоты, опалил ресницы, промок до нитки, распоряжаясь водовозами, теми, что кидались с вилами в огромное розово-золотое пламя, растаскивали во все стороны огненные шапки, и теми, что просто метались среди жара, треска, льющейся воды, гама, наваленных возле изб икон, кадушек, прялок, попон, рыдающих баб и сыплющихся с обгорелых лозин черных листьев... Как-то в октябре, когда после проливных дождей и ледяной бури застыл пруд и соседский боров соскользнул с мерзлого бугра, проломил лед и стал тонуть, Серый первый, со всего разбега, шархнулся в воду – спасать... Боров все равно утонул, но это дало Серому право прибежать с пруда в людскую, потребовать водки, табаку, закуски. Сперва он был весь лиловый, зуб на зуб не попадал, еле шевелил белыми губами, переодеваясь во все чужое, в Кошелево. Потом ожил, захмелел, стал хвастать – и опять рассказал о том, как он честно-благородно служил у попа и как ловко выдал прошлый год свою дочь замуж. Он сидел за столом, с жадностью жевал, заглатывая брусочки сырой ветчины и самодовольно повествовал:

– Хорошо. Снюхалась она, Матрешка-то, с Егоркой, с этим... Ну, снюхалась и снюхалась. Нехай. Сижу как-то? под окошечком, вижу – раз Егорка прошел мимо избе, два... а моя – все нырь да нырь к окошечку... Значит, обдумали дело, думаю себе. И говорю бабе: ты тут нормочку скотине дай, а я пойду, – на сходку повещали. Сел за избой в солому, сижу, жду. А уж снежок первый напал. Вижу опять снизу крадется Егорка... А она и вот она. Зашли за погреб, потом – шмыг в избу в новую, в пустую, рядом. Подождал я сколько-нибудь...

– История! – сказал Кузьма и болезненно усмехнулся.

Но Серый принял это за похвалу, за восхищение его умом и хитростью. И продолжал, то возвышая голос, то едко понижая его:

– Стой, слухай, что дальше-то будет. Подождал, говорю, сколько-нибудь – да за ними... Вскочил на порог – прямо на ней и прихватил! Перепугались они – до страсти. Он, как куль, наземь с нее свалился, а она обмерла, лежит, как утка... "Ну, говорит, бей меня теперь". Это он-то. "Бить, говорю, ты мне не нужно-он..." Поддевочку его взял, пинжачок тоже, оставил в одних подштанниках, – почесть в чем мать родила... "Ну, говорю, ступай теперь, куды хочешь..." А сам домой. Смотрю и он сзади идет: снег белый, – и он белый, идет, сопит... Деться-то некуда, – куда кинешься? А моя Матрена Миколавна, как я только из избе, – в поле! Закатилась – насилу соседка под самым Басовым за рукав поймала, ко мне привела. Дал я ей отдохнуть и говорю: "Мы люди бедные ай нет?" Молчит. "Мать-то у тебя убогая ай умная?" Опять молчит. "Как ты нас оконфузила? А? Ты что ж, полон угол мне их нашвыряешь, выbledков-то своих, а я глазами моргай?" Ну, и зачал ее лудить, – был у меня тут кнутик похоженький... Просто сказать, всю поясницу ей изрубил! А он сидит на лавке, голосит. Взялся потом за него, за голубчика...

– И женил? – спросил Кузьма.

– Она! – воскликнул Серый и, чувствуя, что хмель одолевает его, стал сгребать с тарелки куски ветчины и пихать в карманы порток. – Еще как свадьбу-то сыграли! На расходы я, брат, жмуриться не стану...

"Ну, и рассказ!" – долго думал Кузьма после этого вечера. – А погода портилась. Писать не хотелось, тоска усиливалась. Только и радости, что явится кто-нибудь с просьбой. Приезжал несколько раз Гололобый из Басова, – совершенно лысый мужик в огромной шапке, – писать прошение на свата, переломившего ему ключицу. Приходила вдова Бутылочка с Мыса – писать письма к сыну, вся в лохмотьях, вся мокрая и ледяная от дождя. Начнет диктовать, – в слезы.

– Город Серьпухов, при дворянской бане, дом Желтухин...

И заплачет,

– Ну? – спрашивает Кузьма, скорбно кося брови, по-стариковски глядя на Бутылочку поверх пенсне. – Ну, написал. Дальше что?

– Дальше-то? – спрашивает Бутылочка шепотом и, стараясь овладеть голосом, продолжает:

– Дальше-то пиши, касатик, покладнее... Передать, значит, Михал Назарычу Хлусову... в собственные руки...

И продолжает – то с остановками, то совсем без остановок:

– Письмо милому и дорогому сыночку нашему Мише, что же ты, Миша, про нас забыл, никакого слуху нету от вас... Ты сам знаешь, мы на хватере, а теперича нас сгоняют долой, куда ж мы теперича денемся... Дорогой наш сыночек Миша, просим мы вас за ради господа бога, чтоб вы приезжали домой как ни можно скорей...

И опять сквозь слезы шепотом:

– Мы тут с вами хоть землянку выкопаем, и то будем у своем угле...

Бури и ледяные ливни, дни, похожие на сумерки, грязь в усадьбе, усеянная мелкой желтой листвой акаций, необозримые пашни и озими вокруг Дурновки и без конца идущие над ними тучи опять томили ненавистью к этой проклятой стране, где восемь месяцев метели, а четыре дожди, где за нуждой приходится идти на варок или в вишенник. Когда завернуло ненастье, пришлось гостиную забить наглухо и перебраться в зал, чтоб уже всю зиму и ночевать в нем, и обедать, и курить, и проводить долгие вечера за тусклой кухонной лампочкой, шагая из угла в угол в картузе и чуйке, едва спасавших от холода и ветра, дувшего в щели. Иногда оказывалось, что забыли запасть керосином, и Кузьма проводил сумерки без огня, а вечером зажигал какой-нибудь огарок только для того, чтобы поужинать картофельной похлебкой и теплой пшенной кашей, что молча, с строгим лицом подавала Молодая.

"Куда бы поехать?" – думал он порою.

Соседей поблизости было всего только трое: старуха-княжна Шахова, которая не принимала даже предводителя дворянства, считая его невоспитанным; отставной жандарм Закржевский, геморроидально-злой человек, который и на порог не пустил бы к себе; и, наконец, мелкопоместный дворянин Басов, живший в избе, женившийся на простой бабе, говорившей только о хомутах и скотине. Отец Петр, священник из Колодезей, куда Дурновка была приходом, посетил раз Кузьму, но вести знакомство не возымел охоты ни тот, ни другой. Кузьма угостил священника только чаем – священник резко и неловко захохотал, увидав на столе самовар. "Самоварчик? Отлично! Вы, я вижу, не тароваты на угощенье!" И хохот совсем не шел к нему: точно другой кто-то хохотал за этого высокого, худого человека с большими лопатками и черными крупными волосами, с бегающим взглядом.

Не часто бывал Кузьма и у брата. А тот приезжал только тогда, когда был чем-нибудь расстроен. И одиночество было так безнадежно, что порою Кузьма называл себя Дрейфусом на Чертовом острове. Сравнивал он себя и с Серым. Ах, ведь и он, подобно Серому, нищ, слабovolен, всю жизнь ждал каких-то счастливых дней для работы!

По первому снегу Серый куда-то ушел и пропадал с неделю. Явился домой сумрачный.

– Ай опять к Русанову ходил? – спросили соседи.

– Ходил, – ответил Серый.

– Зачем?

– Уговаривали наняться.

– Так. Не согласился?

– Дурей их не был да до веку и не буду!

И Серый, не снимая шапки, опять надолго засел на лавку. И в сумерки тоскливо становилось на душе при взгляде на его избу. В сумерки за широким снежным логом скучно чернела Дурновка, ее риги и лозинки на задворках. Но темнело и – загорались огоньки, казалось, что в избах мирно, уютно. И неприятно чернела только темная изба Серого. Она была глуха, мертва.

Кузьма уже знал: если войдешь в ее темные полураскрытые сени, почувствуешь себя на пороге почти звериного жилья – пахнет снегом, в дыры крыши видно сумрачное небо, ветер шуршит навозом и хворостом, кое-как накиданным на стропила; найдешь ощупью покосившуюся стену и отворишь дверь, встретишь холод, тьму, чуть мерцающее во тьме мерзлое окошечко... Никого не видно, но угадываешь: хозяин на лавке, – угольком краснеет его трубка; хозяйка, – смиренная, молчаливая, с придурью баба, – тихонько покачивает повизгивающую люльку, где болтается бледный, сонный от голода рахитик. Детишки забились на чуть теплую печку и что-то шепотом рассказывают друг другу. В гнилой соломе под нарами шуршат, возятся коза и поросенок, – большие друзья. Страшно разогнуться, чтобы не удариться головой в потолок. Повертываешься тоже с опаской: от порога до противоположной стены всего пять шагов.

– Кто-й-то? – раздается из темноты негромкий голос.

– Я.

– Никак, Кузьма Ильич?

– Он самый.

Серый подвигается, опрастывает место на лавке. Кузьма садится, закуривает. Понемногу начинается разговор. Угнетенный темнотой, Серый прост, грустен, сознается в своих слабостях. Голос его порою дрожит...

Зима наступила долгая, снежная.

Бледно-белеющие под синевато-сумрачным небом поля стали шире, просторней и еще пустыннее. Избы, пуньки, лозины, риги резко выделялись на первых порогах. Потом завернули вьюги и намели, навалили столько снега, что деревня приняла дикий северный вид, стала чернеть только дверями да окошечками, еле выглядывающими из-под нахлобученных белых шапок, из белой толщи завалинок. За вьюгами подули по затвердевшему серому насту полей жесткие ветры, оборвали последние коричневые листья с бесприютных дубовых кустарников в логах, рошел тонуть в непролазных наносах, испещренных заячьими следами, однодворец Тарас Миляев, спокон веку приверженный охоте, превратился в мерзлые глыбы водовозки, выросли ледяные скользкие бугры вокруг прорубей, накатались дороги по сугробам – и зимние будни установились. Начались по деревне повальные болезни: оспа, горячка, скарлатина... Вокруг прорубей, из которых пила вся Дурновка, над вонючей темно-бутылочной водой, по целым дням стояли, согнувшись и подоткнув юбки выше сизых голых колен, в мокрых лаптях, с большими, закутанными головами, бабы. Они вытаскивали из чугунов с золою свои серые замашные рубахи, мужицкие тяжевые портки, детские загаженные свивальники, полоскали их, били вальками и перекликались, сообщая друг другу, что руки "зашлись с пару", что во дворе у Матютиных помирает в горячке бабка, что у снохи Якова завалило горло... Смеркалось часа в три, лохматые собаки сидели на крышах, почти сровнявшихся с сугробами. Ни единая душа не знала, чем питаются эти собаки. Однако они были живы и даже свирепы.

Просыпались в усадьбе рано. На рассвете, в синеватой темноте, когда зажигались по избам огоньки, затопливались печи и сквозь застрехи медленно шел густой молочный дым, а во флигеле с замерзшими серыми окнами становилось холодно, как в сенцах, Кузьму будил стук дверей и шуршанье мерзлой, со снегом, соломы, которую таскал из розвальней Кошель. Слышался его негромкий сиплый голос, – голос человека, проснувшегося рано, натошак озябшего. Гремела трубой самовара и строгим шепотом переговаривалась с Кошелем Молодая. Она спала не в людской, где тараканы до крови обтачивали руки и ноги, а в прихожей, и вся деревня была убеждена, что это неспроста. Деревня хорошо знала, что пережила Молодая за осень. Молчаливая Молодая была строже и печальнее схимницы. Но что с того? Кузьма уже знал от Однодворки, что говорили на деревне, и, просыпаясь, всегда вспоминал об этом со стыдом и отвращением. Он стучал кулаком в стену, давая знать, что ждет самовара, и, кряхтя, закуривал сигарку: это успокаивало сердце, облегчало грудь. Он лежал под тулупом и, не решаясь расстаться с теплом, курил и думал: "Бесстыжий народ! Ведь у меня дочь ровесница ей..." То, что за стеной ночевала молодая женщина, волновало его только отеческой нежностью, днем она была серьезна, скупа на слова, когда спала, было в ней что-то детское, грустное, одинокое. Но разве деревня могла верить этой нежности? Не верил даже Тихон Ильич: что-то уж очень странно усмехался он порою. Он и всегда-то был недоверчив, подозрителен, груб в своих подозрениях, а теперь и совсем потерял ум: что ему ни скажи, – у него на все один ответ.

– Слышал, Тихон Ильич? Закржевский, говорят, от катара помирает: в Орел повезли.

– Брехня. Знаем мы этот катар!

– Да мне фельдшер говорил.

– А ты слушай его побольше...

– Хочу газетку выписать, – скажешь ему. – Дай мне, пожалуйста, в счет жалованья рублей десять.

– Гм! Охота же человеку брехней голову забивать. Да, признаться, со мной и денег-то всего пятиалтынный, не то двугривенный...

Войдет Молодая с опущенными ресницами:

– Муки, Тихон Ильич, у нас осталось чуть...

– Это как же так – чуть? Ой, брешешь, баба!

И перекосит брови. А доказывая, что муки должно было хватить, по крайней мере, еще дня на два на три, все быстро поглядывает то на Кузьму, то на Молодую. Раз; даже спросил, усмехнувшись:

– А как спать-то вам, – ничего, тепло?

И Молодая густо покраснела и, нагнув голову, вышла, а у Кузьмы от стыда и злобы похолодели пальцы.

– Стыдно, брат, Тихон Ильич, – пробормотал он, отвертываясь к окну. – И особенно после того, что ты сам же открыл мне...

– А чего ж она покраснела? – зло, смущенно и неловко улыбаясь, спросил Тихон Ильич.

По утрам неприятнее всего было умываться. В прихожей несло морозом от соломы, плавал, как битое стекло, лед в рукомойнике. Кузьма порой принимался за чай, вымыв только руки, и со сна казался совсем стариком. От нечистоты и холода он сильно похудел и поседел за осень... Похудели руки, кожа на них стала тоньше, глянцеви́тее, покрылась какими-то мелкими лиловыми пятнышками.

Утро было серое. Под затвердевшим серым снегом серой была и деревня. Серыми мерзлыми лубками висело на перекладинах под крышами пунек белье. Намерзло возле изб – лили помои, выкидывали золу. Оборванные мальчишки спешили по улице между избами и пуньками; в школу, взбегали на сугробы, скатывались с них на лаптях; на всех были холщовые мешки с грифельными досками и с хлебом. Навстречу им, приседая под коромыслом с двумя ушатами и неловко ступая безобразными задубеневшими валенками, обшитыми свиной кожей, шел в одном армячишке старый, больной, темнолицый Чугунок; тянулась с бугра на бугор и, раскатываясь, расплескивалась чья-нибудь заткнутая соломой водовозка; проходили бабы, занимавшие друг у друга то соли, то пшеница, то совок мучицы на лепешки или саламату. На гумнах было пусто, – только у Якова дымились ворота риги: он, подражая богатым мужикам, молотил зимою. А за гумнами, за голым лозняком на задворках, расстилалось под низким белесым небом серое снежное поле, пустыня волнообразного наста.

Порой Кузьма ходил завтракать к Кошелю в людскую – горячими, как огонь, картошками или вчерашними кислыми щами. Он вспоминал город, где прожил всю жизнь и дивился: совсем не тянуло его туда. У Тихона город был заветной мечтой, он презирал и ненавидел деревню всей душой. Кузьма только силился ненавидеть. Он теперь с еще большим страхом, чем прежде, оглядывался на свое существование: он совсем одичал в Дурновке, – часто не умывался, весь день не снимал чуйки, хлебал из одной миски с Кошелем. Но хуже всего было то, что, страшась своего существования, которое старило его не по дням, а по часам, он чувствовал, что оно все-таки приятно ему, что он, кажется, возвратился в ту именно колею, какая, может быть, и надлежала ему от рождения: недаром, видно, текла в нем кровь дурновцев!

После завтрака он гулял иногда по усадьбе или по деревне. Бывал на гумне у Якова, в избе у Серого или Кошеля, старуха которого жила одна, слыла колдуньей, была высока и страшно худая, зубаста, как смерть, говорила грубо и решительно, как мужик курила трубку: истопит печку, сядет на нары и покуривает себе, мотая тонкой длинной ногой в тяжелом черном лапте. Раза два за весь пост Кузьма выезжал – был на почте и у брата. И поездки эти были тяжелы: промерззал Кузьма до того, что не чувствовал, есть у него тело или нет. Бараний тулуп его служил так давно, что весь пошел лысыми. А ветер в поле был свирепый. После сидения в Дурновке нельзя было надыхаться крепкой свежестью зимнего воздуха. После долгого созерцания деревни поражал снежно-серый простор, по-зимнему синеющие дали казались неоглядными, красивыми, как на

картине. Бодро, отфыркиваясь, неслась против жесткого ветра лошадь, смерзшиеся глудки со стуком летели из-под кованых копыт и передок саней. Кошель, с черно-лиловой обмороженной щекой, бодро крихтя, соскакивал с облучка на раскатах и на бегу боком вскакивал на него. Но ветер продувал насквозь, ноги, поставленные в солому, перебитую со снегом, ныли и коченели, лоб и скулы ломило... А в низенькой почтовой конторе в Ульяновке было скучно так, как может быть скучно только в захолустных казенных местах. Пахло плесенью, сургучом, оборванный почтальон стучал штемпелем, угрюмый Сахатров орал на мужиков, сердясь, что Кузьма не догадывается прислать ему пяток кур или пуд муки. Возле дома Тихона Ильича волновал запах паровозного дыма, напоминал, что есть на свете города, люди, газеты, новости. Поговорить с братом, отдохнуть у него, согреться было бы приятно. Но разговор не налаживался. Брата поминутно отрывали в лавку, по хозяйству, говорил он тоже только о хозяйстве, о брехне, о подлости и злобе мужиков, – о необходимости поскорее, поскорее развязаться с имением. Настасья Петровна была жалка. Она, видимо, стала страшно бояться мужа; невпопад встревала в беседу, невпопад хвалила его, – его ум, зоркий хозяйский глаз, то, что он по хозяйству во все, во все вникает сам.

– Уж такой доступный до всего, такой доступный! – говорила она – и Тихон Ильич грубо обрезал ее. Через час такой беседы Кузьму начинало тянуть домой, в усадьбу.

"Он рехнулся, ей-ей, рехнулся!" – бормотал Кузьма на пути домой, вспоминая угрюмое и злое лицо Тихона, его замкнутость, подозрительность и утомительное повторение одного и того же. И покрикивал на Кошеля, на лошадь, торопясь скрыть в своем домишке и тоску свою, и старую холодную одежду...

На святках к Кузьме повадился Иванушка из Басова. Это был старозаветный мужик, ошалевший от долголетия, некогда славившийся медвежьей силой, коренастый, согнутый в дугу, никогда не подымавший лохматой бурой головы, ходивший носками внутрь. В холеру девяносто второго года вся огромная семья Иванушки вымерла. Уцелел только сын, солдат, служивший теперь будочником на чугунке, недалеко от Дурновки. Можно было дожить век у сына, но Иванушка предпочел бродить, побираться. Ош косолапо шел по двору с палкой и шапкой в левой руке с мешком в правой, с раскрытой головой, на которой белел снег – и овчарки почему-то не брехали на него. Он входил в дом, бормотал: "Дай бог дому сему да хозяина в дому", – и садился у стены на пол. Кузьма отрывался от книги и с удивлением, с робостью смотрел на него поверх пенсне, как на какого-то степного зверя, присутствие которого было странно в комнате. Молча, с опущенными ресницами, с легкой ласковой улыбкой, мягко ступая лаптями, появлялась Молодая, подавала Иванушке миску вареных картошек и целую краюху хлеба, серую от соли и становилась у притолки. Она носила лапти, в плечах была плотна, широка, и красивое поблекшее лицо ее было так крестьянски-просто и старинно, что, казалось, иначе и не могла она называть Иванушку, как дедушкой. И она улыбаясь, – она улыбалась только ему одному, – негромко говорила:

– Закуси, закуси, дедушка.

А он, не поднимая головы, зная ее ласку только по голосу, тихо ныл в ответ, иногда бормотал: "Спаси тебе господь, внучка", широко и неловко, точно лапой, крестился и жадно принимался за еду. На его бурых волосах, нечеловечески густых и крупных, таяло, С лаптей текло по полу. От ветхого, бурого чекменя, надетого на грязную посконную рубаху, пахло курной избой. Изуродованные долголетней работой руки, корявые негнущиеся пальцы с трудом ловили картошки.

– Небось холодно в одном чекмене-то? – громко спрашивал Кузьма.

– Ась? – слабым нытьем отозвался Иванушка, подставляя закрытое волосами ухо.

– Холодно тебе небось? Иванушка думал.

– Чем холодно? – отвечал он с расстановкой. – Ничаво ня холодно... В старину куда стюдяней было.

– Подними голову-то, волосы-то поправь!

Иванушка медленно качал головою.

– Таперь, брат, не подынешь... Гнеть к земле-то...

И с тусклой улыбкой силился поднять свое страшное, заросшее волосами лицо, свои крохотные, сощуренные глазки.

Наевшись, он вздыхал, крестился, собирал и дожевывал крошки с колен; потом шарил возле себя – искал мешок, палку и шапку, а найдя и успокоившись, начинал неторопливую беседу.

Он мог просидеть молча весь день, но Кузьма и Молодая расспрашивали – и он, как во сне, откуда-то издалека, отвечал. Он рассказывал своим неуклюжим старинным языком, что царь, говорят, весь из золота, что рыбу царь не может есть – "дюже солоня", что пророк Илья раз проломил небо и упал на землю: "дюже был грузен"; что Иван Креститель родился лохматый, как баран, и, крестя, бил крестника костылем железным в голову, чтобы тот «очухался»; что всякая лошадь раз в году, в день Флора и Лавра, норовит человека убить; рассказывал, что в старину ржи были такие, что уж не мог проползти, что косили прежде в день по две десятины на брата; что у него был мерин, которого держали "на чеши" – так силен и страшен был он; что однажды, лет шестьдесят тому назад, у него, у Иванушки, украли такую дугу, за которую он двух целковых не взял бы... Он был твердо убежден, что семья его вымерла не от холеры, а оттого, что перешла после пожара в новую избу, ночевала в ней, не дав сперва переночевать кочету, и что он с сыном спасся только случайно: спал в риге... Под вечер Иванушка поднимался и уходил, не обращая внимания ни на какую погоду; склоняясь ни на какие увещания остаться до утра... И студился насмерть – и под крещение скончался в будке сына. Сын уговаривал его причаститься. Иванушка не согласился: сказал, что, причастившись, помрешь, а смерти он твердо решил "не поддаваться". Он по целым дням лежал без памяти; но даже и в бреду просил невестку сказать, что его дома нет, если постучится смерть. Ночью он пришел в себя, собрал силы, слез с печи и стал на колени перед образом, озаренным лампадкой. Он тяжело вздыхал, долго бормотал, повторял: "Господи-батюшка, прости мои прегрешения..." Потом задумался, долго молчал, прикинув головою к полу. И вдруг поднялся и твердо сказа "Не, не поддамся!" Но утром увидал, что невестка разваливает пироги, жарко топит печь...

– Ай мне на похороны? – спросил он дрогнувшим голосом.

Невестка промолчала. Он опять собрал силы, опять слез с печи, вышел в сенцы: да, верно, – у стены стоймя стоял громадный лиловый гроб с белыми восьмиконечными крестами! Тогда он вспомнил, что было лет тридцать тому назад с соседом, стариком Лукьяном: Лукьян захворал, ему купили гроб – тоже хороший, дорогой гроб, привезли из города муки, водки, соленого судака; а он возьми да и поправься. Куда было девать гроб? Чем оправдать траты? Лукьяна лет пять проклинали потом за них, сживали попреками со свету... Иванушка, вспомнил это, поник головой и покорно побрел в избу. А ночью, лежа на спине без памяти, стал дрожащим, жалобным голосом петь, да все тише, тише – и вдруг затряс коленами, заикал, высоко поднял грудь вздохом и, с пеной на раскрытых бах, застыл...

Чуть не месяц Кузьма пролежал из-за Иванушки в постели. Утром на крещенье говорили, что птица мерзла на лету, а у Кузьмы даже валенок не было. И все-таки он поехал взглянуть на мертвого. Руки его, сложенные и заочневшие под огромной грудью на чистой посконной рубахе, уродованные мозолистыми наростами в течение целых восьмидесяти лет первобытно-тяжкой работы, были так грубы и страшны, что Кузьма поспешил отвернуться.

А на волосы, на мертвое звериное лицо Иванушки он даже и покоситься не мог, – поскорее кинул белый коленкор. Чтобы согреться, он выпил водки и посидел перед жарко пылающей печкой. В будке было тепло и празднично-чисто, над возглавием широкого лилового гроба, закрытого коленкором, мерцал золотистый огонек восковой свечки, прилепленной к угловому темно-му образу, пестрела яркими красками лубочная картина – продажа братьями Иосифа. Приветливая солдатка легко поднимала на рогаче и вдвигала в печь пудовые чугуны, весело говорила о казенных дровах и все упрашивала остаться до возвращения из села мужа. Но Кузьму была лихорадка; лицо горело, от водки, отравой разлившейся по озябшему телу, стали наворачиваться на глаза беспричинные слезы... И, не согревшись, Кузьма поехал по белым крепким волнам полей к Тихону Ильичу. Заиндевевший, бело-кудрявый мерин бежал шибко, екая селезенкой, кидая из ноздрей столбы серого пара; козырьки голосили, звонко визжали железными подрезами по жесткому снегу; сзади, в морозных кругах, желтело низкое солнце; спереди, с севера, несло жгучим, захватывающим дух ветром; вешки клонились в густом кудрявом инее, и крупные серые овсянки стаей летели перед мерином, рассыпались по лоснящейся дороге, клевали мерзлый навоз, опять взлетали и опять рассыпались. Кузьма глядел на них сквозь тяжелые, белые ресницы, чувствовал, что задеревеневшее лицо его с белыми кудрями усов и бороды стало похоже на святочную маску... Солнце садилось, снежные волны мертвенно зеленели в оранжевом блеске, от их хребтов и зазубрин тянулись голубые тени... Кузьма круто повернул лошадь и погнал ее назад, домой. Солнце село, в доме с запущенными серыми стеклами брезжил тусклый

свет, стояли сизые сумерки, было нелюдимо и холодно. Снегирь, висевший в клетке возле окна в сад, окошел, лежал вверх лапками, распушив перья, раздув красный зобик.

– Готов! – сказал Кузьма и понес снегиря выкидывать.

Дурновкау занесенная мерзлыми снегами, такая далекая всему миру в этот печальный вечер среди степной зимы, вдруг ужаснула его. Конечно! Горящая голова мутна и тяжела, он сейчас ляжет и больше не встанет... Скрипя по снегу лаптями, к крыльцу подходила с ведром в руке Молодая.

– Заболел я, Дунюшка! – ласково сказал Кузьма, в надежде услышать от нее ласковое слово. Но Молодая равнодушно, сухо ответила: – Самовар, что ль, поставить?

И даже не спросила, чем заболел. Не спросила ниче и об Иванушке... Кузьма вернулся в темную комнату весь дрожа, со страхом соображая, как же это и куда о будет ходить теперь за нуждой, лет на диван... И вечера смешались с ночами, ночи с днями, счет их потерялся...

В первую ночь, часа в три, он очнулся и постучал стену кулаком, чтобы попросить воды: мучила во сне жажда и мысль, выкинули ли снегиря. Но на стук никто не отозвался. Молодая ушла ночевать в людскую. И Кузьма вспомнил, почувствовал, что он смертельно болен, и его охватила такая тоска, точно он очнулся в склепе. Значит в прихожей, пахнувшей снегом, соломой и хомутами, было пусто! Значит, он, больной и беспомощный, совсем один в этом темном ледяном домишке, где тускло сереют окна среди мертвой тишины бесконечной зимней ночи и висит ненужная клетка!

– Господи, спаси и помилуй, господи, помоги хоть сколько-нибудь, – зашептал он, поднимаясь и шаря дрожащими руками по карманам.

Он хотел зажечь спичку. Но шепот его был горячечный, в пылающей голове шумело и звенело, руки, не леденели... Приехала Клаша, его родная, милая дочь, быстро распахнула дверь, положила его голову на подушку, села на стул возле дивана... Одетая она была барышней, – бархатная шубка, шапочка и муфта из белого меха, – руки ее пахли духами, глаза блестели, щеки с мороза покраснелись... "Ах, как хорошо распуталось все!" – шептал кто то, но нехорошо было то, что Клаша почему-то не зажигает огня, что приехала она не к нему, а на похороны Иванушки... что она внезапно басом запела под гитару: "Хазбулат удалой, бедна сакля твоя..."

В смертельной тоске, отравлявшей душу в начале болезни, Кузьма бредил снегирем, Клашей, Воронежем, и даже в бреду не покидала его мысль – сказать кому-нибудь чтобы хоть в одном сжалились над ним – не хоронили в Колодезях. Но, боже мой, не безумие ли надеяться на жалость в Дурновке! Раз он пришел в себя утром, когда топили печку, – и простые, спокойные голоса Кошеля и Молодой показались ему так беспощадны, чужды и странны, как всегда кажется беспощадна чужда и странна больным обыденная жизнь здоровых. Он хотел крикнуть, попросить поставить самовар – и онемел: послышался сердитый шепот Кошеля, говорившего, конечно, о нем, о больном, отрывистый ответ Молодой:

– А, да ну его! Помрет – похоронят...

Потом светило в окна, сквозь голые ветви акаций, предвечернее солнце, Синел табачный дым. Возле постели сидел старичок-фельдшер, пахнувший лекарством и морозной свежестью, отдиравший с усов ледяные сосульки. На столе кипел самовар, и Тихон Ильич, высокий, седой, строгий, заваривал, стоя у стола, душистый чай. Фельдшер говорил о своих коровах, ценах на муку и масло, а Тихон Ильич рассказывал, как чудесно, богато хоронили Настасью Петровну, как он рад, что нашелся наконец покупатель на Дурновку. Кузьма понимал, что Тихон Ильич только что из города, что Настасья Петровна умерла там внезапно, по дороге на вокзал; понимал, что стоили Тихону Ильичу похороны страшно дорого и что он уже взял задаток за Дурновку – и был совершенно равнодушен...

Проснувшись однажды очень поздно, чувствуя лишь слабость, он сел за самовар. День был пасмурный, теплый, навалило много свежего снега. Отпечатывая в нем следы лаптей, испещренные крестиками, прошел под окном Серый. Вокруг него, обнюхивая его рваные полы, бежали овчарки. А он тянул за повод высокую грязно-соловую лошадь, безобразную от старости и худобы, с истертыми хомутом плечами, с побитой спиной, с жидким нечистым хвостом. Она ковыляла на трех ногах, четвертую, переломленную ниже колена, волочила. И Кузьма вспомнил, что третьего дня был Тихон Ильич и сказал, что велел Серому полакомить овчарок, – найти и зарезать старую лошадь, что Серый и прежде промышлял иногда этим делом – покупкой дохлой или негодной скотины на шкуру. С Серым, говорил Тихон Ильич, был недавно страшный случай:

готовясь резать какую-то кобылу, Серый забыл ее спутать, связал и затянул на сторону только морду, – и кобыла, как только он, перекрестившись, ударил ее тонким ножичком в жилу возле ключицы, взвизгнула и, с визгом, желтыми, оскаленными от боли и ярости зубами, с бьющей на снег струей черной крови, кинулась на своего убийцу и долго, как человек, гонялась за ним – и настигла бы, да "спасибо, снег был глубок"... Кузьму так поразил этот случай, что теперь, заглянув в окно, он опять почувствовал тяжесть в ногах. Он стал глотать горячий чай – и понемногу оправился. Покурил, посидел... Наконец встал, шел в прихожую и взглянул на голый, редкий сад за оттаявшим окном: в саду, на белоснежном покрове поля краснела бокастая кровавая туша с длинной шеей и ободранной головою; собаки, сгорбившись и упершись лапами в мясо, жадно вырывали и растягивали кишки; два старых черно-сизых ворона боком подпрыгивали к голове, взлетали, когда собаки, рыча, кидались на них, и опять спускались на девственно-чистый снег. "Иванушка, Серый, вороны... – подумал Кузьма" – Господи, спаси и помилуй, вынеси меня отсюда!"

Недомогание не покидало Кузьму еще долго. Грустно и радостно трогала мысль о весне, хотелось поскорее вон из Дурновки. Он знал, что зиме еще и конца не предвидится; но оттепели уже начинались. Первая неделя февраля была темная, туманная. Туман скрывал поля, съедал снег. Деревня чернела, между грязными сугробами стоял вода; становой проехал однажды по деревне гуськом, весь закиданный конским пометом. Пели петухи, из вентилятора тянуло волнующей весенней сыростью... Жить еще хотелось – жить, ждать весны, переезда в город, жить покоряясь судьбе, и делать какое угодно дело, хотя бы за один кусок хлеба... И, конечно, у брата, – какой он есть. Брат ведь уже предлагал ему, больному, переселиться на Воргол.

– Куда ж мне гнать-то тебя, – сказал он, подумав. – Я и лавку с двором с первого марта передаю, – поедем братуша, в город, подальше от этих живорезов!

И правда: живорезы. Была Одноворка и передавал подробности недавней истории с Серым. Дениска вернулся из Тулы и околачивался без дела, болтая по деревне, хочет жениться, что у него есть денежки и что скоро за живет он за первый сорт. Деревня сперва называла эти рассказы брехнею, потом, по намекам Дениски, сообразила, в чем дело, и поверила. Поверил и Серый и стал заискивать в сыне. Но, ободрав лошадь, получив от целковый Тихона Ильича и нажив полтинник на шкуре, загордел и загулял: пил два дня, потерял трубку и лег отлеживаться на печке. Голова болела, покурить было не из чего. Вот он и стал обдирать на сигарки потолок, который Денис оклеивал газетами и разными картинками. Обдирал конечно, тайком, но раз таки застал его Дениска за этим делом. Застал и заорал. Серый с похмелья тоже заорал – и Дениска стащил его с печки и бил смертным боем до тех пор, покуда не сбежались соседи... Но, думал Кузьма, не живорез ли и Тихон Ильич, с упорством сумасшедшего настаивавший на свадьбе Молодой с одним из этих живорезов!

Услышав об этой свадьбе впервые, Кузьма твердо решил, что не допустит ее. Какой ужас, какая нелепость! Потом, приходя в себя во время болезни, он даже радовался этой нелепости. Удивило и поразило его равнодушие Молодой к нему, больному. "Зверь, дикарь! – думал он и, вспоминая о свадьбе, злобно прибавлял: – И отлично! Так ей и надо!" Теперь, после болезни, исчезли и решимость и злоба. Как-то заговорил он с Молодой о намерении Тихона Ильича – и она спокойно ответила:

– Да что ж, я уж балакала с Тихоном Ильичом об этом деле. Дай бог ему доброго здоровья, это он хорошо придумал.

– Хорошо? – изумился Кузьма.

Молодая посмотрела на него и покачала головою:

– Да как же не хорошо-то? Чудны вы, ей-богу, Кузьма Ильич! Денег сулит, свадьбу берет на себя... Опять же не вдовца какого-нибудь придумал, а малого молодого, без порока... не гнилого, не пьяницу...

– А лодыря, драчуна, дурака набитого, – прибавил Кузьма.

Молодая потупила глаза, помолчала. Вздохнула и, повернувшись, пошла к двери.

– Да как знаете, – сказала она с дрожью в голосе. – Дело ваше... Отговаривайте... Бог с вами. Кузьма широко раскрыл глаза и крикнул:

– Стой, да ты с ума сошла! Разве я тебе зла желаю? Молодая обернулась и остановилась.

– А разве не зла? – горячо и грубо заговорила она, краснея и блестя глазами. – Куда ж, по-вашему, мне деваться? Век чужие пороги обивать? Чужую корку глодать? Бездомной побируш-

кой шататься? Ай вдовца, старика искать? Мало я слез-то поглотала?

И голос ее сорвался. Она заплакала и вышла. Вечером Кузьма убедил ее, что он и не думал расстраивать дела, и она наконец поверила, ласково и застенчиво усмехнулась.

– Ну, спасибо вам, – сказала она тем милым тоном каким говорила с Иванушкой.

Но и тут на ресницах ее задрожали слезы – и опять развел руками Кузьма.

– А теперь-то ты о чем? – сказал он.

И Молодая тихо ответила:

– Да авось и Дениска не радость...

Кошель привез с почты газету почти за полтора месяца. Дни стояли темные, туманные, и Кузьма с утра до вечера читал, сидя у окна. И, кончив, ошеломив себя числом новых "террористических актов" и казней, оцепенел. Косо неслась белая крупа, падая на черную нищую деревушку, на ухабистые, грязные дороги, на конский навоз, лед и воду; сумеречный туман скрывал поля...

– Авдотья! – крикнул Кузьма, поднимаясь с места. – Скажи Кошелю – лошадь в козырьки запречь!

Тихон Ильич был дома. Он сидел за самоваром, в одной ситцевой косоворотке, смуглый, с белой бородой, с насупленными серыми бровями, большой и сильный, и заваривал чай.

– А! братуша! – приветливо воскликнул он, не раздвигая бровей. – Вылез на свет божий? Смотри, не рано ли?

– Уж очень соскучился, брат, – ответил Кузьма, целуясь с ним.

– Ну, а соскучился, давай греться и балакать...

Распросив друг друга, нет ли новостей, стали молча пить чай, потом закурили.

– Очень ты похудел, братуша! – сказал Тихон Ильич, затягиваясь и исподлобья глядя па Кузьму.

– Похудеешь, – ответил Кузьма тихо. – Ты не читаешь газет?

Тихон Ильич усмехнулся.

– Брехню-то эту? Нет, бог милует.

– Сколько казней, если бы ты знал!

– Казней? Поделом... Ты не слыхал, что под Ельцом то было? На хуторе братьев Быковых?.. Помнишь небось, – картавые-то?.. Сидят эти Быковы, не хуже нас с тобою, этак вечерком, играют в шашки... Вдруг – что такое? Топот на крыльце, крик: "Отворяй!" И не успели, братец ты мой, эти самые Быковы глазом моргнуть – вваливается ихний работник, мужачинка на манер Серого, а за ним – два архаровца какие-то, золоторотцы, короче сказать... И все с ломami. Подняли ломы да как заорут: "Руки вверх, мать вашу так!" Быковы, конечно, перепугались не на живот, а на смерть, вскочили, кричат: "Да что такое?" А мужичишка свое: вверх да вверх!

И Тихон Ильич сумрачно улыбнулся и, задумавшись, смолк:

– Да договаривай же, – сказал Кузьма.

– Да и договаривать-то нечего... Подняли, конечно, руки и спрашивают: "Да что вам надо-то?" – "Ветчину подавай! Где ключи у тебя?" – "Да сукин сын! Тебе ли не знать? Да вот они, на притолке на гвоздике висят..."

– Это с поднятыми-то руками? – перебил Кузьма.

– Конечно, с поднятыми... Ну, да и всыпят им теперь за эти руки! Удавят, конечно. Они уж в остроге, голубчики...

– Это за ветчину-то удавят?

– Нет, за транду, прости ты, господи, мое согрешение, – полусердито, полушутливо отозвался Тихон Ильич. – Будет тебе, ей-богу, ерепениться-то, Балашкина из себя корчить! Пора бросать...

Кузьма потерял свою серенькую бородку. Измученное, худое лицо его, скорбные глаза, косо поднятая левая бровь отражались в зеркале, и, поглядев на себя, он тихо согласился:

– Ерепениться-то? Верно, что пора... давно пора...

И Тихон Ильич перевел разговор на дела. Видимо, он и задумался-то давеча, среди рассказа, только потому, что вспомнил что-то гораздо более важное, чем казни, – какое-то дело.

– Вот я уж сказал Дениске, чтобы он как ни можно скорее кончал эту музыку, – твердо, четко и строго заговорил он, из горсти подсыпая в чайник чаю. – И прошу тебя, братуша, – прими ты участие в ней, в музыке-то этой. Мне, понимаешь, неловко. А после того перебирайся сю-

да. Гарао, братуша, будет! Раз мы уж порешили раскассировать все вдребезги, сидеть тебе там без толку нечего, только расходы двойные. И, переехавши, запрягайся со мной рядом. Свалим с плеч обузу, доберемся, бог даст, до города, – за ссыпку примемся. Тут, в этой яруге, не развернешься. Отрясем от ног прах ее, – и хоть в тартарары провались она. Не погибать же в ней! У меня, имей в вида – сказал он, сдвигая брови, протягивая руки и стискивал кулаки, – у меня еще не вывернешься, мне еще рано, на печи-то лежать! Черту рога сломлю!

Кузьма слушал, почти со страхом глядя в его остановившиеся, сумасшедшие глаза, в его косивший рот, хищно чеканивший слова, – слушал и молчал. Потом спросил:

– Брат, скажи ты мне за ради Христа, какая у тебя корысть в этой свадьбе? Не пойму, бог свидетель, не пойму. Дениску твоего я прямо видеть не Могу. Этот новенький типик, новая Русь, почище всех старых будет. Ты не смотри, что он стыдлив, сентиментален и дурачком прикидывается, – это такое циничное животное! Рассказывает про меня, что я с Молодой живу...

– Ну, уж ты ни в чем меры не знаешь, – нахмуриваясь, перебил Тихон Ильич. – Сам же долбишь: несчастный народ, несчастный народ! А теперь – животное!

– Да, долблю и буду долбить! – горячо подхватил Кузьма. – Но у меня ум за разум зашел! Ничего теперь не понимаю: не то несчастный, не то... Да ты послушай: ведь ты же сам его, Дениску-то, ненавидишь! Вы оба ненавидите друг друга! Он про тебя иначе и не говорит, как "живорез, в холку народу вьелся", а ты _его_ живорезом ругаешь! Он нагло хвастается на деревне, что теперь он – кум королю...

– Да знаю я! – опять перебил Тихон Ильич.

– А про Молодую он, знаешь, что говорит? – продолжал Кузьма, не слушая. – У нее, понимаешь, такой нежный, белый цвет лица, а он, животное, знаешь, что говорит? "Чисто кафельная, сволочь!" Да наконец пойми ты одно: ведь он не будет жить в деревне, его, бродягу, теперь арканом в деревне не удержишь. Какой он хозяин, какой семьянин? Вчера, слышу, идет по деревне и поет блядским голоском: "Прикрасна, как андел небесный, как деман коварна и зла..."

– Знаю! – крикнул Тихон Ильич. – Не будет жить в деревне, ни за что не будет! Ну, и черт с ним! А что он не хозяин, так и мы с тобой хоррши хозяева! Я, помню, об деле тебе говорю, – в трактире-то, помнишь? – а ты перепела слушаешь... Да дальше-то, дальше-то что?

– Как что? И при чем тут перепел? – спросил Кузьма. Тихон Ильич побарабанил пальцами по столу и строго, раздельно отчеканил:

– Имей в виду: воду толочь – вода будет. Слово мое есть свято во веки веков. Раз я сказал – сделаю. За грех мой не свечку поставлю, а сотворю благое. Хоть и лепту одну подам, да за лепту эту попомнит мне господь.

Кузьма вскочил с места.

– Господь, господь! – воскликнул он фальцетом, – Какой там господь у нас! Какой господь может быть у Дейски, у Акимки, у Меньшова, у Серого, у тебя, у меня?

– Постой, – строго спросил Тихон Ильич. – У какого такого Акимки?

– Я вон околевал лежал, – продолжал Кузьма, не слушая, – много я о нем думал-то? Одно думал: ничего о нем не знаю и думать не умею! – крикнул Кузьма. – Не научен!

И, оглядываясь бегающими страдальческими глазами, застегиваясь и расстегиваясь, прошел по комнате и остановился перед самым лицом Тихона Ильича.

– Запомни, брат, – сказал он, и скулы его покраснели. – Запомни: наша с тобой песня спета. И никакие свечи нас с тобой не спасут. Слышишь? Мы – дурновцы!

И, не находя слов от волнения, смолк. Но Тихон Ильич уже опять думал что-то свое и внезапно согласился.

– Верно. Ни к черту не годный народ! Ты подумай только...

И оживился, увлеченный новой мыслью:

– Ты подумай только: пахут целую тысячу лет, да что я – больше! – а пахать путем – то есть ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать! Когда надо сеять, когда косить! "Как люди, так и мы", – только и всего. Заметь! – строго крикнул он, сдвигая брови, как когда-то кричал на него Кузьма. – "Как люди, так и мы!" Хлеба ни единая баба не умеет спечь, – верхняя корка вся к черту отваливается, а под коркой – кислая вода!

И Кузьма опешил. Мысли его спутались.

"Он рехнулся!" – подумал он, бессмысленными глазами следя за братом, зажигающим лам-

пу.

А Тихон Ильич, не давая ему опомниться, с азартом продолжал:

– Народ! Сквернословы, лентяи, лгуны, да такие бесстыжие, что ни единая душа друг другу не верит! Заметь, – заорал он, не видя, что зажженный фитиль полыхает и чуть не до потолка бьет копотью, – не нам, а друг другу! И все они такие, все! – закричал он плачущим голосом и с трестом надел стекло на лампу.

За окнами посинело. На лужи и сугробы летел молодой белый снег. Кузьма смотрел на него и молчал. Разговор принял такой неожиданный оборот, что даже горячность Кузьмы пропала. Не зная, что сказать, не решаясь взглянуть в бешеные глаза брата, он стал свертывать папиросу.

"Рехнулся, – думал он безнадежно. – Да туда и дорога. Все равно!"

Закурил, стал успокаиваться и Тихон Ильич. Сел и, глядя на огонь лампы, тихо забормотал:

– А ты – «Дениска»... Слышал, что Макар Иванович-то, странник-то, наделал? Поймали, с дружкой со своим, бабу на дороге, оттащили в караулку в Ключиках – и четыре дня ходили насиловали ее... поочередно... Ну, теперь в остроге...

– Тихон Ильич, – ласково сказал Кузьма, – что ты городишь? К чему? Ты нездоров, должно быть. Перескакиваешь с одного на другое, сейчас одно утверждаешь, а через минуту другое... Пьешь ты, что ли, много?

Тихон Ильич промолчал. Он только махнул рукою, и в глазах его, устремленных на огонь, задрожали слезы.

– Пьешь? – тихо повторил Кузьма.

– Пью, – тихо ответил Тихон Ильич. – Да запьешь! Ты думаешь, легко мне досталась эта клетка-то золотая? Думаешь, легко было кобелем цепным всю жизнь прожить, да еще со старухой? Ни к кому у меня, братуша, жалости не было... Ну, да и меня не много жалели! Ты думаешь, я не знаю, как меня ненавидят-то? Ты думаешь, не убили бы меня на смерть лютую, кабы попала им, мужичкам-то этим, шлея под хвост, как следует, – кабы повезло им в этой революции-то? погоди, погоди, – будет дело, будет! Зарезали мы их!

– А за ветчину – давить? – спросил Кузьма.

– Ну уж и давить, – отозвался Тихон Ильич страдальчески. – Это ведь я так, к слову пришлось...

– Да ведь удавят!

– А это – не наше дело. Им отвечать всевышнему. И, сдвинув брови, задумался, закрыл глаза.

– Ах! – сокрушенно сказал он с глубоким вздохом. – Ах, брат ты мой милый! Скоро, скоро и нам на суд перед престолом его! Читаю я вот по вечерам требник – и плачу, рыдаю над этой самой книгой. Диву даюсь: как это можно было слова такие сладкие придумать! Да вот, постой...

И он быстро поднялся, достал: из-за зеркала толстую книжку в церковном переплете, дрожащими руками надел очки и со слезами в голосе, торопливо, как бы боясь, что его прервут, стал читать:

– Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду в гробех лежащую по образу божию созданную нашу красоту, безобразну, безгласну, не имущую вида...

– Воистину суета человеческая, житие же – сень и соние. Ибо все мятется всяк земнородный, яко же рече писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, иде же вкупе царие и нищий...

– Царие и нищий! – восторженно-грустно повторил Тихон Ильич и закачал головою. – Пропала жизнь, братуша! Была у меня, понимаешь, стряпуха немая, подарил я ей, дуру, платок заграничный, _она взяла да и истаскала его наизнанку_... Понимаешь? От дури да от жадности. Жалко налицо по будням носить, – праздника, мол, дождусь, – а пришел праздник – лохмотья одни остались... Так вот и я... _с жизнью-то своей_. Истинно так!

Возвращаясь в Дурновку, Кузьма чувствовал только одно – тупую тоску. В тупой тоске прошли и все последние дни его в Дурновке.

Шел снег эти дни, а снегу только и ждали в дворе Серого, чтобы дорога поправилась к свадьбе.

Двенадцатого февраля, перед вечером, в сумраке холодной прихожей произошел негромкий разговор: У печки стояла Молодая, надвинув на лоб желтый с черным горошком платок,

глядя: на свои лапти. У дверей – коротконогий Дениска, без шапки, в тяжелой, с обвислыми плечами поддевке. Он тоже смотрел вниз, на полусапожки с подковками, которые вертел в руках. Полусапожки принадлежали Молодой. Дениска починил их и пришел получить пятак за работу.

– Да у меня нету, – говорила Молодая. – А Кузьма Ильич, никак, заснул. Ты подожди до завтра-то.

– Мне, был, ждать-то нельзя, – певуче и задумчиво ответил Дениска, ковыряя ногтем подковку.

– Ну, как же теперь быть?

Дениска подумал, вздохнул и, тряхнув своими густыми волосами, вдруг поднял голову.

– Ну, что ж языком даром трепать, – громко и решительно сказал он, не глядя на Молодую и пересиливая застенчивость. – Говорил с тобой Тихон Ильич?

– Говорил, – ответила Молодая. – Надоел даже.

– Так я приду сейчас с отцом. Все равно ему, Кузьме-то Ильичу, вставать сейчас, чай пить...

Молодая подумала.

– Дело твое...

Дениска поставил полусапожки на подоконник и, не напоминая больше о деньгах, ушел. А через полчаса на крыльце послышался стук обиваемых от снега лаптей: Дениска вернулся с Серым – и Серый был зачем-то подпоясан по чекменю, по кострецам красной подпояской. Кузьма вышел к ним, Дениска и Серый долго крестились в темный угол, потом тряхнули волосами и подняли лица.

– Сват, не сват, а добрый человек! – не спеша начал Серый необычно-развязным и ладным тоном. – Тебе нареченную дочь отдавать, мне сына женить. По доброму согласию, на ихнее счастье давай речь промеж себя держать.

И степенно, низко поклонился.

Сдерживая болезненную улыбку, Кузьма велел кликнуть Молодую.

– Беги, ищи, – шепотом, как в церкви, приказал Серый Дениске.

– Да я тут, – сказала Молодая, выходя из-за двери, от печки, и поклонилась Серому.

Наступило молчание. Самовар, стоявший на полу и красневший в темноте решеткой, кипел и клокотал. Лиц не было видно.

– Ну, как же, дочка, решай, – усмехаясь, сказал Кузьма.

Молодая подумала.

– Я малого не корю...

– А ты, Денис?

Дениска тоже помолчал.

– Что ж, жениться все равно когда-нибудь надо... Может, бог даст, ничего.

И сваты поздравили друг друга с начатием дела. Самовар унесли в людскую. Однодворка, раньше всех узнавшая новость и прибежавшая с Мыса, зажгла в людской лампочку, послала Кошеля за водкой и подсолнухами, посадила невесту с женихом под икону, налила им чаю, сама села рядом с Серым и, чтобы нарушить неловкость, высока и резко запела, поглядывая на Дениску, на его землистое лицо и большие ресницы:

Как у нас да по садику,
Зеленом виноградину,
Ходил, гулял молодец,
Пригож, бел-белешенен...

На другой день всякий, кто слышал от Серого об этом пире, ухмылялся и советовал: "Ты бы хоть немножко-то помог молодым!" То же сказал Кошель: "Дело их молодое, молодым помогать надо". Серый молча ушел домой и принес Молодой, которая гладила в прихожей, два чулчонка и моток черных ниток.

– Вот, невестушка, – сказал он смущенно, – на, свекровь прислала. Может, на что годится... Нету ведь ничего, – кабы было что, из рубахи выскочил бы...

Молодая поклонилась и поблагодарила. Она гладила гардину, присланную Тихоном Ильичом "заместо фаты", и глаза ее были влажны и красны. Серый хотел утешить, сказать, что и ему

"не мед", но помялся, вздохнул и, поставив чугунок на подоконник, вышел.

– Нитки-то я в чугунок положил, – пробормотал он.

– Спасибо, батюшка, – еще раз поблагодарила Молодая тем ласковым и особенным тоном, каким говорила только с Иванушкой, и как только вышел Серый, неожиданно улыбнулась слабой насмешливой улыбкой и запела: "Как у нас да по садику..."

Кузьма высунулся из зала и строго посмотрел на нее поверх пенсне. Она смолкла.

– Слушай, – сказал Кузьма. – Может, кинуть всю эту историю?

– Теперь поздно, – негромко ответила Молодая. – Уж и так сраму не оберешься... Ай не знают все, на чьи деньги пировать-то будем? Да и расход уж начали...

Кузьма пожал плечами. Правда, вместе с гардиной Тихон Ильич прислал двадцать пять рублей, мешок крупчатой муки, пшена и худую свинью... Но не пропадать же из-за того, что свинью эту зарезали!

– Ох, – сказал Кузьма, – измучили вы меня! "Срам, расход"... Да ай ты дешевле свиньи?

– Дешевле не дешевле, – мертвых с погоста не носят, – просто и твердо ответила Молодая и, вздохнув, аккуратно сложила выглаженную, теплую гардину. – Обедать-то сейчас будете?

Лицо ее стало спокойно. "Ну, шабаш, – тут пива не сварить!" – подумал Кузьма и сказал:

– Ну, как знаешь, как знаешь...

Пообедав, он курил и смотрел в окно. Темнело. В людской, он знал, уже спекли ржаную витушку – "ряженный пирог". Готовились варить два чугуна студня, чугуны лапши, чугуны шей, чугуны каши – все с убоиной. И Серый хлопотал на снежном бугре между амбарами и сараем. На бугре, в синеватых сумерках, оранжевым пламенем пылала солома, которой завалили убитую свинью. Вокруг пламени, поджидая добычи, сидели овчарки, и белые морды их, груди были шелковисто-розовы. Серый, утопая в снегу, бегал, поправлял костер, замахивался на овчарок. Полы зипуна он развернул и поднял, заткнул за пояс, шапку все сдвигал на затылок кистью правой руки, в которой блестел нож. Бегло и ярко озаряемый то с той, то с другой стороны, Серый кидал на снег большую пляшущую тень, – тень язычника. Потом мимо амбара, по тропинке, на деревню, пробежала и скрылась под снежным бугром Однодворка – созывать игриц и просить у Домашки елку, сберегаемую в погребе, переходившую с девишника на девишник. А когда Кузьма, причесавшись и переменяв пиджак с продранными локтями на заветный длиннополый сюртук, оделся и вышел на побелевшее от падающего снега крыльцо, в мягкой серой темноте, у освещенных окон людской уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор, играли сразу на трех гармоньях и все разное. Кузьма, горбясь, перебирая пальцы и хрустя ими, дошел до толпы, протолкался и, нагнувшись, вошел в темь, в сени. Былолюдно, тесно и в сенях. Мальчишки шныряли между ног, их хватили за шеи и выталкивали вон, – они снова лезли...

– Да пустите, ради бога! – сказал Кузьма, сдавленный у дверей.

Его сдавили еще больше – и кто-то рванул дверь. В клубах пара он перешагнул порог и остановился у притолки. Тут теснился народ почище – девки в цветных шалях, ребята во всем новом. Пахло красным товаром, полусубками, керосином, махоркой, хвоей. Маленькое зеленое деревцо, убранное кумачными лоскутами, стояло на столе, простирая ветки над тусклой жестяной лампочкой. Вокруг стола, под мокрыми, оттаявшими окошечками, у черных сырых стен, сидели наряженные игрицы, грубо нарумяненные и набеленные, с блестящими глазами, все в шелковых и шерстяных платочках, с радужными выющимися перьями из хвоста селезня, заткнутыми на висках в волосы. Как раз когда Кузьма вошел, Домашка, хромая девка с темным, злым и умным лицом, с черными острыми глазами и черными сросшимися бровями, затянула грубым и сильным голосом старинную величальную песню:

Как у нас при вечеру-вечеру,
При последнем конце вечера,
При Авдотьином девишнику...

Девки дружным и нестройным хором подхватили ее последние слова – и все обернулись к невесте: она сидела, по обычаю, возле печки, небранная, с головой накрытая темной шалью, и должна была ответить песне громким плачем и причитаниями: "Годный мой батюшка, родимая матушка, как мне век вековать, замужем горе горевать?" Но невеста молчала. И девки, кончив

песню, недовольно покосились на нее. Потом пошептались и, нахмурившись, медленно и протяжно запели «сиротскую»:

Растопися, банюшка,
Ты ударь, звонкий колокол!

И у Кузьмы задрожали крепко сжатые челюсти, пошел мороз по голове и по голням, сладостно заломило скулы, и глаза налились, помутились слезами. Невеста завернулась в шаль и вдруг вся затряслась от рыданий,

– Будя, девки! – крикнул кто-то.

Но девки не слушали:

Ты ударь, звонкий колокол,
Разбуди мово батюшку...

И невеста со стоном стала падать лицом на свои колени, на руки, захлебываясь от слез... Дрожащую, шатающуюся, ее увели, наконец, в холодную половину избы – наряжать.

А потом Кузьма благословил ее. Жених пришел с Васькой, сыном Якова. Жених надел его сапоги; волосы жениха были подстрижены, шея, окаймленная воротом голубой рубахи с кружевом, докрасна выбрита. Он умылся с мылом и очень помолодел, был даже недурен и, зная это, степенно и скромно опускал темные ресницы. Васька, дружно, в красной рубахе, в романовском полушубке нараспашку, войдя, строго покосился на игриц.

– Будя драть-то! – грубо сказал он и прибавил то, что полагалось по обряду: – Вылязайте, вылязайте.

Игрицы хором ответили:

– Без троицы дом не строится, без четырех углов – изба не кроется, Положь по рублю на каждом углу, пятый – посередке да бутылку водки.

Васька вытащил из кармана полштоф и поставил его на стол. Девки взяли – и поднялись. Стало еще теснее. Опять распахнулась дверь, опять понесло паром и холодом – вошла, расталкивая народ, Одноворка с фольговой иконкой, а за ней невеста, в голубом платье с баской, и все ахнули: так была она бледна, спокойна и красива. Васька наотмашь дал затрещину в лоб широкоплечему, головастому мальчишке на кривых, как у такса, ногах – и кинул на солому посреди избы чей-то старый полушубок. На него стали жених и невеста. Кузьма, не поднимая головы, взял икону из рук Одноворки – и стало так тихо, что слышно было свистящее дыхание любопытного головастого мальчишки. Жених и невеста разом упали на колени и поклонилась в ноги Кузьме. Поднялись и опять упали. Кузьма взглянул на невесту, и в глазах их, встретившихся на мгновение, мелькнул ужас. Кузьма побледнел и с ужасом подумал! "Сейчас брошу образ на пол..." Но руки его невольно сделали иконой крест в воздухе – и Молодая, чуть приложившись к ней, поймала губами его руку. Он сунул икону кому-то в сторону, схватил голову Молодой с отцовской болью и нежностью и, целуя новый пахучий платок, горько заплакал. Потом, ничего не видя от слез, повернулся и, расталкивая народ, шагнул в сени. Снежный ветер ударил ему в лицо. Занесенный порог белел в темноте, крыша гудела. А за порогом несла непроглядная вьюга, и свет, падавший из окошечек, из толщи снежной завалинки, стоял дымными столбами...

Вьюга не стихла и утром. В серой несущейся мути не было видно ни Дурновки, ни мельницы на Мысу. Порой светлело, порой становилось похоже на сумерки. Сад побелел, гул его сливался с гулом ветра, в котором все чудился дальний колокольный звон. Острые хребты сугробов дымились. С крыльца, на котором, жмурясь, обоняя сквозь свежесть вьюги теплый вкусный запах из трубы людской, сидели облепленные снегом овчарки, с трудом различал Кузьма темные, туманные фигуры мужиков, лошадей, сани, позвякиванье колокольцев. Под жениха запрягли пару, под невесту одиночку. Сани покрыли казанскими войлоками с черными разводами на концах. Поезжане подпоясались разноцветными подпоясками. Бабы надели ватные шубки, накрылись шальями, шли к саням Опасливо, мелкими шажками, церемонно приговаривая: "Батюшки, свету божьего не видно!..." На невесте и шубку и голубое платье завернули на голову – она села в сани на белую юбку, чтобы платье не измять. Голова ее, убранная венком бумажных цветов, была закутана шальями, подшальниками. Она так Ослабела от слез, что как во сне видела темные фигуры

среди вьюги, слышала шум ее, говор, праздничный звон колокольцев. Лошади прижимали уши, воротили морды от снежного ветра, ветер разносил говор, крик, слепил глаза, белил усы, бороды, шапки, и поезжане с трудом узнавали друг друга в тумане и сумраке.

– Ух, мать твою не замать! – бормотал Васька, нагибая голову, беря вожжи и садясь рядом с женихом. И грубо, равнодушно крикнул на ветер:

– Господи бояре, бословите жениха по невесту ехать!

Кто-то отозвался:

– Бог бословит...

И бубенцы заныли, полозья закрипели, сугробы, разрываемые ими, задымились, завихрились, вихри, гривы и хвосты понесло в сторону...

А на селе, в церковной сторожке, где отогревались в ожидании священника, все угорели. Угарно было и в церкви, угарно, холодно и сумрачно – от вьюги, низких сводов и решеток в окошечках. Свечи горели только в руках жениха и невесты да в руке черного, с большими лопатками священника, наклонившегося к книге, закапанной воском, и быстро читавшего сквозь очки. По полу стояли лужи – на сапогах и лаптях натаскали много снега, – в Спины дул ветер из отворяемых дверей. Священник строго поглядывал то на двери, то на жениха с невестой, на их напряженные, ко всему готовые фигуры, на лица, застывшие в покорности и смирении, золотисто освещенные снизу свечами. По привычке, он произносил некоторые слова как бы с чувством, выделяя их с трогательной мольбой, но совершенно не думая ни о словах, ни о тех, к кому они относились.

"Боже пречистый и всея твари содетелю... – говорил он торопливо, то понижая, то повышая голос, – Иже раба твоего Авраама благословивши и разверзши ложесна Саррина... иже Исаака Ревекце даровавши... Иакова Рахили сочетавши... подаждь рабом твоим сим..."

– Имя? – строгим шепотом, не меняя выражения лица, перебивал он самого себя, обращаясь к псаломщику. И, поймав ответ; "Денис, Авдотья..." – продолжал с чувством:

"Подаждь рабом твоим сим Денису и Евдокии живот мирен, долгоденствие, целомудрие... снодоби я видеть чада чадов... и даждь има от росы небесныя свыше... исполни дома их пшеницы, вина и елея... возвыси я яко кедры ливанские..."

Но окружающие, если бы даже слушали и понимали его, все же помнили бы о доме Серого, а не Авраама и Исаака, о Дениске, а не о кедре ливанском. Ему же самому, коротконотому, в чужих сапогах, в чужой поддевке, было неловко и страшно держать на неподвижной голове царский венец – медный огромный венец с крестом наверху, надетый глубоко, на уши. И рука Молодой, казавшейся в венце еще красивей и мертвее, дрожала, и воск тающей свечи капал на оборки ее голубого платья...

Вьюга, в, сумерках была еще страшнее. И домой гнали лошадей особенно шибко, и горластая жена Ваньки Красного стояла в передних санях, плясала, как шаман, махала платочком и орала на ветер, в буйную темную муть, в снег, летевший ей в губы и заглушавший ее волчий голос:

У голубя, у сизого
Золотая голова!

Москва. 1909–1910

Суходол

I

В Наталье всегда поражала нас ее привязанность к Суходолу.

Молочная сестра нашего отца, выросшая с ним в одном доме, целых восемь лет прожила она у нас в Лунева, прожила как родная, а не как бывшая раба, простая дворовая. И целых восемь лет отдыхала, по ее же собственным словам, от Суходола, от того, что заставил он ее страдать. Но недаром говорится, что, как волка ни корми, он все в лес смотрит: выйдя, вырастит нас, снова воротилась она в Суходол.

Помню отрывки наших детских разговоров с нею:

– Ты ведь сирота, Наталья?

– Сирота-с. Вся в господ своих. Бабушка-то ваша Анна Григорьевна куда как рано ручки белые сложила! Не хуже моего батюшки с матушкой.

– А они отчего рано померли?

– Смерть пришла, вот и померли-с.

– Нет, отчего рано?

– Так бог дал. Батюшку господа в солдаты отдали за провинности, матушка веку не дожидая из-за индюшат господских. Я-то, конечно, не помню-с, где мне, а на дворне сказывали: была она птишницей, индюшат под ее начальством было несть числа, захватил их град на выгоне и запо-рол всех до единого... Кинулась бечь она, добежала, глянула – да и дух вон от ужаста!

– А отчего ты замуж не пошла?

– Да жених не вырос еще.

– Нет, без шуток?

– Да говорят, будто госпожа, ваша тетенька, заказывала. За то-то и меня, грешную, барышней ославили.

– Ну-у, какая же ты барышня!

– В аккурат-с барышня! – отвечала Наталья с тонкой усмешечкой, морщившей ее губы, и обтирала их темной старушечьей рукой. – Я ведь молочная Аркадь Петровичу, тетенька вторая ваша...

Подрастая, все внимательнее прислушивались мы к тому, что говорилось в нашем доме о Суходоле: все понятнее становилось непонятное прежде, все резче выступали странные особенности суходольской жизни. Мы ли не чувствовали, что Наталья, полвека своего прожившая с нашим отцом почти одинаковой жизнью, – истинно родная нам, столбовым господам Хрущевым! И вот оказывается, что господа эти загнали отца ее в солдаты, а мать в такой трепет, что у нее сердце разорвалось при виде погибших индюшат!

– Да и правда, – говорила Наталья, – когда было не пасть замертво от такой оказии? Господа за Можай ее загнали бы!

А потом узнали мы о Суходоле нечто еще более странное: узнали, что проще, добрей суходольских господ "во всей вселенной не было", но узнали и то, что не было и «горячее» их; узнали, что темен и сумрачен был старый суходольский дом, что сумасшедший дед наш Петр Кириллыч был убит в этом доме незаконным сыном своим, Герваськой, другом отца нашего и двоюродным братом Натальи; узнали, что давно сошла с ума – от несчастной любви – и тетя Тоня, жившая в одной из старых дворовых изб возле оскудевшей суходольской усадьбы и восторженно игравшая на гудящем и звенящем от старости фортепиано экосезы; узнали, что сходила с ума и Наталья, что еще девчонкой на всю жизнь полюбила она покойного дядю Петра Петровича, а он сослал ее в ссылку, на хутор Сошки... Наши страстные мечты о Суходоле были понятны. Для нас Суходол был только поэтическим памятником былого. А для Натальи? Ведь это она, как бы отвечая на какую-то свою думу, с великой горечью сказала однажды:

– Что ж! В Суходоле с татарками за стол садились! Вспомнить даже страшно.

– То есть с арапниками? – спросили мы.

– Да это все едино-с, – сказала она.

– А зачем?

– А на случай ссоры-с.

– В Суходоле все ссорились?

– Борони бог! Дня не проходило без войны! Горячие все были – чистый порох.

Мы-то млели при ее словах и восторженно переглядывались: долго представлялся нам потом огромный сад, огромная усадьба, дом с дубовыми бревенчатыми стенами под тяжелой и черной от времени соломенной крышей – и обед в зале этого дома: все сидят за столом, все едят, бросая кости на пол, охотничьим собакам, косятся друг на друга – и у каждого арапник на коленях: мы мечтали о том золотом времени, когда мы вырастем и тоже будем обедать с арапниками на коленях. Но ведь хорошо понимали мы, что не Наталье доставляли радость эти арапники. И все же ушла она из Лунева в Суходол, ^источнику своих темных воспоминаний. Ни своего угла, ни близких родных не было у ней там; и служила она теперь в Суходоле уже не прежней госпоже своей, не тете Тоне, а вдове покойного Петра Петровича, Клавдии Марковне. Да вот без

усадьбы-то этой и не могла жить Наталья.

– Что делать-с: привычка, – скромно говорила она. – Уж куда иголка, туда, видно, и нитка. Где родился, там и годился...

И не одна она страдала привязанностью к Суходолу. Боже, какими страстными любителями воспоминаний, какими горячими приверженцами Суходола были и все прочие суходольцы!

В нищете, в избе обитала тетя Тоня. И счастья, и разума, и облика человеческого лишил ее Суходол. Но она даже мысли не допускала никогда, несмотря на все уговоры нашего отца, покинуть родное гнездо, поселиться в Лунево:

– Да лучше камень в горе бить!

Отец был беззаботный человек; для него, казалось, не существовало никаких привязанностей. Но глубокая грусть слышалась в его рассказах о Суходоле. Уже давным-давно выселился он из Суходола в Лунево, полевое поместье бабки нашей Ольги Кирилловны. Но жаловался чуть не до самой кончины своей:

– Один, один Хрущев остался теперь в свете. Да и тот не в Суходоле!

Правда, нередко случалось и то, что, вслед за такими словами, задумывался он, глядя в окна, в поле, и вдруг насмешливо улыбался, снимая со стены гитару.

– А и Суходол хорош, пропади он пропадом! – прибавлял он с тою же искренностью, с какой говорил и за минуту перед тем.

Но душа-то и в нем была суходольская, – душа, над которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степи, косного ее быта, той древней семейственности, что воедино сливалась и деревню, и дворню, и дом в Суходоле. Правда, столбовые мы, Хрущевы, в шестую книгу вписанные, и много было среди наших легендарных предков знатных людей вековой литовской крови да татарских князьков. Но ведь кровь Хрущевых мешалась с кровью дворни и деревни спокон веку. Кто дал жизнь Петру Кириллычу? Разно говорят о том предания. Кто был родителем Герваськи, убийцы его? С ранних лет мы слышали, что Петр Кириллыч. Откуда истекало столь резкое несходство в характерах отца и дяди? Об этом тоже разно говорят. Молочной же сестрой отца была Наталья, с Герваськой он крестами менялся... Давно, давно пора Хрущевым посчитаться родней с своей дворней и деревней!

В тяготенье к Суходолу, в оболщении его стариною долго жили и мы с сестрой. Дворня, деревня и дом в Суходоле составляли одну семью. Правили этой семьей еще наши пращуры. А ведь и в потомстве это долго чувствуется. Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна. Но темной глубиной своей да вот еще преданиями, прошлым и сильна-то она. Письменными и прочими памятниками Суходол не богаче любого улуса в башкирской степи. Их на Руси заменяет предание. А предание да песня – отрава для славянской души! Бывшие наши дворовые, страстные лентяи, мечтатели, – где они могли отвести душу, как не в нашем доме? Единственным представителем суходольских господ оставался наш отец. И первый язык, на котором мы заговорили, был суходольский. Первые повествования, первые песни, тронувшие нас, – тоже суходольские, Натальины, отцовы. Да и мог ли кто-нибудь петь так, как отец, ученик

вать-то было! У них даже и преданий не существовало. Их могилы безыменны. А жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны! Ибо плодами трудов и забот их был лишь хлеб, самый настоящий хлеб, что съедается. Копали они пруды в каменистом ложе давно иссякнувшей речки Каменки. Но пруды ведь ненадежны – высыхают. Строили они жилища. Но жилища их недолговечны: при малейшей искре дотла сгорают они... Так что же тянуло нас всех даже к голому выгону, к избам и оврагам, к разоренной усадьбе Суходола?

II

В усадьбу, породившую душу Натальи, владевшую всей ее жизнью, в усадьбу, о которой так много слышали мы, довелось нам попасть уже в позднем отрочестве.

Помню так, точно вчера это было. Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и ослепительно быстрыми, огненными змеями молний, когда мы под вечер подъезжали к Суходолу. Черно-лиловая туча тяжело свалилась к северо-западу, величаво заступила полнеба напротив. Плоско, четко и мертвенно-бледно зеленела равнина хлебов под ее огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно сразу похудевшие лошади, шлепали, блестя подковами, по синей грязи, тарантас влажно шуршал... И

вдруг, у самого поворота в Суходол, увидели мы в высоких мокрых ржах высокую и престранную фигуру в халате и шляке, фигуру не то старика, не то старухи, бьющую хворостиной пегую комолую корову. При нашем приближении хворостина заработала сильнее, и корова неуклюже, крутя хвостом, выбежала на дорогу. А старуха, что-то крича, направилась к тарантасу и, подойдя, потянулась к нам бледным лицом. Со страхом глядя в черные безумные глаза, чувствуя прикосновение острого холодного носа и крепкий запах избы, поцеловались мы с подошедшей. Не сама ли это Баба-Яга? Но высокий шлык из какой-то грязной тряпки торчал на голове Бабы-Яги, на голое тело ее был надет рваный и по пояс мокрый халат, не закрывавший тощих грудей. И кричала она так, точно мы были глухие, точно с целью затеять яростную брань. И по крику мы поняли: это тетя Тоня.

Закричала, но весело, институтски-восторженно и Клавдия Марковна, толстая, маленькая, с седенькой бородкой, с необыкновенно живыми глазками, сидевшая у открытого окна в доме с двумя большими крыльцами, вязавшая нитяный носок и, подняв очки на лоб, глядевшая на выгон, слившийся с двором. Низко, с тихой улыбкой поклонилась стоявшая на правом крыльце Наталья – дробненькая, загорелая, в лаптях, в шерстяной красной юбке и в серой рубахе с широким вырезом вокруг темной, сморщенной шеи. Взглянув на эту шею, на худые ключицы, на усталые-грустные глаза, помню, подумал я: это она росла с нашим отцом – давным-давно, но вот именно здесь, где от дедовского дубового дома, много раз горевшего, остался вот этот, невзрачный, от сада – кустарники да несколько старых берез и тополей, от служб и людских – изба, амбар, глиняный сарай да ледник, заросший полынью и подснежником... Запахло самоваром, посыпались расспросы; стали появляться из столетней горки хрустальные вазочки для варенья, золотые ложечки, истончившиеся до кленового листа, сахарные сушки, сбереженные на случай гостей. И, пока разгорался разговор, усиленно дружелюбный после долгой ссоры, пошли мы бродить по темнеющим горницам, ища балкона, выхода в сад.

Все было черно от времени, просто, грубо в этих пустых, низких горницах, сохранивших то же расположение, что и при дедушке, срубленных из остатков тех самых, в которых обитал он. В углу лакейской чернел большой образ святого Меркурия Смоленского, того, чьи железные сандалии и шлем хранятся на солее в древнем соборе Смоленска. Мы слышали: был Меркурий муж знатный, призванный к спасению от татар Смоленского края гласом иконы Божьей Матери Одигитрии Путеводительницы. Разбив татар, святой уснул и был обезглавлен врагами. Тогда, взяв свою главу в руки, пришел он к городским воротам, дабы поведать бывшее... И жутко было глядеть на суздальское изображение безглавого человека, держащего в одной руке мертвенно-синеватую голову в шлеме, а в другой икону Путеводительницы, – на этот, как говорили, заветный образ дедушки, переживший несколько страшных пожаров, расколовшийся в огне, толсто окованный серебром и хранивший на оборотной стороне своей родословную Хрущевых, писанную под титлами. Точно в лад с ним, тяжелые железные задвижки и вверху и внизу висели на тяжелых половинках дверей. Доски пола в зале были непомерно широки, темны и скользки, окна малы, с подъемными рамами. По залу, уменьшенному двойнику того самого, где Хрущевы сидели за стол с татарками, мы прошли в гостиную. Тут, против дверей на балкон, стояло когда-то фортепиано, на котором играла тетя Тоня, влюбленная в офицера Войткевича, товарища Петра Петровича. А дальше зияли раскрытые двери в диванную, в угольную, – туда, где были когда-то дедушкины покои...

Вечер же был сумрачный. В тучах, за окраинами вырубленного сада, за полуголой ригой и серебристыми тополями, вспыхивали зарницы, раскрывавшие на мгновение облачные розово-золотистые горы. Ливень, верно, не захватил Трошина леса, что темнел далеко за садом, на косогорах за оврагами. Оттуда доходил сухой, теплый запах дуба, мешавшийся с запахом зелени, с влажным мягким ветром, пробегавшим по верхушкам берез, уцелевших от аллеи, по высокой крапиве, бурьянам и кустарникам вокруг балкона. И глубокая тишина вечера, степи, глухой Руси царила надо всем...

– Чай кушать пожалуйста-с, – окликнул нас негромкий голос.

Это была она, участница и свидетельница всей этой жизни, главная сказительница ее, Наталья. А за ней, внимательно глядя сумасшедшими глазами, немного согнувшись, церемонно скользя по темному гладкому полу, подвигалась госпожа ее. Шляка она не сняла, но вместо халата на ней было теперь старомодное барежевое платье, на плечи накинута блекло-золотистая шелковая шаль.

– *Ou etes-vous, mes enfants?* – жантильно улыбаясь, кричала она, и голос ее, четкий и резкий, как голос попугая, странно раздавался в пустых черных горницах...

III

Как в Наталье, в ее крестьянской простоте, во всей ее прекрасной и жалкой душе, порожденной Суходолом, было очарование и в суходольской разоренной усадьбе.

Пахло жасмином в старой гостиной с покосившимися полами. Сгнивший, серо-голубой от времени балкон, с которого, за отсутствием ступенек, надо было спрыгивать, тонул в крапиве, бузине, бересклете. В жаркие дни, когда его пекло солнце, когда были отворены осевшие стеклянные двери и веселый отблеск стекла передавался в тусклое овальное зеркало, висевшее на стене против двери, все вспоминалось нам фортепиано тети Тони, когда-то стоявшее под этим зеркалом. Когда-то играла она на нем, глядя на пожелтевшие ноты с заглавиями в завитушках, а он стоял сзади, крепко подпирая талию левой рукой, крепко сжимая челюсти и хмурясь. Чудесные бабочки – и в ситцевых пестренских платьяцах, и в японских нарядах, и в черно-лиловых бархатных шалях – залетали в гостиную. И перед отъездом он с сердцем хлопнул однажды ладонью по одной из них, трепетно замиравшей на крышке фортепиано. Осталась только серебристая пыль. Но, когда девки, по глупости, через несколько дней стерли ее, с тетей Тоней сделалась истерика. Мы выходили из гостиной на балкон, садились на теплые доски – и думали, думали. Ветер, пробегая по саду, доносил до нас шелковистый шелест берез с атласно-белыми, испещренными чернью стволами и широко раскинутыми зелеными ветвями, ветер, шумя и шелестя, бежал с полей – и зелено-золотая иволга вскрикивала резко и радостно, колом проносясь над белыми цветами за болтливыми галками, обитавшими с многочисленным родством в развалившихся трубах и в темных чердаках, где пахнет старыми кирпичами и через слуховые окна полосами падает на бугры серо-фиолетовой золы золотой свет; ветер замирал, сонно ползали пчелы по цветам у балкона, совершая свою неспешную работу, – и в тишине слышался только ровный, струящийся, как непрерывный мелкий дождик, лепет серебристой листвы тополей... Мы бродили по саду, забирались в глушь окраин. Там, на этих окраинах, слившихся с хлебами, в прадедовской бане с провалившимся потолком, в той самой бане, где Наталья хранила украденное у Петра Петровича зеркальце, жили белые тусы. Как они мягко выпрыгивали на порог, как странно, шевеля усами и раздвоенными губами, косили они далеко расставленные, выпученные глаза на высокие татарки, кусты белены и заросли крапивы, глушившей терн и вишенник! А в полураскрытой риге жил филин. Он сидел на перемете, выбрав место посумрачнее, торчком подняв уши, выкатив желтые слепые зрачки – и вид у него был дикий, чертовский. Опускалось солнце далеко за садом, в море хлебов, наступал вечер, мирный и ясный, куковала кукушка в Трошином лесу, жалобно звенели где-то над лугами жалейки старика-пастуха Степы... Филин сидел и ждал ночи. Ночью все спало – и поля, и деревня, и усадьба. А филин только и делал, что ухал и плакал. Он неслышно носился вокруг риги, по саду, прилетал к избе тети Тони, легко опускался на крышу – и болезненно вскрикивал... Тетя просыпалась на лавке у печки.

– Иисусе сладчайший, помилуй мя, – шептала она, вздыхая.

Мухи сонно и недовольно гудели по потолку жаркой, темной избы. Каждую ночь что-нибудь будило их. То корова чесалась боком о стену избы; то крыса пробежала по отрывисто звенящим клавишам фортепиано и, сорвавшись, с треском падала в черепки, заботливо складываемые тетей в угол; то старый черный кот с зелеными глазами поздно возвращался откуда-то домой и лениво просился в избу; или же прилетал вот этот филин, криками своими пророчивший беду. И тетя, пересиливая дремоту, отмахиваясь от мух, в темноте лезших в глаза, вставала, шарилась по лавкам, хлопала дверью – и, выйдя на порог, наугад запускала вверх, в звездное небо, скалку. Филин, с шорохом, задевая крыльями солому, срывался с крыши – и низко падал куда-то в темноту. Он почти касался земли, плавно доносился до риги и, взмыв, садился на ее хребет. И в усадьбу опять доносился его плач. Он сидел, как будто что-то вспоминая, – и вдруг испускал вопль изумления; смолкал – и внезапно принимался истерически ухать, хохотать и взвизгивать; опять смолкал – и раздражался стонами, всхлипываниями, рыданиями... А ночи, темные, теплые, с лиловыми тучками, были спокойны, спокойны. Сонно бежал и струился лепет сонных тополей. Зарница осторожно мелькала над темным Трошиным лесом – и тепло, сухо пахло дубом. Возле леса, над равнинами овсов, на прогалине неба среди туч, горел серебряным треугольником, мо-

гильным голубцом Скорпион...

Поздно возвращались мы в усадьбу. Надышавшись росой, свежестью степи, полевых цветов и трав, осторожно поднимались мы на крыльцо, входили в темную прихожую. И часто заставляли Наталью на молитве перед образом Меркурия. Босая, маленькая, поджав руки, стояла она перед ним, шептала что-то, крестилась, низко кланялась ему, невидному в темноте, – и все это так просто, точно беседовала она с кем-то близким, тоже простым, добрым, милостивым.

– Наталья? – тихо окликали мы.

– Я-с? – тихо и просто отзывалась она, прерывая молитву.

– Что же ты не спишь до сих пор?

– Да авось еще в могиле-с наспимся...

Мы садились на коник, раскрывали окно; она стояла, поджав руки. Таинственно мелькали зарницы, озаряя темные горницы; перепел бил где-то далеко в росистой степи. Предостерегающе-тревожно крикала проснувшаяся на пруде утка...

– Гуляли-с?

– Гуляли.

– Что ж, дело молодое... Мы, бывалыча, так-то все ночи напролет прогуливали... Одна зоря выгонит, другая загонит...

– Хорошо жилось прежде?

– Хорошо-с...

И наступало долгое молчание.

– Чего это, нянечка, филин кричит? – говорила сестра.

– Не судом кричит-с, пропасти на него нету. Хоть бы из ружья пострелять. А то прямо жуть, все думается: либо к беде какой? И все барышню пугает. А она ведь до смерти пуглива!

– А как захворала она?

– Да известно-с: все слезы, слезы, тоска... Потом молиться зачали... Да все лютее с нами, с девками, да все сердитей с братцами...

И, вспоминая арапники, мы спрашивали:

– Не дружно, значит, жили?

– Куда как дружно! А уж особливо после того, как заболели-то оне, как дедушка померли, как вошли в силу молодые господа и женился покойник Петр Петрович. Горячие все были – чистый порох!

– А пороли дворовых часто?

– Этого у нас и в заведении не было-с. Я как провинилась-то! А и было-то всего-навсего, что приказали Петр Петрович голову мне овечьими ножницами оболванить, затрапезную рубаху надеть да на хутор отправить...

– А чем же ты провинилась?

Но ответ далеко не всегда следовал прямой и скорый. Рассказывала Наталья порою с удивительной прямоотой и тщательностью; но порою запинаясь, что-то думала; потом легонько вздыхала, и по голосу, не видя лица в сумраке, мы понимали, что она грустно усмехается:

– Да тем и провинилась... Я ведь уж сказывала... Молода-глупа была-с. "Пел на грех, на беду соловей во саду..." А, известно, дело мое было девичье...

Сестра ласково спросила ее:

– Ты уж скажи, нянечка, стихи эти до конца.

И Наталья смущалась.

– Это не стихи-с, а песня... Да я ее и не упомяну-с теперь.

– Неправда, неправда!

– Ну, извольте-с...

И скороговоркой кончала:

– "Как на грех, на беду..." То бишь: "Пел на грех, на беду соловей во саду – песню томную... Глупой спать не давал – в ночь темную..."

Пересиливая себя, сестра спрашивала:

– А ты очень была влюблена в дядю? И Наталья тупо и кратко шептала:

– Очень-с.

– Ты всегда поминаешь его на молитве?

– Всегда-с.

– Ты, говорят, в обморок упала, когда тебя везли в Сошки?

– В оморок-с. Мы, дворовые, страшные нежные были... жидки на расправу... не сравнить же с серым однодворцем! Как повез меня Евсей Бодуля, отупела я от горя и страху... В городе чуть не задохнулась с непривычки. А как выехали в степь, таково мне нежно да жалостно стало! Метнулся офицер навстречу, похожий на них, – крикнула я, да и замертво! А пришедши в себя, лежу этак в телеге и думаю: хорошо мне теперь, ровно в царстве небесном!

– Строг он был?

– Не приведи господи!

– Ну, а все-таки своенравнее всех тетя была?

– Оне-с, оне-с. Докладываю же вам: их даже к угоднику возили. Натерпелись мы страсти с ними! Им бы жить да поживать теперь, как надобно, а оне погордились, да и тронулись... Как любил их Войткевич-то! Ну, да вот поди ж ты!

– Ну, а дедушка?

– Те что ж? Те слабы умом были. А, конечно, и с ними случалось. Все в ту пору были пыльные... Да зато прежние-то господа нашим братом не брезговали. Бывалыча, папаша ваш накажут Герваську в обед, – энтого и следовало! – а вечером, глядь, уж на дворне жируют, на балалайках с ним жундят...

– А скажи, – он хорош был, Войткевич-то? Наталья задумывалась.

– Нет-с, не хочу соврать: вроде калмыка был. А сурьезный, настойчивый. Все стихи ей читал, все напугивал: мол, помру и приду за тобой...

– Ведь и дед от любви с ума сошел?

– Те по бабушке. Это дело иное, сударыня. Да и дом у нас был сумрачен, – не веселый, бог с ним. Вот извольте послушать мои глупые слова...

И неторопливым шепотом начинала Наталья долгое, долгое повествование...

IV

Если верить преданиям, прадед наш, человек богатый, только под старость переселился из-под Курска в Суходол: не любил наших мест, их глуши, лесов. Да, ведь это вошло в пословицу: "В старину везде леса были..." Люди, пробиравшиеся лет двести тому назад по нашим дорогам, пробирались сквозь густые леса. В лесу терялись и речка Каменка, и те верхи, где протекала она, и деревня, и усадьба, и холмистые поля вокруг. Однако уже не то было при дедушке. При дедушке картина была иная: полустепной простор, голые косогоры, на полях – рожь, овес, греча, на большой дороге – редкие дуплистые ветлы, а по суходольскому верху – только белый голыш. От лесов остался один Трошин лесок. Только сад был, конечно, чудесный: широкая аллея в семьдесят раскидистых берез, вишенники, тонувшие в крапиве, дремучие заросли малины, акации, сирени и чуть не целая роща серебристых тополей на окраинах, сливавшихся с хлебами. Дом был под соломенной крышей, толстой, темной и плотной. И глядел он на двор, по сторонам которого шли длиннейшие службы и людские в несколько связей, а за двором расстилался бесконечный зеленый выгон и широко раскидывалась барская деревня, большая, бедная и – беззаботная.

– Вся в господ-с! – говорила Наталья. – И господа беззаботны были – не хозяйственны, не жадны. Семен Кириллыч, братец дедушки, разделялись с нами: себе взяли что побольше да полутче, престольную вотчину, нам только Сошки, Суходол да четыреста душ прикинули. А из четырех-то сот чуть не половина разбежалась...

Дедушка Петр Кириллыч умер лет сорока пяти. Отец часто говорил, что помешался он после того, как на него, заснувшего на ковре в саду, под яблоней, внезапно сорвавшийся ураган обрушил целый ливень яблок. А на дворне, по словам Натальи, объясняли слабоумие деда иначе: тем, что тронулся Петр Кириллыч от любовной тоски после смерти красавицы бабушки, что великая гроза прошла над Суходолом перед вечером того дня. И доживал Петр Кириллыч, – сутулый брюнет, с черными, внимательно-ласковыми глазами, немного похожий на тетю Тоню, – в тихом помешательстве. Денег, по словам Натальи, прежде не знали, куда девать, и вот он, в сафьяновых сапожках и пестром архалуке, заботливо и неслышно бродил по дому и, оглядываясь, совал в трещины дубовых бревен золотые.

– Это я для Тонечки в приданое, – бормотал он, когда захватывали его. – Надежнее, друзья

мои, надежнее... Ну, а за всем тем – воля ваша: не хотите – я не буду...

И опять совал. А не то переставлял тяжелую мебель в зале, в гостиной, все ждал чьего-то приезда, хотя соседи почти никогда не бывали в Суходоле; или жаловался на голод, и сам мастерил себе тюрю – неумело толоч и растирал в деревянной чашке зеленый лук, крошил туда хлеб, лил густой пенящийся суровец и сыпал столько крупной серой соли, что тюрю оказывалась горькой и есть ее было не под силу. Когда же, после обеда, жизнь в усадьбе замирала, все разбредались по излюбленным углам и надолго засыпали, не знал куда деваться одинокий, даже по ночам мало спавший Петр Кириллыч. И, не выдержав одиночества, начинал заглядывать в спальни, прихожие, девичьи и осторожно окликать спящих:

– Ты спишь, Аркаша? Ты спишь, Тонюша?

И, получив сердитый окрик: "Да отвяжитесь вы, ради бога, папенька!" – торопливо успокаивал:

– Ну, спи, спи, душа моя. Я тебя будить не буду...

И уходил дальше, – минуя только лакейскую, ибо лакеи были народ очень грубый, – а через десять минут снова появлялся на пороге и снова еще осторожнее окликал, выдумывая, что по деревне кто-то проехал с ямщицкими колокольчиками, – "уж не Петенька ли из полка в побывку", – или что заходит страшная градовая туча.

– Они, голубчики, уж очень грозы боялись, – рассказывала Наталья. – Я-то еще девчонкой простоволосой была, ну, а все-таки помню-с. Дом у нас какой-то черный был... невеселый, господь с ним. А день летом – год. Дворни девать было некуда... одних лакеев пять человек... Да, известно, започивают после обеда молодые господа, а за ними и мы, холопы верные, слуги примерные. И тут уж Петр Кириллыч не приступайся к нам, – особливо к Герваське. "Лакеи! Лакеи! Вы спите?" А Герваська подымет голову с ларя, да и спрашивает: "А хочешь, я тебе сейчас крапивы в мотню набью?" – "Да ты кому ж это говоришь-то, бездельник ты этакий?" – "Домовому, сударь: спросонья..." Ну вот, Петр Кириллыч и пойдут опять по залу, по гостиной и все в окна, в сад заглядывают: не видно ли тучи? А грозы, и правда, куда как часто в старину собирались. Да и грозы-то великие. Как, бывалыча, дело после обеда, так и почнет орать иволга, и пойдут из-за саду тучки... потемнеет в доме, зашуршит бурьян да глухая крапива, попрячутся индюшки с индюшатами под балкон... прямо жуть, скука-с! А они, батюшка, вздыхают, крестятся, лезут свечку восковую у образов зажигать, полотенце заветное с покойника прадедушки вешать, – боялась я того полотенца до смерти! – али ножницы за окошко выкидывают. Это уж первое дело-с, ножницы-то: очень хорошо против грозы...

Было веселее в суходольском доме, когда жили в нем французы, – сперва какой-то Луи Иванович, мужчина в широчайших, книзу узких панталонах, с длинными усами и мечтательными голубыми глазами, накладывавший на лысину волосы от уха к уху, а потом пожилая, вечно зябнувшая мадамзель Сизи, – когда по всем комнатам гремел голос Луи Ивановича, оравшего на Аркашу: "Идьте и больше не вернитесь!" – когда слышалось в классной: "Maitre corbeau sur un arbre perché"¹ и на фортепиано училась Тонечка. Восемь лет жили французы в Суходоле, оставались в нем, чтобы не скучно было Петру Кириллычу, и после того, как увезли детей в губернский город, покинули же его перед самым возвращением их домой на третьи каникулы. Когда прошли эти каникулы, Петр Кириллыч уже никуда не отправил ни Аркашу, ни Тонечку: достаточно было, по его мнению, отправить одного Петеньку. И дети навсегда остались и без ученья и без призора... Наталья говаривала:

– Я-то была моложе их всех. Ну, а Герваська с папашей вашим почти однолетки были и, значит, первые друзья-приятели-с. Только, правда говорится, – волк коню не свойственник. Подружились они это, поклялись в дружбе на вечные времена, поменялись даже крестами, а Герваська вскорости же и начереды: чуть было вашего папашу в пруде не утопил! Коростовый был, а уж на каторжные затеи мастер. "Что ж, – говорит раз барчуку, – ты подрастете, будете меня пороть?" – «Буду». – "Ан нет". – "Как так?" – "А так..." И надумал: стояла у нас бочка над прудами, на самом косогоре, а он и заприметь ее, да и подучи Аркадь Петровича залезть в нее и покатиться вниз. "Перва, говорит, ты, барчук, прожжете, а там я..." Ну, а барчук-то и послушайся: залез, толкнулся, да как пошел греметь под гору, в воду, как пошел... Матушка Царица

¹ "Ворон, взобравшись на дерево" (франц.).

Небесная! Только пыль столбом завихрилась!.. Уж спасибо вблизи пастухи оказались...

Пока жили французы в суходольском доме, дом сохранял еще жилой вид. При бабушке еще были в нем и господа, и хозяева, и власть, и подчинение, и парадные покои, и семейные, и будни, и праздники. Видимость всего этого держалась и при французах. Но французы уехали, и дом остался совсем без хозяев. Пока дети были малы, на первом месте был как будто Петр Кириллыч. Но что он мог? Кто кем владел: он дворовыми или дворовые им? Фортепиано закрыли, скатерть с дубового стола исчезла, – обедали без скатерти и когда попало, в сенцах проходу не было от борзых собак. Заботиться о чистоте стало некому, – и темные бревенчатые стены, темные полы и потолки, темные тяжелые двери и притолки, старые образа, закрывавшие своими суздальскими ликами весь угол в зале, скоро и совсем почернели. По ночам, особенно в грозу, когда бушевал под дождем сад, поминутно озарялись в зале лики образов, раскрывалось, распахивалось над садом дрожащее розово-золотое небо, а потом, в темноте, с треском раскалывались громовые удары, – по ночам в доме было страшно. А днем – сонно, пусто и скучно. С годами Петр Кириллыч все слабел, становился все незаметнее, хозяйкой же дома являлась дряхлая Дарья Установив, кормилица дедушки. Но власть ее почти равнялась его власти, а староста Демьян не вмешивался в управление домом: он знал только полевое хозяйство, с ленивой усмешкой говоря иногда: "Что ж, я своих господ не обиждаю..." Отцу, юноше, не до Суходола было: его с ума сводила охота, балалайка, любовь к Герваське, который числился в лакеях, но по целым дням пропадал с ним на каких-то Мещерских болотцах или в каретном сарае за изучением балалаечных и жалеечных хитростей.

– Так уж мы и знали-с, – говорила Наталья, – в доме только почивают. А не почивают, – значит, либо на деревне, либо в каретном, либо на охоте: зимою – зайцы, осенью – лисицы, летом – перепела, утки либо дряхвы; сядут на дрожки беговые, перекинут ружьецо за плечи, кликнут Дианку, да и с господом: нынче на Среднюю мельницу, завтра на Мещерские, послезавтра на степя. И все с Герваськой. Тот первый коновод всему был, а прикидывался, что это барчук его таскает. Любил его, врага своего, Аркадь Петрович истинно как брата, а он, чем дальше, тем все злей измывался над ним. Бывалыча, скажут: "Ну, давай, Гервасий, на балалайках! Выгучи ты меня, за ради бога, *"Закатилось солнце красное за лес..."*. А Герваська посмотрит на них, пустит в ноздри дым и этак с усмешечкой: "Поцелуйте перва ручку у меня". Побелеют весь Аркадь Петрович, вскочут с места, бац его, что есть силы, по щеке, а он только головой мотнет и еще черней сделается, насупится, как разбойник какой. "Встать, негодяй!" Встанет, вытянется, как борзой, портки плисовые висят... молчит. "Проси прощенья". – "Виноват, сударь". А барчук задвохнется – и уж не знают, что дальше сказать. "То-то "сударь"! – кричат. – Я, мол, норовлю с тобой, с негодяем, как с равным обойтись, я, мол, иной раз думаю: я для него души не пожалею... А ты что? Ты нарочно меня озлобляешь?"

– Диковинное дело! – говорила Наталья. – Над барчуком и дедушкой Герваська измывался, – а надо мной – барышня. Барчук, – а, по правде-то сказать, и сами дедушка, – в Герваське души не чаяли, а я – в ней... как из Сошек-то вернулась я да маленько образумилась посля своей провинности...

V

С арапниками садились за стол уже после смерти дедушки, после бегства Герваськи и женитьбы Петра Петровича, после того, как тетя Тоня, тронувшись, обрекла себя в невесты Иисусу сладчайшему, а Наталья возвратилась из этих самых Сошек. Тронулась же тетя Тоня и в ссылке побывала Наталья – из-за любви.

Скучные, глухие времена дедушки сменились временами молодых господ. Возвратился в Суходол Петр Петрович, неожиданно для всех вышедший в отставку. И приезд его оказался гибельным и для Натальи и для тети Тони.

Они обе влюбились. Не заметили, как влюбились. Им казалось сперва, что "просто стало веселее жить".

Петр Петрович повернул на первых порах жизнь в Суходоле на новый лад – на праздничный и барский. Он приехал с товарищем, Войткевичем, привез с собой повара, бритого алкоголика, с пренебрежением косившегося на позеленевшие рубчатые формы для желе, на грубые ножи, вилки. Петр Петрович желал показать себя перед товарищем радушным, щедрым, богатым –

и делал это неумело, по-мальчишески. Да он и был почти мальчиком, очень неясным и красивым с виду, но по натуре резким и жестоким, мальчиком как будто самоуверенным, но легко и чуть не до слез смущающимся, а потом надолго затаивающим злобу на того, кто смутил его.

– Помнится, брат Аркадий, – сказал он за столом в первый же день своего пребывания в Суходоле, – помнится, была у нас мадера недурная?

Дедушка покраснел, хотел что-то сказать, но не насмелился и только затеребил на груди архалук. Аркадий Петрович изумился:

– Какая мадера?

А Герваська нагло поглядел на Петра Петровича и ухмыльнулся.

– Вы изволили забыть, сударь, – сказал он Аркадию Петровичу, даже и не стараясь скрыть насмешки. – У нас, и правда, девать некуда было этой самой мадеры. Да все мы, холопы, потаскали. Вино барское, а мы ее дуром, заместо квасу.

– Это еще что такое? – крикнул Петр Петрович, заливаясь своим темным румянцем. – Молчать!

Дедушка восторженно подхватил.

– Так, так, Петенька! Фор! – радостно, тонким голосом воскликнул он и чуть не заплакал. – Ты и представить себе не можешь, как он меня уничтожает! Я уж не однажды думал: подкрадусь и проломлю ему голову толкачом медным... Ей-богу, думал! Я ему кинжал в бок по эфес всажу!

А Герваська и тут нашелся.

– Я, сударь, слышал, что за это больно наказывают, – возразил он, насупясь. – А то и мне все лезет в голову: пора барину в царство небесное!

Говорил Петр Петрович, что после такого неожиданно дерзкого ответа сдержался он только ради чужого человека. Он сказал Герваське только одно: "Сию минуту выйди вон!" А потом даже устыдился своей горячности – и, торопливо извиняясь перед Войткевичем, поднял на него с улыбкой те очаровательные глаза, который долго не могли забыть все знавшие Петра Петровича.

Слишком долго не могла забыть этих глаз и Наталья.

Счастье ее было необыкновенно кратко – и кто бы мог думать, что разрешится оно путешествием в Сошки, самым замечательным событием всей ее жизни?

Хутор Сошки цел и донныне, хотя уже давно перешел к тамбовскому купцу. Это – длинная изба среди пустой равнины, амбар, журавль колодца и гумно, вокруг которого бахчи. Таким, конечно, был хутор и в дедовские времена; да мало изменился и город, что на пути к нему из Суходола. А провинилась Наташка тем, что, совершенно неожиданно для самой себя, украла складное, оправленное в серебро, зеркальце Петра Петровича.

Увидела она это зеркальце – и так была поражена красотой его, – как, впрочем, и всем, что принадлежало Петру Петровичу, – что не устояла. И несколько дней, пока не хватились зеркальца, прожила ошеломленная своим преступлением, очарованная своей страшной тайной и сокровищем, как в сказке об аленьком цветочке. Ложась спать, она молила Бога, чтобы скорее прошла ночь, чтобы скорее наступило утро: празднично было в доме, который ожил, наполнился чем-то новым, чудесным с приездом красавца барчука, нарядного, напомаженного, с высоким красным воротом мундира, с лицом смуглым, но нежным, как у барышни; празднично было даже в прихожей, где спала Наташка и где, вскакивая с рундука на рассвете, она сразу вспоминала, что в мире – радость, потому что у порога стояли, ждали чистки такие легонькие сапожки, что их впопору было царскому сыну носить; и всего страшнее и праздничнее было за садом, в заброшенной бане, где хранилось двойное зеркальце в тяжелой серебряной оправе, – за садом, куда, пока еще все спали, по росистым зарослям, тайком бежала Наташка, чтоб насладиться обладанием своего сокровища, вынести его на порог, раскрыть при жарком утреннем солнце и насмотреться на себя до головокруженья, а потом опять скрыть, схоронить и опять бежать, прислуживать все утро тому, на кого она и глаз поднять не смела, для кого она, в безумной надежде понравиться, и заглядывалась-то в зеркальце.

Но сказка об аленьком цветочке кончилась скоро, очень скоро. Кончилась позором и стыдом, которому нет имени, как думала Наташка... Кончилась тем, что сам же Петр Петрович приказал остричь, обезобразить ее, принаряжавшуюся, сурьмившую брови перед зеркальцем, создавшую какую-то сладкую тайну, небывалую близость между ним и собой. Он сам открыл и превратил ее преступление в простое воровство, в глупую проделку дворовой девчонки, кото-

рую, в затрапезной рубашке, с лицом, опухшим от слез, на глазах всей дворни, посадили на навозную телегу и, опозоренную, внезапно оторванную от всего родного, повезли на какой-то неведомый, страшный хутор, в степные дали. Она уже знала: там, на хуторе, она должна будет стеречь цыплят, индюшек и бахчи; там она спечется на солнце, забытая всем светом; там, как годы, будут долги степные дни, когда в зыбком мареве тонут горизонты и так тихо, так знойно, что спал бы мертвым сном весь день, если бы не нужно было слушать осторожный треск пересохшего гороха, домовитую возню насекомых в горячей земле, мирно-грустную переключку индюшек, не следить за набегающей сверху, жуткой тенью ястреба и не вскакивать, не кричать тонким протяжным голосом: "Шу-у!.." Там, на хуторе, чего стоила одна старуха-хохлушка, получившая власть над ее жизнью и смертью и, верно, уже с нетерпением поджидавшая свою жертву! Единственное преимущество имела Наташка перед теми, которых везут на смертную казнь: возможность удавиться. И только одно это и поддерживало ее на пути в ссылку, – конечно, вечную, как полагала она.

На пути из конца в конец уезда чего только она не насмотрелась! Да не до того ей было. Она думала или, скорее, чувствовала одно: жизнь кончена, преступление и позор слишком велики, чтобы надеяться на возвращение к ней! Пока еще оставался возле нее близкий человек, Евсей Бодуля. Но что будет, когда он сдаст ее с рук на руки хохлушке, переночует и уедет, навеки покинет ее в чужой стороне? Наплакавшись, она захотела есть. И Евсей, к удивлению ее, взглянул на это очень просто и, закусывая, разговаривал с ней так, как будто ничего не случилось. А потом она заснула – и очнулась уже в городе. И город поразил ее только скукой, сухью, духотой да еще чем-то смутно-страшным, тоскливым, что похоже было на сон, который не расскажешь. Запомнилось за этот день только то, что очень жарко летом в степи, что бесконечнее летнего дня и длиннее больших дорог нет ничего на свете. Запомнилось, что есть места на городских улицах, выложенные камнями, по которым престранно гремит телега, что издали пахнет город железными крышами, а среди площади, где отдыхали и кормили лошадей, возле пустых под вечер «обжорных» навесов, – пылью, дегтем, гниющим сеном, клоки которого, перебитые с конским навозом, остаются на стоянках мужиков. Евсей отпряг и поставил лошадь к телеге, к корму; сдвинул на затылок горячую шапку, вытер рукавом пот и, весь черный от зноя, ушел в харчевню. Он строго-настрого приказал Наташке «поглядывать» и, в случае чего, кричать на всю площадь. И Наташка сидела, не двигаясь, не сводила глаз с купола тогда только что построенного собора, огромной серебряной звездой горевшего где-то далеко за домами, – сидела до тех пор, пока не вернулся жующий, повеселевший Евсей и не стал, с калачом под мышкой, снова заводить лошадь в оглобли.

– Припоздали мы с тобой, королевщина, маленько! – оживленно бормотал он, обращаясь не то к лошади, не то к Наташке. Ну, да авось не удавят! Авось не на пожар... Я и назад гнать не стану, – мне, брат, барская лошадь подороже твоего хайла, – говорил он, уже разумея Демьяна. – Разинул хайло: "Ты у меня смотри! Я, в случае чего, догляжусь, что у тебя в портках-то..." А-ах! – думаю... Взяла меня обида поперек живота! С меня, мол, господа, и те еще не спускали порток-то... не тебе чета, чернебому. – "Смотри!" – А чего мне смотреть? Авось не дурей тебя. Захочу – и совсем не ворочусь: девку доправлю, а сам перекрещусь да потуда меня и видели... Я и на девку-то дивуюсь: чего, дура, затужила? Ай свет клином сошелся? Пойдут чумаки либо старчики какие мимо хутора – только слово сказать: в один мент за Ростовым-батюшкой очутишься... А там и поминай как звали!

И мысль: «удавлюсь» – сменилась в стриженной голове Наташки мыслью о бегстве. Телега закрипела и закачалась. Евсей смолк и повел лошадь к колодцу среди площади. Там, откуда приехали, опускалось солнце за большой монастырский сад, и окна в желтом остроге, что стоял против монастыря, через дорогу, сверкали золотом. И вид острога на минуту еще больше возбудил мысль о бегстве. Вона, и в бегах живут! Только вот говорят, что старчики выжигают ворванным девкам и ребятам глаза кипяченым молоком и выдают их за убогеньких, а чумаки завозят к морю и продают нагайцам... Случается, что и ловят господа своих беглых, забивают их в кандалы, в острог сажают... Да авось и в остроге не быки, а мужики, как говорит Герваська!

Но окна в остроге гасли, мысли путались, – нет, бежать еще страшнее, чем удавиться! Да смолк, отрезвел и Евсей.

– Припоздали, девка, – уже беспокойно говорил он, вскакивая боком на грядку телеги.

И телега, выбравшись на шоссе, опять затряслась, забила, шибко загремела по камням...

"Ах, лучше-то всего было бы назад повернуть ее, – не то думала, не то чувствовала Наташка, – повернуть, доскакать до Суходола – и упасть господам в ноги!" Но Евсей погонял. Звезды за домами уже не было. Впереди была белая голая улица, белая мостовая, белые дома – и все это замыкалось огромным белым собором под новым беложестяным куполом, и небо над ним стало бледно-синее, сухое. А там, дома, в это время уже роса падала, сад благоухал свежестью, пахло из топившейся поварской; далеко за равнинами хлебов, за серебристыми тополями на окраинах сада, за старой заветной баней догорала заря, а в гостиной были отворены двери на балкон, алый свет мешался с сумраком в углах, и желто-смуглая, черноглазая, похожая и на дедушку и на Петра Петровича барышня поминутно оправляла рукава легкого и широкого платья из оранжевого шелка, пристально смотрела в ноты, сидя спиной к заре, ударяя по желтым клавишам, наполняя гостиную торжественно-певучими, сладостно-отчаянными звуками полонеза Огинского и как будто не обращая никакого внимания на стоявшего за нею офицера – приземистого, темноликого, подпиравшего талию левой рукою и сосредоточенно-мрачно следившего за ее быстрыми руками...

"У ней – свой, а у меня – свой", – не то думала, не то чувствовала Наташка в такие вечера с замиранием сердца и бежала в холодный, росистый сад, забивалась в глушь крапивы и остро пахнущих, сырых лопухов и стояла, ждала несбыточного, – того, что сойдет с балкона барчук, пойдет по аллее, увидит ее и, внезапно свернув, приблизится к ней быстрыми шагами – и она не проронит от ужаса и счастья ни звука...

А телега гремела. Город был вокруг, жаркий и вонючий, тот самый, что представлялся прежде чем-то волшебным. И Наташка с болезненным удивлением глядела на разряженный народ, идущий взад и вперед по камням возле домов, ворот и лавок с раскрытыми дверями... "И зачем поехал тут Евсей, – думала она, – как решился он греметь тут телегой?"

Но проехали мимо собора, стали спускаться к мелкой реке по ухабистым пыльным косограм, мимо черных кузниц, мимо гнилых мещанских лачуг... Опять знакомо запахло пресной теплой водой, илом, полевой вечерней свежестью. Первый огонек блеснул вдали, на противоположной горе, в одиноком домишке близ шлагбаума... Вот и совсем выбрались на волю, переехали мост, поднялись к шлагбауму – и глянула в глаза каменная, пустынная дорога, смутно белеющая и убегающая в бесконечную даль, в синь степной свежей ночи. И лошадь пошла мелкой рысцей, а миновав шлагбаум, и совсем шагом. И опять стало слышно, что тихо, тихо ночью и на земле и в небе, – только где-то далеко плачет колокольчик. Он плакал все слышнее, все певучее и слился наконец с дружным топотом тройки, с ровным стуком бегущих по шоссе и приближающихся колес... Тройкой правил вольный молодой ямщик, а в бричке, уткнувши подбородок в шинель с капюшоном, сидел офицер. Поравнявшись с телегой, на мгновение поднял он голову – и вдруг увидела Наташка красный воротник, черные усы, молодые глаза, блеснувшие под каской, похожей на ведро... Она вскрикнула, помертвела, потеряла сознание...

Озарила ее безумная мысль, что это Петр Петрович, и, по той боли и нежности, которая молнией прошла ее нервное дворовое сердце, она вдруг поняла, чего она лишилась: близости к нему... Евсей кинулся поливать ее стриженую, отвалившуюся голову водой из дорожного жбана.

Тогда она очнулась от приступа тошноты – и торопливо перекинула голову за грядку телеги. Евсей торопливо подложил под ее холодный лоб ладонь...

А потом, облегченная, озябнувшая, с мокрым воротом, лежала она на спине и смотрела на звезды. Перепугавшийся Евсей молчал, думая, что она уснула, – только головой покачивал, – и погонял, погонял. Телега тряслась и убегала. А девчонке казалось, что у нее нет тела, что теперь у нее – одна душа. И душе этой было "так хорошо, ровно в царстве небесном"...

Аленьким цветочком, расцветшим в сказочных садах, была ее любовь. Но в степь, в глушь, еще более заповедную, чем глушь Суходола, увезла она любовь свою, чтобы там, в тишине и одиночестве, побороть первые, сладкие и жгучие муки ее, а потом надолго, навеки, до самой гробовой доски схоронить ее в глубине своей суходольской души.

VI

Любовь в Суходоле необычна была. Необычна была и ненависть.

Дедушка, погибший столь же нелепо, как и убийца его, как и все, что гибли в Суходоле, был убит в том же году. На Покров, престольный праздник в Суходоле, Петр Петрович назвал

гостей – и очень волновался: будет ли предводитель, давший слово быть? Радостно, неизвестно чему волновался и дедушка. Предводитель приехал – и обед удался на славу. Было и шумно и весело, дедушке – веселее всех. Рано утром второго октября его нашли на полу в гостиной мертвым.

Выйдя в отставку, Петр Петрович не скрыл, что он жертвует собою ради спасения чести Хрущевых, родового гнезда, родовой усадьбы. Не скрыл, что хозяйство он «поневоле» должен взять в свои руки. Должен и знакомства завести, дабы общаться с наиболее просвещенными и полезными дворянами уезда, а с прочими – просто не порывать отношений. И сначала все в точности исполнял, посетил даже всех мелкопоместных, даже хутор тетушки Ольги Кирилловны, чудовищно-толстой старухи, страдавшей сонной болезнью и чистившей зубы нюхательным табаком. К осени уже никто не дивился, что Петр Петрович правит имением единовластно. Да он и вид имел уже не красавчика-офицера, приехавшего на побывку, а хозяина, молодого помещика. Смущаясь, он не заливался таким темным румянцем, как прежде. Он выхолился, пополнел, носил дорогие архалуки, маленькие ноги свои баловал красными татарскими туфлями, маленькие руки украшал кольцами с бирюзой. Аркадий Петрович стеснялся смотреть в его карие глаза, не знал, о чем с ним говорить, первое время во всем уступал ему и пропадал на охоте.

На Покров Петр Петрович хотел очаровать всех до единого своим радушием, да и показать, что именно он первое лицо в доме. Но ужасно мешал дедушка. Дедушка был блаженно-счастлив, но бестактен, болтлив и жалок в своей бархатной шапочке с мошей и в новом, не в меру широком синем казакине, сшитом домашним портным. Он тоже вообразил себя радушным хозяином и суетился с раннего утра, устраивая какую-то глупую церемонию из приема гостей. Одна половинка дверей из прихожей в залу никогда не открывалась. Он сам отодвинул железные задвижки и внизу и вверху, сам придвигал стул и, весь трясясь, влезал на него; а распахнув двери, стал на порог и, пользуясь молчанием Петра Петровича, замиравшего от стыда и злобы, но решившегося все претерпеть, не сошел с места до приезда последнего гостя. Он не сводил глаз с крыльца, – и на крыльцо пришлось отворить двери, этого тоже будто бы требовал какой-то старинный обычай, – топтался от волнения, завидя же входящего, кидался ему навстречу, торопливо делал па, подпрыгивал, кидая ногу за ногу, отвешивал низкий поклон и, захлебываясь, всем говорил:

– Ну, как я рад! Как я рад! Давненько ко мне не жаловали! Милости прошу, милости прошу!

Бесило Петра Петровича и то, что дедушка всем и каждому зачем-то докладывал об отъезде Тонечки в Луневу, к Ольге Кирилловне. "Тонечка больна тоской, уехала к тетеньке на всю осень" – что могли думать гости после таких непрошенных заявлений? Ведь история с Войткевичем, конечно, уже всем была известна. Войткевич, может статься, и впрямь имел серьезные намерения, загадочно вздыхая возле Тонечки, играя с ней в четыре руки, глухим голосом читая ей «Людмилу» или говоря в мрачной задумчивости: "Ты мертвецу святыней слова обручена..." Но Тонечка бешено вспыхивала при каждой его даже самой невинной попытке выразить свои чувства, – поднести, например, ей цветок, – и Войткевич внезапно уехал. Когда он уехал, Тонечка стала не спать по ночам, в темноте сидеть возле открытого окна, точно поджидая какого-то известного ей срока, чтобы вдруг громко зарыдать – и разбудить Петра Петровича. Он долго лежал, стиснув зубы, слушая эти рыдания да мелкий, сонный лепет тополей за окнами в темном саду, похожий на непрерывный дождик. Затем шел успокаивать. Шли успокаивать и заспанные девки, иногда тревожно прибежал дедушка. Тогда Тонечка начинала топтать ногами, кричать: "Отвяжитесь от меня, враги мои лютые!" – и дело кончалось безобразной бранью, чуть не дракой.

– Да пойми же ты, пойми, – бешено шипел Петр Петрович, выгнав вон девок, дедушку, хлопнув дверь и крепко ухватясь за скобку, – пойми, змея, что могут вообразить!

– Ай! – неистово взвизгивала Тонечка. – Папенька, он кричит, что я брюхата!

И, вцепившись себе в голову, Петр Петрович кидался вон из комнаты.

Очень тревожил на Покров и Герваська: как бы не нагрубил при каком-нибудь неосторожном слове.

Герваська страшно вырос. Огромный, нескладный, но и самый видный, самый умный из слуг, он тоже был наряжен в синий казакин, такие же шаровары и мягкие козловые сапоги без каблуков. Гарусный лиловый платок повязывал его тонкую темную шею. Черные, сухие, крупные волосы он причесал на косою ряд, но остричься под польку не пожелал! – подрубил их в кру-

жок. Брить было нечего, только два-три редких и жестких завитка чернело на его подбородке и по углам большого рта, про который говорили: "Рот до ушей, хоть завязочки пришей". Будылястый, очень широкий в плоской костлявой груди, с маленькой головою и глубокими орбитами, тонкими пепельно-синими губами и крупными голубоватыми зубами, он, этот древний ариец, парс из Суходола, уже получил кличку: борзой. Глядя на его оскал, слушая его покашливания, многие думали: "А скоро ты, борзой, издохнешь!" Вслух же, не в пример прочим, величали молокососа Гервасием Афанасьевичем.

Боялись его и господ. У господ было в характере то же, что у холопов: или властвовать, или бояться. За дерзкий ответ дедушке в день приезда Петра Петровича Герваське, к удивлению дворни, ровно ничего не было. Аркадий Петрович сказал ему кратко: "Положительно скотина ты, брат!" – на что и ответ получил очень краткий: "Терпеть его не могу я, сударь!" А к Петру Петровичу Герваська сам пришел: стал на порог и, по своей манере, развязно осев на свои несоответственно с туловищем длинные ноги в широчайших шароварах, углом выставив левое колено, попросил, чтоб его выпороли.

– Очень я грубиян и горячий, сударь, – сказал он безразлично, играя черными глазищами.

И Петр Петрович, почувствовав в слове «горячий» намек, струсил.

– Успеется еще, голубчик! Успеется! – притворно-строго крикнул он. – Выйди вон! Я тебя, дерзкого, видеть не могу.

Герваська постоял, помолчал. Потом сказал:

– Есть на то воля ваша.

Постоял еще, крутя жесткий волос на верхней губе, поскалил по-собачьи голубоватые челюсти, не выражая на лице ни единого чувства, и вышел. Твердо убедился он с тех пор в выгоде этой манеры – ничего не выражать на лице и быть как можно более кратким в ответах. А Петр Петрович стал не только избегать разговоров с ним, но даже в глаза ему смотреть.

Так же безразлично, загадочно держался Герваська и на Покров. Все сбились с ног, готовясь к празднику, отдавая и принимая распоряжения, ругаясь, споря, моя полы, чистя синеющим мелом темное тяжелое серебро икон, поддавая ногами лезущих в сенцы собак, боясь, что не застынет желе, что не хватит вилок, что пережарятся налевашники, хворостики; один Герваська спокойно ухмылялся и говорил бесившемуся Казимиру, алкоголику-повару: "Потише, отец дьякон, подрясник лопнет!"

– Смотри не напейся, – рассеянно, волнуясь из-за предводителя, сказал Герваське Петр Петрович.

– С отроду не пил, – как равному кинул ему Герваська. – Не антсресно.

И потом, при гостях, Петр Петрович даже заискивающе кричал на весь дом:

– Гервасий! Не пропадай ты, пожалуйста. Без тебя как без рук.

А Герваська вежливейше и с достоинством отзывался:

– Не извольте, сударь, беспокоиться. Не посмею отлучиться.

Он служил, как никогда. Он вполне оправдывал слова Петра Петровича, вслух говорившего гостям:

– До чего дерзок этот дылда, вы и представить себе не можете! Но положительно гений! Золотые руки!

Мог ли он предположить, что роняет в чашу именно ту каплю, которая переполнит ее? Дедушка услышал его слова. Он затеребил на груди казакин и вдруг через весь зал закричал предводителю:

– Ваше превосходительство! Подайте руку помощи! Как к отцу, прибегаю к вам с жалобой на слугу моего! Вот на этого, на этого – на Гервасия Афанасьева Куликова! Он на каждом шагу уничтожает меня! Он...

Его прервали, уговорили, успокоили. Взволновался дедушка до слез, но его стали успокаивать так дружно и с таким почтением, конечно насмешливым, что он сдался и почувствовал себя опять детски-счастливым. Герваська стоял у стены строго, с опущенными глазами и слегка поворотив голову. Дедушка видел, что у этого великана чересчур мала голова, что она была бы еще меньше, если бы остричь ее, что затылок у него острый и что особенно много волос именно на затылке, – крупных, черных, грубо подрубленных и образующих выступ над тонкой шеей. От загара, от ветра на охоте темное лицо Герваськи местами шелушилось, было в бледно-лиловых пятнах. И дедушка со страхом и тревогой кидал взгляды на Герваську, но все-таки радостно кри-

чал гостям:

– Хорошо, я прощаю его! Только за это я не отпущу вас, дорогие гости, целых три дня. Ни за что не отпущу! Особливо же прошу, не уезжайте на вечер. Как дело на вечер, я сам не свой: такая тоска, такая жуть! Тучки заходят, в Трошином лесу, говорят, опять двух французов бонапартишкиных поймали... Я беспрерывно помру вечером, – попомните мое слово! Мне Мартын Задека предсказал...

Но умер он рано утром.

Он настоял-таки: "ради него" много народу осталось ночевать; весь вечер пили чай, варенья было страшно много и все разное, так что можно было подходить и пробовать, подходить и пробовать; затем наставили столов, зажгли столько спермацетовых свечей, что они отражались во всех зеркалах, и по комнатам, полным дыма душистого жуковского табаку, шума и говора, был золотистый блеск, как в церкви. Главное же, многие ночевать остались. И, значит, впереди был не только новый веселый день, но и большие хлопоты, заботы: ведь если бы не он, не Петр Кириллыч, никогда не сошел бы так отлично праздник, никогда не было бы такого оживленного и богатого обеда.

"Да, да, – волнуясь, думал дедушка ночью, скинув казакин и стоя в своей спальне перед аналоем, перед зажженными на нем восковыми свечечками, глядя на черный образ Меркурия. – Да, да, смерть грешнику люта... Да не зайдет солнце в гнев нашем!"

Но тут он вспомнил, что хотел подумать что-то другое; горбясь и шепча пятидесятый псалом, прошелся по комнате, поправил тлевшую на ночном столике курительную монашку, взял в руки Псалтирь и, развернув, снова с глубоким, счастливым вздохом поднял глаза на безглавого святого. И вдруг напал на то, что хотел подумать, и засиял улыбкой:

– Да, да: есть старик – убил бы его, нет старика – купил бы его!

Боясь проспать, не распорядиться о чем-то, он почти не спал. А рано утром, когда в комнатах, еще не убранных и пахнувших табаком, стояла та особенная тишина, что бывает только после праздника, осторожно, на босу ногу вышел он в гостиную, заботливо поднял несколько мелков, валявшихся у раскрытых зеленых столов, и слабо ахнул от восторга, взглянув на сад за стеклянными дверями: на яркий блеск холодной лазури, на серебро утренняя, покрывшего и балкон и перила, на коричневую листву в голых зарослях под балконом. Он отворил дверь и потянул носом: еще горько и спиртуозно пахло из кустов осенним тлением, но этот запах терялся в зимней свежести. И все было неподвижно, успокоенно, почти торжественно. Чуть показавшееся сзади, за деревней, солнце озаряло вершины картинной аллеи, полуголых, осыпанных редким и мелким золотом, белоствольных берез, и прелестный, радостный, неуловимо-лиловатый тон был в этих белых с золотом вершинах, сквозивших на лазури. Пробежала собака в холодной тени под балконом, хрустя по сожженной морозом и точно солью осыпанной траве. Хруст этот напомнил зиму – и, с удовольствием передернув плечами, дедушка вернулся в гостиную и, затаивая дыхание, стал передвигать, расставлять тяжелую, рычащую по полу мебель, изредка поглядывая в зеркало, где отражалось небо. Вдруг неслышно и быстро вошел Герваська – без казакина, заспанный, "злой, как черт", как он сам же про себя рассказывал потом.

Он вошел и строго крикнул шепотом:

– Тише ты! Чего лезешь не в свое дело?

Дедушка поднял возбужденное лицо и, с той же нежностью, которая не покидала его весь вчерашний день и всю ночь, шепотом ответил:

– Вот видишь, какой ты, Гервасий! Я простил тебя вчерась, а ты, вместо благодарности барину...

– Надоел ты мне, слюнтяй, хуже осени! – перебил Герваська. – Пусти.

Дедушка со страхом взглянул на его затылок, еще более выступавший теперь над тонкой шеей, торчавшей из ворота белой рубахи, но вспыхнул и загородил собою ломберный стол, который хотел тащить в угол.

– Ты пусти! – мгновение подумав, негромко крикнул он. – Это ты должен уступить барину. Ты доведешь меня: я тебе кинжал в бок всажу!

– А! – досадливо сказал Герваська, блеснув зубами, – и наотмашь ударил его в грудь.

Дедушка поскользнулся на гладком дубовом полу, взмахнул руками – и как раз виском ударился об острый угол стола.

Увидя кровь, бессмысленно-раскосившиеся глаза и разинутый рот, Герваська сорвал с еще

теплой дедушкиной шеи золотой образок и ладанку на заношенном шнуре... оглянулся, сорвал и бабушкино обручальное кольцо с мизинца... Затем неслышно и быстро вышел из гостиной – и как в воду канул.

Единственным человеком из всего Суходола, видевшим его после этого, была Наталья.

VII

Пока жила она в Сошках, произошло в Суходоле еще два крупных события: женился Петр Петрович и отправились братья «Охотниками» в Крымскую кампанию.

Вернулась она только через два года: о ней забыли. И, вернувшись, не узнала Суходола, как не узнал ее и Суходол.

В тот летний вечер, когда телега, присланная с барского двора, заскрипела возле хуторской хаты и Наташка выскочила на порог, Евсей Бодуля удивленно воскликнул:

– Ужли это ты, Наташка?

– А то кто же? – ответила Наташка с чуть заметной улыбкой.

И Евсей покачал головою:

– Добре ты не хороша-то стала!

А стала она только не похожа на прежнюю: из стриженной девчонки, круглолицой и ясноглазой, превратилась в невысокую, худощавую, стройную девку, спокойную, сдержанную и ласковую. Она была в плахте и вышитой сорочке, хотя покрыта темным платочком по-нашему, немного смугла от загара и вся в мелких веснушках цвета проса. А Евсею, истому суходольцу, и темный платок, и загар, и веснушки, конечно, казались некрасивыми.

На пути в Суходол Евсей сказал:

– Ну, вот, девка, и невестой ты стала. Хочется замуж-то?

Она только головой помотала:

– Нет, дядя Евсей, никогда не пойду.

– Это с какой же радости? – спросил Евсей и даже трубку изо рта вынул.

И не спеша она пояснила: не всем же замужем быть; отдадут ее, верно, барышне, а барышня обрекла себя Богу и, значит, замуж ее не пустит; да и сны уж очень явственные снились ей не раз...

– Что ж ты видела? – спросил Евсей.

– Да так, пустое, – сказала она. – Напугал меня тогда Герваська до смерти, наговорил новостей, раздумалась я... Ну, вот и снилось.

– А ужли правда, завтракал он у вас, Герваська-то?

Наташка подумала:

– Завтракал. Пришел и говорит: пришел я к вам от господ по большому делу, только дайте сперва поесть мне. Ему и накрыли, как путному. А он наелся, вышел из избы и мне моргнул. Я выскочила, он рассказал мне за углом все дочиста, да и пошел себе...

– Да что ж ты хозяев-то не кликнула?

– Эко-ся. Он убить пригрозил. До вечера не велел сказывать. А им сказал, – спать под анбар иду...

В Суходоле с большим любопытством глядела на нее вся дворня, приставали с расспросами подружки и сверстницы по девичьей. Но и подругам отвечала она все так же кратко и точно любуясь какой-то ролью, взятой на себя.

– Хорошо было, – повторяла она.

А раз сказала тоном богомолки:

– У Бога всего много. Хорошо было.

И просто, без промедлений вступила в рабочую, будничную жизнь, как бы совсем не дивясь тому, что нет дедушки, что ушли молодые господа на войну «Охотниками», что барышня «тронулась» и бродит по комнатам, подражая дедушке, что правит Суходолом новая, всем чужая барыня, – маленькая, полная, очень живая, беременная...

Барыня крикнула за обедом:

– Позовите же сюда эту... как ее? – Наташку.

И Наташка быстро и неслышно вошла, перекрестилась, поклонилась в угол, образам, потом барыне и барышне – и стала, ожидая расспросов и приказаний. Расспрашивала, конечно, только

барыня, – барышня, очень выросшая, похудевшая, востроносая, глядя своими неправдоподобно-черными глазами пристально-тупо, ни слова не проронила. Барыня же и определила ее состоять при барышне. И она поклонилась и просто сказала:

– Слушаю-с.

Барышня, глядя все так же внимательно-равнодушно, внезапно кинулась на нее вечером и, яростно раскосив глаза, жестоко и с наслаждением изорвала ей волосы – за то, что она неумело дернула с ее ноги чулок. Наташка по-детски заплакала, но смолчала; а выйдя в девичью, сев на коник и выбирая вырванные волосы, даже улыбнулась сквозь висевшие на ресницах слезы.

– Ну, люта-а! – сказала она. – Трудно мне будет.

Барышня, проснувшись утром, долго лежала в постели, а Наташка стояла у порога и, опустив голову, искоса поглядывала на ее бледное лицо.

– Что ж видела во сне? – спросила барышня так равнодушно, точно кто-то другой говорил за нее.

Она ответила:

– Кажись, ничего-с.

И тогда барышня, опять так же внезапно, как вчера, вскочила с постели, бешено запустила в нее чашку с чаем и, упав на постель, горько, с криком зарыдала. От чашки Наташка увернулась – и вскоре научилась увертываться с необыкновенной ловкостью. Оказалось, что глупым девкам, отвечавшим на вопрос о снах: "Ничего-с не видала", – барышня кричала иногда: "Ну, полги что-нибудь!" Но так как лгать Наташка была не мастерица, то и пришлось ей развивать в себе другое уменье: увертываться.

Наконец к барышне привезли лекаря. Лекарь дал ей много пилюль, капель. Боясь, что ее отравят, барышня заставила перепробовать эти пилюли и капли Наташку – и та без отказа перепробовала их все подряд. Вскоре после приезда узнала она, что барышня ждала ее "как света белого": барышня-то и вспомнила о ней – все глаза проглядела, не едут ли из Сошек, горячо уверяла всех, что будет совсем здорова, как только вернется Наташка. Наташка вернулась – и встречена была совершенно равнодушно. Но не были ли слезы барышни слезами горького разочарования? У Наташки дрогнуло сердце, когда она сообразила все это. Она вышла в коридор, села на рундук и опять заплакала.

– Что ж, лучше тебе? – спросила барышня, когда она вошла к ней потом с опухшими глазами.

– Лучше-с, – шепотом сказала Наташка, хотя от лекарств у нее замирало сердце и кружилась голова, и, подойдя, горячо поцеловала руку барышни.

И долго после того ходила с опущенными ресницами, боясь поднять их на барышню, умиленная жалостью к ней.

– У, хохлушка подколодная! – крикнула раз одна из подруг ее по девичьей, Солошка, чаще всех пытавшаяся стать наперсницей всех тайн и чувств ее и постоянно натывавшаяся на краткие, простые ответы, исключавшие всякую прелесть девичьей дружбы.

Наташка грустно усмехнулась.

– А что ж, – сказала она задумчиво. – И то правда. С кем поведешься, от того и наберешься. Я иной раз по отцу-матери не жалкую так-то, как по хохлам своим...

В Сошках она сперва совсем не придавала значения тому новому, что окружало ее. Приехали под утро и странным показалось ей в это утро только то, что хата очень длинна и бела, далеко видна среди окрестных равнин, что хохлушка, топившая печь, поздоровалась приветливо, а хохол не слушал Евсея. Евсей молчал без умолку – и о господах, и о Демьяне, и о жаре в пути, и о том, что ел он в городе, и о Петре Петровиче, и, уж конечно, о зеркальце, – а хохол, Шарый, или, как звали его в Суходоле, Барсук, только головой мотал и вдруг, когда Евсей смолк, рассеянно глянул на него и превесело заныл под нос: "Круть, верть, метелица..." Потом стала она понемногу приходить в себя – и дивоваться на Сошки, находить в них все больше прелести и несходства с Суходолом. Одна хата хохлацкая чего стоила – ее. белизна, ее гладкая, ровная, очеретеная крыша. Как богато казалось в этой хате внутреннее убранство по сравнению с неряшливым убожеством суходольских изб! Какие дорогие фольговые образа висели в углу ее, что за дивные бумажные цветы окружали их, как красиво пестрели полотенца, висевшие под ними! А узорчатая скатерть на столе! А ряды сизых горшков и махоточек на полках возле печи! Но удивительнее всего были хозяева.

Чем они удивительны, она не совсем понимала, но чувствовала постоянно. Никогда еще не видала она таких опрятных, спокойных и ладных мужиков, как Шарый. Был он невысок, голову имел клином, стриженую, в густом крепком серебре, усы, – он только усы носил, – тоже серебряные, узкие, татарские, лицо и шею черные от загара, в глубоких морщинах, но тоже каких-то ладных, определенных, нужных почему-то. Ходил он неловко, – тяжелы были его сапоги, – в сапоги заправлял порты из грубого беленого холста, в порты – такую же рубаху, широкую под мышками, с отложным воротом. На ходу гнулся слегка. Но ни эта манера, ни морщины, ни седина не старили его: не было ни усталости нашей, ни вялости в его лице; небольшие глаза глядели остро, тонко-насмешливо. Старика-серба, откуда-то заходившего однажды в Суходол с мальчиком, игравшим на скрипке, напомнил он Наташке.

А хохлушку Марину суходольны прозвали Копьем. Стройна была эта высокая пятидесятилетняя женщина. Желтоватый загар ровно покрывал тонкую, не суходольскую кожу ее широкоскулого лица, грубоватого, но почти красивого своей прямоотой и строгой живостью глаз – не то агатовых, не то янтарно-серых, менявшихся, как у кошки. Высоким тюрбаном лежал на ее голове большой черно-золотой, в красном горошке, платок; черная, короткая плахта, резко оттенявшая белизну сорочки, плотно облегла удлиненные бедра и голени. Обувалась она на босу ногу, в башмаки с подковками, голые берцы ее были тонки, но округлы, стали от солнца как полированное желто-коричневое дерево. И когда она порою пела за работой, сдвинув брови, сильным грудным голосом, песню об осаде неверными Нечаева, о том,

Як зійшла зоря вечірова,
Та над Почаевом стала,

как сама Божья Матерь святой монастырь «рятувала», в голосе ее было столько безнадежности, завывания, но вместе с тем столько величия, силы, угрозы, что Наташка не спускала в жутком восторге глаз с нее.

Детей хохлы не имели; Наташка была сирота. И живи она у суходольцев, звали бы ее дочкой приемной, а порой и воровкой, то жалели бы ее, то глаза кололи. А хохлы были почти холодны, но ровны в обращении, совсем не любопытны и не многоречивы. Осенью пригоняли на косьбу, на молотьбу калужских баб и девок, которых звали за их пестрые сарафаны «распашонками». Но распашонки Наташка чуждалась: слыли они распутными, дурноболезными, были грудасты, охальны и дерзки, ругались скверно и с наслаждением, прибаутками так и сыпали, на лошадей садились по-мужичьи, скакали как угорелые. Рассеялось бы ее горе в привычном быту, в откровенностях, в слезах и песнях. Да с кем было откровенничать или песни петь? Распашонки затягивали своими грубыми голосами, подхватывали их не в меру дружно и зычно, с еканьем и свистом. Шарый пел только насмешливо-плясовое что-то. А Марина в своих песнях, даже любовных, была строга, горда и задумчиво-сумрачна.

В кінці греблі шумлять верби,
Що я посадила, –

тоскливо-протяжно рассказывала она – и прибавляла, понижая голос, твердо и безнадежно:

Нема мого
Миленького,
Що я полюбила...

И в одиночестве, медленно испила Наташка первую, горько-сладкую отраву неразделенной любви, перестрадала свой стыд, ревность, страшные и милые сны, часто сновившиеся ей по ночам, несбыточные мечты и ожидания, долго томившие ее в молчаливые степные дни. Часто жгучая обида сменялась в ее сердце нежностью, страсть и отчаяние – покорностью, желанием самого скромного, незаметного существования близ *него*, любви, навеки скрытой от всех и ничего не ждущей, ничего не требующей. Вести, новости, доходившие из Суходола, отрезвляли. Но не было долго вестей, не было ощущения будничной суходольской жизни – и начинал казаться Суходол таким прекрасным, таким желанным, что не хватало сил терпеть одиночество и горе... Вдруг

явился Герваська. Он торопливо-резко вскинул ей все суходольские новости, в полчаса рассказал то, что другой не сумел бы и в день рассказать, – вплоть до того, как он насмерть «толкнул» деда, и твердо сказал:

– Ну, а теперь прощай довеку!

Он, прожигая ее, ошеломленную, своими глазами, крикнул, выходя на дорогу:

– А дурь из головы пора вон выбить! Он вот-вот женится, ты ему и в любовницы не годишься... Образуясь!

И она образумилась. Пережила страшные новости, пришла в себя – и образумилась.

Дни потянулись после того мерно, скучно, как те богомолки, что шли и шли по шоссе мимо хутора, вели, отдыхая, долгие беседы с ней, учили терпению да надежде на Господа Бога, имя которого произносилось тупо, жалобно, а пуще всего правилу: не думать.

– Думай не думай – по-нашему не будет, – говорили богомолки, перевязывая лапти, морща измученные лица и расслабленно глядя в степную даль. – У Господа Бога всего много... Сорвика ты нам, деушка, лучку украдкой...

А иные, как водится, и стращали – грехами, тем светом, сулили еще и не такие беды и страхи. И однажды приснилось ей чуть не подряд два ужасных сна. Все думала она о Суходоле, – трудно было сначала не думать-то! – думала о барышне, о дедушке, о своем будущем, гадала, выйдет ли она замуж, и если выйдет, то когда, за кого... Думы так незаметно перешли однажды в сон, что совершенно явственно увидела она предвечернее время знойного, пыльного, тревожно-ветреного дня и то, что бежит она на пруд с ведрами – и вдруг видит на глинисто-сухом косогоре безобразного, головастого мужика-карлика в разбитых сапогах, без шапки, со всклоченными ветром рыжими кудлами, в распоясанной, развевающейся огненно-красной рубахе. "Дедушка! – крикнула она в тревоге и ужасе. – Ай пожар?" – "До шпенту все слетит сейчас! – тоже криком, заглушаемым горячим ветром, отозвался карлик. – Туча идет несказанная! И думать не моги замуж собираться!" – А другой сон был и того страшнее: стояла она будто бы в полдень в жаркой пустой избе, припертая кем-то снаружи, замирала, ждала чего-то – и вот выпрыгнул из-за печки громадный серый козел, вскинулся на дыбы и прямо к ней, непристойно возбужденный, с горящими, как уголья, радостно-бешеными и молящими глазами. "Я твой жених!" – крикнул он человеческим голосом, быстро и неловко подбегая, мелко топоча маленькими задними копытцами – и с размаху упал ей на грудь передними...

Вскакивая после таких снов на своей постели в сенцах, чуть не умирала она от сердцебиения, от страха темноты и мысли, что не к кому кинуться ей.

– Господи Иисусе, – скороговоркой шептала она. – Матушка Царица Небесная! Угодники божий!

Но оттого, что все угодники представлялись ей коричневыми и безглавыми, как Меркурий, делалось еще страшнее.

Когда же стала она обдумывать сны, то в голову стало приходиться, что девичьи годы ее кончены, что судьба ее уже определилась, – недаром выпало ей на долю нечто необычное, любовь к барину! – что ждут ее еще какие-то испытания, что надо подражать хохлам в сдержанности, а богомолкам – в простоте и смирении. И так как любят суходольны играть роли, внушать себе непреложность того, что будто бы должно быть, хотя сами же они и выдумывают это должное, то взяла на себя роль и Наташка.

VIII

У нее ноги отнялись от радости, когда, выскочив на порог накануне Петрова дня, поняла она, что Бодуля – за нею, когда увидела она запыленную, растрепанную суходольскую телегу, увидела рваную шапку на лохматой голове Бодули, его выцветшую на солнце путаную бороду, его лицо, усталое и возбужденное, до времени состарившееся и безобразное, даже непонятное какое-то в убожестве и несоразмерности черт, увидела знакомого кобеля, тоже лохматого, имеющего какое-то сходство не только с Бодулей, но со всем Суходолом, – мутно-серого на спине, а спереди, с груди, с густо-опушенной шеи, точно прокопченного темным дымом курной избы. Но она быстро овладела собою. Бодуля по пути домой плел, что в голову влезет, о Крымской войне, то как будто радовался ей, то сокрушался, и Наташка рассудительно говорила:

– Что ж, видно, надобно окоротить их, французов-то...

Весь долгий день на пути к Суходолу прошел в жутком ощущении – смотреть новыми глазами на старое, знакомое, переживать, приближаясь к родному углу, прежнюю самое себя, замечать перемены, узнавать встречных. При повороте в Суходол с большой дороги, на парах, заросших сергибусом, бегал третьяк жеребенок: мальчишка, став на веревочный повод босой ногой, уцепился за шею жеребенка и силился закинуть другую на спину, а жеребенок не давался, бегал, тряс его. И Наташка радостно взволновалась, признав в мальчишке Фомку Пантюхина. Повстречался столетний Назарушка, сидевший в пустой телеге уже не по-мужичьи, а по-бабьи, – с прямо вытянутыми ногами, – с напряженно, высоко и слабосильно поднятыми плечами, с бесцветными, жалко-грустными глазами, исхудевший до того, что "нечего в гроб положить", без шапки и в длинной ветхой рубахе, сизой от золы, от постоянного лежания в печке. И опять содрогнулось сердце, – вспомнилось, как года три тому назад добрейший и беззаботнейший Аркадий Петрович хотел пороть этого Назарушку, пойманного на огороде с хвостиком редьки и плававшего среди дворни, окружившей его, еле живого от страха, и с хохотом кричавшей:

– Нет, дед, не калянься: видно, уж придется подгузники скидывать! Не минуешь!

А как забилося сердце, когда увидела она выгон, ряд изб – и усадьбу: сад, высокую крышу дома, задние стены людских, амбаров, конюшен. Желтое ржаное поле, полное васильков, вплотную подходило к этим стенам, к бурьянам, татаркам; чей-то белый в коричневых пятнах теленок тонул среди овсов, стоял в них, объедая кисти. Все вокруг было мирно, просто, обычно – все необычнее, все тревожнее становилось только в ее уме, который и совсем помутился, когда шибко покатила телега по широкому двору, белевшему спящими борзыми, как погост камнями, когда, впервые после двухлетнего пребывания в избе, вошла она в прохладный дом, так знакомо пахнувший восковыми свечами, липовым цветом, буфетной, казацким седлом Аркадия Петровича, валявшимся на лавке в прихожей, опустевшими перепелиными клетками, висевшими над окном, – и робко взглянула на Меркурия, перенесенного из дедушкиных покоев в угол прихожей...

По-прежнему весело озарен был сумрачный зал солнцем, светившим из сада в маленькие окна. Цыпленок, неизвестно зачем попавший в дом, сиротливо пищал, бродя по гостинной. Липовый цвет сох и благоухал на горячих, ярких подоконниках... Казалось, – все старое, что окружало ее, помолодело, как всегда бывает это в домах после покойника. Во всем, во всем – и особенно в запахе цветов – чувствовалась часть ее собственной души, ее детства, отрочества, первой любви. И жаль было выросших, умерших, изменившихся – самое себя, барышню. Выросли ее сверстники и сверстницы. Многие старики и старухи, качавшие от дряхлости головами и порою тупо выглядывавшие с порогов людских на мир божий, навсегда исчезли из этого мира. Исчезла Дарья Устиновна. Исчез дедушка, так по-детски боявшийся смерти, думавший, что смерть будет овладевать им медленно, приуговоря его к страшному часу, и так неожиданно, молниеносно скошенный ее косою. И не верилось, что нет его, что под могильным бугром возле церкви села Черкизова истлел именно он. Не верилось, что эта черная, худая, востроносая женщина, то равнодушная, то бешеная, то тревожно-болтливая и откровенная с ней, как с равной, то вырывающая ей волосы, – барышня Тонечка. Непонятно было, почему хозяйствует в доме какая-то Клавдия Марковна, маленькая, крикливая, с черными усиками... Раз робко заглянула Наташка в ее спальню, увидела роковое зеркальце в серебряной оправе – и сладостно прихлынули к ее сердцу все ее прежние страхи, радости, нежность, ожидание стыда и счастья, запах росистых лопухов на вечерней заре... Но все чувства, все помыслы затаивала, подавляла она в себе. Старая, старая суходольская кровь текла в ней! Слишком пресный хлеб ела она с того суглинка, что окружал Суходол. Слишком пресную воду пила из тех прудов, что изрыли ее деды в русле иссякнущей речки. Не пугали ее изнуряющие будни – пугало необычное. Не страшила даже смерть; но в трепет приводили сны, ночная темнота, буря, гром и – огонь. Как ребенка под сердцем, носила она смутное ожидание каких-то неминуемых бед...

Это ожидание старило ее. Да и неустанно внушала она себе, что молодость миновала, во всем искала доказательства тому. И не сровнялось года с приезда ее в Суходол, как уже следа не осталось от того молодого чувства, с которым перешагнула она порог суходольского дома.

Родила Клавдия Марковна. Федосью-птичницу произвели в няньки – и Федосья, женщина еще молодая, надела темное старушечье платье, стала смиренной, богобоязненной. Еще едва тарачил молочные бессмысленные глазки, пускал пузырями слюну, беспомощно падал вперед, одолеваемый тяжестью собственной головы, и свирепо орал новый Хрущев. А его уже называли барчуком, – уже слышались из детской старые, старые причитания:

– Вон он, вон он, старик-то с мешком... Старик, старик! Не ходи к нам, мы не дадим тебе барчука, он не будет кричать...

И Наташка подражала Федосье, считая себя тоже нянькой – нянькой и подругой больной барышни. Зимой умерла Ольга Кирилловна – и она выпросилась ехать со старухами, доживавшими свой век в людских, на похороны, ела там кутью, которая внушала ей отвращение своим пресным и приторным вкусом, а воротясь в Суходол, с умилением рассказывала, что лежала барыня "почесть совсем как живая", хотя даже старухи не решались глядеть на гроб с этим чудовищным телом.

А весной привозили к барышне колдуна из села Чермашного, знаменитого Клим Ерохина, благообразного, богатого однодворца, с сивой большой бородой, с сивыми кудрями, расчесанными на прямой ряд, очень дельного хозяина и очень разумного, простого в речах обычно, но преображавшегося в волхва возле болящих. На редкость крепка и опрятна была его одежда – поддевка из сермяги железного цвета, красная подпояска, сапоги. Хитры и зорки были его маленькие глаза, истово искал он ими образа, осторожно, немного согнув свой ладный стан, входил он в дом, деловито начинал разговор. Говорил он сперва о хлебах, о дождях и засухе, потом долго, аккуратно пил чай, потом опять крестился и уже после всего этого, сразу меняя тон, спрашивал о болящем.

– Зорька... темнеет... пора, – говорил он таинственно.

Барышню била лихорадка, она готова была покатиться в судорогах на пол, когда, сидя в сумерках в спальне, ожидала она появления на пороге Клим. С ног до головы была охвачена жутью и Наталья, стоявшая возле нее. Стихал весь дом, – даже барыня набивала девками свою комнату и разговаривала шепотом. Ни единого огня не смел никто зажечь, ни единого голоса возвысить. У веселой Солошки, дежурившей в коридоре, – на случай зова, приказаний Клим, – мутилось в глазах и колотилось в горле сердце. И вот он проходил мимо нее, развязывая на ходу платочек с какими-то колдовскими косточками. Затем из спальни раздавался в гробовой тишине его громкий, необычный голос:

– Встань, раба Божия!

Затем показывалась его сивая голова из-за двери.

– Доску, – кидал он безжизненно.

И на доску, положенную на пол, ставили барышню, с выкатившимися от ужаса глазами, похолодевшую, как покойник. Уже так темно было, что едва различала Наталья лицо Клим. И вдруг он начинал странным, отдаленным каким-то голосом:

– Взыдет Филат... Окна откроет... Двери растворит... Кликнет и скажет: тоска, тоска!

– Тоска, тоска! – восклицал он с внезапной силой и грозной властью. – Ты иди, тоска, во темные леса, – там твои мяста! На море, на окяне, – бормотал он глухой зловещей скороговоркой, – на море, на окяне, на острове Буяне лежит сучнища, на ей серая рунища...

И чувствовала Наталья, что нет и не может быть более ужасных слов, чем эти, сразу переносящие всю ее душу куда-то на край дикого, сказочного первобытно-грубого мира. И нельзя было не верить в силу их, как не мог не верить в нее и сам Клим, делавший порою прямо чудеса над одержимым недугом, – тот же Клим, что так просто и скромно говорил, сидя после волхвования в прихожей, вытирая потный лоб платочком и опять принимаясь за чай:

– Ну, теперь еще две зорьки осталось... Авось, Бог даст, полегчает маленько... Сеяли гречишку-то в нынешнем годе, сударыня? Хороши, говорят, нонче гречихи! Дюже хороши!

Летом ждали из Крыма хозяев. Но прислал Аркадий Петрович «страховое» письмо с новым требованием денег и вестью, что раньше начала осени нельзя им вернуться – по причине небольшой, но требующей долгого покоя раны Петра Петровича. Послали к пророчице Даниловне в Черкизово спросить, благополучно ли кончится болезнь. Даниловна заплясала, защелкала пальцами, что, конечно, означало: благополучно. И барыня успокоилась. А барышне и Наталье не до них было. Барышне сперва полегчало. Но с конца Петровок опять началось: опять тоска и такой страх гроз, пожаров и еще чего-то, что она затаивала, что не до братьев ей было. Не до них стало и Наталье. На каждой молитве она поминала Петра Петровича за здоровье, как потом всю жизнь свою, до гробовой доски, поминала его за упокой. Но барышня была ей уже ближе всех. И барышня все больше заражала ее своими страхами, ожиданиями бед – и тем, что держала она в тайне.

Лето же было знойное, пыльное, ветреное, с каждодневными грозами. По народу бродили

темные, тревожные слухи – о какой-то новой войне, о каких-то бунтах и пожарах. Одни говорили, что вот-вот отойдут все мужики на волю, другие, что, напротив, будут с осени забривать в солдаты всех мужиков поголовно. И, как водится, появились в несметном количестве бродяги, дурачки, монахи. И барышня чуть не в драку лезла с барыней из-за них, оделяла их хлебом, яйцами. Приходил Дроня, длинный, рыжий, не в меру оборванный. Был он просто пьяница, но играл блаженного. Он так задумчиво шел по двору прямо к дому, что стучался головой в стену и с радостным лицом отскакивал.

– Птушечки мои! – фальцетом вскрикивал он, подпрыгивая, изламывая все тело и правую руку, делая из нее как бы щиток от солнца. – Полетели, полетели по поднебесью мои птушечки!

И Наталья, подражая бабам, смотрела на него так, как и полагается смотреть на божьих людей: тупо и жалостно. А барышня кидалась к окну и кричала со слезами, жалким голосом:

– Угодниче божий Дроние, моли Бога за мя, грешную!

И при этом крике у Наташки глаза останавливались от страшных предположений.

Ходил из села Кличина Тимоша Кличинский: маленький, женоподобно-жирный, с большими грудями, с лицом косоного младенца, одуревшего и задыхающегося от полноты, желтоволосый, в белой коленкоровой рубашке и коротеньких коленкоровых порточках. Торопливо, мелко и с носка ступал он маленькими налитыми ножками, приближаясь к крыльцу, и узенькие глазки его смотрели так, точно из воды выскочил он или спасся от неминуемой гибели.

– Бяда! – бормотал он, задыхаясь. – Бяда...

Его успокаивали, кормили, ждали от него чего-то. Но он молчал, сопел и жадно чавкал. А начавкавшись, опять вскидывал мешок за спину и тревожно искал свою длинную палку.

– Когда ж еще придешь, Тимоша? – кричала ему барышня.

И он отзывался тоже криком, нелепо высоким альтом, зачем-то коверкая отчество барышни:

– О Святой, Лукьяновна!

И жалостно вопила вослед ему барышня:

– Угодниче божий! Моли Бога за мя, грешную, Марию Египетскую!

Каждый день приходили отовсюду вести о бедах – о грозах и пожарах. И все возрастал в Суходоле древний страх огня. Чуть только начинало меркнуть песчано-желтое море зреющих хлебов под заходящей из-за усадьбы тучей, чуть только взвивался первый вихрь по выгону и тяжело прокатывался отдаленный гром, кидались бабы выносить на порог темные дощечки икон, готовить горшки молока, которым, как известно, скорей всего усмиряется огонь. А в усадьбе летели в крапиву ножницы, вынималось страшное заветное полотенце, завешивались окна, зажигались дрожащими руками восковые свечки... Не то притворялась, не то и впрямь заразилась страхом даже барыня. Прежде она говорила, что гроза – "явление природы". Теперь она тоже крестилась и жмурилась, вскрикивала при молниях, а чтобы увеличить и свой страх, и страх окружающих, все рассказывала о какой-то необыкновенной грозе, разразившейся в 1771-м году в Тироле и сразу убившей сто одиннадцать человек. А слушательницы подхватывали – торопились рассказать свое: то о ветле, дотла сожженной на большой дороге молнией, то о бабе, пришибленной на днях в Черкизове громом, то о какой-то тройке, столь оглушенной в пути, что вся она упала на колени... Наконец, к этим радениям пристрял некто Юшка, "провиненный монах", как он называл себя.

IX

Родом Юшка был мужик. Но палец о палец не ударил он никогда, а жил, где бог пошлет, платя за хлеб, за соль рассказами о своем полнейшем безделье и о своей «провинности». – "Я, брат, мужик, да умен и на горбатого похож, – говорил он. – Что ж мне работать!"

И правда, смотрел он как горбун – едко и умно, растительности на лице не имел, плечи, по причине рахитизма грудной клетки, держал приподнятыми, грыз ногти, пальцы его, которыми он поминутно закидывал назад длинные красно-бронзовые волосы, были тонки и сильны. Пахать показалось ему "непристойно и скучно". Вот он и пошел в Киевскую лавру, "подрос там" – и был изгнан "за провинность". Тогда, сообразив, что прикидываться странником по святым местам, человеком, спасающим душу, – старо, а может оказаться и неприбыльно, попробовал прикинуться иначе: не снимая подрясника, стал открыто хвастаться своим бездельем и похотливостью, ку-

рить и пить сколько влезет, – он никогда не пьянел, – издеваться над лаврой и пояснять, за что именно изгнан он оттуда, при посредстве непристойнейших жестов и телодвижений.

– Ну, известно, – рассказывал он мужикам, подмигивая, – известно, сейчас меня, раба божья, за это за самое по шее. Я и закатился домой, на Русь... Не пропаду, мол!

И точно – не пропал: Русь приняла его, бесстыжего грешника, с не меньшим радушием, чем спасающих души: кормила, поила, пускала ночевать, с восторгом слушала его.

– Так и зарекся ты навек работать? – спрашивали мужики, блестя глазами в ожидании едких откровенностей.

– Черт меня теперь заставит работать! – отзывался Юшка. – Набалован, брат! Яровит я пуще козла лаврского. Девки эти самые, – мне бабы и даром не надобны! – боятся меня до смерти, а любят. Да что ж! Я и сам – хоть куда: перушком не хорош, зато косточкой строен!

Явившись в суходольскую усадьбу, он, как человек бывалый, прямо вошел в дом, в прихожую. Там на лавке сидела Наташка, напевая: "Я мела, млада, сенюшки, нашла себе сахарцу..." Увидев его, она в ужасе вскочила.

– Да кто-й-то? – крикнула она.

– Человек, – ответил Юшка, быстро оглядывая ее с ног до головы. – Доложи барыне.

– Кто это? – крикнула и барыня из зала.

Но Юшка в одну минуту успокоил ее: сказал, что он бывший монах, а вовсе не беглый солдат, как она, верно, подумала, что он возвращается на родину – и просит обыскать его, а затем разрешить ему переночевать, отдохнуть немного. И так поразил своей прямоотой барыню, что на другой же день мог перебраться в лакейскую и стать совсем своим человеком в доме. Шли грозы, а он без устали забавлял хозяек рассказами, придумал забить слуховые окна, чтобы обезопасить крышу от молний, выбегал под самые страшные удары на крыльцо, чтобы показать, как они не страшны, помогал девкам ставить самовары. Девки косились на него, чувствуя на себе его быстрые, похотливые взгляды, но смеялись его шуткам, а Наташка, которую он уже не раз останавливал в темном коридоре быстрым шепотом: "Влюбился я в тебя, девка!" – глаз не смела на него поднять. Он был и гадок ей запахом махорки, пропитавшим весь его подрясник, и страшен, страшен.

Она уже твердо знала, что будет. Она спала одна, в коридоре, возле двери в спальню барышни, а Юшка уже отрубил ей: "Приду. Хоть зарежь, приду. А закричишь – дотла вас сожгу". Но что пуще всего лишало ее сил, так это сознание, что совершается нечто *неминуемое*, что близко осуществление страшного сна ее, – в Сошках, про козла, – что, видно, на роду написано ей погибать вместе с барышней. Уже все понимали теперь: по ночам вселяется в дом сам дьявол. Все понимали, что именно, помимо гроз и пожаров, с ума сводило барышню, что заставляло ее сладко и дико стонать во сне, а затем вскакивать с такими ужасными воплями, перед которыми ничто самые оглушительные удары грома. Она вопила: "Змий эдемский, иерусалимский душит мя!" А кто же этот змий, как не черт, не тот самый козел, что входит по ночам к женщинам и девушкам? И есть ли что-либо в мире более страшное, чем приходы его в темноте, в ненастные ночи с немолчными перекатами грома и отблесками молний по черным иконам? Та страсть, та похоть, с которой шептал Наташке проходимец, была тоже нечеловеческая: как же можно было противиться ей? Думая о своем роковом, неминуемом часе/сидя ночью на полу в коридоре, на своей попонке, и с бьющимся сердцем вглядываясь в темноту, прислушиваясь к каждому малейшему треску и шороху в спящем доме, уже чувствовала она первые приступы той тяжелой болезни, что долго мучила ее впоследствии: внезапно возникал зуд в ее ступне, проходила по ней острая, колючая судорога, гнула, крючила все пальцы к подошве – и бежала, изуверски, сладострастно крутя жилы, по ногам, по всему телу, вплоть до глотки, до того момента, когда хотелось вскрикнуть еще неистовее, еще слаще и мучительнее, чем вскрикивала барышня...

И неминуемое свершилось. Юшка пришел – как раз в страшную ночь конца лета, в ночь под Илью Надеящего, древнего Огнеметателя. Не было грома в ту ночь, и не было сна у Наташки. Она задремала – и вдруг, как от толчка, очнулась. Было самое глухое время – она поняла это своим безумно колотившимся сердцем. Она вскочила, глянула в один конец коридора, в другой: со всех сторон вспыхивало, воспламенялось, трепетало и слепило золотыми и бледно-голубыми сполохами молчаливое, полное огня и таинств небо. В прихожей поминутно делалось светло, как днем. Она побежала – и остановилась как вкопанная: осинового бревна, давно лежавшие на дворе за окном, ослепительно белели при вспышках. Она сунулась в зал: там было одно окно поднято,

слышался ровный шум сада, было темнее, но тем ярче сверкал огонь за всеми стеклами, мраком заливалось все, но тотчас же опять вздрагивало, загоралось то там, то тут, – и мелькал, рос, трепетал и сквозил на огромном, то золотом, то бело-фиолетовом небосклоне весь сад своими кружевными вершинами, призраками бледно-зеленых берез и тополей.

– На море, на окіяне, на острове Буяне... – зашептала она, кидаясь назад и чувствуя, что совсем губит себя колдовскими заклинаниями. – Там лежит сучнища, серая рунища...

И лишь только сказала эти первобытно-грозные слова, как увидела, обернувшись, Юшку, с поднятыми плечами стоявшего в двух шагах от нее. Озарилось лицо его молнией – бледное, с черными кругами глаз. Неслышно подбежал он к ней, быстро обхватил ее длинными руками за талию – и, сдавив, одним махом кинул сперва на колени, потом навзничь, на холодный пол прихожей...

Пришел к ней Юшка и на следующую ночь. Ходил и еще много ночей, – и она, теряя сознание от ужаса и отвращения, покорно отдавалась ему: и думать не смела она ни противиться, ни просить защиты у господ, у дворни, как не смела противиться барышня дьяволу, по ночам наслаждавшемуся ею, как, говорят, не смела противиться даже сама бабушка, властная красавица, своему дворовому Ткачу, отчаянному негодяю и вору, сосланному, в конце концов, в Сибирь, на поселение... Наконец наскучила Наташка Юшке, наскучил и Суходол – и он так же внезапно исчез, как внезапно и явился.

Через месяц после того она почувствовала себя матерью. А в сентябре, на другой день по возвращении молодых господ с войны, загорелся и долго, страшно пылал суходольский дом: исполнилось и второе ее сновидение. Загорелся он в сумерки, в проливной дождь, от молнии, от золотого клубка, который, как говорила Солошка, выскочил из печки в дедушкиной спальне и помчался, подпрыгивая, по всем комнатам. А Наталья, которая, увидав дым и огонь, со всех ног бежала от бани, – от бани, где она проводила целые дни и ночи в слезах, – рассказывала потом, что наткнулась она в саду на кого-то, одетого в красный жупан и высокую казацкую шапку с позументом: он тоже бежал со всех ног по мокрым кустам и лопухам... Было ли все это или только померещилось, Наталья не могла ручаться. Достоверно только то, что ужас, поразивший ее, освободил ее от будущего ребенка.

И с этой осени она поблекла. Жизнь ее вошла в ту будничную колею, из которой она уже не выходила до самого конца своего. Тетю Тоню свозили к мощам угодника в Воронеж. Дьявол после того уже не смел приближаться к ней; и она успокоилась, стала жить, как все, – расстройство ума и души ее сказывалось только в блеске диких глаз, в крайней неряшливости, в бешеной раздражительности и тоске при дурной погоде. Была с нею у мощей и Наталья – и тоже обрела в этой поездке спокойствие, разрешение всего, из чего, казалось, уже нет выхода. В какой трепет приводила ее одна мысль о встрече с Петром Петровичем! Как ни приготавлилась она к ней, представить ее себе спокойно она была не в силах. А Юшка, а ее позор, гибель! Но самая исключительность этой гибели, необычная глубина ее страданий, то роковое, что было в ее несчастии, – ведь недаром же почти совпал с ним ужас пожара! – и паломничество к угоднику дали ей право просто и спокойно глядеть в глаза не только всем окружающим, но даже и Петру Петровичу: сам Бог отметил их с барышней губительным перстом своим – им ли было бояться людей! Черничкой, смиренной и простой слугой всех, легкой и чистой, точно после предсмертного причастия, вошла она в суходольский дом, возвратясь из Воронежа, смело подошла к руке Петра Петровича. И только на мгновение дрогнуло ее сердце молодо, нежно, по-девичьи, когда коснулась она губами его маленькой смуглой руки с бирюзовым перстнем.

Буднично стало в Суходоле. Пришли определенные слухи о воле – и вызвали даже тревогу и на дворе и в деревне: что-то будет впереди, не хуже ли? Легко сказать – начинать жить по-новому! По-новому жить предстояло и господам, а они и по-старому-то не умели. Смерть дедушки, потом война, комета, наводившая ужас на всю страну, потом пожар, потом слухи о воле – все это быстро изменило лица и души господ, лишило их молодости, беззаботности, прежней вспыльчивости и отходчивости, а дало злобу, скуку, тяжелую придирчивость друг к другу: начались «нелады», как говорил отец, дошло до татарок за столом... Нужда стала напоминать о настоятельной необходимости поправить как-нибудь дела, вконец испорченные Крымом, пожаром, долгами. А в хозяйстве братья только мешали друг другу. Один был нелепо жаден, строг и подозрителен, другой – нелепо щедр, добр и доверчив. Столковавшись кое-как, решились они на предприятие, долженствовавшее принести большой доход: заложили имение и скупили около

трехсот захулавших лошадей, – собрали их чуть не со всего уезда при помощи какого-то Ильи Самсонова, цыгана. Лошадей они хотели выправить за зиму и с барышом распродать весной. Но, истребив огромное количество муки и соломы, лошади почти все, одна за другою, к весне почему-то поколели...

И все рос раздор между братьями. Доходило иногда до того, что они хватались за ножи и ружья. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы новое несчастье не свалилось на Суходол. Зимой, на четвертый год после возвращения своего из Крыма, Петр Петрович ехал однажды в Лунево, где была у него любовница. Он прожил на хуторе двое суток, все время пил там, хмельной и домой поехал. Было очень снежно; в розвальни, покрытые ковром, была запряжена пара лошадей. Петр Петрович приказал отстегнуть пристяжную, молодую, горячую лошадь, по брюхо тонувшую в рыхлом снегу, и привязать ее к розвальням сзади, а сам лег, – будто бы головой к ней, – спать. Наступали туманные, сизые сумерки. И, засыпая, Петр Петрович крикнул Евсею Бодуле, которого он часто брал с собой вместо кучера Васьки Казака, боясь, что Васька убьет его, сильно озлобившего против себя дворню побоями, – крикнул: "Пошел!" – и ударил Евсея в спину ногой. И сильный гнедой коренник, уже мокрый, дымясь и екая селезенкой, понес их по тяжелой снежной дороге, в туманную муть глухого поля, навстречу все густеющей, хмурой зимней ночи... А в полночь, когда уже мертвым сном спали все в Суходоле, в окно прихожей, где ночевала Наталья, быстро и тревожно застучал кто-то. Она вскочила с лавки, босиком выбежала на крыльцо. У крыльца смутно темнели лошади, розвальни и с кнутом в руках стоявший Евсей.

– Беда, девка, беда, – забормотал он глухо, странно, как во сне, – барина лошадь убила... пристяжная... Набежала, осунулась и – копытом... Все лицо раздавила. Он уж холодеть стал... Не я, не я, вот те Христос, не я!

Молча сойдя с крыльца, утопая в снегу босыми ногами, Наталья подошла к розвальням, перекрестилась, упала на колени, обхватила ледяную окровавленную голову, стала целовать ее и на всю усадьбу кричать дико-радостным криком, задыхаясь от рыданий и хохота...

Х

Когда случалось нам отдыхать от городов в тихой и нищей глуши Суходола, снова и снова рассказывала Наталья повесть своей погибшей жизни. И порою глаза ее темнели, останавливались, голос переходил в строгий, ладный полусшепот. И все вспоминался мне грубый образ святого, висевший в углу лакейской старого нашего дома. Обезглавленный, пришел святой к согражданам, на руках принес свою мертвую голову – во свидетельство своего повествования...

Уже исчезали и те немногие вещественные следы прошлого, что застали мы когда-то в Суходоле. Ни портретов, ни писем, ни даже простых принадлежностей своего обихода не оставили нам наши отцы и деды. А что и было, погибло в огне. Долго стоял в прихожей какой-то сундук, в клоках задеревеневшей и лысой тюленьей кожи, которой был обшит он чуть не сто лет тому назад, – дедовский сундук с выдвигаемыми ящичками из карельской березы, набитый обгорелыми французскими вокабулами да церковными книгами, донельзя закапанными воском. Потом исчез и он. Изломалась, исчезла и тяжкая мебель, что стояла в зале, гостиной... Дом ветшал, оседал все более. Все те долгие годы, что прошли над ним со времени последних событий, здесь рассказанных, были для него годами медленного умирания... И все легендарнее становилось его прошлое.

Росли суходольны среди жизни глухой, сумрачной, но все же сложной, имевшей подобие прочного быта и благосостояния. Судя по косности этого быта, судя по приверженности к нему суходольцев, можно было думать, что ему и конца не будет. Но податливы, слабы, "жидки на расправу" были они, потомки степных кочевников! И как под сохой, идущей по полю, один за другим бесследно исчезают холмики над подземными ходами и норами хомяков, так же бесследно и быстро исчезали на наших глазах и гнезда суходольские. И обитатели их гибли, разбегались, те же, что кое-как уцелели, кое-как и коротали остаток дней своих. И мы застали уже не быт, не жизнь, а лишь воспоминания о них, полудикую простоту существования. Все реже навещали мы с годами наш степной край. И все более чужим становился он для нас, все слабее чувствовали мы связь с тем бытом и сословием, из коего вышли. Многие из соплеменников наших, как и мы, знатны и древни родом. Имена наши поминают хроники; предки наши были и стольниками, и воеводами, и "мужами именитыми", ближайшими сподвижниками, даже родичами ца-

рей. И называйся они рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы! Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчезло с лица земли целое сословие, что столько нас выродилось, сошло с ума, наложило руки на себя, спилось, опустилось и просто потерялось где-то! Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем все труднее становится нам вообразить даже то, что было полвека тому назад!

То место, где стояла луневская усадьба, было уже давно распаханно и засеяно, как распаханна, засеяна была земля на местах многих других усадеб. Суходол еще кое-как держался. Но, вырубив последние березы в саду, по частям сбыв почти всю пахотную землю, покинул ее даже сам хозяин ее, сын Петра Петровича, – ушел на службу, поступил кондуктором на железную дорогу. И тяжело доживали свои последние годы старые обитательницы

Суходола – Клавдия Марковна, тетя Тоня, Наталья. Сменялась весна летом, лето осенью, осень зимою... Они потеряли счет этим сменам. Они жили воспоминаниями, снами, ссорами, заботами о дневном пропитании. Летом те места, где прежде широко раскидывалась усадьба, тонули в мужицких ржах: далеко стал виден дом, окруженный ими. Кустарник, остаток сада, так одичал, что перепела кричали у самого балкона. Да что лето! "Летом нам рай!" – говорили старухи. Долги, тяжки были дождливые осени, снежные зимы в Суходоле. Холодно, голодно было в пустом разрушающемся доме. Заметали его вьюги, насквозь продувал морозный сарматский ветер. А топить – топили очень редко. По вечерам скудно светила из окон, из горницы старой барыни, – единственной жилой горницы, – жестяная лампочка. Барыня, в очках, в полушубке и валенках, вязала чулок, наклоняясь к ней. Наталья дремала на холодной лежанке. А барышня, похожая на сибирского шамана, сидела в своей избе и курила трубку. Когда не бывала тетя в ссоре с Клавдией Марковной, ставила Клавдия Марковна лампочку свою не на стол, а на подоконник. И сидела тетя Тоня в странном слабом полусвете, доходившем из дома во внутренность ее ледяной избы, заставленной обломками старой мебели, заваленной черепками битой посуды, загроможденной рухнувшим набок фортепиано. Такая ледяная была эта изба, что куры, на заботы о которых направлены были все силы тети Тони, отмораживали себе лапы, ночуя на этих черепках и обломках...

А теперь уже и совсем пуста суходольская усадьба. Умерли все помянутые в этой летописи, все соседи, все сверстники их. И порою думаешь: да полно, жили ли и на свете-то они?

Только на погостах чувствуешь, что было так; чувствуешь даже жуткую близость к ним. Но и для этого надо сделать усилие, посидеть, подумать над родной могилой, – если только найдешь ее. Стыдно сказать, а нельзя скрыть: могил дедушки, бабушки, Петра Петровича мы не знаем. Знаем только то, что место их – возле алтаря старенькой церкви в селе Черкизове. Зимой туда не проберешься: там по пояс сугробы, из которых торчат редкие кресты и верхушки голых кустов, прутья. В летний день проедешь по жаркой, тихой и пустой деревенской улице, привяжешь лошадь у церковной ограды, за которой темно-зеленой стеной стоят, пекутся в зное елки. За откинутой калиткой, за белой церковью с ржавым куполом – целая роща невысоких ветвистых вязов, ясени, лимов, всюду тень и прохлада. Долго бродишь по кустам, буграм и ямам, покрытым тонкой кладбищенской травой, по каменным плитам, почти ушедшим в землю, пористым от дождей, поросшим черным рассыпчатым мохом... Вот два-три железных памятника. Но чьи они? Так зелено-золотисты стали они, что уже не прочесть надписей на них. Под какими же буграми кости бабушки, дедушки? А бог ведает! Знаешь только одно: вот где-то здесь, близко. И сидишь, думаешь, силясь представить себе всеми забытых Хрущевых. И то бесконечно далеким, то таким близким начинает казаться их время. Тогда говоришь себе:

– Это не трудно, не трудно вообразить. Только надо помнить, что вот этот покосившийся золоченый крест в синем летнем небе и при них был тот же... что так же желтела, зрела рожь в полях, пустых и знойных, а здесь была тень, прохлада, кусты... и в кустах этих так же бродила, паслась вот такая же, как эта, старая белая кляча с облезлой зеленоватой холкой и розовыми разбитыми копытами.

Васильевское. 1911

Рано чувствуется осень, ее спокойствие. Начало августа, а похоже на сентябрь, когда жарко лишь в затишье, на припеке.

Учитель Иваницкий, человек молодой, но необыкновенно серьезный, глубоко задумывающийся по самому малейшему поводу, медленно поднимается на пологую гору, прогоном через усадьбу князей Козельских. Заложив одну руку за широкий пояс, которым подпоясана его длинная чесучовая рубаха, а другой пощипывая кончики редких белесых усов, учитель горбит свой истязной стан и щурит зоркие зеленоватые глаза.

Направо – большой сад за соломенным валом; налево – старая кузня, развалины псарни, пустые сушилки из розовых кирпичей, а между ними – проезд на бесконечное и тоже пустое гумно. В саду, уже поредевшем, тишина, косой солнечный блеск; кое-где золотится паутина; спокойно лежат пятна теней под яблонями; порой с коротким стуком падает в шелковистую, сухую траву спелое яблоко. Дерновая вогнутая крыша кузни вся в наростах мха, бархатно-изумрудных, с коричневым отливом. Раскрытые сушилки тяжелы, грубы, очертаниями своими говорят о чем-то давнишнем. И все это, – мох на кузне, псарня, заросшая лопухами, голые стропила над розовыми стенами, – все так чудесно на ясном голубом небе среди белых круглых облаков. На огромном пустыре гумна воробьи ливнем пересыпаются с одной крапивной чащи на другую. За этими чащами поднимается порозовевший осинник... Учитель идет к Соловьевым, еще раз хочет повидаться с их дедом Таганком. Древен он, как говорят в Козельщине: ему сто восемь, он знаменитость.

За усадьбой учитель поворачивает налево, в ту широкую улицу, что пролегает между валом гумна и старыми избами бывших княжеских крепостных. Конец ее как бы упирается в небосклон – чуть зеленоватый, сентябрьский. Сентябрь и в верхушках лозин, кое-где растущих перед избами и сквозящих мелкой, желтеющей листвой на белых облаках и лазури; сентябрь в золотистом солнечном свете и прозрачной тени, падающей от изб на улицу, на водовозки прикрытые пегими попонами и армяками... Учитель идет и косится на избы, на их окошечки и крыльца.

Окошечки крохотные, темные. Крыльца, пороги обросли грязью. Да не лучше и возле них. В крепкой, как чугуна засохшей грязи, в которую вросли тряпки, сгнившие лапти, лежат большие камни, на которых летом обедают и ужинают. Дети кричат, перекликаются, лазят по ним. Много детей в Козельщине, и как сопливы они, в каких болячках их щеки и губы!

– Как тебя зовут? – спрашивает учитель толстого голубоглазого мальчика под лозинкой у двора Фоминых.

Мальчик молчит. Учитель повторяет вопрос. Мальчик пятится к лозинке, поднимает грудь, надувается так, что багровеет, и молчит.

Озабоченно бродят куры, раздирают лапами золу, землю, клюют что-то, кудахтают, призывая цыплят. У двора Климовых спит под водовозкой старуха. Тень от избы скопилась, передвинулась, солнце падает на водовозку, печет лицо, так густо облепленное мухами, точно на нем черный рой привился, печет худой костреч, голые ноги, блестящие от загара. Мальчик в штанах с помочами и шерстяных красных чулках носится среди цыплят, бегающих и на бегу клюющих по земле и по ногам старухи мух, и все норовит затоптать хоть одного из них; цыплята с писком рассыпаются, и он останавливается, выжидает, когда они соберутся в кучку, а как только соберутся, опять со всех ног летит на них.

Соловьевы разделились. Таганок живет у Глеба. Но учитель идет сперва к двору его другого внука, плотника Григория. Григорий стоит на прогалине между избой и погребом, в проходе на гумна, посреди квадрата из трех ярусов новых, телесного цвета бревен: рубит себе амбаришко. На нем городской картуз, еще не мытая ситцевая рубаха, вздутая розовым измятым пузырем, штаны из чертовой кожи и сапоги. Соловьевы – первые жители в Козельщине. Увидав гостя, он легонько и ловко всекает в бревно блеснувший на солнце топор. Здравуются, садятся на сруб, закуривают.

– К Таганку? – спрашивает Григорий.

– К нему. Давно не видал...

– Что ж, дело хорошее. Пройдите, проведайте. Он это любит.

– А как он? Дряхлеет?

– Нет, скрипит еще помаленьку. А, конечно, не наше с вами дело: ведь сто восемь. Да и житье, конечно, не сладкое.

– А что?

– Да что, надо правду говорить: голодом они его морят, вот главная вещь.

– Все сноха?

– Известно, она. Да я так думаю, всему причина брат Иглеб. Его допущение. Он должен защищать, кому же больше? Сам-то Таганок, вы знаете, какой: за всю жизнь цыпленка не обидел.

– Серьезно, морят?

– Еще как серьезно-то! У них вон шесть пудов одной ветчины висит, – поверите, ребрышка никогда не дадут. Сами, как праздник, за чай, а он чашечки попросить боится. Ничтожности жалеют...

– Нда-а, – задумчиво говорит учитель.

Спят кузнечики в бурьяне на припеке. Все сохнет, роняет черные зерна: крапива, белена, репы, подсекольник. Баба, в красной юбке, в белой рубашке, стоит в чаще конопляников выше ее ростом, берет замашки. За конопляниками сереют риги, желтеют новые скирды.

– Нда-а, – говорит учитель, едко затягиваясь. – Скирды-то ваши?

– Нынешний год дал господь, – скромно, боясь сглазить, отвечает Григорий.

– А чашки чаю жалеют, – ухмыляется учитель. – Что он, и теперь еще хорошо помнит все?

– На удивление прямо! Все помнит: что когда сделать по дому, что, например, прибрать, купить, где что дешевле, – все первый скажет. Насчет корму, например, разумней его человека нету...

Проходят к Таганку задами. За двором Григория несколько колодок пчел. Учитель гнется, боится их, а Григорий смеется, уверяет, что пчелы чистого человека не трогают. Тут чуть тянет холодком с севера, под солнцем пыльно и сытно пахнут конопляники. Против конопляников приделано к каменной стене варка нечто вроде шалаша, сбитого из кольев и обшитого замашками. Это и есть летнее жилище знаменитого человека,

Де-ед? окликает учитель, отворяя дверку. Никто не отзывается – в шалаше пусто. Верно, Таганок в избе. И Григорий уходит искать его. А гость спешит осмотреть шалаш. Все то же. И все так же трогательно. Чтобы не надоедать снохе своим присутствием, сократиться насколько возможно, перебирается сюда Таганок чуть не с великого поста. Гнилые розвальни без оглоблей, покрытые соломки, служат ему постелью. На соломе нет даже попонки. В изголовье, вместо подушки, – свернутый рваный чекмень, и по цвету видно, что чекмену этому полвека. У изголовья – столик из дощечки и кольев; на дощечке – подобие шкатулки, а в ней все добро, все хозяйство Таганка; моток ниток, варежки, тавлинка из бересты с нюхательным табаком... Боже мой, боже мой! Драгоценнейшим даром, даром сказочного долголетия одарила судьба своего избранника! А к чему он тут, этот дар?

У шалаша лежит большой обрубок, корень дуба. На нем дед отдыхает, греется, – обрубок отшлифован полушубком. Учитель садится и ждет. Когда же за углом слышатся шаркающие шаги, поднимается, чтобы уступить Таганку привычное место. Таганок показывается из-за угла, – невысокий, с опущенными плечами, – и подвигается неловко, вразвалку опадая с одной ноги на другую. Ноги толсто опутаны онучами, в больших лаптях. Полушубок, почти голый с исподу, – вытерлась овчина, – стал широк, полы его висят. Большая шапка надета глубоко, немного криво. Увидав гостя, Таганок стаскивает ее обеими руками, как ребенок, кланяется низко. Длинные волосы, уцелевшие вокруг его темного черепа, белы и легки, как ковыль. Легка, бела и косая борода его. Выцветшие, налитые слезами глаза ничего не выражают, кроме не то покорности, не то грусти.

– Здорово, дедушка, – говорит учитель, садясь на землю, – Как поживаешь? Надевай шапку-то...

Таганок колеблется. Он, одолев больше века, невольно и сам считает себя особенным человеком. Но заслужил ли он наконец право быть при господах в шапке, этого он еще не знает. Поколебавшись, обеими руками надевает ее.

– Садись на обрубок-то, тебе покойнее будет... Таганок, помедлив, садится; поправляет полы, складывает на коленях черные руки и что-то думает.

– Энтих уж нету, – говорит он медленно и так, точно разговаривает не с учителем, а с кем-то другим. – Энтих уж нету, что покоили-то...

– В старину лучше было? – спрашивает учитель.

– Гм! – слабо улыбается Таганок. – В два раза лучше было...

Все старики играют, притворяются чересчур старыми. Таганок не играет. Он нечеловечески прост. Учитель, как всегда, не спускает с него глаз; его волнуют странные мысли: подумать только – при Таганке прошел один из самых замечательных веков! Сколько было за этот век переворотов, открытий, войн, революций, сколько жило, славилось и умерло великих людей! А он даже малейшего понятия не имел никогда обо всем этом. Целых сто лет видел он только вот эти конопляники да думал о корме для скотины! И сидит он так смиренно, так неподвижно. Опустил плечи, сложил на худых коленях черные, спеченные столетием руки, перекрестил искривленные работой и простудой пальцы, а мухи ползают по ним, сучат ножками. Белый мотылек спокойно, как на дереве, замер на его детски худой и черной шее, окаймленной воротом серой рубахи. Шапка надвинута глубоко; из-под шапки видны концы редких, длинных, зеленовато-белых бровей, устало приподнятых. Нижнее веко левого глаза немного разорвано и оттянуто книзу; этот глаз, полный слезою, совсем безжизнен. В правом – слабая мысль, слабая жизнь, чуждая всему нашему миру. Он, этот столетний человек, еще слышит, видит, разумно толкует с внуками о хозяйстве, помнит все, что нужно нынче или завтра сделать по дому, знает, где что лежит, что требует поправки, присмотра... И все же весь он в забвении, в мире своих далеких воспоминаний. Что же это за воспоминания? Часто охватывает страх и боль, что вот-вот разобьет смерть этот драгоценный сосуд огромного прошлого. Хочется поглубже заглянуть в этот сосуд, узнать все его тайны, сокровища. Но он пуст, пуст! Мысли, воспоминания Таганка так поразительно просты, так несложны, что порою теряешься; человек ли перед тобою? Он разумный, милый, добрый. Следовало бы с благодарностью поцеловать его руку за то, что явил он нам, воплотив в себе редкое благословение неба. Но – человек ли он?

Говорит Таганок очень медленно, но не путаясь; выражает мысли с трудом, но точно. Он знает, что, волею судьбы, возложена на него обязанность толковать с гостями прежде всего о старине. И сам спешит дать повод к расспросам.

– Тепло, – говорит он, поводя плечом, что пригрето опускающимся солнцем. – Кровь-то моя уж холодеет... Студился, бывало, часто... А все отчего? В старину ведь в извозы ходили...

Учитель начинает расспрашивать его. И опять, опять слышит только давным-давно знакомое. Был дед два раза у хохлов, за Воронежем; был два раза в Москве, раз пять в Калуге; и много, много раз в Белеве...

– Что же? – спрашивает учитель, домогаясь обобщений. – Нравились тебе хохлы?

– Хохлы-то? – отвечает Таганок, – Ничего...

И, уже покончив с общим, переходит к частному:

– Мы туда под сретенье поехали... У меня тогда четыре лошади было... Прокорми-ка их! Ну, поехали туда порожняком... Оттуда пшеницу наклали... Доправили все честь-честью, стали барыши считать... Ан только себя самих да лошадей оправдали...

– А француза помнишь?

Таганок думает.

– Француза-то? – спокойно говорит он. – Это какой в Москву приходил? Нет, не помню...

– А Москва при тебе велика, хороша была?

– Большая... Приедем, бывало, в нее. Поставят нас на Болоте в ряд... Мы и стоим... Как хлаг спустят, может значит, купец какой купил что, подойти, взять свой товар... Ну, подойдет, глянет и отправит его: либо на Воробьиные горы либо еще куда...

Учитель нервно курит, хмурится: нет, ничего путного не выходит из его расспросов!

Он щиплет концы усов, собирается с мыслями, стараясь представить себе невозможное, – картину одной из самых долгих человеческих жизней, картину целого столетия; он силится войти в душу и тело этого необыкновенного человека – и никак не может примириться с тем, что говорит необыкновенный человек очень обыкновенно, рассказывает же только пустяки. «Систематически надо, систематически, – думает учитель, – с самого начала надо начать...» Но краткие, трогательные и пустяковые ответы Таганка сбивают с толку, вызывают беспокойство, лишают охоты расспрашивать. «Рано ты начал помнить себя?» – «А бог его знает, не знаю... Ведь мы, – слабо улыбается дед, – народ темный, в лесу живем, пням молимся... Допрежь тут везде леса были...» «Какие леса?» – «А всякие. Дуб, например, сосна... Разбойники водились...» – «Разбойники? Ты историю какую-нибудь о них помнишь?» – «Нет, истории, слава богу, никакой не было...» – «Ну, а село какое было? Меньше теперешнего?» «Все такая же... Церковь только на старом кладбище стояла, а не возле училища... Я четырех попов пережил...» Но каковы были

эти попы, похожи ли на теперешних, этого Таганок не умеет рассказать. Но, может быть, он хорошо помнит господ, князей Козельских, и о них расскажет что-нибудь путное? – Помнить-то помнит... Но узнает учитель только то, что было три генерала: Семен Милыч, Мил Семеныч и Григории Милыч: что господа они были хорошие, что особенно «лихим» нравом отличался Мил Семеныч...

– Тебя пороли? – спрашивает учитель. Однова только. Да еще – в шею раз дал мне Мил Семеныч... На постройке... Я бревно не тое ухватил... Вот продавать – продавали... Возили... осерчал барин на нас, на ребят... Ну, и отправил одиннадцать голов... В энтот, в Белев-то... Ну, привезли нас на базар, постановили друг с дружкой... Подошел бурмистр селезневский... Мы было дюже оробели, да не сошлось что-й-то дело... А за меня хорошо – полтора ста пять давали...

Солнце уже скрылось за далеким полем; гуще и свежее пахнут конопляники в вечерней тени, роса пала на огороды. Почти черное, гробовое лицо Таганка стало еще безжизненнее, глаза совсем остекленели. Ему холодно, он кутается в полушубок, оправляет полы, глубже надвигает шапку и засовывает руки в рукава.

– Покойник Семен Милыч был крут! А помер он, заступил его место Мил Семеныч, – стало и совсем никуда... Молили мужики, чтобы ему бог смерти дал... А я, бывало, скажу: «Напрасно вы его сбиваете. Не сбывайте, – хуже будет...» Так оно и вышло... Да...

Таганок отдыхает; потом опять заводит медленную речь:

– Да... А как помер Мил Семеныч, привезли гроб в засмоленном рундуке... Сквозь рундук дрянь, кровь пролила... Нехорошо помер, без болезни, тело не выболело... Как, значит, кому назначено...

Учитель с трудом дослушивает этот тяжкий рассказ и поднимается.

– Ну, прощай, до свидания, дед, – говорит он. – Дай бог тебе еще пожить.

Таганок кротко поднимает брови.

– Пожить-то? – отвечает он. – Да ведь и так уж сто с восьмеркой...

И, помолчав, опускает голову.

– Но ведь хочется небось?

– А бог ее знает...

Но позволь, ты-то сам как чувствуешь?

– Да что ж чувствовать? Тут чувствовать нечего... Чувствуй, не чувствуй...

– Позволь: ну, а если бы тебе, например, предложил пять лет прожить или год, – что ты выбрал?

Таганок слабо улыбается, глядя в землю:

– А господь ее знает...

И учитель тупо, долго глядит на него. Потом решительно пожимает его твердую ледяную руку и уходит.

Он уходит за деревню, в поле, и долго шагает в полутьме по мягкой, пыльной дороге.

Возвращается уже в сумерки. Не спеша идет по улице. Огней нет, избы темны и тихи. Все спят. Пахнет жильем – как-то особенно. Тепло, по-ночному. Сухо трюкают осторожные сверчки. Вот опять изба Глеба. Она вымазана известкой, слабо белеет. Стекла ее сини от вечера, в них еще слабо отражается небо. Внизу, по земле, реет какой-то еле заметный отсвет, отчего изба и полушубок кого-то сидящего, на голыше возле нее странно выделяются. Кто это? Неужели Таганок?

– Дедушка, еще здравствуй, – негромко говорит учитель, очень тронутый видом этого одинокого, чужого всему миру человека, пережившего и всех сверстников своих и всех детей их.

– Кто это? – тихо откликается Таганок.

– Да я, учитель... Что же ты не спишь?

Таганок думает. Отвечает он теперь еще медленнее:

– Да какой наш сон... Древен я... А ночь эта – как медведь идет она на меня...

«Это не ночь, а смерть», – думает учитель; и, помолчав, спрашивает:

– Ну, а как же? Пожил бы еще?

Тихо. Трюкают сверчки. На порог избы вышла дымчатая кошка, сбежала на землю – и стала невидима. Слабо белеет борода Таганка. Темного, гробового лица его не видно. Жив ли он?

Жив. Долго спустя он отзывается:

– Пожил бы... И пять годов одолел бы еще... Да за пять-то годов...

Он, видно, вспоминает сноху, свой шалаш, свою беспризорность, беспомощность.

И легонько вздыхает:

– За пять-то годов вошь съест. А то пожил бы.

8. VII.1911

Хорошая жизнь

Моя жизнь хорошая была, я, чего мне желалось, всего добила. Я вот и недвижимым имуществом владаю, – старичок-то мой прямо после свадьбы дом под меня подписал, – и лошадей, и двух коров держу, и торговлю мы имеем. Понятно, не магазин какой-нибудь, а просто лавочку, да по нашей слободе сойдет. Я всегда удачлива была, ну только и характер у меня настойчивый.

Насчет занятия всякого меня еще батенька заучил. Он хоть и вдовый был, запойный, а, не хуже меня, ужасный умный, дельный и бессердечный. Как вышла, значит, воля, он и говорит мне:

– Ну, девка, теперь я сам себе голова, давай деньги наживать. Наживем, переедем в город, купим дом на себе, отдам я тебя замуж за отличного господина, буду царевать. А у своих господ нам нечего сидеть, не стоят они того.

Господа-то наши, и правда, хоть добрые, а бедные-пребедные были, просто сказать побирušки. Мы и переехали от них в другое село, а дом, скотину и какое было заведение продали. Переехали под самый город, сняли капусту у барыни Мещериной. Она фрелиной при царском дворце была, нехорошая, рябая, в девках поседела вся, никто замуж не взял, ну и жила себе на спокойе. Сняли мы, значит, у ней луга, сели, честь честью в салаш. Стыдь, осень, а нам и горя мало. Сидим, ждем хороших барышей и не чуем беды. А беда-то и вот она, да еще какая беда-то! Дело наше уж к развязке близилось, вдруг – скандал ужасный. Напились мы чаю утром – праздник был, – я и стою так-то возле салаша, гляжу, как по лугу народ от церкви идет. А батенька по капусте пошел. День светлый такой, хоть и ветреный, я и загляделась, и не вижу, как подходят ко мне двое мужчин: один священник, высокий этакий, в серой рясе, с палкой, лицо все темное, землистое, грива, как у лошади хорошей, так по ветру и раздымается, а другой – простой мужик, его работник. Подходит к самому салашу. Я оробела, поклонилась и говорю:

– Здравствуйте, батюшка. Благодарим вас, что проведать нас вздумали.

А он, вижу, злой, пасмурный, на меня не смотрит, стоит, калмышки палкой разбивает.

– А где, – говорит, – твой отец?

– Они, – говорю, – по капусте пошли. Я, мол, если угодно, покликать их могу. Да вон они и сами идут.

– Ну, так скажи ему, чтоб забирал он все свое добришко вместе с самоварчиком этим паршивым и увольнялся отсюда. Нынче мой караульщик сюда придет.

– Как, – говорю, – караульщик? Да мы уж и деньги, девяносто рублей, барыне отдали. Что вы, батюшка? (Я, хоть и молода, а уж продувная была.) Ай вы, – говорю, – смеетесь? Вы, – говорю, – бумагу нам должны предъявить.

– Не разговаривать, – кричит. – Барыня в город переезжает, я у нее луга эти купил, и земля теперь моя собственная.

А сам махает, бьет палкой в землю, – того гляди в морду заедет.

Увидел эту историю батенька, бежит к нам, – он у нас ужасный горячий был, – подбегает и спрашивает:

– Что за шум такой? Что вы, батюшка на нее кричите, а сами не знаете, чего? Вы не можете палкой махать, а должны откровенно объяснить, по какому такому праву капуста вашей сделана? Мы, мол, люди бедные, мы до суда дойдем. Вы, – говорит, – духовное лицо, вражду не можете иметь, за это вашему брату к святым дарам нельзя касаться.

Батенька-то, выходит, и слова дерзкого ему не сказал, а он, хоть и пастырь, а злой был, как самый обыкновенный серый мужик, и как, значит, услышал такие слова, так и побелел весь, слова не может сказать, альни ноги под рясой трясутся. Как завизжит, да как кинется на батеньку, чтобы, значит, по голове палкой огреть! А батенька увернулся, схватился за палку, вырвал ее у него из рук вон, да об коленку себе – раз! Тот было – на грудь, а батенька пересадил ее пополам, отшвырнул куда подале и кричит:

– Не подходите, за ради бога, ваше священство! Вы – кричит, – черный, жуковатый, а я еще жуковатей!

Да схвати его за руки!

Суд да дело, сослали батеньку за это за самое, за духовное лицо, на поселенье. Осталась я одна на всем белом свете и думаю себе: что ж мне делать теперь? Видно, правдой не проживешь, надо, видно, с оглядкой. Подумала годок, пожила у тетки, вижу, – деться мне некуда, надо замуж поскорей. Был у батеньки приятель хороший в городе, шорник, – он и посватался. Не сказать, чтоб из видных жених, да все-таки выгодный. Нравился мне, правда, один человек, крепко нравился, да тоже бедный, не хуже меня, сам по чужим людям жил, а этот все-таки сам себе хозяин. Приданого за мной ни копейки не было, а тут, вижу, берут без ничего, как такой случай упустить? Подумала, подумала и пошла, хоть, конечно, знала, что был он пожилой, пьяница, всегда разгоряченный человек, просто сказать – разбойник... Вышла и стала, значит, уж не девка простая, а Настасья Семеновна Жохова, городская мещанка... Понятно, лестно казалось.

С этим мужем я девять лет мучилась. Одно званье, что мещане, а бедность такая, что хоть и мужикам впору! Опять же дразги, скандалы каждый божий день. Ну, да пожалел меня господь, прибрал его. Дети от него помирали все, остались только два мальчика, один Ваня, по девятому году, другой младенец на руках. Ужасный веселый, здоровый был мальчик, десяти месяцев стал ходить, разговаривать, – все они у меня, дети-то, на одиннадцатом месяце начинали ходить и говорить, – сам стал чай пить, уцопится, бывало, обоими ручонками за блюдце, не выдерешь никак... Ну только и этот мальчик помер, году еще не было. Пришла я раз с речки домой, а мужни-на сестра, – мы с ней квартиру-то снимали, – и говорит:

– Твой Костя нынче цельный день кричал, закатывался. Я уж перед ним и так и этак, и руками, и в щелчки, и сладкой воды давала – давится, да и только, и вода через нос назад идет. Либо он остудился, либо съел чего, ведь они, дети-то, все в рот тащут, разве углядишь?

Я так и обомлела. Кинулась к люльке, отмахнула положок, а он уж томиться стал: даже и кричать не может. Сбегала сестра за фельшером знакомым, пришел он, – чем вы, говорит, его кормили?

– Ел, мол, кашу манную, только и всего.

– А ничем не играл?

– Так точно, играл, – говорит сестра. – Тут все колечко медное с хомута валялось, он и играл им.

– Ну, – говорит фельшер, – обязательно он его проглотил. Чтоб у вас руки, – говорит, – отсохли! Натворили вы делов, ведь он помрет у вас!

Понятно, по его и вышло. Двух часов не прошло – кончился. Повинтовали мы, повинтовали, да делать нечего, – видно, против бога не пойдешь. Так и похоронила, остался один Ваня. Остался один, да ведь, как говорится, и один – господин. Невелик человек, а все не меньше взрослого съест, сопьет. Стала я ходить к воинскому полковнику Никулину полы мыть. Люди они были с капиталом хорошим, квартиру снимали, тридцать рублей помесечно платили. Сами в верхнем этажу, внизу кухня. Стряпуха у них была совсем безответная, а распутная. Ну, и забеременела, понятно. Полы мыть нагинаться нельзя, чугуна из печки не вытащит... Ушла она рожать, а я и захвати ее место: так-то ловко к хозяевам подкатилась. Я ведь, правда, смолоду ловкая и хитрая была, за что, бывало, ни возьмусь, сделаю все чисто, аккуратно, любого официанта засушу, опять же и угодить умела: что ни скажут господа, а я все «да-с» да «так точно» да «истинная ваша правда...» Встану, бывало, чуть лунно, полы подотру, печку истоплю, самовар расчищу, – господа пока проснутся, а уж у меня все готово. Ну, и сама я, понятно, была чистоплотная, ладная, из себя, хоть и сухая, а красивая. Мне ино пору даже жалко, бывало, себя станет: за что, мол, красота моя и звание на этакой черной работе пропадают?

Думаю себе – надо случаем пользоваться. А случай такой, что сам полковник ужасный здоровый был и видеть меня покойно не мог, а полковничиха у него была немка, толстая, большая, старе его годов на десять. Он не хорош, грузный, коротконогий, на кабана похож, а она того хуже. Вижу, стал он за мной ухаживать, в кухне у меня сидеть, курить меня заучать. Как жена со двора, он и вот он. Прогонит денщика в город, будто по делу, и сидит. Надоел мне до смерти, а, понятно, прикидываюсь: и смеюсь, и ногой сижую-мотаю, – всячески, значит, разжигаю его... Ведь что ж поделаешь, бедность, а тут, как говорится, хоть шерсти клок, и то дай сюда. Раз как-то в царский день всходит в кухню во всем своем мундире, в эполетах, подпоясан этим своим

белым поясом, как обручем, в руках перчатки лайковые, шею надул, застегнул, альни синий стал, весь духами пахнет, глаза блестят, усы черные, толстые... Выходит и говорит:

– Я сейчас с барыней в собор иду, обмахни мне сапоги, а то пыль дюже – не успел по двору пройтись, запылится весь.

Поставил ногу в лаковом сапоге на скамейку, чисто тумбу какую, я нагнулась, хотела обтереть, а он схватил меня за шею, платок даже сдернул, потом затиснул за грудь и уж за печку тащит. Я туда, сюда, никак не выдерусь от него, а он так жаром и обдает, так кровью и наливается, старается, значит, одолеть меня, поймать за лицо и поцеловать.

– Что вы, – говорю, – делаете! Барыня идет, уйдите за ради Христа!

– Если, – говорит, – полюбишь меня, я для тебя ничего не пожалею!

– Как же, мол, знаем мы эти посулы!

– С места не сойти, умереть мне без покаяния!

Ну, понятно, и прочее тому подобное. А, по совести сказать, что я тогда смыслила! Очень просто могла польститься на его слова, да, слава богу, не вышло его дело. Зажал он меня опять как-то не вовремя, я вырвалась, вся растрепанная разозлилась до смерти, а она, барыня-то, и вот она: идет сверху, наряженная, вся желтая, толстая, как покойница, стонет, шуршит по лестнице платьем. Я вырвалась, стою без платка а она и вот она – прямо к нам. Он мимо нее да драло, а я стою, как дура, не знаю, что делать. Постояла она, постояла против меня, подержала шелковый подол, – как сейчас помню, в гости нарядилась, в коричневом шелковом платье была, в митенках белых, с зонтиком и в шляпке белой, вроде корзиночка, – постояла, застонала и вышла. Выговаривать, правда, ни ему, ни мне ни слова не стала. А как уехал полковник в Киев, она и прогнала меня.

Собрала я свое добришко и вернулась к сестре (Ваня-то у сестры жил). Сошла я с этого места и опять думаю: пропадет задаром мой ум, ничего я не могу себе нажить, прилично замуж выйти и свое собственное дело иметь, обидел меня бог. Запрягусь, думаю, сызнова и уж жива не буду, а добыюсь своего, будет у меня свой капитал! Подумала, подумала так-то, отдала Ваню в учение к портному, а сама в горничные, к купцу Самохвалову определилась, да и отдежурила цельных семь лет... С того и поднялась.

Жалованья положили мне два с четвертаком. Прислуги две – я да девушка Вера. Один день я за столом, она посуду моет, другой я посуду мою, она к столу подает. Семейство не сказать, чтоб большое: хозяин Матвей Иванович, хозяйка Любовь Иванна, две взрослых дочери, два сына. Сам хозяин был человек серьезный, неразговорчивый, в будни никогда и дома не бывал, а как праздник, сидит у себя наверху, читает всякие газеты и сигару курит, а хозяйка простая, добрая, тоже, как я, из мещанок. Дочерей своих, Аню и Клашу, они скоро просватали и две свадьбы в один год сыграли, выдали за военных. Тут-то, правду сказать, и начала я копить маленько: уж очень много на чай военные давали. Сделаешь просто даже безделицу какую-нибудь – спички когда так-то подашь, шинель с калошами, – глядишь, двадцать копеек, тридцать... Да и хаживали мы чисто, нравились военным. Вера, та, правда, из себя все что-й-то строила, барышню какую-то, – ходит мелкими шажками, нежна и обидлива до крайности, сейчас, чуть что, брови свои пушистые сдвинет, губы, как вишни, задрожат и уж слезы на ресницах, – хороши, правда, ресницы были, большие, я таких ни у кого не видывала! – ну, а я- то поумнее была. Я. бывало, надену лиф гладкий, с прошивками, рукава короткие, на голову косу накладную с черным бантом бархатным, белый передник подкрахмаленный – так на меня даже взглянуть интересно. Вера, та все в корсет затягивалась, – затянется мочи нет как туго, и сейчас же голова у ней до рвоты разболится, – а я никогда и не знала этого корсета, и так ладная была... А сошли военные, стали сыновья хозяйские давать.

Старшему-то уж годов двадцать сровнялось, как я на место заступила, а меньшему четырнадцатый пошел. Этот мальчик был сидяка убогий. Все руки, ноги себе переломал, я и то сколько разов видела это дело. Как сломает, приходит к нему сейчас доктор, всякой ватой, марлей забинтует, потом зальет чем-то вроде известка, известка эта самая с марлей засохнет, станет как лубок, а как подживет, доктор и разрежет, все долой снимет, – руки-то, глядь, и срослась. Ходить он сам не мог, а ползил на заде. Бывало, и через пороги, и по лестницам – так и жжет. Даже через весь двор в сад проползал. Голова у него была большая, на отцову похожа, виски грубые, рыжие, как шерсть собачья, лицо широкое, старое. Потому как ел он страсть сколько: и колбасу, и бомбы шоколадные, и крендели, и слоенки – чего только его душа захочет. А ножки, ручки

тонкие, как овечьи, все переломаны, в рубцах. Водили его долго без ничего, рубахи шили длинные. Грамоте учительница из духовного училища учила, на дом к нам ходила. Здорово занимался, умная была голова! А уж как на гармонье играл – где тебе и хорошему так-то сыграть! Играет и подпекает. Голос сильный, пронзительный. Бывало, как подымет, подымет: «Я монах, красив собою!..» Эту песню часто певал.

Старший брат был здоровый, а тоже вроде дурачка, ни к каким делам не способен. Отдавали его в учебу во всякие училища – везде выгоняли, ничему не выучили. Как ночь, залетится куда-нибудь – и до самой зари. Матери все-таки боялся и через парадный ни за что, бывало, не пойдет. Я вечером отделаюсь и жду, – как хозяйева заснут, прокрадусь по горницам, растворю окно в его кабинетике, а сама опять на свое место. Он сапоги на улице снимет, пролезет в окно в одних чулках – и ни стуку, ни хрупы. На другой день встал, – как нигде и не был, а мне в невидном месте и сунет, что следует. Мне-то что ж, какая забота, беру с великой радостью! Сломит себе голову – его дело... А тут и от меньшого, от Никанор Матвейча, пошел доход.

Добивалась я тогда своего прямо день и ночь. Как забрала себе в голову одно обстоятельство, чтобы непременно обеспечить себя, так и укрепилась в этой жизни. Каждую копейку, бывало, берегу: деньги-то, оне с крылушками, только выпусти из рук! Сжила Веру эту самую – да она, по совести сказать, и без надобности была, я так и хозяйевам сказала: я, мол, и одна справлюсь, вы лучше прибавьте мне какую-нибудь безделицу – осталась одна и ворочаю. Жалованье не стала на руки брать: как нарастет рублей двадцать, двадцать пять, сейчас прошу хозяйку в банк съездить, на мое имя положить. Платье, башмаки – все хозяйское шло, куда ж мне тратить? А тут еще, на счастье мое, на его беду, влюбился в меня, прости господи, убогий этот...

Теперь-то, понятно, часто думается: может, за него-то и наказал меня господь сынком! Иной раз из головы не идет, я вот сейчас расскажу, что он над собой сделал, – да ведь надо понять, что уж очень обидно было: гляну, бывало, на него, головастого, и такая-то досада возьмет! «Чтоб тебе, мол, подеялось, в рубашке ты родился! Вот ведь и калека, а в таком богатстве живет. А мой и хорош, да в праздник того не съест, не сопьет, что ты в будни, походя!» Стала замечать – похоже, влюбился в меня: ну, прямо глаз с моего лица не сводит. Он уж тогда лет шестнадцати был и шаровары стал носить, рубашку подпоясывать, усы красные стали пробиваться. А нехороший, конопатый, зеленоглазый – избави бог. Лицо широкое, а худощавый, как кость. Сперва-то он, видно, то в голову себе забрал, что понравиться может, – зачал прифранчиваться, подсолнухи покупать и так-то лихо, бывало, на гармонье заливается, – заслушаешься. Хорошо, правда, играл. Потом видит, что дело его не выходит, – притих, задумчивый стал. Раз стою на галерее, вижу – ползет с новой немецкой гармоньей по двору, – опять подбрился, причесался, рубаху синюю с косым высоким воротом надел, в три пуговицы, – голову запрокинул, меня, значит, ищет. Поглядел, поглядел, глаза томные, мутные сделал – и-и залился под польку:

Пойдем, пойдем поскорее
С тобой польку танцевать,
В танцах я могу смелее
Про любовь свою сказать...

А я, будто и не заметила, – как шваркну из полоскательницы! Шваркнула, да и сама не рада, очень испугалась: будет, мол, мне теперь на орехи! А он ползет, бьется наверх по лестнице, обтирается одной рукой, другой гармонью тащит, глаза опустил, весь побелел и говорит этак скромно, с дрожью:

– Чтоб у вас руки отсохли. Грех вам за это будет, Настя.

И только всего... Правда, смиренный был.

Худел он это время ну прямо не по дням, а по часам, и уж доктор сказал, что не жилец он на белом свете, обязан от чахотки помереть. Я гребовала, бывало, и прикоснуться к нему. Да, видно, гребовать бедному человеку не приходится, деньгами все можно сделать, вот он и стал подкупать меня. Как, бывало, позаснут все после обеда, он сейчас и зовет меня к себе – либо в сад, либо в горницу свою. (Он отдельно от всех, внизу жил, горница большая, теплая, а скучная, все окна во двор, потолки низкие, шпалеры старые, коричневые.)

– Ты, – говорит, – посиди со мною, я тебе за это деньжонок дам. Мне от тебя ничего не надо, просто я влюбился в тебя и хочу посидеть с тобой: меня одного стены съели.

Ну, я возьму и посижу. И набрала таким манером с полсотни. Да жалованья у меня лежало с процентами сотни четыре. Значит, думаю себе, пора мне понемножку вылезать из хомута. А все жалко было – хотелось еще годок-другой погодить, еще покопить маленько, главная же вещь – проговорился он мне, что у него задушевная копилка есть, рублей двести по мелочам от матери набрал; понятно, болен часто, лежит один в постели, ну, мать и сует для забавы. А я нет-нет, да и подумаю: прости, господи, мое согрешение, лучше бы он мне эти деньги отдал! Ему все равно без надобности, вот-вот помрет, а я могу на весь век справиться. Выжидаю только, как бы поумней дело это сделать. Стала, понятно, поласковее с ним, стала чаще сидеть. Войду, бывало, в его горницу, да еще нарочно оглянусь, будто крадучись вошла, дверь притворю и заговорю шепотком:

– Ну вот, мол, я и отделалась, давайте сидеть парочкой.

Значит, делаю вид, вроде как будто у нас свидание назначено, а я будто и робею, и рада, что отделалась, могу теперь побыть с ним. Потом стала скучной, задумчивой прикидываться. А он-то добивается:

– Насть, что ты такая грустная сделалась?

– Так, мол, – мало ли у меня горя!

Да еще вздохну, примолкну и на руку щекой обопрусь.

– Да в чем, – говорит, – дело-то?

– Мало ли, мол, делов у бедных людей, да какая кому печаль об них? Я даже этим разговором и наскучать вам не хочу.

Ну, он вскорости и догадался. Умный, говорю, был, хоть бы здоровому впору. Раз пришла к нему, – дело, как сейчас помню, на средокрестной было, погода этакая сумрачная, мокрая, туман стоит, в доме все спят после обеда, – я пошла к нему с работой в руках, – шила себе что-й-то, – села возле постели и только хотела было вздохнуть, опять скучной прикинуться и зачать его полегоньку на ум наводить, он и заговорил сам. Лежит, как сейчас вижу, в рубашке розовой, новой, еще не мытой, в шароварах синих, в новых сапожках с лакированными голенищами, ножки крест-накрест сложил и смотрит искоса. Рукава широкие, шаровары того шире ножки, ручки – как спички, голова тяжелая, большая а сам маленький, – даже смотреть нехорошо. Глянешь – думается, мальчик, а лицо старое, хоть и молодежавое будто – от бритья-то, – и усы густые. (Он почесть каждый божий день брился, так, бывало, и пробивает борода, все руки конопатые и то все в волосах рыжих.) Лежит, говорю, причесался на бочок, отвернулся к стенке, шпалеры ковыряет и вдруг говорит:

– Насть!

Я даже дрогнула вся.

– Что вы, Никанор Матвеич?

А у самой так сердце и подкатилось.

– Ты знаешь, где моя копилка лежит?

– Нет, – говорю, – я этого, Никанор Матвеич, не могу знать. Я плохого против вас никогда в уме не держала.

– Встань, отодвинь нижний ящик в гардеропе, возьми старую гармонию, она в ней лежит. Дай мне ее сюда.

– Да зачем она вам?

– Так. Хочу деньги посчитать.

Я слезила в ящик, крышку на гармонье открыла, а там в мехах слон жестяной забит, порядочно тяжелый, чувствую. Вынула, подаю. Он взял, погромел, положил подле, – чистый, ей-богу, ребенок! – и задумался об чем-то. Молчал, молчал, усмехнулся и говорит:

– Я, Насть, нынче сон один счастливый видел, даже до-свету проснулся от него, и очень хорошо мне было весь день до обеда. Глянь-ка, я даже прифрантился для тебя.

– Да вы, мол, Никанор Матвеич, и всегда чисто ходите. А сама даже не понимаю, что говорю, до того разволновалась.

– Ну, – говорит, – ходить-то мне, видно, уж на том свете придется. Уж какой я красавец на том свете буду, – ты даже представить себе не можешь!

Мне даже жалко его стало.

– Над этим, – говорю, – грех смеяться, Никанор Матвеич, и к чему вы это говорите, я даже понять не могу. Может, – говорю, – господь даст, поздоревеете еще. Вы лучше мне скажите, ка-

кой такой сон видели?

Он было опять обиняками стал говорить, стал посмеиваться, – какой я, мол, житель! – стал ни к селу ни к городу про нашу корову толковать, – скажи ты, говорит, за-ради бога мамаше, чтоб продала она ее, мочи нету, надоела она мне, лежу ни кровати и все смотрю через двор на сарайчик, где она помещается, и она все смотрит в решетку на меня обратно, – а сам все деньгами погромыхивает и в глаза не смотрит. А я слушаю и тоже половины не понимаю, – чисто помешанные какие, несем, что попало, и с Дону и с моря, – наконец того, не вытерпела, – ведь вот-вот, думаю, проснутся все, самовар потребуют, и пропало тогда все мое дело! – и поскорее перебиваю его, на хитрости пускаюсь:

– Да нет, – говорю, – вы лучше скажите, какой сон вы видели? Про нас что-нибудь?

Хотела, понятно, приятное ему сказать, и так-то ловко попала. Взял он вдруг эту копилку, вынул ключик из шаровар, хочет отпереть – и никак не может, никак в дырку не попадет, до того руки трясутся, – наконец того, отпирает, высыпает себе на живот, – как сейчас помню, две серии и восемь золотых, – сгреб их в руку и вдруг говорит шепотом:

– Можешь ты меня один раз поцеловать?

У меня руки, ноги и отнялись от страху, он-то с ума сходит, шепчет, тянется:

– Настечка, только раз! Бог свидетель тебе, – никогда больше не попрошу!

Я оглянулась – ну, думаю, была не была! – и поцеловала его. Так он даже задохнулся весь, – ухватил меня за шею, поймал губы и с минуту небось не пускал. Потом сунул все деньги в руку мне – и к стенке:

– Иди, – говорит.

Я выскочила и прямо в свою горницу. Заперла деньги на замок, схватила лимон и давай губы тереть. До того терла, альни побелели все. Очень, правда, боялась, что пристанет от него ко мне чахотка...

Ну, хорошо, – это дело, значит, слава богу, вышло, начинаю другое обдeldывать, поглавнее, из-за какого я и билась пуще всего. Чую – быть скандалу, боюсь, не будут меня с места пускать, начнет, думаю, приставать теперь с любовью, мужевать меня из-за этих денег... Нет, смотрю, ничего. Лезть не лезет, обходится по-прежнему, аккуратно, будто ничего и не было промеж нас, даже думается, еще скромнее, и в горницу не зовет: держит, значит, слово. Подвожу тогда хозяевам разговор, – мол, пора мне об сыну позаботиться маленько, освободиться на время. Хозяева и слышать не хотят. А уж про него и говорить нечего. Намекнула ему раз, так он прямо побелел весь. Отвернулся к стенке и говорит этак с усмешечкой:

– Ты, – говорит, – не имеешь права этого сделать. Ты меня завлекла, приучила к себе. Ты должна подождать – я помру скоро. А уйдешь – я удавлюсь.

Хорош скромник оказался? Ах, думаю, бессовестные твои глаза! Я же из-за тебя себя неволила, а ты еще грозить мне! Ну, нет, не на такую напался! И зачала еще пуще предлог искать. Родилась тут кстати у хозяйки еще девочка, наняли к ней мамку – я и придерись, что с ней жить не могу. Злая, правда, оголтелая старуха была, сама хозяйка и то ей боялась, да и пьяная к тому же, – полштоф под кроватью так и дежурил, – и возле себя прямо терпеть никого не могла. Стала она на меня наговаривать, смутьянить всячески. То белье не так выгладила, то подать ничего не умею... А скажешь ей слово, затрясется вся – и жалиться бежит. Плачет навзрыд, а больше, понятно, не от обиды, а от притворства. Дальше, больше, я и говорю хозяевам:

– Так и так, увольте меня, мне от этой самой старухи белый свет не мил, я на себя руки наложу.

А сама уж дом на Глухой улице приглядела. Ну, хозяйка и не стала больше меня неволить. Правда, как прощалась со мной, страсть как звала опять к себе жить, или хоть приходиться когда к празднику, к именинам:

– Обязательно, – говорит, – чтоб ты приходила все прибраться, приготовить. Я, – говорит, – только при тебе и покойна. Я к тебе как к родной привыкла.

Я, конечно, благодарю всячески. Наобещала всего с три суммы, накланялась в пояс – и пошла. И сейчас же, господи благослови, за дело. Купила этот дом, открыла кабак. Торговля пошла ужасно хорошая, – стану вечером выручку считать: тридцать да сорок, а то и всех сорок пять в кассе, – я и надумай еще лавочку открыть, чтоб уж, значит, одно к одному шло. Сестра мужнина замуж давно вышла за сторожа из Красного Креста, он все кумой меня звал, дружил со мной, – я к нему, взяла безделицу в долг на всякое обзаведенье, на права – и заторговала. А тут как раз и

Ваня из ученья вышел. Советуюсь с умными людьми, куда, мол, его устроить.

– Да куда, – говорят, – его устраивать, у тебя и дома работы девать некуда.

И то правда. Сажаю Ваню в лавку, сама в кабак становлюсь. Пошла жожка в ход! И мыслить, понятно, забыла обо всех этих глупостях, хоть, по совести сказать, он, убогий-то, даже в постель слег, как я уходила. Никому ни одного словечка не сказал, а слег прямо кок мертвый, даже гармонью свою забыл. Вдруг, здорово живешь, – Полканиха на двор, мамка эта самая. (Ее мальчишки Полканихой прозвали.) Является и говорит:

– Тебе, говорит, один человек велел кланяться, беспреренно велел проведать его.

Тут меня даже в жар бросило от стыда! Каков, думаю себе, голубчик! Что в голову свою забрал! Подружку какую себе нашел! Не стерпела и говорю:

– Мне его поклоны не надобны, он про свое убожество должен помнить, а тебе, старому черту, стыдно и в сводни лезть. Слышала ай нет?

Она и осеклась. Стоит, согнулась, смотрит на меня исподлобья пухлыми глазами, да только кочаном своим мотает. Либо от жары, либо от водки ошалела.

– Эх ты, – говорит, – бесчувственная! Он, – говорит, – даже плакал об тебе. Весь вечер вчера лежал, к стенке отвернувшись, а сам плакал навзрыд.

– Что ж, – говорю, – и мне, что ль, залиться в три ручья? И не стыдно ему было, красноперому, реветь на людях? Ишь ребеночек какой! Ай от сиськи отняли?

Так и выпроводила старуху эту без ничего и сама не пошла. А он вскорости возьми да и взаправду удавился. Тут-то я, понятно, пожалела, что не пошла, а тогда не до него было. У самой в доме скандал за скандалом пошел.

Две горницы в доме я под квартиру сдала, одну наш постовой городской снял, отличный, серьезный, порядочный человек, Чайкин по фамилии, в другую барышня- проститутка переехала. Белокурая такая, молоденькая, и с лица ничего, красивая, Феней звали. Ездил к ней подрядчик Холин, она у него на содержанье была, ну, я и пустила, понадеялась на это. А тут, глядь, вышла промеж них расстройка какая- то, он ее и бросил. Что тут делать? Платить ей нечем, а прогнать нельзя – восемь рублей задолжала.

– Надо, – говорю, – барышня, с вольных добывать, у меня не странноприимный дом.

– Я, – говорит, – постараюсь.

– Да вот, мол, что-й-то не видно вашего старанья. Вместо того, чтоб стараться, вы каждый вечер дома да дома. На Чайкина, говорю, нечего надеяться.

– Я постараюсь. Мне даже совестно слушать вас.

– А-ах, – говорю, – скажите, пожалуйста, совесть какая!

Постараюсь-постараюсь, а старанья, правда, никакого.

Стала пуще округ Чайкина увиваться, да он и глядеть на нее не захотел. Потом, вижу, за моего принялась. Гляну, гляну – все он возле ней. Затеял вдруг новый пинжак шить.

– Ну, нет, – говорю, – перегодишь! Я тебя и так одеваю барчуку хорошему впору, что сапожки, что картузик. Сама, мол, во всем себе отказывала, каждую копейку орлом ставила, а тебя снабжала.

– Я, – говорит, – хорош собою.

– Да что ж мне, на красоту твою дом, что ль, продать?

Замечаю, пошла торговля моя хуже. Недочеты, ущербы пошли. Сяду чай пить – и чай не мил. Стала следить. Сижу в кабаке, а сама все слушаю, – прислонюсь к стенке, затаюсь и слушаю. Нынче, послушу, гудят, завтра гудят... Стала выговаривать.

– Да вам-то, – говорят, – что за дело? Может, я на ней жениться хочу.

– Вот тебе раз, матери родной дела нету! Замысел твой, – говорю, – давно вижу, только не бывать тому во веки веков.

– Она без ума меня любит, вы не можете ее понимать, она нежная, застенчивая.

– Любовь хорошая, – говорю, – от поганки всякой распутной! Она тебя, дурака, на смех подымает. У ней, – говорю, – дурная, все ноги в ранах.

Он было и окаменел: глядит себе в переносицу и молчит. Ну, думаю, слава тебе, господи, попала по нужному месту. А все-таки до смерти испугалась: значит, видимое дело – врезался, голубчик. Надо, значит, думаю, как ни мога, поскорей ее добывать. Советуюсь с кумом, с Чайкиным. Надоумьте, мол: что нам с ними делать? Да что ж, говорят, прихватить надо и вышвырнуть ее, вот и вся недолга. И такую историю придумали. Прикинулась я, что в гости иду. Ушла, похо-

дила сколько-нибудь по улицам, а к шести часам, когда, значит, смена Чайкину, тихим манером – домой. Подбегаю, толк в дверь – так и есть: заперто. Стучу – молчат. Я в другой, в третий – опять никого. А Чайкин уж за углом стоит. Зачала я в окна колотить – альни стекла зудят. Вдруг задвижка – стук: Ванька. Белый, как мел. Я его в плечо со всей силы – и прямо в горницу. А там уж чистый пир какой: бутылки пивные пустые, вино столовое, сардинки, селедка большая очищена, как янтарь розовая, – все из лавки. Фенька на стуле сидит, в косе лента голубая. Увидала меня, привскочила, глядит во все глаза, а у самой аж губы посинели со страху. (Думала, бить кинусь.) А я и говорю этак просто, хоть по правде сказать, даже продохнуть не могу:

– Что-й-то у вас, – говорю, – ай сговор? Ай именинник кто? Что же не привечаете, не угощаете?

Молчат.

– Что ж, – говорю, – молчите? Что ж молчишь, сынок? Такой-то ты хозяин-то, голубчик? Вот куда, выходит, денежки-то мои кровные летят!

Он было шерсть взбудоражил:

– Я сам в лета взошел!

– Та-ак, – говорю, – а мне-то как же? Мне, значит, от твоей милости с сучкой с этой из своего собственного дома выходить? Так, что ль? Пригрела я, значит, змейку на свою шейку?

Как он на меня заорет!

– Вы не можете ее обижать! Вы сами молоды были, вы должны понимать, что такое любовь!

А Чайкин, услышавши такой крик, и вот он: вскочил, ни слова не сказавши, сгреб Ваньку за плечи, да в чулан, да на замок. (Человек ужасный сильный был, прямо гайдук!) Запер и говорит Феньке:

– Вы барышней числитесь, а я вас волчком могу сделать!

(С волчьим билетом, значит.)

– Хотите вы, говорит, этого, ай нет? – Нынче же комнату нам ослобонить, чтоб и духу твоего здесь не пахло!

Она – в слезы. А я еще поддала:

– Пусть, – говорю, – денежки мне прежде приготовит! А то я ей и сундучишко последний не отдам. Денежки готовь, а то на весь город ославлю!

Ну, и спровадила в тот же вечер. Как сгоняла-то я ее, страсть как убивалась она. Плачет, захлебывается, даже волосы с себя дерет. Понятно, и ее дело не сладко. Куда деться? Вся состоянье, вся добыча при себе. Ну, однако, съехала. Ваня тоже притих было на время. Вышел на утро из-под замка – и ни гугу: боится очень, и совесть изобличает. Принялся за дело. Я было и обрадовалась, успокоилась, – да ненадолго. Стало опять из кассы улетать, стала шлюха эта мальчишку в лавку посылать, а он-то и печеным и вареным снаряжает ее! То сахару навалит, то чаю, то табаку... Платок – платок, мыло – мыло, – что под руку попадет... Разве за ним углядишь? И винцо стал потягивать, да все злей да злей. Наконец того, и совсем лавку забросил: дома и не живет, почесть, только поесть придет, а там и опять поминай как звали. Каждый вечер к ней отправляется, бутылку под поддевку – и марш. Я мечусь как угорелая – из кабака в лавку, из лавки в кабак – и уж слово боюсь ему сказать: совсем босяк стал! Всегда красивый был, – весь в меня, – лицом белый, нежный, чистая барышня, глаза ясные, умные, из себя статный, широкий, волосы каштановые, вьющие... А тут морда одулась, волосы загустели, по воротнику лежат, глаза мутные, весь обтрепался, гнущься стал – и все молчит, в переносицу себе смотрит.

– Вы меня не тревожьте теперь, – говорит, – я могу каторжных дел натворить.

А захмелеет, расслюнявится, смеется ничему, задумывается, на гармонье «Невозвратное время» играет, и глаза слезами наливаются. Вижу, плохо мое дело, надо мне поскорей замуж. Сватают мне тут как раз вдовца одного, тоже лавочника, из пригорода. Человек пожилой, а кредитный, состоятельный. Самый раз, значит, то самое, чего и добивалась я. Разузнаю поскорее от верных людей об его жизни – беды, вижу, никакой: надо решиться, надо поскорее знакомство завести, – нас друг другу только в церкви сваха перед тем показала, – надо, значит, предлог найти, побывать друг у друга, вроде как смотрины сделать. Приходит он сперва ко мне, рекомендуется: «Лагутин, Николай Иванович, лавочник». – «Очень приятно, мол». Вижу, совсем отличный человек, – ростом, правда, невеличек, седенький весь, а приятный такой, тихий, опрятный, политичный: видно, бережной, никому, говорят, гроша за всю жизнь не задолжал... Потом

и я к нему будто по делу затеялась. Вижу, ренсковый погреб и лавка со всем, что к вину полагаются: сало там, ветчина, сардинки, селедки. Домик небольшой, а чистая люстра. На окнах гардинки, цветы, пол чисто подметен, даром что холостой живет. На дворе тоже порядок. Три коровы, лошади две. Одна матка, трех лет, пять сот, говорит, уж давали, но не отдал. Ну, я прямо залюбовалась па эту лошадь – до чего хороша! А он только тихонько посмеивается, ходит, семечит и все рассказывает, как преискурант какой читает: вот туг-то то-то, там-то то-то... Значит, думаю, мудрить тут нечего, надо дело кончать...

Понятно, это я теперь-то так вкратце рассказываю, а что я в ту пору прочувствовала – одна моя думка знает. Ног под собой от радости не чую, – мол, таки добилась своего, нашла свою партию! – а молчу, боюсь, дрожу вся: а ну-ка расстроится вся моя надежда? Да так оно едва и не случилось, чуть-чуть не пропали задаром все мои хлопоты, а из-за чего, даже теперь невозможно покойно сказать: из-за убогого этого да из-за сыночка милого! Мы так дело тихо, благородно вели, что ни кот, ни кошка, думалось, не узнает. Ай, слышу, уж весь пригород знает про наши с Николаем Иванычем замыслы, дошел, понятно, слух и до Самохваловых, – небось сама же Полканиха и шепнула. А он, убогий-то, возьми, говорю, да и повесься! Ну вот, мол, тебе, – грозил, не верила, так вот же я назло тебе сделаю! Вколотил гвоздик в стенку над кроватью, бечевку от сахарной головы приладил, захлестнулся и сполз с кровати. Штука не хитрая, ума большого не надобно! Стою раз в сумерки в лавке, прибираю кой-чего – вдруг кто-й-то грох, грох в ставню в доме! Так у меня сердце и оборвалось. Выскочила на порог – Полканиха. – Ты что?

– Никанор Матвеич приказал долго жить! Крикнули, повернулась – и домой. А я сгорячато не сообразилась, – меня прямо как варом обварило со страху, – накинула шаль, да за ней. Она бежит, спотыкается – и я бегу... Прямо срам на весь город! Бегу и ничего не понимаю. Одно думаю – пропала моя головушка! Шутка ли, что натворил, не тем бог помяни! До чего, думаю, совести в людях нету! Подбегаю, а там уж народу, как на пожаре. Парадный настезь, кто хочет, тот и лезет, – всем, понятно, любопытно. Я было, сдуру-то, себе туда же. Да спасибо как по голове меня кто огрел: опомнилась, повернула – да назад. Тем, может, и спаслась, а то бы узнала чижа паленого. Вспомнил бы кто-нибудь, – да хоть та же Полканиха со зла, – вот, мол, ваше благородие, на кого мы думаем, кто всему причиной, извольте ее опросить, – и готова. Поди потом, вывертывайся. Человек- то, бывает, ни сном пи духом, а его за хвост да в мешок... Не первый случай.

Ну, похоронили его – у меня и отлегло от сердца. Готовлюсь к свадьбе, дело свое спешу прикончить, распродать, что можно, без убытку – вдруг опять беда- горе. И так с ног сбилась в хлопотах, спеклась вся от жары, – жара в тот год прямо непереносная стояла, да с пылью, с ветром горячим, особенно у нас, на Глухой улице, на косогорах-то этих, – вдруг еще новость – Николай Иваныч обиделся. Присылает сваху эту самую нашу, какая нас сводила-то, – лютая псовка была, небось сама же, востроглазая, и настрочила его, Николай-то Иваныча, – передает через нее Николай Иваныч, что свадьбу он до первого сентября откладает – дела будто есть – и об сыну, об Ване, наказывает; чтобы, значит, я об нем получше подумала, определила его куда ни на есть, потому как, говорит, в дом я его к себе ни за какие благи не приму. Хоть он, говорит, и сын твой родной, а он нас вчистую разорит и меня будет беспокоить. (И его-то, правда, положение. Как он никогда никакого шуму не знал, никаких скандалов не подымал, понятно, боялся волноваться: как разволнуется, у него всегда все в голове смешается, слова не может сказать.) Пускай, говорит, она его с рук сбывает. А куда мне его определять, куда сбывать? Малый совсем от рук отбился, в чужих людях, думаю, и сама-то с ним на нет сошла с самых этих пор, как ознакомился он с Фенькой: прямо околдовала, сука! День дрыхнет, ночь пьянствует, – ночь за день сходит... Что я тут горя вытерпела – сказать невозможно! До того добил – стала как свечка таять, ложки держать не могу, руки трясутся. Как стемнеет, сяду на скамейку перед домом и жду, пока с улицы вернется, боюсь, ребята слободские умолотят. Раз было убила до смерти, побежала посмотреть в слободу: слышу шум, крик, думала, его холят, да в овраг и зашуршала...

Ну, получивши такое решение от Николай Иваныча призываю его к себе: так и так, мол, сынок, терпела я тебя долго ну, а ты совсем ослаб и заблудился, на всю округу меня ослабил. Привык ты нежиться и блаженствовать, – наконец того совсем босяк, пьяница стал. Такого дарования, как я, ты не имеешь, сколько раз я падала, да опять подымалась, а ты ничего нажать себе не можешь. Я вот и почета добилась и недвижимое имущество у меня есть, и ем, пью не хуже людей, душу свою не морю, а все оттого, что всем мой хрип спокон веку заведовал. Ну, а ты, как

был мот, так, видно, и хочешь остаться. Пора тебе с шеи моей слезть...

Сидит, молчит, клеенку на столе ковыряет.

– Что ж ты, – спрашиваю, – молчишь? Ты клеенку-то не дери, – наживи прежде свою, – ты отвечай мне.

Опять молчит, голову гнет и губами дрожит.

– Вы, – говорит, – замуж выходите?

– Это, мол, выду ли, нет ли, неизвестно, а и выду, так за хорошего человека, какой тебя в дом не пустит. Я, брат, не Фенька твоя, не шлюха какая-нибудь.

Как он вскочит вдруг с места, да как затрясется весь:

– Да вы ногтя ее не стойте!

Хорошо, ай нет? Вскочил, заорал не своим голосом, дверью хлопнул – и был таков. А я, уж на что не плаксива была, так слезами и задалась. Плачу день, плачу другой, – как подумаю, какие слова он мог мне сказать, так и зальюсь. Плачу и одно в уме держу – до веку не прошу ему такой обиды, со двора долой сгоню... А его все нету. Слышу – у своей пирует, танцы, пляс, пропивает наворованные денежки и мне грозит: я ее, говорит, все равно успокою, выжду, как пойдет куда-нибудь вечером, камнем убью. Присылает, – на смех мне, понятно, – в лавку за покупками, берет то жамок, то селедок. Я прямо трясусь от обиды, а креплюсь, отпускаю. Сижу раз в лавке – вдруг сам входит. Пьян – лица нету. Вносит селедки, – утром девчонка приходила, купила, на его, понятно, деньги, четыре штуки, – и как шваркнет их на прилавок.

– Можете вы, – кричит, – присылать такую скверность покупателям? Они вонючие, их собакам только есть.

Орет, ноздри раздувает – предлог ищет.

– Ты, – говорю, – тут не буянь и не ори, сама я селедок не работаю, а бочонками покупаю. Не нравится – не жри, вот тебе твои деньги.

– А если бы я их съел да помер?

– Опять же, – говорю, – ты, свинья, не можешь тут кричать, – какой такой ты мне командир? Авось чин не велик имеешь. Ты честью должен сказать, а не нахрапом лезть в чужое помещение.

А он схватил вдруг безмен с ларя и этак шипом:

– Как жмакну тебя, – говорит, – сейчас по голове, так ты и протянешься!

И со всех ног вон из лавки. А я как села на пол, так и подняться не могу...

Потом слышу – уработали таки его слободские ребята! Еле живого на извозчике привезли – пьян без памяти, голова мотается, волосы от крови слиплись, все с пылью перебиты, сапоги, часы сняли, новый пинжак весь в клоках – хоть бы где орех целого сукна остался... Я подумала, подумала – принять его приняла и даже за извозчика заплатила, но только в тот же день посылаю Николай Иванычу поклон и твердо наказываю сказать, чтоб он больше ничего не беспокоился: с сыном, мол, я порешила, – прогоню его безо всякой жалости прямо же, как проспится. Отвечает тоже поклоном и велит сказать: очень, говорит, умно и разумно, благодарю и сочувствую... А через две недели и свадьбу назначил. Да...

Ну, да будет пока, тут и сказке моей конец. Больше-то, почесть, и рассказывать нечего. С этим мужем до того я ладно век свековала, – прямо редкость по нонешнему времени. Что я, говорю, прочувствовала, как этого рая добивалась, – сказать невозможно! Ну, и наградил меня, правда, господь, – вот двадцать первый год живу как за каменной стеной за своим старичком и уж знаю – он меня в обиду не даст: он ведь это с виду только тихий! А, понятно, нет-нет, да и заноеет сердце. Особливо великим постом. Умерла бы теперь, думается, – хорошо, покойно, по всем церквам акафисты читают... Опять же иной раз и об Ване соскучусь. Двадцать лет ни слуху ни духу об нем. Может, и помер давно, да не знаю о том. Мне даже жалко его стало, как привезли-то его тогда. Втащили мы его, взвалили на кровать – целый день спал мертвым сном. Взойду, послушаю дыхание, – жив ли, мол... А в горнице – вонь, кислотой какой-то, лежит он весь ободранный, изгвазданный, храпит и захлебывается... Страм и жалость смотреть, а ведь кровь моя родная! Погляжу, погляжу, послушаю и – выйду. И такая-то тоска меня взяла! Поужинала через силу, прибрала со стола, огонь потушила... Не спится, да и только, – вся дрожу-лежу... А ночь светлая, видная. Слышу, проснулся. Все кашляет, все выходит на двор, дверью хлопает.

– Что это ты, – спрашиваю, – ходишь?

– Живот, – говорит, – болит.

По голосу слышу – тревожится, тоскует.

– Ты, – говорю, – выпой чернобыльнику.

Полежала еще и задремала немножко, чувствую сквозь сон – прокрадается кто-й-то по полу. Вскочила – он.

– Мамаша, – говорит, – не пугайтесь меня за ради Христа...

И как зальется в три ручья! Сел на постель, руки ловит, целует, слезами обливает, а сам даже захлебывается, – так плачет-рыдает. Я не стерпела – и себе! Жалко, понятно, а делать нечего – из-за чего вся моя судьба решается. Да он и сам, вижу, понимает это хорошо.

– Простить я тебя, – говорю, – могу, а поделаться, ты сам видишь, теперь уж ничего нельзя. И уходи ты куда-нибудь подалье, чтоб я и не слыхала про тебя!

– Мамаша, – говорит, – на что вы меня, не хуже сидяки этого, Никанор Матвеича, погубили?

Ну, вижу, человек еще не в своем уме, не стала и спорить. Поплакал, поплакал, поднялся и ушел. А наутро глянула я в горницу, где он спал, а его уж и след проспал. Ушел, значит, пораньше от страму – и как в воду канул. Был слух, жил будто в Задонске при монастыре, потом на Царицын подался, а там небось и голову сломил... Да что об этом толковать – только сердце свое тревожить! Воду варить – вода будет...

А что он про Никанор Матвеича сказал, так я даже глупо это считаю. Авось не великими деньгами покорыстовалась, не из кармана вытащила. Он сам свое убожество понимал, сам скучал часто. Бывало, скажет мне:

– И калекой меня, Настя, судьба моя сделала, и характер у меня сумасходный: то мне весело чего-й-то, как перед бедой какой, то такая тоска, особливо летом, в жару, в пыль эту, – просто руки на себя наложил бы! Помру я, похоронят меня на Чернослободском кладбище – цельный век будет эта пыль лететь на мою могилку через ограду!

– Да что ж, мол, Никанор Матвеич, об этом убиваться? Мы этого чуют не будем.

– Да это, – говорит, – что ж, что чуют не будем, беда та, что при жизни о том думаешь...

А, правда, скука, бывало, у нас в доме, у Самохваловых-то, как все позаснут после обеда, а ветер несет эту пыль. И руки-то им наложил на себя в страшную жару, в самое глухое время. Город у нас, правда, ужасный скучный. Я вон была недавно в Туле: какое же сравнение!

Капри. XI.1911

Сверчок

Эту небольшую историю рассказал мне шорник Сверчок, весь ноябрь работавший вместе с другим шорником, Василием, у помещика Ремера.

Ноябрь стоял темный и грязный, зима все не налаживалась. Ремеру с его молодой женой, недавно поселившимся в дедовской усадьбе, было скучно, и вот они стали ходить по вечерам из своего еще забитого дома, где только внизу, под колоннами, была одна сносная жилая комната, в старый флигель, в упраздненную контору, где зимовала птица и помещались шорники, работник и кухарка.

Вечером под Введение несло непроглядной мокрой вьюгой. В просторной и низкой конторе, когда-то беленной мелом, было очень тепло и сыро, густо воняло махоркой, жестяной лампочкой, горевшей на верстаке, сапожным варом, политурой и мятной кислотой кожи, куски и обрезки которой, вместе с инструментами, новой и старой сбруей, хомутиной, потниками, дратвой и медным набором навалены были и на верстаке, и на затоптанном, сорном полу. Воняло и птицей из темной пристройки, но Сверчок и Василий, ночевавшие в этой вони и каждый день часов по десяти сидевшие в ней с согнутыми спинами, были, как всегда, очень довольны своим помещением, особенно тем, что Ремер не жалеет топки. С узеньких подоконников капало, на черных стеклах сверкало и резко белел липкий, мокрый снег. Шорники пристально работали, кухарка, небольшая женщина в полушубке и мужицких сапогах, называясь за день, отдыхала на продранном стуле у горячей печки. Она грела спину и, не сводя глаз с лампочки, слушала шум ветра, потрясавшего порою весь флигель, постукивание по хомуту, который Василий, и старчески-детское дыхание лысого Сверчка, возившегося над шлеей и в затруднительные минуты шевелившего красным кончиком языка.

Лампочка, облитая керосином, стояла на самом краю верстака и как раз посередине между

работавшими, чтобы видне было обоим, но Василии то и дело подвигал ее к себе своей сильной, жилистой, смуглой рукой, засученной по локоть. Сила, уверенность в силе чувствовались и во всей осанке этого черноволосого человека, похожего на малайца, – в каждой выпуклости его мускулистого тела, обозначавшегося под тонкой, точно истлевшей рубахой, бывшей когда-то красной, и всегда казалось, что Сверчок, маленький и, несмотря на видимую бодрость, весь разбитый, как все дворовые люди, побаивается Василия, никогда никого не боявшегося. Казалось это и самому Василию, усвоившему себе манеру, как бы в шутку, на забаву окружающим, покрикивать на Сверчка, даже помогавшего этой шутке.

Василий, держа между коленками, прикрытыми засаленным фартуком, новый хомут, обтягивал его темно-лиловой толстой кожей, одной рукой крепко захватывая ее и туго натаскивая на дерево клещами, а другой вынимая из сжатых губ гвозди с медными шляпками, втыкая их в наколы, заранее сделанные шилом, и затем с одного маха, ловко и сильно вколачивая молотком. Он низко нагнул свою большую голову в черных влажно-курчавых волосах, перехваченных ремешком, и работал с той приятной, ладной напряженностью, которая дается только хорошо развитой силой, талантом. Напряженно работал и Сверчок, но напряженность эта была иного рода. Он прошивал концом новую розово-телесного цвета шлею, тоже захватив ее в колени, в голенища и фартук, и с трудом накалывал, с трудом, шевеля языком и приноравливая к свету лысую голову, попадал щетиной в дырочки, хотя раздергивал в разные стороны и закреплял конец даже с некоторой удалью старого, натрелого мастера.

Наклоненное к хомуту лицо Василия, широкое, с выступающими под маслянистой желто-смуглой кожей костями, с редкими и жесткими черными волосами над углами губ, было строго, нахмурено, значительно. А по наклоненному к шлее лицу Сверчка видно было только то, что ему темно и трудно. Он был ровно вдвое старше Василия и чуть не вдвое меньше ростом. Сидел ли он, вставал ли, разница была невелика, – так коротки были его ноги, обутые в разбитые, ставшие от старости мягкими, сапоги. Ходил он, – тоже от старости, – неловко согнувшись, так, что отставал фартук и виден был глубоко провалившийся живот, слабо, по-детски подпоясанный. По-детски темны были его черные глазки, похожие на маслинки, а лицо имело слегка лукавый, насмешливый вид: нижняя челюсть у Сверчка выдавалась, а верхняя губа, на которой темнели две тонких, всегда мокрых косички, западала. Вместо «барин» говорил он «баин», вместо «было» – «быво» и часто всхлипывал, подтирая большой холодной рукой, суставами указательного пальца, свой повисший носик, на конце которого все держалась светлая капелька. Пахло от него махоркой, кожей и еще чем-то острым, как от всех стариков.

Сквозь шум метели послышался из сеней топот обиваемых от снега ног, хлопанье дверей – и, внося с собой свежий хороший запах, вошли господа, залепленные белыми хлопьями, с мокрыми лицами и блестками на волосах и одежде. Темно-красная борода и густые, нависшие над серьезными и живыми глазами брови Ремера, глянцевиный каракулевый воротник его мохнатого пальто и каракулевая шапка казались от этих блесков еще великолепно, а нежное, милое лицо его беременной жены, ее мягкие длинные ресницы, сине-серые глаза и пуховый платок еще нежнее и милее. Кухарка хотела уступить ей продранный стул, она ласково ее поблагодарила, заставила остаться на своем месте и села на скамью в другой угол, осторожно сняв с нее узду со сломанными удилами; потом слабо зевнула, повела плечами, улыбнулась и тоже засмотрелась на огонь широко раскрытыми глазами. Ремер закурил и стал ходить по комнате, не раздевшись и не сняв шапки. Как всегда, господа пришли только на минутку, – уж очень тяжелый и теплый был у шорников воздух, – но потом, как всегда, забылись, потеряли обоняние... И вот тут-то, неожиданно для всех, и рассказал Сверчок свою историю.

– Однако ты, брат, ловок, – прошепелявил он, когда Василий, поздоровавшись с господами кивком головы, опять придвинул к себе лампочку. – Однако ты, б'ят, вовок. Я небось постарше тебя немножко, – сказал он, всхлипывая и подтирая нос.

– Что? – притворно-грозно крикнул Василий, сдвигая брови. – Может, тебе еще газовый рожок зажечь? Ослеп – так в богадельню.

Все улыбнулись, – даже и барыня, которой все-таки немного неприятны были эти шутки, – и подумали, что Сверчок, как всегда, отпустит что-нибудь смешное. Но на этот раз он только головой покрутил и, вздохнув, остановил взгляд на черных стеклах, залепленных белыми хлопьями. Потом, взяв шило своей большой, в крупных жилах рукой с широко расставленными суставами большого и указательного пальцев, неловко и с трудом воткнул его в розоватую сырую

кожу. Кухарка, заметив, что он смотрел на окна, заговорила о том, как она боится, что ее мужик, поехавший за коновалом в Чичерино, замерзнет, собьется с дороги, как вдруг Сверчок, делая вид, что он занят, сказал с грустным добродушием:

– Да, брат, ослеп... Поневоле ослепнешь! Ты вот доживи-ка до моих годов, да почувствуй с мое! Ан не доживешь! Я вот спокон веку такой, неизвестно, в чем душа держится, а все тянул, жил – и еще бы столько же прожил, как бы было зачем. Я. Брат, очень даже хотел жить, пока было антиресно, и жил, смерти не подавался. А твою-то силу мы еще не знаем. Молода, в Саксоне не была...

Василий посмотрел на него пристально, как посмотрели господа и кухарка, удивленные его необычным тоном, – на минуту, в молчании, особенно явственно стал слышен шум ветра, – и серьезно спросил:

– Что это ты буровишь такое?

– Я-то? – сказал Сверчок, поднимая голову. – Нет, брат, я не буровлю. Я это про сына вспомнил. Слышал небось какой молодец-то был? Пожалуй, еще почище тебя будет, а вот не мог же того выдержать, что я.

– Ведь он замерз, кажется? – спросил Ремер.

– Я его знал, – ответил Василий и, не стесняясь, как говорят о ребенке при нем же самом, добавил: – Да он и не сын ему, говорят, был, – Сверчку-то. Не в мать, не в отца, а в проезжего молодца.

– Это дело иное, – так же просто сказал и Сверчок, – это все может быть, а почитал он меня не меньше отца, дай бог, чтобы твои так-то тебя почитали, да и не докапывался я, сын он мне али нет, моя кровь аль чужая... авось она у всех одинаковая! Сила в том, что он, может, дороже десятерых родных мне был. Вы вот, барин, и вы, сударыня, – сказал Сверчок, поворачивая голову к господам и особенно ласково выговаривая: «судаыня», – вы вот послушайте, как было-с это дело, как замерз-то он. Я ведь его всю ночь на закорках таскал!

– Кура сильная была? – спросила кухарка.

– Никак нет, – сказал Сверчок. – Туман.

– Как туман? – спросила барыня. – Да разве в туман можно замерзнуть? И зачем же вы его таскали?

Сверчок кротко улыбнулся.

– Хм! – сказал он. – Да вы того, сударыня, и вообразить себе не можете-с, до чего он, туман-то этот, может замучить! А таскал я его затем, что уж очень жалко было-с, все думал отстоять его от этого... от смерти-то. Это так вышло, – картаво начал он, обращаясь не к Василию и не к Ремеру, а только к одной барыне, – это вышло-с как раз под самый Николин день...

– А давно? – спросил Ремер.

– Да лет пять или шесть тому назад, – ответил за Сверчка Василий, серьезно слушая и свертывая сигарку.

Сверчок мельком, старчески-строго взглянул на него.

– Оставь мне затынуться, – сказал он и продолжал: Работали мы, сударыня, у барина Савича в Огнвке, – он, сын-то, со мной всегда ходил, не отбивался от меня, – ну, работали и работали, а квартиру в селе снимали, жили после смерти матери вроде как два дружных товарища. Подходит, наконец того, Николин день. Надо, думаем, домой отличиться, немножко в порядок себя привести, а то, по совести сказать, уж очень все на нас земле предалось. Собираемся этак навечер а того и не видим, что такая стыдь да еще с туманом к вечеру завернула, альни деревни за лужком не видать, уж не говоря про то, что очень местность везде глухая. Копаемся, прибираем струмент в этой самой бане, где мы, значит, спасались, никак ничего не найдем в темноте, – скупой барин-то был, огарочка не разживешься, – чувствуем, что припоздали маленько, и верите ли, такая тоска вдруг взяла меня, что я говорю: «Дорогой ты мой товарищ, Максим Ильич, ай нам остаться, до утра подождать?»

– А вас Ильей зовут? – спросила барыня, вдруг вспомнив, что она до сих пор не знает имени Сверчка.

– Ильей-с, – ласково сказал Сверчок и, всхлипнув, подтер нос, – Ильей Капитоновым. Но только сын-то меня тоже Сверчком звал и все, – вот не хуже этого Бовы Королевича, Василь Степаныча, – шутил, грубиянил со мной. Ну, конечно, пошутил, закричал и тут: «Это еще, мол, что такое? Поговори у меня!» – Нахлобучил мне шапку по уши, надел свою, ремешком подтя-

нулся, – красавец был, сударыня, истинную вам правду говорю-с! – взял палочку и без дальних разговоров марш на крыльцо. Я за ним... Вижу, туман страсть какой и уже совсем стемняло, барский сад весь сизыми шапками, инеем оброс, – как туча какая в сумерках, в тумане этом мерещится, – да делать, значит, нечего, не хочу молодого человека обижать, молчу. Перешли лужки, поднялись на горку, оглянулись, а окон у барина уж и не видно стало. Отвернулся я от ветру, – в одну минуту дух захватило, так и несет этой мгой, туманом, вроде как дыханье какое, – чувствую, что уж на двух шагах до самых костей прохватило, а споги-то нан нас нагольные, да и поддевочки на шереметьевский счет сшиты, и опять говорю: «Ой, вернемся, Максим, не форси!» Он было и задумался... Да известно, дело молодое, по себе небось, сударыня, знаете, – как свою гордость не выказать? – опять пошел. Входим в деревню, – конечно, потише стало, везде огни по избам, хоть и мутные, а все-таки жильё, – он и бубнит: «Ну, видишь? Что дрожал? Видишь, на ходу-то куда теплей, это только сначала так стюдено показалось... Не отставай, не отставай, а то подгонять зачну...» А уж какое там, сударыня, тепло, все водовозки на четверть инеем обросли, все лозинки к земле пригнуло, крыш не видать от туману и морозу... Конечно, жильё, да от этих огней туман еще больше выдает, и все ресницы у меня в инее, отяжелели, как у лошади хорошей, а барских окон на том боку и звания не осталось... Одно слово – ночь лютая, самая что ни на есть волчиная...

Василий нахмурился, пустил в обе ноздри дым и, подавая окуок Сверчку, перебил его:

– Ну, ты, «вовчиная», этак до второго пришествия не кончишь. Ты скорей рассказывай.

И деловито перевернул в коленях хомут, намереваясь продолжать работу. Сверчок, щепотками, кончиками прокопченных пальцев взяв у него окурок, сильно затянулся и на минуту грустно задумался, как бы слушая свое детское дыхание и шум ветра за стенами. Потом несмело сказал:

– Ну, бог с тобой, хорошо, покороче скажу. Я только хотел сказать, что просто мы заблудились в двух шагах. Мы, сударыня, – продолжал он увереннее, взглянув на барыню, уловив в ее глазах сочувствие и вдруг острее почувствовав свое давно ставшее привычным горе, – мы дорогу, значит, потеряли. Как только вышли-с за деревню, да попали в эту темь, во мгу, в холод, да прошли, может, с версту, так и заблудились. Тут большой верх, агромадный луг, буераки до самого села идут, а над ними дорога всегда есть, вот мы и потрафляли по ней, все думали, что верно держимся, а заместо того влево забрали по чьему-то следу, к бибииковским, значит, оврагам, и след этот тоже, на беду, упустили, а уж там и пошли месить по снегу, по ветру, как попало. Да это все, сударыня, история известная, – кто не блудил, все блудили, – ая то хотел сказать, какую муку-с я за эту ночь принял! Я, правда, до того оробел, до того испугался, как, значит, прокружились мы часа два али три, да зарьяли, задохнулись, обмерзли, стали в пень и видим, что в отделку пропали, до того, говорю, испугался, что у меня аж руки, ноги огнем закололо, – всякому, понятно, свой живот дорог, – но только я и в мыслях не держал, что дальше-то будет, как накажет меня господь! Я, нонятно, думал, что мне первому конец, – много ль во мне духу, сами изволите видеть, – а как увидал, что я-то еще жив, стою, а уж он на снег сел, как увидал его...

Сверчок слегка вскрикнул на последних словах, взглянул на кухарку, которая уже плакала, и, вдруг заморгав, исказив и брови, и губы, и задрожавшую челюсть, стал торопливо искать кисет. Василий сердито сунул ему свой, и он, вертя прыгающими руками сигарку и роняя в табак слезы, опять заговорил, но уже новым, размеренно-твердым и повышенным тоном:

– Дорогая моя сударыня, у нас был барин Ильин, лютей его во всей губернии не было, – до нашего, то есть, брата, до дворового – так вот он тоже замерз, под городом нашли, – лежит в возке, весь снегом забит, и сам окоченел уж давно, а возле него сидит-дрожит кобель живой, сетер его любимый, под шубой под енотовой: он, значит, злодей-то такой шубу свою собственную снял с себя и кобеля накрыл, а сам замерз, и кучер его замерз, и вся тройка мерзлая на оглобли навалилась, поколела... А ведь тут не кобель, тут – сын родной, дорогой мой товарищ! Да, сударыня! Что мне было снять-то с себя? Поддевку-то эту? Да она была ровесница мне, на нем была вдвое теплей... Да тут и шубой не помог бы! Тут хоть рубаху сними – не спасешь, хоть на весь белый свет кричи – никого не докричишься! Он вскорости еще пуще меня испугался, и вот от этого от самого и пропали-то мы. Как только упустили мы след, он и заметался. Сперва все покрикивал, зубами ляскал да отдувался, как, значит, до животов-то прохватило нас ветром с морозом, потом вроде как с ума стал сходить. «Стой! – кричу. – Ради Христа, стой, давай сядем, одумаемся!» Молчит. Я его за рукав хватаю, опять кричу... Молчит, да и только! Либо не понимает

ничего, либо не слышит. Темь хоть глаз выколи, ног, рук уж не чуем, все лицо сковало, губ вроде как совсем нету – одна челюсть голая – и ничего не поймешь, ничего не видать! Гудит ветер в уши, несет мгу эту, а он кружится, мечется – и ничего не слушает меня. Бегу, глотаю туман, вязну по пояс... того гляди, думаю, из виду его упусти... вдруг – раз! сорвались куда-й-то, покатились, задохнулись в снегу... чую – в оврагах сидим. Помолчали, помолчали, отдышались – вдруг он и говорит. «Это что, отец? Бибиловские овраги? Ну, сиди, сиди, давай отдохнем. Вылезем – целиком назад пойдем. Теперь я все понимаю. Ты не бойся, не бойся, – я тебя доведу». А уж голос-то дикий. Не говорит, а рубит... И вот тут-то я и понял, что пропали мы. Вылезли, опять пошли, опять ошалели... месили, месили снег еще часа два, попали в кустарник дубовый, да как наткнулись на него, да поняли, что мы уж верстах в десяти от Огневки, в степи пустой, – тут он и сел вдруг: «Сверчок, прощай». – «Стой, как прощай? Очнись, Максим!...» Нет, – снл и смолк...

– Долга песня рассказывать, сударыня! – вдруг опять звонко сказал Сверчок, искажая брови. – Тут и страх весь пропал у меня. Как сел он, мне так в голову и вдарило: а-а, думаю, вон что, помирать мне теперь, видно, время нет! Руки стал у него целовать, умолять – мол, поддержишь хоть немножко еще, не сиди, не давайся сну этому смертному, пойдем целиком, обопрись на меня! Нет, – валится с ног долой, да и только! А я бы и помер от этакой страсти, да уж не могу... не в состоянии... И когда уж кончился он, смолк совсем, отяжелел, оледенел, я его, мужчину этакого, на закорки навалил, под ноги подхватил – и попер целиком. Нет, думаю стой, нет, шалишь, не отдам, – мертвого буду сто ночей таскать! Бегу, вязну в снегу, а у самого дух от тяжести занимается, волосы дыбом от страху встают, как он своей студеной головой, – картуз-то уж давно свалился, – по плечу моему елозит, до уха касается. А все бегу да кричу: «Нет, постой, не отдам, помирать мне теперь не время!» Думалось так, сударыня, – сказал Сверчок вдруг упавшим голосом и заплакал, вытирая рукавом глаза, выбирая на рукаве местечко менее грязное, ближе к плечу, – думалось так... принесу на село... может, отгадет, ототру...

Долго спустя, когда Сверчок уже успокоился и стал пристально смотреть красными глазами в одну точку перед собою, когда вытерли слезы и облегченно вздохнули и барыня, и кухарка, Василий серьезно сказал:

– А напрасно я тебя окоротил. Ты хорошо рассказываешь. Я и не чаял такой прыти от тебя.

– Вот то-то и оно-то, – тоже серьезно и просто ответил Сверчок. – Тут, брат, всю ночь можно рассказывать, и то не расскажешь.

– А сколько ему было лет? – спросил Ремер, искоса поглядывая на жену, тихо улыбавшуюся после слез, и тревожно думая о том, как бы это не повредило ей в ее положении.

– Двадцать пятый-с, – ответил Сверчок.

– И больше у вас не было детей? – робко спросила барыня.

– Нет-с, не было...

– А у меня вон целых семеро, – нахмуриваясь, сказал Василий. – Изба два шага, а их куча. Тоже не велика сласть и дети. Нам, видно, чем раньше помереть, тем выгоднее.

Сверчок подумал.

– Ну, это не нашего ума дело, – еще проще, серьезней ответил он и опять взялся за шило. – Не замерзни он, меня, брат, до ста лет никакая смерть не взяла бы.

Господа переглянулись и, застегиваясь, поднялись с мест. Но еще долго стояли и слушали, как отвечал Сверчок на расспросы кухарки о том, донес ли он сына до села, чем кончилось дело. Сверчок отвечал, что донес, но только не до села, а до железной дороги, и упал, споткнувшись на рельсы. Обморозил руки, ноги и уже совсем терял сознание. Рассвело, шла метель, все белело, а он сидел в степи и смотрел, как заносит снег его мертвого сына, набивается в редкие усы и в белые уши. Подняли их кондуктора товарного поезда, шедшего из Балашова.

– Дивное дело, – сказала кухарка, когда он кончил, – не пойму я того, как ты сам-то в такую страсть не замерз?

– Не до того было, матушка, – ответил Сверчок рассеянно, ища что-то на верстаке, в обрезках кожи.

Капри. 30.XI.1911

Ночной разговор

I

Небо было серебристо-звездно, поле за садом и гумном темнело ровно, на чистом горизонте четко чернела мельница с двумя рогами крыльев. Но звезды искрились, трепетали, часто прорезывали небо зеленоватыми полосками, сад шумел порывисто и уже по-осеннему, холодно. От мельницы, с пологой равнины, с опустевшего жнивья дул сильный ветер.

Работники сытно поужинали, – был праздник, Успенье, – и жадно накурились по дороге через сад на гумно. Накинув армяки сверх полушубков, они шли туда спать, стеречь хлебные вороха. За работниками, таща подушку, шел высокий гимназист и бежали три борзых белых собаки. На гумне, на свежем ветру, хорошо пахло мякиной, новой ржаной соломой. Все уютно улеглись в ней, в самом большом омете, поближе к ворохам и риге. Собаки повозились, пошуршали у ног и тоже успокоились.

Над головами лежавших слабо белел широкий, раздваивающийся дымно-прозрачными рукавами Млечный Путь, наполненный висящей в них мелкой звездной россыпью. В соломе было тепло и тихо. Но по лозняку, что темнел вдоль вала слева, то и дело тревожно шел и, разрастаясь, приближался глухим неприязненным шумом северо-восточный ветер. Тогда до лиц, до рук доходило прохладное дуновение вместе с дурным запахом из проходов между ометами. А по небо-склону, за неправильными черными пятнами волновавшегося лозняка, остро мелькали, вспыхивали льдистые алмазы, разноцветными огнями загоралась Капелла.

Улегшись, позевали и закрыли глаза. Ветер дремотно шелестел торчавшей над головами колючей соломой. Но дошла до лиц прохлада – и все почувствовали, что спать еще не хочется, – выпались после обеда. Только один гимназист изнемогал от сладкой жажды сна. Но ему заснуть не давали блохи. Он стал чесаться, раздумался о девках, о вдове, с которой он, при помощи работника Пашки, потерял в это лето невинность, и тоже разгулялся.

Это был худой, неуклюжий подросток с нежным цветом лица, такого белого, что даже загар не брал его, с синими глазами, с большим кадыком. Он вес лето не разлучался с работниками, – возил сперва навоз, потом снопы, оправлял ометы, курил махорку, подражал мужикам в говоре и в грубости с девками, которые дружески поднимали его на смех, встречали криками: «Веретенкин, Веретенкин!» – дурацким прозвищем, придуманным подавальщиком в молотилку Иваном. Он ночевал то на гумне, то в конюшне, по неделям не менял белья и парусиновой одежды, не снимал дегтярных сапог, сбил в кровь ноги с непривычки к портянкам, оборвал все пуговицы на летней шинели, испачканной колесами и навозом...

– Совсем отбился от дому! – с ласковой грустью говорила о нем мать, восхищаясь даже его недостатками. – Конечно, поправится, окрепнет, но посмотрите, какая лохматая чушка, даже шею не моет! – улыбаясь, говорила она гостям и теребила его мягкие каштановые лохмы, стараясь добраться до нежного завитка, кудрявившегося, как у девочки, на его затылке, на темной шее, отделявшейся от видного под косовороткой по-детски белого тела, от больших позвонков под тонкой гладкой кожей. А он угрюмо вывертывал голову из-под ее ласковой руки, хмурился, краснел. Он рос не по дням, а по часам и на ходу гнулся, задумчиво свистал, угловато вилял из стороны в сторону. Он еще ел липовый цвет и вишневый клей, носил, хотя уже тайком, в кармане парусиновых панталон рогульку для стрельбы по воробьям, но сторел бы от стыда, если бы это обнаружилось, и не выпускал рук из карманов. Еще зимой он играл с Лилей в краснокожих. Но весной, когда по всем улицам города текли и дрожали ослепительным блеском ручьи, когда в классах горели от солнца белые подоконники, солнцем был пронизан голубой дым в учительской и директорская кошка подстерегала первых зябликов в гимназическом саду, еще полном серебряного снега, – весной он вообразил, что влюбился в худенькую, маленькую, начитанную и серьезную гимназистку Юшкову, подружился с шестиклассником в очках Симашко и решил посвятить все каникулы самообразованию. А летом мечты о самообразовании были уже забыты, было принято новое решение – изучить народ, вскоре перешедшее в страстное увлечение мужиками.

Вечером на Успенье гимназист был налит сном еще за ужином. К концу каждого дня, когда туманилась и на грудь падала голова, – от усталости, от разговоров с работниками, от роли взрослого, – возвращалось детство: хотелось поиграть с Лилей, помечтать перед сном о каких-нибудь дальних и неведомых странах, о необыкновенных проявлениях страсти и самопожертвования, о жизни Ливингстона, Беккера, а не мужиков Наумова и Нефедова, прочитать которых

дано было Симашке честное слово; хотелось хоть одну ночь переночевать дома и не вскакивать до солнца, на холодной утренней заре, когда даже собаки так томно зевают и тянутся... Но вошла горничная, сказала, что работники уже пошли на гумно. Не слушая криков матери, гимназист накинул на плечи шинель с мотающимся хлястиком и картуз на голову, схватил из рук горничной подушку и в аллее нагнал работников. Он шел, шатаясь от дремоты, таща за угол подушку, и, как только довалился до омета, подлез под старую енотовую шубу, лежавшую там, так сейчас же и поплыл, понесся в сладкую черную тьму. Но огнем стали жечь мелкие собачьи блохи, стали переговариваться работники...

Их было пятеро: добрый лохматый старик Хомут, Кирюшка, хромой, белоглазый, безответный малый, предававшийся мальчишескому пороку, о чем все знали и что заставляло Кирюшку быть еще безответнее, молча сносить всяческие насмешки над его короткой, согнутой в колене ногой, Пашка, красивый двадцатичетырехлетний мужик, недавно женившийся, Федот, мужик пожилой, дальний, откуда-то из-под Лебедяни, прозванный Постным, и очень глупый, но считавший себя изумительно умным, хитрым и беспощадно-насмешливым человеком, Иван. Этот презирал всякую работу, кроме работ на земледельческих машинах, носил синюю блузу и всем внушал, что он прирожденный машинист, хотя все знали, что он ни бельмеса не смыслит в устройстве даже простой веялки. Этот все суживал свои сумрачно-иронические глазки и стягивал тонкие губы, не выпуская трубки из зубов, значительно молчал, когда же говорил, то только затем, чтобы убить кого-нибудь или что-нибудь замечанием или прозвищем: он решительно надо всем глумился – над умом и глупостью, над простотой и лукавством, над унынием и смехом, над богом и собственной матерью, над господами и над мужиками; он давал прозвища нелепые и непонятные, но произносил их с таким загадочным видом, что всем казалось, будто есть в них и смысл и едкая меткость. Он и себя не щадил, и себя прозвал: «Рогожкин», – сказал он однажды про себя, так веско, так зло на что-то намекая, что все покатались со смеху, а потом уже и не звали его иначе, как Рогожкин. Окрестил он и гимназиста, сказал чепуху и про него: Веретенкин.

Всех этих людей гимназист, как он думал, хорошо узнал за лето, ко всем по-разному привязался, – даже и к Ивану, издевавшегося над ним, – у всех тому или другому учился, воспринимая их говор, совершенно, как оказалось, не похожий на говор мужиков книжных, их неожиданные, нелепые, но твердые умозаключения, однообразие их готовой мудрости, их грубость и добродушие, их работоспособность и нелюбовь к работе. И, уехавши после каникул в город и на другое лето уже не вернувшись к увлечению мужицкой жизнью, он весь свой век думал бы, что отлично изучил русский народ, – если бы случайно не завязался между работниками в эту ночь длинный откровенный разговор.

Начал старик, лежавший рядом с гимназистом и чесавшийся крепче всех.

– Ай, барчук, донимают? – спросил он. – Чистая беда эти блохи, хомут! – сказал он, употребляя слово, которым постоянно определял и всю жизнь свою, и всю тяготу ее, все неприятности.

– Мочи нет, – отозвался гимназист. – Вот баб, девок, тех не трогают. А уж кого бы, кажись, жила, как не их.

– Главная вещь, порток на них не полагается, – равнодушно подтвердил старик, ворочаясь и издавая крепкий запах давно не мытого тела и вытертого зипуна, прокопченного курной избой.

Прочие молчали. Обычно шутили перед сном, расспрашивали Пашку о его супружеской жизни, а он отвечал с таким спокойным и веселым бесстыдством, что даже гимназист, постоянно восхищавшийся им, не сводивший глаз с его умного и живого лица, досадовал – как это можно говорить так о своей молодой жене. Теперь никто не начинал расспросов, и гимназист уже хотел было сам начать их, чтобы еще более взволновать свое воображение, навеки отравленное вдовой, и послушать уверенный голос Пашки, как Пашка потянулся, сел и стал завертывать сигарку. Старик поднял голову в шапке и покачал ею.

– Ой, спалишь ты, малый, гумно! – сказал он.

– А я на барчука солгусь, – отвечал Пашка, немного хрипя от простуды, и, откашлявшись, засмеялся. – Он сам постоянно курит. Чудная ночь, барчук, сегодня, – сказал он, меняя тон на серьезный и оборачиваясь к гимназисту. – К этой ночи что недостает? Луну.

Чувствовалось, что он хочет рассказать что-то. И, правда, помолчав и не получив ответа, он вдруг спросил:

– Барчук, вы спите? Который теперь час будет?

Гимназист поднялся, вытащил из кармана панталон серебряные часы и при свете звезд стал разглядывать их.

– Половина одиннадцатого, – сказал он, горбясь.

– Ну вот, так я и знал, – весело и уверенно подтвердил Пашка, затиснув набок зубами крючок и закуривая от вонючего серника, загоревшегося в его сложенных ковшиком руках. – В аккурат в это самое время я человека прошлый год убил.

И гимназист сразу разогнулся, опустил руки – и точно окаменел на все время разговора. Он изредка подавал голос, но так, точно другой кто говорил за него. Потом все внутри у него стало дрожать мелкой ледяной дрожью, позывая на отрывистый, нелепый смех, и огнем стало гореть лицо.

II

Иван, как всегда, значительно молчал. Кирюшка совсем не интересовался тем, что говорили, лежал и думал свое – о гармонии, купить которую было его самой заветной мечтой. Долго молчал, лежа на локте, и Федот, сильный, плоский мужик, в начале лета казавшийся работникам чужим человеком по той причине, что носил он полушубок без талии, без сборок, вроде тех, что носят казанские татары. Чужим казался он и гимназисту. Насколько нравилось ему веселое спокойствие, ладность ухваток, загорелое лицо Пашки, настолько же не располагало его к близости лицо Федота, тоже спокойное, но ничего не выражающее, большое, пепельно-серое, морщинистое, с жидкими и всегда мокрыми от слюней, от трубки усами, с крупными отворотами белесых обветренных губ. Федот слушал внимательно, но не вставил в рассказ Пашки ни слова, – только чахоточно покашливал и поплевывал в солому. И сперва поддерживали разговор только пораженный гимназист да старик.

– Что брешешь пустое, – равнодушно сказал старик, услышав хвастливое заявление Пашки. – Какого такого человека мог ты убить? Где?

– Глаза лопни, не брешу! – горячо отозвался Пашка, поворачиваясь к старику. – Прошлый год убил, на Успенье. Об этом даже во всех газетах писали, в приказе по полку и то было.

– Да где убил-то?

– Да на Кавказе, в Зухденах. Ей-богу! Конечно, брехать не стану, не я один убил, и Козлов стрелял, – наш же, елецкий, – эта благодарность не одному мне была, дивизии начальник, конечно, и ему спасибо сказал при всем фронте и прямо же нам по рублю наградил, но только я подлинно знаю, что это я его срезал.

– Кого его? – спросил гимназист.

– Да арестанта, грузинта этого.

– Стой, – перебил старик, – ты толком расскажи. Где вы стояли?

– Опять двадцать пять! – притворно-досадливо сказал Пашка. – Вот чудак, не верит ничему. Стояли мы в этих, в Новых Сеняках...

– Знаю, – сказал старик. – И мы там стояли восемнадцать ден.

– Ну, вот видишь, – значит, я не пустое брешу и могу тебе все это приблизительно рассказать. Мы там, брат, не восемнадцать ден, а целый год семь месяцев стояли, а арестантов этих обязаны были до самых до Зухден препровождать. Арестанты эти были прямо что ни на есть самые главные: проступники, бунтовщики, и, значит, всех их, десять человек, в горах поймали и к нам представили...

– Стой, – перебил гимназист, – а как же ты мне говорил, что не стал бы бунтовщиков стрелять, а скорее офицера, какой будет приказывать стрелять, застрелишь?

– А я и отцу родному не спущу, когда надо, – ответил Пашка, мельком взглянув на гимназиста и опять оборачиваясь к старику. – Я, может, и пальцем бы его не тронул, кабы он не задумал погубить нас, а он на хитрости пошел, и могли мы за него целый год в арестантских ротах пробыть, а тут даже благодарность получили, немножко поумней его оказались. Ты вот послушай, – сказал он, делая вид, что говорит только со стариком. – Мы их честно-благородно вели. Озорства этого ничего с ними не делали, бить там, например, али прикладом подгонять... А один, худой этакий, малорослый, все идет и на живот жалится, до ветру все просится. Еле кандалами брянчит. Наконец того, подходит к старшому: «Дозвольте на телегу лечь». Ну, ему и доз-

волили, как путному. Только приходим в Зухдены. А ночь – хоть глаз выколи и дождь холит. Посадили мы их на крыльцо, стережем, у каждого, конечно, по фонарику в руке, а старшой в камеру отлучился, решетки в окнах пощупать: известно, затем, что целы ли, мол, не подпилены ли какой пилкой фальшивой...

– Обязательно, – сказал старик. – Он должен по закону нее в исправности принять.

– Про то и толк, – подтвердил Пашка, опять торопливо пряча зажженный серпик в руки, сложенные ковшиком. Вот ты это дело знаешь, тебе и рассказывать интересно. Ну, пошел старшой, – продолжал он, давя спичку и пуская в ноздри дым, – пошел, осматривает, а мы стоим, клюем рыбу, – спать мочи нет как хочется, – а грузинт этот как вскочит вдруг да за угол! Он, понимаешь, значит, еще в телеге все это дело как следует обдумал, разрезал чем ни на есть ремень кандальный округ пояса, спустил кандалы с себя, подхватил вот так-то рукой, – Пашка нагнулся и, расставляя ноги, показал, как подхватил арестант кандалы, – да и деру! А мы с Козловым, не будь дураки, фонари покидали и – за ним: Козлов тоже за угол, а я прямо наперерез. Бегу, а сам все норовлю поймать, где зук, где то есть кандалы его звенят, – дуром-то, думаю, и стрелять нечего, – наслышал, наконец того, – раз! Чую – мимо. Я в другой – опять, слышу, мимо. А Козлов лупит по чем ни попало, того гляди меня срежет... Взяло меня зло: ах, думаю, глаза твои лопни! – приложился, вдарил: слава тебе, господи, сорвался, слышу, зук, видно, упал. Выпустил еще два патрона в энто место, бегу, а он и вот он: на земи на заде сидит. Сел, руками уперся в грязь, зубы оскалил и храпит: «Скорей, говорит, скорей, рус, вдарь меня в это место штыком», – в грудь, то есть. Я навесил с разбегу ружье – раз ему в самую душу... аж в спину выскочило!

– Ловко! – сказал старик. – Дай-ка затянуться разок... Ну, а Козлов-то где ж?

Пашка быстро, крепко затянулся и сунул старику окуроч.

– А Козлов, – ответил он поспешно и весело, польщенный похвалой, – а Козлов бежит и не судом кричит: «Ай угомонил?» – «Угомонил, говорю, давай тушку тащить...» Взяли его сейчас за кандалы и поволокли назад, к крыльцу... Я его как жожку срезал, – сказал он, меняя тон на более спокойный и самодовольный.

Старик подумал.

– И по рублю, говоришь, наградил вас?

– Верное слово, – ответил Пашка, – прямо из своих рук дал, при всем полном фронте.

Старик, покачивая шапкой, плюнул в ладонь и потушил в слюне окуроч.

Иван не спеша сказал сквозь зубы:

– А дураков, видно, и в солдатах много.

– Это как же так? – спросил Пашка.

– А так, – сказал Иван. – Ты что должен был делать? Ты должен был не волочь его, а послать с рапортом товарища, а сам с ружьем стать при мертвом теле. Теперь расчухал, ай нет?

III

Федот заговорил, когда все помолчали и побормотали: «Да-а... ловко...» – еще проще.

– А вот я, – начал он медлительно, лежа на локте и поглядывая на темную, неподвижно торчавшую перед ним на звездном небе фигуру гимназиста, – а вот я совсем задаром согрешил. Я человека убил, прямо надо сказать, из-за ничтожности: из-за козе своей.

– Как из-за козе? – в один голос перебили старик и Пашка.

– Ей-богу, правда, – ответил Федот. – Да вы вот послушайте, что за яд была эта коза...

Старик и Пашка опять стали закуривать и уминать солому, приготовляясь слушать. А Федот серьезно и спокойно продолжал:

– Из-за ней вся и дело вышла. Убил-то, конечно, ненароком... Он же меня первый избил... Он пьяный пришел, а я выскочил сгоряча, вдарил бруском... Да об этом что говорить, я и так в монастыре за него полгода отдежурил, а кабы не было этой козе, и ничего бы не было. Главная вещь, отроду ни у кого у нас не водилось этих коз, не мужицкое это дело, и обращенья с ними мы не можем понимать, а тут еще и коза-то попалась лихая, игривая. Такая стерва была, не приведи господи. Что борзая сучка, то она. Может, я и не захотел бы ее приобретать, – и так все смеялись, отговаривали, – да прямо нужда заставила. Угодий у нас нету, просторов и лесов никаких... Прогону своего у нас спокон веку не было, а какая мелочная скотина, так она просто по парам питается. Крупную скотину, коров мы на барский двор отдавали, а полагалось с нашего

брата, мужичка, за всю эту инструкцию две десятины скосить-связать, две десятины пару вспахать, три дни с бабой на покосе отбить, три дни на молотье... Сосчитать, сколько это будет? – сказал Федот, поворачивая голову к старику.

Старик сочувственно подтвердил:

– Избавь господи!

– А козу купить, – продолжал Федот, – ну, от силы семь, али, скажем, восемь целковых отдать, а в напор она даст бутылки четыре, не мене, и молоко от ней гуще и слаже. Неудобство, конечно, от ней та, что с овцами ее нельзя держать – бьет их дюже, когда котна, а зачнет починать, злей собаки исделается, зрить их не может. И такая цоикоя скотина – это ей на избу залезть, на рактку, – ничего не стоит.

Есть рактка, так она ее беспрерменно обдерет, всю шкурку с ней спустит – это самая ее удовольствие!

– Ты же хотел рассказать, как человека убил, – с трудом выговорил гимназист, все глядя на Пашку, на его лицо, неясное в звездном свете, не веря, что этот самый Пашка – убийца, и представляя себе маленького мертвого грузина, которого волокут за кандалы, по грязи, среди темной, дождливой ночи, два солдата.

– Да а я-то про что ж? – ответил Федот грубовато и заговорил немного живее. – Ты не можешь этого дела понимать, ты своим домом жить-то еще не пробовал, а за мамашей жить – это всякий проживет. Я про то и говорю, что этакий грех прямо из-за пустого вышел. Я из-за ней трех овец зарезал, – сказал он, обращаясь к старику. – Девять с полтиной за овец взял, а за нее восемь заплатил. Не дешево тоже обошлась... И опять же с бабой пошли каждый день скандалы. Взял, говорю, пустое, восемь за козу отдал, ну, там кой-чего для хозяйства купил, кой-какую вещь, ребятам свистулек набрал, пошел домой, пер, пер, пришел к утру – глядь, полтинника нету: сунул, значит, в карман и посеял. Стала баба деньги считать – «Где ж, говорит, полтинник? проглотил? Говорила тебе, дураку, тушками продать, а овчины себе оставить...» Слово за слово... Такой скандал пошел, не приведи господи! Она у меня такая, правду сказать, собака, во всей губернии поискать...

– Это своя допущенье, – деловито вставил Пашка. – Их не бить, добра не видать.

– Понятная дело, – сказал Федот. – Ну, одумалась, покорилась. А подоила козу, и совсем повеселела: хороша, правда, на удой оказалась, и молоко отличная. Мы было и обрадовались. Погнали в стадо. Дал я пастушатам на табак, поднес по чашке водки... а то они, сукины дети, брухаться приучают... Только ворочается вечером стадо – смотрю, нету моей козе. Я к пастуху: почему нашей козе нету? А потому, говорит, пригнали мы стадо на лесной пар, зачала твоя коза с коровами играть, схватилась с быком: отойдет от него, разлетится, разлетится – раз его в кичку! До того его измяла, стал за коров от ней прятаться, а кинешься отгонять, она – шарк в овес... Мы прямо из сил выбились! А потом ушла, бегал за ней подпасок, весь лес выбегал, нигде не нашел, – как скрозь земь провалилась...

– Ну, правда, – яд коза! – сказал старик.

– Ха! – злорадно ответил Федот, – Да это еще что, ты послухай, что дальше- то будет! Как пропала эта самая коза, мы с бабой прямо очумели. Ну, думаем, каюк, попадется она волку на зубы. А того, понятно, и в голове не держим, что куда бы лучше было, кабы ее черти задрали. Кинулись ране в лес, кажись, живого место не оставили, все до шпенту обьелозили – нигде нету! Затужил я бо- зна как, однако еду пахать, – как раз пахота подошла. Взял с собой хлебушка в платочке, положил под межу, пашу, а на другом бугре малый наш деревенский пашет – вдруг, слышу, кричит что-й-то, показывает рукой. Оглянулся я да так и ахнул: коза! Вытащила узелок, схватила в зубы, растрясла и стоит, дергает бородой, хлеб лопают... Кинул я поскорее соху – к ей. Я к ей, а она от мене. Я к ей, а она от мене: отбежит, остановится, жует хлеб – и горюшка мало. И ведь такая веселая да умная стерва – за всем моим движением следит. А меня сердце на нее берет, очень хочется поймать, так бы, кажись, и расшиб ее! Сожрала хлеб и пошла: обертывается, поглядывает, хвостом трясет, – ну, прямо насмешничает!

– Что и говорить, скотина беспечная! – сказал старик.

– Про что ж я-то говорю! – воскликнул Федот, поощренный сочувствием. – Я про то и говорю, что она прямо сокрушила нас! Тут и недели не прошло, стали все на меня обижаться, так, говорят, и живет коза твоя в мужицких хлебах, у меня у самого весь осьминник истолкла, все кисти с овса оборвала. Раз как-то зашла гроза, зачала молонья полыхать, опустился дождь – смот-

рю, несется моя белая коза, что есть духу, прямо к нам, орет не своим голосом – и прямо в сенцы. Я со всех ног за ей, зажмал ее в угол, затянул через рога подпояской, зачал ее утюжить... гром гремит, молонья жжет, а я ее деру, я ее деру! Должно, более часу драл, верное слово. Посадила потом на варке, привязал на подпояске... да тот-то ее знает, либо подпояска была гнилая, либо еще что, только глянули мы наране – опять нету козе! Так, веришь ли, аж слеза меня со зла прошибла!

IV

Тон Федота стал так прост, сердечен, так полон хозяйственного огорчения, что никому бы и в голову не пришло, что это рассказывает о своем грехе убийца. Да и слушали его просто. Кирюшка неподвижно лежал вниз животом, с головой покрытый армяком, выставив из-под него толсто опутанные белыми онучами, в больших лаптях ноги. Иван, надвинув на лоб шапку, запустив руки в рукава, лежал на боку и тоже не двигался, молчал же строго и серьезно потому, что считал ниже своего достоинства интересоваться дураками. Ему так было мало дола, убийцы перед ним или нет, что он даже крикнул раз:

– Спать моря! Завтра домолото!

А Пашка и старик, полулежа и задумчиво перекусывая соломинки, только головами покачивали да порою усмехались: ну, правда, и зазнал горя Федот с козой! И Федот, видимо, считая себя уже оправданным этим сочувствием к его смешному и горькому положению, совсем перестал стесняться отступлениями. И гимназист, стиснув зубы и от ветра, и от внутреннего холода, порою дико, с изумлением оглядывался: где он и что это за странная ночь? Но была все такая же, простая, знакомая, деревенская ночь, каких было много: темнело поле, черным треугольником вырезывалась в звездном небе рига, дул ветер по лозняку, за которым вспыхивали и пропадали звезды, доходило до лиц и рук прохладное дуновение с запахом мякины, шуршало в соломе и опять стихало... Глубоким сном спали, утонув в соломе белыми клубками, собаки... И страшное было только в том, что было уже поздно, что высоко поднялась с северо-востока кучка серебряных звезд, что глухо, по-осеннему шумит вдали темная туча дремотного сада, что блестят в звездном свете глаза на лицах разговаривающих...

– Да, братец ты мой, – говорил Федот, – истинно до слез меня довела! Сказывают мне, наконец того, – загнал ее мужик на Прилепах. Иду добывать, делать нечего, такой уж, видно, жребий мой. Прихожу на деревню, где ни гляну, – никого нету, все на работе. Едет мальчик за водой, испрашиваю: где дом Бочкова? «А вон, говорит, где старуха в красной поневе под лозинкой сидит». Подхожу: «Это Бочков двор?» Махает мне старуха рукой, на варок показывает...

– Ошалела, значит, от старости, – вставил Пашка, так хорошо засмеявшись, что гимназист с изумлением и страхом оглянулся на него и подумал: «Да нет, не может быть – это он все наврал на себя!»

– Ошалела, – подтвердил Федот. – Только рукой махает. А я уж давно слышу, свинья на варке юзжит. Отворяю дверь в клетушку, где эта самая свинья сохраняется. Вижу, возит бабу здоровенная матка: навалилась на нее баба, держит одной рукой, другой из ведра на нее поливает. А свинья вся черная от грязи, возит ее, таскает, никак баба с ней не сладит, заголилась до самого живота. И смех и грех! Увидала меня, обдернула подол, ноги, руки, вся лицо в навозе... «Что тебе нужно?» – «Что нужно? По делу. Вы мою козу загнали, держите приبلудный скот, а объявления не делаете». – «Никакой, говорит, твоей козе мы не держим. Мы ее выпустили. Ее на барском дворе загнали». И смеется чего-й-то. Та-ак, думаю, значит, опять мое дело табак. Ну, погоди ж ты! Вышел, пошел. Только зашел за соседний двор, повернул на стежку по кононям, откуда ни явись, мальчишка чей-то рыжий навстречу. «Ты за козой приходил?» – «За козой. А что?» Вдруг слышу, кричит баба за избой: «Кузьма, куда тебя закружило, глаза твои накройся?» – «Скорей, говорю, беги, вон мать с крипивой идет». А она и вот она – увидала его, бежит: «Не тебе сказала за малым смотреть? А тебе куда завихрило, такой-сякой?» Потом как вскинется на меня! «Ты чей?» – «А тебе, мол, что за дело?» – «Да нет, ты скажи, ты чей?» – «Старой транде казначей. Чего орешь? Я козу свою ищу» – «А, так это ты, глаза твои накройся, с своей козой покою всему селу не даешь!..» И вижу вдруг – несется ко мне высокий мужик от рыги – без шапки, распояской, в сапогах. Набежал со всех ног. «Твоя коза?» – «Моя». Развернулся – как ахнет мне в ухо!

– Чисто! – в один голос воскликнули старик и Пашка, а гимназист даже взвизгнул: вот оно, самое страшное-то! Но Федот спокойно вытянул из-под себя полу полушубка и спокойно продолжал:

– Да, так огрел, аж в голове у меня зажундело. Я сгреб его за руки, спрашиваю: за что? А тут уж народ бежит... Я при всех прошу просвидетельствовать это дело, опять спрашиваю: что такое моя коза натворила? Оказывается, ребенка с ног долой сшибла, голову до крови проломила, рубаху сжевала, рожь истолкла. Чудесно, – подавай в суд, там и с меня спросят, и тебя не помилуют. Теперь-то, мол, елдак ты с меня возьмешь! Шапку надел и пошел поскорей на барский двор. Повеселел маленько: коза теперь, думаю, не уйдет, а взыскивать с меня ты теперь не можешь, – драться-то погодить было надо. Подхожу, вижу, едет на лошадке с подрубленным хвостиком мальчик в атласном картузике, с голыми руками, ногами, жокей называется. Лошадь подыгрывает, а он ее хлыстиком жилиет. «Здравия желаем, мол, дозвоьте спросить: у вашей милости моя коза?» – «А вы кто такой?» – «Хозяин этой козе». – «Ну, так ее мой папаша велел загнать». Расчудесное дело, иду дальше, вошел на барский двор, стоит, вижу, возле дома, на песочном току, карета четвериком, – лошади жирные, рьяные. На крыльце лакеи с двумя бородами. Выходит барышня взрослая в шляпке с лентами, вся лицо в кисее. «Даша, – кричит в дом горничной, – скажите барину, чтобы шел скорей. Он в манеже». Я к манежу. Вижу, стоит сам барин в мундире: с зеленым воротом, а мальчишка на крыше сидит, запустил руку под пелену, ищет что-й-то. Должно, шкворцов, думаю себе. Ан нет, – воробьями занялся. Он глядит, кричит: «Лови, лови их, сукиных детей», – а мальчишка ловит воробьят голых, вытаскивает и об землю бьет. Увидал меня: «Ты что?» – «Да вот, говорю мою козу ваш садовник на землянике прихватил. Дозвоьте ее взять, убить». – «Уж это не в первый раз, говорит, я тебя оштрафую на два цалковых». – «Согласен, говорю, с вами, виноват, подписываюсь в этом. Такой грех, говорю, – у меня со всегда две девки стерегут, а вчерась, как нарочно, – пострел их знает, сырых грибов, что ль, наелись, – катаются, блюют, а жена-то, признаться, тоже не доглядела, в пуньке лежала, на крик кричала – рука развилась...» Надо ведь как-нибудь оправдываться. Рассказываю ему, какая у меня коза яд, как меня съездили по уху за нее, – смеется, подобрел. «Сколько, говорю, ни преследую, никак не поймаю, и так хотел у вашей милости порошок попросить да у огородника ружье взять, из ружья ее пристрелить». Ну, он и дозволил взять, а я тут же и пристукнул ее.

– Пристукнул-таки? – спросил старик.

– Обязательно, – сказал Федот. – «Ну, бери, говорит, только смотри с моими не смешай». – «Никак нет, говорю, я хорошо ее личность знаю». Пошли на варок, взяли пастуха Пахомку. Глянул я, – сейчас же и заметил ее через овец: стоит, жустрит что-й-то, косится на меня. Согнали мы с Пахомкой овец в угол поплочнее, стал я к ей подходить. Шага два сделал, – она сиг через барана! И опять стоит, глядит. Я опять к ей... Как она уткнет голову рогами в землю да как стреканет по овцам, – так те от ней, как вода, раздались! Взяло меня зло. Говорю Пахомке: «Ты ее подгоняй потише, а я, где потемнее, влезу на перемет, за рога ее перехвачу». А навозу на дворе страсть сколько, под самые переметы в иных местах. Залез я на перемет, лег, облапил покрепче, а Пахомка подпугивает ее ко мне. Дождался я, наконец того, пока она под самый перемет подошла – цоп ее за рога! Как закричит она, – даже жуть меня взяла! Свалился с перемета, ногами упираюсь, держусь за рог, а она прет меня по двору, вытащила вон, рванулась... Глянул я, а она уж на крыше: вскочила на навоз, с навозу на крышу, с крыши – в бурьян... Слышим, зашумели собаки на дворе, подхватили ее, турят по деревне. Мы, конечно, выскочили – и за ней. А она летит, что ни есть духу, и прямо к крайней избе: там изба новая строилась, еще окна заложены были замашками и сенец нету, а положены к крыше наскосяк лозинки голые. Так она по ним на самый князек взвилась – внесла ж ее вихорная сила! Подбежали мы поскорее, а она, видно, почуяла смерть – плачет благим матом, боится. Подхватил я здоровый кирпич, изловчился – да так ловко залепил, что она аж подскакнула, да как зашуршит вниз по крыше! Подбежали мы, а она лежит, дергает языком по пыли... дернет и захрипит, дернет и захрипит... А язык длинный, чисто как у змеи... Ну, понятно, через какой-нибудь полчаса и околела.

V

Помолчали. Федот приподнялся, сел, и, согнувшись, разводя руками, стал медленно развивать оборки, которыми были опутаны его старые, все спускавшиеся онучи. И через минуту гим-

назист с ужасом и отвращением увидел то, что прежде видел столько раз совершенно спокойно: голую мужицкую ступню, мертвенно-белую, огромную, плоскую, с безобразно разросшимся большим пальцем, криво лежащим на других пальцах, и худую волосатую берцу, которую Федот, распугав и кинув онучу, стал крепко, с сладостным ожесточением чесать, драть своими твердыми, как у зверя, ногтями. Надрав, он пошевелил пальцами ступни, взял в обе руки онучу, залубеневшую, вогнутую и черную в тех местах, что были на пятке и подошве, – точно натертую черным воском, – и потрянул ею, развевая по свежему ветру нестерпимое зловоние. «Да, ему ничего не стоит убить! – дрожа, подумал гимназист. – Это нога настоящего убийцы! Как он страшно убил эту прелестную козу! Но Пашка! Пашка! Как он мог так весело рассказывать? И с наслаждением: «Аж в спину выскочило!»

Вдруг, не поднимая головы, сумрачно заговорил Иван:

– Дураков и в алтаре бьют. А тебя-то, Постный, за эту козу задрать мало. За что ж ты ее убил? Ты бы продал-то ее. Какой же ты после этого хозяин, когда не понимаешь, что без скотины мужику нельзя быть? Ее ценить надо. Да будь у меня коза-то...

Он не договорил, помолчал и вдруг усмехнулся.

– Это вот в Становой была история, ну, правда что... Вот не хуже твоей козе, бык у барина Мусина завелся озорной. Прямо проходу никому не давал. Двух пастушат заколол, на чепь приковывали, и то срывался, уходил. Тоже вот так-то весь хлеб у мужиков истолок, а согнать никто не смеет: бояться, за версту обходят. Ну, рога, понятно, спилили, вылегчили... помирнел. Только мужики припомнили ему. Как пошли эти бунты, так они что сделали: поймали его на поле, веревками обротали, свалили с ног долой... бить не стали, а взяли да освежевали дочиста. Так он, голый, и примчался на барский двор, – разлетелся, грохнулся и околел тут же... кровью весь исшел.

– Как? – сказал гимназист. – Кожу содрали? С живого?

– Нет, с вареного, – пробормотал Иван. – Эх, ты, московский обуватель!

Все захохотали, а Пашка, хохоча пуще всех, подхватил:

– Ну и разбойники! А ты так-то говоришь, миловать нас! Нет, брат, знать, без нашего брата, прохожего солдата, тут не обойдешься! Мы вот, когда после Сеняк под Курском стояли, так тоже смиряли одно село. Затеялись там мужики барина разбивать... И барин-то, говорят, добрый был... Ну, пошли на него всем селом, и бабы, конечно, увязались, а навстречу им – стражники. Мужики с кольями, с косами, – на них. Стражники сделали залп, да, понятно, драло... какая там черт сила в этих мужланах! – а одна пуля и жильни ребенка на руках у бабе. Баба жива осталась, а он, понятно, и не пискнул, так ножками и брыкнул. Так, господи ты боже мой! – сказал Пашка, мотая головой и усаживаясь поудобней, – чего только не натворили мужики! Все в лоск, вдребезги разнесли, барина этого самого в закуту загнали, затолкли, а мужик этот, отец-то этого ребенка, прибежал туда с этим самым ребенком, задохнулся, очумел от горя – и давай барина по голове этим ребенком мертвым охаживать! Сгреб за ножки – и давай бузовать. А тут другие навалились и, значит, миром-собором и прикончили. Нас пригнали, а уж он тлеть стал...

Туг неожиданно зашевелился и Кирюшка и с детской наивностью сказал, поднимая голову:

– А вот что было, когда Кочергина-барина разбивали... беда! Я тогда в пастухах у него жил... Так они все зерькала в пруд покидали... Ходили потом с деревни купаться и все из тины их вытаскивали... Нырнешь, станешь, а она под ногой так и скользнет... А эту... как ее... фортопьяну в рожь заволокли... Мы, бывало, придем... – Кирюшка приподнялся и, смеясь, облокотился. – Мы придем, а она стоит... Возьмешь дубинку, да по ней, по косточкам-то... с угла на угол... Так она лучше всякой гармонии играет!

Все опять засмеялись. Федот переобулся, опять аккуратно перекрестил онучи оборками и, оправившись, принял прежнее положение. И, выждав минуту молчания, размеренно стал досказывать свою историю:

– Да-а, шмурыгнул меня по уху да еще в суд на меня подал... за эти, значит, за все протери-убытки, за потраву. Звали его Андрей Богданов... Андрей Иванов Богданов. Рослый мужик, красный, худой, завсегда злой, пьяный. Ну, и подал на меня. Меня же огрел по уху и на меня же подал! Тут самая рабочая пора подошла, дохнуть некогда, а я при за пятнадцать верст... За то-то, видно, и покарал его господь...

Глядя в солому, глухо покашливая и обтирая ладонью свои плоские губы, Федот говорил все сумрачнее и выразительнее. Сказав: «Покарал его господь», – он помолчал и продолжал:

– Дело-то на нет, понятно, свели. Помирили нас. Обоюдная, значит, обида. Но только он тем не пронялся. Помирился со мной, да тут же отшел, пьяный напился, стал грозить убить меня. При всех кричит: «Погоди, говорит, погоди, это я еще не пьян сейчас, а выпью, я тебя утешу». Хочу от скандалу уйтить, – за пельки хватает... Потом на деревню к нам зачал ходить: придет, пьяный, под окна и давай меня матерком пушить. А у меня дочь взрослая...

– Неладно! – сочувственно крикнул старик и зевнул.

– Хороша лада! – сказал Федот. – Ну, вот и пришел под Кирики, вечером. Слышу, шумит по улице. Я встал, ни слова не говоря, ушел на двор, сел на борону, стал косу отбивать. А такая зло берет, аж в глазах темнеет. Слышу – подшел к избе, буянит. Должно, стекла хочет бить, думаю себе. А он погамел и уж пошел было прочь. Тем бы и кончилось, может, да выскочила Олька, дочь моя... да и закричи не своим голосом: «Отец, караул, меня Андрюшка бьет!» Я выскочил с брусом от косе, да сгоряча – раз его в голову! А он и наземь. Подскочили к нему, а он лежит, хрипит и уж слюни пускает. Прибежал народ, стали водой отливать... А он лежит и уж только икает... Может, тут надо было походатайствовать чем-нибудь... какой-нибудь примочки там приложить, али еще что... в больницу бы свезть поскорей, да доктору десятку, да где ее взять? Ну, он поикал, поикал, да и помер к ночи. Побился, побился, на спину запрокинулся, вытянулся и готов. И народ кругом стоит, смотрит, молчит. А уж огни зажгли...

Весь дрожа мелкой дрожью, с пылающим лицом, гимназист поднялся и, утопая по пояс в соломе, пошел по омету вниз. Борзая, испуганная им, вдруг вскочила и отрывисто брехнула. Гимназист опять сел в солому и замер. Шумел холодный ветер, над самой головой белела кучка холодных осенних звезд, а за бугром шелестевшей соломы слышался мерный, низкий голос Федота:

– Я в пуньке под стражей два дни сидел и все это в окошечке видел... как анатомили-то его. Сошелся народ со всех деревень, смотреть этого убиенца и меня, конечно, в том числе. Лезут под самую, пуньку... Вынесли две скамейки на выгон, поставили под самой пунькой, положили на них убиенца. Под голова чурбан подсунули. Резаку и следователю стулья, стол принесли. Подошел резак, рубаху оборвал, портки оборвал – лежит, вижу, труп совсем голый, уж твердый весь, где зеленый, где желтый, а лицо вся восковая, красная борода редкая так и отделяется. На причинное место резак лопух положил. Тут же, обыкновенно, ящик с разными причандалами. Подошел резак, разобрал ему волосы от уха к уху, сделал надрез и зачал половинки с волосами зачищать. Где отопок, ножичком скоблит. Отодрал их на обе стороны, открыл одну, на нос положил. Стал виден черепок весь – как колгушка какая... А на нем пятно черная окол правого уха, черная сгущенная кровь, – где, значит, удар-то был. Резак говорит следователю, а тот пишет: «На таких-то сводах три трещины...» Потом зачал черепок кругом подпиливать. Пила не взяла, так он вынул молоточек с зубрильцем и по этому следку, где пилкой-то наметил, зубрильцем прострочил. Черепок так и отвалился, как чашка, стал весь мозг виден...

– Что делают, разбойники-живорезы! – хрипло заметил задремавший было старик.

А Федот твердо договаривал:

– Потом вынул толстый нож, стал резать грудь по хрущам. Вырубил косяк, стал отдирать – трещит даже... Стало видать желудок весь, легкие синие, всю внутренность...

Глухой от стука собственного сердца, гимназист поднялся на ноги, во весь свой длинный рост, в картузе, сдвинутом на затылок, в легкой шинельке, которая была уже коротка ему. Серый, большой, страшный в своем монгольском спокойствии, Федот мерно говорил, держа трубку в зубах, но он уже не слушал его. Он во все глаза глядел на всех этих, таких знакомых и таких чужих, непонятных, всю душу его перевернувших в эту ночь людей. Жалкий в своем пороке и смиренности, в своей пастушеской первобытности, Кирюшка спал, покрывшись армяком, выставив из-под него толстую, в белых онучах, согнутую в колене ногу. Спал Иван с сумрачным, презрительным лицом, Иван, в черной землянке которого на краю голой деревни, в темноте и грязи, под низким потолком, под дерновой крышей, уже третий год лежит, умирает и все никак не умрет его страшная, черная старуха-мать, а зубастая, худая жена кормит темно-желтой, длинной, тощей грудью голопузого, сопливого, ясноглазого ребенка, с губами, в кровь источенными несметными избяными мухами. Спал крепким, здоровым сном, на свежем ветру, счастливый Пашка, в своем солдатском картузе, тяжелых сапогах и новом полушубке. А старик Хомут, у которого нет даже полушубка, – есть только зипун с большой прорехой на плече, – у которого так низко висят всегда на дряблых ляжках истертые портки, сидел спиной к ветру, без шапки, голый

по пояс. Он, старчески-худой, желтотелый, с косо-поднятыми плечами, с искривленным крупным позвоночником, блестящим при свете звезд, сидел, наклонив лохматую голову, которую ерошил свежий ветер, согнув свою уже тонкую, всю в жестких морщинах шею, пристально осматривал снятую рубаху и, слушая Федота, порою крепко давил ногтями ее ворот.

Гимназист соскочил на твердую и гладкую осеннюю землю и, горбясь, быстро пошел к темному шумящему саду, домой.

Все три собаки тоже поднялись и, смутно белея, бочком побежали за ним, круто загнув хвосты.

Капри. 9-23.XII.1911

Веселый двор

I

Мать Егора Минаева, печника из Пажени, так была суха от голода, что соседи звали ее не Анисьей, а Ухватом. Прозвали и двор ее – окрестили в насмешку веселым...

Егор, как говорили в Пажени, весь выдался в Мирона, покойного отца своего: такой же пустоболт, сквернослов и курильщик, только добрей характером.

– Сосед он хоть куда, – говорили про него, – и печник хороший, а дурак: ничего нажать не может.

Заработки у Егора всегда были плохи, надел не выходил из сдачи. Изба его, огромная, нескладная, с каждым годом все больше да больше сгнивала, разваливалась без призора. Раз он принес откуда-то и наклеил снаружи на ее косою простенок, на трухлявые бревна, большую солдатскую мишень – черной краской напечатанное на белом бумажном листе туловище, с ружьем на плечо, в фуражке набекрень, с вытаращенными глазами. А вот поправить крышу, законопатить пазы, переложить печку, борова почистить – на это у него догадочки не хватало, и зимой в избе волков можно было морозить: по всем углам нарастала снежная опушка. Давным-давно по чурке растаскали бы все это тырло добрые люди. Да мешала Анисья.

Егор был белес, лохмат, не велик, но широк, с высокой грудью. Ходил Егор в облезлом, голубом от времени и тяжелом от пота, гимназическом картузе, в посконной рубахе с обитым, скапавшимся воротом, в обвисших, протертых и вытянутых на коленях портках, в лаптях, обожженных известкой. Всюду много и без толку болтал он, постоянно сосал трубку, до слез надрываясь мучительным кашлем, и откашлявшись, блестя запухшими глазами, долго сипел, носил своей всегда поднятой грудью. Кашлял он от табаку, курить начал по восьмому году, – а глубоко дышал от расширения легких, и когда дышал, все раскрывалась, показывалась в продольную прореху ворога бурая полоска загара, резко выделявшаяся на мертвенно-бледном голе. Уродливы были его руки: большой палец правой руки похож на обмороженную култышку, ноготь этого пальца – на звериный коготь, а указательный и средний пальцы – короче безымянного и мизинца: в них было только по одному суставу. Но ловко мял он этими тугими култышками золу в хлюпающей трубке, кашлял надрывисто, но даже с наслаждением как будто: «А-ах, так-то его так!» Глядя на него, не верилось, что бывают матери у таких хрипунов и сквернословов. Не верилось, что Анисья мать его.

Да и нельзя было верить. Он белес, широк, она – суха, узка, темна, как мумия; ветхая понева болтается на тонких и длинных ногах. Он никогда не разувается, она вечно боса. Он весь болен, она за всю жизнь не была больна ни разу. Он пустоболт, порой труслив, порой, с кем можно, смел, нахален, она молчалива, ровна, покорна. Он бродяга, любит народ, беседы, выпивки, – сем, пересем, лишь бы день перешел. А ее жизнь проходит в вечном одиночестве, в сиденье на лавке, в непрестанном ощущении тянущей пустоты в желудке и непрестанной грусти, с которой она уже сроднилась: «Земля забыла меня, грешную!» Единственным оправданием такой забывчивости была, по мнению Анисьи, необходимость стеречь, сохранять для Егора избу: все думала, – авось, уж не молоденький, авось, образумится, женится. Нежно и сладко туманили ей голову мечты об этом несбыточном счастье. А он постоянно твердил: «Довеку не женюсь! Теперь я – вольный казак, а женишься – журишься о жене. Да пропади она пропадом!..» Он не признавал ни семьи, ни собственности, ни родины.

Наняться куда-нибудь, работать мешала Анисье, помимо избы, еще и та беда, что очень слаба была она, да и крива вдобавок. Много лет ходил по лавке возле нее, по лавке, на которой провела она столько долгих дней, старый черный с золотом петух: она сидит и думает, подпирая тонкой рукой щеку, а он похаживает, клюет мух по мутным, собранным из кусочков стеклам. Раз сунулась она к окошку, – кто-то ехал по деревне с колокольчиками, – а петух как стукнет в левый глаз ее! И глаз вытек, впалые веки стянуло, осталась одна серая щелочка... Прежде сеяла она коноплю на огороде, брала замашки, мяла пеньку, все был доходишко. Но Егор и огород сдал. Прежде на поденщину принимали ее – к мелкому помещику Панаеву, что в версте от Пажени. Да стали обижаться девки, – «старый черт работу отбивает!» – стали наговаривать приказчику, будто все у нее, сослепу, из рук валится, стали тайком всовывать краденые из барского сала яблоки в тот платочек, в который, идя на работу, завязывала она свой завтрак – горбушку черствого хлеба...

Замуж вышла Анисья рано, – рано одна на свете осталась. Любить Анисье в молодости некого было. Но и не любить не могла она. С несознаваемой готовностью отдать кому-нибудь душу выходила она за Мирона, – тоже печника, вольноотпущенного дворового, – и любила его долго, терпеливо, затем, что, скинув вскоре после свадьбы от побоев, долго лишена была возможности на детей перенести свою любовь. Во хмелю Мирон бывал буен. Дело известное: трезвый ребенка не обидит, а напьется – святых вон выноси. Бьет стекла, гоняется за сыном и женой с дубинкой. «Ну, опять у Минаевых крестный ход пошел! – говорили соседи, радуясь такой забаве. – И веселый же двор, ей-богу!» Когда нехотя просил он прощенья, протрезвившись, скоро сдавалась она на ласковое слово, только тихо говорила сквозь слезы: «Что ж, над тобой же будут люди смеяться, если калекой меня сделаешь!»

Все же, после смерти Мирона, даже такое прошлое стало казаться счастьем Анисье. Да, когда-то были и молодость, и семейная жизнь, и хозяйство у нее; был муж, были дети, были радости и горести – все как у людей... Двадцать лет тому назад замерз Мирон, – ни с того ни с сего увязался пьяный за чужим обозом в Ливны, – и много ночей провела она без сна, сидя в темной избе на конике, вспоминая и думая; но никто не узнал ее дум. Всех умерших детей оплакала она горькими слезами, но оплакала тоже тайком, в одиночестве. Нищета, разорившая дотла ее двор, часто заставляла ее кланяться соседям, просить у них помощи ради сироты-сына, пока мал он был; но никогда не насмеливалась она напоминать людям, что в былое время помогала и она им. И вышло так, что в Пажени никому и не верилось, что жила она когда-то по-людски. Чаяла она отдохнуть хоть в старости, за сыном. Мужик он вышел добрый, – на словах только бесстыж и горяч, не то, что отец покойник. Руки у него золотые, говорила она, еще как жили-то бы, не брось он дома!

Нынешней зимой даже Пажень удивил Егор: всего могли ждать от него, но только не того, что вдруг бросит он свое дело, и ни с: того ни с чего, – вот как Мирон за чужим обозом, – уйдет, всем на посмешище, в золотари в Москву. Но и в Москве пробыл он без году неделю. Думала порой Анисья, в самое сердце пораженная вестью об его уходе, что, быть может, ради ее печного голода, ради хорошего заработка, с затаенною целью поправить, свою жизнь ушел Егор. Но вот он внезапно вернулся, – обогнанный, без копейки денег; ночевал три ночи дома, но и двух слов путных не сказал ни с соседями, ни с матерью, – был какой-то, хоть и не скучный, а рассеянный; даже не сумел объяснить толком, зачем шатался в Москву, – сказал только: «Да аи велика беда?» – и опять исчез.

В мае нанялся он караулить Ланское, лес помещика Гурьева, что от Пажени верстах в пятнадцати. Положили ему отвесное только да три рубля в месяц. А что такое три рубля? То купи, другое купи... на спички даже не хватает... И, нанявшись, Егор совсем перестал помогать матери.

В Петровки, доев последнюю корку занятого с великим трудом хлеба, решила она наконец побывать в Ланском, повидаться с сыном, проведать его, а главное, хоть малость подкрепиться. Доедала она хлеб с большой осторожностью – и все слабела, слабела. Не в меру стало клонить в сон, рябить в глазу, звенеть в ушах; стали пухнуть ноги, стала томить неотвязная мечта: поесть чего-нибудь горячего, с солью. Боязно было сказать себе: пойду. Да надоумили, разговорили, настроили прохожие. Зашли они напиться – старушка и молодая; ходили в Гурьево, поминать умершего. Старушке умерший был сыном, молодой – мужем. И вот все трое разгрустились, разговорились о своей женской доле, о мужьях, сыновьях. Молодая, – крупная, с

большим бледным лицом и большими серыми глазами навывкат, хорошо и нарядно одетая – в новую корсетку из коричневой сермяги со сборками назади, в красную шерстяную юбку и полсапожки, с черной бархаткой, украшенной белыми пуговками, на шее, – та все молчала. Старушка, сухонькая, чистенькая, устало-оживленная, говорила без умолку, а молодая за все время только раз, просто и не спеша, вставила свое слово: когда старушка запнулась, запомнила город, куда угнали в солдаты ее меньшого сына.

– Три недели тому назад схоронили, сударушка, – ласково говорила старушка Анисье. – Съездил в город, был ужасный веселый, а приехал домой, погнал лошадей в ночное, двух десятин до Щедринского хутора не догнал, – мы через Щедрина, через его поле скотину-то гоняем, – воротился. Пришла я с холстами, вижу, лежит он на печи, полушубком накрылся... «Умираю, говорит, мамаш, заболел я. Погнал вчерась в ночное, двух десятин до Щедринского рубежа не догнал – понесло на меня вроде как холодом, ознобом, насилу назад дошел, ноги подламываются...»

Анисья вздохнула, и на глаз ее навернулась слеза. «Дитя-то хоть криво, а матери родной все мило, – подумала она и вздохнула от грустной нежности к сыну. – Пойду, била не была, авось не чужая...» А старушка продолжали, вытирая углы тонких, сморщенных, стянутых в оборочку губ худыми твердыми пальчиками:

– Что тут, ягодка, делать? Дала я ему две просвирки, одну заздравную, другую за упокой. Съешь, говорю, сынок, може, полегчает. На третий день он и кличет меня: «Мамаш, добре нынче день хорош, поведите меня, а то тут, в избе, дух чижелый». Повели мы его на гумно, посадили на солому, сами отлучились на минутку – овцу стричь. Немного годя приходим, а он уж и голову уронил, едва дышит: раньше лицо красная, как сукно, была, а тут уж ото лба белеть стала. Приподняли мы его, а он уж кончился. Не дождался, значит, нас...

И Анисья задумалась. Растроганная беседой, умиленная материнской нежностью, материнскими горестями, стала она советоваться с прохожими, как ей быть: идти или нет? Если уж идти, так не лучше ли с умом идти: не затем только, чтобы проведать, а чтобы на все лето остаться? Вон, говорят, он теперь отвесное получает; а ведь при отвесном и она прокормится, – авось не объест, много ль ей и надо-то...

Старушка сказала:

– Да ведь как сказать? – не угадаешь, как лучше, сударушка. Мой-то Тихон не пример другим. Уж такой степенный был, один в свете разумный и задумчивый! А послушишь кругом, – правда, не те сыновья ноне пошли, не чета моему, вероломные... Ну, а все-таки я бы пошла. Мой сгад – иди.

– Он не может не кормить матери, – прибавила молодая.

И Анисья повеселела.

– Ну, ин, пойду, – сказала она нерешительно. – Ведь он только скучлив у меня, а никто плохого не скажет, – не драчун, не пьяница. Вот только дома не любит сидеть... А мне голодно, да и скука съела. Иной раз думаешь: хоть бы захворал, что ли, все бы дома пожил... Мужик он добрый, да, конечно, рабочий человек, обидчивый. У меня одна душа, у него другая. Придешь, думается, а он ну- ко обидится...

Проводив прохожих, она долго оглядывала пустую избу: нельзя ли продать что? Но все богатство ее состояло в старой укладке, где хранился единственный подарок Егора, погребальный платок, купленный в монастырской лавке в Задонске, большой белый коленкоровый платок, весь усеянный черными черепами, сложенными крест-накрест черными костями и черными надписями: «Святой боже, святой крепкий...» Грех продавать такую вещь, да и жалко, правду сказать: принес Егор свой подарок с искренним желанием порадовать мать, выпивши... Ну, да сам же виноват, думала она, – забыл мать, до крайности довел. А бог милостив, он видит нужду, похоронят и без платка, с бедной старухи на том свете не взыщется... И пошла продавать платок. Тонет в хлебах, в лозняке Пажень. Одна кирпичная изба богача Абакумова далеко видна. Она на фундаменте, под железной крышей, с разноцветными мальвами, с палисадником. В воскресенье пошла Анисья к Абакумову. Абакумов зорко оглядел платок своими татарскими глазками, кликнул мать, сумрачную толстую, отекающую старуху в ватной кофте и валенках.

– Что ж просишь? – медленно выходя из избы, исподлобья оглядывая крыльцо и горбясь, неприветливо спросила старуха.

Анисья, чувствуя недоброе, стала хвалить платок, показывать товар лицом – накинула его

на плечи, прошлась. Абакумов, подумав, положил «два орла» – гривенник; потом, усмехнувшись, прибавил еще пятак – «за манеру». Анисья покачала головой и пошла домой, даже не сняв с себя платка. А дома, сидя в этом трауре, долго разглядывала его концы своим единственным глазом, что-то обдумывая. Потом облокотилась на стол, уже ничего не думая, а только слушая звон в ушах... В пазах стола застряло когда-то порядочно пшена. Она наковыряла с полгорсти, съела. Потом спрятала платок в укладку, легла на большие голые нары возле большой треснувшей печки, когда еще не смерклось путем, говоря себе: надо поскорее заснуть, а то не дойдешь, надо выйти пораньше да уходя не забыть запереть укладку, закрыть трубу на случай грозы...

Продумав всю ночь сквозь сон что-то тревожное, неотступное, просучив ногами, – жгли их блохи, жилили мухи, – заснула она крепко лишь под утро. Проснулась, когда уж обеднялось – и болезненно обрадовалась дню, тому, что она жива, что идет в Ланское, начинает какую-то новую, может, хорошую жизнь... Бог милостив – чувствовать себя на белом свете, видеть утро, любить сына, идти к нему, это – счастье, сладкое счастье... Изнутри приперла она дверь в сенцах однозубым рогачом, воткнув его в землю, нашла в углу палку, испачканную воробьями, перелезла через обвалившуюся стену... По зеленому выгону, возле пруда, к которому ковыляли приказчиковы гуси, длинными серыми полосами лежали белившие холсты. Машка Бычок, конопатая, здоровая девка, навалив по свернутому, мокрому, тяжелому холсту на каждый конец коромысла, шла навстречу, вся виляясь, мелко перебирая белыми крепкими ногами по зелени. Анисья подумала: слава богу, с полным навстречу...

Весь май, весь июнь перепадали дожди. Хлеба и травы в нынешнем году чудесные. Пугаясь худыми ступнями и поповой по межам, заросшим травой и цветами, меряя палкой стежки среди ржей, овсов и гречи, радовалась, по привычке, Анисья на урожай, хотя уже давно не было ей никакой пользы от урожаев. Ржи были высоки, зыблились, лоснились, только кое-где синели васильки в них. Выметались и тускло серебрились тучные, глянцевиные стеблем овсы. Клипы цветущей гречи молочно розовели. День был облачный, ветер дул мягкий, но сильный, – усыплял пчел, мешал им, путал их, сонно жужжащих, в ее кустистой заросли, обдавал порою запахом гретого меда. И то ли от ветра, то ли от этого запаха томно кружилась голова. Шла Анисья стежками, межами чтобы сократить дорогу, но, когда миновала панаевские лощины и выбралась на противоположную гору, вышла в чистое поле, откуда далеко видно, – вплоть до станции на горизонте, – сообразила, что дала крюку.

С самого выхода из дому чувствовала она, что надо обдумать главное: дома ли Егор, застанет ли она его? И все отвлекалась, все не могла собраться с мыслями. Теперь две горлинки, шагах в десяти друг от друга, по одной линии, мелко и споро бежали перед нею вдоль аспидной дороги и мешали думать. Она долго, пока не поднялись они, не могла понять, что это такое: горлинки совсем под цвет дороги, только спинки с брусничным отливом. Они женственно, игриво семенили, потом легко взлетели, распутив серые хвосты с белой каемкой, и опять сели, опять побежали. Анисья махнула на горлинок палкой: затрепетал легкий свист крыльев, но не прошло и минуты, как опять увидела она их, бегущих быстро и однообразно. Они мучили, утомляли ее, но и трогали своей красотой, беззаботностью, нежной привязанностью друг к другу. Сколько лет ее черно-зеленой, клетчатой поневе, грязной, истлевшей на высохшем теле рубахе, темному, в желтом горошке платку? Старость, худоба, горе так не идут к красоте горлинок, цветов, плодородной земли, забывшей ее, нищую старуху, – и она болезненно чувствовала это. Она опять неловко и робко махнула на горлинок. Горлинки взлетели и она постояла, выждала, пока они скрылись...

Она бодрилась, но клонило в сон. Идти по убитому колесами проселку еще легче, чем по мягким стежкам, ступать босыми ногами по теплой земле так сладко. Но махали, махали по горизонту крыльями несуществующие мельницы. А поднимешь глаз на облачное небо – плывет, плывет стеклянный червячок, плывут стеклянные мушки, и никак не поймашь, не удержишь их на месте: только остановишь взгляд, а червячок уж соскользнул куда-то – и опять плывет кверху, скользит, поднимаясь, и множатся, множатся мушки... Она замедляла шаг и переводила дух: «Ой, не дойду! Потихе надо...» И опять шла, и опять, сама того не замечая, начинала спешить...

Теплый ветер, дувший с юга, в бок, нес; над простором серо-зеленых равнин песни жаворонков, аромат цветочной пыли. Мягко, густо и нежно синели дальние деревни, перелески. Вон в далекой дали справа, за полями и верхами, видна церковь Знаменья, родного и уж давно забытого села. Вон налево, еще дальше, за Воргольскими лугами – бедные степные деревушки: Камен-

ка, Сухие Броды, Рябинки... Небо загромождали огромные, но легкие и причудливые, лилово-дымчатые облака. Они собирались по горизонтам в синеватые тучки, и туманно-голубыми полосами опускался на них дождь. А невидимые мельницы все махали и махали крыльями даже и в этих полосах... Разве лечь, подремать? Но нет, нельзя: после отдыха еще труднее идти и работать, она хорошо знает это по долгому опыту. Да вон и едет кто-то... Показалась впереди тройка. Она стала разглядывать ее и оживилась. Тройка, вся в медных бляхах, в дорогой наборной сбруе, приближалась медленно, сдерживая игривую силу. Гнедой коренник, высоко задрав голову, шел шагом, темно-ореховые пристяжные, изгибая лоснящиеся шеи и почти касаясь раздутыми ноздрями дороги, плыли. Прищурился глаза, завалившись в задок тарантаса, ленился молодой кучер, в плисовой безрукавке, в соловой рубахе, в городском картузе, в замшевых рукавицах... Какой-то особый вид этих гладких, барских лошадей, какой-то особый вкусный запах у этих тарантасов: мягкой кожи, лакированных крыльев, теплой колесной мази, перемешанной с пылью... А вот начинается зелено-оловянное гороховое поле, тоже барское. От тройки Анисья перешла на межу, покосилась на горох, проводила глазом приподнятый задок тарантаса... Да нет, горох еще и не наливался. Кабы налился, наелась бы досыта – и не увидел бы никто! И, сморщив лицо, поглядела Анисья на небо, туда, где чувствовалось за более светлыми и теплыми облаками солнце; должно, едет кучер к часовому поезду на станцию, – у людей обеда на дворе...

Она забыла о мельницах – мельницы стали махать тише. Она шла и шла; межа, вся усыпанная белыми цветами, бежала ей под ноги, белые точки цветов дрожали. А где-то разнообразно, весело ругались бабы – перебивали друг друга звонкие бабьи голоса. Она ясно слышала каждый из них, даже с некоторым удовольствием следила за их изменениями, скороговорками, вскрикиваниями. Но внимания на них не обращала, – дело привычное слушать эти несуществующие голоса! – думала свое, что попало, все еще не будучи в силах собраться подумать о Егоре: думала то о муке какой-то, у кого-то занятой да так и не отданной, то о том, что вчера у соседки теленок сжевал весь подол рубахи, висевшей на плетне, то о своей близкой смерти... «Постыдилась бы, постыдилась бы!» – звонко кричали бабы. – «Надо сесть», – отвечала им Анисья мысленно и все дожидалась кем-то назначенного для отдыха места. Кем оно назначается? Богом? «Нет, сыном, Егором!» – крикнул кто-то. Она вздрогнула, мотнула головой, прогоняя дремоту...

И по меже, и во рву под межою – всюду пестрели цветы. Чувствуя, что не добиться ей до назначенного места, Анисья села на первое попавшееся. Бабы смолкли. «Хорошо!» – подумала она. И с задумчиво-грустной улыбкой стала рвать цветы; нарвала, набрала в свою темную грубую руку большой пестрый пук, нежный, прекрасный, пахучий, ласково и жалостно глядя то на него, то на эту плодородную, только к ней одной равнодушную землю, на сочный и густой зелено-оловянный горох, перепутанный с алым мышинным горошком. Бабы молчали, мельницы исчезли. Теперь она плыла, плыла, как тот стеклянный червячок по воздуху. Вон вдали, в горохе, шалашик для сторожа, пока еще пустой: залезть бы в него и – спать... Ветер нес над полями убаюкивающие трели жаворонков, убежала в поля зеленая межа. Немало росло на ней ромашки, золотой куриной слепоты, бархатисто-лиловых медвежьих ушек, малинового клевера. Прикрывая глаз, Анисья щипала остинки то из медвежьих ушек, то из клеверных шапочек: тошнило, пекло губы, а в остинках были свежие капельки горького меду. Вдруг сердце замерло, – холодом облила голову, отняла плечи, заныла в них и по всему телу прошла та жуткая, как бы предсмертная, тошная волна, что накатывает на человека, высоко вознесшегося на качелях, вдруг сорвавшегося и летящего вниз. Переломив себя, вскочила Анисья с межи, с примятого во влажной траве места, и почти побежала. До дрожи в руках и ногах захотелось застать сына, что-то сказать ему, перекрестить на прощанье...

За горохом пошли пары. Мужики пахали их. Она слабо крикнула, верно ли, что влево поворот в Гурьево, а направо в Ланское? «В Ланское!»... тоже криком отозвался большой босой старик, расстегнувший под своей первобытно-густой бородищей ворот длинной рубахи, подплека которой чернела от пыли и пота. «А напиться, родной, нечего?» Он, шатаясь, оступясь в борозде, подошел в это время с сохой к меже и, обивая блестящую палицу о подвои, остановился. «Можно», – сказал он. Она подняла с межи кувшин, заткнутый папкой, и припала к воде, косясь на ступни старика. Он был страшен, похож на лешего или болотного: огромная голова, зеленовато-желтые кудлы, такая же борода, фиолетовое конопатое лицо и совсем зеленые глаза, свирепо сверкавшие из-под косматых и редких бровей; ступни же его – цвета свеклы – напоминали сошники. Но сразу видно – редкой доброты человек... Она напилась, хотела спросить, нет

ли хлебушка, – и не смогла, не сумела...

Теперь она вспомнила места. Оставалось до Ланского версты две, и она не спускала глаза с большого дерева, одиноко белевшего стволом среди моря выколосившейся пшеницы близ лесной опушки, – со старой березы, круглившейся своей вершиной, серебристой от ветра, на облачно-дымчатом небе. За пшеницей, за березой показался шелковистый березовый кустарник, темно-зеленый. Место тут степное, ровное, кажется очень глухим: ничего не видишь, кроме неба и бесконечного кустарника, когдаходишь в Ланское. Везде буйно заросла земля, а уж тут прямо непролазная чаща. Травы – по пояс; где кусты – не прокосишь. По пояс и цветы. От цветов – белых, синих, розовых, желтых – рябит в глазах. Целые поляны залиты ими, такими красивыми, что только в березовых лесах растут. Собирались тучи, ветер нес песни жаворонков, но они терялись в непрерывном, бегущем шелесте и шуме. Еле намечалась среди кустов и пней заглушающая дорога. Сладко пахло клубникой, горько – земляникой, березой, полынью. Анисья спешила, спотыкаясь, путаясь в цветах и травах. Вот и караулка. Но висит на ее дверке большой рыжий замок. И, увидав его, Анисья вдруг сморщила лицо и заголосила.

Но голосить на бегу было трудно. Заколотилось сердце, стало жарко, слезы мешали видеть. И она остановилась. Кругом – полынь, лопухи, крапива, в крапиве – избенка без крыши. Из лопухов вылез кобель, черно-седой, сероусый, с гноющимися глазами, с обрубленным хвостом и обрубленными, в кровь разъеденными всякой мошкаррой ушами. Он поднял эти обрубки и глухо забрехал – каким-то особым, лесным брехом. Она стала и не двигалась с места, глохла от стука собственного сердца. Кобель поглядел на нее – и смолк, отвернулся. И долго оба стояли в нерешительности: он не знал, продолжать ли брехать, она – подходить ли?

– Егорушка! – слабо крикнула она.

Никто не отозвался. Кобель подумал и брехнул еще раз. Потом опустил свои обрубки – и голова его стала круглой, доброй, жалкой. Помахивая толстым, коротким хвостом, он подошел к Анисье, глянул в ее глаз. «Э, да и ты стара! – равнодушно сказал его взгляд. – Ну, нам с тобой делить нечего... А Егора нету...» И, отойдя, кобель рассеянно поднял заднюю ногу на куст мелких ярко-желтых цветов и, не сделав ничего, лег, раскрыл, по привычке, пасть и часто задышал, мотая головой, отбиваясь от липнущей к уху серо-лимонной мухи. И опять стало скучно, тихо и глухо кругом. Бежал по кустам шелковистый шум и шорох, однообразно и хрустально звенела в них овсянка, жалостно цокали и перелетали с места на место, с былинки на былинку серенькие чеканки, точно ища и все не находя чего-то. Караулка была необыкновенно мала и ветха; вместо крыши рос по ее потолку высокий бледно-серебристый бурьян. Шатаясь, плача, шурша по лопухам, Анисья подошла к дверке, пошарила по притолке, – нет ли ключа. Не нашла – и догадалась: отогнула дужку замка, – он, конечно, был не заперт, – и потянула за скобку, перешагнула высокий порог...

Есть – об этом даже думать не хотелось. Все плыло вокруг нее, смутно и горячо разговаривало. Через силу она осмотрелась все-таки – и убедилась, что нигде нет ни единой крохи хлеба. Потом, положив пук увядших цветов на кое-как сбитый из старой доски и свежих березовых колеб стол, косо стоявший в углу на ухабистой синей земле, села на лавку возле столика и без движения просидела до самого вечера. Она тупо ждала чего-то – не то сына, не то смерти, – сонно глядела на гнилые стены, на полуразвалившуюся печку. Слабый свет проникал в окошечко над столиком. Дальше, где было другое, без рамы, заткнутое полушубком, клоками грязной овчины, сгущался сумрак. В сумраке прыгали по земле маленькие лягушки.

«Либо мне мерещится?» – подумала Анисья – и пригляделась: нет, не мерещится, самые настоящие лягушки...

Весь потолок прорастал грибами – часто висели они, тонкие стеблем, как ниточки, вниз бархатистыми шляпками, – черными, траурными, коралловыми, – легкими, как тряпочки, обращавшимися в слизь при малейшем прикосновении. Разве поесть? Нет, помрешь – и растащут тогда соседки избу в Пажени по бревнышку... А больше есть нечего. Махоточка стояла на подоконнике, прикрытая дощечкой. Она подняла ее: в махоточке загудела большая страшная муха; поднесла дощечку к глазу, стала разглядывать: так и есть, образец. Греховодник Егор, за то-то и не дает ему бог счастья! Она перекрестилась, с трудом подняв руку, поцеловала дощечку и положила ее на столик; подумала, вспомнила, что умирает, – и еще раз перекрестилась, заставляя себя выразить во вздохе и особенно медленных, истовых движениях руки всю покорность свою богу, все свое благоговение перед славой и силой его, все надежды свои на его милосердие... На

загнетке раскрытой печки, на куче золы лежала сковородка с присохшими к ней корочками яичницы: видно, Егор из птичьих яиц делал, – скорлупа-то возле сковородки валялась пестрая. Ани-сья подумала: чем спасается, батюшка, вроде хорька живет! Все сильнее клонило в сон, в бред, бежала под ноги дорога вместе с тройками и горlinkками... Ани-сья откидывала назад голову – и на минуту приходила в себя, прогоняла видения и ту тревожную зыбкость, в которую все глубже погружалась она. Ветер сонно и глухо шуршал вокруг стен, в крапиве, проносился по бурьяну на потолке. В окошечко виднелись сонно качающиеся верхушки кустов- бледные на меловато-свинцовом фоне туч. Темнело, наступал вечер...

Она понимала, что заходит дождь, шумит ветер, доносит однообразно повышающийся и понижающийся звон кустовой овсянки: ти-ти-ти-ти-ти-и... Где-то томно кричали молодые гра-чи: тоже к дождю, к вечеру... Но, все понимая, она спала, спала – и умирала, и воображение ее, чуждое ей, неудержимо работало. Ах, да ведь Егор идет на ярмарку, – надо догнать его! И она видела ярмарку. Там гомон, говор, скрип телег, ржание лошадей, народ валит валом – и все пья-ный, страшный; бьет, гремит оркестрион на каруселях, крутом летят на деревянных конях девки в красных басках и ребята в канареечных рубашках – и от этого тошнит, мутит... Жарко, тяжело, а Мирон, молодой, веселый, со сдвинутой на затылок шапкой, продирается к ней через толпу, несет целый узел гостинцев: рожков, сусликов, жамок – и не дает ей допить бутылку квасу, только что откупоренную квасником, стариком, пахавшим пар; Мирон кричит: «Запрягай ско-рей, надо Егорку догнать!..» Вот какой ты, Мирон, говорит она ему, никогда-то не жалел ты меня в молодости, а теперь вот и смерть пришла... в поле ветер, тучки, дождь мелкий, девки картошки копают, – нет, Миронушка, видно, надо лечь поскорей... Как лунатик, шатаюсь, шепча, подня-лась Ани-сья с лавки, вытянула из окошка полушубок, свернула, кинула на лавку, в изголовье... В тазу ныло и дрожало, сердце так замирало, что, казалось, поминутно виснет она в воздухе, что нет у нее ног, есть только туловище, как у того страшного солдата, что чернеет на избе в Паже-ни. Поспешно, стараясь не упасть, легла она и закрыла глаз. Лавка плавно полетела в пропасть... Она спала, умирая во сне. Лицо ее, лицо мумии, было спокойно, бесстрастно. Прошел дождь, ве-чернее небо очистилось, в лесу, в полях все смолкло. Вечерний мотылек трепетно-беззвучно по-плыл в воздухе. Стали видны в сумраке по земле только белые цветы. Сзади караулки мелким красивым узором черно зеленели верхи кустарника – на оранжево-алой мути, переходившей выше в прозрачно-лимонную, легкую пустоту. Против караулки, на бесцветном, пепельном небе стояла полная, ясная но не яркая луна, еще не дававшая света. И глядела она прямо в окошечко, возле которого лежал не то мертвый, не то еще живой первобытный человек. В другое, без стек-ла, без рамы, дул теплый ветер...

II

Егор в детстве, в отрочестве был то ленив, то жив, то смешлив, то скучен – и всегда очень лжив, без всякой надобности. Раз он нарочно объелся белены – насилу молоком отпоили. Потом взял манеру болтать, что удавится. Старик-печник Макар, злой, серьезный пьяница, при котором работал он, услышав однажды эту брехню, дал ему жестокую затрещину, и он опять, как ни в чем не бывало, кинулся месить ногами глину. Но через некоторое время стал болтать о том, что уда-вится, еще хвастливее. Ничуть не веря тому, что он давится, он однажды таки выполнил свое намерение: работали они в пустом барском доме, и вот, оставшись один в гулком большом зале с залитыми известкой полом и зеркалами, воровски оглянулся он, в одну минуту захлестнул ре-мень на отдушнике – и, закричав от страха, повесился. Вынули его из петли без чувств, привели в себя и так отмотали голову, что он ревел, захлебывался, как двухлетний. И с тех пор надолго забыл и думать о петле.

Он рос, входил в силу, становился мужиком, хворал, пьянствовал, работал, болтал, шатался по уезду, только изредка вспоминая о заброшенном дворе и о матери, которую почему-то назы-вал своей обузой; жизнь, как ни бестолково мотал он ее, очень нравилась ему, и если находили на него минуты усталости, разбитости и той душевной мути, когда он говорил: «Белый свет не мил мне!» – то ему и в голову не приходило, что есть тут связь с его мальчишеской болтовней о самоубийстве. И так он дожил до тридцати лет, до той зимы, когда ни с того ни с сего ушел он в Москву, связавшись нечаянно с отправлявшимися туда золотарями.

Из Москвы возвращался он пьяный и возбужденный. Чувствуя всю нелепость своей поезд-

ки и как бы приготавливаясь к тому отпору, который он даст всякому, кто будет называть его золотарем, он до копейки пропился в дороге, вылезая на каждой станции и нахально проталкиваясь в толпе к буфету. И вот тут-то, сидя в мотающемся, мутном от дыма вагоне, он, чуть ли не впервые после истории в пустом барском доме, стал опять болтать то, что болтал когда-то, стал доказывать соседям по лавке, мужикам-пильщикам, что он должен удавиться. И опять никто не дал веры его словам, и опять, проспавшись, забыл он о своей болтовне.

Дома, в родных местах, после Москвы, после той непривычной жизни, которой жил он там, после пьянства и возбуждения в дороге, все показалось ему так буднично, что у него даже пропала охота отбрехиваться от насмешливых расспросов, зачем это путешествовал он в Москву. Вид своего разрушающегося двора, вид сильно изменившейся, высохшей и странно-тихой, слегка шальной матери, не произвел на него никакого впечатления. Нехотя прожив дома трое суток, пошел он в Гурьево, на барский двор, – проситься в караульщики в Ланское. Был солнечный мартовский день, дорога сперва таяла, потом, – когда солнце склонилось на безоблачном небе к закату и золотой слюдой заблестели под ним снежные поля, а к юго-востоку позеленела легкая и прозрачная даль, – стала дорога подмерзать, приятно хрустеть под лаптями и приятно, покойно, в лад с этим долгим, ясным и покойным днем, чувствовал себя и Егор. Он поднялся на изрезанную ледяными колеями блестящую гору в селе, вошел на барский двор. Солнце мирно, уже повесенному, догорало против него, за рекою; по-весеннему возились и трещали воробьи в золотисто-зелено-серых прутьях, в кустах сирени возле барского дома, четко рисовавшегося белизной стен и бурой железной крышей на зеленоватом небе. На крыльце стояла горничная и вытряхивала самовар. Господ дома нету, сказала она, в город уехали; не то приедут нынче к вечеру, не то нет... И Егор как-то сразу увял, почувствовал тоску; постоял среди розовеющего двора в нерешительности и побрел в людскую. В людской крепко пахло кислыми щами; на лавке возле стола сидел работник Герасим, черный грубый мужик, прикреплял кнут к кнутовищу и бранился с своей женой, Марьей, примостившейся на парах возле печки, с ребенком на руках. Егор вошел, тряхнул головой и сел. На поклон ему ответили, но браниться не бросили. Ребенок драл ручонками кофту матери, ища грудь; Марья, маленькая, смуглая, не спуская блестящих глаз с мужа и не замечая попыток ребенка, говорила, и Егор скоро понял, что брань началась из-за бритвы, принадлежащей брату Марьи, из-за того, что Герасим кому-то дал эту бритву.

– Свою прежде наживи, – говорила Марья, блестя злыми глазами. – Тогда и давай, когда наживешь. Побирושка, черт!

– Я с тобой никаких делов иметь не хочу и разговаривать не стану, – твердо и размеренно отвечал Герасим, раздувая ноздри. – Скандалу не смей затевать: у людей праздник завтра.

– Рот ты мне не смеешь зажимать, – говорила Марья со смелостью человека, сознающего свою правоту.

– Молчи лучше, – отвечал Герасим, стараясь удержаться на твердом тоне.

– Не форси, авось тебя не боятся!

– погоди, девка, побоишься! Авось заступников-то немного!

– Что ж, поплачу да спрячу. Пешего сокола и галки дерут. Не новость...

Егор, привыкший шататься по чужим избам и жить чужими жизнями, любивший скандалы, любивший слушать брань, сначала заинтересовался и этой бранью. Но вдруг и от брани стало нудно ему...

– Что-й-то Москва-то скоро прискучила! – сказала Марья, напоминая мужу его поездку в Москву, поездку, столь же нелепую, как и поездка Егора, хотя и не столь позорную, так как Герасим ездил искать места на конке. – Что-й-то скоро заявился! Видно, вас таких-то не мало там околачивается!

– Ты лучше, сука, за своим делом смотри, – ответил Герасим. – Ты вон какой кулеш-то сварнакала к обеду нонче? Свиным, что ль, месила? Так ведь тут не свиные обжорные!

– За мной гаять нечего, – отозвалась Марья. – Ты лучше за своей Гашкой, за своими шкурами, любовницами гляди.

Егор хотел солгать, какая редкая и дорогая была у него бритва, – и поленился, промолчал. Он поднялся с места и подумал: «А беспременно удавлюсь я! Ну их всех... куда подале!...» Он медленно подошел к Герасиму, закуривавшему сигарку, потянулся к нему с трубкой. Не глядя на него, тот подал почти догоревшую спичку. Егор, обжигая пальцы, закурил и стал у двери.

– Гашка-то небось чуточку поболее твоего работает! – говорил Герасим, не зная, что ска-

зять.

– Авось и мне за тобой, за чертом, не сладко, – отвечала Марья. – Десять лет ворочаю!

– А-а! Ишь актриса какая!

– Одних картох по три чугуна трескаете! Весь живот на чугунах сорвала...

Егор не дослушал и вышел.

Весну и начало лета он провел в Ланском. Определенность положения сперва радовала его. Вечно думать о том, будет ли заработок, вечно шататься, искать этого заработка и, как-никак, гнуть хрип – это уже порядочно надоело. А тут работы никакой, спи сколько угодно, жалованье и отвесное идут да идут... Но и дни шли – и все больше становились похожи друг на друга, делались все длиннее да длиннее; нужно было убивать их, а в лесу, в одиночестве как их убьешь? И, ссылаясь на то, что у него на плечах мать-старуха, больная и голодная, Егор повадился на барский двор выпрашивать жалованье и отвесное вперед, а выпросив, пропивать и то и другое с приятелем, гурьевским кузнецом. Он чувствовал теперь нечто вроде того, что чувствовала последнее время Анисья: зыбкость во всем теле, неопределенную тревогу и особенную беспорядочность в мыслях. В сумерки он стал плохо видеть, стал бояться приближения сумерек – было жутко в этом молчаливом кустарнике: всюду, где реял вечерний сумрак, представлялся еле видный, неуловимый в очертаниях, но оттого еще более страшный, большой сероватый черт. И черт этот не спускал с Егора глаз, поворачивал за Егором голову, куда бы ни шел Егор. И так как казалось, что это он, черт, заставлял вспоминать о петле, о перемете, о толстых сучьях старой березы в пшенице, то стала страшна и давнишняя, прежде бывшая такой простой, мысль о петле. И Егор совсем забросил лес – стал и дневать и ночевать в Гурьеве. На людях, даже тогда, когда он только что выходил из этих глухих степных мест, буйных хлебов и кустарника на дорогу в село, сразу становилось легче.

Вот и в тот день, когда шла в Ланское Анисья, побрел Егор в Гурьево. От ягод сильно знобило по вечерам, он знал это. Но есть хотелось – и, выйдя из избы, он долго лазил на коленях по кустам, по цветам и травам, долго ел землянику и клубнику, иногда очень спелую, иногда совсем зеленую, твердую... Потом не спеша пошел в село.

«Главная вещь – хлебушка надо разжиться», – думал он, выходя из леса за час до того, как прийти туда Анисье.

Где он будет разживаться, он не знал, да мало и надеялся на разживу. Но ведь надо же было оправдать свой уход из леса. И впрямь, плохи были его дела насчет хлебушка. «Ну, да плохи не плохи, авось не первая волку зима!» – говорил он себе, разлато ступая по дороге лаптями, сося трубку, кашляя и глядя вдаль запухшими, блестящими глазами.

Гурьево село большое, старинное, с просторными выгонами, с двумя мельницами, – водяной и ветрянкой, – стоит на реке, тонет и целых рощах лозняка, осинника, и грачей в этих рощах – несметные тысячи. «Такого села, – говорил Егор, – ни в одной Америке не найдешь!» – Перед вечером, когда он подходил к селу, над селом прошумел не долгий, но сильный ливень, как видно, не первый за день. Ярко чернели дороги среди зеленой муравы по выгону, на котором слева, возле барской усадьбы, стояла старая церковь, обитая жестью возле церкви – новое кирпичное училище, посредине – мирской хлебный амбар, гамазей, а справа – тяжкий ветряк и уютный двор мельника. Дул ветер, но крылья ветряка неподвижно простирались в облачном небе. Всегда серые, они были теперь темны, серы. С крыши гамазея падали капли; мальчишки, что стерегли лошадей по зеленой мураве, сидели под гамазеем в мокрых зипунах.

«Чудеса, – думал Егор, направляясь к ветряку и обсуждая, как всегда, то, что случайно попадет в голову. – Бесперечь тут дождь. Место привольное, для огородов, к примеру сказать, – клад чистый...»

Еще рано было, а уже гнали разбегающееся по выгону пестрое стадо. Предвечернее солнце проглянуло на минуту далеко за седом, за речной долиной, как раз против училища, блеснуло на новой, похожей на цинковую, крыше его, на золоченом кресте церкви, сделало стадо еще пестрее и опять потухло, скрылось в облаках. Церковь в Гурьеве грубая, скучная, какая-то чуждая всему, училище имеет вид волостного правления, ветряк неуклюж, тяжел, работает редко. Буднично шумели, гамели без толку грачи в лозняке по речке. Бежало, ревел и бляло стадо, перекрикиваясь, гонялись за овцами бабы с накинутыми на голову подолами... Там, в Ланском, в караулке без крыши, среди глухого кустарника, цветов и бурьяна, умирала замотавшаяся до последнего, смиренная мать Егора. А он стоял зачем-то среди выгона в Гурьеве, думал что попало, ждал за-

чем-то, пока прогонят стадо. Стадо прогнали – и он долго глядел на двух спутанных мокрых лошадей, щипавших траву и тяжело перепрыгивавших с места на место спутанными передними ногами. Передвигая трубку из угла в угол рта, тяжело дыша, кашляя и сплевывая, он рассеянно водил глазами по выгону, мысленно ругал дураком церковного старосту, обившего старую каменную церковь жестью, глядел на гамазей. Прижавшись к стене гамазея, сидели на большом белом камне мальчишки в мокрых, рваных зипунах. Возле них стоял жеребенок-третьяк. На него капало с крыши: сверху он был темный, снизу светло-рыжий, сухой... Егор невесело усмехнулся и, скользя, разбегаясь по грязи лаптями, побрел к избе мельника.

Как всегда, хозяева не обратили на Егора никакого внимания. И, как всегда, это несколько смутило его. Он перешагнул порог избы, тряхнул, в знак приветия, головой, своим гимназическим картузом, плоско лежавшим на белых кудлах, и сел на нары, стал насыпать трубку едкой махорочной пылью, вывертывая истертый кисет. Старик-мельник гнул на лавке возле стола, тупо, упершись ладонями в лавку, глядел на руки своей молодой, беременной бабы, Алены, просеивавшей над столом муку. Алена слывет в Гурьеве красавицей за свою крепость и белое коровье лицо. А сам мельник мал и лыс, головаст, безобразен. Он богат, а полушубок на нем рваный, засаленный, темный, – резко выделяется новый оранжевый рукав этого полушубка. Нос у него похож на мухомор, большие открытые ноздри стали от нюхательного табаку темно-зелеными и бархатными. Глядя на муку, серой пылью сыплющуюся из-под решета, он равнодушно спросил Егора:

– Что, ай соскучился в лесу-то?

– Что ж мне скучать, – не спеша ответил Егор. – Дело есть в селе...

И, сошмыгнув с нар, подошел к загнетке, открыл заслонку и по пояс залез в темную жаркую глубь печки.

– Нуждишка есть, – глухо крикнул он оттуда, вытаскивая своими култышками раскаленный уголь из золы и забивая его в трубку.

Алена, подсеявая, ловко хлопая решетом в ладони и тряся широким задом, через плечо покосилась на Егора. «Всю печку выстудит, родимец!» – подумала она, Но Егор, хорошо знавший такие думы, принял, выбравшись из печки, самый беззаботный вид. И, затягиваясь, растравляя себе ноздри едким запахом и жаром горящего осинового угля и с мучительным наслаждением кашляя, опять спокойно уселся на нарах. «Ай уйтить? – думал он рассеянно. – Да черт с ними, посижу еще маленько... Жрут, жрут, по два раза на неделю хлебы ставят и все не облопаются», – рассеянно думал он, глядя то на хлебную дежу возле печки, прикрытую старым армяком, то на желтоватую атласную муку, что длинной горкой, вроде крышки гроба, росла на столе, то на Алену. Толстые руки ее, засученные по локоть, были запорошены мукою; на пальцах блестели медные и серебряные кольца. Подол шерстяной красной юбки Алена подняла и заткнула за пояс, толстые ноги в мужицких сапогах, черневших под серой рубахой, поставила твердо и, немного отваливаясь назад, выставя свой страшный живот, мерно трясла задом.

– Хлебушка я не наживусь у тебя полкраюшечки? – спросил Егор, сплевывая слюну, постоянно набегающую на лбу белесые от голода и трубки губы.

Алена промолчала. Анютка, ее девочка с лихорадкой на губах и веером подстриженными на лбу жесткими волосами, все лезла, наваливаясь на стол, пальчиком проводя в муке полоски. Промолчав на вопрос Егора, Алена вдруг звонко щелкнула девочку в лоб ладонью. Девочка отвалилась, шлепнулась на лавку и заголосила.

– Сказала, ня налягай на муку! – крикнула Алена своим грубым однодворческим голосом.

– А вот я ее ножиком сейчас зарежу, – сказал, входя в избу, Салтык, молодой работник, в овчинной куртке и белом фартуке, только что приехавший с поля, где он подкашивал опушку обитого градом овса.

И стал вешать на стену, на деревянный костыль, вбитый между бревнами, тяжелый новый хомут с белыми гужами и недоуздом, на блестящих удилах которого зеленела наеденная лошадью травяная пена.

Вид у Салтыка, недавно отбившего солдатчину, был самодовольный, лицо, в полубачках, загорелое, приятное, грудь широкая, солдатский картуз сдвинут на затылок. На груди фартука были крупно вышиты красные буквы. И Егор, которому Салтык только кивнул слегка, подумал:

«Верно, Аленка и вышивала. Да и девчонка, конечно, его. Недаром же болтали, что он ее еще до солдатчины управился обдергать. Дурак мельник! Я бы с ней шкуру спустил да на пяло

растянул!»

Он, сипя, носил грудью, показывая в прореху обитого ворота бурую полосу загара на мертвенно-бледном теле. Бледно было и отекавшее лицо его. Он был тяжело болен, но чувствовать себя больным давно вошло в привычку, он не обращал на это ни малейшего внимания. Нисколько не обижало его и то, что на него, больного, голодного, даже и посмотреть внимательно никто не хочет. Не испытывал он и злобы к Алене, когда думал: «Я бы ее шкуру на пяла растянул», — хотя растянуть мог бы. Но глухое раздражение не только против этого богатого и скучного двора, но и против всех гурьевцев, все-таки сидело в нем, томило и заставляло думать что-то такое, что не поддавалось работе ума, досадно вертелось в голове, как стертая гайка. Он уже давно освоился с тем, что часто шли в нем сразу два ряда чувств и мыслей: один обыденный, простой, а другой — тревожный, болезненный. Спокойно, даже самодовольно думая о том, что попадетя на глаза, что случайно взбредет на ум, часто томился он в это же самое время и тщетным желанием обдумать что-то другое. Он завидовал порой собакам, птицам, курам: они небось никогда ничего не думают! Теперь ему и хотелось и не хотелось сидеть у мельника. Да что делать-то, если не сидеть, куда идти? В лес, в кустарник, в сумерки, где всюду мерещится этот серый черт?

Алена зажгла над столом висячую лампочку, загоревшуюся бледно-зеленым огнем: еще светло было за окнами. Салтык не спеша достал из кармана порток плисовый кисет, не спеша свернул и загнал крючок, икнул и, пропустив в стекло лампочки соломинку, закурил, сел на лавку.

— Подсевай, подсевай, — кинул он Алене, затыкаясь. — Что-й-то пирожка хочется.

— А рожна ня хочется? — спросила Алена, говоря с Салтыком тем особым, как будто грубым тоном, каким говорят при народе только с любовниками.

— Их, пироги-то, надо уметь с умом печь, — сказал Салтык, далеко сплевывая. — Надо тебе каталог выписать. Когда я в Тифлисе служил, так там хозяйкина дочь завсегда выписывала каталог, по какому все можно приготовить. Вот и ты — пошли в Москву письмо, вложи в него марку семь копеек и напиши: так, мол, и так, вышлите мне всех возможных каталогов.

— И то правда, — отозвался старик. — Ты, известно, все знаешь: где какие жители, где какие города...

Егор покосился и подумал: «Какие города! Много он, дурак, знает, окромя своего Тифлису! Вот я бы ему порассказал...» Ему очень захотелось спора, в котором он вышел бы и умнее, и толковее, и бывалее Салтыка. Но намерение попросить хлеба и еще что-то, чего он не мог определить, связывало его, всегда смелого и болтливого, ставило в тупик — и перед кем же! — перед мужиками, которых он даже и сравнивать никогда не хотел с печниками, плотниками, малярами! Он только независимо откашлялся и, насысывая потухшую трубку, притворяясь рассеянным, стал слушать: что-то еще сбросит Салтык?

— Как же мне не знать! — сказал Салтык. — Да я не то что, я, как осень, беспрерывно опять туда! Там сейчас самая колбня идет, — сказал он, мельком взглянув на Алenu и усмехнувшись. — Да ей-богу: веселье, гулянье — каждый божий день, с восьми утра до двух ночи. Особенно в курсовых, и Пятигорске, в Кисловодске, в Висинтуках...

— Значит, скучать не имеют права, — вставил старик и достал из кармана полушубка тавлинку.

— Ну, только там с деньгами хорошо, — продолжал Салтык, не слушая старика. — Без денег туда лучше и не показывайся. Там только вино ничего не стоит. Там каждый грузин аграмадный виноградник имеет. Везут на базар в бочках — так и плескается.

— Имеют капитал добывать его, вот и плескается, — сказал Егор. — Авось, и это дело знаем не хуже твоего, — пробормотал он, чувствуя, что его опять начинает ломать, знобить, и неотступно думая о полушубке, которым он совершенно напрасно заткнул окно в караулке вместо того, чтобы надеть его, догадаться, что к вечеру после дождя будет прохладно.

Но Салтык не обратил внимания и на это замечание.

— Там, брат, — говорил он, неизвестно к кому обращаясь, — какие бульвары, сады! Сад князя Чалыкова на три квадратных версты тянется! Только из одного плохо: там, ночь пришла, без бурки ни шагу: стыдь. А в горах завсегда снег, круглый год не переводится...

«Дурак! — подумал Егор. — Без бурки! А спроси его, какая такая бурка — ни елды, кислая шерсть, не знает...» Бурка, она, брат, медвежья, иде ты мог ее заметить? — неожиданно для самого себя сказал он вслух.

И закрыл глаза. «Скука теперь в моем блиндаже... И напрасно, едрена мать, не взял я полушубка!» – подумал он, глядя на зеленый огонь лампочки, на лиловеющий воздух за окнами, в которые сек опять набежавший дождь, и вспоминая однообразный звон кустовых овсянок, жалостное цоканье чекканок.

– По горам там везде стежки проделаны, – говорил Салтык. – Черкес какой-нибудь разнесется... летит, скачет – как только голова цела! А глянешь на горы издали – как тучи заходят. Опять же из девок не плохо. Там к девкам пойтить – по таксе, за вход тридцать копеек. Ты вот старый человек, а она тебя может кажная раскипятить.

– Нет, теперь не гожусь, – отвечал старик, двигая плечами, почесывая их ерзающим полушубком. – А раньше я, правда, до девок враг был! Мог с ними хорошо обойтись.

Егор ухмыльнулся и хотел было рассказать, как один печник бобровым стручем опоил, отуманил, обольстил генеральскую дочь, – рассказать и дать понять, что печник этот был не кто иной, как он сам. Но перебила Алена.

– Будя, бряхучий! – крикнула она тем притворно-злым тоном, которым здоровые бабы, имеющие старого мужа, прикрывают свою любовь к щекотливым разговорам. – Будя, бястыжмий! Старый человек, и що бреша! Табе вон на кладбишшу поместье давно готова! Двух жен похоронил!

– А я что? – сказал старик. – Я ничего.

– Народ там красивый, не униженный, – продолжал Салтык. – Есть старики по сту лет живут...

Егор и на это хотел возразить: живут-то живут, а на кой черт спрашивается? Но опять его перебили.

– Ну об этом ты оставь! – сказал старик, – Взять хоть к примеру меня такого-то; живу я семьдесят годов, шашнадцать человек своей крови похоронил, а прожил бы до ста лет, от меня опять пошли бы плоды... Где ж тогда жить? И то народу развелось до гибели, а тогда прямо ели бы друг друга, как рыба в море. Вот приходил ко мне старик с того боку – сто пять, говорит. А уронил шапку – поднять не может.

– Это барский-то? Какой табе! – весело крикнула Алена. – За водой еще сам ездит! Скоропостижный дед!

– Не хуже моей старухи, – сказал Егор. – Животолубивая старуха! А я ее корми, журишь об ней...

– А вот говорят же умные люди, – сказал старик, – можно, говорят, век прожить, а как умрешь, не будешь причинен ни тлению, ни прению. Только, говорят, не надо разгорячительной пищи есть. Я когда у господ жил, так там барчук был, на доктора учился. Был он мне дорогой приятель и, бывало, часто сказывал, будто каждый человек может свое тело заохолдить, и, как помрет, тело тлеть не будет, а будет в воздух улетучиваться.

– Ну, это зря брешут, – возразил Салтык.

– Книги, значит, доказывают.

– Книги! – ухмыльнулся Салтык. – Ни ж можно с холодной кровью жить?

Егор, обиженный равнодушием, каким встречено было его замечание о матери, опять вмешался и на этот раз уже совсем смело.

– А рыба? – спросил он. – Может же она с холодной кровью жить и распложаться?

Салтык повернул к нему голову.

– Та-ак! – сказал он насмешливо.

И вдруг решительно заговорил:

– Рыба! Да ты погляди, как она, рыба-то, ныряет, козлекает в воде! Ухитришься ты так-то? Ты вон мелешь – она с холодной кровью, а выложи ее на берег: улетучится она ай нет? Никуды она не может улетучиться!

Егор внезапно разгорячился.

– А я так скажу, – крикнул он, – а я тебе скажу, что нашему брату, рабочему человеку, нельзя без горячей пищи! Ты вон мурло наел, тебе хорошо брехать! А я без пищи захворать могу! Я, может, кабы сыт-то был...

– Ну, и вышли оба дураки! – закричал и старик, поднимаясь. Терпенья у нас не хватает, вот и не можем заохолдить. А вы гляньте, как святые-то, угодники-то, какие богу-то угожали да не ели, не пили, как они-то делали? Как Ларивон-то святой делал? Мог же он три года одной редь-

кой питаться?

– Значит, по-твоему выходит, и моя старуха святая будет? – крикнул и Егор, выхватывая трубку изо рта. – Она вон тоже не ест, не пьет... У нас вон даже и редьки твоей нету...

– Пойдите, – сказал Салтык, – погодите лапоть-то!

И, обернувшись к старику, неожиданно принял сторону Егора:

– Значит, и мы с тобой могли бы святыми исделаться? Охолодили бы свое тело, налопались редьки, да и вся недолга?

– Да будя вам бряхать-то! – громче всех закричала Алена, бросая решето. – Галманы!

– Да и правда! – подхватил старик. – Бога-то попомните! Он, брат, за такие речи не спускает нам, дуракам!

Алена с нахмуренным лицом подошла к нарам и, косясь на утирку, на которой сидел Егор, дернула ее и злобно крикнула:

– Пустика-ся! Уселся на ширинку – и горя мало! Нябось, и домой пора, нечего до ужина досиживать!

– Это не твоя забота, – возразил Егор, – я и сам свою время знаю. Ужин твой мне без надобности, а балакать ты мне не можешь запретить. Вот посижу еще маленько и пойду...

Дождь прошел, вечернее небо очистилось, в селе было тихо, избы темны: до Ильина дня не вздувают огня летом, ужинают перед избами, на камнях, в полусвете зари. Выйдя от мельника, Егор остановился, даже спросил себя: не вернуться ли в Ланское? – и повернул в село, в ту большую улицу, что тянется между дворами по косоугору над речкой. В полусвете зари, вокруг камней у порогов сидел народ без шапок, хлебая из деревянных чашек кто тюрю, кто молоко. Но Егор, проходя мимо и косясь, плохо различал лица ужинающих: в глазах рябило, по телу проходил озноб, в мыслях была тревожная беспорядочность. Очень хотелось ему обдумать то, о чем спорили у мельника: все чепуху говорили там, один он мог бы сказать что-нибудь путное, если бы ему не мешали разобраться в мыслях. Очень хотелось решить и еще что-то неотложной, самое что ни на есть главное... Но что? Голова его усиленно работала. Тифлис мешался в голове с рыбой, Салтык с Анисьей, вопрос о том, можно ли ничего не есть и захоладить свое тело, нельзя было решить потому, что не давала покоя злоба против Алены, ее широкого зада и однодворческого говора. И Егор торопливо шел по улице, боясь, что не застанет кузнеца дома, что кузнец ляжет спать, что опять не удастся ни поговорить всласть, ни доказать, что у мельника все чепуху говорили... Но кузнец был дома.

Кузнец был горький пьяница и тоже полагал, что умней его во всем селе нет, что и пьет-то он по причине своего ума. Разве ему кузнецом бы быть! Он всю жизнь не мог примириться со своей долей, люто презирал село и холодно-зол бывал в трезвом виде, свиреп становился, если ему удавалось попить дня три-четыре подряд. Он ходил тогда с колесным ключом в руке, затевал скандалы с каждым встречным, гоготал под окном лавочника, певшего по праздникам в церкви, вызывая его на состязание в пении. А не то шел в училище экзаменовывать мальчишек по закону божию и грозил учительнице на месте убить ее ключом за единую ошибку. С похмелья он бывал угнетен. В таком положении и застал его Егор.

Он сидел возле кузни, на косоугоре над речкой, над плесом, против водяной мельницы. Слабо алел закат за нею, там, где сходилась с темной землей прозрачно-зеленоватый небосклон. Еще светло было над плесом, сталью лежавшим по лугу. Но тот берег, где мельница, был уже совсем темен: только по отражениям в плесе можно было догадаться, что там деревья. И, сидя возле кузни, поставив локти на колени, думал кузнец о том, как глупы были наши генералы во время войны с японцами. Вот, например, в такой вечер... что стоило японцам вплотную подойти к нашим войскам? Небось генералы-то наши, умники-то эти, глядели в свои подзорные трубы за речку, на берег, в темноту, где ничего не видно, когда надо было глядеть вовсе не туда, а в реку, где отражается каждое дерево и все светлые пролеты между деревьями... Мысль эту кузнец немедля высказал Егору, как только тот подошел и сел на косоугор рядом с ним. А Егор, обрадовавшись, что у кузнеца есть табак, что кузнец с похмелья и думает, значит, вовсе не о генералах, поглядывал по сторонам, кашлял и ждал, когда наконец додумает кузнец свою думу. Как и у Егора, мертвенно было тело у кузнеца, рубаху которого все заворачивал сзади ветер, рубаху ситцевую, но очень ветхую, прожженную, в мелких дырочках. Был и кузнец лохмат, но не так, как Егор, а так, как бывают лохматы мастеровые, рабочие. Страшно черны и маслянисты были его волосы, его борода, смугло и маслянисто лицо, болезненно перекошены брони и блестящи глаза.

Дул ветерок, темневшая река рябилась; кузнеца трясло. Но вдруг он встал и, наступая сапогом на сапог, начал быстро разуваться, раздеваться.

– Ай ты очумел? – крикнул Егор, со страхом глядя на тощее меловое тело, забелевшее в полусвете зари, когда кузнец, взъерошив волосы, сдернул с себя рубаху. – Ай ты очумел? Да у тебя сердце зайдет в воде в этакую стыдь!

– Она! – крикнул кузнец хриплым басом.

И вдруг загоготал, скинув штаны вместе с подштанниками и разбегаясь, чтобы шаркнуть в воду:

– Бла-го-сло-ви, вла-ды-ко-о!

Он хорошо знал, что ледяная вода мгновенно даст ему решительность, находчивость. В воде, и впрямь, зашло у него сердце, но он не дал ему поблажки: он фыркал, нырял, плавал... Не попадая зуб на зуб, выскочил он на берег, неловко и торопливо натянул штаны на мокрое тело, влез в рубаху и, влезая, твердо сказал Егору, что околевать он не намерен, что его душа дороже колес. А каких колес – этого Егору не надо было пояснять: он мгновенно сообразил, что лежат у кузнеца чьи-то колеса, присланные в починку, и что надо как ни можно скорее захватить передки и бежать к мельнику, тайком торгующему водкой, чтобы заложить их ему. И не прошло и получаса, как уже сидел Егор с кузнецом в кузне, возле маленькой жестяной лампочки, поставленной на горн, рядом с бутылкой и горшочком холодной пшенной каши, за оживленной беседой о том, можно ли, питаясь одной редькой, попасть во святые, можно ли заохолить свое тело, чтобы не тлело оно после смерти...

А во втором часу ночи, при заходящем за тускло блестящими хлебами месяце, Егор, шатаясь и размахивая руками, быстро входил в Ланское. Точно упругие волны несли теперь его тело. Роса серебрилась по мокрым, пахучим, густым цветам и травам. Сильней всего пахло любимым растением Егора – полынью. Длинно темнели тени от кустарников, блестевших верхушками под опускающимся к югу месяцем. И полосы света и теней среди них создавали что-то сказочное для пьяных глаз, сказочно-светла была далекая даль за кустарниками, за полями, над которыми уже дрожала в серебристой прозрачности большая розово-золотая звезда. Шурша по росистым лопухам и напевая, смело подошел Егор к двери, дернул за скобку – и остановился на пороге своей крохотной, чуть светлой избы. Мертвое молчание стлыло во всем мире в этот предрассветный час. Мертвое молчание наполняло и караулку. И в этом молчании, в сонном полусвете, подвижно чернело что-то на лавке под святыми. И, приглядевшись, Егор вдруг закричал таким страшным сиплым голосом, что с шумом выскочила из лопухов старая черно-седая собака...

III

Гурьев подарил на похороны красную бумажку. Все было справлено честь честью – хоть бы и не Анисье впору.

Медленно, с большими промежутками, начинаясь звонко, жалобно, но все строже, падали звуки с колокольни. Падение это внезапно, нестройно обрывалось терцией баса и альты. И наступало долгое молчание: слышалось только, – из-за раakit по дороге в Ланское, – протяжное, все приближающееся церковное пение: на дороге встретили поп и дьякон телегу, в которой везли Анисью из Ланского. Со двора усадьбы и по улице над косогором бежали на выгон бабы. С ребенком на руках, спотыкаясь, спешила Марья. Стояли на пороге мельник без шапки и мельничиха. Дул западный ветер, а из-за речки опять заходила, опять тускло синела дождевая туча.

Слегка поката дорога между раakit на въезде в Гурьево. И небольшая толпа, предводительствуемая кузнецом в черной тяжелой поддевке, который нес на голове длинную крышку гроба и на ходу мрачно пел, издали казалась высокой, вырисовываясь на облачном небе. Белел коленкор, что накинута был на крышку, и развевался по ветру. Шли с ноги на ногу, но уже можно было различить, что эти темные фигуры со спутанными от ветра волосами тащат на полотенцах длинный ящик, черный, с оранжевым ободком по краям. Внушительно раздавались голоса попа и дьякона. Как всегда, медлили в пути, останавливались, махали кадиллом и, пугая самих себя словами, повторяли одно и то же – то зловеще, то с покорностью. Все делалось так, чтобы выходило торжественно и грозно. А та, для кого это делалось, и теперь была так же смиренна, проста, как и при жизни. Темна и суха была она; маленькой стала ее высохшая головка, покрытая новым черным платочком. На груди ее желтел деревянный образок. Парча покрывала до половины мел-

кий черный ящик, где она покоилась, – парча, знак царственности. И парча эта была так ветха, так грязна и дырява: боже, скольких уже покрыла она! Дьякон гурьевский, серо-седой человек, тревожно думающий лишь о пасеке своей, всем своим гнутым станом и коротким, но широким лицом похож на зверя. Желтоволосый поп, слабосильный, слабовольный, всегда выпивши, шепелявит. Ризы, епитрахили их так истрепаны, что серебряное шитье, подолы, калоши – все в полном соответствии с грязными или пыльными дорогами, с телегами и мелкой, навозной соломой в телегах.

И на выгоне, где паслось барское стадо, поп не выдержал торжественности: начал спешить, бормотать, поглядывать на барского быка: бык этот брухается, закатал недавно пастушонка. Поглядывал поп и на сторожку у церковной ограды: на крыльце сторожки стояла плетушка, обвязанная скатертью, а в плетушке той были «поповские харчи»: ситные пироги, жареная курица, бутылка водки – то, что полагается причту за похороны, помимо денег. И торопливо провел поп теснившуюся толпу в церковные ворота. Ветер развевал тонкие русые волосы, шеи несущих гроб были красны, натерты полотенцами, лица озабочены. Больше же всех старался казаться озабоченным Егор, шедший с полотенцем через плечо в возглавии гроба.

А в церкви все немного оробели. Притихли – и слышалось только шарканье, топот: осторожно опускали гроб на пол. Высвобождая из-под рясы мягкие, трясущиеся, маленькие руки, роздал поп короткие, тонкие свечи, дробя ярко и золотисто пылающий пук их. И, раздав, громко и привычно возгласил. И замелькали сложенные в щепотку пальцы, кланяющиеся и встряхивающиеся головы. Крепко крестились старухи, воздевая глаза к иконостасу. Блистали рассеянные по толпе огоньки, возносилось, гремело кадило. Кадили, обходя большими шагами гроб, кланялись Анисье, быстро говорили на торжественном языке, давно забытом ее нищей родиной, нестройно и притворно-смирненно пели, выражая умиление, что равна теперь она царям и владыкам, выражая надежду, что упокоится она со духи праведных. Но уже не слыхала Анисья этих утешений. Ни кровинки не было в ее голубоватом лице. Закрылось лиловое веко ее правого глаза, запеклись, слиплись и подсохли тонкие губы. И ледяной лоб ее уже был увенчан венцом высшей славы – золоченой бумажкой. И в сизо-восковой, прозрачной руке ее, в скрюченных пальцах, под ногтями которых точками темнела мертвая кровь, уже торчал Отпуск...

Егор, глядя в гроб, крестился размашисто и часто. Он играл ту роль, что полагалась ему у гроба матери. Он моргал, будто готовый заплакать, кланялся низко, наклоняя капающую свечку, крепко зажатую в его култышке. Но далеки были его мысли и, как всегда, в два ряда шли они. Смутно думал он о том, что вот жизнь его переломилась – началась какая-то иная, теперь уже совсем свободная. Думал и о том, как будет он обедать на могиле – не спеша и с толком...

Так и сделал он, засыпав мать землею, ел и пил до отвала. А под вечер, тут же, у могилы, плясал, всем на потеху, нелепо вывертывал лапти, бросал картуз наземь и хихикал, ломал дурака; напился так жестоко, что чуть не скончался. Пил он и на другой день и на третий... Потом снова наступили в жизни его будни.

Эти будни были уже не те, что прежде. Постарел он и поддался – в один месяц. И много помогло тому чувство какой-то странной свободы и одиночества, вошедшее в него после смерти матери. Пока жива была она, моложе казался он сам себе, чем-то еще связан был, кого-то имел за спиной. Умерла мать – он из сына Анисьи стал просто Егором. И земля – вся земля – как будто опустела. И без слов сказал ему кто-то: ну, так как же, а?

Он не думал об этом вопросе, – только чувствовал его. И ничего особенного не заметили на лице его те мальчишки из Пажени, с которыми ночевал он в ночном под четвертый день августа, верстах в трех от Пажени, у откоса железной дороги. Он только внезапно проснулся на рассвете и вдруг сел, побледнев.

– Что ты, дядя Егор? – испуганно крикнул мальчишка, лежавший с ним рядом.

Егор, бледный, слабо улыбнулся.

– Так... что-й-то померещилось, – пробормотал он.

И опять прилег. Было еще рано. Шел туманный, предосенний дождь над опустевшими полями. Егор лежал, прикрывшись полушубком, курил и, кашляя, медленно рассказывал проснувшимся мальчишкам, как он, не боясь никаких судов, бросил свое место, ушел из Ланского. Рассказывая, он к каждому слову прибавлял матерное слово. А рассказав, стал прислушиваться к приближающемуся шуму товарного поезда. Шум рос и близился все грознее и поспешней. Егор спокойно слушал. И вдруг сорвался с места, вскочил наверх, по откосу, вскинув рваный полу-

шубок на голову, и плечом метнулся под громаду паровоза. Паровоз толкнул его легонько в щеку. И Егор волчком перевернулся, головой полетел на насыпь, а ногами на рельсы. И, когда потрясши землю, оглушая, пронесся поезд, увидели мальчишки, что барахтается, бьется рядом с рельсами что-то ужасающее. В песке билось то, что было за мгновение перед тем Егором, билось, поливая песок кровью, вскидывая вверх два толстых обрубка – две ноги, ужасающих своей короткостью. Две других ноги, опутанных окровавленными онучами, в лаптях, лежали на шпалах. А по пустому, осеннему полю, в тумане мелкого дождя, уже тревожно кричал под ветер, к следующей будке, медный рожок выскочившего из ближней будки сторожа...

Так разное кончили свои дни хозяйка и хозяин «веселого» двора в Пажени.

Капри. XII.1911

Игнат

I

Любка вторую зиму жила на барском дворе в Извалах, у господ Паниных, когда нанялся к ним в пастухи Игнат.

Ему шел двадцать первый год, ей двадцатый. Он был из бедного дома в Чесменке, одной из деревень, составляющих Извалы, она из такого же в Шатилове, что неподалеку от Извал. Но говорили, что она «полукровка», незаконная дочь шатиловского барина. Да и выросла она при господах. И поэтому, чем более волновала пастуха ее красота, тем более думал он о горничной, тем более робел. А чем более робел, тем чаще думал, тем сумрачнее и молчаливее становился.

В черных блестящих глазах Любки была какая-то ясность, откровенность. Ловко и спокойно крала она одеколон и мыло у барыни, седой вдовы, курившей тонкие душистые папиросы. Иногда была она жива, наивна и казалась моложе своих лет, иногда – старше, все испытавшей женщиной. Да и груди были у нее как у женщины. А для Игната, еще не знавшего женщин, отношения между мужчинами и женщинами становились все страшнее и желаннее. Непроще, скрытнее его не было малого во всех Извалах. Даже едучи на розвальнях на гумно, за колосом для скотины, никогда не отвечал он прямо и сразу на вопрос: куда едешь? Избегая взгляда Любки, не поднимая угрюмых глаз, стыдясь своих лаптей, шапки и ошмыганного полушубка, он исподлобья следил за ней, и спокойное бесстыдство ее, смутно им понимаемое, было для него и жутко и пленительно.

Усиливали его любовь и барчуки.

Барчуки, – уже лечившийся на Кавказе офицер Алексей Кузьмич и Николай, все переходивший из одного учебного заведения в другое, – приезжали зимой только на большие праздники. В этом году на масленицу приехал сперва младший. И Любка была особенно оживлена, вид имела особенно откровенный, не будучи, впрочем, откровенной ни с кем. Так и сияли ее неподвижные глаза, когда она, черноволосая, крепкая, с сизым румянцем на смуглых щеках, в зеленом шерстяном платье, во весь дух носилась то за тем, то за другим из людской к дому и от дома к людской, по темнеющей среди снежного двора тропинке. И за масленицу, за эти серые дни, слегка туманившие, делавшие тусклыми сосны и ели в палисаднике, слегка кружившие голову своим теплом и праздничным чадом из труб, Игнату не раз приходилось наткаться на игру барчуков с Любкой.

Как-то в сумерки он видел: она выскочила из дома с злым, раскрасневшимся лицом и растрепанными волосами. За ней, смеясь и что-то крича, выбежал на крыльцо, на тающий снег, Николай Кузьмич, приземистый, большеголовый, с тупым и властным профилем, в косоворотке из белого ластика и лакированных сапогах. А вечером Любка, веселая, запыхавшаяся, столкнулась в темных сенях людской с Игнатом.

– Разорвал баску и целый пузырь персидской сирени подарил, – неожиданно и быстро сказала она, задерживая бег. – Понюхай-ка, как от меня пахнет!

И через мгновение исчезла, а Игнат долго простоял на одном месте, тупо глядя в темноту; пахло кухней, предвесенней свежестью, собаками, глаза которых парными красноватыми изумрудами горели, двигались перед ним, он же слышал только дурманящий сладкий запах духов и еще более дурманящий запах волос, гвоздичной помады, шерстяного платья, пропотевшего под

мышками...

Приехал офицер: худой, с карими острыми глазами, с длинным бледно-серым лицом в лиловых, припудренных прыщах. Тяжело, вся сотрясаясь, выбежала на крыльцо молочно-седая бабыня, подвитая, наряженная, в туго стянутом корсете, замахала белым платочком на звон тройки, выносившей сани из-под горы. У крыльца кучер осадил тройку, и офицер заговорил быстро, не заботясь о том, слушают ли его; потом откинул полость саней размашисто, как у подъезда ресторана, на крыльцо взбежал, ловко и развязно притопывая раскоряченными, очень тонкими ногами в легких и блестящих сапожках, звеня серебряными шпорами и дергая, поправляя приподнятыми плечами широкую николаевскую шинель с бобровым стоячим воротником. Был канун прощенного дня. Масленица выпала поздняя, и порой казалось, что совсем одолевает зиму весна. С утра горело солнце, сияло голубое небо, сияли его отсветы на снегу, капали капли. Но после полудня стало хмуро, пронзительно-сыро, опять затуманившийся, тускло посиневший палисадник застыл в дремоте. Не обращая внимания на сырость и ветер, Любка в одном платье таскала из троечных саней какие-то кульки. И пастух следил за ней, за тем, как наклонялась она.

Он стоял на широком грязном крыльце людской, пропахнувшей блинным чадом. Крупные хлопья снега падали и таяли перед крыльцом в луже, по которой важно ходил только что прилетевший грач. Работник и кухарка, подоткнутая, в сапогах, вытащили большую лохань, продев в ее ушки палку. В лохани дымилась густая желтая овсянка. Борзые стаей кинулись к ней и, дрожа, горбясь, пропуская между ног судорожно изогнутые тугие хвосты, стали пожирать ее. Кухаркин мальчишка, в красной, праздничной рубашке, ворочал овсянку лопатой и бил то ту, то другую глухо рычащую собаку. Уже были по двору лысины – чернела кое-где земля. Вытаскивая из лохани испачканные желтой гущей морды, собаки катались, терлись по земле, потом гурьбой протянулись через двор к саду за домом. Рядом с красавицей Стрелкой, черноглазой борзой в атласной белой шерсти, шел большой рыжий кобель, дворовый, и, яростно скаля зубы, рыча, захлебываясь, не подпускал к ней никого из борзых. Томимый вожделием, Игнат двинулся за собаками – смотреть на их совокупление. Но в аллее они свернули, побежали по серому насту под ветвистыми яблонями куда-то в сторону. Игнат вышел в сад, в серое поле, на которое косо летели белые хлопья, снял шапку и достал из разорванного потного дна ее заветный двугривенный.

Мимо садового вала, по задворкам, он поплелся на деревню, черневшую обтаявшими избами на косогоре. Желтоватые, замасленные саями горбы сугробов, с гладко втертым в них конским навозом, и выбоины, полные студеной вешней воды, тянулись между избами и пуньками. Игнат стукнул в окошечко особенно черной и хилой избы, под стенкой которой, нахохлившись, дремали куры. Изнутри примкнуло к окошечку старое, желтое лицо. Игнат показал двугривенный. И, надернув на босые ноги старые валенки, с головой накрывшись полушубком, баба провела Игната через дорогу в холодную пахучую пуньку с железной дверкой и сунула в подставленный карман его растянувшихся порток четверть бутылки.

За пунькой, на скате косогора, покрытом зернистым снегом, он постоял, думая о Любке. Потом запрокинул голову и, не переводя духа, выпил все до капельки. И, пряча пустую посуду в карман, почувствовал, как горячо, хорошо пошла отравка по всему его телу. Он присел на корячки и стал ждать дурману; потом упал, хохоча, наслаждаясь тем, что пьян.

Очнувшись, он долго не мог понять, где он. Он стал маленьким, легким – промерз весь, насквозь. Дул сырой ветер, смеркалось, снег уже не падал. Со страхом вспомнив, что еще не привезено в дом соломы, – дом топили соломой, – Игнат каждый вечер набивал ею задние крыльца, – он вскочил и побежал через деревню, потом через сад к господскому дому. Все чувства его были обострены, ветер особенно волновал их, – он был сладок, хотелось глотать его всей грудью. Игнат знал, что забыл веревку на дальнем крыльце, и, запыхавшись, шлепая лаптями по мокрому снегу, повернул из аллеи прямо к нему. В сумраке под навесом крыльца стоял кто-то, прижимал кого-то к стене и на шаги Игната повернул голову.

– Чего тебе? – крикнул он.

Это был офицер, его голос, его длинное бледное лицо, бобриком стриженная, узкая и длинная к затылку голова. За два пальца офицера, не пуская его руку, держала прижатая к стене Любка. Игнат, не сводя глаз с ее слабо белевшего в сумраке передника, отошел, постоял... Сумрачными, смутными клубами нависали над садом дождевые облака. Дул западный ветер – и была в нем пьянящая влажность, сила ранней весны, одолевающей зиму...

А на другой день одолела зима, еще гуще валил снег, к вечеру поля потерялись в тумане вьюги. Барыня уехала к соседке. Офицер, звеня шпорами, вышел на крыльцо, закричал через двор, чтобы запрягали в бегунки Королька, и, наклонясь к сидевшим на крыльце собакам, на спинах и лбах которых снег лежал толстым слоем, стал сладострастно трясти то ту, то другую за ушами и сквозь зубы приговаривать: «А-а, та, та, та, та!» Любка обошла его с блюдом жареной наваги, понесла блюдо в людскую. Он покосился и забормотал еще сладострастнее:

– А-а, собаки, собакаи, собачики!

Был прощенный день. Из-под горы, с реки, глухо доносились голоса, песни, громыхание бубенчиков, звон колоколов: лавочник, сапожник, урядник, мужики – все катались со своими гостями, с барышнями, девками, сватами. Когда Королька запрягли, офицер, в серой ловкой шинельке и папахе, вытащил на крыльцо хохочущую нарумяненную Любку. На ней была шубка с воротником из орехового меха, зеленое платье свое она подобрала, подоткнула. Голова ее была закутана серой талью, она гнула голову, смеясь, упираясь, сходя с крыльца мелкими, тупыми шажками. Игнат, подав золотисто-рыжего жеребчика, держал его под уздцы, и жеребчик зло и умно косил большим блестяще-лиловым яблоком на офицера, на его шелковый шарфик, красневший из ворота шинели, вокруг тонкой шеи, покрытой зажившими, стянувшимися следами прыщей. А Игнат все глядел на белый подол Любки, на ее грубые полсапожки, намазанные салом, к которому не прилипал мокрый снег...

Потом он тащился на розвальнях к гумну. И Королек, екая и злясь, стучая ледяными глудками в передок, фыркая от свежего снега, летевшего ему навстречу, в горячие ноздри, обогнал, обдал дыханьем и стал пропадать вместе с бегунками в дыму вьюги, весело и сумрачно разыгравшейся в мутно-сизом поле. Снег хлопьями валил на сытую спину Королька, на папаху, на погоны, на блестящий сапожок со шпорой, крепко поставленный на железный отвод. Левой рукой в замшевой перчатке держал офицер голубые вожжи. Другой захватил голову в серой шали и припал к ней папашой...

И твердо решил Игнат променять работнику Яшке свою гармонию, единственное свое богатство, на старые сапоги. Навозив соломы, он пошел на улицу, к толпе, что сбилась и смутно темнела среди ночной вьюги под застрехой крайней избы, на выгоне перед церковью. Там ловко и бешено перебивали друг друга две гармони, заглушаемые песнями и ветром, кружились в дыму поэмки, носились, как ведьмы, пляшущие девки. Все были беззаботны, счастливы, один он несчастен!

II

Великий пост был серый, однообразный.

День за днем дул жесткий ветер, бледно белели поля, тускло синели, скучно напевали сосны и ели в палисаднике, слишком рано прилетевшие грачи куда-то скрылись. Офицер давно уехал. Но Николай Кузьмич зажился. Раз подъехал Игнат на розвальнях к заднему крыльцу дома. Розвальни зашуршали висящей на них старновкой по ступенькам крыльца, и барчук, игравший с Любкой, смеясь, поднялся с соломы. Любка, поправляя волосы, глядела спокойно.

– Вот вы так-то играете, – сказала она, – а по селу пойдут брехать... Хоть бы ты, Игнат, меня замуж взял, – прибавила! она, тоже вставая.

Игнат покраснел и насупился. Ни малейшего значения не придал он ее словам, но с этого дня. шевельнулась и стала расти в нем ревность, злоба. Косясь на дом, с завистью чувствуя его внутреннюю жизнь, он проезжал на розвальнях по аллее, выезжал на гумно. Собаки пегой стаей, трясясь, бежали за ним. В остатках ометов возились и пищали мыши. Собаки рыли солому, принохивались, настораживались, еще яростнее рвали ее когтями, дрожа и скуля, и вдруг, подпрыгнув, кидались на добычу хищно и метко. Женственно красивую, с маслянистыми черными глазами Стрелку Игнат заманивал в ригу. Она вбегала, он с бьющимся сердцем припирали скрипучие ворота. Холодно пахло током, тепло – ржаным колосом. В сумрак огромного трехугольника, по застрехам, по решетнику и переметам которого серела густая бархатная пыль летней молотбы, пробивался в длинную щель ворот холодный, бледный свет. Ветер шуршал за ними, дул по току...

В ясный солнечный день на третьей неделе уехал и Николай Кузьмич. Внезапно вернулась весна. Крыши варка, сарая за одни сутки обтаяли, старая, бурая солома их золотилась против

солнца, резко отделялась от голубого, умиляющего душу неба. Выпустили плюшевых, обросших за зиму жеребят и коров, они дремали, грелись на солнце. Резко, серебром сверкал сочащийся снег по двору. У парадного крыльца, в тени, возле синей лужи, стояла тройка. Отражались на луже и небо, и белый передник Любки. Вышел Николай Кузьмич в накиннутой поверх поддевки енотовой шубе, вышла барыня. Долго прощались, долго, оборачиваясь, кричал что-то уезжавший, когда тронулись и потянулись сани по ухабистой, текущей дрожащими ручейками дороге, по выступившему, накопившемуся за зиму навозу, похожему на мокрый табак. Где блестела вода по ухабам, лошади, тонконогие, с подрезанными хвостами, взмахивали особенно щеголевато точно вычищенную сталью подков. На солнце грело, много галок собралось на соснах и елях палисадника, зазеленевшего пышно и свежо. А в тени чувствовался северный резкий ветерок. Стоя на парадном крыльце, Любка озябла, щеки ее посизели. Сани скрылись под горой, она напевала задумчиво, чуть слышно: «Мчится парочка вдвоем...» Потом вбежала в дом – и немного погодя выскочила на заднее крыльцо. Игнат, проходивший мимо, вдруг повернул к крыльцу. Она тупо, со страхом, не двигаясь, глядела на него. Игнат подошел вплотную и схватил ее за кисти. И оба смутились, не зная, что сказать, что делать дальше. Вдруг Любка нахмурилась и, вырвав руки, повернулась и хлопнула дверь.

Сад казался особенно редким на серебре снега, испещренным фиолетовыми тенями, аллея – веселой, широкой. И опять нахмуренный, злой, Игнат пошел по ней на деревяню, к бабке-шинкарке. И опять очнулся перед вечером на скате в лужок, насквозь промерзший, изумленный. Небо из-под горы казалось необъятно-огромным и новым.

– Не пара она мне, – твердо и мрачно, вслух сказал Игнат, поднимаясь. – Пропал я.

Прошел пост, прошла Святая. Снега уже нигде, кроме оврагов, не было, в деревнях опушились легкой лимонной дымкой лозины; вокруг деревень лилово чернели пашни, грело солнце, дрожало расплавленное стекло по горизонтам, пели жаворонки. Молодая пахучая травка чуть пробилась. Но Игнат уже ходил за стадом в поля, к милютинскому леску, еще голому, полному сухой дубовой листвы и подснежников. Коровы дремали на припеке, у опушки, и галки садились на них, дергали шерсть для своих гнезд. Игнат навивал кнут, лениво посматривал в солнечную даль, на дороги, где уже лежала пыль, радостно напоминавшая о лете, и загорал от солнца, от апрельского суховея.

Когда были деньги, он был счастлив. В поле, выбрав местечко посуше, он расстилал свой рваный пиджак, ставил на него бутылку, вытаскивал из кармана хлеб, заранее посоленный и отсыревший, холодные картошки. Вскоре голова его начинала кружиться. Солнечный южный горизонт за сереющими равнинами дрожал, тонко струился пар, чуть синевший на солнце над спекшимися кучами навоза, раскинутого по полю, коровы двоились и плыли... Странно, – он все-таки чего-то ждал! Хмельной, он чувствовал это, чувствовал, что связалась его жизнь с жизнью Любки, на беду связалась! Что-то придется сделать, чтобы покорить ее, чтобы стать равным с нею, чтобы вызвать ее любовь. Иначе, если он даже добьется своего, не будет она мужика любить... А весна требовала любви. Плывя, дрожа, опиралась на колени передних ног, потом неуклюже поднимала зад одна корова, другая, третья... Поднимался большой мышастый бык, широколобий, с гладким хвостом, на конце которого висел шелковисто-волнистый мохор, тяжело бежал, мотая нитями стекловидных слюней, – и вдруг, весь наливаясь мощью, вставал на дыбы... У Игната заходило сердце. Он опрокидывался навзничь, на сухие, черные шмоты навозной кучи. Он закрывал глаза, слезы выкатывались из-под его ресниц, он не стирал слез, и мухи пили их... Потом он крепко засыпал и спал до тех пор, пока дошедшее до зенита солнце не начинало печь его голову и плечи. Пригнав стадо домой, он молча обедал в людской и уходил спать в каретный сарай, где у каменной стены была сбита из кольев высокая кровать, покрытая соломой и клоками попоны. После сна он бывал зол и, выгоняя стадо, так драл коров своим длинным хлопающим кнутом, что на боках их вздувались рубцы.

Однажды, в мае, когда лесок уже густо опушился темной зеленью, зарос цветами и травами, когда рано утром уже по-летнему было жарко на солнечных полянах, а в росистой тени свежо и таились ландыши, увидел он, пригнав стадо на пар, сидящую на опушке бабу. Это была нищая, дурочка Фиона. Положив возле себя мешок и палку, она сидела, слегка раскрыв рот, вся в лохмотьях, с мокрым подолом, с блестящими глазами на опухшем лице. Она была пьяна. Когда Игнат подошел, она с гоготом, сдержанно-страстным, повалилась навзничь, выставила колени и стала тереть большими лаптями по росистой траве. В мешке ее были крендели, водка. И, выпив,

Игнат не совладал с собой...

С этих пор дурочка стала приходиться к нему чуть не каждый день. До солнца, по холодной крупной росе он выгонял стадо. В полдень напивался. Теперь пили уже на его деньги. Он забрал жалованье за месяц вперед. Но и его деньги наконец иссякли. И дурочка стала зла, нахальна, требовательна, дурочкой уже не притворялась. Когда он являлся без водки, она отказывала ему, морила его по неделе. И раз даже крепко и ловко ударила его по голове палкой. Он поднялся и пошел прочь, странно, неумело рыдая. А заплакавшись, сел на межу и тупо стал думать все о том же, о чем он думал теперь беспрестанно: где бы достать денег? Но достать было негде, украсть – тоже. Сапоги он пропил...

Вся дворня знала его историю, за обедом и ужином над ним часто хохотали. Он багровел и молчал. Что было бы, будь Любка при этом? Но на счастье его, барчуки не приезжали, слышно было, что Николай Кузьмич у товарища под Харьковом, офицер – на маневрах под Смоленском. А барыня уехала на шесть недель в Липецк и увезла с собой Любку. В усадьбе было тихо и скучно. Да и дурочка стала являться все реже и реже – шаталась по ярмаркам. И вот лето пошло уже к концу – жаркое, длинное. Обмелела речка, дочерна выглодала скотина корма, хлеба поспели, пересохли и сыпались. Пошли косить их, – был уже конец июля. В конце июля, возвращаясь однажды на закате со стадом в село, Игнат встретился с дурочкой. Она остановилась и показала на лесок.

– Как отделаюсь, так приду, – сказал он, не поднимая глаз.

Но как идти без водки? В унынии стоял он у ворот усадьбы, смотрел на закат. По дороге, наискось пролежавшей по горе, ехали с косьбы и вязки мужики и бабы на пыльных телегах; из телег торчали перевясла, косы и грабли. Малиновое, без лучей солнце село огромным кругом в сизую сухую муть за рекой, за полями, уже покрытыми звеньями копен. Игнат вышел из ворот, повернул на выгон, потом мимо сада, к гумну. Впереди него мелко перебирала босыми ножками по пыли очень грязная и кудрявая девочка. Перегнувшись налево, она правой рукой тащила дегтярницу, облитую красно-коричневым дегтем. Игнат ускорил шаг, догнал ее, оглянулся – и схватил ее за левый кулачок, в котором были зажаты деньги. Глаза ее стали круглыми от ужаса, личико исказилось, она заголосила и, с силой зверька, стиснула кулачок. Игнат схватил ее за горло и повалил на дорогу. Девочка захрипела и распустила пальчики. Игнат выгреб из ее ладони деньги – тридцать копеек.

Купив водки, он пошел прямо к лесу. Справа было жнивье, чуть белеющее в сумраке поле, покрытое копнами. Слева, с тускло чернеющих пашен, с равнины, дул теплый ветер. Впереди, над темной каймой леса, поднимался большой красный Марс. И пастух остановился. Он вдруг вспомнил, что нынче должна приехать барыня, что за ней послали тройку и подводу для вещей. И тотчас же, задержав дыхание, услышал далекий звон колокольчиков.

Казалось ему летом, что минует его то неизбежное, что должно быть. Но теперь он почувствовал, что нет, не бывать тому – не минует. Оно уже близилось, росло, надвигалось... И, постояв, он двинулся вперед.

У перекрестка его оглушила звоном, топотом копыт и обдала пылью тройка. Он, сойдя с дороги, пропустил ее и опять пошел. Вдали слышался глухой грохот телеги. Он делался все явственней. И через минуту увидел Игнат на тусклом звездном небе дугу, лошадь, а за лошадью – сидящую в телеге Любку. Она била лошадь вожжами и тряслась, прыгала, неслась прямо на него.

– Садись, подвезу! – крикнула она весело, сразу признав его в сумраке.

Он повернулся, догнал нагруженную чемоданами телегу, на бегу боком вскочил на грядку...

Что говорила Любка, он не запомнил. Запомнил только первые, ударившие его по сердцу слова, которые она звонко и ласково выкрикнула сквозь грохот телеги:

– Что ж, очень соскучился по мне?

Запомнил только тот момент, когда он вдруг схватил вожжи и, осадив лошадь, перекинул ноги в телегу.

– Постой, – шепотом сказала Любка, но так просто, точно они жили уже много лет, и от этой простоты у него еще больше помутилось в голове, – постой, юбку изомнешь... Дай хоть поправить-то...

III

Прошло четыре года. Стоял декабрь. Игнат, отбыв солдатчину, возвращался из города Василькова на родину.

С женой он жил всего три месяца. Вскоре после той июльской ночи, в которую так неожиданно переломилась вся его судьба, Любка почувствовала себя беременной – и никогда не покидала его злая мысль, что только поэтому вышла она за него. Она говорила, что любит его, устроила его отца, больного старика, на барском дворе скотником; одела и снарядила его в дорогу, провожала со слезами. Он жестоко избил ее, гуляя, куражась рекрутом, вымещая барчуков. Она от побоев скинула, но перенесла их как должное. Когда его угнали в Васильков, она часто посылала ему вместе с письмами деньги, письма писала ласковые, обращалась к нему на вы. Но он не верил ни единому слову ее, жил в тоске, в непрестанной муке, в ревности, в изобретении самых жестоких наказаний за предполагаемые измены.

Едучи на побывку два года тому назад, он всю дорогу думал, что убьет ее, ежели узнает что плохое. Приехав и наведя справки на своей станции, он узнал, что Любка не отказывала только ленивому. Но она встретила его так радостно, разуверила в слухах так искренно и просто, что у него руки опустились. А чтобы и совсем успокоить его, заявила, что бросает место на барском дворе и переселяется в избу, – будет ждать его дома, будет шить на машинке и тем кормиться. И он уехал унылый и сбитый с толку. Уныл, молчалив был он и на службе, но исполнитель, исправен и бережлив: копил деньги, взятки с молодых солдат. Все еще жила в нем надежда сравняться с Любкой, стать достойным ее настоящей, а не притворной любви. Но вдруг письма от нее перестали приходить. Он писал чуть не каждую неделю – ответа не было. Он грозил, молил – она молчала. Он опять стал пьянствовать – и отупел, измучился. Все же, отслужив свой срок, он ехал в Извалы. Он очень изменился. Теперь он был сух, довольно высок и ладен. Оловянные глаза его стали больше, лицо посерело и казалось еще худее от блестящих после бритья мослаков около оттопыренных круглых ушей. Красноватые усы он стриг щеткой, голову – бобриком, и кожа просвечивала в его коротких стальных волосах. От Киева до Орла он неподвижно сидел в вагоне возле своего грубо разделанного под орех сундучка с привязанными к нему сапогами и чайником, не снимал ни фуражки, ни грубой серо-рыжей шинели, натиравшей шею, смотрел в пол и грыз подсолнухи. От Орла он стал тревожиться, выходить на станциях к буфету. На вокзале в своем городе он неожиданно встретился с бывшим товарищем по службе, выпил, оставил сундучок у сторожа, и товарищ вывел его на вокзальное крыльцо, нанял извозчика-старика, и старик во весь дух треногой кобылы помчал их, возбужденных, куривших папиросу за папиросой, в город. Проехали они прямо в слободу – и там Игнат почти сутки не расставался с маленькой, коротконогой, пожилой, с черными сухими волосами и сильно напудренной брюнеткой, курившей еще жаднее его. Очнулся же он в поле, возле слободы – и с трудом вспомнил, что его тяжко били, выталкивая. Был мягкий белый день, шел снежок и застревал в складках его шинели. Он встал, шатаясь, чувствуя себя больным, точно отравленным...

Ехать до Извал пришлось в вагоне товарного поезда, вместе с сидящими от жира на задах заводскими свиньями. Свиней везли богатому помещику на племя, провожал их дряхлый садовник помещика, чистый и тихий, бывший дворовый. Но, кроме него, Игната и свиней, ехал в товарном вагоне еще еврей, серо-седой, кудрявый, большеголовый и бородатый, в очках, в полуцилиндре, в длинном, до пят, пальто, местами еще синем, а местами уже голубом, с очень низкими карманами. Он все время молчал, был задумчиво-озабочен, ныл какой-то напев и пил чай. Садовник дремал. Свиньи сидели на задах в деревянной загородке, покрытые серыми попонами с вензелями и коронами. Смеркалось, ветер с снегом дул в отворенную дверь и задирал мокрую солому под свиньями. Плыли мутно-белые поля, темневшие кустарники, медленно курившиеся дымом, падавшим на них с паровоза. И тяжелая, неразрешимая тоска давила Игната. Сдвинув брови, стиснув зубы, играя мослаками, он стоял у двери, грыз подсолнухи и косился на еврея. Еврей сидел на опрокинутом ящике, держал в большой, покрытой крупными лиловыми жилами руке стакан чаю. Шелуха подсолнухов летела по ветру, попала в чай. Еврей долго, с раздражением смотрел сквозь очки на Игната. Игнат ждал, что скажет еврей, чтобы ударить его после первых же слов сапогом в грудь. Но еврей ничего не сказал; только приподнялся и вылил чай нарочно возле самых ног Игната, возле его плоских и широких казенных сапог.

На станции попугчиков до села не оказалось. И пришлось сидеть, ждать, не навернется ли

кто случайно.

Оледенели его руки, помутилась голова, когда, в половине одиннадцатого, медленно надвинулся на него такой знакомый, такой особенный вокзал с его народом и освещенными окнами. Только что ушел пассажирский поезд. В зале третьего класса, холодном, полутемном, тусклом от дыма и потном от дыхания, нужно было пробиваться плечом – так много толпилось в нем на мокром полу мужиков. Двери поминутно с визгом отворялись, хлопали – свежий, легкий морозный воздух, врываясь в угрюмый, вонючий зал, волновал клубы белого пара над ведерным самоваром в буфете. Из отворенной, ярко и горячо освещенной конторы, где были касса и телеграф, не смолкая ни на секунду, дребезжал и звенел какой-то звонок, как будто кто завел и забыл остановить будильник. И от многолюдства, от этого звонка у Игната ломило в темени.

Расспрашивал он, нет ли попутчиков, тупо ходил как лунатик, но все видел и замечал с необыкновенной зоркостью. Толпа армяков и полушубков редела. Игнат вышел на крыльцо, посмотрел, сторонясь, пропуская мимо себя выходящих и разговаривающих, на лошадей, на сани, на мутно-лунное небо, выкурил сигарку, глубоко вдыхая вместе с дымом сладкий зимний деревенский воздух, и вернулся за своим сундучком. Уже буфетчик постепенно, по порядку, с края, убирал со стойки апельсины, папиросы, тарелки с колбасами, потный кусок сыра. Начальник станции под руку провел большую старуху-помещицу в шубе, опиравшуюся на костыль. В отворенную дверь видна была бледная, но светлая лунная ночь, деревья в инее. Лошади, стоявшие у крыльца, встряхивались, бормотали глухарями. Потом глухари загромыхали все сразу, заскрипел снег под полозьями... В зале осталась только баба в новом оранжевом полушубке, неподвижно сидевшая на длинном деревянном диване у стены, на котором стоял сундучок Игната. Задом подойдя к дивану, Игнат присел, взвалил сундучок себе на спину, подсунув левое плечо в его ремень, и, думая о той весне, когда он жил с дурочкой, а был беззаботен, свободен, сладко напиался, закусывая холодными картошками, вышел из вокзала.

Шагал он твердо, ровно и споро, повизгивая по снегу сапогами; светлая снежная ночь была вокруг него. В поле было пусто, мертво и тихо, луна крылась за легкими облаками, дорога чуть темнела... И от своих смутных дум очнулся он уже в Извалах, почувствовав, что вошел в большую, просторно раскинутую и давно спящую деревню. Ни одного огня не было в занесенных снегом избах. Слабые тени лежали на большой дороге от водовозок и пунек. Еще тише как будто стало, воздух – еще слаще и пахучее. По дворам уже пели петухи.

Возле своей пустой избы, на краю деревни, над оврагом, он постоял, не зная, что дальше делать. Маленькая, она была наполовину занесена метелями. Дверь на замке, одно окно забито дощечками. Острый сугроб, покрытый следом лаптей, поднимался возле дырявых ворот во двор, переходил через них. Игнат пошел по следу, заглянул внутрь двора. В раскрытой закутке неприятно ночевала чья-то телушка...

Невдалеке, в избе Марей, светился низкий огонек – из окошечка, почти сравнявшегося с высокой снежной улицей. Он заглянул в окошечко. Чуть не всю избу занимал стан. Немая, с тугим румяным лицом девка ткала кросна, гремела станом. Игнат стукнул. Девка взглянула со страхом и удивлением. Он вошел в избу. Девка дергала оборку торчавшего с печи лаптя, будя отца. Он долго не откликнулся, только откашливался. Потом стал слезать – задом, ища лаптем печурку. Слез и по стене, стараясь не наступать на одну, видно, больную ногу, дошел до скамейки возле стола. Бородатый, лохматый, с выпуклыми кровянистыми глазами и хрипучим голосом, вид он имел шальной. Игнат поставил сундук у двери, сел к столу. Девка, поджав руки, стояла у печки. А Марей, попросив закурить, затягиваясь так, что дымилась вся его борода, говорил:

– Хозяйку твою видал... Видал, как же... Из церкви шла... Дома жить не пожелала, все у господ... Их давно нетути, в Москве, говорят, она приказчика согнала, всем сама правит, в барском доме живет... Не по закону живет, не по закону... любовника имеет...

– Знаю, знаю, – сказал Игнат, что-то думая.

– Известно, знаешь... Ну, потращаешь – бросит. Потращать можно... Не пара, значит, оказалась она тебе...

– Я сундук у тебя пока оставлю, – сказал Игнат, не поднимая глаз.

– Это можно... оставь... Оставить можно, – согласился Марей.

И на порог вышел проводить Игната. Морозило, ясно. Темно синяя в вышине, меж облаков, расчищалось небо. Месяц, яркий, полный, выкатывался на простор, косая белая туча с оранжевым полукругом, падавшим на нее от месяца, сдвигалась к горизонту, к северу. Тени от

водовозок стали резче, улица заискрилась.

– Зима обозначается, – хрипло сказал Марей, высовывая голову из низкой двери темных сенец на светлую улицу.

И опять твердым шагом пошел Игнат, не поворачивая завязанной башлыком шеи. Пройдя версты две по деревням, выйдя на луг, на дорогу в гору, он увидел на горе знакомую усадьбу, темный палисадник во дворе и четыре освещенных окна за ним. Но пошел он к нижнему саду, спускавшемуся по горе от усадьбы до самого луга, перешел по плотине занесенной снегом сажалки, направляясь к длинной и мрачной бревенчатой избе скотного двора, черневшего в глубине сада, под вековыми деревьями. Небо над ними было синее, бездонное, с редкими крупными звездами. Месяц катился в вышине справа. Впереди, среди света и теней, то садясь на задние лапки и поднимая торчком уши, то делая короткие прыжки, двигался заяц, пробираясь на золотую поляну за сажалкой. Красно-золотой звездой казался огонь в небе под деревьями...

Почему не спал, почему так пристально посмотрел на Игната тот бледно-голубой лицом, беловолосый, длинноголовый пастушонок, что отворил дверь этой большой, очень теплой избы? Над столом привешена была к ее блестящему, как каменный уголь, потолку лампочка. В переднем углу – Николай-угодник в малиновом одеянии, с фиолетовой бородой. Коростовая свинка ходила по липкому земляному полу, хрустела, катала что-то по зубам. В загородке возле печи стояли телята, коричневые и желто-белые. Они не спали, клали морды с широкими, нежными, влажно-розовыми ноздрями на загородку, смотрели ясными глазами. Отдавало от них запахом мокрой коровьей шерсти, молоком парным, каким-то утробным теплом, – и долго вспоминал потом Игнат этот запах, простой, успокаивающий, а вслед за ним – старика-отца. На кровати возле загородки сидел он, спустив бледные волосатые ноги в узких синих портках, лысеющий со лба, худой, как скелет, и положив большие руки на колени, важно закрыв слепые глаза, шептал что-то.

– Он у нас сумасшедший, – тихо сказал пастушонок, пристально глядя на Игната. – Дюже стар стал.

И, услышав его голос, чувствуя чье-то присутствие, еще выше, важнее и печальнее откинул старик голову, свой тонкий, горбившийся от худобы нос.

– Бог благословит, бог благословит, – побормотал он. Обнажив стриженую, в стенках башлыка, голову, но забыв поздороваться с отцом, Игнат спросил мальчика:

– Любовь в доме?

– В доме, в доме, – поспешно отозвался тот. – К ней купец приехал.

Игнат надел фуражку, вышел из избы и пологой горой, через фруктовый сад, по заячьим тропинкам среди яблонь и светлых полей, испещренных тенями, быстро дошел до калитки на барский двор, откинул ее и, согнувшись, утопая в снегу, перебежал в зеленоватый сумрак палисадника. И тотчас же за маленьким окном прихожей увидел жену. Но в доме вдруг глухо залаяла собака. Он отскочил – и застыл, замер, прижавшись к стене.

IV

Поставив в темных сенях самовар, Любка сидела в прихожей с перегородкой, выбеленной мелом, штопала чулок у стеаринового огарка, горевшего в медном подсвечнике на подоконнике. Полной казалась теперь эта красивая черноглазая женщина в красной кофте, с мягкими грудями, в белом платочке, под который уходил среди черных волос широкий пробор.

Две большие тени, одна лилово-темная, другая светлее, падали от нее на перегородку, поднимались на потолок. Когда подошел под окно Игнат, она, задумчиво склонив голову набок, поглядела на заштопанную пятку чулка и вынула из него старинную серебряную суповую ложку. Белый, в коричневых пятнах пойнтер, спавший в зале в углу, на репсовой каретной подушке, вдруг басом брехнул, вскочил и с гремящим лаем, стуча ногтями по паркету, побежал к прихожей. Любка живо и серьезно взглянула на дверь в зал. Потом, загородки ладонью щеку от огня, прильнула к стеклу.

– Кто там? – сказала она громко, с хозяйственной строгостью, но тревожно, отдирая сперва одну, потом другую примерзшую форточку и заглядывая в открывшийся, пустой, полный легкого морозного воздуха, квадрат.

Светлая ночь, все звончеющая над мертвой белой окрестностью, над давно спящими де-

ревнями, над застывшей в молчании усадьбой, над живописными и неподвижными под звездным небом садами, крепла, достигала своей высшей красоты и силы. Пятна света на снегу в сумраке палисадника горели зелено. Месяца Любке не было видно, – только подняв голову, увидела она сквозь ветви сосен его зеркальный круг. За стволами их просторно белел светлый двор, и свежая колея, прорезанная по нем санками купца, розово сверкала. Любка, приглядываясь, сдвинула пьвяки черных бровей. Но только на мгновение смутной тревогой дошло до нее в этой полнотной тишине присутствие человека, так близко от нее прижавшегося к стене. Она подождала ответа, захлопнула форточки и пошла в зал накрывать на стол.

В прохладном большом зале было сдвинуто много мебели, много стульев и старинных кресел. У той стены, где была дверь в прихожую, стоял рояль. Высокие двери в гостиную были заперты. Стол у стены против окон освещала на цепях спускавшаяся с потолка лампа.

Проезжавший из города в купленный на сруб милютинский лесок и ночевавший в усадьбе купец был невысокий, тяжелый человек в черной бороде с бурым подседом и с черными косыми глазками. Расстегнув верхние крючки сизого, очень полного и вонючего романовского полушубка, отвернув на груди пышную дымчатую овчину, он, мягко ступая черными поярковыми валенками, бродил по залу, рассматривал мебель, шифоньерки, бронзового коня под стеклянным колпаком на подзеркальнике. Вскочив, басом забрежал пойнтер, – и он с легкой улыбкой удивления и удовольствия послушал, как отдалось в пустом доме и зазвенели медные струны рояля; он приподнял его крышку, попробовал безмянным пальцем в разных местах клавиши...

– Хорошо у вас туг, тихо, – сказал он входившей и выходившей Любке.

– Скучно, – ответила Любка, чуть усмехнувшись.

Она накрыла стол, принесла вазочку с зеленым вареньем, солонку, в которой соль была перемешана с крошками хлеба, тарелку с куском солонины, радужно-ржавой, в застывшем жире, похожем на вату, и бутылку водки с матовым от мороза налетом на стекле.

– А ты бы забаву какую-нибудь приискала себе, – сказал купец, привычно намекая на то, на что все намекают.

– И то правда, – тоже привычным, беззаботным тоном ответила Любка.

Теперь уже не было прежней живости в ее ответах. Она стала спокойнее, говорила меньше, проще и грубее, привыкнув распоряжаться и ругаться с работниками, отвыкая от господ. Ограниченная, она казалась умной, благодаря этому умению, присущему женщинам, подобным ей, не говорить лишнего.

Когда она принесла и, высоко подняв, поставила на стол самовар, купец пролез за стол на диван, не спуская косых глаз с ее груди. Она вбок блеснула смуглыми белками и с равнодушным видом, не спеша, отошла, стала, как бы греясь, к холодной печке. Купец сдвинул рукав полушубка с круглившейся из него дымчатой густой шерстью и взял нож в левую руку, а вилку в правую. Любка это заметила. «Левша, – подумала она, – распутный небось». Но опять грубо забрежал пойнтер, глядя в прихожую, и она опять тревожно прислушалась.

– На кого это он все? – спросил купец, выпив и раздувая ноздри. – Как отзывается! – сказал он, послушав. – Как орган.

– Да все небось этот пьяница шатается, муж скотницы нашей, – ответила она и, подумав, насмешливо улыбнулась. – Тут такая потеха идет, не приведи бог.

Купец, отрезав кусочек солонины и намазывая его горчицей, равнодушно удивился:

– Да что ты!

– Ей-богу, – сказала Любка. – Закружилась тут с одним, да и другим не отказывает. Ну он и ходит. Грех судить, а только дойдет у них дело до беды.

– Что ж, еще дружка себе нашла?

– Да ай их мало! – сказала Любка, думая не о скотнице, а о себе и о своем любовнике, портном из Шатилова, бешено ревновавшем и все грозившем убить ее.

Говоря, она косилась на окно возле дверей в гостиную. Во всех окнах зелено и остро искрились обледеневшие нижние стекла. В это окно, незамерзшее, видны были редкие звезды на синем небе, зелень палисадника и застреха в снегу. Купец ел, что-то обдумывая. Любка слабо зевнула и опять заговорила:

– А, должно, здоровый мороз будет. Куда вдаль так-то поохать, замерзнешь.

– Очень просто, – сказал купец и посмотрел на пойнтера, положившего морду на лапы. – А собака эта же чья?

– Да барина нашего молодого, Николая Кузьмича, – сказала Любка. – Надоела до крайности. На дворе никак не может жить, нежна очень. Голая вся. Два раза в неделю купаю, пропасти на нее нету. Он у нас чудак какой-то.

– Да и дурак, верно, хороший, – вставил купец.

– Дурак, нет ли, не мое бабье дело судить, – сказала Любка, думая, что такой скромный ответ понравится купцу. – Только, правда, никуда не гожается и дома не живет, а об собаке в каждом письме пишет, беспокоится.

– А ты уж давно здесь проживаешь?

– Давно. Седьмой год, никак.

– И довольна, значит?

– Да чего ж мне? Сама себе голова. Они, господа-то, почесть и не живут тут.

– Муж-то в солдатах?

– В солдатах.

– И на войну не попал?

Любка засмеялась, держа руки за спиною, как бы грея их.

– Они, такие-то, счастливые, черти, – сказала она, смеясь.

– И отслужится небось скоро?

– То-то и беда, что скоро. Все писал, грозил: сопьюсь. А мне какая забота? Сам же будешь под забором лежать, – сказала Любка то, что часто говорила портному. – И опять же ревнив, надоел своей любовью до смерти... Все, бывало, грозит – убью, а скажи ласковое слово – сейчас слюни распустил. Да что ж, и убьет... Ночью, когда так-то кобель забрешет, жутко, правда...

– Ты жаловаться на него имеешь право, – сказал купец. – Это время прошло, чтобы сдуру, здорово живешь, людей бить.

Он съел всю солонину, обрезая ватный жир, допил водку. Глаза его стали маслянистей, полушубок он расстегнул. Икая, он вынул из кармана красную осьмушку табаку, камышовый мундштук, книжечку папиросной бумаги, аккуратно раскрыл ее, отдул один листок, свернул своими короткими пальцами с выпуклыми круглыми ногтями толстую папиросу, с наслаждением закурил.

– Давно замуж-то вышла? – спросил он с мутной усмешкой.

– Пятый год пошел.

– А детей не было?

– Не было.

– Почему же так? Ты ведь, думается, крепка, хороша.

– Страшная хорошая! – сказала Любка, польщенная, но улыбаясь насмешливо, и начала врать: – А уж это, видно, не моя вина, я сама по детям скучаю. Значит, он чем-нибудь испорчен, а моя какая может быть вина? Он на то и зло на меня имеет, на то и обижается. А я смолоду горячая была – искусаю его, бывало, до синяков, а у него старанья много, а все без толку... Плохая наша бабья доля, – сказала она.

Купец уставился на нее прищуренными глазами. Затягивался он все глубже, пуская дым в потолок.

– Это верно, – сказал он, не зная, что говорить. – Да что ты все около печки-то спасаешься?

– Греюсь, – ответила Любка с игривой скромностью и села к столу на стул.

Она понимала, что купец начал томиться, не зная, как приступить к делу. Купец, отваясь к спинке дивана, порою вздыхал, отдувался, закрывая глаза и хмуро улыбаясь, порою тяжело смотрел на ее грудь, прибор, – и глаза его то стекленели, то вспыхивали. Делая вид, что она ничего не замечает, Любка, опустив ресницы, пила жидкий чай с лимоном, скромно вытирала концом головного платка потеющую верхнюю губу, покрытую черным пушком. Купец вздохнул еще шумнее и вдруг, не глядя на нее, стал торопливо и неловко расстегивать своей крепкой рукой пазуху синей фланелевой рубахи, под которой был жилет. Расстегнув и жилет, он запустил руку во внутренний боковой карман и вытащил бумажник. Любка сдвинула пальцем тонкий ломтик лимона к краю блюда, положила его в рот и стала высасывать, не в меру морщась, делая вид, что чувствует только одно – острую кислоту. Мгновенно заметила она, что бумажник очень толстый и потертый, быстрым взглядом окинула пухлую пачку розовых кредиток, которую вынул купец из бумажника. Отделив одну кредитку, склеенную бумажной ленточкой, спрятав остальные, он стал левой рукой пихать бумажник обратно, а правую ковшиком положил на нее.

– Довольно, что ли? – спросил он.

Молча взяв и сунув деньги в карман юбки, она опять посмотрела на него долгим взглядом. Он, не зная, что говорить и делать, взял ее за правую руку, потянул за концы корявых снизу пальцев. Она отняла их и, тоже не зная, что сказать, спросила:

– Что ж сало-то не докушали?

И, взяв оставшийся на тарелке кусочек, положила его в рот.

– А я люблю, – сказала она, – она сладкая, опричь если на сковородке поджарить. – И засмеялась: – Пост, а мы жрем... – И, помолчав, беззаботно добавила: – Ну, да авось, все одно в аду кипеть.

– За что же это? – спросил купец.

– Да за все. Наше место в аду. Старые люди говорят, все одно из мужиков в святые не выходят. Всегда из архиреев, алхимандритов.

И вдруг, разгибаясь, решительным шепотом сказала:

– Ну, пойдёмте, что ль...

V

Игнат, стоя на снегу, давно не чувствовал ног, окаменела и голова его, насквозь промерзла, стала тонкой, ледяной шинель. Сперва он пошевеливал пальцами в сапогах, двигал плечами. Потом уже не обращал внимания на то, что все последнее тепло сосредоточилось и дрожало у него где-то под ложечкой, что стали деревянными губы, обросли инеем края башлыка, ресницы и усы.

Он не замечал времени, весь поглощен был страстным желанием, чтобы оправдались его подозрения. Пропели вторые петухи. Сила, свет, красота ночи стали ослабевать. Месяц, бледнея, склонялся к западу. Орион, три поперечных звезды его низко стояли на юго-западном горизонте серебряными пуговицами, стал ближе и ярче. От людской, над которой склонялся месяц, пала, полдвора захватила тень. Было так морозно и тихо, что слышно было, как возились на насесте ночевавшие в снях людской куры, как в конюшне мерно хрустела овсом лошадь купца, как потом она, с глубоким вздохом, легла. Против крайнего незамерзшего окна зала торчала из снега, под нависшими ветвями ели, скамейка. Снег, местами атласный, местами хрупкий, как соль, рассыпчатый и все твердевший от мороза, визжал и хрустел при каждом, самом осторожном шаге. Затаив дыхание, Игнат добрался до скамьи, стал на нее и, разведя руками глянцеви́то-ледяную зелень хвои, все забыл, увидав внутренность зала, увидав эту страшную для него, двигающуюся, что-то говорящую и улыбающуюся женщину и человека, бывшего с ней в этот поздний час один на один во всем доме.

Но время шло, шло – и ничего особенного не происходило в зале. Вот Любка села, наконец, к столу, и купец стал вынимать что-то из-за пазухи. Но что? Как ни напрягал Игнат зрения, разглядеть не мог: мешал самовар, посуда... Вот Любка привсталала, облокотилась на стол, подвинулась к купцу, и в незастегнутый разрез ее платья сзади стола видна нижняя белая юбка. И в мире настала такая страшная тишина, что осталось в нем только бешеное биение сердца Игната. Но в тот же миг Любка внезапно разогнулась, быстро пошла по залу, к двери, ведущей внутрь дома, за нею двинулся купец, – и легко, уже ничего не думая, Игнат соскочил со скамейки и побежал под елями в сторону, противоположную парадному крыльцу, чтобы, обогнув дом, вскочить в него с заднего. На пустой синеве небосклона с новыми, предутренними звездами сквозил, чернея, потонувший в снегах низкий фруктовый сад. Еще давеча заметил Игнат, выходя из сада, кучи хвороста между ним и домом. В хворосте всегда валялся топор. И, добежав до хвороста, Игнат кинулся искать этот знакомый, зазубренный, ржавый топорик со скользкой рукояткой, – стал шарить, обдирая руки о ледяные прутья и обжигая их о снег, синевато блестящий против низко опустившейся сонной луны.

Купец, нащупав в кармане полушубка маленький и, как камень, тяжелый револьвер, вошел между тем в темный коридор и протянул вперед руки.

– Тут хворост на топку приготовлен, не упадите, – сказала Любка, и он, наступая на сучки и с треском ломая их, ощутил приятный, горьковатый запах холодной дубовой коры и сухой листвы в снегу.

Любка остановилась, говоря: «Это у нас задняя прихожая», – пошарила по стене и отвори-

ла дверь в большую нежилую комнату, очень холодную, пахнущую ветчиной, освещенную двумя тускло синеющими окнами с незамерзшими верхними стеклами. Месяц стоял далеко, с другой стороны дома, в этой комнате было сумрачно, но все-таки купец разглядел окорока, висевшие под потолком, кадку с соленым салом, сепаратор, слабо поблескивающий никелем велосипед, белеющие на полу крынки и кровать у стены – деревянную, без перины, с одной подушкой без наволочки. И, повернувшись, задом подвигаясь к кровати, Любка предупредила, но уже таинственно, отвечающим моменту шепотом:

– Смотрите, не попадите в масло...

Она стала так, чтобы удобнее было лечь, чтобы купцу можно было повалить ее. И у него сразу отнялись ноги от ее шепота. Она еще что-то шептала, ласково, с дрожью в голосе, но он уже не слушал, – он, охватив и прижимая к себе ее тяжелое тело, толкал ее к кровати все ближе, пока икры ее не уперлись в нее, пока кровать не пришлась под самые ее колени. И тут Любка, дотоле слабо сопротивлявшаяся, безмолвно повалилась. Она чувствовала боль от давления часов, цепочки, одной рукой разглаживала густую мягкую бороду, а другой крепко держала за указательный палец с большим золотым перстнем. Она чувствовала вступающую в тело сладкую муку, волны истомной силы, и, как бы сердясь, стала перекусывать волосы бороды, закрывавшей ее рот. Обеими руками охватила она и крепко прижала к себе бычью, сморщенную шею, лохматую голову... Но голова эта вдруг поползла из-под рук вниз, телу Любки стало легко, а ногам больно от тяжести. Она приподнялась. Купец грузно сел на пол, захрипел и упал навзничь, мягко стукнувшись затылком. Она вскочила и кинулась поднимать его. Но он дышал, как умирающий, хрипя и свистя горлом, тело его с высоким, раздувающимся животом, было огромно и тяжело, как мертвое. И страх холодом облил ее голову.

Задрожавшими руками она стала срывать с пуговиц ворот его фланелевой рубахи, расстегнула пояс с серебряным набором. Потом схватила подушку с кровати и бросила ее на пол. Побежала в прихожую, зажгла огарок, сунула полотенце в ведро с водой и вернулась, освещая в коридоре во все стороны кинувшихся крыс. Поставив огарок на кровать, она накрыла полотенцем лоб и закатившиеся глаза купца, с ужасом глядя на его горой лежащее тело, на распахнутые полы полушубка и на белое полотенце на сизом лице с задранной сверху черной бородой. И вдруг, как гром, раздался стук двери. И, вскинув глаза, Любка окаменела, увидав над собой солдата, показавшегося ей чуть не до потолка ростом. Правой рукой, отведенной назад, он сжимал топор. Сделав к Любке шаг, он быстро перехватил его рукоятку, но еще быстрее, ловя последнюю секунду, она твердым голосом приковала его к месту.

– Мой грех, – быстро сказала она. – Добивай скорее. Богаты будем. Скажем, что его удар расшиб. Скорее!

Игнат глянул на ее сразу похудевшее, обрезавшееся лицо, на расширенные и неподвижные черные глаза, красную кофту и засученные смуглые полные руки – и со всего размаху ударил обухом в мокрое полотенце.

VI

При третьих петухах в людской уже горела лампа и топилась печь. Кухарка, слабо зевая, сидела против нее на лавке, грелась и, не моргая, смотрела на жаркое разноцветное пламя, окликкая спавшего на печи Федьку, работника купца, которому было приказано запрягать пораньше. Он, заспанный, мордастый, с бельмом на глазу, слез с печи, зачерпнул из кадки корец ледяной воды, умылся одной рукой, разодрал кухаркиным деревянным гребнем свои сбитые густые волосы, покрестился в угол, откашливаясь, залез за стол, съел чугуничек горячих картошек, насыпав кучку соли на доску стола и отрезав огромный ломоть хлеба, потом ладно оделся, очень туго и низко подпоясался, закурил и бодро, повизгивая по морозному утреннему снегу нагольными, твердыми, как дерево, и рыжими от снега сапогами, мотая закопченным фонарем, в котором горел сальной огарок, пошел запрягать.

Допевали петухи, ночь мешалась с днем. Из неопределенного рассветного сумрака с утренней определенностью выступали предметы. Снег на дворе, на крышах становился бледно-бел, чуть синеват. Бледнело, расширялось небо за садом, за сквозными деревьями. Воздух был чист и остер, как эфир. В густой зеленой хвое морозно-неподвижного палисадника возились проснувшиеся галки. А на западе еще чувствовалась ночь, ее тайна. Мертво блестел невысокий

месяц на сумрачном горизонте, на синеватом небосклоне за снежной долиной реки. Отворив ворота сарая и поставив фонарь на старый тяжелый фазтон, загаженный курами и покрытый замерзшей еще с осени грязью, Федька взялся за холодные оглобли маленьких крашенных санок и, пятясь, скребя по мерзлой земле железными подрезами, поволок их из темноты за порог, на бледный свет утра. Сняв затем с деревянного колка, вбитого в каменную стену сарая, наборную узду, он пошел по твердому, длинному сугробу, мимо забитых снегом окошек конюшни, к деннику, где стоял тяжелый, мохнатый жеребец купца.

В навозном темном деннике тепло, хорошо пахло лошадью, ее свежим пометом и недоеденным сеном. Широкий, весь курчавый и седой от инея жеребец, услышав стук двери, повернул голову на свет и легонько заржал. Федька подошел к нему – и он, играя, опустил голову. Федька подвел узду под нее, – он согнул толстую шею в косматой, жесткой гриве еще круче. И, мотая головой, поталкивая лбом в грудь Федьке, в его тугой полушубок, долго не давался вложить удила. Наконец Федька втолкнул их в раздавшиеся желтые зубы, обтер руку, испачканную слюной и пеной, о хвост жеребца, делая сразу два дела – обтирая руку и приглаживая, оправляя загнувшиеся кверху, зачесавшиеся волосы на холке, – и повел его к водовозке, поить.

С парадного крыльца, из тихого, с мертвыми окнами, занесенного снегом дома вдруг выскочила белая, в коричневых пятнах собака. Отрывисто брехнув, она, как шальная, сделала два круга возле крыльца и опять кинулась в дом. Федька с удивлением поглядел на нее. Но жеребец тянулся к кадке с водой, ударил мордой в лед, покрывший воду, пробил его – и вода слегка задымилась. Жеребец прильнул к ней своими бархатными губами и, посапывая, долго-долго тянул ее; он отрывался, разгрызал льдинки, слегка повернув голову к Федьке, – и Федька ласково, поощрительно посвистывал, глядя на его светлый крупный глаз и светлые капли, падающие с губ.

– Ну, будя, навек все одно не напьешься, – сказал он звучным голосом и повел жеребца к санкам.

Совсем стало светло. В саду, в голых кустах, уже трещали воробьи. Небо за садом помутнело, окрасилось ало-оранжевым. Месяц, краснея, садился за деревней, выделившейся и белевшей крышами на сумрачно-лиловом западе. Заложив жеребца, застегнув вожжи, Федька, не выпуская их из рук, кинулся к сиденью в одну сторону, а жеребец, рванув с места, в другую. На бегу ввалившись в санки, разодрав ему удилами челюсти и на повороте крепко взрезав подрезами рассыпчатый наст, Федька с атласным скрипом перевалился через мягкий, новый сугроб в воротах и помчался в поле, на светлый, веселый восток – погреть лошадь.

И старый, тяжелый жеребец быстро запыхался. Федька, сделав версты полторы, обжегши лицо встречным острым ветром, широко завернул и шагом поехал обратно. Шагом въехал он во двор, направляясь к парадному крыльцу – и вдруг раскрыл глаза и натянул вожжи: кухарка с плачем, исказив бледное при золотистом утреннем свете лицо, бежала от крыльца к людской, а на крыльце сидел человек в серо-рыжей шипели, в башлыке, стояком завязанном вокруг шеи, с обнаженной стриженной головою. Наклоняя ее, он правой рукой сгребал с серого наста возле ступенек свежий, белый снег и прикладывал его к темени.

Капри. Февраль 1912

Захар Воробьев

На днях умер Захар Воробьев из Осиновых Дворов.

Он был рыжевато-рус, бородат и настолько выше, крупнее обыкновенных людей, что его можно было показывать. Он и сам чувствовал себя принадлежащим к какой-то иной породе, чем прочие люди, и отчасти так, как взрослый среди детей, держаться с которыми приходится, однако, на равной ноге. Всю жизнь, – ему было сорок лет, – не покидало его и другое чувство – смутное чувство одиночества; в старину, сказывают, было много таких, как он, да переводится эта порода. «Есть еще один вроде меня, – говорил он порою, – да тот далеко, под Задонском».

Впрочем, настроен он был неизменно превосходно. Здоров на редкость. Сложен отлично. Он был бы даже красив, если бы не бурый загар, не слегка вывороченные нижние веки и не постоянные слезы, стеклом стоявшие в них под большими голубыми глазами. Борода у него была мягкая, густая, чуть волнистая, так и хотелось потрогать ее. Он часто, с ласковостью гиганта, удивленно улыбался и откидывал голову, слегка открывая красную, жаркую пасть, показывая чудесные молодые зубы. И приятный запах шел от него: ржаной запах степняка, смешанный с

запахом дегтярных, крепко кованных сапог, с кисловатой вонью дубленого полушубка и мятным ароматом нюхательного табаку: он не курил, а нюхал.

Он вообще был склонен к старине. Ворот его суровой замашной рубахи, всегда чистой, не застегивался, а завязывался маленькой красной ленточкой. На пояске висели медный гребень и медная копаушка. Лет до тридцати пяти носил он лапти. Но подросли сыновья, двор справился, и Захар стал ходить в сапогах. Зиму и лето не снимал он полушубка и шапки. И полушубок остался после него хороший, совсем новый, зелено-голубые разводы и мелкие нашивки из разноцветного сафьяна на красиво простроченной груди еще не слиняли. Бурый котик, – опушка борта и воротника, – был еще остист и жесток. Любил Захар чистоту и порядок, любил все новое, прочное.

Умер он совсем неожиданно.

Было начало августа. Он только что отмахал порядочный крюк. Из Осиновых Дворов прошел он в Красную Пальну, на суд с соседом. Из Пальны сделал верст пятнадцать до города: нужно было побывать у барыни, у которой снимал он землю. Из города приехал по железной дороге в село Шипово и пошел в Осиновые Дворы через Жилое: это еще верст десять. Да не то свалило его.

– Что? – удивленно и царственно-строго сказал бы он своим бархатным басом. – Сорок верст?

И добродушно добавил бы:

– Что ты, малый! Да я их тыщу могу исделать.

Был первый Спас. «Хорошо бы теперь для праздничка выпить маленько», – шутя сказал он в Шипове знакомому, петрищевскому кучеру, проходя по залитому мелом вокзалу, который, как всегда летом, ремонтировали. «Что ж не пьешь? Кстати бы и мне поднес», – ответил кучер. «Не на что, потратился, и так в грузовом вагоне ехал», – сказал Захар, хотя деньги у него были. Кучер подмигнул приятелю, уряднику Голицыну. Пристрял шиповский мужик, пьяница Алешка. И все четверо вышли из вокзала. Захар и Алешка пошли пешком, кучер сел в тележку, запряженную парой, – он выезжал за Петрищевым, да тот не приехал, – урядник на дрожки- бегунки. И Алешка тотчас затеял спор: может ли Захар выпить в час четверть?

– А с закуской? – спросил Захар, широко шагая по сухой земле, изрезанной колеями, возле высокой кобылы урядника и порой осаживая вниз оглоблю, поправляя косившую упряжь.

– Можешь требовать чего угодно, на полтинник, – сказал кучер, человек недалекий, сумрачный.

– А поспоришь, – прибавил Алешка, оборванный мужик с переломленным носом, – а поспоришь, за все втрое отдашь.

– Нехай будя по-вашему, – снисходительно отозвался Захар, думая о том, чего спросить на закуску.

Он не только не устал от путешествия в Пальну, – где дело кончилось превосходно, миром, – не только не истомился, промучившись в городской жаре двое суток, но даже чувствовал подъем, прилив силы. Ему всем существом своим хотелось сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Да что? Выпить четверть – это не бог весть какая штука, это не ново... Удивить, оставить в дураках кучера – невелик интерес... Но все-таки на спор пошел он охотно. И, принявшись за еду и питье, сперва наслаждался едой, – есть очень хотелось, каждый кусок был сладок, – потом своим рассказом о суде.

Был жаркий день. Но вокруг села, на просторе желтых полей, покрытых копнами, было уже что-то предосеннее, легкое, ясное. Густая пыль лежала на шиповской площади. Площадь отделяют от села дровяные склады, булочная, винная лавка, почтовое отделение, голубой дом купца Яковлева с палисадником при нем и две лавки его в особом срубе на углу. Возле черной лавки ступеньками навален сосновый тес. Сидя на нем, Захар пил, ел, говорил и смотрел на площадь, на блестящие под солнцем рельсы, на шлагбаум горбатого переезда и на желтое поле за рельсами. Алешка сидел рядом с ним и тоже закусывал – подрукавным хлебом. Урядник – скучный, запыленный человек с подстриженными усами, в обтрепанной шинели с оранжевыми погонами, – урядник и кучер курили, один на дрожках, другой в тележке. Лошади дремали, терпеливо ждали, когда прикажут им трогаться. А Захар рассказывал.

– Чем дело-то кончилось? – говорил он. – Да ничем. Помирились. Я этих судов, пропади они пропадом, с отроду не знавал, ни с кем не судился. Мне сам батюшка-покойник заказывал

эти свары. А тут и свара-то вышла пустая. Бабы повздорили, а мы сдуру ввязались...

Он уже выпил бутылки три – из деревянного корца, который достал на дворе Яковлева Алешка; он делал свое дело столь легко, будучи столь уверенным в себе, что даже не замечал того, что делал. Кучер, урядник и Алешка из всех сил прикидывались спокойными, хотя душа каждого из них горячо молила бога, чтобы Захар упал замертво. А он только расстегнул полушубок, чуть сдвинул шапку со лба, раскраснелся. Он съел две таранки, громадный пук зеленого лука и пять французских хлебов, съел с таким вкусом и толком, что даже противники его дивились ему, и оживленно, чуть насмешливо говорил:

– А на судах этих чудно! Я и итить-то туда не хотел. Слышу – подал прошение. Ну, подал и подал, не замай, а я, мол, не пойду. Только вдруг приезжает в Пальну начальство, присылает за мной заседатель. Ах, пропасти на тебя нету! Ничего не поделаешь – надо итить. Взял хлебушка, попер. Жара ужасная, пыль по дороге как пыс, альни итить горячо. Ну, однако, прихожу. Шел дюже поспешно, являюсь...

Держа пустеющую бутылку под мышкой, он цедил в темный корец светлую влагу, наполнял его до краев и, разгладив усы, припадал к ней, пахнувшей остро и сытно, влажными губами; тянул же медленно, с наслаждением, как ключевую воду в жаркий день, а допив до дна, кричал и, перевернув корец, вытряхивал из него последние капельки. Потом осторожно ставил бутылку возле себя. Кучер не спускал с него своих угрюмых глаз; урядник, уже передвинувший тайком стрелку часов на целую четверть вперед, тревожно переглядывался с Алешкой. А Захар, поставив бутылку, брал две-три стрелки лука, ломая, забивал их в большую деревянную солонку, в крупную серую соль, и пожирал с аппетитным, сочным хрустом. Глаза его налились кровью и слезами, казались страшными. Но он улыбался, грудной бас его был звучен, ласков, приятно насмешлив.

– Ну, являюсь, – говорил он, пожеывая и раздувая ноздри. – Вижу, на улице везде народ, под лозинкой в холодке сидит заседатель в майском пинжаку, с русой бородкой, на столике книги усякие, бумаги, а рядом, – Захар повел рукой налево, – урядник что-й-то записывает красным осьмигранным карандашиком. Вызывают хрестьянина Семена Галкина, обуховского. «Семен Галкин!» – «Здесь». – «Поди сюда». Подходит; начинают допрашивать. А он на урядника и не глядит, достает грушу из кармана, стоит, ест. Урядник приказывает: «Кинь грушу!» Он не слушается, доедает...

– По морде бы его этой грушой, – сказал кучер.

– Верно! – подтвердил Захар, разламывая седьмую, последнюю булку. – Стоит и лопают! Обращается заседатель к уряднику. «Вот, говорит, господин урядник, этот самый хрестьянин Семен Галкин, когда я прошлый раз с описью приезжал, отказался платить по исполнительному листу сорок восемь рублей восемь гривен, а когда я хотел описать какой есть его лесик и анбар, то, говорит, этот самый Галкин со своими дружьями, двумя братьями Иваном и Богданом, сели на дерева, на бревна эти возле избе, и не дозволили мне свершить опись. А когда я взошел к ему в избу, то он будто невзначай спросил у своей жаны, где тут у нас безмен, что было сказано про меня, и я это принял на свой счет, а Богдан этим временем подошел к окну и с косою на плече, когда косить ему нечего было, все давно скошено. А как я был один, то принужден был удалиться. Вот извольте испросить его жану Катерину и мать Феклу и показания от ней занести в протокол. А еще в опросный лист занесите показанье церковного старости, хрестьянина Федота Леонова. А еще, что сельский староста Герасим Савельев в энтог день пропал без вести и на мои требования не явился, а когда я уходил от Галкина к Митрию Овчинникову, иде был мой мерин, и проходил мимо его избе, то он притравил меня кобелем, а сам спрятался за ворота, что я заметил очень хорошо, и посвистывал, да, слава богу, так случилось, что кобель меня не поранил, хоть кидался прямо на грудь, сигал как бешеный, все благодаря Митрию, который выскочил с кнутом и тем меня оградил...»

Захар, увлекаясь ладностью своего рассказа, точно прочитал последние слова. Без передышки, звучно и твердо передавая заявление заседателя, он хотел было продолжать, но Алешка не вытерпел и крикнул:

– Потом доскажешь! Пей! Урядник, глянь-ка на часы-то.

– Успеется, успеется, – ответил урядник и подмигнул Алешке.

Но не заметил этого Захар.

– Да не гамазись ты, черт курносый! – гаркнул он добродушно. – Дай доказать-то! Я свою время знаю, – выпью, не бойся!

Ноги его твердо стояли на краешках кованых каблучков, – он с гордостью выставил сапоги и порою без нужды подтягивал голенища, – лицо было красно, но еще не пьяно. Преувеличенно-низко раскланявшись с мужиком, проехавшим мимо в пустой телеге и внимательно оглядевшим его, он шумно, через ноздри дохнул, взял обеими руками борты жаркого полушубка, двинул ворот назад и продолжал, наслаждаясь яркостью картины, занявшей его воображение, игрой своего ума.

– «Катерина Галкина! – громко, грудью говорил он, изображая всех в лицах. – К допросу. Подойди поближе!» Подходит. «Слышала, что господин заседатель сказали?» «Слышала...» А сама плачет, заикается, ничего толком рассказать не может. «Правда ли, что твой муж безмен про господина заседателя упомянул?» – «Я, говорит, этого ничего знать не могу. Хотел муж осты вешать». – «Значит, ты от этого отказываешься?» – «Ничего про эти дела не знаю. Федька всему первый полководец. Его опросите, – и дело к развязке, и греха меньше...» Кличут сейчас старуху. Феклу. А старуха сухоногая, дерзкая, отвечает – ноздри рвет. «Имушшество, говорит, моя, за сына я не плательщица, но права покойного мужа всем владаю, а у сына ничего нету, одни портки». – «А сын-то чей же?» – «Мой». – «А раз сын твой, и толковать нечего, за неплатеж имушшество отвечает. Ступай, не разговаривай, а за дерзкий ответ посажу тебя в арестанку на двое суток на хлеб, на воду...» Угомонил, значит, старуху. Вспрашивает, где церковный титор Федот Леонов? Подходит дочь его Винадорка. – «Иде отец?» – «В клетки, после обеда отдыхает». – «Беги, зови его суда. Скажи, начальство требует...» А он через двор живет...

– Близо, значит? – перебил урядник и быстро переглянулся с Алешкой и кучером. – Так, так... Ну, доказывай, доказывай. Ты, брат, на удивление горазд рассказывать!

Он говорил что попало, лишь бы отвлечь внимание Захара, – он, вынув часы и спрятав их между коленями, передвигал стрелку еще на десять минут вперед. И Захар, с просиявшим от похвалы лицом, еще шумнее выдохнул воздух, мотнул головой, отсаживая горячий густой мех полушубка от лопаток, и загудел еще выразительнее:

– Верно! Слухай же, не перебивай, а то осерчаю... Вижу, лезет из низкой клетки приземистый старик... Идет через дорогу в избу – без шапки, в розовой новой рубахе распояской, и ворот от жары расстегнул. А из избе выходит в новой теплой поддевке, подпоясан зеленой подпояской, шапку в руках несет. Подходит. Волосы густые, седые, разложены вроде как рожки у барана, на обе стороны. С урядником, с заседателем – за ручку. (Богатый, видать, старик.) Пошущукался что-й-то с ними, показывает на Сеньку. Потом вынимает большой гаман кожаный, стал отсчитывать трехрублевки обмороженными култышками... Потом Винадорку кличет. Приказывает самовар ставить, зовет к себе урядника и заседателя чай пить: «Приходите мою охоту посмотреть, пчел моих, и какую я себе посуду завел. А еще кобылку мою гляньте. Ну, ясна, светла, – вся писаная, в яблоках!» Смеется, морщится, гнилые корешки в красном роте показывает... «Не посмотреть, говорит, нельзя, того лошадиный закон требует. А может, и сторгуемся, про что говорили-то...» И опять смеется, сипит, как змей. Пошел к избе, заскребает пыль сапогом по дороге – хворсит...

– Форсит-то, форсит, – опять перебил урядник, вынимая часы, – а ведь пять минут всего осталось. Тебе теперь одним духом надо допивать.

Лицо Захара сразу изменилось.

– Как? – строго крикнул он. – Да ты брешешь! Ужли цельный час прошел?

– Прощел, брат, прошел! – подхватили кучер и Алешка. – Допивай, допивай!

Захар дохнул, как кузнечный мех, и закрыл глаза.

– Стойте! – сказал он, – Это неладно. Вы меня обмошенничали. Дайте еще сроку полчаса. Главная вещь, я сопрел весь. Жара! Август. Черт с вами, я вам лучше сам бутылку поставлю. А вы мне сроку накиньте... Ну, хоть доказать только дайте про этот самый суд! – попросил он сумрачно.

– Ага! Покаялся! – крикнул кучер насмешливо. – Жидок на расправу!

Захар остановил на нем кровавый, тяжелый взгляд. Потом, ни слова не говоря, взял бутылку за горло, до дна опорожнил ее, с краями наполнив корец, и до дна высосал его. И, слегка задохнувшись, грубо сказал:

– Ну? Сыт ты ай нет?.. А теперь – буду доказывать! – с упрямством хмелеющего человека сказал он. – Вот ты и глянешь, напоил ты мене, али у тебе и потрохов не хватит на это...

И вдруг опять повеселели страшные глаза его, лицо опять стало важным и добродушным.

– Таперь вы обязаны слушать! – всей грудью сказал он и продолжал, но уже не так складно и хорошо: – Опосля этого вызывают знахаря, Василь Иванова. Этот совсем худой, в поддевке серой, виски вроде пеньки и борода клинушкой. И еще пуще старика морщится, – не то от солнца, не то от хитрости... шат его знает. Этот, выходит, старуху опоил. Давал ей лекарству какую-то, – бывает, велел пить по маленькому стаканчику, а она и возмись глушить его большими стаканами... Вызывают его. «Как тебя зовут?» – «Был Василий». – «Кто тебе дал праву лечить, мерзавец?» А у них уж раньше, конечно, был сговор: Васька небось уж сунул им. Ну, а при народе, известно, надо же для близиру поорать. Вспрашивал, спрашивал, потом опять как закричит на него: «Скройся из глаз моих в осинник!» Тот будто и испужался: шапку поскорее на голову – и шмыг, шмыг в осинник... Так, значит, дело и затерли. Погляделся урядник в зеркальцо, поправил саблю, сложил свои бумаги... «Ну, говорит, идем, что ль, к старику-то? Очень мне хочется, чтоб мерин еще отдохнул». – «А сколько сейчас время?» Вынул урядник новые часы, селебряные, глянул: «Тридцать восемь первого». – «Ну, пойдёмте, надо его охоту просмотреть, старик добре гордится». Поднялись, пошли чай пить. А мужики остались, расселись, как вороны, на срубленных деревьях возле избе, подняли гам. Иные говорят, что не надо до продажи допускать, иные – что нельзя начальство обижать. Пуще всех какой-то худой мужик орет, срезался со стариком одним. Мужик кричит, что плохо у нас жить, по чужим странам лучше, киргизу и то способней, – у того, по крайности, степи аграматные... А старик кричит, – у нас лучше...

Ему казалось, что он мог бы говорить без конца и все занятнее, все лучше, но, послушав его, убедившись, что дело пропало, свелось только на то, что Захар опил, объел их да еще без умолку рассказывает чепуху, кучер и урядник тронули лошадей и уехали, оборвав его на полуслове. Алешка посидел немного, поподдакивал, выпросил четыре копейки на табак и ушел на станцию. И Захар, совершенно неудовлетворенный ни количеством выпитого, ни собеседниками, остался один. Повздыхал, помотал головой, отодвигая ворот полушубка, и, чувствуя еще больший, чем прежде, прилив сил и неопределенных желаний, поднялся, зашел в винную лавку, купил бутылку и зашагал по переулку вон из села, пошел по пыльной дороге в открытом поле, в необозримом пространстве неба и желтых полей. Солнце опустилось, но еще пекло. Полушубок Захара блестел. Направо от него падала на золотистое пересохшее жнивье большая тень с сиянием вокруг головы. Сдвинув горячую шапку на затылок, заложив руки назад, под полушубок, Захар твердо ступал по твердой под слоем пыли земле, не мигая, как орел, смотрел то на солнце, то на широко раскрывшийся после косьбы степной простор, похожий на простор песчаной пустыни, на раскинутые по нем несметные копны, похожие вдаль на гусениц, – и по горизонтам, по копнам мелькали перед его кровавыми, слезящимися глазами несметные круги – малиновые, фиолетовые и малахитовые. «А все-таки я пьян!» – думал он, чувствуя, как замирает и бьет в голову сердце. Но это ничуть не мешало ему надеяться, что еще будет нынче что-то необыкновенное. Он останавливался, пил и закрывал глаза. Ах, хорошо! Хорошо жить, но только непременно надо сделать что-нибудь удивительное! И опять широко озирает горизонты. Он смотрел на небо – и вся душа его, и насмешливая и наивная, полна была жажды подвига. Человек не особенный, он твердо знал это, но что путного сделал он на своем веку, в чем проявил свои силы? Да ни в чем, ни в чем! Старуху пронес однажды на руках верст пять... Да об этом даже и толковать смешно: он мог бы десяток таких старух донести куда угодно.

Воображение его, жадное во хмелю до картин, требовало работы. Он шагал все шире, твердо решив не дать солнцу обогнать себя, – дойти до Жилова раньше, чем оно сядет, – и думал, думал... Бутылка подходила к концу. И он чувствовал, что необходимо выпить еще маленько – у хромого мещанина, сидельца в Жильской винной лавке, на большой дороге. Солнце опускалось; на смену ему поднимался с востока полный месяц, бледный, как облачко, на ровной сухой синеве небосклона. Чуть уловимый, по-вечернему душистый дымок тянул откуда-то в остывающем воздухе; оранжево краснели лучи, сыпавшиеся слева по колкому сквозному жнивью, краснела пыль, поднимаемая сапогами Захара; от каждой копны, от каждой татарки, от каждой былинки тянулась тень. «Да нет, шалишь, не обгонишь!» – думал Захар, поглядывая на солнце, вытирая пот со лба и вспоминая то битюга-жеребца, которого за передние ноги поднял он однажды на ярмарке, заспорив о силе с мещанами, то литой чугунный привод, который выволок он прошлым летом из риги на гумне барина Хомутова, то эту нищую старуху, которую таскал он на руках, не обращая внимания на ее страх и мольбы отпустить душу на покаяние. Остановясь, раздвинув ноги, от которых столбами пала тень на жнивье, Захар вынул из глубокого кармана полушубка бу-

тылку, глянул на нее против солнца и весело ухмыльнулся, увидав, что и бутылка и водка в ней зарозовели. Закинув голову, он вылил водку в разинутый рот, не касаясь бутылки губами, и хотел было запустить ее выше самого высокого, самого легкого дымчатого облачка в глубине неба. Но, подумав, удержался: и так израсходовался! – сунул бутылку в карман и опять зашагал, с удовольствием вспоминая старуху.

«Ах, расчудесная была старуха!» – думал он, глядя то на солнце, то на сереющие за дальними копнами избы. – Шел он недавно по паровому полю. Глядь, лежит на сухой навозной куче старуха-побирушка и стонет. Был он порядочно выпивши, и, как всегда во хмелю, жадно искала душа его подвига – все равно, доброго или злого... даже, пожалуй, скорей доброго, чем злого. «Бабка! – крикнул он, быстро подходя к старухе. – Ай помираешь? Ай убил кто? Чем перед кем провинилась?» Старуха, – она была вся в лохмотьях, бледное лицо ее было в запекшейся крови, глаза закрыты, – зашевелилась и застонала. «Да что ж ты молчишь? – гаркнул Захар грозно. – Раз тебе испрашивают, можешь ты мне не отвечать? Значит, так и будешь лежать? Скотину скоро погонят – баран завалиет, замучает... Вставай сию минуту!» Старуха вдруг заголосила, взглянув на него, огромного и страшного. «Батюшка, не трожь меня! Меня и так бык закатал. Пожалей меня, несчастную!» – «Не могу я тебя пожалеть! – еще грознее заорал Захар, почувствовав вдруг жалость и нежность к старухе. – Вставай, говорят тебе!» Старуха приподнялась и тотчас же опять упала и заголосила еще пуще. Тогда, не помня себя от жалости, Захар сгреб ее в охапку и почти бегом помчал к селу. Старуха, обхватив обеими руками его воловью шею, задыхаясь от запаха водки, исходившего от него, тряслась на бегу, а он, боясь заплакать, быстро бормотал, стараясь, сколь возможно, смягчить свой бас: «Да что ты? Ай очумела? Чего боишься? Молчи, – говорю тебе, молчи, ни об ком не думай! Обо всем забудь!» – «Не могу, батюшка! – отвечала старуха. – Никакого счастья не вижу себе, одна во всем свете, ни напитков, ни наедков сладких отроду не видала...» – «А я тебе говорю, не голоси! – говорил Захар. – Всякий свою стежку топчача! У всякого своя печаль! Копти! – гаркнул он на все поле, ощутив внезапный прилив бурной радости. – Ешь солому, а хворсу не теряй! Сейчас за мое почтение доставлю тебя на хватеру! А за быка за этого тебя драть надо. Чего шатаешься, скитаешься? Зачем к стаду лезла? Тебе надо округ баб находиться. С ними ты можешь разговор поддержать. А бык, он, брат, не помилует!» – «Ох, постой, – застонала старуха, уже смеясь сквозь слезы. – Всю душу вытряс...» И Захар заорал еще грозней: «Бабка, молчи! А то вот шарахну тебя в ров – костей не соберешь!» И захохотал, раскрывая пасть, раскачивая старуху и делая вид, что хочет со всего размаху пустить ее с косогора...

Спина его была мокра, лицо сизо от прилива крови и потно, сердце молотами било в голову, когда, гордо глянув на мутно-малиновый шар, еще не успевший коснуться горизонта, быстро вошел он в Жилое. Было мертвенно тихо. Нигде ни единой души. Ровная бледная синева вечернего неба надо всем. Далекый лесок, темнеющий в конце лощины. Над ним полный, уже испускающий сияние месяц. Длинный, голый зеленый выгон и ряд изб вдоль него. Три огромных зеркальных пруда, а между ними две широких навозных плотины с голыми, сухими ветлами – толстыми стволами и тонкими прутьями сучьев. На другом боку другой ряд изб. И так четко все в этот короткий час между днем и ночью: и контуры серых крыш, и зелень выгона, и сталь прудов. Один, слева, чуть розовеет, прочие – две зеркальных бездны, в которых точно влиты отраженный месяц и каждый ствол, каждый сучок.

– Фу, пропасти на вас нету! – шумно вздохнул Захар приостанавливаясь. – Как подошли все!

Ему захотелось рывкнуть так, чтобы в ужасе высыпал на выгоны весь этот мелкий народишко, спрятанный по избам «Да нет, нет, – подумал он, мотая головой, – ошалел я пьян... Непристойно думаю, неладно... Домой надо поскорей... Домой...»

И вдруг почувствовал такую тяжкую, такую смертельную тоску, смешанную со злобой, что даже закрыл глаза. Лицо его стало котельного цвета, отделилось от русой бороды, уши вспухли от прилива крови. Как только закрылись его глаза, так сейчас же запрыгали во тьме перед ним тысячи малахитовых и багряных кругов, а сердце замерло, оборвалось – и все тело мягко ухнуло куда-то в пропасть. Ах, домой бы теперь, да в ригу, да в солому! Но, постояв, Захар открыл глаза и, вместо того, чтобы свернуть влево, на Осиновы Дворы, упорно зашагал, перейдя плотину, на большую дорогу, к винной лавке.

О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этих бледных равнинах за

нею, в этот молчаливый степной вечер! Но Захар всеми силами противился тоске, говорил без умолку, пил все жаднее, чтобы переломить ее и наказать этого курчаво-рыжего, со стоячими белыми глазами хромого мещанина, подло и радостно засуетившегося, когда Захар предложил ему поспорить: может он, Захар, выпить еще две бутылки или нет? Винная лавка, вымазанная мелом, странно белела против блеклой синевы восточного небосклона, на котором все прозрачнее и светонеснее делался круг месяца. Возле лавки стоял столик и скамейка. Мещанин, в ситцевой рубахе и обтертых до красна и опойковых сапогах, торчал возле стола, осев на одну ногу и касаясь земли носком другой, – выставив кострец, и, как обезьяна, с необыкновенной ловкостью и быстротой грыз подсолнухи, не спуская своих бельм с Захара. А Захар, поднимая грудь, сжимая зубы, стискивая, точно железными клещами, своими огромными пальцами край стола, облизывая сохнувшие губы, обрывая каждое слово бурным вздохом, плохо соображая, что он говорит, поминутно проваливаясь в какую-то черную пропасть, спешил, спешил досказать, кик он нес старуху...

И вдруг, размахнувшись всем туловищем, быстро встал, далеко отшвырнул ногой стол вместе с зазвеневшей бутылкой и граненым стаканом и хрипло сказал:

– Слухай! Ты!

И мещанин, уже разинувший было рот, чтобы крикнуть на Захара за бесчинство, взглянув на его бело-сизое лицо, онемел. А Захар, собрав последние силы, не дав сердцу разорваться прежде, чем он скажет, твердо договорил:

– Слухай. Я помираю. Шабаш. Не хочу тебя под беду подводить. Я отойду. Отойду.

И твердо пошел на середину большой дороги. И, дойдя до середины, согнул колени – и тяжело, как бык, рухнул на спину, раскинув руки.

Эта лунная августовская ночь была жутка. Отовсюду бесшумно бежали бабы и ребятишки к кабаку; сдержанно и тревожно переговариваясь, шли мужики. Лунный свет прозрачным дымом стоял над сухими жнивьями. А среди большой дороги белело и блестело что-то огромное, страшное: кто-то покрыл коленкором мертвое тело. И босые бабы, быстро и бесшумно подходя, крестились и робко клали медяки в его возглавии.

Капри. Февраль 1912

Ермил

В наших местах есть довольно большой лес, который зовут Островами. Вот что случилось в нем несколько лет тому назад, на Святках, когда караулил его некто Ермил, малорослый, коротконогий, морщинистый мужичишка.

Лес от села недалеко. Когда нет ни метели, ни поземки, он виден с гумен; бледно сереют поля, склоняется к горизонту низкое небо, по горизонту висит сумрачная полоса тумана, а под нею залегает синеватая полоса леса. Но кажется она далекой – как все зимою. Если же поселиться среди этих волчьих и заячьих оврагов, окруженных лесными островами, в старой избе среди рыжих дубков и кустарников, торчащих из белых пушистых сугробов, то с непривычки будешь чувствовать себя за сто верст от людей. А Ермил был к лесу непривычен: прежде нанимался он все по селам, служил много лет при водокачке на станции, стоял при барде на винокурне.

Как многие из тех, кто никогда не видали добра ни от начальника, ни от ближнего, он давно мечтал быть от людей подальше. Они его не любили, он их чуждался. Они им помыкали, думая, что он дурак и безответный. Он же, помалкивая, копил в себе утеху – злое сознание, что далеко не так он прост, как думают. Он внушил себе, что все ему лиходеи, и жил, надвинув шапку на глаза, но сторожко. Переселяясь в лес, он гадал пожить хоть одну зиму спокойно.

Был он, как большинство мужиков, труслив. Но однажды на спор сходил в полночь в овин и уверился, что ему все нипочем. Уверенно переселился он в самое глухое осеннее время и в лес. Но оказалось, что он даже и представить себе не мог, до чего жутка лесная жизнь. Ух, как зловеще шумел невидимый лес в те черные, непроглядные ночи, когда пошли ноябрьские дожди, когда стали они лить по ночам без перерыва, когда, как говорится, хоть кричи, не докричишься ни души, когда в полях только ветер, черные пашни, пустые дороги да непробудным сном умершие деревни! В безграничном море тьмы чувствовал он себя и спал тревожно, при лучине, часто просыпаясь. Мечтал он, бывало: будет у меня в руках дубинка, буду в темные ночи похаживать по лесу – и уж только попадись мне тогда вор, грабитель! Но оказалось, что в такие ночи и за из-

бу-то выйти не возьмешь света белого.

День тоже не радовал: и днем было темно от туч, и днем лил дождь на лес, на лужи – нельзя было на порог показаться. «А придет зима, пойдут святошные вьюги – и совсем хоть пропадай!» – думал Ермил, валяясь после обеда на нарах, поджидая новой долгой ночи. Иногда он садился, собирался плесть лапти, да только все глядел и глядел в окошечко на мокрый кустарник, на тучи. Они к ночи сгущались. Нагоняя тьму, разыгрывалась буря. Ермил слезал с нар, открывал печку, вынимал пук лучин, искал спичек по печуркам. А пока возился, выбирая лучику посуше, и совсем смеркалось. А когда лучина разгоралась и он втыкал ее в светец, окошечко было уже черно. Он опять ложился – и, пользуясь мертвой тишиной и светом, на самую середину избы выбегала седая тощая крыса, жившая под печкой. В лесу же, в его мелочах, в непролазных чащах по оврагам, были волчьи притоны. В самую полуночную пору не раз, с визгом, с захлебывающимся лаем, кидались в глубину сеней собаки, ночевавшие у порога. Схватив свою тяжелую, ржавую одностволку, шальной от сна, при дымящей лучине, крича, выскакивал Ермил в сени – и сколько огненно-зеленых глаз рассыпалось перед ним в черной тьме кустарников, по скату оврага! С бьющимся сердцем, бледный, возвращался он, впуская за собою грязных собак, тотчас забивавшихся под лавку. Дымно, красно пылала лучина, роняя огненные искры в лохань под светцом, гоня дрожачие тени. Тяжко и глухо шумел обломный дождь. И Ермил брал рогач, подпояску, прикладывал рогач к притолкам поперек двери, захлестывал подпояской и его и скобку, туго-натуго затягивал... Потом опять ложился на спину, в шапке, в полушубке, задира тонкие короткие ноги в огромных лаптях на свою укладку. Пронзительные желтые глаза его не моргали.

И вот пришла зима. Ветер повернул. Гнилые бури и ливни сделали свое дело, раскрыли лес, дали студеному облачному небу свободно белеть сквозь него, оборвали листву и запалили ею, мокрой и ржавой, все овраги. Шел снег и таял. Но голый лес гудел уже туго, сурово, позимнему. И Ермил повеселел было. Но по сравнялось и недели, как, обходя однажды верховье с дубинкой в руке и одностволкой на плече, слушая холодное, зимнее гуканье красногрудых, раздувавшихся по ветру снегирей и шлепая лаптями по лесным ухабистым дорогам, полным грязи и бледного снега, между тем как собаки, по своей манере, все бочком, все забирая в сторону, бежали впереди, за стволами, наткнулся он па страшное место: в раскрытых гудящих вершинах высоко висела и качалась на суке высокого дуба веревка, а не веревке – оскаленная, до кости объединенная муравьями собачья голова с двумя-тремя позвонками перегнившей и разорвавшейся шеи. На земле же, у корней дуба, лежали ребра, клоки истлевшей бурой шерсти. И, раскапывая эти клоки дубинкой, Ермил долго, долго, до ряби в глазах, и так и этак вглядывался в них, все стараясь сообразить: велика ли была собака, мужицкая ли, барская ли она, и кто и по какой причине – со зла или для забавы – удавил ее. И вдруг опустил дубинку, замер, скосил глаза в переносицу: а что, если и его вот так-то удавят? Лес, глушь крутом, он один, как перст, на всем свете, жизнь его никому не дорога, о смерти его и узнать-то могут только через месяц и, узнав, не больно-то встревожатся, а тут идут праздники, Святки. Это время жуткое для человека, живущего в лесу, в поле. Что же будет чувствовать он в одиночестве, когда придет оно: одни волчьи свадьбы чего стоят! А ведь и помимо того не бог весть как просты вечера и ночи на Святках. И лихие люди пользуются этими ночами. Удалили же когда-то мужики лесника в Дехтярном, чтобы натопить из покойника каких-то свечей колдовских... У Ермила, как у стоящего над пропастью, заныло, заломило в ляжках. Он повернулся и, надвигая шапку, поспешно, неловко, задевая за корни, зашагал назад.

Снег валил непроглядный, весь день. К вечеру перестал. Стало теплей, затихло. Ермил слезил на потолок, нашел возле борова старые лыжи, привязал к ним новые оборки и опять пошел к дубу. Но снег был пушист, лыжи тонули, скользить на них Ермил не умел, поминутно попадал одной лыжей на другую – измучился, извихлялся и вернулся к избе. Вечерело. Все вокруг покрыто было снегом. Сизо, с розовым оттенком белел противоположный бугор в мелком чернолесье. «Кажись, опогодится, – подумал Ермил, мучимый странным желанием еще раз поглядеть на собачью голову. – Схожу завтра пеший». Но опять поднялся ночью ветер – и опять на целую неделю понесло снегом. Зима спешила – до Святков оставалось чуть. И Ермил стал готовиться к ним.

Собачья голова не выходила у него из ума. Как только темнело, он крепко-накрепко связывал подпояской рогач и дверную скобку. Спал еще тревожнее. А чем свет слезал с печки, вы-

пускал своего белого лохматого кобеля, – сучка куда-то сбежала, если только не попалась на зубы волку, – шел по сугробам в овраг, на пруд; возвратясь, затапливал, умывался, молился и принимался за работу – вернее, за думы. Были они нехороши, но он все больше входил во вкус их, сосредоточенно поддевая на деревяшке лыко, постукивая кочетком. Дымил, сипел, стрелял хворост в печи. Сыро и тепло было в избе. За окошечком, на завалинке, задом к стеклу, сидел кобель – наслаждался, зимнее отродье, тем, что его заносит снегом. А Ермил думал: как бы приучить его кидаться чужому человеку прямо на горло; где бы достать волчий капкан, чтобы к святочной ночи положить его возле порога, заровняв соломкой, снегом... Дни шли. Пора было обезопасить себя! Но как? Что выбрать из придуманного? Выбрать надо было то, что исполнимо, то, что вернее и тверже всего. Поумней злодея надо было оказаться! И страх Ермила таял, заменяясь расчетливой злобой.

В избе все белело, все светлело от сугробов вокруг. Лес порыжел, измельчал, день и ночь гудел в зимней дремоте под сумрачным небом. Непорочно- белые наносы, в которых тонули его скрипучие стволы и корявые кустарники, день и ночь росли, дымясь белым дымом. За порогом насквозь прохватывал крутой северный ветер. Весь в снегу ворочался Ермил с пруда. Скинув полушубок, затопив печку, березовым голиком подмахнув земляной пол, он обмывал под своими густыми волосами, вечно гревшими его маленький лоб, свое морщинистое лицо водой с ледяшками, обдергивал свою бессменную посконную рубаху и становился на молитву, врозь раскинув носки сопревших лаптей. Щурясь, он устремлял пристальный, но невидящий взор на дощечку в углу, привычно шептал что-то и в определенные моменты с размаху кланялся ей. Но думы его были не возле бога. Не о нем думал он и после молитвы, сев за работу.

Ом нею жизнь полагал, что верит в бога, но только полагал. Темная сила – другое дело: в нее он верил, чувствовал ее крепко. Сколько ее не только в мире, но и в человеке! Ермил клал лапоть на колени и долго смотрел своими желтыми глазами в пол. Он вспоминал всю свою жизнь, с тех дней, когда он по-людски женился, по-людски нанялся с женой на барский двор. Теперь ему пятьдесят, тогда было восемнадцать, но и тогда знали его корявым, коротким, а в придачу к тому, был он глуп. Женили его на рябой, высокой; рябая была смола и распутна, и он всем рассказывал, как она ухитрилась провести его, оказаться невинной. Он искал сочувствия, а что же вышло? Его же ославили дураком. Рябая любила медные и серебряные кольца и скоро сошлась с приказчиком. Он было сунулся на него, защищая свою честь. Но как просто, при общем хохоте сбил с него приказчик шапку и прогнал со двора долой! И примолк Ермил, затаился, покорился судьбе, понес, вдовцом, по чужим углам, камень за пазухой...

Случаи, такие, как в Дехтярном, правда, редки. Да чего не бывает! И, значит, пора подумать покрепче. Идти немедля в село, как сгоряча хотел Ермил, просить помощи против лихих людей у старосты, урядника, добыть капкан, вырыть яму – все это никуда не годилось, все это скоро стало казаться пустой затеей: надо было похитрее выдумать. Порою, в спокойную минуту, думалось: ну, кто придет давить его! Но тут Ермил начинал разжигать себя. Кто – неизвестно, да в злодеях недостатка нет. За что? А за то-то! Разве не сжили его со станции, с винокурни – и за то только, что он густоволос, морщинист, коротконог, за то, что молчит-то он молчит, а всех насквозь видит. Разве не собирались рабочие то ноги переломать ему, то удушить его сонного полушубками, то, как будто нечаянно, столкнуть в горячую барду? Смирно шел он на Казанскую по селу, а разве не орал за ним пьяный сапожник, Ванька Махор, первый разбойник на селе: «Погоди, погоди, я те подыму со лба волосы!» – Нет, видно, никогда не откажется человек искалечить, пришибить человека, если только с рук сойдет. Глянь, как рвет, молотит мужик вора, стащившего клок соломы. Клок не дорог, да ведь как такой случай упустить! За вора-то ничего не будет. И недаром, знать, пословица лежит: «Зол злодей, а ты позлей злодея окажись».

Наконец все было обдуманно. Пора было дело делать. И прежде всего Ермил испробовал свою ржавую одностволку с самодельным прикладом. Он продул ее, пробил пистолем, зарядил утиной дробью, крепко забил палкой, вышел из избы и с час стоял среди острых сугробов и дымных вихрей, среди рыжего, гудящего леса, по колено в белейшем снегу, поджидая, не сядет ли где поблизости ворона. Ветром принесло ее наконец, глупую, каркающую, голодную. Проваливаясь в наносы по пояс, согнувшись, падая, набивая ствол снегом, Ермил пробрался к тому дереву, на котором раскачивалась она, присел, положил ствол на ближний сучок, долго водил мушкой по грязно-серой, сутулой от карканья птице, – наконец спустил курок. Его оглушило, ослепило, отдало в плечо и в щеку так крепко, что он свалился навзничь. Но тотчас вскочил и,

вместе с яростно лаявшим кобелем, кинулся к своей добыче: откровенная, на клочки изорванная, она валялась, тонула в рыхлом снегу под тем же самым деревом, на котором, за мгновение перед тем, хрипела, тужилась, качалась.

Затем он ловко выбил палкой кусочек стекла в нижнем углу своего окошечка; попробовал всунуть в него дуло одностволки и присесть на скамейку возле самой лавки: дуло вошло отлично. Ночь будет если и мутная от метели, да все-таки видная, лунная, – это уж наверно. Вот и накидает он на завалинку соломы, чтобы таилось в ней торчащее из окна дуло; потом вернется в избу, потушит огонь, прильнет к стеклу и будет ждать – смотреть на тропинку, поднимающуюся по косогору против окна. Тот, кто будет идти по этой тропинке, ничего не рассмотрит в окне, прикрытом соломой. Самого же Ермила, сидящего в темной избе, – тем более... А кто же именно идти-то будет? Теперь уж самому Ермилу приходилось выбирать. И, подумав еще маленько, он выбрал.

В Сочельник он пошел в село.

Теперь, после целых двух недель размышления об одном и том же и подсчета всего того, чем весь век радовали его люди, он совсем, казалось, освободился от страха. Он был возбужден, был как во хмелю, слабости уже не чувствовал. Напротив. «Нет, постой, меня голой рукой не возьмешь!» – думал он. Теперь, если бы ему сказали, что никто к нему не придет, он бы, кажется, молить стал о том. С дубинкой на плече, ковылял он среди полей, тонувших в тумане вьюги, по чуть видной дороге, к невидимому селу, гнул голову от снежных вихрей и решал, что именно надо сделать, у кого побывать и что кому сказать в селе.

Показались за снежной курой прутья лозняка по задворкам, по окраинам скудных мужицких гумен. Скучно, дико было и в селе, а все не то, что в лесу. В лесу и снег-то куда белее, пушистей, глубже, – не жилой это снег, звериный... Он прошел околицу, прошел мимо редких крестов, торчавших из слоистого серого наста на погосте, вечно на юру обдуваемого ветром, перекрестился на деревянную церковь, на решетчатые окна алтаря, до половины прикрытые сугробом... Дальше стало тише, теплей, свободней. Он осунул подпояску на самые кострецы, отвернул с углов обледеневший, затвердевший ворот армяка, пошевелил плечами в толстых низках... Зачернели люди, ехавшие в кабак, с лавку. Ермил не спеша переступил порог ее, стал в сторонке, держа, как нищий, мешок в левой руке, а дубинку в правой, скромно дожидаясь очереди.

Мужики в тулупах, в полушубках, засыпанных снегом, скрипели, входя, мерзлыми лаптями и валенками. Лавочник в поддевке, худой, с чистой желтой кожей, с большими кофейными глазами, с длинной, редкой бородкой, похожий на угодника, доведший свою молчаливую ловкость до щегольства, то перевертывал мерку с медными обручами в подставляемые мешки, ссыпая туда пшено, то наливал, щедро переливая, бутылки керосином, то бросал свиные середки на иссеченный пень, взмахивал топором и с единого взмаха отрубал ровно столько розового мяса и мерзлого сала, сколько требовалось, лишь для видимости прикидывая на ржавых тарелках весов. Раздражающе пахло маринованными сельдями, ситцами, кругами хомутины, на вид как бы копчеными... Ермил сдержанно поздоровался, побалакал кое с кем, взял пшена, соли, спичек, кренделей; платя, нарочно показывал всем трехрублевые бумажки. Потом стал говорить, ни к кому не обращаясь, медленно пряча деньги и закуривая, хотя не курил никогда, – только затем, чтобы подольше побыть в лавке и попользоваться бесплатным табаком, махоркой, насыпанной лавочником в коробку из-под килек для угощения покупателей:

– А у вас тут хорошо в селе... Вам жисть. Не то, что мне, в лесу, в глухомани. Вам Святки идут, веселые, пированье, а мне – жуть... Я на это робок... Еще сдуру придет кто да убьет. Да что ж! Небось скажет, у него и деньжонки есть... Человек, мол, скрытный, бережной... А не то, святошное дело, и так только – поугатать вздумает... А я от того могу беспокоиться. Я слабосилен. Стареть стал...

– А ты вот брещи так-то побольше, накликай на себя, сказал лавочник, протягивая щербатому, почерневшему курному старику пачку нюхательного табаку. – Брещи побольше. Народ-то и разнесет.

Мужики подхватили:

– Верно. Это уж известно – только пусти слух по народу...

Ермил поглубже надвинул шапку, чтобы скрыть довольство. Постоял, дурачки разводя руками, и медленно вышел.

Заходил он и в кабак. Выпил сотку, купил бутылку, глубоко запрятал ее в карман и опять поговорил с народом, опять проделал то же самое.

А от кабака он пошел под гору, где жили духовные, шорник, коновал, Ванька Махор. Смеркалось, синели снежные сумерки, чернели под горой мешанские избушки. У Ваньки избушка была всех меньше, всех ниже и грязнее. На вогнутой стене ее, с осыпающейся коркой глины, висела дощечка, на которой Махор нарисовал сапог, похожий на орудие каменного века, а вокруг него – много желтых и белых медалей. В темных сеньях Ермил нащупал скобку, обмотанную тряпкой, и рванул к себе. В полутьме, в свинцовом полусвете у мерзлого и вечно мокрого, оттаивающего окна, у лавки, заваленной кусочками кожи, инструментом, жестянками с прокисшим клеем, согнувшись сидел сам Махор и его подручный Мишка. Больная старуха спала за ситцевой занавеской на нарах. И гнилью мешанского утла, и сапожным товаром, и всячески воняло тут. Было скучно, тяжело от присутствия больного человека, спящего в сумерки, и от двух пестрых кур, тоже дремавших возле печки. Но чернявый Мишка бойко стучал молотком по каблуку перевернутого вверх подошвой и зажатого в колени сапога, один за одним вгонял в него мелкие деревянные гвоздики. А Махор поспешно, видимо, с большой охотой, налаживал старую гармонию, вынимал из снятой крышки медные планочки с серебряными клапанами, попеременно прикладывая их к губам, без передышки тянул в себя воздух – и клапаны дребезжали, пели, пищали. Было ему лет двадцать пять, но усов у него еще не было, лицо его было длинно, крупно и очень бледно, взгляд, бараний, белый, прям и нагл. Длинно, велико было и туловище его.

И Ермилу на минуту стало очень страшно. Он переступил порог – и оба работавшие подняли головы и, увидав его, расширили глаза от удивления. Но он и тут не потерялся.

Стараясь хоть изредка встречаться с глазами Ваньки и казаться простодушной, он, пойдя, тотчас же заговорил о том, что вот был он в селе, кое- что покупал, да и надумал забежать прицениться, сколько, примерно, могут стоить сапоги.

– Головки? – отрывисто спросил Махор. Нет, зачем же... хворменные сапоги.

Махор поднял голову, и его белые глаза холодно повеселели:

– Это кому же?

– А хоть бы и мне, – сказал Ермил. – Что ж, ай я и этого не нажил себе за всю свою службу?

– Франт тоже! – сказал Махор, оглядывая его. – Да тебе околевать пора. Ай погодить хочешь?

Мишка улыбался ядовито, с любопытством.

Ермил сощурил глаза и из-под волос покосился на сапожника. «Не околевай ты прежде!» – подумал он. И с притворной развязностью ответил:

– Помри ты нынче, а я завтра. Ты про сапоги-то говори. А не хочешь – я к Кострецу, к хромому, пойду. Мне, брат, шесть целковых не деньги...

– А! Вон оно что! – свистнул Махор.

Он в упор посмотрел на Ермила и, уже совсем, как разбойник, не скрывающий своих мыслей, спросил:

– Значит, у тебя, правда, есть деньги?

Ермил дрогнул от этого взгляда и поспешно забормотал:

– Что ты, что ты... Какие у меня деньги? Откуда они у меня? Вот так-то болтают, плетут... А я сию ни жив ни мертв в лесу... По ночам не сплю... Кто и пугать просто вздумает, и то навек не человеком сделает...

– Родимчик приключится? – сказал Махор.

– А ты что ж думаешь? – подхватил Ермил. – Время святошное... Кто-нибудь шутку вздумает, полушубок для смеху вывернет, да под окно, а мне и каюк...

– А! – опять сказал Махор, но уже равнодушно. – Значит, ты просто пофорсить пришел, побрехать... А я-то, дурак, с тобой зубы чешу.

И опять наклонился к гармонии. Но вдруг загоготал и подмигнул Мишке.

– Чего ты? – торопко спросил Ермил.

– А то чего же! – ответил Махор весело и загадочно.

Ермил посидел еще минуту, чтобы не заметили его торжества, – он понял этот хохот, он уже не сомневался теперь, что Ванька придет в вывернутом полушубке, – и, сославшись на то, что припоздал, наобещав непременно договориться «как-нибудь на гулянках» о сапогах, вышел

вон, пока Махор зажигал лампочку. Была уже ночь. Мерзлые помои у порога тускло блестели. Высоко, над самой головой, ныряли и сияли в волнистых облаках луна и какая-то яркая звезда. Сиял порою и крест церкви, когда быстро шел мимо нее Ермил.

Пришел он домой поздно. Кобель сидел у избы, против луны, ждал его. Дружно и быстро вошли они в избу и тотчас же, не зажигая огня, легли спать. Спали крепко, но оба видели путанные яркие сны. Кобель ныл, вскакивал. Ермил проснулся среди ночи. Лунный свет белел пятном как раз посреди избы, на земляном полу. На лавке сидел бледно-зеленый, сквозной старик, в длинной рубахе, с гробовым венчиком на лбу – покойник батюшка. Ермил подошел к нему и усмехнулся.

– Батюшка? Ты зачем? – спросил он. – Я теперь тебя не боюсь.

Покойник, улыбаясь, поднял слабую руку и легонько перекрестил его:

– Спи, господь с тобой. Злых людей бойся.

И Ермил проснулся и увидел, что и не думал он слезать, подходить к лавке, а лежит, как лежал. Но еще много раз казалось ему, что он просыпается, пробует, крепко ли привязан рогач к двери, вздувает лучину, вынимает похлебку из печи и ест: забыл поужинать, придя из села...

Проспал он и весь следующий день, не топил даже. Перед вечером встал, поел вчерашней, кислой похлебки и, помолившись, стал заряжать ружье. Было уже темно, но огня он не вздувал. Руки тряслись, заряд казался то мал, то велик. Кобель стоял возле и заглядывал ему в глаза вопросительно, совсем по-человечьи.

Часов в восемь он вышел на порог. Опять ныряла в вышине, в облаках, луна, но была ночь мутнее, белее, чем вчера: по кустам несло белым, поземкой.

Потом он долго, не шевелясь, не дыша, сидел на лавке возле окна, в крепко запертой полутемной избе. И вдруг – насторожился. Тихо, тихо приподнялся и прильнул к стеклу: в белесой мути, бледно озаряемой луной, на тропинке среди кустарника, точно мукой осыпанного, чернели две поднимавшиеся из-под горы фигуры. Впереди была та, что повыше... И не прошло и минуты, как она надвинулась на завалинку, затемнила свет и уже хотела было прильнуть к окошечку, как Ермил оглушительно, как из пушки, выстрелил.

Мишка кинулся, свалился назад, под гору. Махор остался на месте. Ермил, выскочив из избы за неистово лаявшим кобелем, наклонился над лежащим ничком большим человеком с нарисованными углем усами, в вывернутом тулупе. Снег под животом его был окровавлен...

А через три месяца после этого Ермила ввели в залу суда. И он произвел на всех самое приятное впечатление. Войдя, он долго крестился на золотой образ в углу, отвесил низкий поклон судьям. Вызванный, он встал твердо, разобрал густые волосы на потеющем лбу, откинул голову, отвечал точно, охотно, щурясь добродушно, с хитрецей, по-стариковски, и к каждому слову прибавлял:

– Господа начальники, судьи праведные...

Ему, видимо, нравилось, что собралось столько народу для него, что в зале сидят барыни, купцы в сюртуках, что на столе сукно с бахромой, за столом мундиры, а у золотого образа горит красная лампадка. Он говорил:

– Мой великий грех, господа-начальники, судьи милостивые. Злые люди загубить хотели, а я того весь век ждал. Казните меня тюрьмой-каторгой...

В монастыре, где он отбывал наказание, не было человека работающее его: как чисто мел он двор, как ловко колол дрова, как усердно таскал воду в братскую кухню!

И монахам понравился он. С ними и остался, отбыв покаяние, – «прижился к богу». Но в монахи постричься не пожелал.

– Нет, я дюже преступный, – говорил он с удовольствием.

Капри. 27 декабря 1912

Последнее свидание

I

В лунный осенний вечер, сырой и холодный, Стрешнев приказал оседлать лошадь. Лунный свет полосой голубого дыма падал в продолговатое окошечко темного денника,

самоцветным камнем зажигая глаз верхового мерина. Работник накинул на него узду и тяжелое, высокое казацкое седло, вытащил его за повод из конюшни, узлом закрутил ему хвост. Мерин был покорен. Только глубоко, раздувая ребра, вздохнул, когда почувствовал подпруги. Одна подпруга была оборвана. Работник едва вдел ее в пряжку и затянул зубами.

Кургузый, под седлом, мерин стал щеголеватей. Доведя его до дома, до крыльца, работник замотал повод вокруг гнилого столба и ушел. Мерин долго щеплял, грыз желтым зубом столб. Иногда дулся, ныл и ревел нутром. В луже возле него зеленовато отражалась неполная луна. В редком саду оседал прозрачный туман.

Стрешнев, держа в руке арапник, вышел на крыльцо. Горбоносый, с маленькой, откинутой назад головой, сухой, широкоплечий, он был высок и ловок в своей коричневой поддевке, перетянутой по тонкой талии ремнем с серебряным набором, в казачьей шапке с красным верхом. Но и при луне было видно, что у него поблекшее, обветренное лицо, жесткая кудрявая борода с проседью и жилистая шея, что длинные сапоги его стары, на полах поддевки – темные пятна давно засохшей заячьей крови.

В темном окне возле крыльца открылась форточка. Робкий голос спросил:

– Андрюша, ты куда?

– Я не маленький, мамаша, – сказал Стрешнев, нахмуриваясь и берясь за повод.

Форточка закрылась. Но в сенях стукнула дверь. Шлепая туфлями, на порог вышел Павел Стрешнев, одутловатый, с стухшими глазами, с зачесанными назад седыми волосами, в белье и старом летнем пальто, полупьяный и болтливый, как обычно.

– Ты куда, Андрей? – хрипло спросил он. – Прощу передать мой душевный привет Вере Алексеевне. Я всегда глубоко уважал ее.

– Кого ты можешь уважать? – ответил Стрешнев. – И что ты лезешь постоянно не в свое дело?

– Виноват, виноват! – сказал Павел. – На условное свиданье мчится юноша молодой!

Стрешнев, стиснув зубы, стол садиться. Как только нога его коснулась стремени, мерин ожил, тяжело завертелся. Улучив минуту, Стрешнев легко поднялся и опустился на заскрипевший арчак. Мерин задрал голову и, разбив копытом луну в луже, тронул бодрой иноходью.

II

В сырых лунных полях тускло белела полынь на межах. Большекрылые совы бесшумно, неожиданно взвивались с меж – и лошадь всхрапывала, шарахалась. Дорога вошла в мелкий лес, мертвый, холодный от луны и росы. Луна, яркая и точно мокрая, мелькала по голым верхушкам, и голые сучья сливались с ее влажным блеском, исчезали в нем. Горько пахло осиновой корой, оврагами с прелой листвою... Вот спуск в разлужья, как будто бездонные, залитые тонким белым паром. Белым паром дышит и мерин, пробираясь среди кустарников, стеклянных от росы. Хруст сучков под копытами отдается на той стороне, в высоком лесу, темнеющем по скату горы... Вдруг мерин насторожил уши. Два плечистых, толстогогорлых, тонконогих волка стояли в светлом дыму разлужья. Близко подпустив Стрешнева, они взметнулись и неуклюжим галопом пошли в гору, по белой изморози, радужно сияющей траве.

– А если она еще на день останется? – сказал Стрешнев, откидывая голову, глядя на луну.

Луна стояла над пустынными серебристо-туманными лугами направо... Осенняя печаль и красота!

Мерин, скрипя арчаком, натуживаясь и ноя сильным нутром, поднимался в частый высокий лес, по глубокой ложбине размытой ручьями дороги, и вдруг, оступившись, чуть не рухнул на землю. Стрешнев яростно перекошил лицо и со всей силы ударил его по голове арапником.

– У, старая собака! – крикнул он с тоскливой злобой на весь звонкий лес.

За лесом открылись пустые поля. На скате, среди темных гречишных жнивий, стояла бедная усадьба, кое-какие службы, дом, крытый соломой. Как печально было все это при луне! Стрешнев остановился. Казалось, что поздно, поздно, – так тихо было кругом. Он въехал во двор. Дом был темен. Бросив повод, Стрешнев соскочил с седла. Мерин остался стоять с покорно опущенной головой. На крыльце, положив морду на лапы, калачиком свернулась старая гончая собака. Она не двинулась, только посмотрела, подняв брови, и с приветом постучала хвостом. Стрешнев вошел в сени, пахнувшие из чулана старым отхожим местом. В передней был

сумрак; стекла, в холодном поту, золотились. Из темного коридора бесшумно выбежала небольшая женщина в легком светлом капоте. Стрешнев наклонился. Она быстро и крепко обвила его сухую шею обнажившимися руками и радостно, тихо заплакала, прижимая голову к жесткому сукну поддевки. Слышно было, как по-детски бьется ее сердце, чувствовался крестик на ее груди, золотой, бабушкин – последнее богатство.

– Ты до завтра? – быстрым шепотом спросила она. – Да? Я не верю своему счастью!

– Я пойду, Вера, лошадь убрать, – сказал Стрешнев, освобождаясь. – До завтра, до завтра, – сказал он, думая: «Боже мой, с каждым днем все восторженней! И как много курит, как неумеренна в ласках!»

Лицо Веры было нежно, бархатисто от пудры. Она осторожно проводила щекой по его губам, потом крепко целовала в губы мягкими губами. Крест блестел на ее раскрытой груди. Она надела тончайшую сорочку – заветную, хранимую для самых важных моментов, единственную.

«Как твердо знал я, – думал Стрешнев, стараясь вспомнить ее молоденькой девушкой, – как твердо знал пятнадцать лет тому назад, ни минуты не колеблясь, пятнадцать лет жизни за одно свидание с ней!»

III

Перед рассветом на полу возле постели горела свеча. Стрешнев, длинный, в шароварах, в расстегнутой косоворотке, лежал на спине, важно отклонив в сумрак маленькое горбоносое лицо, закинув за голову руки. Вера сидела возле него, облокотись на колено. Блестящие глаза ее были красны, опухли от слез. Она курила и тупо глядела в пол. Она положила ногу на ногу. Маленькая нога ее в легкой, дорогой туфельке очень нравилась ей самой. Но боль сердца была слишком сильна.

– Я для тебя всем пожертвовала, – тихо сказала она, и губы ее опять задрожали.

В голосе ее было столько нежности, детского горя! Но, открывая глаза, Стрешнев холодно спросил:

– Чем ты пожертвовала?

– Всем, всем. И прежде всего честью, молодостью...

– Мы с тобой не бог весть как молоды.

– Какой ты грубый, нечуткий! – ласково сказала она.

– Во всем мире все женщины говорят одно и то же. Любимое слово, только произносимое разное. Сперва с восторгом, с восхищением: «Ты такой умный, чуткий!» Потом: «Какой ты грубый, нечуткий!»

Тихо плача, она продолжала, как бы не слушая:

– Пусть из меня ничего не вышло... Но музыку я любила и люблю страстно и хоть немного, но добилась бы...

– Ах, не музыку. И как только Падарский...

– Грубо, Андрюша... А теперь я жалкая институтская таперша, и где же! В том самом проклятом городе, который я всегда так ненавидела! Разве я не могла бы и теперь еще найти человека, который дал бы мне покой, семью и любил и уважал бы меня? Но память о нашей любви...

Стрешнев закурил и стал отвечать медленно, разделяя слова:

– Вера, мы, дворянское отродье, не умеем просто любить. Это отравы для нас. И это я, а не ты, загубил себя. Пятнадцать, шестнадцать лет тому назад я приезжал сюда каждый день и готов был ночевать у твоего порога. Я тогда был еще мальчишка, восторженный и нежный дуралей...

Папироска потухла. Он далеко отшвырнул ее, уронил руку вдоль тела, глядя в потолок.

– Любовь прадедов, их портреты в овальных рамках с золотой бумажкой вокруг синей... Образ Гурия, Симона и Авива, покровителей наших древних семей... Кому, как не нам с тобой, назначалось все это? Я тогда стишки писал:

Любя тебя, мечтал я о мечтавших,
Любивших здесь сто лет тому назад –
И по ночам ходил в заглохший сад,
При свете звезд, их некогда кидавших...

Он взглянул на Веру и заговорил резко:

– Зачем ты ушла – и за кем? – из своего рода, из своего племени?

Он приподнялся и стал в упор, злыми глазами глядеть на ее черные сухие волосы.

– Я о тебе, с восторгом, с благоговением, всегда только как о жене думал. А когда нас свела судьба? И чем ты мне стала? Женой разве? А была молодость, радость, чистота, темный румянец, батистовая косоворотка... Приезжать к вам каждый день, видеть твои голые руки, почти черные от солнца и от крови наших предков, татарские сияющие глаза – не видящие меня глаза! – желтую розу в угольных волосах, твою тогда глупую, изумленную какую-то, но прелестную улыбку, даже то, как ты уходишь от меня по дорожке сада, думая о другом, а притворяясь, что играешь, гонишь крокетный шар, слышать оскорбительные фразы твоей матери с балкона – это было для меня...

– Она, а не я во всем виновата, – с трудом сказала Вера.

– Нет! Помнишь, как ты в первый раз уезжала в Москву, собиралась, рассеянно пела что-то, не видя меня, поглощенная своими мечтами, уверенностью в счастье? Я вас поехал провожать верхом, в ясный холодный вечер. Блестели яркие зеленя, розовели жнивья и занавеска в открытом окне вагона... Ах! – сказал Стрешнев со злобой и со слезами и опять лег на подушку. – От твоей руки, пахнувшей вербеной, остался запах и на моей руке. Он смешался с запахом повода, седла, пота лошади, но я все еще чувствовал его, ехал в сумерках по большой дороге – и плакал... Если уж кто пожертвовал всем, всей своей жизнью, так это я, старый пьяница!

И, чувствуя на губах теплую соль слез, катившихся по его щекам, по усам, Стрешнев скинул с постели ноги и вышел из комнаты.

Луна садилась. Белый рыхлый туман стоял под скатом полей, мертвенно синяя. Далеко за ним занималась багряная заря. Далеко, в холодном потемневшем лесу, пел петух в сенцах караульщика. Стрешнев, в одних носках, сел на ступеньки крыльца, чувствуя, как обливает холодной сыростью его тело под тонкой рубашкой.

– А потом, конечно, роли переменялись, – сказал он тихо, с отвращением. – Ну, да теперь все равно. Конеч...

IV

Утром пили чай в холодной прихожей, на огромном сундуке. Самовар стоял на нем нечищенный, позеленевший, давно потухший. Холодный пот, покрывавший окно, сошел с верхнего стекла. Виден был в него солнечный блеск морозного утра, корявое дерево в бесцветной, кое-где уцелевшей зелени. Босая, опухшая от сна рыжая девка вошла и сказала:

– Митрий приехал.

– Подождет, – ответил Стрешнев, не поднимая глаз.

Не поднимала глаз и Вера. Лицо ее похудело за ночь, под глазами и вокруг век был коричневый налет. Черное платье делало ее моложе и красивее, от черных волос пудра на лице казалась розовее. Сухое, жесткое лицо Стрешнева было мертвенно, откинута назад. Сквозь жесткую курчаво-серую бородку глядел большой кадык.

На дворе слепило низкое солнце. Все крыльцо было седое от мороза. Мороз солью лежал на траве, на сизо-зеленых раковинах капустных листьев, раскиданных по двору. Мужик, с оловянными глазами, приехавший к крыльцу в телеге, набитой соломой, тоже заиндевевшей, ходил вокруг телеги, уминал солому, держа в зубах трубку, и через плечо его тянулся сиреневый дым. Вера вышла на крыльцо в дорогой и легкой, но уже ветхой старомодной шубке и в летней шляпке из черной соломы с жесткими, ржаво-атласными цветами.

Проводил ее Стрешнев по отпотевшим проселочным дорогам до большой дороги. Ехал за телегой. Мерин тянулся к соломе. Он стегал его по морде арапником, мерин задирает голову и трудно хрипел нутром. Плелись шагом и молчали. Сзади бежала увязавшаяся за Стрешневым старая гончая собака из усадьбы. Низкое солнце пригревало, небо было кроткое, ясное.

Возле большой дороги мужик неожиданно сказал:

– А я, барышня, опять пригону на лето к вам своего мальчишку. Я его опять к вам в пастушата предназначил.

Вера обернулась с застенчивой улыбкой. Стрешнев снял шапку, наклонился с седла, взял ее руку и поцеловал долгим поцелуем. Она прильнула губами к его седеющему виску, тихо сказала:

– Будь здоров, дорогой. Не поминай лихом.

По большой дороге мужик загремел телегой, поехал рысью. Стрешнев повернул, поехал назад без дороги, по жнивьям. Собака издали провожала его, четко видная среди золотых полей. Он останавливался, грозил ей арапником. Она тоже останавливалась, садилась. – «Куда ж я пойду?» – как бы спрашивала она. И, как только он трогался, опять неспешной рысцой бежала за ним. Думал он о далекой станции, блестящих рельсах, дыме уходящего к югу поезда...

В голых, местами каменистых лугах, куда он спустился, было почти жарко. Беззвучно сиял осенний день голубым чистым небом. Великая тишина стояла над пустыми полями, над оврагами, подо всей великой русской степью. Медленно плыла по воздуху вата с татарок, с иссохших репьев. На перьях сидели щеглы. Так они будут сидеть целый день, только изредка перелетая, перенося свою тихую, прелестную, счастливую жизнь.

Капри. 31 декабря 1912

Жертва

Семен Новиков, живший с братом своим, сухоруким Никоном, Петровками горел. Братья согласились поделиться, и Семен, выселяясь из Брода, рубил себе избу на большой дороге.

Под Ильин день плотники отпросились ко двору. Надо было ночевать на постройке Семёну. Поужинав вместе с большой семьёй брата, в тесноте, среди мух, он закурил трубку, накинул полушубок и сказал своим:

– У вас тут духота. Пойду на постройку, там ночую.

– Ты хоть собак-то возьми, – ответили ему.

– Вона! – сказал Семен и пошел один.

Ночь была месячная. За думами о будущем дворе Семен и не заметил, как поднялся из села по широкому прогону на гору и отмахал по большой дороге с версту – до своей запотолоченной, но еще не покрытой избы, стоявшей на опушке хлебов, в пустом поле, черневшей окнами без рам и тускло блестящей против месяца концами свежих бревен по углам, паклей, торчавшей из пазов, и щепой на пороге. Низкий июльский месяц, поднявшийся за оврагами Брода, был мутен. Теплый свет его рассеивался. Спелые хлеба тускло, сумрачно белели впереди. А к северу было и совсем хмуро. Там заходила туча. Мягкий ветер, дувший со всех сторон, иногда усиливался, порывисто бежал по ржам и овсам – и они сухо, тревожно шелестели. Туча на севере казалась неподвижной, но часто подергивалась золотым быстрым блеском.

Семен, по привычке сгибаясь, вошел в избу. В ней было темно и душно. Желтый месячный свет, глядевший в пустоты окон, не мешался с темнотой, только увеличивал ее. Семен кинул полушубок на стружки посреди избы, как раз на одной из полос света, лег на спину. Пососав потухшую трубку и подумав еще маленько, заснул.

Но вот понесло в окна ветром, глухо заворчало вдали.

Семен очнулся. Ветер усилился – он бежал теперь по горячечно шумящим хлебам непрерывно, и свет месяца стал еще тусклей. Семен вышел из избы за угол, в сухо и знойно шуршавшие, бледные, как саван, овсы, посмотрел на тучу. Она, темно-аспидная, заняла полнеба. Ветер дул прямо в лицо, задира, путал волосы и мешал смотреть. Мешали смотреть, слепили и молнии, загоравшиеся все жарче и грозней. Семен, крестясь, стал на колени: вдали, среди овсяного моря, выделяясь на стене тучи, двигалась на Семена небольшая толпа, с обнаженными головами, в белых подпоясках, в новых полушубках, – с трудом несла саженный запрестольный образ древнего письма. Толпа была туманная, призрачная, но образ виден хорошо – страшный, строгий лик, красневший на черной доске, опаленной свечами, закапанной воском, окованной старым, сизым серебром.

Ветер разобрал волосы на лбу Семена, приятно отдувая их, – и Семен, в страхе и радости, до земли поклонился образу. Когда же поднял голову, то увидел, что толпа стоит, неловко держа величаво откинутый образ, а на туче, как церковная картина, начертался и высится огромный зрак: белобрадый, могучий Илья в огненном одеянии, сидящий, как бог Саваоф, на мертвенно-синих клубах облаков, а над ним – две горящих по аспиду зелено-оранжевых радуги. И, блестя очами-молниями, голос свой сливая с гулом, с громами, сказал Илья:

– Держись прямой, Семен Новиков! Слушайте, князь-хрестьяне, вот я буду судить его, временнообязанного хрестьянина Елецкого уезда, Предтечевской волости, Семена Новикова.

И все поле, белевшее вокруг, все колосья его вместе с куколом понесли, побежали вперед, поклоняясь Илье, и в шуме их сказал Илья:

– Я серчал на тебя, Семен Новиков, желал покарать тебя.

– За что, батюшка? – спросил Семен.

– Непристойно тебе, Семен Новиков, меня, Илью, спрашивать. Ты должен ответ держать.

– Ну, ин, будь по-твоему, – ответил Семен.

– Позалетошний год я убил молоньей Пантелея, старшего твоего: ты зачем закопал его в землю по пояс, колдовством воротил его жить?

– Прости, батюшка, – сказал Семен, кланяясь. – Жалко было малого. Рассуди: ведь кормилец-поилец при старости.

– Летошний год я посек, повалил твою рожь градом, вихрями: ты зачем прознал о том загодя, запродав эту рожь на корню?

– Прости, батюшка, – сказал Семен, кланяясь. – Сердце чувало, нуждишка была.

– Ну, а нонче, в Петровки, не я ли спалил тебя? Ты зачем спешишь строиться, отделяешься?

– Прости, батюшка, – сказал Семен, кланяясь. – Сухорукий брат мой несчастливый: от него и все беды, думалось.

– Закрой глаза. Я подумаю, посоветуюсь, чем казнить тебя?

Семен закрыл глаза, склонил голову. Ветер шумел, – он старался сквозь шум его тайком поймать, о чем шепчется Илья с крестьянами. Но опять загремело над ним – ничего не стало слышно.

– Нет, не придумаем, – во весь голос сказал Илья. – Сам посоветуй мне.

– А глаза-то открыть? – спросил Семен.

– Не надобе. Слепой тверже думает.

– Чуден ты, батюшка, – серьезно усмехнулся Семен. – Да и что ж тут придумывать? Поставлю тебе свечку трехрублевую.

– Не из чего. На постройку потратился.

– Тогда в Киев схожу.

– Это только бездельничать, лапти трепать. На кого же хозяйство останется?

Семен задумался.

– Ну, девчонку, Анфиску, убей. Ей и всего-то второй годок. Девочка, сказать по совести, умильная, – жалко нам будет ее, да ведь что ж сделаешь? Все не с малым сменить.

– Прислушайте, православные, – громко сказал Илья. – Соглашаюся!

И такой огонь разорвал всю высь, что у Семена чуть веки не вспыхнули, и такой удар расколол небеса, что вся земля под ним дрогнула.

– Свят, свят, свят, господь бог Саваоф! – прошептал Семен.

Очнувшись, открыл глаза, он увидел лишь пыльную тучу, хлеба и себя самого, на коленях стоящего в них. Пыль вихрем неслась по дороге, и месяц совсем замутился.

Семен вскочил на ноги. Позабыв о полушубке, он поспешно пошел к себе. Крупный дождь захватил его на выгоне. Темные облака надвинулись над стемневшими оврагами. Красный месяц закатывался. Село спало крепким сном, но скотина по дворам беспокоилась, петухи орали. И, подбегая к своей старой избе, Семен услышал в ней вопли. У порога стоял сухорукий Никон, в полушубке и без шапки, тощий и морщинистый, глядел тупо и растерянно.

– Беда у тебя, – сказал он, и по голосу его было слышно, что он еще не совсем проснулся.

Семен вбежал в избу. Бабы с криком метались в темноте, ища серников. Семен выхватил из-за образа коробочек, зажег каганец: люлька, повешенная возле печи, носилась из стороны в сторону, – бабы, задевали ее, бегая, – а в люльке лежала вся сизая, мертвая девочка, и на головке ее чепчик тлел.

Жил Семен с тех пор счастливо.

Капри. 1913

Иоанн Рыдалец

Есть новая станция Грешное, есть старое степное село того же имени.

На станции останавливается в летние дни юго-восточный экспресс. На станции голо и

скучно. Казенный кирпичный вокзал еще слишком красен. Платформу заменяет песок. Переходить по песку к вокзалу трудно, да и зачем? Вокзал пуст и гулок, нет еще в нем ни буфета, ни книжного киоска. А поезд великолепный. Из открытых окон тяжелых запыленных вагонов глядят богатые люди, едущие на Кавказ: знаменитый чудовищно толстый артист в шелковой серой шапочке, черная красивая дама с лорнетом, персиянин из Баку, не сводящий с нее сонных глаз, худой англичанин с трубочкой в зубах, молча и внимательно осматривающий эти необозримые равнины, которым не уступают только прерии... По доскам, вдоль поезда, медленно прогуливается широкий старичок-генерал с маленькими ножками и делает рассеянный вид, втайне наслаждаясь, однако, и тем, что у дверей вокзала вытянулся перед ним жандарм, и тем, что вот едет он, генерал, в дорогом поезде на воды и гуляет с открытой головой, скромный, спокойный за свое достоинство и во всех отношениях порядочный. Возле пахнущего кухонным чадом вагон-ресторана, за зеркальными стеклами которого пестреют цветы на белоснежных столиках, стоят бритые лакеи во фраках с золотыми пуговицами, потный повар, поваренок – все как будто те же самые, что видел англичанин и в Египте и на французской Ривьере. А громадный американский паровоз, весь горячий и блестящий маслом, сталью, медью, дрожит от клокочущей в нем силы, нетерпеливо сдерживая ее. Шумит рукав водокачки, наполняя глубокий тендер... И вот вода уже переливается через края, торопливо бьют в колокол у дверей вокзала, генерал, звеня серебряными шпорами, спешит в свой вагон...

Поезд скрывается в степи. Мужик, неизвестно зачем приходивший на станцию, долго стоял на песке и думал: «Вот уйдет машина, пойду и я помаленьку...» Глядел на мужика англичанин, дивясь его шапке, полушубку и первобытной густоте бороды, слинявшей на солнце. Глядел и мужик на англичанина, но рассеянно: селу нет никакого дела до поезда. Когда поезд скрывается, мужик, безо всякого желанья, с притворным наслаждением крикая, выпивает две кружки теплой воды из станционной бочки, вытирает рукой рот и бредет домой. Бредет он не спеша: время неопределенное, ни дневное, ни вечернее – в такую пору делать нечего, думать не хочется, да неопределенна и погода: зашло солнце за облачко – не жарко и в полушубке, хотя, конечно, можно было и не надевать его... Дорога от станции к селу пролегает по выгону, мимо большой княжеской усадьбы и каменной церкви, что напротив нее, на погосте. Поравнявшись с церковью, мужик снимает шапку и крестится, низко кланяясь: за оградой церкви, возле алтаря, рядом с могилой князя, ссорившегося с самим царем, почивает блаженный, Христа ради юродивый, Иоанн Рыдалец.

Княжеская усадьба, конечно, старая, давно всеми забытая: необитаем ее дом, черен и дик сад. Погост – голый, бугристый. Церковь по камню крашена темно-коричневой краской. В ограде ее немало рассеяно широких чугунных плит. А как раз возле окон алтаря высятся два огромных кирпичных гроба, тоже прикрытых плитами. И с великим удивлением прочтет всякий, не знающий преданий села Грешного, отлитые на этих плитах имена под ними покоящихся, на одной – имя князя и вельможи, а на другой – раба его, землянского крестьянина Ивана Емельянова Рябинина. Так и сказано: крестьянин такой-то, родившийся и умерший тогда-то, а ниже: Иоанн Рыдалец, Христа нашего ради юродивый. Князь, вельможа, только перед самой кончиной примирился с богом и людьми. И, по княжескому желанию, ничто, кроме имени и начала покаянного псалма Давида, не украсило княжеской могильной плиты. Плита же юродивого, не выразившего никаких предсмертных желаний, украшена стихами и одним из любимейших плачей его. «Юрод, неряшен миру он казался» – говорит строфа, посвященная его памяти неизвестным поэтом. А под нею отлиты те горькие и страшные слова пророка Михея, с которыми и умер юродивый: «Буду рыдать и плакать, буду ходить, как ограбленный, буду выть, как шакалы, и вопить, как страусы!»

То, что едут в экспрессе на воды, знают о князе – из книг. А в селе Грешном образ его смутен; село знает только то, что лет сто тому назад приехал он доживать свой век в грешинской глуши, что мал и чуден был он, что странными поступками ознаменовал он свой приезд. Доложили ему рано утром в день Нового года, что пришел священник с: причтом. «Позвать его в залу», – сказал князь – и долго заставил ждать себя. Выйдя же внезапно из боковой дверки в эту высокую холодную залу, еще не бритый, в сафьяновых сапожках и халатике на заячьем меху, отрывисто спросил священника: «Зачем, сударь, пожаловал?» Священник оробел, смущенно ответил, что желал бы совершить служение. И князь, едко засмеявшись, будто бы сказал ему: «Так служи мне, сударь, в таком разе панихиду». – «Но осмелюсь спросить ваше сиятельство: по ком

же?» – «А по старому году, сударь, по старому году!» – сказал князь – и сам подтягивал причту, не дерзнувшему послушаться... В этот-то день и отдано было первое приказание – дать полсотни розог Ивану, с плачем и лаем выскочившему из ельника на князя, на разметенную аллею, по которой гулял князь.

Те, что ездят мимо станции Грешное на богомолье, на поклон угоднику воронежскому, про угодника грешинского даже и не слышали. В селе же Грешном вот что про него рассказывают. Рос, говорят, Ваня в семье честной и праведной, у родителей своих, выселенных князем под Землянск-город. С ранних лет полюбил он Писание. Мать настаивает, отец кланяется: женись, сынок! А он плачет, рыдает, просит себе от бога видения, на Афон собирается. Вышло ему в видении испытание: послушаться отца. Встал он на ране, дал отцу полное согласие. Сыграли свадьбу, положили молодых в отхожую спальню, а они друг дружки не коснулись, вышли оба заплаканные. Сел Ваня опять за свое, за всякое священное письмо, а день хороший, морозный, за ночь снег выпал, виден следок везде: все к обедне пошли, пошла и молодая с новыми родными, только Ваня один дома, не пожелал и в церковь пойти. И видит в окно: подъезжает к окну попов работник в новых розвальнях, на вороном коню: лошадь отличная, поповская, хлебная. Подходит работник, стучит кнутовищем: «Ваня, велел тебе отец в церковь ехать, взять с собою лапти новые и денег двадцать копеек». Ваня говорит: «Да я не знаю, где деньги у отца». – «А за образами», говорит попов работник. (По нашей местности всегда так какую записочку, поминание – все туда кладут, а допреж и деньги класть не боялись.) Нечего делать, достал Ваня деньги, надел армячок, вышел, сел в сани на коленки, поехал по селу, увидел на горе храм божий, сказал: «Господи Иисусе...» И только сказал – глядь, сидит он в степи, в поле, на снегу, на морозе, разут, раздет, новые лапти на ногах, старые осметки на веревке через плечо, а сам плачет-рыдает. Узнали о том на селе, наладили подводу за Ваней, хотят на сборню везть, думали – бродяга какой, а он плачет, рыдает, на всех, как цепной кобель, кидается, сам кричит на все поле: «Буду, буду ходить, как ограбленный, буду вопить, как Штраусы!» Ну, конечно, навалились всем миром-собором, связали, повезли, а навстречу отец идет: пришел, говорит, от обедни, вижу, сына нету, а видать, чей-то пеший след пробит за гумна, за овины; пошел я, говорит, по этому следу; вижу, лапти новые, а след от одной ноги до другой – боле трех сажен...

Село Грешное этим и кончает житие святого. А смутно помнят его лишь старухи, доживающие свой долгий век в княжеской мертвой усадьбе. Всю жизнь свою, говорят они, Иван скитался и непристоен был. Он долго сидел на железной цепи в отцовской избе, грыз себе руки, грыз цепь, грыз всякого, кто к нему приближался, часто кричал свое любимое: «Дай мне удовольствие!» – и был нещадно бит и за ярость свою, и за непонятную просьбу. А сорвавшись однажды, пропал – и объявился странным, пошел по деревням, всюду с лаем и оскаленными зубами кидаясь на господ, на начальников и в слезах вопя: «Дай мне удовольствие!» Был он худой, жиленький, ходил в одной длинной рубахе из веретя, подпоясывался обрывком, за пазухой носил мышей, в руке – железный лом и ни летом, ни зимой не надевал ни шапки, ни обуви. Кровавоглазый, с пеной на губах, со включенными волосами, он гонялся за людьми, – и люди, крестьяне, бежали от него. Был он поражен какой-то болезнью, все лицо его покрывавшей белой известковой коркой и сделавшей еще ужаснее его алые глаза, был особенно яростен, когда пришел в Грешное, прослышав о приезде князя. Приказав отнять у него лом и при себе выпороть, – конюхи плакали, растягивая Рыдальца, с воплями кусавшего их, князь сказал: «Вот тебе, Иван, и удовольствие. Я бы мог тебя в кандалы заковать и в тюрьме сгноить, да я, сударь, не злобен: гуляй себе, проповедуй, ори, токмо меня не ондируй. А ежели ты не уймешься, то я неуклончиво буду доставлять тебе то самое удовольствие, о коем ты кричишь, уподобляя себя Штраусу». И так как Иван не унялся, почитай каждую неделю прежде жестоко пугал князя, выскакивая из-за углов и запуская в него мышами, то и таскали чуть не каждую неделю люто оравшего Рыдальца на конюшню.

В старом селе Грешном скоро забывают прошлое быль скоро претворяют в легенду. Ивана Рыдальца запомнили надолго только потому, что на самого князя восставал он, а князь всех поразил своим предсмертным приказанием. Он когда ему, больному и иссохшему, доложили о кончине Ивана, умершего в поле, в дождливую осень, твердо сказал – «Схороните же сего безумца возле церкви, а меня, вельможу-князя, положите рядом с ним, с моим холопом». И стал Иван Рябинин Иоанном Рыдальцем, и видится он селу Грешному, точно в церкви написанный – полунагой и дикий, как святой, как пророк.

На станции Грешное каждый год, осенью, сходит с экспресса и направляется к церкви, сопровождаемая начальником станции, некрасивая, худая дама в трауре, с красивым тонконогим корнетом под руку. У церковной ограды с поклонами встречает их полный священник в черной ризе и дьячок с кадилом. Над полями тянутся низкие тучи, дует сырой ветер. Но священник и дьячок стоят с обнаженными головами. А входя в церковную ограду, обнажают головы и корнет и начальник станции, следующий позади всех и спокойным видом своим дающий понять, что идет он только ради вежливости. Сзади всех, спокойно и вежливо, стоит он и тогда, когда начинает развеиваться по ветру пахучий кадильный дым над страшными кирпичными могилами и обходит их, кадя и поклоняясь, возглашая вечную память князю и рабу его, священник. Корнет молится рассеянно. Он, юный, красиво наряженный, выставляет острое колено, крестится мелкими крестиками и склоняет маленькую головку с той недоведенной до конца почтительностью, с которой кланяются святым и прикладываются к ним люди, мало думающие о святых, но все-таки боящиеся испортить свою счастливую жизнь их немилостью. Но дама плачет. Она заранее поднимает вуаль, опускаясь на колени перед могилой Ивана Рябинина, – она знает, что сейчас навернутся на глаза ее слезы. «Юрод, неряшен миру он казался», – читает она на гробовой плите. И слова эти трогают ее. А страшные слова пророка Михея, упоминание шакала и страуса, впвнушают трепет и тоску. И она сладко плачет, стоя на коленях опершись одной рукой, в перчатке, на тонкий зонтик, а другой – голубой, прозрачной, в кольцах – прижимая к глазам батистовый платочек.

Капри. 18 февраля 1913

Худая трава

Худая трава из поля вон!
Пословица.

I

Аверки слег, разговевшись на Петров день.

Молодые работники умылись с мылом, причесались, надели сапоги, новые ситцевые рубахи. Аверкий, чувствуя слабость, равнодушие, не сходил перед праздником ко двору, не сменил рубаху; что до остального наряда, то был он у него один – и в будни и в праздники. Молодые работники ели не в меру и весь обед хохотали, говорили такое, что стряпуха с притворным негодованием отворачивалась, а порою даже отходила от стола, бросив мокрую ложку. Аверкий ел молча.

Он был уже в той поре, когда хорошие, смиренные мужики, много поработавшие, – а он таки поработал, в одних батраках жил тридцатый год! – начинают плохо слушать, мало говорить и со всем, что им ни скажешь, соглашаться, думать же что-то иное, свое. Он был в тех мужицких годах, которых не определишь сразу. Он был высок и нескладен: очень худ, длиннорук, в кости вообще широк, но в плечах, на вид несильных, опущенных, узок. И с этой полевой нескладностью, с лаптями и полушубком, никогда не сходившим с плеч, странно сочеталось благообразие: небольшая, лысеющая со лба, в длинных, легких волосах голова, изможденное лицо с тонким, сухим носом, жидко-голубые глаза и узкая седеющая борода, не скрывающая сухой челюсти.

Все, над чем смеялись за обедом, казалось ему ненужным, несмешным. Но неприязни на его лице не было. Ел он неспешно, кладя ложку, с детства привыкнув совершать трапезу, как молитву, ибо эта трапеза всю жизнь была для него венцом трудового дня, среди вечных опасений за будущий день, хотя всю жизнь и говорил он привычное:

– Бог даст день, бог даст пищу...

Мысли его туманились. Костлявые выступы скул, обтянутые тонкой серой кожей, розовели. Думы не принимала пища. Но он ел пристально: и потому, что уж так полагается в праздник, и потому, что еда могла, как думал он, помочь ему, и потому, что жалко было не есть: вот он заболел, с места, должно, сойдет, дома же не только сладких харчей, а может, и хлеба не будет.

Подали на деревянном круге круто посоленную жирную баранину. Аверкий вспомнил, как служил он когда-то зиму в городе. Подумав, он осторожно взял кусок своими тонкими пальцами

и бледно усмехнулся.

– Люблю горчицу, а где я ее могу взять? – сказал он застенчиво, не глядя ни на кого.

От баранины стало нехорошо; но он досидел-таки до конца стола. Когда же работники, дохлебав до последней капли огромную чашку голубого молока и самодовольно икая, стали подниматься и закуривать, смешивая запах махорки с запахом еды и свежих ситников, Аверкий осторожно надел свою большую шапку, – в пеньковом дне ее всегда была иголка, обмотанная ниткой, – и вышел на порог сенец, постоял среди голодных собак, жадно смотревших ему в глаза, точно знавших, что его тошнит. Погода портилась. Стало сумрачно, похоже на будничное предвечернее время; мелкий дождь стрекотал по газете, валявшейся у крыльца барского дома; индюшки, опустив мокрые хвосты, усаживались на развалившейся ограде, а цыплята, которых сердито клевали они, лезли, прятались под их крылья... Сладкие харчи! Аверкий знал им цену. Последняя предсмертная тягота наступала для него, а все же крепко не хотелось ему терять их, когда брел он за избу.

II

Воротился он бледный, с дрожащими ногами, и попросился у стряпухи на печку. Она равнодушно спросила:

– Ай захворал?

– Служил тридцать лет, – в тон ей ответил Аверкий, влезая на нары, ставя лапоть в печурку и поднимаясь тесное, жаркое пространство между печью и потолком, служил тридцать лет с чистым лицом, а теперь шабаш, ослаб... Блоху не подкую, – пошутил он. – Износился, задыхаться стал, – еще тверже и даже с удовольствием сказал он, ложась.

И как только лег, получше пристроив голову в шапке на какую-то сломанную плетушку, тотчас стал задремывать и слышать свое глубокое, однообразно прерывающееся дыхание ощущать его жар в губах. Он уже твердо решил, что захворал без отлеку, что он – «оброчный кочет». Он давно перемогался. Больные собаки уходят со двора, ищут по межам, по лесным опушкам какую-то тонкую, лишь им ведомую траву, и едят ее – тайком ищут себе помощи. Отдаляясь от двора, Аверкий тоже искал – тайком покупал то водки, то соды... Теперь перемогаться уже не стало сил. Но все-таки надо было подумать: как быть с местом, сходить или нет? Если скоро умрешь, думать тут, конечно, нечего. Ну, а если не скоро?

Работники курили и хохотали. Слушая и думая, он стал видеть сны. Но из печальных и скучных воспоминаний складывались они. Вот он будто вышел из избы – надо ехать за хоботьем на гумно... А во двор входит и останавливается, увидя поднимающихся собак, странник: голова закутана женской шалью, на левой руке лукошко, в правой высокая палка, на худых ногах растоптанные лапти... «Если бог подымет, пойду в Киев, в Задонск, в Оптину, – подумал Аверкий в дремоте. – Вот дело настоящее, чистое, легкое, а то не знамо, зачем и жил на свете...»

Но тут громко и дружно захохотали работники, надымившие всю избу. Аверкий очнулся. Стукнула дверь, кто-то вошел.

– Опять залил глаза! – сказала стряпуха, вытирая стол и не глядя на вошедшего. – Опять приперся... Дед, да ай у тебя стыда-то совсем нету? – спросила она, оборачиваясь. – Ну, чего пришел? Не надоел еще?

Но дед, – караульщик снятого мещанином сада, «старик-плясун», как называл он сам себя для потехи, всегда хмельной, обтрепанный, всегда мучивший Аверкия своей неряшливостью, своей болтливостью, всей своей свободной, немужицкой жизнью, – дед не обратил па стряпуху внимания.

– Ребята, рассудите: мысленно ли? – понес он с непритворным отчаянием, разводя руками перед работниками. – Один как есть на этакий сад! Да я с него шести целковых не возьму! Приедет нынче, так и скажу: хомут да дуга, я тебе больше не слуга! Будя! Вон ребяташки уже зачали в завязь вникать, две яблоньки отрясли, а я что? Дули, говорит, береги главней всего... А что я один исделаю? Вишенья опять оборвали на валу – ну, и черт с ними! Я больной человек!

– Больной, а все хоть выжми! – сказала стряпуха.

– Полегче! – ответил старик, садясь на нары. – Ты-то помолчи. У меня вон моя старуха тебе в матери годится, а я ее, может, полгода не видал... да, почесть, и весь век не видал, не знаю, за чем и женился...

«Не хуже меня, такого-то», – подумал Аверкий, закрыв глаза и уже не чувствуя к старику прежнего отвращения.

– А она небось мне не чужая, – продолжал тот с искренней горечью. – Я и ребятам вот говорю: что я могу? Сейчас отшел, а в салаше чуйка хозяйская, а она семь целковых! Да что ж исделаешь? И унесут за милую душу! А господам я вишенья позволяю рвать: можете! Господа, они и съедят-то два зернышка, это ведь наш брат мужик... Правду я говорю ай нет? – крикнул он, снова оживляясь. – И тебе, староста, завсегда позволяю, ты тут, может, первый человек надо всеми! Только ты меня чем обидел: тесу на кровать не дал! Спасибо хоть барчук помогает: проплясал ему давеча маленько – ан на косушку и есть...

Аверкий стал опять забываться... Под вечер, в поле, шел он за возом. Моросило. Широко открыты были ворота на скотном дворе богатого степного мужика; бродил по двору и гоготал гусак, потерявший гусыню... «Богатому везде хорошо!» – с обидой и болью в голосе кричал где-то внизу старик. Аверкий кивал шапкой, соглашался, а сам думал свое: «Богатый, как бык рогатый, – в тесные ворота не пролезет...» И очнулся, чувствуя, что бредит. «Да, бог не любит высоких мыслей... Да, старика жалко... Но дым и ненужный говор, чужие люди, чужая печка – ах, какая тоска, неприютность! Зверь, и тот забивается умирать в свою собственную норь... Нет, конец, домой пора!»

III

Он очнулся в сумерки. Ни работников, ни стряпухи в избе не было. На лавке возле окна сидела дурочка Анюта, скитавшаяся по господам, по мужикам. Она была толстая, стриженная. Она глядела в окно, – голова ее сзади была похожа на кувшин вниз горлом, – и плакала: стряпухин мальчишка не дал ей лечь уснуть – все по лавке скакал.

– А там индюшки замучили, – говорила она, плача, думая, что Аверкий спит, и жалуясь самой себе. Легла отдохнуть в палисаднику – дождь, индюшки всю голову изодрали, а тут этот демоненок... Так-то, Анна Матвеевна! Так-то, матушка! Чужой кусок не сладок! А богатая была, умней барыни слыла!

Это она вспоминала то золотое время, когда было у нее целых тридцать шесть рублей. Она копила и хранила их долго как зеницу ока. Да выпросил, вымолил в долг мужик, у которого она стояла на квартире, поклялся на церковь, что отдаст – и, конечно, не отдал, даже прямо сказал: так и знай, не отдам и не шатайся...

Аверкий открыл глаза. Было лучше, чем давеча, уже не мутилась голова. Он послушал дурочку и усмехнулся. Ах, господи, из-за чего только волнуются, страдают люди! Этот старик, так растерянно жаловавшийся работникам... Эта плачущая от обиды на ребенка Анюта...

– А ты бы его за виски, – сказал он, усмехаясь.

– Ай ты проснулся? – спросила дурочка. И вдруг неприятно, неумеренно зарыдала. – Да ай я слажу с ним?

Когда она стала затихать, Аверкий негромко и ласково окликнул ее.

– Что тебе? – тупо отозвалась она.

– Сходи, матушка, к моей старухе, – сказал Аверкий. – Скажи, чтоб пришла за мной. Боясь, ей и самой есть нечего, да ведь что ж исделаешь? Как-нибудь перебьемся. Я, видно, свое отслужил. Все дома-то лучше, пристойнее...

– Не с чужими же людьми сменить! – с горечью ответила дурочка. – Схожу, не бойся... А ты не обидишься на меня, что я тебе скажу?

– Нет...

– А может, испугаешься дюже?

– А что? – спросил он.

– Да так... Я тебе же добра желала. Пришла давеча, – говорят, ты захворал. Я и зашла к Пантюше погадать насчет тебя...

– Ну и что же?

– Тебе, батюшка, плохо вышло... Он набрал земли на сковородку, лег под святые и запел... А сам все берет землю со сковородки да на лицо себе посыпает... Берет и посыпает...

– А ты фамилию-то мою сказала? – спросил Аверкий.

– То-то и беда, что сказала...

Аверкий помолчал.

– А ты все-таки к старухе-то сходи, – сказал он.

– Об этом ты не убивайся. Схожу.

Вынув из своего нищенского мешка крендель, дурочка стала есть, собирая с колен крошки.

– Хочешь кренделька? – спросила она.

– Нет, матушка, спасибо, что-й-то не хочется, – сказал Аверкий.

Вздохнув, он повернулся на бок. Дурочка открыла окно, стала доходить свежесть вечера. Тонкий, как волосок, серп месяца блестел над черной покатою равниной за рекой, в прозрачном небосклоне. Далеко на село хорошо и протяжно пели девки старинную величальную песню: «При вечере, вечере, при ясной лучине...» Когда и с кем это было? Мягкий сумрак в лугу, над мелкой заводью, теплая, розовеющая от зари, дрожащая мелкой рябью, расходящийся кругами вода, чья-то водовозка на берегу, слабо видный в сумраке девичий стан, босые ноги – и неумелые руки, с трудом поднимающие, полный черпак... Шагом едет мимо малый в ночное, сладко дышит свежестью луга...

– Ай не узнала? – спрашивает он притворно небрежно.

– Дюже ты мне нужен узнавать! – отзывается нежный, грудной, неуверенно звонкий голос – и против воли звучит в нем ласка, радость нечаянной встречи.

– Ай помочь?

– Дюже ты мне нужен помогать...

Пересиливая себя, считая непристойным навязываться с разговором, он молча поднимается в гору, в росистое темное поле, глядит на звезды, слушает перепелов и деловито думает:

– Хороша, да бедна. Ишь сама воду возит...

Это было давно, в самом начале жизни... Неужели это она, та, что придет завтра, поведет его домой умирать? Она, она...

IV

Она пришла за ним на другой день. Она ласково и заботливо убрала своими темными руками его добришко, армяк, онучи, линючую подпояску, – и повела его, бледного и слабо улыбающегося, домой:

– Пойдем, пойдем, батюшка. Будя, поработал. Весь свой век ждала тебя. А ты вон какой стал – совсем никуда. Износился. Да заветный перстенок и поношенный хорош...

И он все радовался первое время: вот он и дома, отслужился! Он не лег в избе, давно хотелось ему полежать на свободе, на покое, на чистом полевом воздухе. Лег он на своем гумнишке, в старенькой риге, густо заросшей кругом лебедою, лег в телеге без колес – и в открытое ворота день и ночь веял на него сырой ветер с огородов и гумен, несло ветром косою крупный дождь.

Все дела обсудили они со старухой, пожалели дочь, по нужде рано выданную в дальнее село, во двор зажиточный, но больной дурной болезнью, и порешили дать ей знать, чтоб приехала проведать отца.

Дочь, однако, не ехала – верно, не пускала погода.

Погода мучила. С утра светило солнце, парило над дымящимися полями, над грязными дорогами, над хлебами, насыщенными водою, легшими на землю. С утра Аверкий, порою покидавший свою телегу и добредавший до избы, обещал старухе, что опогодится. Но к обедам опять заходили тучи, казавшиеся еще чернее от блеска солнца, меняли облака свои необыкновенные цвета и очертания, поднимался холодный ветер, и бежал по полям косою радужный дождь.

– Будут беды великие, – говорила соседка, бывшая дворовая. – Раньше и тучки не те были, все зайчики да кусточки, а теперь облако грубое пошло...

Но Аверкий, сидя в валенках и полушубке возле избы, только слабо улыбался: какое дело было ему теперь до будущих бед!

Соседи, двоившие пар, приезжали к обедам мокрые, усталые, жаловались, что на них армяки попрели, и тоже все хотели уверить себя, что, авось, бог даст, разгуляется. Но после обедов темнело от туч, гнала буря ливень с градом. К вечеру стихало, солнце проглядывало; но на востоке громоздились розовые горы, а западный небосклон весь покрывался странной серебристой зыбью, похожей на утиный пух.

А ночи были туманные. Зеленоватые пушистые звезды, как большие светляки, глядели на

Аверкия в ворота. Спал он мало, по ночам скучал. Но, вспоминая теперешнюю свою свободу от всех забот и горестей, благодарно крестился на небо.

Худел и слабел он не по дням, а по часам. Но, чувствуя, что смерть овладевает им без мук, без издевательства, часто говорил старухе:

– Ничего, ты не бойся, я удобно помру.

А старуха втихомолку надеялась, не давала веры его словам. Больше всего пугало ее его равнодушие. Но и равнодушие долго пыталась она истолковывать его слабостью, пока наконец не перешло оно меры.

В конце июля, когда кое-как стали убираться в полях и дожди перестали, пропала у нее телушка, которую с великими лишениями нажила она себе, которая ходила за ней, как собака. Старуха все поля, все соседние деревни обегала. В тоске, в тревоге, она расспрашивала каждого встречного, не видали ли рыжей телушки, и все не сдавалась, придумывала все новые места, куда надо идти на поиски. Как вдруг, в один сумрачный вечер, собаки притащили на деревню рыжую голову с маленькими рожками. У собак ее отняли и принесли старухе на крыльцо. Она растерялась и заплакала, как ребенок. И все долго стояли вокруг крыльца не зная, что говорить, что делать. На всех эта страшная, в сухой крови и с рожками голова произвела тяжелое впечатление. И только один Аверкий, который на говор прибрел из риги к избе, легонько рукой махнул.

– Уж чего там! – сказал он, – Смолоду не наживали, а теперь не к чему...

Все взглянули на него с удивлением и еще дружнее загалдели, что этого так оставить нельзя. Пастух сказал, что собаки рыли в лесу. Несмотря на сумерки, решили немедля ехать в лес. Сосед торопливо запряг лошадь в телегу, посадил в нее плачущую старуху, вскочил сам и поскакал, загремел по улице. Поскакали за ним верховые. В полях было темно, в лесу темно и тихо, уже пахло опавшими листьями. Лес слабо освещался с одной стороны красноватым светом восходившей луны. Приехали к караулке на поляне, возле дуба с засохшей верхушкой. Лесник ужинал и, увидя толпу, очень испугался. Потребовали у него фонарь, пошли за пастухом к тому месту, где рыли собаки, нашли зарытую в землю требуху, подняли там и повезли лесника в деревню, к Аверкию.

Аверкий не спал, сидел в темной избе. Когда вздули огонь и стала изба наполняться народом, когда привели старосту с палевой бородой и наперебой стали кричать, обвиняя лесника, Аверкий неожиданно принял его сторону. Лесник в свое оправдание говорил только одно:

– Красть я не согласен. Мой родитель не крал, и я не согласен. Кабы я крал, у меня бы ничего не было, бог бы не дал, а то у меня свое хозяйство есть.

Но Аверкий, со своим равнодушием к земным делам, вполне верил ему – и даже возвысил голос, настаивая, чтобы его отпустили, а не сажали в холодную. И удивленные, сбитые с толку соседи, в конце концов, покорились ему. Покорилась его голосу, его гробовому лицу и старуха.

На выздоровление его у нее не осталось с этой ночи никакой надежды.

V

Дочь с мужем посулились приехать и приехали на престольный праздник, ко второму Спасу. Было решено, что зять свезет Аверкия в больницу, покажет доктору. Аверкий согласился – и на день, на два ожил.

На день, на два воротились к нему обычные человеческие чувства. С помощью старухи он с раннего утра умылся, причесался для гостей.

В обеда он лежал и прислушивался: не идут ли? Послышались шаги и голоса вдали. В раме ворот показался зять, за ним дочь с девочкой, сзади старуха. Зять, высокий, с зеленоватыми волосами, с белыми ресницами, был подбрит и наряжен: новый картуз, новые сапоги, серая жилетка поверх новой желтой рубахи. Дочь, которую Аверкий всегда считал красавицей, и на этот раз удивила его своею красотой, скромностью, соединенной с достоинством, длинными опущенными ресницами, лиловым сарафаном и смуглостью маленьких рук. Она, женственная, милая, вела за руку белобрысую девочку в зеленом платье, которая с любопытством осматривала дыры в крыше риги и сосала деревянную катушку из-под ниток.

Подойдя, гости поклонились Аверкию, осторожно поцеловались с ним, подняли к нему не хотевшую целоваться, воротившую в сторону личико, девочку; Аверкий с нежностью заметил, что волосы у нее бело-золотистые, тверды и гладки, как трава после лета. Гости заговорили бод-

ро, беспечно, – зять все старался шутить, – но не сводили с Аверкия глаз и, видимо, не знали, что говорить. Он это чувствовал, неловко улыбался и даже бодрился, а сам думал, сравнивая дочь со старухой: нет, моя душевнее была! И дочь была хороша и скромна, как мать в молодости, но у дочери было больше спокойствия, сдержанности. Дочь трогала его своею красотой, ресницами, блеском стеклянных капель в гребешке, а старуха – лаптями, дряблостью кожи, усталостью, искренностью. Их противоположность взволновала его, и опять почувствовал он на мгновение: сладка жизнь! Старуха не притворялась. Она вошла и стала, грустно глядя на него, как бы говоря: вот привела, хотят поглядеть на тебя – не хорош ты стал, батюшка, да что ж сделаешь. А он, и правда, был страшен. Волосы его еще больше поредели, стали еще тоньше, они лезли, падали на широкий ворот рубахи, на ключицы, торчавшие под нею, как удила. По обеим сторонам ввалившихся висков торчали большие прозрачные уши. Глубоко западали глаза.

Гости обедали в избе. Ему прислали чашку зеленого кваса с салом, ломоть хлеба. Он приподнялся, взял чашку, низко склонился над нею, выгнул зубчатую от позвонков спину, перекрестился, зачерпнул дрожащей рукой ложку и проглотил торопливо, боясь, что не хватит сил поесть. И точно, не хватило. Он устал, задохнулся, лег на спину... И чашка так и осталась стоять на земле возле телеги. Квас запенился, подернулся солевой пленкой, в него нападало много мух. Аверкий отгонял их и рассматривал свою руку, голубые ногти. Дивила его ладонь: впалая, она была суха и блестела будто натертая воском... И, подумав о больнице, он насмешливо улыбнулся.

VI

Перед вечером прошел недолгий дождь. Со смехом, накрывшись подолами, гуртом прибежали с улицы девки, стали у ворот, не обращая внимания на Аверкия, ждали, пока перейдет дождь, видный в раме ворот на серой тучке. За воротами говорили, смеялись ребята, кто-то все начинал играть на сломанной, с западающими клапанами, гармонии. Подошел к воротам зять, слегка хмельной. Он выставил вперед правое колено, поставил на него свою большую, мягко и приятно рычащую гармонию. Он томно смотрел в одну точку, играя. А против него стояла и, слегка склонив голову, упорно смотрела на него солдатка, бледная женщина, с свежим, приятным ртом и серебристыми глазами в черных ресницах. Они звали друг друга взглядами, словами бесконечной «страдательной». И все долго, под редким дождем, следили за их любовными безмолвными переговорами. Потемнело в углах риги, темнело в воротах. Закрыв глаза, Аверкий слушал. Ему было хорошо.

Улица так и осталась возле риги до поздней ночи, расходясь постепенно. Поздно ночью небо расчистило, две большие звезды глядели в ригу. «Значит, так надо, – думал Аверкий, – значит, ему дочь моя не хороша, иную надо». Гармония смолкла. Кто-то говорил за воротами дрожащим, охрипшим голосом, о чем-то упрасывая. Женщина отвечала протяжно, уклончиво, но сопротивление ее было слабое. Потом две тени на минуту заслонили звезды в раме ворот, прошли мимо, влево, к остаткам соломы...

«Ах, неладно, – подумал Аверкий. – А дочь небось любит его...» В душе зазвучала песня, нежная, любовная: «Я соскучилась, любезный, без тебя: вся постелюшка простыла без тебя, изголовьице заиндевело...» Он забылся и очнулся от громкого кашля. Зять, проводивши солдатку, смело воротился в ригу, сел на розвальни и, разуваясь, со стуком побросал сапоги наземь. Он зажег спичку, осветив петуха, ночевавшего на деревянном козле для резки.

Чтобы показать, что он не обижается, не вмешивается чужие дела, Аверкий, усмехнувшись, сказал про петуха.

– Ишь, где квартиру себе нашел!

– А ты чего ж не спишь? – спросил зять.

– Я, почесть, никогда не сплю, – ответил Аверкий.

– Помираешь, значит, – равнодушно сказал зять, ложась.

– Худая трава из поля вон, – пошутил Аверкий. – А чую – конец. Чую – она. Ночью скучаю, пуще всего как полуночная звезда-зарница взойдет. Никакая! – сказал он безнадежно. Стали уж колокольцы в глотке звенеть...

Зять стал засыпать, сумрачно похрапывая. И грусть, умиление одиночества нашли на Аверкия. Хотелось еще поговорить, сказать что-нибудь дружелюбное, приятное зятю. Он окликнул

его:

– Спишь?

– Нет, – отозвался зять, очнувшись. – А что?

И забормотал строго:

– Будя буровить-то, людям спать не давать... Спи!

Аверкий смолк. Хотелось сказать: «Ах, хороша любовь на свете живет!» Он лежал, думал и затаивал дыхание, стараясь представить себя в могиле... Зять храпел, спал крепким сном поздней ночи. Слабое, мутное зарево долго было видно за воротами, за темными полями. Показался поздний полумесяц, – как отражение в затуманенном зеркале, – прошел низко и скрылся. Потемнело перед рассветом. Стал на всю ригу кричать петух. Стало в раме ворот серебриться небо, стал заниматься для живых новый день.

Зять проснулся, свежо и крепко зевнул, снова разбудив тонко дремавшего Аверкия. Утро настало веселое. Весело и молодо глядело в ворота голубое, по горизонту оранжевое небо. Холодная роса сверкала на траве. Зять, надевая сапоги, надувался и стучал ими в землю.

– Обузил хромой дьявол! – сказал он хрипло и бодро, разумея сапожника.

– Тесный сапог осеннее дело никуда, – ответил Аверкий. – Мука.

– Да это еще по чулку, – сказал зять. – А по портянке и совсем не вобьешь!

Старуха с дочерью нарядили Аверкия. На него надели ситцевую рубаху, давно слинявшую, но чистую, легкую, узкие серые брюки в полосках, – подарок с барского двора, – и кожаные бахилки; надели полушубок, большую шапку и под руки повели к телеге. Девочка гонялась по риге за петухом, все норовила поймать его за хвост. Поджимаясь, петух мелко убегал от нее, и Аверкий усмехался. После риги небо показалось ему бесконечно просторным, светлым и радостным, воздух в полях – упоительным. Дорога уже обвела. День был августовский – прохладный, блестящий, со стальными облаками. О больнице, о выздоровлении не хотелось и думать: и так было хорошо.

VII

Прошел еще месяц. Жизнь еще больше отодвинулась от Аверкия за этот месяц. Черные катышечки в пахучем желтом порошке, конечно, не помогли, – только палили изжогой. Но он все-таки ел их – целых двадцать дней. Когда же проглотил последнюю и зачем-то спрятал круглый пузырек под подушку, вздохнул так облегченно, точно свалил с плеч последний тяжкий долг. А с людьми он мысленно уже простился: люди понемногу забывали о нем, заходили к нему все реже, а заходя, говорили то трогательное, то смешное, то грустное, но всегда неважное. Все время он чувствовал себя гостем, заезжим в какой-то край, где он жил когда-то и где теперь живут еще беднее и скучнее, чем жили прежде, при нем.

Воротился домой и заходил раза два солдат, побывавший в Порт-Артуре и в Японии, – на войне и в плену. И не рассказал ничего путного ни о войне, ни о плене, говорил то же, что говорили и все, побывавшие на войне и в чужих странах. На войне страшно, а потом ничего, и не думаешь, а в чужих странах все не по-людски: земли много, а ходить негде, везде горы, людей всяких – и не счесть, а поговорить не с кем... Много рассказывал солдат о японках, но и их осуждал: «малы ростом и не завлекательны».

Заходила Аня. С ней Аверкию было легко, она сидела долго, никуда не спешила, не говорила притворно: «Ну, я пойду, дельце есть...» Она была задушевна, проста, хотя и задевала Аверкия тем, что стала говорить с ним теперь, как с равным, как с дурачком, со своим братом, лишним человеком.

Заходил старик-плясун, в полушубке и старой господской соломенной шляпе, приносил яблок, с неумеренной настойчивостью совал их под подушку Аверкию и с неумеренным оживлением болтал, внутренне радуясь своему постоянному хмелю, а жизнь свою то восхваляя, то ни в грош не ставя. Он дышал перегаром, говорил без умолку.

– Хм! – говорил он. – Мне тут, в селе, рай! Тут я маленько оправился, человеком стал. А то сослали меня прошлый год... Именьишко в поле, сад в поле – хоть бы тебе дворишко! Скука – избавь бог! Не то, что у вас в селе: тут в поле выйдешь, и то что-нибудь увидишь обязательно: либо где ребята в конопах, либо бабу примешь к сведению...

Хозяйственным людям было не до Аверкия: они веяли понос: зерно и опять рассевали его.

Раз эта мирная жизнь была нарушена тревогой, набатом, торопливо сзывавшим испуганное село к месту неожиданной беды, к омету на дальнем гумне, внезапно охваченному среди жаркого полдня весело и торопливо разгоравшимся оранжевым пламенем. У Аверкия, всегда боявшегося пожаров, заколотилось сердце. Он, насколько мог, поспешно приподнялся и долго глядел в ворота, на голубое спокойное небо, по которому беспокойно и высоко неслись черные хлопья, «галки». Он жадно прислушивался к тому шуму и гаму в селе, который люди, бегущие на пожар, всегда зачем-то преднамеренно увеличивают. Он, по старой привычке, заразился было этим чувством, но скоро понял, что пожару он только обрадовался – обрадовался развлечению, тому, что прибегут к нему, потащат его из риги вон; понял и то, что пожар далеко и что ничего этого не будет – и опять почувствовал равнодушие, опять лег.

Раз зашел к нему дьячок в парусиновом подряснике: посидел, сперва пошутил над его болезнью, потом сказал:

– Да... «И возвратится персть в землю, яко же бе, и дух возвратится к белу, иже даде его...» Этого, брат, не минуешь!

И Аверкий, которому очень понравились его слова, торопливо ответил:

– Избавь бог! Как можно того миновать!

На мгновенье ему стало жутко от церковных слов дьячка, но, подумав, он еще тверже повторил:

– Нет, избавь, господи, – не миновать-то! Я вон жалюсь иной раз, я, мол, кочет оброчный, как говорится, а разве не правда? И бог оброку требует...

И, запутавшись в своих мыслях, прибавил некстати:

– Нет, как можно... А то бы столько греха развелось! Так-то, святые люди говорят, шла божья мать от креста и плакала навзрыд... Все цветы от слез пожглись, посохли, один табак остался... За то-то вот и жгут его, курят...

После больницы он часто делал попытки вспомнить всю свою жизнь. Казалось, что необходимо привести в порядок все, что видел и чувствовал он на своем веку. И он пытался сделать это, и каждый раз напрасно, воспоминания его били ничтожны, бедны, однообразны. Вспоминались пустяки, безо всякого толку и все в картинах – неясных и отрывочных. Только начнешь вспоминать жизнь по порядку, с начала, с детства, как все сольется в один какой-нибудь день, в один какой-нибудь вечер, часто и не относящийся к детству и такой далекий, такой ненужный, что только рукой махнешь. С тоскою махнул рукой Аверкий и на все свои знания, на все свои способности умственные. «Ведь вот какое чудо! – думал он. – Жил, жил, а ничего не помню, ничего не понимаю...» Говорят, например, что родился он вот там-то и тогда-то. А что это значит – родился? Не оказывалось даже понимания собственного рождения, не оказывалось даже и него ощутительной веры! Всегда и все говорили, что отцом его был вот тот-то, а матерью – вот та-то. Теперь он и этому не верил, и этого не понимал. Он всю жизнь считал родителей самыми близкими людьми; но, когда умер отец, он совершенно забыл его, точно так же, как и мать: не только жалеть перестал, а даже лица отцовского не мог ясно представить себе. Так сближался он на своем веку и с многими другими людьми. Но и их забыл – вот как сны, например, разве мало видел он снов, а попробуй-ка вспомни их!

Только далекие сумерки на реке, далекую встречу свою с той молодой, милой, которая равнодушно-жалостно смотрела на него теперь старческими глазами, ощутительно помнил он да ясно видел лицо дочери.

VIII

И еще месяц прошел, и приблизилось время принести этот горький и сладкий оброк богу.

Осень наступила рано. Замученный холодами, старой одеждой, пролежнями и сухими ранами на локтях, Аверкий только головой качал, разумея смерть:

– Ну, и норовиста! Не докличешься!

Мир он по-прежнему видел только в ворота видел только частицу огромной картины. Шли по горизонту за обнаженными лозинками все белевшие, все холодевшие облака. Умирая, высохли и погнили травы. Пусто и голо стало гумно. Стала видна сквозь лозинки мельница в бесприютном поле. Дождь порой сменялся снегом, ветер гудел в дырах риги зло и холодно. Аверкий тупо думал:

– Едет осень на пегой кобыле...

А в черные, ледяные и мокрые ночи, когда только рама ворот мутным и неподвижным призраком стояла перед ним, свинцово ним, свинцово глядела на него, ему было жутко. Перейти же в избу он не решался: знал, что задохнется в первую же ночь – и умрет мучительно.

Раз приснился ему такой сон. Очень холодно, низкие тучи вдали над зелеными, над желто-красной грядой леса за ними. Возле грязной дороги едет он сам – древний, длинноволосый, в длинном полушубке на иссохшем длинном теле и поталкивает лаптем пегую кобыленку, глубоко вязнущую в сырой земле, комами выворачивающую зелена. Нагнал его барский староста верхом, в седле, молча, злобно дал ему в душу. Он, Аверкий, молча, легко съехал со спины кобылы вместе с армяком, на котором сидел, повалился на колени, снял тяжелую шапку с лысой головы, стал плакать, просить прощения, говорить, что он глух, стар, слаб, едет к дочери... Оскалив зубы, староста стал драть его кнутом по чем попало, – и от боли и от ужаса Аверкий проснулся весь в слезах. И до рассвета лежал, глядел на свинцовый призрак ворот, чувствовал, что замирает, бьется последним торопливым боем его истомленное сердце, и не понимал, – сон ли это был, или сама земная жизнь его, слившаяся в ту тоску, в то горе, с которым он во сне повалился перед старостой на колени. И, вытирая мокрое от слез лицо, засмеялся и твердо сказал себе:

– Нет! Пойду в избу! Задохнусь – туда и дорога...

А наутро и поневоле пришлось переходить. Внезапно пришла зима. И жизнь в Аверкии вспыхнула еще раз.

Ах, в зиме было давно знакомое, всегда радовавшее зимнее чувство! Первый снег, первая метель! Забелели поля, потонули в ней – забивайся на полгода в избу! В белых снежных полях, в метели – глушь, дичь, а в избе – уют, покой. Чисто выметут ухабистые земляные полы, выскребут, вымоют стол, тепло вытопят печь свежей соломой – хорошо!

И дочь приехала. «Точно почуяло ее сердце», – подумал Аверкий, хотя и знал, что приехала она к подруге на сговор. Белой курой несло над деревней; убеляя ее, гнилую и темную. Белы были косогоры и берега реки – только сама река, еще не застывшая, чернела, и по ней еще плавали белые гуси. А в сенцах избы стояла дочь, веселая и красивая. Теперь ей совсем не жалко было отца, – ведь все равно ему не встать. Осенью умерла ее девочка – это снова сделало ее молодой и свободной. Старуха готовила на нарах постель Аверкию. И дочь ждала ее, чтобы идти за отцом, на розвальнях перетаскивать его в избу.

Приехав, она скинула шубку, скинула шаль с головы на плечи и стояла на пороге в сенцах. В раскрытую дверь несло серебристой пылью. Она стояла в голубом шерстяном платье, от которого хорошо, душисто пахло. На волосах ее блестели остинки снега. Соседский теленок лез в сенцы. Она несколько раз выгнала его, потом выскочила на порог. Ей казалось, что она опять живет дома, у бабушки с матушкой, девкой. Ее радовало, что она знает, чей это теленок и кому нужно крикнуть о нем.

– Мишка, родимец тебя расшиби! – крикнула она, выскакивая на порог и радуясь, что может, как своя, тутошняя, не обидно ругаться. – Я за твоим быком гоняться не стану!

В сенцы, грызя подсолнухи, вошла подруга, та, на чей сговор она приехала, девка серьезная, с широкими черными бровями, тоже наряженная, в новом большом платке стального цвета с серебристыми листьями.

– Пойдем бабушку перевозить, – торопливо сказала ей дочь Аверкия. – Совсем помирает, за попом велел итить...

Аверкий, возбужденный и бессонной ночью, и первой метелью, и переходом в избу, – близкой смертью, – лежал в розвальнях и слушал, как холодно, по-зимнему шумит ветер, несущий белые хлопья, как шуршит сухой решетник, сквозь который дует он. Аверкий дрожал, ежился в своем истертом полушубке, накрытый для тепла пегими попонами, и все надвигал на лоснящийся лоб свою глубокую шапку. Лицо у него было ждущее, но глаза, большие, потемневшие, ничего не выражали. Он сам, своими силами, шатаясь и пьянея от слабости, перебрался из телеги на розвальни и с детским довольством думал: придут, чтобы переключивать его, – ай у него уж все готово, только за оглобли берись... Вдруг раздался звонкий голос дочери:

– Бабушка! Жив?

Дочь, увидя его, внезапно заплакала: так велик и древен показался ей этот живой покойник, с остатками жидких волос, отросших до плеч, в шапке, ставшей от ветхости каким-то высоким шлыком, вроде скуфьи, и в длинном армяке цвета сухого ржаного хлеба поверх полушубка. Он

поздоровался с ней чуть слышно. И, опустив глаза, она почти без помощи подруги потащила розвальни к избе. И по белоснежному покрову потянулись от риги до избы две черных полосы – траурный след полозьев, все лето стоявших на влажной земле.

IX

На дворе сизели сумерки, но еще светло было, бело от снега. А изба уже наполнилась сумерками.

В сумерки, весь в снегу, нагибаясь па пороге низкой двери, вошел в избу священник.

– Где он тут у вас? – бодро крикнул он, и голос его раздался, как голос самой смерти.

В таком страхе встала с лавки старуха. (Дочь, не думая, что конец отца так близок, ушла на сговор). Упираясь дрожащими руками, приподнялся и сам Аверкий и замер в ожидании, как вставший из гроба. В темноте мертвенно-бледно синело его ужасное лицо. Взглянув на него, священник понизил голос и быстро, с испугом, таким тоном, точно вошел в избу еще кто-то, для кого все это и делалось, – сам бог как будто, – сказал:

– Шапку-то, шапку-то сними! – Аверкий стащил ее, положил на колени...

Потом затеплилась желтым огоньком восковая свеча. Исповедовавшись, причастившись, Аверкий чуть слышно спросил:

– Батюшка! Ну, как по-вашему, – вы это дело хорошо знаете, – есть уж она во мне?

И священник ответил ему громко и поспешно, почти грубо:

– Есть, есть. Пора, собирайся!

Не глядя на старуху, он поймал ее руку, в которой уж давно отпотел приготовленный двугривенный, и поспешно шагнул за порог. Старуха, перекрестившись, подошла к нарам и стала, подпирая рукой подбородок, наглядываясь в последний раз на того, кого она так мало видела при жизни... «Пора, пора!» – крикнул на него священник. И он покорно лег на спину, зажав свечу в костлявых пальцах. Сердце его млело, таяло – он плыл в тумане, в предсмертной зыби. Желтый дрожащий свет скользил по его пепельным губам, сквозившим в редких усах, по блестящему острому носу, по большим лиловым яблокам закрытых глаз. Чувствуя чью-то близость, он сделал над собой усилие – хотел что-то сказать и приоткрыл глаза. Но только дрогнуло его лицо. Может, его пугал и беспокоил этот свет, эта черная дрожащая тьма, напоминающая церковь? И старуха, думая, что до конца еще далеко, тихо вынула свечу из рук Аверкия и, дунув на нее, села возле него.

И в тишине, в темноте Аверкию стало легче. Представился ему летний день, летний ветер в зеленых полях, косогор за селом и на нем – его могила... Кто это так звонко и так жутко кричит, причитает над нею?

– Родимый ты мой батюшка, что ж ты себе думал, что ты над нами сделал? Кто ж будет нами печалиться, кто будет заботиться? Родимый ты мой батюшка, я шла мимо вашего двора: никто меня не встретил, никто не приветил! Я, бывало, батюшка, иду мимо вас – ты меня встречаешь, ты меня привечаешь! Уж ты грянь, громушек, просветися, молонья, расступися, мать сыра-земля! Уж вы дуньте, ветры буйные, – вы раздуйте золотую гробовую парчу, распахните мово батюшку!

«Ах, это дочь!» – подумал Аверкий с радостью, с нежностью, с затрепетавшей в груди сладкой надеждой на что-то...

Умер он в тихой, темной избе, за окошечком которой смутно белел первый снег, так неслышно, что старуха и не заметила.

Капри. 22 февраля 1913

Лирник Родион

Рассказывал и пел этот «Стих о сироте» молодой лирник Родион, рябой слепец, без поводыря странствовавший куда бог на душу положит: от Гадяча на Сулу, от Лубен на Умань, от Хортицы к гирлам, к лиманам. Сказывал и пел на пароходике «Олег» в Херсонских плавнях, в низовьях Днепра, в теплый и темный весенний вечер.

Из конца в конец Днепровья странствовал и я в ту весну. В Полтавщине она была прохладная, с звонкими ветрами «суховеями», с изумрудом озимей, с голыми метлами хуторских топо-

лей, далеко видных среди равнин, где, как в море, были малы и терялись люди, пахавшие на волах под яровое. А на юге тополя уже оделись, зеленели и церковно благоухали. Розовым цветом цвели сады, празднично белели большие старинные села, и еще праздновали, наряжались молодые казачки: еще недавно смолк пасхальный звон, под ветряками и плетнями еще валялась скорлупа крашенных яиц. В гирлах же было совсем лето, много стрекоз вилось над очеретом, много скиггило рыбалок, отражавшихся в серебристых разливах реки.

На юг, в Никополь и дальше плыл я на этом «Олеге», очень грязном и ветхом; весь дрожа, все время дымя и поспешно шумя колесами, медленно тянулся он среди необозримых камышовых зарослей и полноводных затонов. В первом классе «Олега» никого не было, кроме какой-то девицы, знакомой капитана, державшейся особняком. Во втором было несколько евреев, с утра до ночи игравших в карты, да какой-то давно не бритый, нищий актер. А на нижней палубе набилось душ полтора хохлушек, плывших куда-то па весенние заработки. Днем у них было шумно, тесно, жарко; дном они ели, пили, ссорились, спали. Вечерами долго сумерничали, разговоры вели мирные, задумчивые, вполголоса пели.

Этот вечер был особенно прекрасен, особенно располагал к тому.

По палубе бродила, останавливалась и притворялась залюбовавшейся облаками на закате знакомая капитана. Она накинула на голову зеленый газ, тонкий, как паутина, обвила его концы вокруг шеи, и сумеречный ветерок чуть играл ими. Она была в прозрачной кофточке, высока и так хрупка станом, что, казалось, вот-вот она переломится. Одной рукой она придерживала газ, другой – юбку, обтягивая ею ноги. А за нею все время следил актер.

Актер боком прислонился к спинке скамьи и закинул ногу на ногу, как бы показывая, что он ничуть не стесняется своими ужасными ботинками. Он поднял воротник клетчатого пальто с широким хлястиком на поясице, надвинул на лоб широкополую шляпу и, шевеля тросточкой, поводил глазами.

Девица гуляла, останавливалась, будто и не замечала его. Но взгляды из-под широкополой шляпы делались все пристальнее. Внезапно, вздрогнув, как бы от вечерней свежести, она вскинула брови, подхватила юбку и будто беззаботно побежала по трапу вниз. И, прикрыв глаза, актер притворился дремлющим. За мягкой чернотой правобережья, его ветряков и косогоров, слившихся с затонами, с густыми камышами, медленно блекли в чем-то сумрачно-алом слабые очертания мутно-синих облаков. В вышине проступали мелкие, бледные звезды. «Олег», дымя, дрожал и однообразно шумел колесами... И вот, вполслуха, стройным хором, запели хохлушки, выпавшие за день.

Я в те годы был влюблен в Малороссию, в ее села и степи, жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его. Пел он чаще всего меланхолично, как и подобает сыну степей; пел на церковный лад, как и должен петь тот, чье рождение, труд, любовь, семья, старость и смерть как бы служение; пел то гордо и строго, то с глубокой нежностью. С ярмарки на ярмарку, в передвижениях гуртами на работы часто сопровождали его бандуристы и лирники, наводившие мужчин на воспоминания о былой вольности, о казацких походах, а женщин на певучие думы о разлуках с сыновьями, с мужьями, с любимыми. Бог благословил меня счастьем видеть и слышать многих из этих странников, вся жизнь которых была мечтой и песней, душе которых были еще близки и дни Богдана, и дни Сечи, и даже те дни, за которыми уже проступает сказочная, древнеславянская синь Карпатских высот. Родион, случайно пристравший к женщинам и плывший вместе с ними, был молод и безвестен. Он говорил, что даже не считает себя певцом, лирником. Но певец он был поистине удивительный. Если он еще жив, бог, верно, дал ему старость счастливую и отрадную за ту радость, что давал он людям.

Слепые – народ сложный, тяжелый. Родион не похож был на слепца. Простой, открытый, легкий, он совмещал в себе все: строгость и нежность, горячую веру и отсутствие показной набожности, серьезность и беззаботность. Он пел и «псалмы», и «думы», и любовное, и «про Хому», и про Почаевскую божью мать, – и легкость, с которой он менялся, была очаровательна: он принадлежал к тем редким людям, все существо коих – вкус, чуткость, мера. Голова у него была небольшая, темные волосы, ровно подрубленные в кружок, закрывали челкой лоб. Сухое, рябое лицо с закрытыми и глубоко запавшими маленькими веками без ресниц обычно ничего не выражало. Но лишь только он открывал рот, чтобы петь и играть, оно преображалось: одними движениями бровей и улыбками, озарявшими его лицо на множество ладов, он выражал тончайшие и разнообразнейшие чувства и мысли. Ростом он был невелик, плечи имел узкие, по-

катые и худощавые, пальцы тонкие и цепкие. Носил короткую сермяжную свитку, огромные сапоги. И чудесно, по-славянски краснела ленточка, которой завязывал он ворот своей сорочки из сурового холста.

В этот сумеречный и теплый вечер женщины начали со старинной казацкой песни о сыне и матери, ласково и безнадежно уговаривавшей его не губить своей молодости ради одной пьяной удали. Кончив ее протяжные, спокойные и грустные укоры, – «ой ти, сыну, мій сын, ты, дытына моя!» – долго не запевали другой; запели было в три голоса какую-то визгливую, мещанскую и тотчас бросили. Родион вполголоса заныл первую строку песни еще более старинной, чем о матери и сыне, – «край Дунаю трава шумить» – и вдруг окликнул кого-то какой-то прибауткой, и вокруг него радостно прыснули, покатались со смеху.

И долго только шутки, тихий говор слышались в дремоте теплой вечерней тьмы, среди ровного, уже ночного шума колес. Кое-где по смутно чернеющим берегам шли поздние огоньки. Впереди, на чуть видном затоне, между двух черных стен камыша, ночной рыбак лучил рыбу: спокойное отражение его огня в воде было похоже на зажженную длинную восковую свечу. Кто-то заговорил о Киеве. Может быть, глядя именно на это отражение, заговорили о Софиевском соборе, о Михайловском, – многие впервые побывали на этом пути в Киеве – и стали с умилением дивиться их красоте и ужасаться картинам Страшного суда, которыми славятся многие киевские церкви. Тогда, как бы продолжая их мерную речь, медленно и певуче заныла, заскрежетала и зажужжала старая лира Родиона.

Он как бы тоже перебирал в своей памяти картины соборов, проходов под златоверхими колокольнями, темных и тесных полуподземных приделов. И, дойдя до картин судных, усилил тон: лира его зажужжала и запела смелее, тверже. Послышались вздохи, слабые восклицания нежности и грусти. И он еще усилил – и сквозь восточную, степную меланхолию мотива ясно проступило подобие органного хорала. Он почувствовал, понял, что именно должен спеть он для своих слушательниц, и стал им, матерям и невестам, сказывать нечто самое близкое женскому сердцу, – о сироте и о мачехе, – мешая органные угрозы и назидания с песней, с мягкими славянскими укорами.

– Ой, зашуміли луги ще й бистріп рікі, – вздохнул и строго сказал он, возвысив голос и заглушив лиру.

И пояснил, снова уступая место ее звенящему жужжанию:

– Померла матинка, zostалися діти...

Потом он просто и серьезно стал напоминать женскому сердцу, – сердцу и беспощадному и жалостливому, – какова она, эта сиротская доля. Отец, сказал он, тот утешится:

– Отец жону знайде, буде в парі жити...

А сиротам никто не заменит родной матери:

– Нещасні сіріткі – ті підуть служити...

Но не спасет их, сказал он, никакая служба, никакая самая старательная работа:

– Що сірота робить – робота ні за що, а люди говорять: сірота ледащо!

Одним тоном слов и лиры он дал трогательный образ всем чужого, всем покорного ребенка, стриженной, босой, в грязной сорочке и старенькой плахе девочки. Она долго опускала заплаканные глазки, долго надеялась терпением и непосильным трудом снискать милость мачехи – но напрасно: даже родной отец, раб этой безжалостной, хозяйственной женщины, избегал глядеть на свою сироту, боялся хотя бы словом иступить за нее. А уж если родному отцу в тягость собственное дитя, то где же правда, где справедливость, где сострадание? Их надо искать по свету, по миру, паче же всего где-то там, куда скрылась мать, единственный нескудеющий источник нежности. – И, опять со вздоха возвышая свой грудной голос, опять усиливая звенящий тон лиры, Родион продолжал:

– Ой пішла сірїтка темніми лугами, – вмивається сірїтка дрібними сльозами. Не могла сірїтка мачусї вгодити, – ой, пішла сірїтка по світу блукати: по світу блукати, матінки шукати...

Сын народа, не отделяющего земля от неба, он просто и кратко рассказал о страшной встрече ее «в темных лугах», в светлые пасхальные дни, с самим воскресшим господом:

– Тай зустрів пі Христос, став пі питати: «Куди йдеш, сірїтка?» – «Матери шукати». – «Ой, не йди, сірїтка, бо далеко зайдеш, вже ж своєп матінки й по вік не знайдеш: бо твоя матинка на високій горі, тіло спочиває у смутному гробі...»

С великой нежностью, но все так же просто передал он горькую «размову» сироты с мате-

рю, – точнее говоря, с «янголем» (ангелом), отзывавшимся из могилы за усопшую:

– Ой, пішла сірїтка на той гроб ридати: чи не обізветься в гробу ридна мати? Обізвався Янголь, як рідная мати, та й став пі стихо, словесно питати:

– Хто це гірко плаче
На мойому гробі?
– Ох, це я, матинко:
Прийми мене к собі!
– Насипано землі,
Що вже ж я не встану,
Сліпилися очі,
Вже й на світ не гляну!
Ох, як тяжко, важко
Каміння глодати:
А ще тяжче, важче
Тебе к собі взяти!
Нема тут, сірїтка,
Ні їсті, ні піти.
Тільки велів господь
В сирій землі гніти!
Пішла б ты, сірїтка,
Може б просила:
Може б змілувалась –
Сорочку пошила...

И с непередаваемой трогательностью ответил ребенок ангелу-матери:

– Я ж пі просила, я ж пі годила. А злая мачуха сорочки не шила!

Как все истинные художники, Родион сердцем знал, когда надо сказать, когда помолчать. Сказав последние слова, он смолк, опустил незрячие очи, наслаждаясь горькими и счастливыми выдохами своих слушательниц. А насладившись, вдруг громко и радостно возвысил голос и развернул уже иные картины – картины Христова суда, его возмездия:

– Посилає Христос-бог Янголів от себе, – сказав он торжественно, чистым и звонким голосом. – Візьміть ту сірїтку до ясного небе, посадить сірїтку у світлому раю, у господа бога, у честі і славі!

И со скрежетом и пионом лиры далеко разлил свой зазвеневший от радостного гнева плач:

Посилає бог з пекла
По злую мачуху,
По злую мачуху
І по пі лучу:
Підніміть мачуху
У гору високо,
Закіньте мачуху
У пекло глибоко!

Кончив, он опять помолчал и твердо сказал обычным голосом, беи лиры:

– Слушайте ж, люде: хто сіроти мае, исхай доглядає, на путь наставляє.

И сказав, уже не нарушил молчания ни единым добавлением. Только долго покрывал сказанное однообразным нытьем, ропотом лиры, как бы смягчая силу впечатления.

Актер спал, прислонясь к скамейке. Выходила большая теплая луна, видно было его лицо, грустное во сне. Тускло золотились под луной дальние чащи черных камышей. Широкий золотой столб погружался в зеркальную глубину между ними, и жабы, чувствуя лунный свет, начали сладострастно, изнемогая, стонать в них, похохатывать. Следуя изгибам затонов, «Олег» все поворачивал; и тянуло то теплом, то сыростью, гнилью – весною, плавнями. Только крупные лучистые звезды остались в небе, и дым из трубы поднимался прямее, выше...

А записывал я стих про сироту в Никополе, в жаркий полдень, среди многолюдного базара, среди телег и волов, запаха их помета и сена, сидя вместе с Родионом прямо на земле. Диктовал Родион ласково и снисходительно, повторяя одно и то же по несколько раз, и порою останавливался, сдерживая легкую досаду, когда я ошибался. А чем я был виноват? Некоторые стихи он говорил то так, то сяк, кое-что улучшая по своему вкусу.

Когда мы кончили, он долго что-то додумывал, и солнце пекло его непокрытую голову, его незрячее, ничего не выражающее лицо. Потом с тонкой улыбкой намекнул насчет корчмы. Я положил в его ладонь несколько пятак. Он быстро зажал их своими цепкими пальцами, быстро приподнялся, сунув лиру под мышку, и, поймав мою руку, радостно и осторожно поцеловал ее.

Капри. 1913

При дороге

I

Устин, отец Парашкин, жил при большой Новосильской дороге.

Место, что он выбрал себе, отойдя от господ, было безлюдное. Ржи морями разливались по волнистым полям вокруг его степного двора. Во ржах за двором стояли два бесприютных дубка, шли неглубокие овраги, густо зараставшие к лету белыми цветами. Во ржах насупротив, за большой дорогой, терялся дубовый лесок; в той стороне было и село – однодворческое старинное село Баево, да волнистые поля скрывали его. До воли было много проезжих по большой дороге. Потом их следы, колеи затянулись, заглохли, закудрявились редкой мелкой муравой.

Устин давно вдовел, – говорили, что он убил жену из ревности, – жил не по-мужицки: не землей, а тем, что в рост деньги давал, сеял кое-что только для домашнего обихода, вокруг дубков и над оврагами, и даже скотины путной не держал: хороши у него были одни лошади. В избе хозяйничала сперва его любовница, вдова-однодворка, сероглазая красавица, потом старшая дочь, Евгения. Но Евгению, чуждую и немилую ему, он рано выдал и заместил работником, пожилым придурковатым мужиком Володей. А сам часто отлучался из дому – и росла молчаливая Параша одиноко.

Однажды, – ей шел тогда четырнадцатый год, это было как раз в то лето, когда Евгения переселилась в Баево, гнали по большой дороге порядочный гурт овец: часто так делают – покупает купец сто, двести голов на одной ярмарке и перегоняет их на другую, нанимая для того босяков, а для надзора за босяками посылая приказчика. Дотлевала летняя заря далеко позади хутора. Поджидая отца из города, Парашка сидела на пороге избы, глядела на вечерние поблекшие поля, на голый простор дороги. Овцы густой грязно-серой отарой медленно двигались мимо с тем неопределенным шумом, что производят и движение ног и дыхание их, с запахом своего руна и корма – степных трав и полыни! А за ними шли собаки с высунутыми красными языками, запекшимися и запыленными за день, оборванный высокий малый рядом с оборванным стариком и верхом ехал на белом горбоносом киргизе с кутузкой в руке, картузе на затылок, молодой мещанин.

– Здравствуй, красавица, – сказал старик, отделяясь от гурта. – Помоги нам, проходим, попроси у отца серничка...

Она долго не отвечала, разглядывая его. Он был без шапки, клоки ее были надеты на его скользкий костыль. Он положил на него крупные блестящие руки, удерживая их дрожь, и с трудом дышал. В лохмотьях рыжего пальто, надетого на голое тело и подпоясанного обрывком, в подштанниках и сбитых опорках, зелено-седой и кудлатый, мертвенно-бледный и с запухшими глазами, он имел вид яростный, но в хриплом его голосе была доброта, усталость. Видна была серая шерсть на его груди, видно было, как трепещет под грудью сердце.

– Отца дома нетути, – ответила Парашка, нагладевшись.

– Так я и знал, так я и знал, – сказал старик. – Все катается, а ты одна растешь... «Вечор наша перепелушка, – сказал он, глядя в землю, – вечор наша рябая всею ноченьку прокликала, всею, темную, протрюкала...» Как же нам быть-то, красавица?

Подошел малый, мелкой бойкой рысью подбехал верховой, по-степному поджимая ноги в стременах под брюхо своего толстогрудого киргиза, уморенного, но все горячившегося, зади-

равшего назад большую голову на крутой шее. Они поглядели на старика насмешливо, – знали его манеру разговаривать, – на Парашку внимательно. Малый был очень длинен и тонок, с покатыми плечами, с круглым кошачьим лицом, в сером арестантском картузе, а верховой – сухощав, но широк, очень смугл и с блестящими глазами.

– Я ее отца знаю, – сказал он, глядя с седла на Парашку, на ее маленькие ноги, загорелые плечи и грязную сорочку. – Богатый плуг... Ступай в печурке либо за образами поищи, – прибавил он строго.

Парашка, не сводя глаз с киргиза, короткого, плотного, все мотавшего тяжелой головой и грызшего желтыми губами слюнявые удила, вскочила с порога, сбегала в избу и вернулась с коробочком спичек. А мещанин тем временем слез со старого, сухого и замасленного казацкого седла, расправляя короткие ноги. Взяв спички, он молча пошел прочь, повел киргиза к остановившемуся с опущенными головами гурту. Но Парашка навсегда запомнила его пропыленный пиджак, лоснящиеся штаны, заправленные в сапоги с узкими голенищами, грязный ворот вышитой рубахи и то, что все лицо его было, точно порохом, усеяно синеватыми точками, что на смуглых скулах его вились редкие жесткие волосы, такие же редкие, жесткие и смоляные, как и над углами рта. Он взглянул на нее, уходя, и поразил ее силой своих твердых глаз. А старик, верно, заметивший это, сказал ей на прощанье странные слова:

– Ну, вот мы и жители... Прощай, спасибо тебе, красавица. Попомни, что сказал тебе страшный старый босяк: этот вор-мещанин может погубить тебя. Ты на таких-то не заглядывайся...

А потом на парах за дорогой, там, где заночевал гурт, долго пылал в темнеющей синеве вечера желтый жаркий костер. Ночь шла – отца все не было. Сидя на пороге, Парашка слушала, как Володя доит на варке, за сенцами, корову, и не спускала глаз с костра. «Вечор наша перепелушка...» – вспомнила она слова старика – и, чувствуя сладкую тоску их, видела темную-темную ночь и робкую перепелку, трюкающую в темном разливе хлебов... Все красней горел костер – и он, этот черноглазый мещанин, который мог погубить ее, был там, еще близко... Наконец ровный, успокаивающий звук отцовской тележки донесся до ее слуха. Она вскочила в темную избу и легла, притворяясь спящей. Отец подъехал к порогу, крикнул Володе; вошел и стал что-то вешать на стену. Зашумели сонные мухи в решетках и ситах возле печки.

– Батюшка! – негромко позвала Парашка.

– Аюшки? – отозвался отец вполголоса.

– Это какой босяк бывает?

– А разуйся хоть ты такая-то, вот тебе и будет босяк.

– Да он не босой. Он в полсапожках.

– Ну, знать, пропился догола. А где ты могла видеть его? Парашка рассказала о прохожих, умолчав о последних словах старика.

– Знать, бальмашевский гурт гонят, – сказал он, не слушая толком и перевешивая наборную узду с одного колка на другой. – То-то, я гляжу, костер горит...

– А отчего у него лошадь в крови?

– У кого это?

– У приказчика. Вся грудь в струпах.

– А это оттого, что она киргиц называется, – сказал отец. – Эти лошади, дочка, злые, горячие живут. Вот и секутся, сами себе кровь бросают... И тавро небось есть?

Парашка подумала.

– А какая она?

– А вроде печати... как печать выжжена на ляжке, чтоб видать было, что это не простая лошадь, а из тавра, из косяка киргицкого... Ну, спи, спи, коли поужинала, – прибавил он. – А я в холодную пойду, там закушу...

И, отворив окно, ушел в другую половину. В окно было видно летнее ночное небо в бледных звездах, чуть тянуло свежестью, смешанной с запахом гари потухавшего костра... И, волнуясь от этого запаха, что-то как будто напоминавшего, слушая отца, негромко говорившего под окном с Володей, Парашка заснула в чувстве того жуткого и манящего, что есть в неизвестных прохожих и проезжих людях, очарованная смутной думой о том, как погубит, как увезет ее куда-то вдаль молодой мещанин.

II

С тех пор прошло два года; пошел третий. Парашка изменилась. Мало-помалу она заняла свое место в хозяйстве, стала таскать, надрывая свой девичий живот, горшки и чугуны из печки, доить коров, обшивать отца... Но нрав ее менялся мало. Одно лето на нее напала страсть к селу. Она стала наряжаться, гостить у сестры, бывать с девками в хороводах, петь и плясать с ними, притворяясь бойкой. Потом бросила, опять почувствовала себя чужой селу, девкам, Евгении. Евгения тоже навещала ее, – она ходила солдаткой, детей не имела, вдового своего свекра не боялась. Но были обе они молчаливы, да и слишком разны во всем. Миловидную, на вид спокойную Парашку никто бы не назвал сестрой Евгении: та была крепка, плечиста, глядела из-под сдвинутых бровей, сжав губы; странно было видеть ее скуластое, короткое, решительное лицо рядом с нежным овалом нерешительного девичьего лица.

Близок был Парашке лишь отец. Ее любовь к нему росла с каждым годом. Но не простая, не спокойная была эта любовь.

Она любила отца застенчиво, той обостренной любовью, которой часто любят дочери вдовых отцов. Заменять ему мать, хозяйку, заботиться о нем, таскать для него горшки из печки было для нее радостью и гордостью. Но порой эта радость отравлялась болью – вспоминалась однодворка, хозяйничавшая когда-то в отцовской избе... В том страшном и малопонятном, что случилось между отцом и матерью о чем еще в детстве несвязным шепотом, с чужих слов, рассказывала Евгения, Парашка была на стороне отца. Но порою находило сомнение: да так ли, прав ли он был? – и тогда казалось, что не было на свете человека лучше и красивее матери. Отца Парашка мало видела, а понимала и того меньше постоянно чувствуя и робость и неловкость в разговоре с ним. Да и у всех он слыл не легким, не простым человеком Чистотою и правильностью черт, тонким станом, бронзовой бородкой и зоркостью зеленых глаз он напоминал старикам-дворовым объездчика-черкеса, жившего когда-то у господ его. Но и крестьянского немало было в его осторожных манерах, в неуклюжих сапогах, в густых кудрях, разобранных на прямой ряд, в вороте суровой рубахи и сермяжной поддевке. Он умен и приветлив был, даже добр, но все его побаивались: уж очень рассудителен. Приходили к нему из сел, из деревень за помощью. Он никому не отказывал. Он внимательно выслушивал, кивал головою, все приподнимая со лба свои бронзовые завитки. В глаза поглядывал не строго, но пытливо, поддакивал, никогда не перебивая, вполголоса. Лихву назначал скромную. Но ведь лихвой и жил он, а такие люди всегда страшны немного.

Вырастая, Парашка худела. В лице ее появлялось то неуловимое сходство с отцом, которое так нежно проявляется у дочерей, любимых отцами и на первый взгляд как будто и несхожих с ними. Многое одинаково затаивали, сдерживали они в себе, многое одинаково воспринимали: как, например, волновал их обоих вид цыганского табора, идущего осенью по большой дороге на низы, к югу!

– А я, мальчишкой, раз было убежал за цыганами, – сказал однажды Устин, усмехаясь.

– Да что же? Одумался? – спросила Парашка.

– Одумался. Без этого нельзя, дочка, – сказал Устин уже без улыбки. – Сгоряча делать не годится...

– Чего делать не годится?

– Да ничего, – ответил он не сразу и поглядел в сторону. – А то кровь в глаза кидается, беду творит...

Она поняла его, оробела и смолкла.

Но не только таинственностью отца, его прошлого, его разъездов и забот, о которых он никогда ни с кем не говорил, окружена была она. Осенью, зимою она много спала. Летом могла не спать хоть три ночи подряд. Любимым местом ее был порог, по часам сидела она на нем, чуть склонив к плечу голову. Далекую куда-то, в счастливую страну, направлялись все те, что порою проезжали, проходили мимо. Смело и внимательно глядя вперед, разметав по плечам свои чубарые от солнца волосы, где мочальные, а где темные, в скуфье, в подряснике, широко шагала стороной бродяга, отставляя на ходу свой высокий посох: она провожала его долгим взглядом, хоть и боялась бродяг, боялась, когда они сворачивали к хутору за подаяннем. Ровной рысцой, часто спотыкаясь и перхая, бежала посередине дороги захудалая помещичья тройка – звук дребезжащих рессор, дорожный вид запыленного тарантаса пробуждали в ней тоску, какие-то желания.

Гнали овец – она жадно всматривалась в провожатых, вспоминая беду, предсказанную ей... Морями разливались по полям ржи и овсы... Тень ложилась от избы. Впереди, за дорогой, блестящей мелкой муравой, густая рожь клонилась в ярком вечернем свете, лоснилась против солнца, уходившего за избу. Розоватые клубы юго-восточных облаков, нежных, чуть заметных, сливались выше горизонта с матовой лазурью небосклона... В эту сторону, томимая зовом степной дали, она смотрела чаще всего.

А любовь – это слово она узнала и почувствовала рано и тоже не просто. Еще в детстве поразило оно ее. Однажды, в жаркий летний полдень, сидела на камнях возле Устинова амбара мещанка из Баева, пьяница и бобылка. Она разложила возле себя спички, жестянку с махоркой, курила и глядела на Парашку, возившуюся в пыли возле нее. «Что ж, отец не прогнал еще любовницу-то?» – сиплым таинственным шепотом спросила она. И Парашка навсегда запомнила это особое слово и наитием угадала его сокровенный смысл. С тех пор всякий раз, когда случалось ей не вовремя забежать в избу и видеть на коленях у отца однодворку, сладким страхом и стыдом обжигало ее. А потом от сестры, от сельских девок стала она заучаться песням. Во всех песнях говорилось о том же, об одном – о любви. И она пела их, но мысленно – так трогали они ее, особенно одна, старинная: «Уснул, уснул мой любезный у девушки на руке, на кисейном рукаве...» Все подруги готовились только к одному – к замужеству, к жизни, к близости с мужем. Рано стало волновать, страшить и ее предчувствие этой близости. Сестра просто говорила: «Батюшка распутный, он опять с кем-то живет. Сто рублей отдам, а дознаюсь!» А Парашка и сама бы не взяла ста рублей за то, чтобы дознаться о любовнице отца, хотя думала о ней дни и ночи. Сестра, когда угнали ее мужа в солдаты, вскоре пришла однажды на хутор. «Батюшка дома?» – глухо крикнула она, подойдя к замерзшему окну. Потом вошла, села на лавку, стала есть хлеб и все говорила, что она на минутку, все поглядывала на входившего и выходившего Володю, высокого худого мужика. Он, роясь на лавке в веревках и вожжах, картаво бормотал: «Сто ж не раздеваешься?» А сестра медленно мотала головой, закутанной в пеньковый платок: «Я на минутку...» Была она в промерзлых лаптях, в красной юбке грубой шерсти, в сермяжной куртке, туго застегнутой на полной груди, и крепко пахло от нее, крепкой, здоровой бабы, избяным дымом и ржаным хлебом, который она не спеша жевала. «Ох, что ж это я сажу-то!» – говорила она. И вдруг поднялась и решительно вышла, но не домой, а в сени, к Володе. Парашка кинулась к двери и замерла, прильнув к ней ухом. Бежали минуты за минутами, все гуще сеял кто-то ночную муть в избе, и ни звука не слышно было за дверью. Но Парашка, казалось, все видела, все слышала...

III

Заменив отцу мать и хозяйку, она стала чувствовать себя взрослой и порою заводила с ним беседы.

Раз зимним вечером он перебирал возле лампочки, коптившей на столе, какие-то истертые бумажки, вынимая их из-за пазухи, из кармана поддевки. Он напряженно соображал что-то, шевеля губами, и писал огрызком карандаша, ложась грудью на стол, отодвигая рукав и долго ерзая по бумажке, перед тем как вывести цифру. Она, сидя возле печки, пряла: сучила, доила нитку левой рукой, а правую отставляла – ловко пускала до самого пола волчок веретена. В пестреньком ситцевом платье, с раскрытой головой, с опущенными ресницами, она была хороша: она сама чуяла это по тем странным и ласковым взглядам, что порою, отрываясь от работы, кидал на нее отец. Она сидела на скамье легко и спокойно, чуть раздвинув округлые колени, с мягкой силой нажимая носком левой ноги на приступку прялки, и жужжала колесом.

– Батюшка, – сказала она вдруг, – ты всегда был такой красивый?

– А что? – спросил он, по своему обыкновению, вполголоса. – Всегда. А что?

– Чего ж тебя мать не любила?

– А кто тебе это сказал?

– Да уж я знаю, – ответила она загадочно.

Он помолчал, стал прятать бумажки за пазуху и застегивать крючки поддевки, мотнул головою, откидывая со лба завитки волос.

– Ты того, дочка, не слухала бы, – сказал он негромко.

– Ты, говорят, убил ее... За что? За любовника?

– И этого не надобно говорить, – сказал он еще тише. – Вот ведь я ни о чем не пытаю тебя. Она подумала.

– Да меня что ж пытаться? Я вся наружи...

– Толкуй! – сказал он. – Ты вся в нее. Она покраснела.

– Ан в тебя... Я тебя в свете ни на кого не променяю!

– Променяешь, дочка...

Она вспомнила мещанина, провожавшего овец, летний вечер, который казался теперь таким далеким и прелестным, старого, желтозубого, но горячего киргиза, его сильную грудь в рубцах засохшей крови... А он продолжал задумчиво:

– Рано тебя никому не чаю отдать. Для тебя, дочка, для тебя одной с утра до вечера бьюсь. Буду ждать, высматривать человека хорошего, нужного.

– У тебя ж есть любовница, – прошептала она.

– Все пустое, все пустое, – ответил он, не повышая голоса. – Все тебе, это постороннее. С отцом стыдно об этом балакать...

Она заплакала. Он подошел, обнял ее голову, поцеловал в волосы. Сквозь тонкую кожу его проступил румянец, зеленые глаза горели ярко и нежно. Она успела взглянуть в них, когда он, обернувшись, пошел вон из избы, и заплакала от какой-то непонятной радости и еще более непонятного горя. Ах, да кто ж мог быть лучше его!

Она худела. Но округлялись ее руки, ноги, приподнялись маленькие груди, глянцевитое и гуще стали волосы. Купаясь, она стала стыдиться своей наготы... Скоро, скоро станет она невестой, будут приезжать сваты к отцу, узаконится ее право любить и выбирать... хотя, конечно, никогда, ни за кого на свете не выйдет она... Сестра сделалась откровеннее с нею, – это льстило ее самолюбию. Сестра открывала ей тайны любви, она ждала мужа и говорила, что никак не дождется его. Хотелось и Парашке поговорить о себе, о своих думах, о своей истоме. Хотелось намекнуть, что и про Володю она знает... Провожая сестру, она долго стояла на порою. Пели петухи – она слушала их, закрывая глаза. Дремал сумеречный мартовский туман над серыми снегами полей – ей казалось, что уже слышно в тумане карканье первых грачей. Убегала в туман, пропадала в нем зимняя дорога – и влекла к себе, тянула вдаль. Капали капли, куры стояли под ними, тоже дремали – и вдруг начинали тревожиться, кудахтать сквозь дрему. С веселой притворной яростью играл, взвиваясь на цепи под амбарами жарко дышавший пес... Резко вздрогнув, она вбегала в избу.

Но в теплой избе только Володя делил ее одиночество. Володя, живший уже пятый год, был страшен и противен ей – с того самого вечера, когда Евгения вышла к нему. Но ведь она так часто оставалась наедине с ним... Она знала, что никогда не решится он тронуть ее, – отец убил бы его, – но ведь думала же она об этом... И сладость тайных дум ее даже увеличивалась страхом и отвращением к Володе. Он наружно был даже недурен, – пожилой, но стройный, легкий, как малый в двадцать лет. Иногда она пыталась разговориться с ним о чем-нибудь, не касающемся хозяйства, о селе, о девках, о ребятах. Он задумывался. Он бросал веревку, которую вил, сидя на конике, вертел сигарку. Серое худое лицо его склонялось, прядь серых волос падала на узкий лоб – он был красив. Но вот он открывал рот – и сразу превращался в дурака. О чем бы она ни заводила речь, он сводил на то, кто у кого живет в работниках и, главное, сколько жалованья берет.

– Хоросую, хоросую залованью получает, – бормотал он косноязычно, и от бормотанья усы его делались слюнявыми.

А когда дул южный весенний ветер, съедая таявшие снега, и она делалась тревожнее, он видел и чувствовал это. Он входил в избу, как будто по делу, вешал или снимал оброть с деревянного гвоздя в стене, нарочно мешкал, начинал шутками: «Где-й-то тут оброть покрепче, пора тебя обротать, к бычку весть...» Она странно и звонко смеялась. Он проходил мимо, внимательно посматривая на нее. Она встречала его глаза широко раскрытыми ждущими глазами. Казалось еще минута, и она будет в полной его власти. Но, как только он протягивал руки, брови ее резко вздрагивали, лицо искажалось и вспыхивало. Она вскакивала и с той внезапной грубостью, которой так часто ошеломляют мужчин девушки, тонко вскрикивала, хватаясь за что попало:

– Тронь только, всю морду расшибу! Батюшке скажу, только на порог ступит! Духу твоего тут не останется, побирушка, черт!

IV

Пришла весна. Серый снег съедали ветры и туманы, пегими стали мокрые поля. Кончилась Страстная неделя, наступила великая суббота. В пасмурный вечер Парашка поехала с отцом в село, к церкви, уже на телеге. Неприютно гудели голые лозинки на окраинах села, из-за них, в неверном вечернем сумраке, глядели сине-белесые тучи, грозя дождем, делая горизонты зловещими. Но в ледяном ветре, что дул из-под туч, была весна, свежесть. Лицо Парашки горело и от ветра, и от румян, и от волнения, – от того, что она искупалась, надела все чистое, нарядилась и села в новую телегу, рядом с красивым, богатым отцом, который правил дорогой сытой лошастью.

На широкой улице было грязно, лежал горбами лед. Вечер в селе, на улице, вдоль которой уже горели огни по избам, уютным, но бедным и чужим, казался еще нелюдимее. Но и в этих ранних огнях, и в хлопьях снега, которые внезапно погнал ветер вдоль улицы, странно убеляя ее грязь, ее темные крыши, – во всем был весенний праздник. Жмурясь от снега, Парашка и Устин нагнули головы. Изредка Парашка взглядывала исподлобья – и сердце ее заходило от непонятной радости при виде милого отцовского лица, его тонкой кожи, помолодевшей от ветра, блестящей бороды в крупных снежинках и мокрых ресниц... И вдруг кто-то громко крикнул над ними:

– Ай ослеп? Держи правее!

И, раскрыв глаза, Парашка увидела высокую лошадь и телегу с передком, а в телеге – поднявшего ворот чуйки и тоже согнувшегося от ветра и снега мещанина. Он взглянул на нее – и она мгновенно признала его.

– Чего кричишь? – ответил Устин веселым криком. – Завтра праздник большой!

– Виноват, Устин Прокофич, – отозвался мещанин. – Ничего не видно....

И телеги разъехались.

Долго помолчав, Парашка спокойно спросила:

– Ай ты его знаешь?

– А кто ж его, плута, не знает! – ответил Устин. – Он у Бальмашева на хуторе жил, теперь свое дело затевает, кружится, как вор, хочет в селе лавку открывать...

Парашка запихнула лицо шалью, задержала дыханье... Сердце ее колотилось, лицо стало серьезно...

А на Святой мещанин приехал в гости к Устину. За три года он ничуть не изменился, только беспокойнее стали его глаза. И одежда на нем все та же, только чист был ворот рубашки. Она узнала, что зовут его Никанором, из его разговоров с отцом поняла, что он еще гадает: не уехать ли «на низы», в Ростов. Он пил с Устином чай и водку. Она не вникала в то, что он говорит, слышала только звук его четкого голоса. Не поднимая глаз, она, набеленная, нарумяненная сидела в углу и грызла подсолнухи, как бы не замечая гостя. Не замечал, или делал вид, что не замечает, и он ее. Прощаясь, он протянул ей руку. Она не привыкла касаться чужих рук, подала ему свою неловко – и побледнела: и польстило ей это рукопожатие, и обожгло стыдом, точно это было начало тайного сближения их.

После этого он долго не показывался. Она по целым дням стояла на пороге и нетерпеливо, с настойчивостью и требовательностью подростка, ждала его. Ей казалось, что он обязан, должен теперь приезжать и продолжать то, что начал, хотя и понимала, что он ничего не начинал. «Как только он приедет, – думала она, – повернусь и уйду, покажу, что не нуждаюсь им...» Но прошел месяц, завернули майские холода с дождями – его все не было. Накануне Николы она почему-то особенно ждала его, так томилась желанием видеть его, что, казалось, не может не исполниться ее желание. Спать она легла рано и плакала так зло и горько, что намокла вся ее подушка, но так беззвучно, что отец, спавший в двух шагах от нее, и не подозревал о ее слезах. Он только слышал, что она перевертывалась, и порою спрашивал странным и тревожным голосом, что это она не спит.

Утром отец уехал куда-то. Она увидела стекла, залитые дождем, и почувствовала, что уже ничего не ждет, ничего не хочет, что просто ей приятно вставать, прибираться избу, топить печь, заниматься обыденными делами. К вечеру она нарядилась, воткнула два сухих василька в косу, обвитую вокруг головы, и вздумала поставить самовар.

Дождь перестал. Все было мокро – и зеленая дорога, и зеленые хлеба, за которыми влажно-

синими стенами стояли тучи, на все бросая тень свою. Самовар кипел, краснел решеткой в темных сенцах. Она вышла из избы с закопченным чайником в руке, напевая: «Страшно итить к суду божьему, золотой венец примать...», и стала ждать, пока самовар раскипит еще больше. Со двора перешагнул порог Володя, свежо пахнувший дождем и затхло – мокрым армяком. Но только что хотел он подойти к ней, как возле рамы двери показалась голова чьей-то высокой лошади. Володя твердо прошел дальше, отворил дверку наварок и скрылся, а она замерла, не поднимая глаз.

– Здорово! – смело сказал мещанин, появляясь на пороге. – Ловко попал, прямо под чай...

И, засмеявшись, снял и отряхнул картуз. Черная поддевка его лоснилась от дождя. Смуглое лицо, точно посыпанное порохом, было мокро.

Она не ответила и вспыхнула: он говорил теперь совсем не тем тоном, что при отце. Помолчал и он, – слышно было, как спросонья заворковали в темном углу под крышей голуби, – потом подошел к ней и, глядя на самовар, спросил:

– Отца нету?

– Нету, – ответила она тихо, склоняя голову, на которой синели два цветочных венчика.

– Жалко, – сказал он и похлопал кнутом по голенищам. – Так ты одна и спасаешься?

– Так и спасаюсь, – ответила она, слабо улыбнувшись.

– Ну, да ничего, в другой раз заеду, – сказал он. – Благо придирка есть... Я прямо сам не свой, как соскучился по тебе, – добавил он.

Она помолчала.

– Не веришь? – сказал он, осторожно обнимая ее. – А я правду говорю. Я в тебя влюбился еще в тот раз, когда гурт гнал. А увидел тебя в селе, ослеп от радости, чуть в буерак не заехал. Я прямо почувствовал: быть роману промежду нас, а не то мне прямо пропадать!

– Я эти побаски слыхала, – с трудом ответила она. – Пусти, – бесстрастно сказала она, локтем отводя его руку.

Но он не пустил, он знал, что еще не слыхала она этих побасок. Он крепче обнял ее и горячо заговорил:

– Дай бог мне без покаянья помереть, если брешу! Не видать мне отца-матери...

Она молчала. Ей казалось, что она вот-вот упадет. Он воровски оглянулся, нагнул голову, нашел ее губы и откинул ее лицо назад. У нее перехватило дыхание от насильственного и долгого поцелуя. Потом он с притворным отчаянием махнул рукой и пошел к порогу.

– Ну, теперь шабаш мне! – сказал он, садясь в телегу. – Потерял я свой покой навеки...

И шибко погнал высокую лошадь по ярко-зеленой траве на тучу, тень которой уже мешалась с сумерками.

Скоро он скрылся за перевалом, и стало так тихо, что как будто в двух шагах раздавался бой перепелов, перекликавшихся в самых дальних хлебах, за чуть синевшим леском.

V

Он заезжал еще два раза, но все не вовремя: Устин был дома. И она притворялась, что не замечает его, пока он деловито болтал с Устином. От напрасного желания увидеть его хоть на минуту глаз на глаз она ходила как пьяная.

Вернулся солдат, муж Евгении. С женой, отцом и с мачехой он приехал Петровками в гости к Устиану на толстой, низкой соловой лошади, в новой телеге, крытой новым войлоком и по колесам облитой свежим коричневым дегтем. Отец солдата, коротконогий мужик в черной бороде с сединой возле рта, странно веселый человек, не стыдясь женатого сына, женился в третий раз на хромой бабе с дерзким взглядом и острыми грудями. И всем было неловко за него, да и сам он был весел и разговорчив, вероятно, от неловкости. От неловкости неумеренно пили за обедом. Ели тоже неумеренно, угощая друг друга с излишней настойчивостью, говорили без толку, чаще всего загадками, намеками и пословицами. Парашка весь обед боялась, что вот-вот разразится ссора. Все быстро захмелели, кроме Евгении, которая только бледнела от водки и грубо, властно вырывала стакан у своего пьяного солдата, притворявшегося злобным и серьезным. С губ Устина не сходила ядовитая усмешка, когда он вполголоса, но твердо, перебивая все объяснявшегося ему в любви солдата отца, говорил ему пословицы и загадки, намекая на бесстыдство троюженцев. Хромая была дерзка и криклива, она тоже так и сыпала пословицами, об-

резая Устина. Володя пытался перевести беспорядочный и тревожный разговор на свое любимое, на беседу о работниках и жалованье. Его никто не слушал. Он неприятно покраснел, стал со слезами кричать песни. Устин молча взял его за плечи, подвел к двери и вытолкнул вон. Он ушел на варок и, свалившись в сани, заснул мертвым сном. У Парашки; измученной ожиданием ссоры, как от угара замирало сердце.

После обеда пили чай и водку перед избою, в тени, на зеленой траве. Потеряв во хмелю всякий стыд, отец солдата, шатаясь, принес из своей телеги гармонию, стал совать ее в руки солдату, требуя играть плясовую. Солдат, с помутившимися глазами, в расстегнутом мундире, сидел на скамье возле стола и раскачивался, каждую минуту готовый упасть. Он долго не понимал, чего требует отец. Наконец понял и бешено, отрывисто задергал «кабы курочка бычка родила...». Троеженец подsunул руки под черный армяк за спину, присел, раскорячился, забил сапогами в землю. Ударив в ладоши, сделала перед ним выходку хромая, затрясла своими козыми грудями. Лицо Евгении окаменело от сонной злобы. Устин облокотился на стол, запустив тонкие пальцы в свои бронзовые завитки, стиснув зубы. В углах его губ так и застыла ядовитая усмешка. Сумрачным весельем играли глаза.

– Дочка! Поди сюда! – крикнул он строго, не в лад со словами сдвигая брови. – Поди поцелуй меня!

– Ты пьяный, – ответила Парашка. – Глаза б мои на тебя не глядели!

Губы ее задрожали. Она повернулась и ушла за избу. За избой слепило низко опустившееся солнце. Блеснув крыльями, с дубков слетели, пали в рожь, в неглубокие лужи, заросшие цветами, две горлинки... Как тихо было тут после гама пьяных! Простор хлебных полей был к закату неоглядный, золотой, счастливый... Парашка села на межу и дала полную волю слезам.

Наплакавшись, она решила вернуться к избе и, с помощью сестры, прекратить это безобразие – растащить пьяных, убрать водку, самовар. Была уже ночь – светлая, странная. Высоко на небе громоздились огромные матовые облака – небо казалось больше и величественнее, больше и зеркальнее казалась и высокая луна, сиявшая среди них. По широкой дороге, по хлебам пятнами проходили тени. Грядка телеги, стоявшей перед избою, и солома в ней серебрились. В телеге лежал отец солдата – боролся и ссорился с пьяной женой. У стола валялась опрокинутая скамейка. Самовар блестел медным боком, тускло блестела лужа на столе: кто-то выдернул кран из самовара. Под навесом амбара, как будто радуясь то сиявшей, то таявшей луне, играл, взвивался и давился на цепи жарко дышавший пес. Парашка заглянула в избу. Солдат сидел за столом, облокотясь на обе руки и положив на них ошалевшую голову. Он что-то бормотал. Мухи сонно и угрюмо шумели в решетках и ситах, развешанных на стене возле печи. А солдат что-то кому-то рассказывал, хвастался, что он, в силу своего значения, «присвоит» к какому-то барину какого-то Якова Иваныча...

Но где отец, Евгения? Парашка повернулась, вышла в сенцы, на порог. Высокая теплая луна ярко сияла среди матовых облачных громад. Против порога стоял, держа в одной руке повод, в другой кнут, мещанин, сзади него – его высокая лошадь под седлом. Лицо его от лунного света меняло выражение.

– Отец твой совсем готов, на девятом обруче, – с усмешкой сказал он онемевшей от страха Парашке, – Сейчас встретил во ржах: пьян хоть выжми, буровит – «в село иду», а Евгения его назад тащит...

Парашка молчала. Он бросил повод, взял ее ледяную руку в свою, горячую и крепкую, втянул ее в темные сенцы. Она вошла, упираясь. Он прижал ее, тупо глядевшую через его плечо на дымчато-зеленую полосу лунного света, падавшую сквозь дыру крыши в темноту, притиснул к холодной каменной стене и стал целовать ее лицо, приговаривая:

– Погоди, за ради бога погоди... «Энтих нету уж дён, что летели стрелой, что любовью нас жгли, что палили огнем...» Я памяти по тебе лишился! Увезу тебя в Ростов, повенчаюсь там с тобой, вдаримся мы в степя, – на одних лошадях тысячи наживем... Лучше всякой модистки будешь наряжена!

Она вспомнила его таким, каким увидела впервые, – среди овец и собак, на старом, тавренном киргизе, – обняла его за шею одной рукой, вся задрожала от счастья и нежности, спрятала лицо на его груди, Он приподнял и положил ее на солому.

Придя в себя, она долго сидела на соломе в этом темном углу. Мещанин пытался целовать ее, что-то торопливо говорил. Она оттолкнула его, замотала головой, показывая, что не слушает. Он воровски выглянул из сенец, быстро сказал, что приедет завтра ночью, что она должна выйти к нему под дубки за избой, что у него есть большое дело к ней... «Приду, приду», – ответила она. «Смотри же не обмани», – сказал он неестественно, поняв, что она не придет. Слышно было, как звякнул он стремями, поднимаясь в седло, как затопталась на месте и тронула лошадь... Она то глядела на полосу лунного света, то опускала глаза.

Когда мещанин, обернувшись, сказал ей: «Смотри же, не обмани», – она вдруг увидела в окошечке, пробитом в дверке на варок, шапку и лицо Володи. Это было так страшно, как если бы сама смерть заглянула в сенцы. «Да теперь все равно!» – подумала она. Сердце ее билось так сильно, что трудно было дышать. Высоко поднимая и опуская грудь, она прижимала к нему руки. Но все это не мешало ясности мысли. А мысль была проста: она пропала! и так страшно, неожиданно, как бывает это во сне!

Несколько дней после праздника Устин хмурился: стыдно, дюже напился. А она изнемогла от слабости, разбитости во всем теле и желая лежать с утра до вечера. Но нужно было ходить, быть бодрой и покойной, даже шутить за обедом с отцом и с Володей. Думала же она с утра до вечера все одно и то же.

Устин уезжал и приезжал. Казалось, что, посиди он дома, никуда не спеша, не волнуя ее своими отъездами и приездами, она бы пришла в себя и выдумала бы какой-нибудь исход, какое-нибудь подобие спасения. Было страшно, что он, посидев дома и приглядевшись к ней, все поймет; но и хотелось, остро хотелось порою, чтобы он понял: тогда бы само собой как-нибудь развязалось все это. Казалось, что, будь дождливо, сумрачно, было бы легче. Но настали дни светлые, знойные и бесконечно-долгие; близилась рабочая пора, стали поспевать, желтеть моря отяжелевших и подсохших хлебов, – и некуда было скрыться от света и зноя. После того нечаянного праздника, что нарушил будни в хуторе, хутор стал как будто еще молчаливее, и напряженная тишина стояла вокруг него в желтых и светлых полях.

Она по целым дням сидела на лавке возле стола в жаркой и пустой избе, глядя на несметных мух и мельчайших новых мушек на горячих мутных стеклах. Володя ничего не делал, но, как всегда, имел озабоченный вид, отыскивал какие-то пустяковые занятия и входил в избу. А входя, был прост, как будто ничего не случилось, только прекратил любовные попытки. Что это значило? Верно, он ждал какой-то удобной минуты и надеялся, что теперь уже не даст промаху. И Парашка горько усмеялась: вот дурак! Взял бы лучше да рассказал отцу все, что видел!

Однажды в полдень, когда в мягком светоносном блеске млели в высоком млеющем небе, над хлебами и нагретой пыльной дорогой, чуть видные сияющие облака, возле амбара остановилась пара лошадей. В тележке сидела полная барыня, которая, как знала Парашка, много была должна Устину. Вид у нее был усталый, озабоченный, на сером лице и на крыльях носа пыль. Она задумчиво говорила все одно и то же, что не застала Устина, томительно-долго не уезжала. Кучер исподлобья глядел на пристяжную, которая зубом чесала свою отставленную ногу, барыня – не то в землю, не то себе в переносицу. Потом, прищурившись, стала рассматривать похуdevшее лицо Парашки, ее позеленевшие прозрачные глаза.

– Ты здорова? – спросила она вдруг.

Парашка просто и твердо ответила, что здорова, но, когда барыня уехала, все смотрела в зеркало, сидя на лавке у окна, и замирала от страха. Она очень изменилась это ребенок мог заметить – как же не замечал отец? Но вот-вот и он заметит: сразу поймет все, что случилось, – и что тогда?

Думая, она охватила всю свою недолгую жизнь. Оказалось, что она даже и не подозревала прежде, в каком наваждении жила она, как много думала все об одном и том же, сколько смутных пленительных картин каких-то дальних счастливых городов, степей и дорог дали ей думы, как нежно любила она кого-то... Сделав свое страшное дело, Никанор убил и ее и себя. Он, этот коротконогий вор, вдруг стал живым, настоящим – и ненавистным ей. Не могла любить и никогда не любила она его. Теперь без стыда, отвращения и отчаяния нельзя было вспомнить об этом человеке. Сбылось предсказание страшного босяка! Она чувствовала себя как бы зараженной какой-то постыдной неизлечимой болезнью и навеки отделенной от отца бездонным провалом.

Но, думая, тихо плача, снимая с головы платок и разглаживая его, она незаметно для самой

себя давала волю сердцу – и мысли ее туманились. Она вспоминала, как любила, ждала кого-то – и любовь эта возвращалась, и она не могла найти себе места от тоски по прошлому, от жалости к себе, от нежности к тому, кого она, казалось, так долго любила. Она думала об отце, которому говорила когда-то: «Я вся наружи перед тобою», – и готова была закричать, вскочить в холодную половину, где он жил, ночевал, отдыхал после обеда, и кинуться к нему под ноги, чтобы он истоптал, убил ее сапогами, лишь бы утолилась ее мука о невозвратном, прежнем времени. «Для тебя, дочка, для тебя одной», – вспоминала она слова его и плакала, изнемогая от сладострастия горя и слез.

Как-то вечером Устин с Володей поехали в село, повезли отбивать косы. Вечер был ясный, покойный, равнины спелых ржей за блестящей в вечернем свете муравой по большой дороге розово желтели, черные стрелчатые касатки, мелькая розовыми юными грудками, пронеслись мимо открытого окна, у которого сидела Парашка. Вдруг на опушке хлебов, во ржи за дорогой, выросла короткая фигурка Никанора: он, видно, давно сидел в хлебах, прятался и вдруг встал, выпрямился. Она в ужасе отшатнулась от окна. А он быстро пересек сухие колеи и вошел в избу.

– Здравствуй, – сказал он негромко, останавливаясь у порога. – Никого нету?

– Никого, – ответила Парашка, чуть шевельнув побледневшими губами.

– Дело есть. Пойдем за избу, под дубки.

Он говорил, как муж, как близкий, как власть имеющий, как человек, с которым у нее уже есть нерушимая связь и тайна. И она молча встала и пошла.

Под дубками он твердо, кратко, оглядываясь, сказал ей, зачем пришел: она должна помочь ему свести с отцовского двора двух кобыл и бежать с ним в Ростов. Она тупо ответила, не поднимая глаз:

– Хорошо.

Солнце опускалось за усатыми колосьями, среди которых они сидели на меже, и осыпало остинки колосьев золотистой пылью. От большой дороги, с юго-востока чуть тянуло мягким ветром близкого июля, рабочей поры, когда так ровна и матова сухая синева неба, и мягко жужжали сухие, жесткие подкрылья опускающихся на колосья и качающихся на них рыжих хлебных жучков.

Никанор говорил так: ровно через неделю Устин уедет в ночь на Тихвинскую ярмарку, возьмет и Володю с собой, а вернется только поздним вечером; все это он, Никанор, доподлинно знает, так как обещал Устину тоже быть на ярмарке и помочь ему продать жеребца. Значит, в обеде, когда ни души не будет в полях, можно спокойно вывести кобыл со двора, привязать их к телеге и гнать что есть духу по проселкам, особенно глухим пред рабочей порой, в сторону Лебедяни. Ночуют они в таких артебах, в таких заповедных логах среди хлебов, куда ни один черт не заглянет. Чем свет – дальше. А в Лебедяни есть верный, золотой человек; ему-то они и сбудут кобыл за три, четыре сотни, и составитя тогда у них больше пятисот рублей, на которые они и до Ростова добьются, и дело начнут, давно уже обдуманное.

– А какое? – спросила Парашка.

– Ну, ты по этой части еще тупорыла, – сказал Никанор с усмешкой.

– Лучше бы ночью, – сказала она серьезно.

– Да что ты! – насмешливо сказал Никанор, делая папиросу из газетной бумаги.

И вздохнул:

– Никак, девка, не выходит. Уж слушай мое готовое.

– А скорей нельзя? – спросила Парашка, разглядывая свои маленькие босые ноги.

– Скоро делают, слепых рожают.

Она помолчала, и в сердце у нее опять задрожала злоба против него. Ждать целую неделю! Как он не чувствует ее муки! Ах, да не лучше ли взять да повеситься вот на этом дубке? – подумала она без слов и стала крепко кусать губы, удерживать дрожь мускулов на лице, но не выдержала и заплакала.

– О чем ты? – спросил удивленный Никанор. Она не ответила и заплакала пуще.

– Тебе говорю ай нет? – грубо крикнул Никанор.

– Отстань! – крикнула она в ответ с такой ненавистью и бешенством, что Никанор даже отодвинулся от нее.

– Ну, будя, будя, – сказал он смущенно и хотел обнять ее. Она оттолкнула его локтем. Он все-таки насильно овладел ею.

VII

Целую неделю, до самой Тихвинской, Устин, как нарочно, сидел дома. Приходила Евгения – жаловаться на своего солдата, оказавшегося после службы совсем дураком и пьяницей, и на свою хромую свекровь, злую и распутную, помывкавшую свекром. Но Парашка не слушала ее. Она уже ничего не думала, ничего не чувствовала – тупость, какая-то обреченность владели ею. Спала она эту неделю очень много – и днем и ночью. Просыпаясь, вскакивала, поражаясь мыслью о том, что вот-вот предстоит ей.

Наконец пришла последняя ночь.

Было уже поздно, но она не спала, лежала на нарах. Так же, как в темной избе, видела в окно небо в бледных звездах, слушала, как что-то говорил под окном отец... Потом дверь избы бесшумно распахнулась.

– Дочка! Спишь? – негромко спросил он, останавливаясь у порога.

– Нет... – с трудом пробормотала она.

Но он не заметил странного звука ее голоса – и двинулся к нарам. Найдя ее в темноте, он сел возле нее и положил на ее обнаженное плечо руку.

– Дочка, что с тобою? – тихо и таинственно сказал он, наклоняясь к ее лицу, – и она почувствовала его бороду, тепло его дыхания и приятный, хлебный запах водки. Ты не таишь, – еще тише сказал он, обнимая ее и царапая плечо сермягой поддевки.

Сердце ее затрепетало. «Батюшка! – со слезами хотела крикнуть она – и одним криком этим выразить всю свою муку и беспомощность. – Батюшка, – хотела она сказать, – он погубил, опоганил меня, я не его, я не знаю, кого люблю, а тебя в свете ни на кого не променяю...» Но он еще ближе прижался к ней и вдруг зашептал совсем на иной лад, заискивающе, слащаво, путаясь:

– А гостинчика, обновочки хочется? Я в город, на ярмарку еду сейчас – что тебе купить? А? Говори-ка скорей, не бойся...

И дрожащей рукой скользнул по ее спине. И, пораженная, она так рванулась из-под него, что он чуть не упал с нар. Вскочив на ноги, она забилась в угол, протянула вперед руки, а он отступил и забормотал:

– Что ты? Что ты? Да ты что подумала-то?

– Уйди, – едва слышно выговорила она, чувствуя свои оледеневшие губы. И в радостном изумлении, в светлом восторге иступления, отчаяния, подумала:

«А-а! Так вот оно что!»

Он постоял и вышел. Она слышала его неестественно звонкий голос на дворе, слышала скрип телеги, окрики на привязанного к ней и шарахавшегося жеребца, слышала, как они с Володей сели и тронулись... С кошачьей зоркостью глядя в темноту избы, она долго стояла на нарах в глубокой тишине степной ночи, обступившей ее со всех сторон. Потом осторожно легла и сразу заснула...

А день настал глухой, палящий, ослепительный, хотя блестящие горизонты были от зноя мутны и белесы. Она очнулась чуть не перед обедами. Солнце било в тусклые, засиженные мухами окна, наполняло избу жаром и светом. Заспанная, не умываясь, с тупой и тяжелой головой, она босиком выскочила на порог, под солнце, стоявшее уже очень высоко, и сухой жар так и облил ее всю. Море спелых хлебов как будто сдвинулось, теснее обступило и двор и дорогу, тускло блестящую глубокой пылью. И этот песочный цвет хлебов, низко склонивших тяжелые колосья и застывших в тишине, в густом горячем воздухе, давал впечатление отчаянной духоты.

Она растерянно оглянулась и попыталась вспомнить: что это она должна сделать сейчас? То, что за ней сейчас приедут и что надо будет после этого поскорее уезжать, скрываться, она твердо помнила. Но как же это она не простилась с отцом, не сказала ему того, что придумала ночью и что надо было сказать? Правда, после вчерашнего, с отцом можно было и не прощаться и ничего не говорить, но как же она не подумала, что взять с собою, ничего не собрала, не умылась, не обулась? Она стояла на зное с открытой головой, держала руки под мышками, чувствовала жар на своих открытых плечах, касалась босой ногой горячего камня у порога. Белый пес с высунутым языком лежал в короткой тени под амбарами. Она со страхом глядела то на него, то на хлеба, на проселок...

И вдруг во ржах, на тускло-серебристом небосклоне, появилась дуга и высокая худая лошадь. Никанор сидел на грядке телеги, сдвинув на затылок картуз, и усердно дергал вожжи. Рысью, поднимая пыль, перерезал он большак и, гремя, подкатил к самому порогу. Глаза у него были расширены, черное от загара лицо все в поту, вид удивленный,

– Что же ты? – быстрым шепотом спросил он, соскакивая с телеги и не замечая, что Парашка разута и почти раздета. – Все готово? Уехали?

Она, не отвечая, дико глянула на него, спрыгнула с порога, блеснув голыми ногами, и направилась к воротам, на варок. Навалившись на них плечом и чувствуя, что и ворота горячи от солнца, со скрипом распахнула обе половинки. По глубокому пересохшему навозу пошла к темному деннику, где стояли кобылы. Никанор въехал за ней, сделал круг, бормоча: «Да что ж ты не оделась-то?» – На двери денника висел большой замок. Парашка обернулась.

– Ключа у меня нету, – сказала она, глядя на Никанора большими, стоячими, прозрачно-зелеными глазами.

Никанор оглянулся, увидел голыш, на котором точили топоры, схватил его в обе руки и с навесу стукнул по замку. Замок отвалился вместе с петлей – и Парашка, не дав ему упасть, подхватила и крепко зажала его в своей маленькой загорелой руке. Еще больше сдвинув на затылок картуз, мокрый от пота, Никанор с тяжелой оборотью в руке вошел в денник и склонил голову к плечу, вглядываясь в сумрак, отшатнувшись, изогнулась и прижалась к стене гнедая кобыла, красавица с лиловыми глазами. Парашка, сделав большой шаг, неумело, но изо всей силы ударила его в висок замком. Он коротко споткнулся и упал, ткнулся головой в навоз. Парашка подскочила, как стрела метнулась вон из денника и понеслась к воротам. Лошадь Никанора, стоявшая у ворот, всхрапнула – и вместе с нею вылетела на дорогу. Пыля и гремя телегой, она подхватила в одну сторону, к юроду, в белесую блестящую даль за перевалом, а Парашка – в другую, через дорогу, ко ржам. На бегу обернувшись, она вдруг остановилась: из ворот выскочил, без картуза, весь облитый по лицу и по рубашке алой кровью, Никанор и, почти падая, ударился догонять свою обезумевшую лошадь. Парашка взвизгнула и нырнула в душную гущу колосьев...

Многие, что ехали в этот день по проселкам, видели ее, быстро бежавшую целиком, без дорог, по хлебам. Порою она приседала, выглядывала – и опять бежала, мелькая среди желтых колосьев белой сорочкой и раскрытой головой.

Поймали ее только через пять дней. И, отбиваясь, она проявила страшную силу, искусила трех мужиков, крутивших ей руки новой вожжовкой.

Капри. Март. 1913

Святые

Дом был полон гостей, – гости бывали часто и гостили подолгу, – светлая морозная ночь сверкала звездами за мелкими стеклами старинных окон. К кафельным печкам подойти было нельзя – так накалили их. По всем комнатам горели праздничные лампы, в самой дальней, диванной, даже люстра, мягко игравшая хрусталем, смугло-золотистым от времени. В гостиной сдавали на трех зеленых столах, за высокими канделябрами, в блеске свечей. В столовой стол был уставлен закусками, посудой и разноцветными графинами: гости то и дело выходили из гостиной, наливали рюмки, чокались и, потыкав вилками, возвращались к картам. В буфетной кипел ведерный самовар: старик-буфетчик волновался, ссорился с Агафьей Петровной, шипел и замахивался серебряной ложкой на Устю, накладывая граненые вазы вареньем, наливал стаканы черным чаем и посылал подносы в гостиную. Вся лакейская была завалена хорошо пахнущими шубами, шапками и лисьими поддевками. А там, в дядиных комнатах, сидел Арсенич.

Дети заходили и в лакейскую и в буфетную, стояли возле играющих в гостиной; от нечего делать таскали со стола в столовой кружочки колбасы, смотрели в нижние стекла: видно было глубокое небо в редких острых звездах, снег, солью сверкавший под луною, длинная волнистая тень из поварской; а дальше, за белыми лугами – высокие косогоры, густо поросшие темным хвойным лесом, сказочно посеребренным луной сверху. Подражая гостям, дети говорили друг другу «вы».

– Мить, а Мить, – сказал застенчивый Вадя, – вы нынче пойдете к Арсеничу?

– А вы? – спросил Митя, как всегда, очень строго. – Я непременно пойду.

И, оглянувшись пи гостиную, на буфетную, – ходить к Арсеничу запрещалось, потому что у него было очень холодно, – дети медленно, как будто гуляя, перешли зал и вдруг быстро шмыгнули за небольшую дверку возле печки в углу – в те необитаемые комнаты, где жил и умер дядя-охотник и где теперь гостил Арсенич, раза два-три в год приходивший повидать своих господ.

Дом жил своей жизнью, веселой, праздничной, эти комнаты своей – бедной, всем чужой. Но Арсенич наслаждался своей близостью к той, первой. Два-три раза в год барыне докладывали, что он стоит у крыльца. Она приказывала сказать ему, чтобы он шел в дядины комнаты, и Агафья Петровна посылала ему самовар, колбасы, белого хлеба, графинчик водки. Арсенич, сидя весь день один-одинешенек, пил чай, курил, сладко плакал и поздно ночью, – в одно время с господами, – укладывался спать, усталый и растроганный, на соломе возле печки. Прожив так с неделю, он искал случая увидеть барыню и, наклонявшись ей, несколько раз поймав ее руку для поцелуя, удалялся на деревню, на свою квартиру у мужика. Это и называлось – повидаться со своими старыми господами.

Дядиных комнат было две. Теперь в первой комнате было темно, только на полу лежали и наполняли темноту таинственным лунным светом два белых частых переплета; пахло тут седлами дяди и крысами. В другой сумрачно, дрожащим пламенем полыхала на кухонном столе возле остывшего самовара толстая сальная свеча в черном жестяном подсвечнике и густыми волнами плавал дым: посылали Арсеничу и табаку, но слабого, турецкого, и Арсенич, чтобы накуриться, принужден был курить без передышки. Топили тут плохо, окно было запушено серым инеем, и от него несло морозом. Большая черная картина висела в углу вместо образа: на руках чуть видной богоматери деревянно желтел нагой Иисус, снятый со креста, с запекшейся раной под сердцем, с откинутым назад мертвым ликом. Арсенич, вздохнувший, как кипень седой, красный и небритый, в истертом дядином пиджаке, сидел, подложив под себя одну ногу в валенке, на табурете возле стола. Он курил толстую вертушку и в какой-то радостной задумчивости плакал горькими слезами, не стирая крупных капель, катившихся по носу. Как всегда, дети, не спуская с него любопытных глаз, подошли к столу и стали пристально разглядывать сизые старческие руки, ворот грязной ночной рубашки, тоже дядиной, и красное, измятое, в колючем серебре лицо. Арсенич, стыдливо отвернувшись, стал искать по карманам свой ужасный носовой платок.

– Вы опять свои дудки курите? – спросил Вадя, остановив большие чистые глазки на этой ветошке, давно и бережно хранимой.

– Опять, сударь, – покорным шепотом, тихо и радостно улыбнувшись, ответил Арсенич.

– И водку пили? – спросил Митя.

– Пил и ее, окаянную...

– Всю?

– Всю-с, – прошептал Арсенич. – Только вы за ради бога не сказывайте мамаше про мои слезы. Это я не от этого-с. Сами изволите знать – не первый раз...

– Я ни за что не скажу, – сказал Митя твердо. – А вы? – спросил он Вадю. – Вы ведь тоже не скажете?

Вадя, что-то думая, нежно покраснел, поспешно перекрестился и помотал головой. Из зала доносился смех, говор. Кто-то, на время освободившийся от карт, играл на фортепьяно польку «Анну». Слушать старинные звуки было приятно и грустно. Слушая и думая что-то, Вадя спросил:

– Вы бедные?

Арсенич вздохнул.

– Бедность не беда-с, и в богатстве, например, пропадают люди, – ответил он. – Мне ваша мамаша мешину выдают и рубль серебром денег, а за квартиру я не бог вещь что плачу, всего четвертак в месяц... В этом случае я на бога не жалуюсь.

– Вы теперь умрете скоро, – сказал Митя.

– Сушая правда ваша-с. Полагаю, даже нынешней зимой.

– А охотником вы были?

– Нет-с, этого не привел бог. Я у вашего дедушки буфетчиком был.

– Вы о дедушке плачете?

– Ну, что ж о них плакать-с! – сказал Арсенич. – Они, например, еще в сорок осьмом году скончались. Да и прожили по нашему времени немало – семьдесят семь лет с лишком. Я нонче

плакал по поводу блудницы и мученицы Елены, о судьбе ее несчастной...

Из-под печки вынырнула мышь, метнулась было к столу и побежала в темную комнату. Дети проводили ее заблестевшими глазами, потом, облокотившись на стол, опять стали рассматривать глянцевиные рукава Арсенича, жилы на его сморщенной розовой шее.

– Ее казнили? – спросил Вадя, вспоминая других мучениц и мучеников, о которых постоянно рассказывал Арсенич.

– Это уж как водится, – ответил Арсенич. – Только не мечом, не пыткой, а еще хуже того...

– Вам ее жалко?

– Понятно, жалко-с. Только я ведь больше не от жалости плачу, а, например, от своего чувственного сердца. Это дело-с, по старому преданию, так было, – сказал Арсенич, стараясь не глядеть на детей, отводя от них глаза, опять покрасневшие. – Жила-была, например, самая что ни на есть отпетая блудница, по имени Елена, девушка богатого рода, отменная красавица и бездушная кокетка...

– А где она жила? – спросили дети, перхая от дыма. – В лесу?

– Нет-с, это ей потом господь привел жить и пострадать за свою верную любовь в лесу, а сперва она проживала в столичном городе, в просторной и чудной квартире, в пирах, в веселии, по балам да маскарадам, – попросту сказать, блуд творила за большие деньги. Была же она, например, все-таки не настоящая госпожа и называлась промеж господ Адель, а брала, конечно, с кого попало, и с пьяного и с трезвого, даже, может, не побрезгала бы приказным творением, будь у того средства. Ездили к ней первые князья и графы, делали ей подарки из последнего, многие даже руки на себя наложили из-за ней... ну только она в этом случае и бровью не вела и была ко всем, например, бесчувственна, как Ниоба, ни к кому не питала привязанности: была у нее вечная-бесконечная тоска на душе. Такая-с тоска, что и сказать невозможно!

– А вы у ней в гостях были? – спросил Вадя.

– Статочное ли дело-с! – сказал Арсенич. – Я, сударь, холоп простой, дворовой человек всего-навсего. Меня оттуда господа палками выгнали бы; да и поделом было бы!

– А дедушка?

– Дедушка – те иное дело, но только они тогда, может, и на свет не рождались еще. Это, сударь, в старинные времена было, и тому теперь никогда не бывать, теперь век настал бездушный... Ну, так вот я и докладываю вам: была эта Елена просто алчная блудница, и множество господ пропали, например, из-за ее красоты, как червь капустный. Только всходит однажды в ее уборные комнаты, уж этак поздно вечером, главный ее камердинер и докладывает, что желает ее немедленно видеть молодой и прелестный граф из свиты самой государыни императрицы. Она сидит, например, за своим туалетом в одном капоте, чешет бесподобным черепаховым гребнем роскошные волны кудрей и отвечает, что, мол, я бы весьма рада, да теперь слишком поздно, я и так, говорит, из-за своей корысти день-деньской как в смоле киплю и, значит, примять его и осчастливить никак не могу, беру ванну с духами, а потом спать ляжу, меня тоска съела, ненавижу всех, зреть не могу... Слуга удаляется, но только вскорости опять всходит и говорит, что, мол, так и так... граф проиграл в штос вес свое состояние и хочет на последние свои средства... – Арсенич при этих словах с трудом овладел голосом... – и хочет, говорит, на последние свои средства провести ночь прекрасной любви... А будучи, например, допущен к ней, несказанно пленил се своей младостью и томной грустью, и порешили они тут же умереть одной смертью в один час и даже миг. Да господь-то, видно, не по-ихнему судил! Может, на то вон ее святая воля была, – сказал Арсенич, поднимая воспаленные глаза и указывая ими на богоматерь. – Всякие там богини никогда не могли по-нашему страдать и сердечность иметь, они только страсть свою питали, а ведь она сама за свою любовь к кресту пошла скорбеть... Но только спаситель ей так сказал: «Не плачь, моя мать, дева Мария, моя мука – живот вечный отныне и во веки веков...»

И Арсенич, заплакав, на минуту смолк, прижимая рукав к лицу, облитому слезами.

– Все? – тихо спросили дети, подождав продолжения.

– Нет-с, не все еще, – со вздохом облегчения сказал Арсенич. – Они, докладываю вам, умереть решились, и, конечно, молодой граф тотчас же скончался, а ее этот яд не мог взять, ей вскорости полегчало, и осталась она еще жить на белом свете, чтобы, например, пострадать и награду получить за свою первую и последнюю любовь... Мужское дело, конечно, иное... мужчина может, и любя свой предмет, прельщаться на других, а уж женщина нет, никогда себе этого

не позволит, она, может, оттого и грех делает, что не нашла себе достойного... Ну, вот так и тут. Она, конечно, даже в лице изменилась, исхудала, стала еще прекраснее прежнего и совсем отвратилась, например, от бездушной светской жизни, стала negliжировать своими обязанностями и уж ни за какие благи в мире не соглашалась предать свое тело, полюбивши одного до гробовой доски. Тут, в скором ли, в долгом ли времени, хозяйка оказалась ей недовольна, зачала ее всячески maltretировать, она же безо всякого ответу собрала в ночное время все, например, самоцветные камни и брошки, какие ей надарили, завязала свое голландское белье в узелочек, да и удалилась в дремучий лес, где, может, только одни орлы скрывают да рыси по дубам прядают. Взяла она, значит, с собой лишь этот узелок да, например, материно благословение, образ Николая-угодника в серебряной вызолоченной ризе, идет по межам куда глаза глядят и плачет горькими слезами, не хуже меня такого-то – конечно, уж от радости, что вырвалась, значит, на волю, под голубые небеса, и доходит до большого стада. Пастух спрашивает, кто она такая, а она безо всякого страха подходит прямо к нему, отдает ему свой драгоценный узелок, всякие свои редкости, снимает с себя роскошные наряды и кринолины и просит его отдать ей свое нищее рубище. Тот, понятно, рад-радехонек, скинул поскорей свой пошлый зипун и прикрывает, например, ее почесть нагое тело. А она, низко ему поклонившись, идет бедной странницей дальше и приходит в тихий монастырь, в прекрасную женскую обитель в этом дремучем лесу, просит стариц принять ее простой послушницей и начинает вместе с ними спасаться, грехи свои, например, замаливать и изо всех сил просить себе у бога вечной-бесконечной жизни.

– Где тля тлит, – добавил Вадя, вспоминая прежние рассказы Арсенича.

– Нет, сударь, не тля, – сказал Арсенич, – а напротив того, радость безмерная. И вот, по воле божьей, происходит такой нечаянный случай: оказался в той обители старец древний, живописец крепостной, пожелавший к монахиням на покой удалиться. Писал он, например, всякие образа, всякие священные живописи для ихней церкви и начинает, видя ее красоту и муку, всякий ее самый низкий труд, умолять ее позволить списать с нее образ царицы небесной, всех скорбящих радости. Она падает в ноги ему, закликает Христом-богом не делать того. «Я, говорит, великая грешница, я предана вечному унынию, смертному греху, я имею на душе страшную тайну», – ну, словом, почесть признается, что я, мол, и до сих пор не могу расстаться с любовью к одному человеку... да, наконец того, просто и одежда моя не позволяет, я, мол, в черной бедной рясе, а снять ее не могу ни на одну минуту – такой обет богу дала... Но только тот старец остается, например, непреклонен: говорит, эта одежда разрешается, ты бледна и прекрасна, как мраморный групп, и черный цвет тебе как нельзя кстати... Жалуется, наконец, самой матери игуменье... А та возьми да и прикажи немедленно же снять этот портрет с нее. Старец, конечно, радуется несказанно, регулярно делает свое дело, остается только венчик золотой округ головы подрисовать и в церковь несть... И уж хотели было так и сделать, как думали, венчик, значит, подрисовать и освятить этот образ прелестный, чтобы в церковь его, например, поставить, как оказывается вдруг страшное, несказанное дело: оказывается, эта девица Елена... ну, просто сказать, тяжелая, беременная, и уж никак нельзя скрывать этого больше, сама природа не позволяет... Боже мой, – воскликнул Арсенич, качая головой, – что тут было делать монахиням! Свет везде бездушен, а ведь она плод любви понесла! Она никогда того положения не знала, не могла, не любя, зачать дите в своей утробе, а тут полюбила как на грех, а уж раз она стала не простая девица, а мать беременная, как могла она блуд в этом случае творить?

– Они ее убить велели? – спросил Митя.

– Нет-с, хуже, они ее в ночь-полночь в лес выгнали, – сказал Арсенич. – И вот извольте подумать, что она должна была почувствовать в этом случае? Может, одна Фекла-старица то испытала в сновидении, в хождении своей души по мукам. А ведь, однако, один платочек белый, какой она подала нищему старику и какой ангел на весы, в посрамление бесам, кинул, и то спас ее, всех ее грехов тяжелее оказался!

– А зачем ее выгнали в лес? – спросили дети.

– А куда же-с? – ответил Арсенич. – Конечно, в лес дремучий, непроходимый...

– Где орлы скрывают, – добавил Вадя.

– Истинно-с, где орлы скрывают и всякий зверь необузданный съесть может, – повторил Арсенич с горьким торжеством. – Где дивья темь лесная и одна скала-пещера могла служить ей приютом! А она в той пещере принуждена была дитя родить, и пеленает его, например, чем может, дерет в этом случае свою последнюю рубашку на свивальнички, а тут, может, всякие рыси

голосят, глядят с дубов зелеными глазами и летит и шумит сама птица-Игра, – Арсенич крепко сделал ударение на первой букве, – летит птица-Игра, вся белая с черными крыльями, вьется, кричит, хочет его, например, крыльями до смерти затрепать... И, конечно, не смогли они, беззащитный младенец с матерью, стерпеть такой муки, голоду-холоду, поругания и тут же и скончались, потому что у ней не только молока в грудях, а и хлеба ни синь пороха не осталось для пропитания... И что же тут случилось, какое внезапное чудо! Звери, птицы, и те возрыдали, восскорбели о ней, и такой вихорь поднялся по лесу, что в самую ночь – полночь проснулась вся обитель от такого шуму, а древний этот старец, живописец, вскочил, например, с ложа в своем студии, слышит в этом страшном шуме чей-то голос, повелевающий ему поскорее в лес идти, и, как был, так и выбегает вон, всех будит, зовет мать и игуменью, зовет самую старую старицу-схимницу и отправляются они, значит, в трех лицах, с огнями, с фонарями, в этот самый непроходимый лес. А там, например, только уж бездыханное тело лежит! Стоит чаща дремучая – и лежит под ней, под сосной, которая певг называется, мать красы неописанной, вся как снег белая, в своей ризе черной, гробной, с мертвым младенцем у бесплодной груди – и горит округ ее головы венчик огненный, весь лик ее бледный и ризу озаряет: значит, тот самый, какой не насмелился старец- живописец на своей иконе подрисовать, узнавши о грехе Елены, про то, кто она такая в миру была! Это ли-с не чудо великое, это ли не указание? – воскликнул Арсенич восторженно и горько, глядя на детей вопрошающими красными глазами, от которых еще белее казалась его взлохмаченная седина.

– Ее в монастырь принесли? – спросили дети.

– Понятно-с, куда же больше. И, конечно, с великими почестями отпели и схоронили, как мощи, в самой церкви, даже с младенцем вместе, и к ручке ее со слезами прикладывались... Вот тут-то, небось, и вспомнили, что апостолы-то святые нам наказывали: помните, мол, – великое, несметное множество грехов прикрывает любовь!

Темная свеча полыхала, как лучина, Арсенич смолк и долго молчал в какой-то думе, глядя на свою руку и на ветошку, зажатую в ней. Митя пристально и серьезно ковырял подсвечник, облитый застывшим салом. Вадя не сводил с огня неподвижных и уже дремотных глаз. В зале опять играли польку «Анну», и кто-то, смеясь, кричал: «Не пускать, не пускать!» Вдруг Вадя очнулся и спросил охрипшим голосом:

– А вы будете святой?

Арсенич закачал головой.

– Ах, сударь, какой вы грех великий говорите! Да я, как пес какой, округ господ весь век свековал, дня одного страдания не знал! За что же награждать-то меня?

– А вы это все сами выдумали?

– Боже избави! Я все это по народу слышу да из книг сличаю-с. Сижу и читаю на гулянках, – у меня книги бесподобные, старинные есть... Душа у меня, правда, не нонешнего веку... Мне господь не по заслугам великий дар дал. Этому дару старцы валаамские только при великой древности, да и то не все, домогаются. Этот прелестный дар – слезный дар называется. А уж как я стихи, например, люблю, того и сказать даже невозможно!

И, глядя на детей грустно-радостными глазами, Арсенич, на старинный лад, певуче продекламировал:

И в последний мой час я завет вам даю:

Посадите вы ель на могилу мою!

За окном, по сугробам, скрипели полозья саней, со скрипом шли к крыльцу лошади, громыхая бубенчиками: кто-то уезжал в светлую морозную ночь, в те туманно-серебристые леса, что сказочно темнели по косогорам за лугами.

В зале играли и танцевали польку «Анну», и Арсенич, закрыв глаза, с улыбкой, покачивал в такт головою.

– Ах, но и светская жизнь хороша-с! – сказал он, вздыхая. – И кабы моя воля, прожил бы я на свете тыщу лет!

– А зачем?

– А затем-с, что все бы жил, смотрел, на божий свет дивился... Очень я расстроился нонче, раздумавшись об этой Елене, вечной печальнице, а потом вспомнил, например, великомученика

Вонифатия – и залился в три реки от радости! Тоже простого звания человек был... раб крепостной, только и всего-с... И уж совсем иного складу: отпетый бокутир, беспутная головушка, все нипочем... Пишут его, например, на образах русым... в житии так прямо и сказано: желтоволос был, – значит, весь, небось, в веснушках, ростом не велик и глаза веселые, наигранные, не то что у этой Елены-страдальницы. Был он в городе Риме у госпожи своей Аглаиды стольником, при столе, например, прислуживал – ну, и пленил ее... В житии, конечно, уж очень бездушно сказано – мол, не будучи замужней, жизнь свою протекала в грехах, сделалась преклонна своим похотям, проживала в незаконном сожителстве с рабом своим Вонифатием, а ежели судить в этом случае по человечеству, то, небось, так случалось: увидит его, глянет и усмехнется, – вот, мол, хороший человек, а там и полюбила и приблизила к себе... Ну, живут они таким побытом год, живут другой, она за ним, небось, как за ребенком заботится, – есть такие женщины ласковые, прелестные, богомольные душой, хоть и в грехе всегда, никому, например, не умеют отказать по своей доброте... Он день и ночь с приятелями, на гитарах там на разных играет и вино пьет, – в житии так и сказано: был обуреваем страстями, погрязал в грехах, – а она все дома, шьет, небось, ому что-нибудь, нежно о нем думает, все измены прощает ому, вроде матери... Только-с время-то не ждет, проходят, например, ее лета, стала она над своей судьбой задумываться, иной раз, небось, и поплачет тишком... И, как говорится, насмелилась раз. Дорогой, говорит, мой возлюбленный, есть у меня мечта заветная: я для тебя всем пожертвовала, ни людей, ни бога, например, не боялась, а живем мы все-таки не венчанные, не признанные – надо нам в дом часть мощей внести, просветить наш дом. Умоляю тебя – снаряди корабль, возьми злата, серебра, дорогих благовонных плащаниц всяких, чтобы, например, эти честные мощи увить, и плыви ты в Киликийскую страну, в город Таре, там много святых страстотерпцев свои главы за Христа сложили... Ну, он, конечно, на это соглашается, снаряжает корабль парусный, устилает его, например, всякими коврами и шелками шамаханскими и отплывает в путь с друзьями-приятелями, с винами, с музыкой, со всякой дворовой прислугой...

– А дорогой буря поднялась? – спросили дети.

– Нет-с, напротив того, все они преблагополучно достигли тех стран. Опустили там все свои якоря, паруса – и отправляется он в этот город Таре, в гостинный дом, чтобы, значит, отдохнуть, погулять, а с утра и за дело взяться. Проходит, например, градские ворота, идет вверх по улице, конечно, беспечный, беззаботный, напевает свою арию и вдруг слышит страшный шум... Спешит, понятно, поскорей туда и видит бесчеловечное смертоубийство: сгрудился народ на площади, кричит, махает руками и требует казни, а посередине площади сидит жестокий судья и мучает лютейшими муками святых христиан, – кого велит надвое рубить, кому глаза выколоть, кому голову отсечь, – а перед ним старец на коленях, преклонился под острый обоюдный меч и восклицает в свой последний час: «Да святится имя господне, Христово, пречистое!» И как услышал это Вонифатий, этот, например, беззаветный бокутир, так и загорелся весь, – в житии так прямо и сказано: возвеселился духом за имя господне, – кинулся в самый народ, выскочил наперед всех, да и подхвати, даже не подумавши, тот старцев крик: «Да прославится, мол, имя господнее! Что вы, мол, делаете, язычники бездушные, пропустите меня – хочу и я пострадать за спасителя!» Тут все, понятно, к нему – ужасаются за него, уговаривают – побойся, например, за жизнь свою, одумайся, ты чужеземный гость, какое тебе дело... А он все свое: «Знать ничего не хочу, недостойны вы меня склонить, прельстить – проклиная ваших мраморных богов, секите мне голову!» Разорвал единым махом все свои одежды разноцветные, пал на колени середь площади, уронил свою голуушку...

– И принял мечное сечение, – добавил Вадя тихо.

– Да-с, и принял мечное сечение, ненаглядная моя деточка! – воскликнул Арсенич и, поймав его ручку, крепко прижался к ней своими холодными губами, на которые закапали горячие слезы. – Ну, да что! – прошептал он потом, отвертываясь и лоя по столу свой платок. – Никуда я стал, совсем никуда!

Утершись, он достал из кармана осьмушку табаку, стал, облегченно вздыхая, вертеть толстую папиросу. Дети долго смотрели то на его седую голову, то на большую дрожащую тень ее на стене, слушая нестройный, уже застольный говор и смех в зале.

– Вам Вонифатий больше нравится? – строго спросил Митя.

– Грешный человек, – прошептал Арсенич, поспешно наклоняясь, чтобы языком заклеить свою вертушку, – уж очень мне его кураж нравится!

Капри. 23 января 1914

Братья

*Взгляни на братьев, избивающих друг друга.
Я хочу говорить о печали.*

Сутта Нипата

Дорога из Коломбо вдоль океана идет в кокосовых лесах. Слева, в их тенистой дали, испещренной солнечным светом, под высоким навесом перистых метелок-верхушек, разбросаны сингалезские хижины, такие низенькие по сравнению с окружающим их тропическим лесом. Справа, среди высоких и тонких, в разные стороны и причудливо изогнутых темно-кольчатых стволов, стелются глубокие шелковистые пески, блещет золотое, жаркое зеркало водной глади и стоят на ней грубые паруса первобытных пирог, утлых сигароподобных дубков. На песках, в райской наготе, валяются кофейные тела черноволосых подростков. Много этих тел плещется со смехом, криком и в теплой прозрачной воде каменистого побережья... Казалось бы, зачем им, этим лесным людям, прямым наследникам земли прародителей, как и теперь еще называют Цейлон, зачем им города, центы, рупии? Разве не всё дают им лес, океан, солнце? Однако, входя в лета, одни из них торгуют, другие работают на рисовых и чайных плантациях, третьи – на севере острова – ловят жемчуг, спускаясь на дно океана и поднимаясь оттуда с кровавыми глазами, четвертые заменяют лошадей, – возят европейцев по городам и окрестностям их, по темно-красным тропинкам, осененным громадными сводами лесной зелени, по тому «кабуку», из которого и был создан Адам: лошади плохо переносят цейлонский зной, всякий богатый резидент, который держит лошадь, отправляет ее на лето в горы, в Кэнди, в Нурилью.

На левую руку рикши, между плечом и локтем, англичане, нынешние хозяева острова, надевают бляху с номером. Есть простые номера, есть особенные. Старику- сингалезу, рикше, жившему в одной из лесных хижин под Коломбо, достался особенный, седьмой номер. «Зачем, – сказал бы Возвышенный, – зачем, монахи, захотел этот старый человек умножить свои земные горести? Затем, Возвышенный, захотел этот старый человек умножить свои земные горести, что был он движим земной любовью, тем, что от века призывает все существа к существованию». Он имел жену, сына и много маленьких детей, не боясь того, что «кто имеет их, тот имеет и заботу о них». Он был черен, очень худ и невзрачен, похож и на подростка и на женщину; посерели его длинные волосы, в пучок собранные на затылке и смазанные кокосовым маслом, сморщилась кожа по всему телу, или, лучше сказать, по костям; на бегу пот ручьями лил с его носа, подбородка и тряпки, повязанной вокруг жидкого таза, узкая грудь дышала со свистом и хрипом; но, подкрепляя себя дурманом бетеля, нажевывая и сплевывая кровавую пену, пачкая усы и губы, бежал он быстро.

Движимый любовью, он не для себя, а для семьи, для сына хотел счастья, того, что не суждено было, не далось ему самому. Но по-английски знал плохо, названия мест, куда надо было бежать, разбирал не сразу и часто бежал наугад. Колясочка рикши очень мала; она с откидным верхом, колеса ее тонки, оглобли не толще хорошей трости. И вот влезает в нее большой белоглазый человек, весь в белом, в белом шлеме, в грубой, но дорогой обуви, усаживается плотно, кладет нога на ногу и сдержанно-повелительно, в горло себе, каркает. Подхватив оглобли, старик припадает к земле и летит вперед, едва касаясь земли легкими ступнями. Человек в шлеме, держа палку в конопатых руках, задумался о делах, загляделся – и вдруг он злобно выкатывает глаза: да он мчится совсем не туда, куда надо! Короче сказать, немало палок влетало старику в спину, в черные лопаточки, вечно сдвинутые в чаянии удара, но немало и лишних центов сорвал он с англичан: осадив себя на всем бегу у подъезда какого-нибудь отеля или конторы и бросив оглобли, он так жалостно морщился, так поспешно выкидывал вперед длинные, тонкие руки, сложив ковшиком мокрые обезьяньи ладони, что нельзя было не прибавить.

Раз прибежал он домой совсем не в урочное время: в самый жар полдня, когда золотыми стрелами снуют в лесах те лимонные птички, что называются солнечными, когда так весело и резко вскрикивают зеленые попугаи, срываясь с деревьев и радугой сверкая в пестроте лесов, в их тени и лаковом блеске, когда так сладко и тяжело пахнут в оградах старых буддийских вихар, крытых черепицей, сливочные цветы безлиственного жертвенного дерева, похожие на маленькие

туберозы, такими яркими самоцветами переливаются толстоголовые хамелеоны, мелькая и по гладким и по кольчатым, как хобот слона, стволам деревьев, так много реет и замирает на солнце огромных пышных бабочек и агатовым зерном кишат, текут горячие бурые холмики муравьев. Все в лесах пело и славило бога жизни-смерти Мару, бога «жажды существования», все гонялось друг за другом, радовалось краткой радостью, истребляя друг друга, а старый рикша, уже ничего не жаждавший, кроме прекращения своих мучений, лег в душном сумраке своей мазанки, под ее пересохшей лиственной крышей, шуршащей красными змейками, и к вечеру умер – от ледяных судорог и водяного поноса. Жизнь его угасла вместе с солнцем, закатившимся за сиреневой гладью великих водных пространств, уходящих к западу, в пурпур, пепел и золото великолепнейших в мире облаков, – и настала ночь, когда в лесах под Коломбо остался от рикши только маленький скорченный труп, потерявший свой номер, свое имя, как теряет свое название река Келани, достигнув океана. Солнце, заходя, переходит в ветер; а во что переходит умерший? Ночь быстро гасила сказочно-нежные, розовые и зеленые краски минутных сумерек, летучие лисицы бесшумно проносились под ветвями, ища ночлега, и черной жаркой тьмой наполнялись леса, загораясь мириадами светящихся мух и таинственно, знойно звеня цветами, в которых живут мелкие древесные лягушки. В далекой лесной кумирне, перед лампадой, чуть мерцавшей на черном жертвеннике, облитом кокосовым маслом, усыпанном рисом и увядшими цветочными лепестками, на правом боку, кротко подложив ручку под голову, покоился Возвышенный, гигант из сандалового дерева, с широким позолоченным лицом и длинными косыми глазами из сапфира, с улыбкой мирной грусти на тонких губах. На спине лежал в темной хижине рикша, и смертная мука искажала его жалкие черты, ибо не дошел до него голос Возвышенного, призывавший к отречению от земной любви, ибо за могилой ждала его новая скорбная жизнь, след неправой прежней. Зубастая старуха, сидевшая у порога хижины, у костра под котелком, плакала в эту ночь, скорбь свою питая все той же неразумной любовью и жалостью. Возвышенный уподобил бы ее чувства медной серьге в ее правом ухе, имевшей вид бочонка: серьга была велика и тяжела, она так оттянула разрез мочки, что образовалась порядочная дыра. Резко белела ее короткая кофточка из бумажной материи, надетая прямо на голое кофейное тело. Голые дети, как чертенята, играли, визжали, гонялись друг за другом возле. А сын, легконогий юноша, стоял в полутьме за огнем. Он вечером видел свою невесту, круглолицую тринадцатилетнюю девочку из соседнего селенья. Он испугался и удивился, услышав о смерти отца, – он думал, что это будет еще не скоро. Но, верно, был он слишком взволнован другою любовью, которая сильнее любви к отцу. «Не забывай, – сказал Возвышенный, – не забывай, юноша, жаждущий возжечь жизнь от жизни, как возжигается огонь от огня, что все страдания этого мира, где каждый либо убийца, либо убиваемый, все скорби и жалобы его – от любви». Но уже без остатка, как скорпион в свое гнездо, вошла любовь в юношу. Он стоял и смотрел на огонь. Как у всех диких, ноги его были не в меру тонки. Но и Шива позавидовал бы красоте его торса цвета темной корицы. Блестели при огне его черно-синие конские волосы, длинные, стянутые и закрученные на макушке, блестели глаза из-под длинных ресниц, и блеск их был подобен блеску кокса против огня.

На другой день соседи отнесли мертвого старичка в глубину леса, положили в яму, головой на запад, к океану, торопливо, но стараясь не шуметь, забросали землей, листьями и торопливо пошли омываться. Старичок отбегался; с его тонкой, посеревшей и сморщившейся руки сняли медную бляху – и, любясь ею, раздувая тонкие ноздри, юноша надел ее на свою, круглую и теплую. Сперва он только гонялся за опытными рикшами, прислушиваясь, куда посылают их седоки, запоминал названия улиц и английские слова; потом и сам стал возить, сам стал зарабатывать, готовясь к своей семье, к своей любви, желание которой есть желание сыновей, равно как желание сыновей есть желание имущества, а желание имущества – желание благополучия. Но однажды, прибежав домой, он наткнулся на другую страшную весть: невеста его исчезла – пошла на Невольничий Остров, в лавку, и не вернулась. Отец невесты, хорошо знавший Коломбо, часто ходивший туда, дня три разыскивал ее и, должно быть, что-нибудь узнал, потому что вернулся успокоенный. Он вздыхал и опускал глаза, выражая покорность судьбе; но это был большой притворщик, старик лукавый, как все, у кого есть достаток, кто торгует в городе. Он был полон, с женскими грудями, с матовой сединой, украшенной дорогим черепаховым гребнем; ходил он босиком, но под зонтом, бедра обертывал куском хорошей пестрой материи; кофта на нем была пикейная. От него нельзя было добиться правды, а женщины, девушки нее слабы, как все реки извилисты, и молодой рикша понимал это. В столбняке просидев двое суток дома, не

притрагиваясь к пище, только жуя бетель, он наконец очнулся и опять убежал в Коломбо. О невесте он, казалось, совсем забыл. Он бегал, жадно копил деньги – и нельзя было понять, во что больше он влюблен: в свою беготню или в те серебряные кружочки, что собирал за нее. Один русский моряк снялся с ним в фотографии и подарил ему карточку. Долго после того молодой рикша радостно дивился на свое изображение: он стоял в оглоблях, повернув лицо к воображаемым зрителям, и всякий сразу мог узнать его, – вышла даже бляха на руке. Благополучно, с виду даже счастливо проработал он так с полгода.

И вот сидел он как-то утром, вместе с другими рикшами, под многоствольным банианом на той длинной улице, что идет от Невольничьего Острова к Парку Виктории. Горячее солнце только что показалось из-за деревьев со стороны Мараданы. Но высоко разросся баниан, и уже не было тени у его корней, осыпанных сожженной листвой. Колясочки накалялись от зноя, тонкие оглобли их лежали на темно-красной разогретой земле, пахнувшей и нефтью, и так, как пахнет теплый от размола кофе. С этим запахом мешались густые сладкие запахи вечноцветущих окрестных садов, камфары, мускуса и того, что ели рикши; а ели они бананы, маленькие, теплые, нежно-розовые, в золотистой коже, и болтали, сидя на земле, до подбородка поднимая острыми углами колени, положив на них руки, а на руки – свои женские головы. Вдруг вдалеке, возле белых оград бунгалов, испещренных светотенью, показался человек в белом. Он шел посередине улицы той упрямой и твердой походкой, которой ходят только европейцы. И, молнией вскочив с земли, вперегонки кинулась к нему вся стая этих голых длинноногих людей. Они налетели на него со всех сторон, и он грозно крикнул, взмахнув тростью. Робкие и обидчивые, они со всего разбега осадили себя вокруг него. Он взглянул на них, – и седьмой номер с его смоляными волосами показался ему сильнее прочих. На седьмой номер и пал его выбор.

Он был невысок и крепок, в золотых очках, с черными сросшимися бровями, в черных коротких усах, с оливковым цветом лица, на котором тропическое солнце и болезнь печени уже оставили свой смуглый след. Шлем на нем был серый, глаза как-то странно, будто ничего не видя, глядели из угольной тьмы бровей и ресницу сквозь блестящие стекла. Он сел умело – сразу нашел в колясочке ту точку, при которой рикше свободнее бежать, и, взглянув на татуированную кисть левой руки, короткой и сильной, на маленькие часики в кожаной лунке, назвал Йорк-Стрит. Деревянный голос его был тверд и спокоен, но взгляд странен. И рикша подхватил оглобли и понесся вперед, поминутно пощелкивая звонком, прикрепленным на конце оглобли, и тасуясь с пешеходами, арбами и другими рикшами, бегущими взад и вперед.

Был конец марта, самое знойное время. Не прошло и трех часов с восхода солнца, а уж казалось, что близок полдень, – так жарко, светло было всюду и так многолюдно возле лавок в конце улицы. Земля, сады, вся та высокая, раскидистая растительность, что зеленела и цвела над бунгалов, над их меловыми крышами и над старыми черными лавками, пресытили воздух теплом и благовонием, – лишь дождевые деревья туго свернули свои листья-чашечки. Ряды лавок, вернее, навесов, крытых черной черепицей, увешанных огромными связками бананов, сушеной рыбой, вяленой акулой, были полны покупателями и продавцами, одинаково похожими на темнокожих банщиков. Рикша, подавшись вперед, мелькая длинными ногами, бежал быстро, и еще ни одной капли пота не было на его лоснящейся кокосовым маслом спине, на его округлых плечах, среди которых тонкий ствол девичьей шеи грациозно держал смоляную голову, накаляемую солнцем. В самом конце улицы он вдруг остановился. Чуть повернув лицо, он быстро проговорил что-то по-своему. Англичанин, его седок, увидел концы изогнутых ресниц, уловил слово «бетель» и поднял брови. Как? Такой молодой, крепкий, пробежал каких-нибудь двести шагов – и уже бетель? Не ответив, он ударил рикшу тростью по лопаткам. Но тот, – трусливый, как все сингалезы, но и настойчивый, – только дернул плечом и стрелой полетел вкось по улице, к лавкам.

– Бетель! – повторил он, поворачивая к англичанину гневные глаза и по-собачьи оскалившись.

Но англичанин уже забыл о нем. И через минуту рикша выскочил из лавочки, держа на узкой ладони лист перечногo дерева, намазывая его известью и завертывая в него кусочек арекового плода, похожий на кусочек кремня. Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, не лги и ничем не опьяняйся, заповедовал Возвышенный. Да, но что знал о нем рикша? Смутно звучало в его сердце то, что было смутно воспринято несметными сердцами его предков. В дождливое время года он ходил с отцом к священным шалашам и там, среди женщин и нищих, слушал жрецов,

читавших на древнем, всеми забытом языке, и ничего не понимал только подхватывал общее радостное восклицание при имени Возвышенного. Не раз случалось, что молился при нем отец на пороге кумирни; он преклонялся перед лежачей деревянной статуей, бормоча ее заповеди, поднимая соединенные ладони ко лбу, а потом клал на жертвенник самую мелкую и старую из своих тяжело заработанных монет. Но бормотал он равнодушно, – он ведь только боялся картин на стенах кумирни, изображений муки грешников; он преклонялся и перед другими богами, перед ужасными индусскими статуями, он и в них верил, как верил в силу демонов, змей, звезд, мрака...

Сунув бетель в рот, рикша, в чувствах своих резко изменчивый, дружелюбно улыбнулся англичанину глазами, схватил оглобли и, оттолкнувшись левой ногой, опять побежал. Солнце слепило, сверкало в золоте и стеклах очков, когда англичанин поднимал голову. Солнце жгло его руки и колени, земля горячо дышала, было даже видно, что над ней, как над жаровней, дрожит воздух, но он сидел неподвижно, не дотронулся до верха колясочки. Две дороги вели в город, или, как называют его резиденты, в Форт: одна вправо, мимо малайского капища, по дамбе между лагунами, другая влево, к океану. Англичанину хотелось последней. Но рикша обернулся на бегу, показывая свои окровавленные губы, и сделал вид, что не понимает, чего хотят от него. И англичанин опять уступил, – он рассеянно смотрел вокруг себя. Зеленая лагуна, блестящая, теплая, полная черепах и гнили, окаймленная вдали кокосовой рощей, лежала справа. По дамбе шли, ехали, бежали, щелкая звонками. Стали попадаться рикши в белых кителях и коротких белых панталонах. Европейцы, сидевшие в колясочках, были бледны после томительной ночи, высоко задирали свои белые башмаки, положив колено на колено. Прокатила двуколка, запряженная серым горбатым бычком, – под ее навесом, в легкой жаркой тени, сидел парс, желтолицый старик, похожий на евнуха, в халате и бархатном черепеннике, шитом золотом. Великан-афганец в белых шароварах, в мягких сапогах с загнутыми носками, в белом казакине и огромном розовом тюрбане, неподвижно стоял над лагуной, глядя на черепах, в теплую жидкую воду. Без конца тянулись влекомые волами длинные крытые арбы. Под их узкими соломенными сводами навалены были тюки товаров, а порою целая куча коричневых тел, молодых рабочих. Тощие, сожженные зноем старики, с красными от красной пыли ногами, шагали у колес, точно мумии старух. Шли каменщики, дюжие черные томилы... «Пагода», – разумея чайный дом, сказал англичанин под теми патриархальными деревьями, что растут при въезде в Форт, под необъятными навесами зелени, светлой от солнца, ее проникающего.

Возле старого голландского здания с аркадами в нижнем этаже остановились. Англичанин посмотрел на часы и ушел пить чай и курить сигару. А рикша сделал полукруг по широкой тенистой улице, по красно-лиловой мостовой, усыпанной желтыми и алыми лепестками кетмий, и, бросив оглобли у древесных корней, с разбегу сел. Он поднял колени и положил на них локти, жарко дыша банным благовонным теплом полдня и бессмысленно поводя глазами за проходящими сингалезами и европейцами, вынул из-за передника к тряпку, вытер ею окровавленные бетелем губы, лицо, выпуклости на гладкой груди и, сложив ее бинтом, приложил ко лбу, повязал голову: это было совсем некрасиво, придавало ему вид больного, но ведь многие рикши делают так. Он сидел и, может быть, думал... «Тела наши, господин, различны, но сердце, конечно, одно», – сказал Ананда Возвышенному, и, значит, можно представить себе, что должен думать или чувствовать юноша, выросший в райских лесах под Коломбо и уже вкусивший самой сильной отравы – любви к женщине, уже вмешавшейся в жизнь, быстро бегущую за радостями или убегающую от печалей. Мара уже ранил его, но ведь Мара и залечивает раны. Мара вырывает из рук человека то, что схватил человек, но ведь Мара и разжигает человека вновь схватить отнятое или другое что-нибудь, подобное отнятому... Напившись чаю, англичанин бродил по улице, заходил в магазины, рассматривал в витринах драгоценные камни, слонов и будд из эбенового дерева, всякие пестрые ткани, золотые в черных крапинах шкуры пантер. А рикша, что-то думая или только чувствуя, ярко переглядывался с другими рикшами и ходил позади англичанина, возя за собой колясочку. Ровно в полдень англичанин дал ему рупию, чтобы он купил себе поесть, а сам ушел в контору большого европейского пароходства. Рикша купил дешевых папирос, стал курить, сильно затягиваясь, глядя на папиросу, как делают это женщины, и выкурил подряд целых пять штук. Сладко одурманенный, сидел он в сквозной топи против трехэтажного дома, где была контора, и вдруг, подняв глаза, увидел, что на балконе под белой маркизой появился его седок и еще человек пять европейцев. Все они смотрели в бинокли на гавань – и вот за крышами приста-

ни показались одна за другой и медленно поплыли три высокие, тонкие мачты, слегка отклоненные назад. С балкона замахали платками, а из-за крыш мрачно, могуче и величаво отзываясь по рейду и в городе, заревела труба: пароход из далекой Европы, которого ожидал седок рикши номер седьмой, прибыл. С точностью вошел он после двенадцатидневного плавания в Коломбо – и то, чего совсем не ожидал рикша, полный надежд и желаний, этот роковой для него обед в доме на лагуне был решен.

Но до обеда, до вечера оставалось еще много времени. И опять вышел на улицу этот ничего не видящий человек в очках. Он простился с теми двумя, что вышли с ним и направились к белой статуе Виктории, к крытой пристани, и опять побрел по улице рикша – на этот раз к отелю, где в ту пору, в полутемной зале, знойную духоту которой разведали, мешали с запахом кушаний вертевшиеся под потолком весла, ело и пило много богатых резидентов и туристов. И опять, как собака, сел рикша на мостовую, на лепестки кетмий. Сквозная тень соединяющихся светло-зелеными вершинами деревьев осеняла улицу, и шли мимо него в этой тени женоподобные сингалезы, навязывая европейцам цветные открытки, черепаховые гребни, драгоценные камни, – один даже таскал за собой на шнурке и продавал зверька в шубке из длинных колючек, – и всё бежали, бежали по этой богатой европейской улице полудикие рикши... Вдали, среди открытой площади, горела белизной большая мраморная женщина, гордая, с двойным подбородком, в порфире и короне, восседавшая на высоком мраморном пьедестале. И оттуда толпой шли только что прибывшие из Европы. На подъезд отеля выскакивали сизые и черные слуги, кланяясь, выхватывая из рук у них трости, мелкие вещи, и поклонами, сдержанными, изысканными, встречал их на пороге человек, блестящий напомаженным пробором, глазами, зубами, запонками, крахмальным бельем, пикейным смокингом, пикейными панталонами и белой обувью. «Люди постоянно идут на пиршества, на прогулки, на забавы, – сказал Возвышенный, некогда посетивший этот райский приют первых людей, познавших желания. – Вид, звуки, вкус, запахи опьяняют их, – сказал он, – желание обвивает их, как ползучее растение, зеленое, красивое и смертоносное, обвивает дерево Шала». Следы усталости, истомы от зноя, морской качки и болезни были на серых лицах шедших к отелю. У всех вид был полумертвый, все говорили, не двигая губами, но все шли и один за другим скрывались в сумраке вестибюля, чтобы разойтись по своим комнатам, вымыться, ободриться, а потом, до красноты лица опьянив себя едой, питьем, сигарами и кофе, покатить па рикшах на берег океана, в Сады Корицы, к индусским храмам и буддийским вихарам. У каждого, у каждого в душе было то, что заставляет человека жить и желать сладкого обмана жизни! А рикше, рожденному на земле первых людей, разве не вдвойне был сладок этот обман? Мимо него шли женщины, пожилые, некрасивые, такие же длиннозубые, как его черная мать, сидевшая в далекой лесной хижине, но порою проходили и девушки, миловидные, в белых нарядах, в небольших шлемах, опутанных легкими вуалями, и, возбуждая в нем вождение, пристально глядели на его поднятые великолепные ресницы, на тряпку вокруг его смоляной головы и на окровавленный рот. А разве она, та, что пропала в этом городе, была хуже их? Тепло тропического солнца взрастило ее. От белой, в голубых цветочках, короткой кофты и такой же юбки, надетых па голое, чуть полное, но крепкое, небольшое тело, она казалась чернее. У нее была круглая головка, выпуклый лобик, круглые сияющие глаза, в которых детская робость уже смешивалась с радостным любопытством к жизни, с затаенной женственностью, нежной и страстной; было коралловое ожерелье на круглой шее, маленькие руки и ноги в серебряных браслетах... Вскочив с места, рикша побежал в один из ближних переулков, где в старом одноэтажном доме под черепицей, с толстыми деревянными колоннами, был простонародный бар. Там он положил на прилавок двадцать пять центов и за это вытянул целый стакан виски. Смешав этот огонь с бетелем, он обеспечил себя блаженным возбуждением до самого вечера, до той поры, когда леса под Коломбо, наполняясь черной жаркой тьмой, таинственно зазвенят журчанием древесных лягушек, когда чащи бамбука затрепещут мириадами огненных искр.

Пьян был и англичанин, выйдя с сигарой из отеля, – глаза его были сонны, порозовевшее лицо стало как будто полнее. Поглядывая на часы и что-то думая, видимо, не зная, как убить время, он в нерешительности постоял возле отеля, потом приказал везти себя сперва на почту, где опустил в ящик три открытки, а от почты – к саду Гордона, куда даже не зашел, – только посмотрел в ворота на монумент и на аллею, – а от сада Гордона – куда глаза глядят: к Черному Городу, к рынку в Черном Городе, к реке Келани... И пошел, пошел мотать его пьяный и с головы до ног мокрый рикша, возбужденный еще и надеждой получить целую кучу центов. В самый ис-

томный час послеполуденного тепла и света когда, посидев две минуты на скамье под деревом, оставляешь на ней темный круг пота, он в угоду англичанину не знавшему, как дотянуть до обеда, пробежал весь Черный Город, старый, многолюдный, пряно-пахучий, – и много видел полусонный англичанин голых цветных тел и разноцветных тканей на бедрах, много парсов, индусов, желтолицых малайцев, вонючих китайских лавок, черепичных и тростниковых крыш, храмов, мечетей и капищ, праздных матросов из Европы и буддийских монахов – бритых, худых, с безумными глазами, в канареечных тогах, с обнаженным правым плечом и опахалами из листвы священной пальмы. Рикша и его седок неслись среди этой тесноты и грязи Древнего Востока быстро, быстро, точно спасались от кого-то, вплоть до самой реки Келани, узкой, густой и глубокой, перегретой солнцем, полуприкрытой непролазными зелеными зарослями, низко склонившимися с ее берегов, любимой крокодилами, все дальше, однако, уходящими в глубь девственных лесов от барж с соломенными сводами, нагруженных тюками чая, рисом, корицей, еще не обработанными драгоценными камнями и особенно медлительно плывущих в густом блеске предвечернего солнца... Потом англичанин приказал вернуться в Форт, уже опустевший, закрывший все свои конторы, агентства и банки, побрился в цирюльне и неприятно помолодел, покупал сигары, заходил в аптеку... Рикша, мокрый, похудевший, смотрел на него уже неприязненно, глазами собаки, чувствующей приступы бешенства... В шестом часу, пробежав мимо маяка в конце Квинс-Стрит, пробежав тихие и чистые военные кварталы, он выскочил на берег океана, вольно глянувшего ему в глаза своим простором и зелено-золотистым гляncем от низкого солнца, и побежал к Невольничьему Острову.

Все отели в Форте были полны, англичанин жил в простом, за Невольничьим Островом, – и тут еще раз пробежал рикша мимо баниана, под который сел он нынче утром в жажде заработка от этих беспощадных и загадочных белых людей, в упрямой надежде на счастье. Пошли сплошные сады, каменные ограды и голландские крыши бунгалов, низких, приземистых. Вскочив во двор одного такого бунгалов, рикша с полчаса отдыхал возле широкой террасы, пока англичанин переодевался к обеду. Сердце у него колотилось, как у отравленного, губы побелели, черты темно-коричневого лица обострились, прекрасные глаза еще больше почернели и расширились. Запах его разгоряченного тела стал неприятен – это был запах теплого чая, смешанного с кокосовым маслом и еще с чем-то, как если взять и растереть в руках кучку муравьев.

Солнце меж тем закатилось. Пожилая девушка полулежала под навесом террасы в качалке, читая при последнем свете дня молитвенник. Увидя ее с улицы, во двор бесшумно вошел немой индус из Мадур, высокий черный старик с седыми кудрями на груди и на животе, худой, как скелет, в нищенском тюрбане, в длинном переднике из ткани, бывшей когда-то красной, в желтых поперечных полосках. На руке у старика была закрытая корзина из пальмового лыка. Подойдя к террасе, он подобострастно поклонился, приложив руку ко лбу, и присел на землю, поднимая крышку корзины. Не глядя на него, лежавшая в качалке махнула рукой. Но он уже вынимал из-за пояса тростниковую дудку. И рикша вдруг вскочил на ноги и в непонятной ярости громко крикнул на него. Вскочил и старик, захлопнул корзину и, оборачиваясь, побежал к воротам. Но у рикши еще долго были круглые глаза, – совсем как у той, страшной, которую он представил себе – медленно, тугим жгутом выползающую из корзины и с шипением раздувающую свое голубым отблеском мерцающее горло. Быстро падала темнота – уже в темноте вышел на террасу размытый, в белом смокинге англичанин. И рикша покорно кинулся к оглоблям. Была уже ночь, особенно жаркая, как всегда перед наступлением дождей, еще более пахучая, чем день. Еще гуще стал теплый и приторный аромат мускуса, смешанный с запахом теплой земли, тучной от цветочного перегноя. Так было черно среди садов, где бежал рикша, что только по тяжелому дыханию и по скудному фонарику на оглобле можно было понять, что несется впереди встречный. Потом слабо замерцала под черными навесами деревьев гнилая лагуна, заскрипели огни, длинно отражавшиеся в ней. Большой двухэтажный дом насквозь светился в этой тропической черноте прорезами окон. Во дворе было темно. Много рикш, сливавшихся с темнотой своими телами и слабо белевших передниками, набежало в этот двор с гостями. А большой, открытый на лагуну балкон сиял свечами в стеклянных колпаках, осыпанных несметной мошкаррой, блестел скатертью длинного стола, уставленного посудой, бутылками и вазами со льдом, и белел смокингами сидевших, которые немолчно, хотя и сдержанно, бормотали себе в горло, меж тем как босоногие полные слуги, похожие на нянек, шуршали голыми подошвами, прислуживая им, а громадная китайская циновка, ребром привешенная над ними к потолку, все махалась и маха-

лась, приводимая в движение малайцами, сидевшими за стеной, не доходящей до потолка, и все веяла, веяла ветром на обедающих, на их холодные, мокрые лбы. Рикша номер седьмой подлетел к балкону. Сидевшие за столом приветствовали запоздалого гостя радостным ропотом. Гость выскочил из колясочки и вбежал на балкон. А рикша понесся вокруг дома, чтобы опять попасть к воротам, во двор, к другим рикшам, и, обегая дом, вдруг так шарахнулся назад, точно его ударили в лицо палкой: стоя возле открытого и освещенного окна второго этажа, – в японском халатике красного шелка, в тройном ожерелье из рубинов, в золотых широких браслетах на обнаженных руках, – на него глядела круглыми сияющими глазами его невеста, та самая девочка-женщина, с которой он уже уговорился полгода тому назад обменяться шариками из риса! Его, внизу, в темноте, она не могла видеть. Но он сразу узнал ее – и, отшатнувшись, застыл на месте.

Он не упал, сердце его не разорвалось, оно было слишком молодо и сильно. Постояв с минутой, он присел на землю, под вековой смоковницей, вся вершина которой, как райское дерево, горела и трепетала россыпью огненно-зеленых искр. Он долго смотрел на черную круглую головку, на красный шелк, свободно обнимавший маленькое тело, и на поднятые, поправлявшие прическу руки той, что стояла в раме окна. Он сидел на корточках до тех пор, пока она не повернулась и не прошла в глубину комнаты. А когда она скрылась, он мгновенно вскочил на ноги, поймал на земле оглобли и, птицей пролетев через двор за ворота, опять, опять пустился бежать – на этот раз уже твердо зная, куда и зачем он бежит, и уже сам управляя своей сразу освобожденной волей.

– Проснись, проснись! – кричали в нем тысячи беззвучных голосов его печальных, стократ истлевших в этой райской земле предков. – Стряхни с себя обольщения Мары, сон этой краткой жизни! Тебе ли спать, отравленному ядом, пронзенному стрелой? Стократно страдает имеющий стократно милое, все скорби, все жалобы – от любви, от привязанностей сердца – убей же их! Недолгий срок пребудешь ты в покое отдыха, снова и снова, в тысяче воплощений, исторгнет тебя твоя эдемская земля, приют первых людей, познавших желание, но он, этот краткий отдых, все же настанет для тебя, слишком рано выбежавшего на дорогу жизни, страстно погнавшегося за счастьем и раненного самой острой стрелой – жаждой любви и новых зачатий для этого древнего мира, где от века победитель крепкой пятой стоит на горле побежденного!

Показались под черными навесами сросшихся вершинами деревьев огни в открытых лавочках Невольничьего Острова. Рикша жадно съел в одной из них чашечку теплого вареного риса, пересыщенного перцем, и кинулся дальше. Он знал, где живет старик из Мадур, час тому назад приходивший во двор отеля: он жил вместе с своим племянником, при его большой фруктовой лавке, в низком доме с толстыми деревянными колоннами. Племянник, в грязной европейской одежде из полотна, с громадным колтуном черной вьющейся шерсти на голове, перетаскивал корзины с плодами в глубину лавки, морщась от дыма папиросы, прилепленной к его нижней губе. Он не обратил внимания на бешеный вид мокрого, горячего рикши. И рикша молча вскочил под навес среди столбов, ногой толкнул в глубине под ним дверку, за которой надеялся найти немого старика. В потной руке он крепко держал заветный золотой, который он еще на бегу достал из-за передника, из кожаного гамана, привешенного к поясу. И золотой быстро сделал свое дело: назад рикша выскочил с большой коробкой от сигар, перевязанной шнурком. Он заплатил за нее большую цену, зато она была не пустая: то, что в ней лежало, билось, извивалось, стучало в крышку тугими кольцами и шуршало.

Зачем он захватил с собой колясочку? А он так захватил ее – и ровным, сильным махом полетел на берег океана, на плац Голь-Фэса. Плац был пуст, далеко темнел в звездном свете. За ним были рассыпаны редкие огоньки Форты, и в небе медленно вращалась мутно-зеркальная вышка маяка, кидавшая дымные полосы белого света только в сторону рейда. Слабый прохладный ветер тянул с океана, ровный, сонный шум которого был чуть слышен. Добежав до прибрежья, до середины дороги, рикша в последний раз бросил тонкие оглобли, в которые рано, но ненадолго впрягла его жизнь, и сел уже не на землю, а на скамью, сел смело, как резидент.

Он, отдавая индусу целый фунт, требовал самую маленькую и самую сильную, самую смертоносную. И она была, – помимо того, что сказочно-красива, вся в черных кольцах с зелеными каемками, с голубой головой, с изумрудной полосой на затылке и траурным хвостом, – она была, при всей своей малости, необыкновенно сильна и злобна, а теперь, после того, как её помотали в деревянной пахучей коробке, особенно. Она, вероятно, как стальная, пружинила, извивалась, шуршала и стучала в крышку. И он быстро развязал, распутал шнурок... Впрочем, кто

узнает, как именно сделал он свое страшное дело? Известно лишь то, что укус ее огненно жгуч и с головы до ног пронзает все тело человека несказанной болью, такой, что после него даже обезьяны раздражаются рыданиями. И нет сомнения, что, ощутив этот огненный удар, рикша колесом перевернулся на скамье, и коробка полетела от него в сторону. А затем тотчас же распахнулась под ним бездонная тьма, и все понеслось перед его глазами куда-то вкось, вверх: и океан, и звезды, и огни города.

Шум океана хлынул ему в голову – и сразу оборвался: глубокий обморок бывает всегда после этого удара. Но вслед за обмороком человек всегда быстро приходит в себя, как будто только затем, чтобы его тяжело, с кровью стошнило – и опять повергло в небытие. Их, этих обмираний, бывает несколько, и каждое из них, ломая человека, перехватывая ему дыхание, частями уносит человеческую жизнь, человеческие способности: мысль, память, зрение, слух, боль, горе, радость, ненависть – и то последнее, всеобъемлющее, что называется любовью, жаждой вместить в свое сердце весь зримый и незримый мир и вновь отдать его кому-то.

-

Дней через десять, в темные, жаркие сумерки перед грозой, к большому русскому пароходу, готовому отплыть в Суэц, две пары гребцов гнали в гавани Коломбо шлюпку, в которой полулежал седок рикши номер седьмой. Пароход уже гудел от грохота якорной цепи, когда, выскочив возле громадной железной стены пароходного бока, взбежал он по длинному трапу на палубу. Капитан сперва наотрез отказался принять его: пароход грузовой, заявил он, агент уже уехал, – это невозможно. «Но я чрезвычайно, чрезвычайно прошу вас!» – возразил англичанин. Капитан с удивлением взглянул на него: на вид крепок, энергичен, но на лице налет нездорового загара, а глаза за блестящими очками стоячие, как будто ничего не видящие и беспокорные. «Подождите до послезавтра, – сказал капитан, – послезавтра будет немецкий почтовый пароход». – «Да, но провести еще две ночи в Коломбо мне очень трудно, – ответил англичанин. – Этот климат изнуряет меня, я болен. Я измучен этими цейлонскими ночами, бессонницей и всем тем, что чувствует всякий нервный человек перед заходящими грозами. А взгляните на эту тьму, на тучи, заступившие все горизонты: ночь опять будет ужасная, период дождей, собственно, уже начался». И, пожав плечами, подумав, капитан уступил. И через минуту топкие, как ужи, сингалезы уже тащили по трапу сундук в черной лакированной коже, весь испещренный разноцветными этикетками отелей и помеченный красными инициалами.

Свободная докторская каюта, которую предложили англичанину, была очень тесна и душна. Но англичанин нашел ее прекрасной. На скорую руку разложивши в ней вещи, он вышел через столовую на верхнюю палубу. Все быстро тонуло в темноте. Пароход уже снялся и поворачивал к открытому морю. Справа как бы плыли на него другие пароходы, огни на мачтах, огни Форта. Слева, из-под высокого борта, зыбко неслась к низменному берегу, к складам угля и к черной гуще тонкоствольных кокосовых лесов гладь темной воды, еще отражавшей тьму и печаль туч, и своим зыбким стремлением кружила голову. Все меняя направление, все туже дул откуда-то влажный, тошнотворно-благовонный, мягкий ветер. Внезапно молчаливые тучи распахнулись такой бездной бледно-голубого света, что в самой глубине лесов мелькнули озаренные им стволы пальм, бананов и хижин под ними. Англичанин испуганно моргнул, оглянулся на плывущий уже слева от него бледный мол с красным огоньком на конце, на свинцовую даль океана за молотом – и быстро пошел назад, в каюту.

Старик-лакей, человек злой от усталости, без нужды подозрительный и наблюдательный, несколько раз заглядывал перед обедом за ее занавеску. Англичанин сидел в складном холщовом кресле, держа на коленях толстую тетрадь в кожаном переплете, писал в ней золотым пером, и выражение его лица, когда он поднимал его, блестя очками, было и тупо и вместе с тем удивленно. Потом, спрятав перо, он задумался, как бы слушая шум и шорох волн, тяжело несущихся за стеной каюты. Лакей прошел мимо, мотая громко звенящим колокольчиком. Англичанин встал и догола разделся. С ног до головы обтершись губкой, насыщенной водой с одеколоном, он выбрился, подровнял короткие толстые усы, причесал щечками свои черные волосы на косой ряд, надел свежее белье, смокинг и пошел к обеду с обычным своим решительным, солдатским видом.

Моряки, уже давно сидевшие за столом и бранившие его за опоздание, встретили его превеличленно любезно, друг перед другом щеголяя знанием английского языка. Он ответил им сдержанной, но не меньшей любезностью и поспешил сказать, что ему очень нравится русский

стол, что он был в России, в Сибири... что он вообще много путешествовал и всегда прекрасно переносил путешествия, чего, однако, нельзя сказать о его последнем пребывании в Индии, на Яве и на Цейлоне: тут он захворал печенью, расстроил себе нервы, дошел даже до странностей – вот вроде той, которую он проявил час тому назад, так неожиданно явившись на пароход... За кофе он угощал моряков коньяком и ликерами, принес коробку толстых египетских папирос и поставил ее на стол открытой, для общего пользования. Капитан, человек с умными и твердыми глазами, во всем старающийся быть европейцем, завел речь о колониальных задачах Европы, о японцах, о будущем Дальнего Востока. Внимательно слушая, англичанин возражал, соглашался. Говорил он складно и не просто, а так, точно читал хорошо написанную статью. И порою внезапно смолкал, еще внимательнее прислушиваясь к шороху волн за открытыми дверями. От грозы ушли. Давно потонула в черном бархате долго переливавшая алмазами цепь огней Коломбо. Теперь пароход был в безграничной тьме, в пустоте океана и ночи. Столовая помещалась на палубе, под капитанским мостиком. И тьма резко чернела в открытых дверях и окнах, стояла и глядела в ярко освещенную столовую. Влажно дуло из этой тьмы – влажным, свободным дыханием чего-то от века свободного – и свежесть, доходя до сидящих за столом, давала им чувствовать запах табачного дыма, горячего кофе и ликеров. Но порою свет электричества вдруг падал – двери, окна мелькали бледно-синими квадратами: беззвучно и несказанно широко распахивалась вокруг парохода голубая бездна бездн, блистала текучая зыбь водных пространств, угольной чернотой заливало горизонты – и оттуда, как тяжкий ропот самого творца, еще погруженного в довременный хаос, доходил глухой, мрачный и торжественный, все до основания потрясающий гул грома. И тогда англичанин как бы каменел на минуту.

– В сущности, это страшно! – сказал он своим мертвенным, но твердым голосом после одного особенно ослепительного сполоха. И, встав с места, подошел к двери, зиявшей темнотой. – Очень страшно, – сказал он, как бы разговаривая сам с собой. – И страшнее всего то, что мы не думаем, не чувствуем и не можем, разучились чувствовать, как это страшно.

– Что именно? – спросил капитан.

– А вот хотя бы то, – ответил англичанин, – что под нами и вокруг нас бездонная глубина, та зыбкая хлябь, о которой так ужасно говорит Библия... О, – строго сказал он, вглядываясь в темноту, – и вблизи и вдали, всюду загораются борозды зеленой огненной пены, и чернота вокруг этой пены черно-лиловая, цвета воронова крыла... Это очень жутко – быть капитаном? – серьезно спросил он.

– Нет, почему же, – ответил капитан с притворной небрежностью. – Дело ответственное, но... Все зависит от привычки...

– Скажите лучше – от нашей тупости, – сказал англичанин. – Стоять вон там, на вашем мостике, по бокам которого мутно глядят сквозь толстое стекло два этих больших глаза, зеленый и красный, и идти куда-то в тьму ночи и воды, простирающейся на тысячи миль вокруг, – это безумие! Но, впрочем, не лучше, – прибавил он, опять заглядывая в двери, – не лучше и лежать внизу, в каюте, за тончайшей стеной которой, возле самой твоей головы, всю ночь шумит, кипит эта бездонная хлябь... Да, да, разум наш так же слаб, как разум крота, или, пожалуй, еще слабей, потому что у крота, у зверя, у дикаря хоть инстинкт сохранился, а у нас, у европейцев, он выродился, вырождается!

– Однако кроты не плавают по всему земному шару, – усмехаясь, ответил капитан. – Кроты не пользуются паром, электричеством, беспроводным телеграфом... Вот хотите – я буду сейчас говорить с Аденом? А ведь до него десять дней ходу.

– И это страшно, – сказал англичанин и строго взглянул сквозь очки на засмеявшегося механика. – Да, и это очень страшно. А мы, в сущности, ничего не боимся. Мы даже смерти не боимся по-настоящему, ни жизни, ни тайн, ни бездн, нас окружающих, ни смерти – ни своей собственной, ни чужой! Я участник бурской войны, я, приказывая стрелять из пушек, убивал людей сотнями – и вот не только не страдаю, не схожу с ума, что я убийца, но даже не думаю о них никогда.

– А звери, дикари – думают? – спросил капитан.

– Дикари верят, что так надо, а мы нет, – сказал англичанин и замолчал, пошел ходить по столовой, стараясь ступать тверже.

Сполохи, уже розовые, мелькавшие по звездам, слабели. Ветер дул в окна и двери сильнее и прохладнее, черная тьма за дверями шумела тяжелее. Большая раковина, пепельница, ползала

по столу. Чувствовалось под неприятно слабеющими ногами, как снизу что-то нарастает, приподнимает потом валит на бок, расступается – и пол все глубже уходит из-под ног. Моряки, допив кофе, накурившись, сдерживая зевок и поглядывая на своего странного пассажира, посидели, помолчали еще несколько минут, потом, желая ему покойной ночи, стали братья за фуражки. Остался один капитан. Он курил и водил за англичанином глазами. Англичанин, с сигарой, качаясь, ходил от двери к двери, раздражая своей серьезностью, соединенной с рассеянностью, старика-лакея, убиравшего со стола.

– Да, да, – сказал он, – нам страшно только то, что мы разучились чувствовать страх! Бога, религии в Европе давно уже нет, мы при всей своей деловитости и жадности, как лед холодны и к жизни и к смерти: если и боимся ее, то рассудком или же только остатками животного инстинкта. Иногда мы даже стараемся внушать себе эту болезнь, увеличить ее – и все же не воспринимаем, не чувствуем в должной мере... вот, как не чувствую и я того, что сам же назвал страшным, – сказал он, показывая на открытую дверь, за которой шумела черная темнота, уже высоко поднимавшая с носа и валившая скрипящий переборками пароход то на один, то на другой бок.

– Это на вас Цейлон так подействовал, – заметил капитан.

– О, несомненно, несомненно! – согласился англичанин. – Мы все, – коммерсанты, техники, военные, политики, колонизаторы, – мы все, спасаясь от собственной тупости и пустоты, бродим по всему миру и силимся восхищаться то горами и озерами Швейцарии, то нищетой Италии, ее картинами и обломками статуй или колонн, то бродим по скользким камням, уцелевшим от каких-то амфитеатров в Сицилии, то глядим с притворным восторгом на желтые груды Акрополя, то присутствуем, как при балаганном зрелище, при раздаче священного огня в Иерусалиме, платим бешеные деньги за то, чтобы терпеть мучения от проводников и блох в могильниках и глиняных капищах Египта, плывем в Индию, в Китай, в Японию – и вот только здесь, на земле древнейшего человечества, в этом потерянном нами эдеме, который мы называем нашими колониями и жадно ограбляем, среди грязи, чумы, холеры, лихорадок и цветных людей, обращенных нами в скотов, только здесь чувствуем в некоторой мере жизнь, смерть, божество. Здесь, оставшись равнодушным ко всем этим Озирисам, Зевсам, Аполлонам, к Христу, к Магомету, я не раз чувствовал, что мог Ой поклоняться разве только им, этим страшным богам нашей прародины, – сторукому Бrame, Шиве, Дьяволу, Будде, слово которого раздавалось поистине как глагол самого Мафусаила, вбивающего гвозди в гробовую крышку мира... Да, только благодаря Востоку и болезням, полученным мной на Востоке, благодаря тому, что в Африке я убивал людей, в Индии, ограбляемой Англией, а значит, отчасти и мною, видел тысячи умирающих с голоду, в Японии покупал девочек в месячные жены, в Китае бил палкой по голове беззащитных обезьяноподобных стариков, на Яве и на Цейлоне до предсмертного хрипа загонял рикш, в Анарадхапуре получил в свое время жесточайшую лихорадку, а на Малабарском берегу болезнь печени, – только благодаря всему этому я еще кое-что чувствую и думаю. Те страны, тех несметных людей, что еще живут или младенчески- непосредственной жизнью, всем существом своим ощущая, и бытие, и смерть, и божественное величие Вселенной, или уже прошли долгий и трудный путь, исторический, религиозный и философский, и устали на этом пути, мы, люди нового железного века, стремимся поработить, поделить между собою, и называем это нашими колониальными задачами. И когда этот дележ придет к концу, тогда в мире опять воцарится власть какого-нибудь нового Тира, Сидона, нового Рима, английского или немецкого, повторится, непременно повторится и то, что предрекли Сидону, возмнившему себя, по слову Библии, богом, иудейские пророки, Риму – Апокалипсис, а Индии, арийским племенам, поработившим ее, – Будда, говоривший: «О, вы, князья, властвующие, богатые сокровищами, обращающие друг против друга жадность свою, ненасытно потворствующие своим похотям!» Будда понял, что значит жизнь Личности в этом «мире бывания», в этой Вселенной, которой мы не постигаем, – и ужаснулся священным ужасом. Мы же возносим нашу Личность превыше небес, мы хотим сосредоточить в ней весь мир, что бы там ни говорили о грядущем всемирном братстве и равенстве, – и вот только в океане, под новыми и чуждыми нам звездами, среди величия тропических гроз, или в Индии, на Цейлоне, где в черные знойные ночи, в горячем мраке, чувствуешь, как тает, растворяется человек в этой черноте, в звуках, запахах, в этом страшном Всеедином, – только гам понимаем в слабой мере, что значит эта наша Личность... Знаете ли вы, – сказал он, останавливаясь и блестя очками на капитана, – буддийскую легенду?

– Какую? – спросил капитан, уже тайком зевнувший и посмотревший на часы.

– А вот какую: ворон кинулся за слонем, бежавшим с лесистой горы к океану; все сокрушавшая на пути, ломая заросли, слон обрушился в волны – и ворон, томимый «желанием», пал за ним и, выждав, пока он захлебнулся и вынырнул из волн, опустился на его ушастую тушу; туша плыла, разлагаясь, а ворон жадно клевал ее; когда же очнулся, то увидел, что отнесло его на этой туше далеко, туда, откуда даже на крыльях чайки нет возврата, – и закричал жалким голосом, тем, которого так чутко ждет Смерть... Ужасная легенда!

– Да, это ужасно, – сказал капитан.

Англичанин замолчал и опять пошел от двери к двери. Из шумящей темноты слабо донеслись отрывистые, печальные звуки второй склянки. Капитан, посидев из приличия еще пять минут, поднялся, пожал руку англичанину и пошел в свою большую покойную каюту. Англичанин, что-то думая, продолжал ходить. Лакей, протомившись в буфете еще с полчаса, вошел и с сердитым лицом стал тушить электричество, оставил только один рожок. Англичанин, когда лакей скрылся, подошел к стене, потушил и этот рожок. Сразу пал мрак, шум волн сразу стал как будто слышнее, и сразу раскрылись в окнах звездное небо, мачты, реи. Пароход скрипел и лез с одной водяной горы на другую. Он размахивался все шире, поднимаясь и опускаясь, – и в снастях широко носились, летая то в бездну кверху, то в бездну книзу, Канопус, Ворон, Южный Крест, по которым еще мелькали розовые сполохи.

Капри. 1914

Грамматика любви

Некто Ивлев ехал однажды в начале июня в дальний край своего уезда.

Тарантас с кривым пыльным верхом дал ему шурин, в имении которого он проводил лето. Тройку лошадей, мелких, но справных, с густыми сбитыми гривами, нанял он на деревне, у богатого мужика. Правил ими сын этого мужика, малый лет восемнадцати, тупой, хозяйственный: Он все о чем-то недовольно думал, был как будто чем-то обижен, не понимал шуток. И, убедившись, что с ним не разговоришься, Ивлев отдался той спокойной и бесцельной наблюдательности, которая так идет к ладу копыт и громыханью бубенчиков.

Ехать сначала было приятно: теплый, тусклый день, хорошо накатанная дорога, в полях множество цветов и жаворонков; с хлебов, с невысоких сизых ржей, простиравшихся насколько глаз хватит, дул сладкий ветерок, нес по их косякам цветочную пыль, местами дымил ею, и вдали от нее было даже туманно. Малый, в новом картузе и неуклюжем люстриновом пиджаке, сидел прямо; то, что лошади были всецело вверены ему и что он был наряжен, делало его особенно серьезным. А лошади кашляли и не спеша бежали, валеком левой пристяжки порою скреб по колесу, порою натягивался, и все время мелькала под ним белой сталью стертая подкова.

– К графу будем заезжать? – спросил малый, не оборачиваясь, когда впереди показалась деревня, замыкавшая горизонт своими лозинами и садом.

– А зачем? – сказал Ивлев.

Малый помолчал и, сбив кнутом прилипшего к лошади крупного овода, сумрачно ответил:

– Да чай пить...

– Не чай у тебя в голове, – сказал Ивлев. – Все лошадей жалеешь.

– Лошадь езды не боится, она корму боится, – ответил малый наставительно.

Ивлев поглядел кругом: погода поскучнела, со всех сторон натянуло линючих туч и уже накрапывало – эти скромные деньки всегда оканчиваются окладными дождями... Старик, пахавший возле деревни, сказал, что дома одна молодая графиня, но все-таки заехали. Малый натянул на плечи армяк и, довольный тем, что лошади отдыхают, спокойно мок под дождем на козлах тарантаса, остановившегося среди грязного двора, возле каменного корыта, вросшего в землю, истыканную копытами скота. Он оглядывал свои сапоги, поправлял кнутовищем шлею на кореннике; а Ивлев сидел в темнеющей от дождя гостиной, болтал с графиней и ждал чая; уже пахло горячей лучиной, густо плыл мимо открытых окон зеленый дым самовара, который босая девка набивала на крыльце пуками ярко пылающих кумачным огнем щепок, обливая их керосином. Графиня была в широком розовом капоре, с открытой напудренной грудью; она курила, глубоко затягиваясь, часто поправляла волосы, до плечей обнажая свои тугие и круглые руки; затягиваясь и смеясь, она все сводила разговор на любовь и между прочим рассказывала про

своего близкого соседа, помещика Хвоцинского, который, как знал Ивлев еще с детства, всю жизнь был помешан на любви к своей горничной Лушке, умершей в ранней молодости. «Ах, эта легендарная Лушка! – заметил Ивлев шутливо, слегка сконфузясь своего признания. – Оттого, что этот чудак обоготворил ее, всю жизнь посвятил сумасшедшим мечтам о ней, я в молодости был почти влюблен в нее, воображал, думая о ней, бог знает что, хотя она, говорят, совсем нехороша была собой». «Да? – сказала графиня, не слушая. – Он умер нынешней зимой. И Писарев, единственный, кого он иногда допускал к себе по старой дружбе, утверждает, что во всем остальном он нисколько не был помешан, и я вполне верю этому – просто он был не теперешним чета...» Наконец босая девка с необыкновенной осторожностью подала на старом серебряном подносе стакан крепкого сивого чая из прудовки и корзиночку с печеньем, засиженным мухами.

Когда поехали дальше, дождь разошелся уже по-настоящему. Пришлось поднять верх, закрыться каляным, сохшимся фартуком, сидеть согнувшись. Громыхали глухарями лошади, по их темным и блестящим ляжкам бежали струйки, под колесами шуршали травы какого-то рубежа среди хлебов, где малый поехал в надежде сократить путь, под верхом собирался теплый ржаной дух, мешавшийся с запахом старого тарантаса... «Так вот оно что, Хвоцинский умер, – думал Ивлев. – Надо непременно заехать, хоть взглянуть на это опустевшее святилище таинственной Лушки... Но что ни человек был этот Хвоцинский? Сумасшедший или просто какая-то ошеломленная, вся на одном сосредоточенная душа?» По рассказам стариков-помещиков, сверстников Хвоцинского, он когда-то слыл в уезде за редкого умницу. И вдруг свалилась на него эта любовь, эта Лушка, потом неожиданная смерть ее, – и все пошло прахом: он затворился в доме, в той комнате, где жила и умерла Лушка, и больше двадцати лет просидел на ее кровати – не только никуда не выезжал, а даже у себя в усадьбе не показывался никому, насквозь просидел матрац на Лушкиной кровати и Лушкиному влиянию приписывал буквально все, что совершалось в мире: гроза заходит – это Лушка насылает грому, объявлена война – значит, так Лушка решила, неурожай случился – не угодили мужики Лушке...

– Ты на Хвоцинское, что ли, едешь? – крикнул Ивлев, высовываясь под дождь.

– На Хвоцинское, – невнятно отозвался сквозь шум дождя малый, с обвисшего картуза которого текла вода. – На Писарев верх...

Такого пути Ивлев не знал. Места становились все беднее и глуше. Кончился рубеж, лошади пошли шагом и спустили покосившийся тарантас размытой колдобиной под горку; в какие-то еще не кошенные луга, зеленые скаты которых грустно выделялись на низких тучах. Потом дорога, то пропадая, то возобновляясь, стала переходить с одного бока на другой по днищам оврагов, по буеракам в ольховых кустах и верболозах... Была чья-то маленькая пасека, несколько колодок, стоявших на скате в высокой траве, краснеющей земляникой... Объехали какую-то старую плотину, потонувшую в крапиве, и давно высохший пруд – глубокую яругу, заросшую бурьяном выше человеческого роста... Пара черных куличков с плачем метнулась из них в дождливое небо... А на плотине, среди крапивы, мелкими бледно-розовыми цветочками цвел большой старый куст, то милое деревце, которое зовут «божьим деревом», – и вдруг Ивлев вспомнил места, вспомнил, что не раз ездил тут в молодости верхом...

– Говорят, она тут утопилась-то, – неожиданно сказал малый.

– Ты про любовницу Хвоцинского, что ли? – спросил Ивлев. – Это неправда, она и не думала топиться.

– Нет, утопилась, – сказал малый. – Ну, только думается, он скорей всего от бедности от своей сошел с ума, а не от ней...

И, помолчав, грубо прибавил:

– А нам опять надо заезжать... в это, в Хвоцино-то... Ишь как лошади-то уморились!

– Сделай милость, – сказал Ивлев.

На бугре, куда вела оловянная от дождевой воды дорога, на месте сведенного леса, среди мокрой, гниющей щепы и листвы, среди пней и молодой осинового поросли, горько и свежо пахнувшей, одиноко стояла изба. Ни души не было кругом, – только овсянки, сидя под дождем на высоких цветах, звенели на весь редкий лес, поднимавшийся за избою, но, когда тройка, шлепая по грязи, поравнялась с ее порогом, откуда-то вырвалась целая орава громадных собак, черных, шоколадных, дымчатых, и с яростным лаем накипела вокруг лошадей, взвиваясь к самым их мордам, на лету перевертываясь и прядая даже под верх тарантаса. В то же время и столь же неожиданно небо над тарантасом расколосось от оглушительного удара грома, малый с остерве-

нением кинулся драть собак кнутом, и лошади вскачь понесли среди замелькавших перед глазами осиновых стволов...

За лесом уже видно было Хвощинское. Собаки отстали и сразу смолкли, деловито побежали назад, лес расступился, и впереди опять открылись поля. Вечерело, и тучи не то расходились, не то заходили теперь с трех сторон: слева – почти черная, с голубыми просветами, справа – седая, грохочущая непрерывным громом, а с запада, из-за хвошинской усадьбы, из-за косогоров над речной долиной, – мутно-синяя, в пыльных полосах дождя, сквозь которые розовели горы дальних облаков. Но над тарантасом дождь редел, и, приподнявшись, Ивлев, весь закиданный грязью, с удовольствием завалил назад отяжелевший верх и свободно вздохнул пахучей сыростью поля.

Он глядел на приближающуюся усадьбу, видел наконец то, о чем слышал так много, но по-прежнему казалось, что жила и умерла Лушка не двадцать лет тому назад, а чуть ли не во времена незапамятные. По долине терялся в куге след мелкой речки, над ней летала белая рыбалка. Дальше, на полугоре, лежали ряды сена, потемневшие от дождя; среди них, далеко друг от друга, раскидывались старые серебристые тополи. Дом, довольно большой, когда-то беленый, с блестящей мокрой крышей, стоял на совершенно голом месте. Не было кругом ни сада, ни построек, только два кирпичных столба на месте ворот да лопухи по канавам. Когда лошади вброд перешли речку и поднялись на гору, какая-то женщина в летнем мужском пальто, с обвисшими карманами, гнала по лопухам индюшек. Фасад дома был необыкновенно скучен: окон в нем было мало, и все они были невелики, сидели в толстых стенах. Зато огромны были мрачные крыльца. С одного из них удивленно глядел на подъезжающих молодой человек в серой гимназической блузе, подпоясанной широким ремнем, черный, с красивыми глазами и очень миловидный, хотя лицо его было бледно и от веснушек пестро, как птичье яйцо.

Нужно было чем-нибудь объяснить свой заезд. Поднявшись на крыльцо и назвав себя, Ивлев сказал, что хочет посмотреть и, может быть, купить библиотеку, которая, как говорила графиня, осталась от покойного, и молодой человек, густо покраснев, тотчас повел его в дом. «Так вот это и есть сын знаменитой Лушки!» – подумал Ивлев, окидывая глазами все, что было на пути, и часто оглядываясь и говоря что попало, лишь бы лишний раз взглянуть на хозяина, который казался слишком моложав для своих лет. Тот отвечал поспешно, но односложно, путался, видимо, и от застенчивости, и от жадности; что он страшно обрадовался возможности продать книги и вообразил, что сбудет их недешево, сказалось в первых же его словах, в той неловкой торопливости, с которой он заявил, что таких книг, как у него, ни за какие деньги нельзя достать. Через полутемные сени, где была настлана красная от сырости солома, он ввел Ивлева в большую переднюю.

– Тут вот и жил ваш батюшка? – спросил Ивлев, входя и снимая шляпу.

– Да, да, тут, – поспешил ответить молодой человек. – То есть, конечно, не тут... они ведь больше всего в спальне сидели... но, конечно, и тут бывали...

– Да, я знаю, он ведь был болен, – сказал Ивлев.

Молодой человек вспыхнул.

– То есть чем болен? – сказал он, и в голосе его послышались более мужественные ноты. – Это все сплетни, они умственно нисколько не были больны... Они только все читали и никуда не выходили, вот и все... Да нет, вы, пожалуйста, не снимайте картуз, тут холодно, мы ведь не живем в этой половине...

Правда, в доме было гораздо холоднее, чем на воздухе. В неприветливой передней, оклеенной газетами, на подоконнике печального от туч окна стояла лубяная перепелиная клетка. По полу сам собою прыгал серый мешочек. Наклонившись, молодой человек поймал его и положил на лавку, и Ивлев понял, что в мешочке сидит перепел; затем вошли в зал. Эта комната, окнами на запад и север, занимала чуть ли не половину всего дома. В одно окно, на золоте расчищающейся за тучами зари, видна была столетняя, вся черная плакучая береза. Передний угол весь был занят божницей без стекол, уставленной и увешанной образами; среди них выделялся и величиной и древностью образ в серебряной ризе, и на нем, желтея воском, как мертвым телом, лежали венчальные свечи в бледно-зеленых бантах.

– Простите, пожалуйста, – начал было Ивлев, превозмогая стыд, – разве ваш батюшка...

– Нет, это так, – пробормотал молодой человек, мгновенно поняв его. – Они уже после ее смерти купили эти свечи... и даже обручальное кольцо всегда носили...

Мебель в зале была топорная. Зато в простенках стояли прекрасные горки, полные чайной посудой и узкими, высокими бокалами в золотых ободках. А пол весь был устлан сухими пчелами, которые щелкали под ногами. Пчелами была усыпана и гостиная, совершенно пустая. Пройдя ее и еще какую-то сумрачную комнату с лежанкой, молодой человек остановился возле низенькой двери и вынул из кармана брюк большой ключ. С трудом повернув его в ржавой замочной скважине, он распахнул дверь, что-то пробормотал, – и Ивлев увидел каморку в два окна; у одной стены ее стояла железная голая койка, у другой – два книжных шкапчика из карельской березы.

– Это и есть библиотека? – спросил Ивлев, подходя к одному из них.

И молодой человек, поспешив ответить утвердительно, помог ему растворить шкапчик и жадно стал следить за его руками.

Престранные книги составляли эту библиотеку! Раскрывал Ивлев толстые переплеты, отворачивал шершавую серую страницу и читал: «Заклятое урочище»... «Утренняя звезда и ночные демоны»... «Размышления о таинствах мироздания»... «Чудесное путешествие в волшебный край»... «Новейший сонник»... А руки все-таки слегка дрожали. Так вот чем питалась та одинокая душа, что навсегда затворилась от мира и этой каморке и еще так недавно ушла из нее... Но, может быть, она, эта душа, и впрямь не совсем была безумна? «Есть бытие, – вспомнил Ивлев стихи Баратынского, – есть бытие, но именем каким его назвать? Ни сон оно, ни бдение, – меж них оно, и в человеке им с безумием граничит разуменье...» Расчистило на западе, золото глядело оттуда из-за красивых лиловатых облаков и странно озаряло этот бедный приют любви, любви непонятной, в какое-то экстатическое житие превратившей целую человеческую жизнь, которой, может, надлежало быть самой обыденной жизнью, не случись какой-то загадочной в своем обаянии Лушки...

Взяв из-под койки скамеечку, Ивлев сел перед шкапом и вынул папиросы, незаметно оглядывая и запоминая комнату.

– Вы курите? – спросил он молодого человека, стоявшего над ним.

Тот опять покраснел.

– Курю, – пробормотал он и попытался улыбнуться. – То есть не то что курю, скорее балуюсь... А, впрочем, позвольте, очень благодарен вам...

И, неловко взяв папиросу, закурил дрожащими руками, отошел к подоконнику и сел на него, загорая желтый свет зари.

– А это что, – спросил Ивлев, наклоняясь к средней полке, на которой лежала только одна очень маленькая книжечка, похожая на молитвенник, и стояла шкатулка, углы которой были обделаны в серебро, потемневшее от времени.

– Это так... В этой шкатулке ожерелье покойной матушки, – запнувшись, но стараясь говорить небрежно, ответил молодой человек.

– Можно взглянуть?

– Пожалуйста... хотя оно ведь очень простое... вам не может быть интересно...

И, открыв шкатулку, Ивлев увидел заношенный шнурок, снизу дешевеньких голубых шариков, похожих на каменные. И такое волнение овладело им при взгляде на эти шарики, некогда лежавшие на шее той, которой суждено было быть столь любимой и чей смутный образ уже не мог не быть прекрасным, что зарябило в глазах от сердцебиения. Насмотревшись, Ивлев осторожно поставил шкатулку на место; потом взялся за книжечку. Это была крохотная, прелестно изданная почти сто лет тому назад «Грамматика любви, или Искусство любить и быть взаимно любимым».

– Эту книжечку я, к сожалению, не могу продать, – с трудом проговорил молодой человек. – Она очень дорогая... они даже под подушку ее себе клали...

– Но, может быть, вы позволите хоть посмотреть ее? – сказал Ивлев.

– Пожалуйста, – прошептал молодой человек.

И, превозмогая неловкость, смутно томясь его пристальным взглядом, Ивлев стал медленно перелистывать «Грамматику любви». Она вся делилась на маленькие главы: «О красоте, о сердце, об уме, о знаках любовных, о нападении и защищении, о размолвке и примирении, о любви платонической»... Каждая глава состояла из коротеньких, изящных, порою очень тонких сентенций, и некоторые из них были деликатно отмечены пером, красными чернилами. «Любовь не есть простая эпизода в нашей жизни, – читал Ивлев. – Разум наш противоречит сердцу и не

убеждает оного. – Женщины никогда не были так сильны, как когда они вооружаются слабостью. – Женщину мы обожаем за то, что она владычествует над нашей мечтой идеальной. – Тщеславие выбирает, истинная любовь не выбирает. – Женщина прекрасная должна занимать вторую ступень; первая принадлежит женщине милой. Сия-то делается владычицей нашего сердца: прежде нежели мы отдадим о ней отчет сами себе, сердце наше делается невольником любви навеки...» Затем шло «изъяснение языка цветов», и опять кое-что было отмечено: «Дикий мак – печаль. Вересклед – твоя прелесть запечатлена в моем сердце, Могильница – сладостные воспоминания. Печальный гераний – меланхолия. Полынь – вечная горесть»... А на чистой страничке в самом конце было мелко, бисерно написано теми же красными чернилами четверостишие. Молодой человек вытянул шею, заглядывая в «Граматику любви», и сказал с деланой усмешкой:

– Это они сами сочинили...

Через полчаса Ивлев с облегчением простился с ним. Из всех книг он за дорогую цену купил только эту книжечку. Мутно-золотая заря блекла в облаках за полями, отсвечивала в лужах, мокро и зелено было в полях. Малый не спешил, но Ивлев не понукал его. Малый рассказывал, что та женщина, которая давеча гнала по лопухам индюшек, – жена дьякона, что молодой Хвощинский живет с нею. Ивлев не слушал. Он все думал о Лушке, о ее ожерелье, которое оставило в нем чувство сложное, похожее на то, какое испытал он когда-то в одном итальянском городке при взгляде на реликвии одной святой. «Вошла она навсегда в мою жизнь!» – подумал он. И, вынув из кармана «Граматику любви», медленно перечитал при свете зари стихи, написанные на ее последней странице.

Тебе сердца любивших скажут:
«В преданьях сладостных живи!»
И внукам, правнукам покажут
Сию Граматику Любви.

Москва. Февраль 1915

Господин из Сан-Франциско

*Горе тебе, Вавилон, город крепкий
Апокалипсис*

Господин из Сан-Франциско – имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил – ехал в Старый Свет на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради развлечения.

Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, на путешествие долгое и комфортабельное, и мало ли еще на что. Для такой уверенности у него был тот резон, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал не покладая рук, – китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит! – и, наконец, увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и решил передохнуть. Люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждения жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя; однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой впечатлительностью, но ведь все пожилые американки страстные путешественницы. А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо – не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом или рассматриваешь фрески рядом с миллиардером.

Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствую! особенно тонко, – любовью молодых неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной, карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, – то самое, от кото-

рого зависят все блага цивилизации: и фасон смокингов, и прочность тронов, и объявление войн, и благосостояние отелей, – где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие рулетке, третьи тому, что принято называть флиртом, а четвертые – стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном, на фоне моря цвета незабудок, и тотчас же стучаются белыми комочками о землю; начало марта он хотел посвятить Флоренции, к страстям господним приехать в Рим, чтобы слушать там *Miserere*;² входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купанье на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония, – разумеется, уже на обратном пути... И все пошло сперва отлично.

Был конец ноября, до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом; но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много, пароход – знаменитая «Атлантида» – был похож на громадный отель со всеми удобствами, – с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой, – и жизнь на нем протекала весьма размеренно: вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане; накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао; затем садились в мраморные ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку; до одиннадцати часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играть в шэффль-бординг и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в одиннадцать – подкрепляться бутербродами с бульоном; подкрепившись, с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый; следующие два часа посвящались отдыху; все палубы были заставлены тогда лонгшезами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая; в пятом часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким душистым чаем с печеньями; в семь повешали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования, венец его... И тут господин из Сан-Франциско, потирая от прилива жизненных сил руки, спешил в свою богатую люкс-кабину – одеваться.

По вечерам этажи «Атлантиды» зияли во мраке как бы огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире, с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев; на баке поминутно взывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену – ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в мраморной двусветной зале, устланной бархатными коврами, празднично залитой огнями, переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдотелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как какой-нибудь лорд-мэр. Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, расчищенный до глянца и в меру оживленный, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой янтарного иоганисберга, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью – крепкая лысая голова. Богато, но по годам была одета его жена, женщина крупная, широкая и спокойная; сложно, но легко и прозрачно, с невинной откровенностью – дочь, высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешечек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных... Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, – в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско, – задрав ноги, решали на основании последних биржевых новостей судьбы народов, до малиновой красноты накуривались гавански-

² "Смилуйся" – католическая молитва (лат.).

ми сигарами и напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах, с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, – точно плугом разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады, – в смертной тоске стенала удушьяемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке, мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба парохода, – та, где глухо гоготали исполинские топки, пожирившие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени; а тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнахпряного дыма, в танцевальной зале все сияло и изливало свет, тепло и радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго – и музыка настойчиво, в какой-то сладостно-бесстыдной печали молила все об одном, все о том же... Был среди этой блестящей толпы некий великий богач, бритый, длинный, похожий на прелата, в старомодном фраке, был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья: он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавают то на одном, то на другом корабле.

В Гибралтаре всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну; на борту «Атлантиды» появился новый пассажир, возбуждавший к себе общий интерес, – наследный принц одного азиатского государства, путешествовавший инкогнито, человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках, слегка неприятный – тем, что крупные черные усы сквозили у него, как у мертвого, в общем же милый, простой и скромный. В Средиземном море снова пахло зимой, шла крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую, при ярком блеске и совершенно чистом небе, развела весело и бешено летевшая навстречу трамонтана. Потом, на вторые сутки, небо стало бледнеть, горизонт затуманился: близилась земля, показались Иския, Капри, в бинокль уже виден был кусками сахара насыпанный у подножия чего-то сизого Неаполь... Многие леди и джентльмены уже надели легкие, мехом вверх, шубки; безответные, всегда шепотом говорящие бои-китайцы, кривоногие подростки со смоляными косами до пят и с девичьими густыми ресницами, исподволь вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, несессеры... Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, вчера вечером, по счастливой случайности, представленным ей, и делала вид, что пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то торопливо и негромко рассказывая; он по росту казался среди других мальчиком, он был совсем не хорош собой и странен – очки, котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно конские, смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как будто слегка лакирована, – но девушка слушала его и от волнения не понимала, что он ей говорит; сердце ее билось от непонятого восторга перед ним: все, все в нем было не такое, как у прочих, – его сухие руки, его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь, даже его европейская, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда таили в себе неизъяснимое очарование. А сам господин из Сан-Франциско, в серых гетрах на лакированных ботинках, все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую, удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную, гнутую, облезлую собачку и все разговаривавшую с нею. И дочь, в какой-то смутной неловкости, старалась не замечать его.

Он был довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее желание, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, звали для него носильщиков, доставляли его сундуки в гостиницы. Так было всюду, так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался; музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша, гигант-командир, в парадной форме, появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам – и господину из Сан-Франциско, так же, как и всем прочим, казалось, что это для него одного гремит марш гордой Америки, что это его приветствует командир с благополучным прибытием. А когда «Атлантида» вошла, наконец, в гавань, привалила к набережной своей много-

этажной громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни, – сколько портье и их помощников в картузах с золотыми галунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов-мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кинулось к нему навстречу с предложением услуг! И он ухмылялся этим оборванцам, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы то по-английски, то по-итальянски:

– Go away!³ Via!⁴

Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку: рано утром – завтрак в сумрачной столовой, облачное, мало обещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля; потом первые улыбки теплого розоватого солнца, вид с высоко висящего балкона на Везувий, до подножия окутанный сияющими утренними парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и тонкий очерк Капри на горизонте, на бегущих внизу, по липкой набережной, крохотных осликов в двуколках и на отряды мелких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой и вызывающей музыкой; потом – выход к автомобилю и медленное движение по людным узким и серым коридорам улиц, среди высоких, многооконных домов, осмотр мертвенно-чистых и ровно, приятно, но скучно, точно снегом, освещенных музеев или холодных, пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же: величавый вход, закрытый тяжелой кожаной завесой, а внутри – огромная пустота, молчание, тихие огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле, убранном кружевами, одинокая старуха среди темных деревянных парт, скользкие гробовые плиты под ногами и чье-нибудь "Снятие со креста", непременно знаменитое; в час-второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта и где однажды дочери господина из Сан-Франциско чуть не сделалось дурно: ей показалось, что в зале сидит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме; в пять-чай в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и пылающих каминов; а там снова приготовления к обеду – снова мощный, властный гул гонга по всем этажам, снова вереницы шуршащих по лестницам шелками и отражающихся в зеркалах декольтированных дам, снова широко и гостеприимно открытый чертог столовой, и красные куртки музыкантов на эстраде, и черная толпа лакеев возле метрдотеля, с необыкновенным мастерством разливающего по тарелкам густой розовой суп... Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сладостями, и фруктами, что к одиннадцати часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков.

Однако декабрь выдался в тот год не совсем удачный: портье, когда с ними говорили о погоде, только виновато поднимали плечи, бормоча, что такого года они и не запомнят, хотя уже не первый год приходилось им бормотать это и ссылаться на то, что "всюду происходит что-то ужасное": на Ривьере небывалые ливни и бури, в Афинах снег, Этна тоже вся занесена и по ночам светит, из Палермо туристы, спасаясь от стужи, разбегаются... Утреннее солнце каждый день обманывало: с полудня неизменно серело и начинал сеять дождь, да все гуще и холоднее: тогда пальмы у подъезда отеля блестели жестью, город казался особенно грязным и тесным, музеи чересчур однообразными, сигарные окурки толстяков-извозчиков в резиновых, крыльями развевающихся по ветру накидках – нестерпимо вонючими, энергичное хлопанье их бичей над тонкошеими клячами явно фальшивым, обувь синьоров, разметающих трамвайные рельсы, ужасною, а женщины, шлепающие по грязи, под дождем, с черными раскрытыми головами, – безобразно коротконогими; про сырость же и вонь гнилой рыбой от пенящегося у набережной моря и говорить нечего. Господин и госпожа из Сан-Франциско стали по утрам ссориться; дочь их то ходила бледная, с головной болью, то оживала, всем восхищалась и была тогда и мила и прекрасна: прекрасны были те нежные, сложные чувства, что пробудила в ней встреча с некрасивым человеком, в котором текла необычная кровь, ибо ведь в конце-то концов, может быть, и не важно, что именно пробуждает девичью душу – деньги ли, слава ли, знатность ли рода... Все уверяли, что совсем не то в Сорренто, на Капри – там и теплей, и солнечней, и лимоны цветут, и нравы честнее, и вино натуральней. И вот семья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми своими сундуками на Капри, с тем, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов

³ Прочь! (англ.).

⁴ Прочь! (итал.).

Тиверия, побывав в сказочных пещерах Лазурного грота и послушав абруцских волынщиков, целый месяц бродящих перед рождеством по острову и поющих хвалы деве Марии, поселиться в Сорренто.

В день отъезда, – очень памятный для семьи из Сан-Франциско! – даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой зыбью моря. Капри совсем не было видно – точно его никогда и не существовало на свете. И маленький пароходик, направившийся к нему, так валяло со стороны на сторону, что семья из Сан-Франциско пластом лежала на диванах в жалкой кают-компании этого пароходика, закутав ноги пледами и закрыв от дурноты глаза. Миссис страдала, как она думала, больше всех; ее несколько раз одолевало, ей казалось, что она умирает, а горничная, прибежавшая к ней с тазиком, – уже многие годы изо дня в день качавшаяся на этих волнах и в зной и в стужу и все-таки неутомимая, – только смеялась. Мисс была ужасно бледна и держала в зубах ломтик лимона. Мистер, лежавший на спине, в широком пальто и большом картузе, не разжимал челюстей всю дорогу; лицо его стало темным, усы белыми, голова тяжело болела: последние дни благодаря дурной погоде он пил по вечерам слишком много и слишком много любовался "живыми картинами" в некоторых притонах. А дождь сек в дребезжащие стекла, на диваны с них текло, ветер с воем лопал в мачты и порою, вместе с налетавшей волной, клал пароходик совсем набок, и тогда с грохотом катилось что-то вниз. На остановках, в Каstellамаре, в Сорренто, было немного легче; но и тут размахивало страшно, берег со всеми своими обрывами, садами, пиниями, розовыми и белыми отелями и дымными, курчаво-зелеными горами летел за окном вниз и вверх, как на качелях; в стены стучались лодки, третьеклассники азартно орали, где-то, точно раздавленный, давился криком ребенок, сырой ветер дул в двери, и, ни на минуту не смолкая, пронзительно вопил с качавшейся барки под флагом гостиницы «Royal» картавый мальчишка, заманивавший путешественников: "Kgoya-al! Hotel Kgoya-al!.." И господин из Сан-Франциско, чувствуя себя так, как и подобало ему, – совсем стариком, – уже с тоской и злобой думал обо всех этих «Royal», «Splendid», «Excelsior» и об этих жадных, воняющих чесноком людишках, называемых итальянцами; раз во время остановки, открыв глаза и приподнявшись с дивана, он увидел под скалистыми отвесом кучу таких жалких, насквозь проплесневевших каменных домишек, наклепанных друг на друга у самой воды, возле лодок, возле каких-то тряпок, жестянок и коричневых сетей, что, вспомнив, что это и есть подлинная Италия, которой он приехал наслаждаться, почувствовал отчаяние... Наконец, уже в сумерках, стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у подножия красными огоньками, ветер стал мягче, теплей, благовонней, по смиряющимся волнам, переливавшимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани... Потом вдруг загремел и с плеском шлепнулся в воду якорь, наперебой понеслись отовсюду яростные крики лодочников – и сразу стало на душе легче, ярче засияла кают-компания, захотелось есть, пить, курить, двигаться... Через десять минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку, через пятнадцать ступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и с жужжанием потянулась вверх по откосу, среди кольев на виноградниках, полуразвалившихся каменных оград и мокрых, корявых, прикрытых кое-где соломенными навесами апельсиновых деревьев, с блеском оранжевых плодов и толстой глянцевиной листвы скользивших вниз, под гору, мимо открытых окон вагончика... Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой, особый запах есть у каждого ее острова!

Остров Капри был сыр и темен в этот вечер. Но тут он на минуту ожил, кое-где осветился. На верху горы, на площадке фуникулера, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания, – несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек, и компания длинноногих, круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщовыми сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах, всюду чувствующих себя как дома и совсем не щедрых на траты. Господин же из Сан-Франциско, спокойно сторонившийся и от тех и от других, был сразу замечен. Ему и его дамам торопливо помогли выйти, перед ним побежали вперед, указывая дорогу, его снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов. Застучали по маленькой, точно оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные ножные скамеечки, по-птичьему засвистала и закувыркалась через голову орава мальчишек – и как по сцене пошел сре-

ди них господин из Сан-Франциско к какой-то средневековой арке под слитыми в одно домами, за которой покато вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая улочка с вихром пальмы над плоскими крышами налево и синими звездами на черном небе вверху, впереди. И опять было похоже, что это в честь гостей из Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом островке в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радушным хозяина отеля, что только их ждал китайский гонг, завывший по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибюль.

Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско: взглянув на него, господин из Сан-Франциско вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в той же визитке с круглыми лапами и с той же зеркально причесанной головою.

Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но как в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то тотчас же и померкло его удивление: шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту: сердце ее вдруг сжала тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом, темном острове...

Только что отбыла гостившая на Капри высокая особа – Рейс XVII. И гостям из Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. К ним приставили самую красивую и умелую горничную, бельгийку, с тонкой и твердой от корсета талией и в крахмальном чепчике в виде маленькой зубчатой короны, самого видного из лакеев, угольно-черного, огнеглазого сицилийца, и самого расторопного коридорного, маленького и полного Луиджи, много переменившего подобных мест на своем веку. А через минуту в дверь комнаты господина из Сан-Франциско легонько стукнул француз метрдотель, явившийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать, и в случае утвердительного ответа, в котором, впрочем, не было сомнения, доложить, что сегодня лангуст, ростбиф, спаржа, фазаны и так далее. Пол еще ходил под господином из Сан-Франциско, – так закачал его этот дрянной итальянский пароходишко, – но он не спеша, собственноручно, хотя с непривычки и не совсем ловко, закрыл хлопнувшее при входе метрдотеля окно, из которого пахло запахом дальней Кухни и мокрых цветов в саду, и с неторопливой отчетливостью ответил, что обедать они будут, что столик для них должен быть поставлен подальше от дверей, в самой, глубине залы, что пить они будут вино местное, и каждому его слову метрдотель поддакивал в самых разнообразных интонациях, имевших, однако, только тот смысл, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина из Сан-Франциско и что все, будет исполнено в точности. Напоследок он склонил голову и деликатно спросил:

– Все, сэр?

И, получив в ответ медлительное «yes»,⁵ прибавил, что сегодня у них в вестибюле тарантелла – танцуют Кармелла и Джузеппе, известные всей Италии и всему миру туристов".

– Я видел ее на открытках, – сказал господин из Сан-Франциско ничего не выражающим голосом. – А этот Джузеппе – ее муж?

– Двоюродный брат, сэр, – ответил метрдотель.

И помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы.

А затем он снова стал точно к венцу готовиться: повсюду зажег электричество, наполнил все зеркала отражением света и блеска, мебели и раскрытых сундуков, стал бриться, мыться и поминутно звонить, в то время как по всему коридору неслись и перебивали его другие нетерпеливые звонки – из комнат его жены и дочери. И Луиджи, в своем красном переднике, с легкостью, свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса, до слез смешившие горничных, пробежавших мимо с кафельными ведрами в руках, кубарем катился на звонок и, стукнув в дверь костяшками, с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью спрашивал:

– На sonato, signore?⁶

⁵ Да (англ.).

⁶ Вы звонили, синьор! (итал.).

И из-за двери слышался неспешный и скрипучий, обидно вежливый голос:

– Yes, come in...⁷

Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всякий испытывавший качку, только очень хотел есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени для чувств и размышлений.

Выбрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, смочил и придрал щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугло-желтого черепа, натянул на крепкое старческое тело с полнеющей от усиленного питания талией кремовое шелковое трико, а на сухие ноги с плоскими ступнями – черные шелковые чулки и бальные туфли, приседая, привел в порядок высоко подтянутые шелковыми помочами черные брюки и белоснежную, с выпятившейся грудью рубашку, вправил в блестящие манжеты запонки и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком запонки шейной. Пол еще качался под ним, кончикам пальцев было очень больно, запонка порой крепко кусала дряблую кожу в углублении под кадыком, но он был настойчив и, наконец, с сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горло не в меру тугого воротничка, таки доделал дело – и в изнеможении присел перед трюмо, весь отражаясь в нем и повторяясь в других зеркалах.

– О, это ужасно! – пробормотал он, опуская крепкую лысую голову и не стараясь понять, не думая, что именно ужасно, потом привычно и внимательно оглядел свои короткие, с подагрическими затвердениями на суставах пальцы, их крупные и выпуклые ногти миндального цвета и повторил с убеждением: – Это ужасно...

Но тут зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому второй гонг И, поспешно встав с места, господин из Сан-Франциско еще больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом, надел смокинг, вправил манжеты, еще раз оглядел себя в зеркале. "Эта Кармелла, смуглая, с наигранными глазами, похожая на мулатку, в цветистом наряде, где преобладает оранжевый цвет, пляшет, должно быть, необыкновенно", – подумал он И, бодро выйдя из своей комнаты и подойдя по ковру к соседней, жениной, громко спросил, скоро ли они?

– Через пять минут! – звонко и уже весело отозвался из-за двери девичий голос.

– Отлично, – сказал господин из Сан-Франциско.

И не спеша пошел по коридорам и по лестницам, устланным красными коврами, вниз, отыскивая читальню. Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их. Запоздавшая к обеду старуха, уже сутулая, с молочными волосами, но декольтированная, в светло-сером шелковом платье, поспешала изо всех сил, но смешно, по-куриному, и он легко обогнал ее. Возле стеклянных дверей столовой, где уже все были в сборе и начали есть, он остановился перед столиком, загроможденным коробками сигар и египетских папирос, взял большую маниллу и кинул на столик три лиры; на зимней веранде мимоходом глянул в открытое окно: из темноты повеяло на него нежным воздухом, померещилась верхушка старой пальмы, раскинувшая по звездам свои вайи, казавшиеся гигантскими, донесся отдаленный ровный шум моря... В читальне, уютной, тихой и светлой только над столами, стоя шуршал газетами какой-то седой немец, похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими, изумленными глазами. Холодно осмотрев его, господин из Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в углу, возле лампы под зеленым колпаком, надел пенсне и, дернув головой от душившего его воротничка, весь закрылся газетным листом. Он быстро пробежал заглавие некоторых статей, прочел несколько строк о никогда не прекращающейся балканской войне, привычным жестом перевернул газету, – как вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском, шея его напряглась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа... Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха – и дико захрипел; нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб, голова завалилась на плечо и замоталась, грудь рубашки выпятилась коробом – и все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то.

Не будь в читальне немца, быстро и ловко сумели бы в гостинице замять это ужасное происшествие, мгновенно, задними ходами, умчали бы за ноги и за голову господина из Сан-

⁷ Да, входите (англ.).

Франциско куда подальше – и ни единая душа из гостей не узнала бы, что натворил он. Но немец вырвался из читальни с криком, он всполошил весь дом, всю столовую и многие вскакивали из за еды, опрокидывая стулья, многие, бледнея, бежали к читальне, на всех языках раздавалось: "Что, что случилось?" – и никто не отвечал толком, никто не понимал ничего, так как люди и до сих пор еще больше всего дивятся и ни за что не хотят верить смерти. Хозяин метался от одного гостя к другому, пытаясь задержать бегущих и успокоить их поспешными заверениями, что это так, пустяк, маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско... Но никто его не слушал, многие видели, как лакеи и коридорные срывали с этого господина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачем-то бальные башмаки с черных шелковых ног с плоскими ступнями. А он еще бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так. Неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, хрипел, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный... Когда его торопливо внесли и положили на кровать в сорок третий номер, – самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный, в конце нижнего коридора, – прибежала его дочь, с распущенными волосами, в распахнувшемся капотике, с обнаженной грудью, поднятой корсетом, потом большая, тяжелая и уже совсем наряженная к обеду жена, у которой рот был круглый от ужаса... Но тут он уже и головой перестал мотать.

Через четверть часа в отеле все кое-как пришло в порядок. Но вечер был непоправимо испорчен. Некоторые, возвратясь в столовую, дообедали, но молча, с обиженными лицами, меж тем как хозяин подходил то к тому, то к другому, в бессильном и приличном раздражении пожимая плечами, чувствуя себя без вины виноватым, всех уверяя, что он отлично понимает, "как это неприятно", и давая слово, что он примет "все зависящие от него меры" к устранению неприятности; тарантеллу пришлось отменить, лишнее электричество потушили, большинство гостей ушло в пивную, и стало так тихо, что четко слышался стук часов в вестибюле, где только один попугай деревянно бормотал что-то возясь перед сном в своей клетке, ухитряясь заснуть с нелепо задранной на верхний шесток лапой... Господин из Сан-Франциско лежал на дешевой железной кровати, под грубыми шерстяными одеялами, на которые с потолка тускло светил один рожок. Пузырь со льдом свисал на его мокрый и холодный лоб. Сизое, уже мертвое лицо постепенно стыло, хриплое клокотанье, вырывавшееся из открытого рта, "освещенного отблеском золота, слабело. Это хрипел уже не господин из Сан-Франциско, – его больше не было, – а кто-то другой. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на него. Вдруг то, чего они ждали и боялись, совершилось – хрип оборвался. И медленно, медленно, на глазах у всех, потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть, – красотой, уже давно добавившей ему.

Вошел хозяин. "Gia e morto",⁸ – сказал ему, шепотом доктор. Хозяин с бесстрастным лицом пожал плечами. Миссис, у которой тихо катились по щекам слезы, подошла к нему и робко сказала, что теперь надо перенести покойного в его комнату.

– О нет, мадам, – поспешно, корректно, но уже без всякой любезности, и не по-английски, а по-французски возразил хозяин, которому совсем не интересны были те пустяки, что могли оставить теперь в его кассе приезжие из Сан-Франциско. – Это совершенно невозможно, мадам, – сказал он и прибавил в пояснение, что он очень ценит эти апартаменты, что если бы он исполнил ее желание, то всему Капри стало бы известно об этом и туристы начали бы избегать их.

Мисс, все время странно смотревшая на него, села на стул и, зажав рот платком, зарыдала. У миссис слезы сразу высохли, лицо вспыхнуло. Она подняла тон, стала требовать, говоря на своем языке и все еще не веря, что уважение к ним окончательно потеряно. Хозяин с вежливым достоинством осадил ее: если мадам не нравятся порядки отеля, он не смеет ее задерживать; и твердо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же на рассвете, что полиции уже дано знать, что представитель ее сейчас явится и исполнит необходимые формальности... Можно ли достать на Капри хотя бы простой готовый гроб, спрашивает мадам? К сожалению, нет, ни в каком случае, а сделать никто не успеет. Придется поступить как-нибудь иначе... Содовую английскую воду, например, он получает в больших и длинных ящиках... перегородки из такого ящика можно вынуть...

⁸ Уже умер (итал.).

Ночью весь отель спал. Открыли окно в сорок третьем номере, – оно выходило в угол сада, где под высокой каменной стеной, утыканной по гребню битым стеклом, рос чахлый банан, – потушили электричество, заперли дверь на ключ и ушли. Мертвый остался в темноте, синие звезды глядели на него с неба, сверчок с грустной беззаботностью запел в стене... В тускло освещенном коридоре сидели на подоконнике две горничные, что-то штопая. Вошел Луиджи с кучей платья на руке, в туфлях.

– Pronto? (Готово?) – озабоченно спросил он звонким шепотом, указывая глазами на страшную дверь в конце коридора. И легонько помотал свободной рукой в ту сторону. – Partenza!⁹ – шепотом крикнул он, как бы провожая поезд, то, что обычно кричат в Италии на станциях при отправлении поездов, – и горничные, давась беззвучным смехом, упали головами на плечи друг другу.

Потом он, мягко подпрыгивая, подбежал к самой двери, чуть стукнул в нее и, склонив голову набок, вполголоса, почтительнейше спросил:

– На sonato, signore?

И, сдавив горло, выдвинув нижнюю челюсть, скрипуче, медлительно и печально ответил сам себе, как бы из-за двери:

– Yes, come in...

А на рассвете, когда побелело за окном сорок третьего номера и влажный ветер зашуршал рваной листвою банана, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо и озолотилась против солнца, восходящего за далекими синими горами Италии, чистая и четкая вершина Монте-Соляро, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов, – принесли к сорок третьему номеру длинный ящик из-под содовой воды. Вскоре он стал очень тяжел – и крепко давил колени младшего портъе, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, взад и вперед извивавшемся по склонам Капри, среди каменных оград и виноградников, все вниз и вниз, до самого моря. Извозчик, кволий человек с красными глазами, в старом пиджачке с короткими рукавами и в сбитых башмаках, был с похмелья, – целую ночь играл в кости в траттории, – и все хлестал свою крепкую лошадку, сицилиански разряженную, спешно гроыхающую всяческими бубенчиками на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на остриях высокой медной седелки, с аршинным, трясущимся на бегу птичьим пером, торчащим из подстриженной челки. Извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками, – тем, что он до последней полушки проиграл ночью все те медяки, которыми были полны его карманы. Но утро было свежее, на таком воздухе, среди моря, под утренним небом, хмель скоро улетучивается и скоро возвращается беззаботность к человеку, да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиною... Пароходик, жуком лежавший далеко внизу, на нежной и яркой синеве которой так густо и полно налит Неаполитанский залив, уже давал последние гудки – и они бодро отзывались по всему острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так явственно виден отовсюду, точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего портъе догнал старший, мчавший в автомобиле мисс и миссис, бледных с провалившимися от слез и бессонной ночи глазами. И через десять минут пароходик снова зашумел водой и снова побежал к Сорренто, к Кастелламаре, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско... И на острове снова водворились мир и покой.

На этом острове, две тысячи лет тому назад, жил человек, совершенно запутавшийся в своих жестоких и грязных поступках, который почему-то забрал власть над миллионами людей и который, сам растерявшись от бессмысленности этой власти и от страха, что кто-нибудь убьет его из-за угла, наделал жестокостей сверх всякой меры, – и человечество навеки запомнило его, и те, что в совокупности своей, столь же непонятно и, по существу, столь же жестоко, как и он, властвуют теперь в мире, со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где он жил на одном из самых крутых подъемов острова. В это чудесное утро все, приехавшие на Капри именно с этой целью, еще спали по гостиницам, хотя к подъездам гостиниц уже вели маленьких мышастых осликов под красными седлами, на которые опять должны были нынче, проснувшись и наевшись, взгромоздиться молодые и старые американцы и американки, немцы и

⁹ Отправление (итал.).

немки и за которыми опять должны были бежать по каменистым тропинкам, и все в гору, вплоть до самой вершины Монте-Тиберио, нищие каприйские старухи с палками в жилистых руках. Успокоенные тем, что мертвого старика из Сан-Франциско, тоже собиравшегося ехать с ними, но вместо того только напугавшего их напоминанием о смерти, уже отправили в Неаполь, путешественники спали крепким сном, и на острове было еще тихо, магазины в городе были еще закрыты. Торговал только рынок на маленькой площади – рыбой и зеленью, и были на нем одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела, стоял Лоренцо, высокий старик лодочник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии, не раз служивший моделью многим живописцам: он принес и уже продал за бесценок двух пойманных им ночью омаров, шуршавших в переднике повара того самого отеля, где ночевала семья из Сан-Франциско, и теперь мог спокойно стоять хоть до вечера, с царственной повадкой поглядывая вокруг, рисуясь своими лохмотьями, глиняной трубкой и красным шерстяным беретом, спущенным на одно ухо. А по обрывам Монте-Соляро, по древней финикийской дороге, вырубленной в скалах, по ее каменным ступенькам, спускались от Анакапри два абруцских горца. У одного под кожаным плащом была волынка, – большой козий мех с двумя дудками, у другого – нечто вроде деревянной цевницы. Шли они – и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простирались под ними: и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку, под ослепительным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово. На полпути они замедлили шаг: над дорогой, в гроте скалистой стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непогод, мать божия, кроткая и милостивая, с очами, поднятыми к небу, к вечным и блаженным обителям трижды благословенного сына ее. Они обнажили головы, приложили к губам свои цевницы – и полились наивные и смиренно-радостные хвалы их солнцу, утру, ей, непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудины...

Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега Нового Света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространствовал из одного портового пакгауза в другой, оно снова попало, наконец, на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно, с таким почетом везли его в Старый Свет. Но теперь уже скрывали его от живых – глубоко спустили в просмоленном гробе в черный трюм. И опять, опять пошел корабль в свой далекий морской путь. Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море, для того, кто смотрел на них с острова Но там, на корабле, в светлых, сияющих люстрами и мрамором залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь.

Был он и на другую и на третью ночь – опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном. Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но еще громаднее его был корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем Вьюга билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен. На самой верхней крыше его одиноко высились среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженные в чуткую и тревожную дремоту, надо всем кораблем восседал его грузный водитель, похожий на языческого идола. Он слышал тяжкие завывания и яростные взвизгивания сирены, удушаемой бурей, но успокаивал себя близостью того, в конечном итоге для него самого непонятного, что было за его стеною той большой как бы бронированной каюты, что то и дело наполнялась таинственным гулом, трепетом и сухим треском синих огней, вспыхивавших и разрывавшихся вокруг бледнолицего телеграфиста с металлическим полуобручем на голове. В самом низу, в подводной утробе «Атлантиды», тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячекладовые громады котлов и всяческих других машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля, – клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его, в бесконечно длинное

подземелье, в круглый туннель, слабо озаренный электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своем маслянистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшееся в этом туннеле, похожем на жерло. А середина «Атлантиды», столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалось и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно скромная, хорошенькая девушка с опущенными ресницами, с невинной прической и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке – красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит гроб глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжело одолевающего мрак, океан, вьюгу...

Васильевское. 10.1915

Казимир Станиславович

На пожелтевшей визитной карточке с дворянской короной молодой швейцар дешевой московской гостиницы «Версаль» кое-как прочел только имя-отчество: Казимир Станиславович; дальше следовало нечто еще более трудное для произношения. Повертев карточку в руках, он заглянул в паспорт, поданный приезжим вместе с нею, пожал плечом, – никто из приезжающих в «Версаль» не предъявлял визитных карточек, – бросил то и другое в столик и опять стал глядеться в серебристо-молочное зеркальце над столиком, взбивая гребешком свои густые волосы. Был он в поддевке и расчищенных сапогах, золотой позумент на его картузе был засален, – гостиница была и дешевая и скверная. Казимир Станиславович выехал из Киева в Москву восьмого апреля, по чьей-то телеграмме, заключавшей в себе только одно слово: «Десятого». Деньги у него откуда-то взялись, сел он в купе второго класса, серое, тусклое, но, верно, дававшее ему ощущение роскоши, комфорта. В дороге топили, и это вагонное тепло, запах калорифера и тугое постукивание молоточков в нем могли напомнить Казимиру Станиславовичу другие времена. Порой казалось, что вернулась зима, белая, очень белая метель заносила в полях щетину рыжих жнивий и большие свинцовые лужи, где плавали дикие утки; но метель эта часто и неожиданно прекращалась, таяла, поля прояснялись, за облаками чувствовалось много света, а на станциях чернели мокрые платформы и кричали в голых тополях грачи. Казимир Станиславович на каждой большой станции выходил к буфету, возвращался в вагон с газетами в руках, но не читал их, а сидел и тонул в дыму своих толстых папирос, горевших жарко, с искрами, и ни с кем из соседей, – одесских евреев, всю дорогу игравших в карты, – не говорил ни слова. На нем было осеннее пальто с обитыми карманами, очень старый креповый цилиндр и новая, но грубая, базарная обувь. Руки его, характерные руки привычного пьяницы и давнего жильца подвалов, зажигая спички, тряслись. О бедности и пьянстве свидетельствовало и все прочее: отсутствие манжет, заношенный бумажный воротничок, ветхий галстук, воспаленное и донельзя измятое лицо, ярко-голубые слезящиеся глаза. Баки его были крашены плохой коричневой краской, вид имели неестественный. Глядел он устало и презрительно.

В Москву поезд пришел на другой день совсем не вовремя, опоздал на целых семь часов. Погода была неопределенная, но лучше и суше киевской, с чем-то волнующим в воздухе. Казимир Станиславович взял извозчика без торга и велел везти себя прямо в «Версаль». «Я, брат, – сказал он, неожиданно нарушая свое молчание, – эту гостиницу еще со студенческих времен знаю». Из «Версаля», как только внесли в номер его корзинку, перевязанную толстой веревкой, он тотчас же вышел.

Вечерело, воздух был тепел, зеленели черные деревья на бульварах, всюду было много народа... Одиноко человеку, прожившему и погубившему свою жизнь, в весенний вечер в чужом людном городе! Казимир Станиславович пешком прошел весь Тверской бульвар, снова увидел вдали чугунную фигуру задумавшегося Пушкина, золотые и сиреневые главы Страстного монастыря... В кофейне Филиппова он пил шоколад, рассматривал истрепанные юмористические журналы. Выйдя, постоял в нерешительности, глядя на огненную сквозную вывеску кинематографа.

матографа, сиявшую вдали по Тверской в синеющих сумерках. Потом поехал в ресторан на бульваре, тоже знакомый со студенческих времен. Вез его старик, согнутый в дугу, печальный, сумрачный, глубоко погруженный в себя, в свою старость, в свои мутные думы, мучительно и нудно помогавший всю дорогу своей ленивой лошади всем существом своим, все время что-то бормотавший ей, иногда ядовито укорявший ее, и наконец довел, – свалил с плеч очередную тяжесть и глубоко вздохнул, принимая деньги.

– А я не разобрал, думал, тебе в «Брагу», – медленно поворачивая лошадь, проговорил он даже как будто недовольно, хотя «Прага» была дальше.

– Помню, старик, и «Прагу», – ответил Казимир Станиславович. – А давно ты, верно, едешь по Москве!

– Езжу-то? – спросил старик, – Пятьдесят второй год езжу...

– Значит, может быть, и меня возил, – сказал Казимир Станиславович.

– Может, и возил, – ответил старик сухо. – На свете народу много, всех вас не упомнишь...

От прежнего ресторана, известного Казимиру Станиславовичу, осталось одно звание. Теперь это был большой низкопробный ресторан. Над подъездом горел электрический шар, гелиотроповым, неприятным светом озарявший лихачей второго сорта, наглых и беспощадных к своим запаленным, костлявым рысакам, тяжело ревушим на бегу. В сырых сенях стояли горшки с тропическими растениями, из тех, что переезжают с похорон на свадьбы и обратно. В лакейской к Казимиру Станиславовичу кинулось сразу несколько человек и все с такими же густыми клубами волос, как у швейцара «Версаля». В большом зеленоватом зале со множеством широких зеркал и с малиновой лампадкой, теплившейся в углу, было еще пусто и зажжено всего несколько рожков. Казимир Станиславович долго сидел один. Чувствовалось, что еще не совсем стемнел за окнами в белых шторах долгий весенний вечер, слышалось с улицы цоканье копыт по мостовой; однообразно плескался среди зала фонтанчик в аквариуме, где ходили облезлые золотые рыбки, откуда-то снизу, сквозь воду, освещенные. Белый половой подал прибор, хлеб, графинчик холодной водки. Казимир Станиславович стал пить водку без закуски, давил ее во рту, прежде чем проглотить, а проглотив, стискивал зубы и как будто с отвращением нюхал черный хлеб. Вдруг, даже испугав его, загрохотала на весь зал и запела машина – смесь из русских песен, то преувеличенно бурных, бесшабашных, то не в меру нежных, протяжных, задушевно-грустных... И у Казимира Станиславовича покраснели глаза, подернулись слезами...

Потом седой, кудрявый грузин принес ему на железной пике полусырой пахучий шашлык, с каким-то развратным щегольством срезал мясо на тарелку и, для пущей азиатской простоты, собственноручно посыпал луком, солью и ржавым порошком барбариса, меж тем как машина гремела в пустом зале подмывающим к едким изгибам и подскакиваниям кекуоком... Потом подавали Казимиру Станиславовичу рокфор, красное вино, кофе, нарзан, ликеры... Машина давно смолкла. Вместо нее играл на эстраде оркестр немок в белых платьях, освещенный и все наполнявшийся народом зал нагрелся, потускнел от табачного дыма, густо насытился запахом кушаний; половые косились вихрем, пьяные требовали сигар, от которых их тошнило; метрдотели расточали крайнюю заботливость, соединенную с напряженным соблюдением собственного достоинства; в зеркалах, в их мутно-водянистых безднах отражалось что-то огромное, шумное, сложное; Казимир Станиславович несколько раз выходил из жаркого зала в прохладные коридоры, в холодную уборную, где странно пахло морем, шел точно по воздуху и, возвратясь, снова требовал вина. Во втором часу, закрывая глаза и сквозь ноздри втягивая в свою одурманенную голову ночную свежесть, он летел на лихаче, на высокой пролетке с дутыми шинами, за город, в публичный дом, видел вдали бесконечные цепи поздних огней, убегавших куда-то под гору и снова поднимавшихся в гору, но видел так, точно это был не он, а кто-то другой; в публичном доме он чуть не подрался с каким-то полным господином, который, наступая на него, кричал, что его знает вся мыслящая Россия; потом одетый лежал на широкой постели, покрытой стеганным атласным одеялом, в небольшой комнате, полуосвещенной с потолка голубым фонарем, приторно пахнущей душистым мылом, с платьями, навешенными на крюк на двери; возле постели стояла ваза с фруктами; девушка, обязанная занимать Казимира Станиславовича, молча, жадно, со вкусом ела грушу, обрезая ее ножичком, а ее подруга, с голыми толстыми руками, в одной рубашке, делавшей ее похожей на девочку, быстро писала письмо на туалетном столике, не обращая на них никакого внимания; она писала и плакала – о чем? На свете народу много, всего не узнаешь...

Десятого апреля Казимир Станиславович проснулся поздно. Судя по тому, как испуганно открыл он глаза, можно было понять, что его на мгновение ошеломила мысль о том, что он в Москве и что было вчера. Он вернулся не ранее пятого часа. Он шатался, поднимаясь по лестнице «Версаля», однако без ошибки пошел к своему номеру по длинному вонючему туннелю коридора, где только в самом начале сонно коптила лампочка. Возле всех номеров стояли сапоги и башмаки, – все людей чужих, неизвестных друг другу. Внезапно одна дверь, пахнув на Казимира Станиславовича почти ужасом, растворилась, на пороге ее появился старик в халате, похожий на плохого актера, играющего «Записки сумасшедшего», и Казимир Станиславович увидел лампу под зеленым колпаком и тесно заставленную комнату, берлогу одинокого, старого жильца, с образами в углу и несметными коробками из-под папиросных гильз, чуть не до потолка наложенными одна на другую возле образов... Неужели это был тот же самый полоумный составитель жизнеописаний угодников, что жил в «Версале» двадцать три года тому назад? В темном номере Казимира Станиславовича было страшно душно от какой-то едкой и пахучей суши. Свет слабо проникал в темноту из окна над дверью. Казимир Станиславович зашел за перегородку, снял цилиндр со своих очень редких, нафиксатуаренных волос, кинул пальто в изголовье голой кровати... Все закружилось под ним, как только он лег, понеслось в пропасть, и он мгновенно заснул. Во сне все время чувствовал он смрад железного умывальника, стоявшего возле самого его лица, а видел весенний день, деревья в цвету, зал большого барского дома и множество народа, со страхом ожидавшего, что вот-вот приедет митрополит, и это ожидание мучило, томило его всю ночь. Теперь по коридорам «Версаля» звонили, бежали, перекрикивались. За перегородкой, сквозь двойные пыльные стекла, светило солнце, было жарко... Казимир Станиславович снял пиджак, позвонил и стал умываться. Прибежал коридорный, востроглазый мальчишка с лисьим пухом на голове, в сюртуке и розовой косоворотке.

– Калач, самовар и лимон, – сказал Казимир Станиславович, не глядя на него.

– Чай, сахар наш прикажете? – с московской бойкостью спросил коридорный.

И через минуту влетел с кипящим самоваром на ладони возле плеча, мгновенно раскинул по круглому столу перед диваном скатерть, поднос со стаканом и полоскательницей, стукнул по подносу ножками самовара... Казимир Станиславович, пока настаивался чай, развернул «Московский листок», подсунутый коридорным вместе с самоваром; взгляд его упал на заметку о том, что вчера был где-то поднят в бессознательном состоянии неизвестный человек... «Пострадавший отправлен в больницу», – прочел он и бросил газету. Он почувствовал себя очень зыбко, плохо. Поднявшись, открыл окно, – оно выходило во двор, – и на него запахло свежестью и городом, понеслись изысканно-певучие крики разносчиков, звонки гудящих за противоположным домом конок, слитный треск экипажей, музыкальный гул колоколов... Город давно уже жил своей шумной, огромной жизнью в этот яркий весенний день. Выдавив в стакан с чаем целый лимон, с жадностью выпив мутную кислую жидкость, Казимир Станиславович опять ушел за перегородку. «Версаль» затих. Взгляд лениво скользил по конторскому объявлению на стене: «Пробывши три часа, считается за сутки»; мышшь гремела в комод, катая кусок сахара, оставленный каким-нибудь проезжим... Так, в полудремоте, Казимир Станиславович пролежал за перегородкой до тех пор, пока солнце не скрылось из комнаты и не потянуло в окно другой свежестью, уже предвечерней.

Тогда он тщательно привел себя в порядок: развязал корзинку, переменял белье, достал дешевенький, но чистый носовой платок, обмахнул щеткой лоснящийся сюртук, цилиндр и пальто, вынул из его продранного кармана и кинул в угол затертую киевскую газету. Одевшись и расчесав красящим гребнем баки, он подсчитал свои средства, – в кошельке его оставалось всего четыре рубля семь гривен, – и вышел. Ровно в шесть он был возле низенькой старинной церковки на Молчановке. За церковной оградой мелкой зеленью зеленело развесистое дерево, играли дети, – у одной худенькой девочки, прыгавшей через веревочку, все спадал черный чулочек, – и сидели на скамье, перед колясочками со спящими младенцами, кормилицы в русских нарядах. Все дерево трещало воробьями, воздух был мягок, – совсем, совсем летний, даже пылью пахло по-летнему, – и нежно золотилось вдаль за домами небо над закатом, и чувствовалось, что в мире есть радость, молодость, счастье. В церкви уже горела люстра и стоял нагой, перед ним лежал коврик. Казимир Станиславович осторожно, стараясь не испортить прически, снял цилиндр, вступил в церковь несмело, – он не бывал в церквях уже лет тридцать, – и поместился в уголке, но так, чтобы ему было видно венчающихся. Он оглядывал расписные своды, поднимал глаза в

купол, и каждое его движение, каждый вздох звучно отдавался в тишине. Церковь, блестя своим золотом, выжидательно потрескивала свечами. И вот, крестясь, но свободно, привычно стали входить священнослужители, певчие, потом старухи, дети, свадебные нарядные гости и озабоченные шафера. Когда же послышался шум возле паперти, захрустела колесами подъехавшая карета и все обратились ко входу и грянула встреча: «Гряди, голубица моя!» – Казимир Станиславович покрылся от сердцебиения смертельной бледностью и невольно двинулся вперед. И близко, близко прошла мимо него, даже фатой своей его коснулась и ландышем овеяла та, которая даже не знала о его существовании на свете, прошла, склонив свою прелестную голову, вся в цветах и сквозном газе, вся белоснежная и непорочная, как принцесса, идущая к первому причастию... Жениха, встретившего ее, низенького, широкоплечего, с желтым бобриком на темени, Казимир Станиславович едва видел. И за все время венчания только одно было перед его глазами: склоненная, в цветах и фате, голова и маленькая до боли в сердце милая, прелестная рука, с дрожью державшая горящую свечу, перевитую белой лентой с бантом...

В десятом часу вечера он был опять дома. Все пальто его пропахло весенним воздухом: после того как, выйдя из церкви, увидел он у паперти зеркальное, отражавшее закат стекло кареты, бело-атласной внутри, и в последний раз мелькнуло за этим стеклом лицо той, которую навсегда, навеки, увозили от него куда-то, он долго скитался по каким-то переулкам, выходил на Новинский бульвар... Теперь он медленно снял с себя пальто трясущимися руками, положил на стол бумажный мешочек с двумя зелеными огурцами, зачем-то купленными им с лотка разносчика... От них пахло весной даже сквозь бумагу, и по-весеннему, жидко серебрился в верхнее стекло окна апрельский месяц, высоко стоявший на еще не стемневшем небе. Казимир Станиславович зажег свечу, печально осветил свой пустой, случайный приют, сел на диван, ощущая на лице вечернюю свежесть... Так просидел он очень долго. Он не звонил, ничего не требовал, заперся на ключ, – все это показалось подозрительным коридорному, видевавшему, как он, шаркая ногами, входил в номер, как вынимал ключ из двери, чтобы запереться изнутри. Коридорный несколько раз пробирался на цыпочках к его двери и смотрел в замочную скважину: Казимир Станиславович сидел на диване и, трясаясь и вытирая платком лицо, плакал так ужасно, так обильно, что с бакенбард его сходила и размазывалась по щекам коричневая краска.

Ночью он сорвал шнур с оконной шторы и, ничего не видя от слез, стал привязывать его к крюку вешалки. Но догоревшая свеча жутко полыхала, по запертому на ключ номеру плыли и дрожали страшные темные волны... Нет, умереть от своей руки он был не в силах!

Утром он уехал на вокзал часа за три до поезда. На вокзале он тихо ходил среди пассажиров с опущенными глазами, неожиданно приостанавливался то перед тем, то перед другим и вполголоса, ровно, без выражения, но довольно быстро говорил:

– Ради бога... Нахожусь в безвыходном положении... На билет до Брянска... Хоть несколько копеек...

И некоторые, стараясь не глядеть на его цилиндр, вытертый бархатный воротник пальто и на ужасное лицо с облинявшими фиолетовыми баками, торопясь и конфузясь, давали ему.

А потом он смешался с толпой, кинувшейся к выходу на платформу, и исчез в ней, меж тем как в «Версале», в номере, двое суток как бы принадлежавшем ему, выносили ведро из умывальника, распахивали на апрельское солнце окна и, грубо двигая стульями, выметали, вышвыривали сор, а вместе с сором – его разорванную записку, забытую им вместе с огурцами, упавшую под стол, под спустившуюся скатерть:

«В смерти моей прошу никого не винить...»

1916

Легкое дыхание

На кладбище, над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий.

Апрель, дни серые; памятники кладбища, просторного, уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья, и холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста.

В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне – фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами.

Это Оля Мещерская.

Девочкой она ничем не выделялась в толпе коричневых гимназических платьиц: что можно было сказать о ней, кроме того, что она из числа хорошеньких, богатых и счастливых девочек, что она способна, но шаловлива и очень беспечна к тем наставлениям, которые ей делает классная дама? Затем она стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам. В четырнадцать лет у нее, при тонкой талии и стройных ножках, уже хорошо обрисовывались груди и все те формы, очарование которых еще никогда не выразило человеческое слово; в пятнадцать она слыла уже красавицей. Как тщательно причесывались некоторые ее подруги, как чисто плотны были, как следили за своими сдержанными движениями! А она ничего не боялась – ни чернильных пятен на пальцах, ни покрасневшегося лица, ни растрепанных волос, ни заголившегося при падении на бегу колена. Без всяких ее забот и усилий и как-то незаметно пришло к ней все то, что так отличало ее в последние два года из всей гимназии, – изящество, нарядность, ловкость, ясный блеск глаз... Никто не танцевал так на балах, как Оля Мещерская, никто не бегал так на коньках, как она, ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней, и почему-то никого не любили так младшие классы, как ее. Незаметно стала она девушкой, и незаметно упрочилась ее гимназическая слава, и уже пошли толки, что она ветрена, не может жить без поклонников, что в нее безумно влюблен гимназист Шеншин, что будто бы и она его любит, но так изменчива в обращении с ним, что он покушался на самоубийство.

Последнюю свою зиму Оля Мещерская совсем сошла с ума от веселья, как говорили в гимназии. Зима была снежная, солнечная, морозная, рано опускалось солнце за высокий ельник снежного гимназического сада, неизменно погожее, лучистое, обещающее и на завтра мороз и солнце, гулянье на Соборной улице, каток в городском саду, розовый вечер, музыку и эту во все стороны скользящую на катке толпу, в которой Оля Мещерская казалась самой беззаботной, самой счастливой. И вот однажды, на большой перемене, когда она вихрем носилась по сборному залу от гонявшихся за ней и блаженно визжавших первоклассниц, ее неожиданно позвали к начальнице. Она с разбегу остановилась, сделала только один глубокий вздох, быстрым и уже привычным женским движением оправила волосы, дернула уголки передника к плечам и, сияя глазами, побежала наверх. Начальница, молодая, но седая, спокойно сидела с вязаньем в руках за письменным столом, под царским портретом.

– Здравствуйте, *mademoiselle* Мещерская, – сказала она по-французски, не поднимая глаз от вязанья. – Я, к сожалению, уже не первый раз принуждена призывать вас сюда, чтобы говорить с вами относительно вашего поведения.

– Я слушаю, *madame*, – ответила Мещерская, подходя к столу, глядя на нее ясно и живо, но без всякого выражения на лице, и присела так легко и грациозно, как только она одна умела.

– Слушать вы меня будете плохо, я, к сожалению, убедилась в этом, – сказала начальница и, потянув нитку и завертев на лакированном полу клубок, на который с любопытством посмотрела Мещерская, подняла глаза. – Я не буду повторяться, не буду говорить пространно, – сказала она.

Мещерской очень нравился этот необыкновенно чистый и большой кабинет, так хорошо дышавший в морозные дни теплом блестящей голландки и свежестью ландышей на письменном столе. Она посмотрела на молодого царя, во весь рост написанного среди какой-то блистательной залы, на ровный пробор в молочных, аккуратно гофрированных волосах начальницы и выжидательно молчала.

– Вы уже не девочка, – многозначительно сказала начальница, втайне начиная раздражаться.

– Да, *madame*, – просто, почти весело ответила Мещерская.

– Но и не женщина, – еще многозначительнее сказала начальница, и ее матовое лицо слегка заалело. – Прежде всего, – что это за прическа? Это женская прическа!

– Я не виновата, *madame*, что у меня хорошие волосы, – ответила Мещерская и чуть тронула обеими руками свою красиво убранную голову.

– Ах, вот как, вы не виноваты! – сказала начальница. – Вы не виноваты в прическе, не виноваты в этих дорогих гребнях, не виноваты, что разоряете своих родителей на туфельки в двадцать рублей! Но, повторяю вам, вы совершенно упускаете из виду, что вы пока только гимназистка...

И тут Мещерская, не теряя простоты и спокойствия, вдруг вежливо перебила ее:

– Простите, *madame*, вы ошибаетесь: я женщина. И виноват в этом – знаете кто? Друг и со-

сед папы, а ваш брат Алексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым летом в деревне...

А через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала, среди большой толпы народа, только что прибывшей с поездом. И невероятное, ошеломившее начальницу признание Оли Мещерской совершенно подтвердилось: офицер заявил судебному следователю, что Мещерская завлекла его, была с ним близка, поклялась быть его женой, а на вокзале, в день убийства, провожая его в Новочеркасск, вдруг сказала ему, что она и не думала никогда любить его, что все эти разговоры о браке – одно ее издевательство над ним, и дала ему прочесть ту страничку дневника, где говорилось о Малютине.

– Я пробежал эти строки и тут же, на платформе, где она гуляла, поджидая, пока я кончу читать, выстрелил в нее, – сказал офицер. – Дневник этот, вот он, взгляните, что было написано в нем десятого июля прошлого года. В дневнике было написано следующее: "Сейчас второй час ночи. Я крепко заснула, но тотчас же проснулась... Нынче я стала женщиной! Папа, мама и Толя, все уехали в город, я осталась одна. Я была так счастлива, что одна! Я утром гуляла в саду, в поле, была в лесу, мне казалось, что я одна во всем мире, и я думала, так хорошо, как никогда в жизни. Я и обедала одна, потом целый час играла, под музыку у меня было такое чувство, что я буду жить без конца и буду так счастлива, как никто. Потом заснула у папы в кабинете, а в четыре часа меня разбудила Катя, сказала, что приехал Алексей Михайлович. Я ему очень обрадовалась, мне было так приятно принять его и занимать. Он приехал на паре своих вяток, очень красивых, и они все время стояли у крыльца, он остался, потому что был дождь, и ему хотелось, чтобы к вечеру просохло. Он жалел, что не застал папу, был очень оживлен и держал себя со мной кавалером, много шутил, что он давно влюблен в меня. Когда мы гуляли перед чаем по саду, была опять прелестная погода, солнце блестело через весь мокрый сад, хотя стало совсем холодно, и он вел меня под руку и говорил, что он Фауст с Маргаритой. Ему пятьдесят шесть лет, но он еще очень красив и всегда хорошо одет – мне не понравилось только, что он приехал в крылатке, – пахнет английским одеколоном, и глаза совсем молодые, черные, а борода изящно разделена на две длинные части и совершенно серебряная. За чаем мы сидели на стеклянной веранде, я почувствовала себя как будто нездоровой и прилегла на тахту, а он курил, потом пересел ко мне, стал опять говорить какие-то любезности, потом рассматривать и целовать мою руку. Я закрыла лицо шелковым платком, и он несколько раз поцеловал меня в губы через платок... Я не понимаю, как это могло случиться, я сошла с ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь мне один выход... Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережить этого!.."

Город за эти апрельские дни стал чист, сух, камни его побелели, и по ним легко и приятно идти. Каждое воскресенье, после обедни, по Соборной улице, ведущей к выезду из города, направляется маленькая женщина в трауре, в черных лайковых перчатках, с зонтиком из черного дерева. Она переходит по шоссе грязную площадь, где много закопченных кузниц и свежо дует полевой воздух; дальше, между мужским монастырем и острогом, белеет облачный склон неба и сереет весеннее поле, а потом, когда проберешься среди луж под стеной монастыря и повернешь налево, увидишь как бы большой низкий сад, обнесенный белой оградой, над воротами которой написано Успение божией матери. Маленькая женщина мелко крестится и привычно идет по главной аллее. Дойдя до скамьи против дубового креста, она сидит на ветру и на весеннем холоде час, два, пока совсем не зазябнут ее ноги в легких ботинках и рука в узкой лайке. Слушая весенних птиц, сладко поющих и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что отдала бы полжизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка. Этот веночек, этот бугор, дубовый крест! Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте, и как совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской? – Но в глубине души маленькая женщина счастлива, как все преданные какой-нибудь страстной мечте люди.

Женщина эта – классная дама Оли Мещерской, немолодая девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был ее брат, бедный и ничем не замечательный прапорщик, – она соединила всю свою душу с ним, с его будущностью, которая почему-то представлялась ей блестящей. Когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, что она – идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой. Теперь Оля Мещерская – предмет ее неотступных дум и чувств. Она ходит на ее могилу

каждый праздник, по часам не спускает глаз с дубового креста, вспоминает бледное личико Оли Мещерской в гробу, среди цветов – и то, что однажды подслушала: однажды, на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля Мещерская быстро, быстро говорила своей любимой подружке, полной, высокой Субботиной:

– Я в одной папиной книге, – у него много старинных смешных книг, – прочла, какая красота должна быть у женщины... Там, понимаешь, столько насказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза, – ей-богу, так и написано: кипящие смолой! – черные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки, – понимаешь, длиннее обыкновенного! – маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покатые плечи, – я многое почти наизусть выучила, так все это верно! – но главное, знаешь ли что? – Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть, – ты послушай, как я вздыхаю, – ведь правда, есть?

Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.

1916

Сны Чанга

Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле.

Некогда Чанг узнал мир и капитана, своего хозяина, с которым соединилось его земное существование. И прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных песочных часах.

Вот опять была ночь – сон или действительность? – и опять наступает утро – действительность или сон? Чанг стар, Чанг пьяница – он все дремлет.

На дворе, в городе Одессе, зима. Погода злая, мрачная, много хуже даже той, китайской, когда Чанг с капитаном встретили друг друга. Несет острым мелким снегом, снег косо летит по ледяному, скользкому асфальту пустого приморского бульвара и больно сечет в лицо каждому еврею, что, засунувши руки в карманы и сгорбившись, неумело бежит направо или налево. За гаванью, тоже опустевшей, за туманным от снега заливом слабо видны голые степные берега. Мол весь дымится густым серым дымом: море с утра до вечера переваливается через мол пенистыми чревами. Ветер звонко свищет в телефонных проволоках...

В такие дни жизнь в городе начинается не рано. Не рано просыпаются и Чанг с капитаном. Шесть лет – много это или мало? За шесть лет Чанг с капитаном стали стариками, хотя капитану еще и сорока нет, и судьба их грубо переменилась. По морям они уже не плавают – живут "на берегу", как говорят моряки, и не там, где жили когда-то, а в узкой и довольно мрачной улице, на чердаке пятиэтажного дома, пахнущего каменным углем, населенного евреями, из тех, что в семью приходят только к вечеру и ужинают в шляпах на затылок. Потолок у Чанга с капитаном низкий, комната большая и холодная. В ней всегда кроме того сумрачно: два окна, пробитые в наклонной стене-крыше, невелики и круглы, напоминают корабельные. Между окнами стоит что-то вроде комода, а у стены налево старая железная кровать; вот и все убранство этого скучного жилища, если не считать камина, из которого всегда дует свежим ветром.

Чанг спит в уголке за камином. Капитан ни кровати. Какова эта чуть не до полу продавленная кровать и каков матрац на ней, легко представит себе всякий, живавший на чердаках, а нечистая подушка так жидка, что капитану приходится подкладывать под нее свою тужурку. Однако и на этой кровати спит капитан очень спокойно, лежит, – на спине, с закрытыми глазами и серым лицом, – неподвижно, как мертвый. Что за чудесная кровать была у него прежде! Ладная, высокая, с ящиками, с постелью глубокой и уютной, с тонкими и скользкими простынями и охлаждающими белоснежными подушками! Но и тогда, даже в качку, не спал капитан так крепко, как теперь: за день он сильно устает, да и о чем ему теперь тревожиться, что он может проспать и чем может обрадовать его новый день? Было когда-то две правды на свете, постоянно сменявших друг друга: первая та, что жизнь несказанно прекрасна, а другая – что жизнь мыслима лишь для сумасшедших. Теперь капитан утверждает, что есть, была и во веки веков будет только одна правда, последняя, правда еврея Иова, правда мудреца из неведомого племени, Экклезиаста. Часто говорит теперь капитан, сидя в пивной: "Помни, человек, с юности твоей те тяжелые дни и годы, о коих ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них!" – Все же дни и ночи попрежнему

существуют, и вот опять была ночь и опять наступает утро. И капитан с Чангом просыпаются.

Но, проснувшись, капитан не открывает глаз. Что он в эту минуту думает, не знает даже Чанг, лежащий на полу возле нетопленного камина, из которого всю ночь пахло морской свежестью. Чангу известно только одно: то, что капитан пролежит так не менее часа. Чанг, поглядев на капитана уголком глаза, снова смыкает веки и снова задремывает. Чанг тоже пьяница, он тоже по утрам мутен, слаб и чувствует мир с тем томным отвращением, которое так знакомо всем плавающим на кораблях и страдающим морской болезнью. И потому, задремывая в этот утренний час, Чанг видит сон томительный, скучный...

Видит он:

Поднялся на палубу парохода старый, кислоглазый китаец, опустился на корячки, стал скулить, упрашивать всех проходящих мимо, чтобы купили у него плетушку тухлых рыбок, которую он принес с собою. Был пыльный и холодный день на широкой китайской реке. В лодке под камышовым парусом, качавшейся на речной мути, сидел щенок, – рыжий кобелек, имевший в себе нечто лисье и волчье, с густым жестким мехом вокруг шеи, – строго и умно водил черными глазами по высокой железной стене пароходного бока и торчком держал уши.

– Продай лучше собаку! – весело и громко, как глухому, крикнул китаец молодой капитан парохода, без дела стоявший на своей вышке.

Китаец, первый хозяин Чанга, вскинул глаза кверху, оторопел и от крика и от радости, стал кланяться и цокать: "Ve'y good dog, ve'y good!" – И щенка купили, – всего за целковый, – назвали Чангом, и поплыл он в тот же день со своим новым хозяином в Россию и вначале, целых три недели, так мучился морской болезнью, был в таком дурмане, что даже ничего: не видел: ни океана, ни Сингапура, ни Коломбо...

В Китае начиналась осень, погода была трудная. И стало мутить Чанга, едва вышли в устье. Навстречу несло дождем, мглою, сверкали по водной равнине барашки, качалась, бежала, всплескивалась серо-зеленая зыбь, острая и бестолковая, а плоские прибрежья расходились, терялись в тумане – и все больше, больше становилось воды вокруг. Чанг, в своей серебрившейся от дождя шубке, и капитан, в непромокаемом пальто с поднятым капюшоном, были на мостике, высота которого чувствовалась теперь еще сильнее, чем прежде. Капитан командовал, а Чанг дрожал и воротил от ветра морду. Вода ширилась, охватывала ненастные горизонты, мешалась с мгlistым небом. Ветер рвал с крупной шумной зыби брызги, налетал откуда попало, свистал в реях и гулко хлопал внизу парусиновыми тентами, меж тем как матросы, в кованных сапогах и мокрых накидках, отвязывали, ловили и скатывали их. Ветер искал, откуда бы покрепче ударить, и как только пароход, медленно ему кланявшийся, взял покруче вправо, поднял его таким большим, кипучим валом, что он не удержался, рухнул с переката вала, зарываясь в пену, а в штурманской рубке с дребезгом и звоном полетела на пол кофейная чашка, забытая на столике лакеем... И с этой минуты пошла музыка!

Дни потом были всякие: то огнем жгло с сияющей лазури солнце, то горами громоздились и раскатывались ужасающим громом тучи, то потопами обрушивались на пароход и на море буйные ливни; но качало, качало непрерывно, даже и во время стоянок. В конец замученный, ни разу за целых три недели не покинул Чанг своего угла в жарком полутемном коридоре среди пустых кают второго класса, на юте, возле высокого порога двери на палубу, отворявшейся только раз в сутки, когда вестовой капитана приносил Чангу пищу. И от всего пути до Красного моря остались в памяти Чанга только тяжкие скрипы переборок, дурнота и замирание сердца, то летевшего вместе с дрожащей кормой куда-то в пропасть, то возносившегося в небо, да колючий, смертный ужас, когда об эту высоко поднятую и вдруг снова завалившуюся на сторону корму, грохочущую винтом в воздухе, с пушечным выстрелом расшибалась целая водяная гора, гасившая дневной свет в иллюминаторах и потом стекавшая по их толстым стеклам мутными потоками. Слышал больной Чанг далекие командные крики, гремучие свистки боцмана, топот матросских ног где-то над головой, слышал плеск и шум воды, различал полузакрытыми глазами полутемный коридор, загроможенный рогожными тюками чая, – и шалел, пьянел от тошноты, жары и крепкого чайного запаха...

Но тут сон Чанга обрывается.

Чанг вздрагивает и открывает глаза: это уже не волна с пушечным выстрелом ударила в корму – это грохнула где-то внизу дверь, с размаху кем-то брошенная. И вслед за этим громко откашливается и медленно встает со своего вдавленного одра капитан. Он натягивает на ноги и

зашнуровывает разбитые башмаки, надевает вынутую из-под подушки черную тужурку с золотыми пуговицами и идет к комоду, меж тем как Чанг, в своей рыжей поношенной шубке, недовольно, с визгом зевает, поднявшись с пола. На комодe стоит начатая бутылка водки. Капитан пьет прямо из горлышка и, слегка задохнувшись и отдуваясь в усы, направляется к камину, наливает в плошку, стоящую возле него, водки и для Чанга. Чанг жадно начинает лакать. А капитан закуривает и снова ложится – ждать того часа, когда совсем обедняется. Уже слышен отдаленный гул трамвая, уже льется далеко внизу, на улице, непрерывное цоканье копыт по мостовой, но выходить еще рано. И капитан лежит и курит. Кончив лакать, ложится и Чанг. Он вскакивает на кровать, свертывается клубком у ног капитана и медленно вливается в то блаженное состояние, которое всегда дает водка. Полузакрытые глаза его туманятся, он слабо глядит на хозяина и, чувствуя все возрастающую нежность к нему, думает то, что можно выразить по-человечески так: "Ах, глупый, глупый! Есть только одна правда на свете, и если бы ты знал, какая эта чудесная правда!" И опять не то снится, не то думается Чангу то далекое утро, когда, после мучительного, беспокойного океана, вошел пароход, плывший из Китая с капитаном и Чангом, в Красное море...

Снится ему:

Проходя Перим, все медленнее, точно баюкая, размахивался пароход, и впал Чанг в сладкий и глубокий сон. И вдруг очнулся. И очнувшись, изумился выше всякой меры: везде было тихо, мерно дрожала и никуда не падала корма, ровно шумела вода, бежавшая где-то за стенами, теплый кухонный запах, тянувшийся из-под двери на палубу, был очарователен... Чанг привстал и поглядел в пустую кают-компанию: там, в сумраке, мягко светилось что-то золотисто-лиловое, что-то едва уловимое глазом, но необыкновенно радостное – там, в солнечно-голубую пустоту, на простор, на воздух, были открыты задние иллюминаторы, а по низкому потолку струились, текли и не утекали извилистые зеркальные ручьи... И случилось с Чангом то же, что не раз случалось в те времена и с его хозяином, капитаном: он вдруг понял, что существует в мире не одна, а две правды – одна та, что жить на свете и плавать ужасно, а другая... Но о другой Чанг не успел додумать: в неожиданно распахнувшуюся дверь он увидел трап на спардек, черную, блестящую громаду паровой трубы, ясное небо летнего утра и быстро идущего из-под трапа, из машинного отделения, капитана, размытого и выбритого, благоухающего свежестью одеколона, с поднятыми по-немецки русыми усами, с сияющим взглядом зорких светлых глаз, во всем тугом и белоснежном. И увидев все это, Чанг так радостно рванулся вперед, что капитан на лету подхватил его, чмокнул в голову и, повернув назад, в три прыжка выскочил, на руках с ним, на спардек, на верхнюю палубу, а оттуда еще выше, на тот самый мостик, где так страшно было в устье великой китайской реки.

На мостике капитан вошел в штурманскую рубку, а Чанг, брошенный на пол, немного по сидел, трубой распушив по гладким доскам свой лисий хвост. Сзади Чанга было очень горячо и светло от невысокого солнца. Горячо, должно быть, было и в Аравии, близко проходившей справа своим золотым побережьем и своими черно-коричневыми горами, своими пиками, похожими на горы мертвой планеты, тоже глубоко засыпанными сухим золотом, – всей своей песчано-гористой пустыней, видной необыкновенно четко, так, что, казалось, туда можно перепрыгнуть. А наверху, на мостике, еще чувствовалось утро, еще тянуло легкой свежестью, и бодро гулял взад и вперед помощник капитана, – тот самый, что потом так часто до бешенства доводил Чанга, дую ему в нос, – человек в белой одежде, в белом шлеме и в страшных черных очках, все поглядывавший на поднебесное острие передней мачты, над которой белым страусовым пером курчавилось тончайшее облачко... Потом капитан крикнул из рубки: "Чанг! Кофе пить!" И Чанг тотчас вскочил, обежал рубку и ловко сиганул через ее медный порог. И за порогом оказалось еще лучше, чем на мостике: там был широкий кожаный диван, приделанный к стене, над ним висели какие-то блестящие стеклом и стрелками штуки вроде круглых стенных часов, а на полу стояла полоскательница с бурдой из сладкого молока и хлеба. Чанг стал жадно лакать, а капитан занялся делом: он развернул на стойке, помещавшейся под окном против дивана, большую морскую карту и, положив на нее линейку, твердо прорезал алыми чернилами длинную полосу. Чанг, кончив лакать, с молоком на усах, подпрыгнул и сел на стойке возле самого окна, за которым синела отложным воротом просторная рубаха матроса, стоявшего спиной к окну перед колесом с рогами. И тут капитан, который, как оказалось впоследствии, очень любил поговорить, будучи наедине с Чангом, сказал Чангу:

– Видишь, братец, вот это и есть Красное море. Надо нам с тобой пройти его поумнее, – ишь, какое оно от островков и рифов пестрое, – надо мне тебя доставить в Одессу в полной сохранности, потому что там уже знают о твоём существовании. Я уже проболтался про тебя одной прекапризной девчонке, похвастался перед ней твоей милостью по такому, понимаешь ли, длинному канату, что проложен умными людьми на дне всех морей-океанов... Я, Чанг, все-таки ужасно счастливый человек, такой счастливый, что ты даже и представить себе не можешь, и потому мне ужасно не хочется напороться на какой-нибудь из этих рифов, осрамиться до девятой пуговицы на своем первом дальнем рейсе...

И говоря так, капитан вдруг строго глянул на Чанга и дал ему пощечину:

– Лапы с карты прочь! – крикнул он начальственно. – Не смей лезть на казенное добро!

И Чанг, мотнув головой, зарычал и зажмурился. Это была первая пощечина, полученная им, и он обиделся, ему опять показалось, что жить на свете и плавать – скверно. Он отвернулся, гася и сокращая свои прозрачно-яркие глаза, и с тихим рычанием оскалил свои волчьи зубы. Но капитан не придал значения его обиде. Он закурил папиросу и вернулся на диван, вынул из бокового кармана пикейной куртки золотые часы, отколупнул крепким ногтем их крышки и, глядя на что-то сияющее, необыкновенно живое, торопливое, что звонко бежало внутри часов, опять заговорил дружески. Он опять стал рассказывать Чангу о том, что он везет его в Одессу, на Елисаветинскую улицу, что на Елисаветинской улице есть у него, у капитана, во-первых, квартира, во-вторых, красавица-жена и, в-третьих, чудесная дочка, и что он, капитан, все-таки очень счастливый человек.

– Все-таки, Чанг, счастливый! – сказал капитан, а потом добавил:

– Дочка эта самая, Чанг, девочка, резвая, любопытная, настойчивая, – плохо тебе будет временами, особенно твоему хвосту! Но если бы ты знал, Чанг, что это за прелестное существо! Я, братец, так люблю ее, что даже боюсь своей любви: для меня весь мир только в ней, – ну, скажем, почти в ней, – а разве так полагается? Да и вообще, следует ли кого-нибудь любить так сильно? – спросил он. – Разве глупее нас с тобой были все эти ваши Будды, а послушай-ка, что они говорят об этой любви к миру и вообще ко всему телесному – от солнечного света, от волны, от воздуха и до женщины, до ребенка, до запаха белой акации! Или: знаешь ли ты, что такое Тао, выдуманное вами же, китайцами? Я, брат, сам плохо знаю, да и все плохо знают это, но, насколько можно понять, ведь это что такое? Бездна-Праматерь, она же родит и поглощает и, поглощая, снова родит все сущее в мире, а иначе сказать – тот Путь всего сущего, коему не должно противиться ничто сущее. А ведь мы поминутно противимся ему, поминутно хотим повернуть не только, скажем, душу любимой женщины, но и весь мир по-своему! Жутко жить на свете, Чанг, – сказал капитан, – очень хорошо, а жутко, и особенно таким, как я! Уж очень я жаден до счастья и уж очень часто сбиваюсь: темен и зол этот Путь, или же совсем, совсем напротив?

И, помолчав, еще прибавил:

– Главная штука ведь в чем? *Когда кого любишь, никакими силами никто не заставит тебя верить, что может не любить тебя тот, кого ты любишь.* И вот тут-то, Чанг, и зарыта собака. А как великолепна жизнь, Боже мой, как великолепна!

Накаляемый уже высоко поднявшимся солнцем и чуть дрожащий на бегу пароход неустанно разрезал заштилевшее в бездне знойного воздушного пространства Красное море. Светлая пустота тропического неба глядела в дверь рубки. Близился полдень, медный порог так и горел на солнце. Стекловидные валы все медлительнее перекатывались за бортом, вспыхивая ослепительным блеском и озаряя рубку. Чанг сидел на диване, слушая капитана. Капитан, гладивший голову Чанга, спихнул его на пол – "нет, брат, жарко!" – сказал он, – но на этот раз Чанг не обиделся: слишком хорошо было жить на свете в этот радостный полдень. А потом...

Но тут опять прерывается сон Чанга.

– Чанг, идем! – говорит капитан, сбрасывая ноги с кровати. И опять с удивлением видит Чанг, что он не на пароходе в Красном море, а на чердаке в Одессе, и что на дворе и впрямь полдень, только не радостный, а темный, скучный, неприязненный. И тихо рычит на капитана, потревожившего его. Но капитан, не обращая на него внимания, надевает старый форменный картуз и такое же пальто и, запустив руки в карманы и сгорбившись, идет к двери. Поневоле приходится и Чангу спрыгивать с кровати. По лестнице капитан спускается тяжело и неохотно, точно в силу нудной необходимости. Чанг катится довольно быстро: его бодрит еще неулегшее-

ся раздражение, которым всегда кончается блаженное состояние после водки...

Да, вот уже два года, изо дня в день, занимаются Чанг с капитаном тем, что ходят по ресторанам. Там они пьют, закусывают, глядят на других пьяниц, пьющих и закусывающих рядом с ними, среди шума, табачного дыма и всякого зловония. Чанг лежит у ног капитана, на полу. А капитан сидит и курит, крепко положив, по своей морской привычке, локти на стол, ждет того часа, когда надо будет, по какому-то им самим выдуманному закону, переключаться в другой ресторан или кофейню: завтракают Чанг с капитаном в одном месте, кофе пьют в другом, обедают в третьем, ужинают в четвертом. Обычно капитан молчит. Но бывает, что встречается капитан с кем-нибудь из своих прежних друзей и тогда весь день говорит без умолку о ничтожестве жизни и поминутно угощает вином то себя, то собеседника, то Чанга, перед которым всегда стоит на полу какая-нибудь посудинка. Именно так проведут они и нынешний день: нынче они условились позавтракать с одним старым приятелем капитана, с художником в цилиндре. А это значит, что будут они сидеть сперва в вонючей пивной, среди краснолицых немцев, – людей тупых, дельных, работающих с утра до вечера с тою целью, конечно, чтобы пить, есть, снова работать и плодить себе подобных, – потом пойдут в кофейню, битком набитую греками и евреями, вся жизнь которых, тоже бессмысленная, но очень тревожная, поглощена непрерывным ожиданием биржевых слухов, а из кофейни отправятся в ресторан, куда стекается всякое человеческое отребье, – и просидят там до поздней ночи...

Зимний день короток, а за бутылкой вина, за беседой с приятелем он еще короче. И вот уже побывали Чанг, капитан и художник и в пивной, и в кофейне, а теперь сидят, пьют в ресторане. И опять капитан, положив локти на стол, горячо уверяет художника, что есть только одна правда на свете, – злая и низкая. – Ты посмотри кругом, говорит он, ты только вспомни всех тех, что ежедневно видим мы с тобой в пивной, в кофейне, на улице! Друг мой, я видел весь земной шар – жизнь везде такова! Все это ложь и вздор, чем будто бы живут люди: нет у них ни Бога, ни совести, ни разумной цели существования, ни любви, ни дружбы, ни честности, – нет даже простой жалости. Жизнь скучный, зимний день в грязном кабаке, не более...

И Чанг, лежа под столом, слушает все это в тумане хмеля, в котором уже нет более возбуждения. Соглашается он или не соглашается с капитаном? На это нельзя ответить определенно, но раз уж нельзя, значит, дело плохо. Чанг не знает, не понимает, прав ли капитан; да ведь все мы говорим "не знаю, не понимаю" только в печали; в радости всякое живое существо уверено, что оно все знает, все понимает... Но вдруг точно солнечный свет прорезывает этот туман: вдруг раздается стук палочки по пюпитру на эстраде ресторана – и запекает скрипка, за ней другая, третья... Они поют все страстней, все звончее – и через минуту переполняется душа Чанга совсем иной тоской, совсем иной печалью. Она дрожит от непонятого восторга, от какой-то сладкой муки, от жажды чего-то – и уже не разбирает Чанг, во сне он или наяву. Он всем существом своим отдается музыке, покорно следует за ней в какой-то иной мир – и снова видит себя на пороге этого прекрасного мира, неразумным, доверчивым к миру щенком на пароходе в Красном море...

– Да, так как это было? – не то снится, не то думается ему. – Да, помню: хорошо было жить в жаркий полдень в Красном море! Чанг с капитаном сидели в рубке, потом стояли на мостике... О, сколько было света, блеска, синевы, лазури! Как удивительно цветисты были на фоне неба все эти белые, красные и желтые рубахи матросов, с растопыренными руками развешенные на носу! А потом Чанг с капитаном и прочими моряками, у которых лица были кирпичные, глаза маслянистые, а лбы белые и потные, завтракал в жаркой кают-компании первого класса, под жужжащим и дующим из угла электрическим вентилятором, после завтрака вздремнул немного, после чая обедал, а после обеда опять сидел наверху, перед штурманской рубкой, где лакей поставил для капитана полотняное кресло, и смотрел далеко за море, на закат, нежно зеленевший в разноцветных и разнообразных тучках, на виннокрасное, лишенное лучей солнце, которое, коснувшись мутного горизонта, вдруг вытянулось и стало похоже на темно-огненную митру... Быстро бежал пароход вдогонку за ним, так и мелькали за бортом гладкие водяные горбы, отливающие сине-лиловой шагренью, но солнце спешило, спешило, – море точно втягивало его, – и все уменьшалось да уменьшалось, стало длинным раскаленным углем, задрожало и потухло, а как только потухло, сразу пала на весь мир тень какой-то печали, и сильнее заволновался все крепчавший к ночи ветер. Капитан, глядя на темное пламя заката, сидел с раскрытой головою, с колеблющимися от ветра волосами, и лицо его было задумчиво, гордо и грустно, и чувствовалось,

что все-таки он счастлив, и что не только весь этот бегущий по его воле пароход, но и целый мир в его власти, потому что весь мир был в его душе в эту минуту – и потому еще, что и тогда уже пахло вином от него...

Ночь же настала страшная и великолепная. Она была черная, тревожная, с беспорядочным ветром и с таким полным светом шумно взметывавшихся вокруг парохода волн, что порою Чанг, бегавший за быстро и безостановочно гулявшим по палубе капитаном, с визгом отскакивал от борта. И капитан опять взял Чанга на руки и, приложив щеку к его бьющемуся сердцу, – ведь оно билось совершенно так же, как и у капитана! – пришел с ним в самый конец палубы, на ют, и долго стоял там в темноте, очаровывая Чанга дивным и ужасным зрелищем: из-под высокой, громадной кормы, из-под глухо бушующего винта, с сухим шорохом сыпались мириады белоогненных игл, вырывались и тотчас же уносились в снежную искристую дорогу, прокладываемую пароходом, то огромные голубые звезды, то какие-то тугие синие клубы, которые ярко разрывались и, угасая, таинственно дымились внутри кипящих водяных бугров бледно-зеленым фосфором. Ветер с разных сторон, сильно и мягко бил из темноты в морду Чанга, раздувал и охлаждал густой мех на его груди, и, крепко, родственно прижимаясь к капитану, обонял Чанг запах как-бы холодной серы, дышал взрытой утробой морских глубин, а корма дрожала, ее опускало и поднимало какой-то великой и несказанно свободной силой, и он качался, качался, возбужденно созерцая эту слепую и темную, но стократ живую, глухо бунтующую (Бездну. И порой какая-нибудь особенно шальная и гяжелая волна, с шумом пролетавшая мимо кормы, жутко озаряла руки и серебряную одежду капитана...

В эту ночь капитан привел Чанга в свою каюту, большую и уютную, мягко освещенную лампой под красным шелковым абажуром. На письменном столе, плотно уместившемся возле капитанской кровати, стояли там, в тени и свете лампы, два фотографических портрета: хорошенькая сердитая девочка в локонах, капризно и вольно сидевшая в глубоком кресле, и молодая дама, изображенная почти во весь рост, с кружевным белым зонтиком на плече, в кружевной большой шляпке и в нарядном весеннем платье, – стройная, тонкая, прелестная и печальная, как грузинская царевна. И капитан сказал, раздеваясь под шум черных волн за открытым окном:

– Не будет, Чанг, любить нас с тобой эта женщина! *Есть, брат, женские души, которые вечно томятся какой-то печальной жаждой любви и которые от этого от самую никогда и никого не любят.* Есть такие – и как судить их за всю их бессердечность, лживость, мечты о сцене, о собственном автомобиле, о пикниках на яхтах, о каком-нибудь спортсмене, раздражающем свои сальные от фиксажура волосы на прямой ряд? Кто их разгадает? Всякому свое, Чанг, и не следуют ли они сокровеннейшим велениям самой Тао, как следует им какая-нибудь морская тварь, вольно ходящая вот в этих черных, огненно-панцырных волнах?

– У-у! сказал капитан, сядя на стул, мотая головой и развязывая шнурки белого башмака: – Что только было со мной, Чанг, когда я в первый раз почувствовал, что она уже не совсем моя, – в ту ночь, когда она в первый раз одна была на яхт-клубском балу и вернулась под утро, точно поблекшая роза, бледная от усталости и еще неулегшегося возбуждения, с глазами сплошь темными, расширенными и далекими от меня! Если бы ты знал, как неподражаемо хотела она одурачить меня, с каким простым удивлением спросила: "А ты еще не спишь, бедный?" Тут я даже слова не мог выговорить, и она сразу поняла меня и смолкла, – только быстро взглянула на меня, – и молча стала раздеваться. Я хотел убить ее, но она сухо и спокойно сказала: "помоги мне расстегнуть сзади платье" – и я покорно подошел и стал дрожащими руками отстегивать эти крючки и кнопки – и как только увидел в раскрывшееся платье ее тело, ее междуплечье и сорочку, спущенную с плеч и засунутую за корсет, как только услышал запах ее черных волос и взглянул в освещенное трюмо, отражавшее ее груди, поднятые корсетом...

И, не договорив, капитан махнул рукой.

Он разделся, лег и погасил огонь, и Чанг, перевертываясь и укладываясь в сафьянном кресле возле письменного стола, видел, как бороздили черную плащаницу моря вспыхивающие и гаснущие полосы белого пламени, как по черному горизонту зловеще мелькали какие-то огни, как оттуда прибегала порою и с грозным шумом вырастала выше борта и заглядывала в каюту страшная живая волна, – некий сказочный змей, весь насквозь светившийся самоцветными глазами, прозрачными изумрудами и сапфирами, – и как пароход отталкивал ее прочь и ровно бежал дальше, среди тяжелых и зыбких масс этого довременного, для нас уже чуждого и враждебного естества, называемого океаном...

Ночью капитан вдруг что-то крикнул и, сам испугавшись своего крика, прозвучавшего какой-то унизительно-жалобной страстью, тотчас же проснулся. Полежав минуту молча, он вздохнул и сказал с усмешкой:

– Да, да! "Золотое кольцо в ноздре свиньи – женщина прекрасная!" Трижды прав ты, Соломон Премудрый!

Он нашел в темноте папиросницу, закурил, но, затянувшись два раза, уронил руку – и так и заснул с красным огоньком папиросы в руке. И опять стало тихо – только сверкали, качались и с шумом неслись волны мимо борта. Южный Крест из-за черных туч...

Но тут внезапно оглушает Чанга громовый грохот. Чанг в ужасе вскакивает. Что случилось? Опять ударился, по вине пьяного капитана, пароход о подводные камни, как это было три года тому назад? Опять выстрелил капитан из пистолета в свою прелестную и печальную жену? Нет, кругом не ночь, не море и не зимний полдень на Елисаветинской, а очень светлый, полный шума и дыма ресторан: это пьяный капитан ударил кулаком по столу и кричит художнику:

– Вздор, вздор! Золотое кольцо в ноздре свиньи, вот кто твоя женщина! "Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими: зайдем, будем упиваться нежностью, потому что мужа нет дома..." А-а, женщина! "Дом ее ведет к смерти и стези ее – к мертвецам..." Но довольно, довольно, друг мой. Пора, запирают, – идем!

И через минуту капитан, Чанг и художник на темной улице, где ветер с снегом задувает фонари. Капитан целует художника, и они расходятся в разные стороны. Чанг, полусонный, угрюмый, бочком бежит по тротуару за быстро идущим и шатающимся капитаном... Опять прошел день, – сон или действительность? – и опять в мире тьма, холод, утомление...

Так, однообразно, проходят дни и ночи Чанга. Как вдруг, однажды утром, мир, точно пароход, с разбегу налетает на скрытый от невнимательных глаз подводный риф. Проснувшись в одно зимнее утро, Чанг поражается великой тишиной, царящей в комнате. Он быстро вскакивает с места, кидается к постели капитана – и видит, что капитан лежит с закинутой назад головой, с лицом бледным и застывшим, с ресницами полуоткрытыми и недвижными. И, увидев эти ресницы, Чанг издает такой отчаянный вопль, точно его сшиб с ног и пополам перехватил мчащийся по бульвару автомобиль...

Потом, когда не стоит на пятах дверь комнаты, когда входят, уходят и снова приходят, громко разговаривая, самые разные люди – дворники, полицейские, художник в цилиндре и всякие другие господа, с которыми сживал капитан в ресторанах, – Чанг как бы каменеет... О, как страшно говорил когда-то капитан: "В тот день задрожат стерегущие дом и помрачатся смотрящие в окно; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы: ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его плакальщицы; ибо разбился кувшин у источника и обрушилось колесо над колодезем..." Но теперь Чанг не чувствует даже ужаса. Он лежит на полу, мордой в угол, крепко закрывши глаза, чтобы не видеть мира, чтобы забыть о нем. И мир шумит над ним глухо и отдаленно, как море над тем, кто все глубже и глубже опускается в его бездну.

А снова приходит он в себя уже на паперти, у дверей костела. Он сидит возле них с поникшей головой, тупой, полумертвый – только весь дрожит мелкой дрожью. И вдруг распахивается дверь костела – и ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная, вся звучащая и поющая картина: перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений, высоко вознесенный на черный помост гроб из дуба, черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоко трауре женщины, – точно две сестры разных возрастов, – а надо всем этим – гул, громы, клир звонко вопиющих о какой-то скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие – и все собой покрывающие неземные песнопения. И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим звучащим видением. И художник, с красными глазами вышедший в эту минуту из костела, в изумлении останавливается:

– Чанг! – тревожно говорит он, наклоняясь к Чангу: – Чанг, что с тобою?

И, коснувшись задрожавшей рукою головы Чанга, наклоняется еще ниже – и глаза их, полные слез, встречаются в такой любви друг к другу, что все существо Чанга беззвучно кричит всему миру: ах, нет, нет – есть на земле еще какая-то, мне неведомая, третья правда!

В этот день, возвратясь с кладбища, Чанг переселяется в дом своего третьего хозяина – снова на вышку, на чердак, но теплый, благоухающий сигарой, устланный коврами, уставленный старинной мебелью, увешанный огромными картинами и парчовыми тканями... Темнеет, камин полон раскаленными, сумрачно-алыми горами жара, новый хозяин Чанга сидит в кресле. Он,

возвратясь домой, даже не снял пальто и цилиндра, сел с сигарой в глубокое кресло и курит, смотрит в сумрак своей мастерской. А Чанг лежит на ковре возле камина, закрыв глаза, положив морду на лапы.

Кто-то тоже лежит теперь – там, за темнеющим городом, за оградой кладбища, в том, что называется склепом, могилой. Но этот кто-то не капитан, нет. Если Чанг любит и чувствует капитана, видит его взором памяти, того божественного, чего никто не понимает, значит, еще с ним капитан: в том безначальном и бесконечном мире, что не доступен Смерти. В мире этом должна быть только одна правда, – третья, – а какая она – про то знает тот последний Хозяин, к которому уже скоро должен возвратиться и Чанг.

1916, Васильевское

Петлистые уши

Необыкновенно высокий человек, который называл себя бывшим моряком, Адамом Соколовичем, многим встречался в этот темный и холодный день то возле Николаевского вокзала, то в разных местах Невского проспекта. С панели Лиговки он, с непонятной серьезностью, смотрел на памятник Александру III, на вереницу трамвайных вагонов, описывающих круг по площади, на черные людские фигуры, на извозчиков и ломовых,двигающихся к вокзалу, на огромный почтовый автомобиль, выезжающий из-под вокзальной арки, на дроги, увозившие куда-то среди этого движения нищенский, никем не провожаемый ярко-желтый гроб; стоя на Аничковом мосту, он сумрачно заглядывался на темную воду, на посеревшие от нечистого снега баржи; бродя по Невскому, внимательно изучал товары в окнах магазинов. Не заметить и не запомнить его было нельзя, и всякий, кому он попадался на глаза, испытывал чувство смутной неприятности, какого-то беспокойства и, отворачиваясь, думал:

– Ах, какой ужасный господин!

Его обувь, узкие брюки, драповое пальто, забрызганное сзади грязью, и кожаный английский картуз говорили о том, что они носятся давно, бессменно и во всякую погоду. Необыкновенно высокий, худой и нескладный, долгоногий и с большими ступнями, с свежесбритым ртом и желтоватой, довольно редкой американской опушкой под сильно развитой нижней челюстью, с лицом мрачным, недоброежелательным и сосредоточенным, не выпуская длинных рук из карманов и равномерно жуя мундштук папиросы, он подолгу стоял перед витринами. Точно ли уж так интересовали его все эти галстуки, часы, чемоданы, писчебумажные принадлежности? Сразу было видно, что нет, что он из числа тех странных людей, которые скитаются по городу с утра до вечера единственно потому, что могут думать только на ходу, на улице, или вследствие бездомности, в ожидании чего-нибудь.

Вечер он провел в дешевом ресторане недалеко от Разъезжей, с какими-то двумя матросами.

Не раздеваясь, все трое сидели в тусклой и холодной комнате за неудобным столиком у стены, причем Соколович поместился особенно неудобно: в спину ему глядел маленький круглоголовый татарин, стоявший в глубине комнаты за стойкой с закусками, перед глазами у него торчала на стене реклама пивного завода, изображающая трех счастливых хлыщей в цилиндрах на затылок и с пенящимися бокалами в руках, справа поминутно дуло ледяной сыростью, приносимой входящими с улицы посетителями, а слева веяло ветром от пробежавших к стойке и обратно официантов: тут был порог в три ступеньки, – ход в коридорчик, откуда пахло кухней и кислотой газа, – и видна была открытая дверь в бильярдную, сверху темную, а внизу светлую, где крепко щелкали шары и ходили с киями на плечах и в одних жилетах безголовые мужчины: головы их терялись в сумраке. Садясь на свое беспокойное место, Соколович вынул из кармана пальто трубку и, перекосив брови, пристально посмотрел на пивную рекламу. Матросы разговаривали с подошедшим официантом, а он стал набивать трубку табаком и, ни к кому не обращаясь, медлительно сказал своим густым голосом:

– Почему собирают всякий вздор, а не собирают рекламы, то есть исторические документы, наиболее правдиво рисующие человеческие идеалы? Разве, например, вот эти франты не выражают мечту девяти десятых всего человечества?

– Вы ж сами панский сын, – неприязненно заметил на это один из матросов, Левченко.

– Я сын человеческий, – сказал Соколович с какой-то странной торжественностью, которая

могла сойти и за иронию. – Мое панство не помешало мне видеть мир и всех богов его. Не помешало даже быть шофером... Это, знаете, очень острое удовольствие – видеть, как несется на тебя улица и как мечется впереди, не зная, в какую сторону кинуться, какая-нибудь прекрасная дама.

И, сказав, закурил, поставил локоть на стол, придерживая трубку крупной левой рукой, на которой под обшлагом не видно было рубашки и на удлиненной плоской кисти синела татуировка, – изогнутый японский дракон.

Весь вечер пили из чашек, под видом чая, кавказский коньяк, закусывая мятными розовыми пуговками, и немилосердно дымили. Матросы, как все рабочие люди, постоянно оскорбляемые жизнью, много говорили, каждый стараясь говорить только о себе, выискивали в памяти наиболее низкие поступки своих врагов и притеснителей, хвастались, – один будто бы дал однажды «в харю» придиричивому помощнику капитана, другой вышвырнул за борт боцмана, – и все спорили, поминутно крича:

– Ну, хотите пари?

Соколович сосал трубку, двигал челюстью и угрюмо молчал. Завсегдатай всяческих притонов от Кронштадта до Монтевидео, он, однако, никогда не пьянствовал, любил только джинджер, абсент. В этот вечер он не отставал в питье от своих компаньонов, но наружно хмель не оказывал на него влияния. И это тоже задевало матросов, тем более, что их, как они признавались впоследствии, всегда раздражало сильное и отталкивающее лицо Соколовича, его склонность к загадочной задумчивости и то, что они хорошенько не знали и не могли понять ни его характера, ни его прошлого, ни его теперешней бездомности и бездельной жизни. Левченко, пьяневший довольно быстро, раз крикнул ему:

– Он тоже тип! Мы ж вас угощаем, что ж вы не разделяете компании, а только смочете свою копченую люльку?

И Соколович грубо и спокойно осадил его:

– Не орите, сделайте милость. Это меня сердит. Я уж не раз говорил вам, что вино на меня мало действует и не доставляет мне особого удовольствия. Вкус у меня притуплённый. Я так называемый выродок. Поняли?

Левченко смутился и ответил с напускной развязностью:

– Ну, да и вы тоже не задавайтесь, пожалуйста! Что такое я понял? Когда б вы были выродок, вы бы были больной и на вино слабый, а вы мне рассказываете обратно. Вы человека можете убить одной рукой, а говорите...

– А говорю правильно, – перебил Соколович, возвышая голос. – У всякого выродка одни восприятия и способности обострены, повышены, а другие, напротив, понижены. Поняли? И сила тут совсем ни при чем.

– А как же я того выродка узнать могу, если он здоровый, как той кабан? – насмешливо спросил Левченко.

– А по ушам, например, – ответил Соколович не то всерьез, не то насмешливо. – У выродков, у гениев, у бродяг и убийц уши петлистые, то есть похожие на петлю, вот на ту самую, которой и давят их.

– Ну, знаете, убить всякий может, если разгорячится – небрежно вставил другой матрос, Пильняк, – Я раз в Николаеве...

Соколович выждал, пока он кончит, и сказал:

– Я, Пильняк, тоже подозреваю, что эти уши присущи не одним только так называемым выродкам. Страсть к убийству и вообще ко всякой жестокости сидит, как вам известно, в каждом. А есть и такие, что испытывают совершенно непобедимую жажду убийства, – по причинам весьма разнообразным, например, в силу атавизма или тайно накопившейся ненависти к человеку, – убивают, ничуть не горячась, а убив, не только не мучаются, как принято это говорить, а напротив, приходят в норму, чувствуют облегчение, – пусть даже их гнев, ненависть, тайная жажда крови вылились в форму мерзкую и жалкую. И вообще пора бросить эту сказку о муках совести, об ужасах, будто бы преследующих убийц. Довольно людям лгать, будто они так уж содрогаются от крови. Довольно сочинять романы о преступлениях с наказаниями, пора написать о преступлении без всякого наказания. Состояние убийцы зависит от его точки зрения на убийство и от того, ждет он за убийство виселицы или же награды, похвал. Разве, например, признающие родовую месть, дуэли, войну, революцию, казни мучаются, ужасаются?

– Я читал «Преступление и наказание» Достоевского, – заметил Левченко не без важности.

– Да? – сказал Соколович, поднимая на него тяжелый взгляд. – А про палача Дейблера вы читали? Вот он недавно умер на своей вилле под Парижем восьмидесяти лет от роду, отрубив на своем веку ровно пятьсот голов по приказу своего высокоцивилизованного государства. Уголовные хроники тоже сплошь состоят из записей о самом жестоком спокойствии, цинизме и резонерстве самых кровавых преступников. Но дело, однако, не в вырожденках, не в палачах и не в каторжниках. Все человеческие книги – все эти мифы, эпосы, былины, истории, драмы, романы, – все полны такими же записями, и кто же это содрогается от них. Каждый мальчишка зачитывается Купером, где только и делают, что скальпы дерут, каждый гимназист учит, что ассирийские цари обивали стены своих городов кожей пленных, каждый пастор знает, что в Библии слово «убил» употребляется более тысячи раз и по большей части с величайшей похвальбой и благодарностью творцу за содеянное.

– Зато это и называется Ветхий завет, древняя история, – возразил Левченко.

– А новая такова, – сказал Соколович, – что от нее встала бы шерсть у гориллы, умей она читать... Ну, нет, – сказал он, кося брови и отводя глаза в сторону, – с Каином гориллам двуруким нечего равняться! Далеко ушли они от него, давно потеряли наивность – вот с тех самых пор, вероятно, как построили Вавилон на месте своего так называемого рая. У горилл настоящих еще не было ни этих ассирийских царей, ни Цезарей, ни инквизиции, ни открытия Америки, ни королей, подписывающих смертные приговоры с сигарой во рту, ни изобретателей подводных лодок, пускающих ко дну сразу по несколько тысяч человек, ни Робеспьеров, ни Джеков-Потрошителей... Как вы думаете, Левченко, – спросил он, снова поднимая строгие глаза на матросов, – мучились все эти господа муками Каина или Раскольникова? Мучились всякие убийцы тиранов, притеснителей, золотыми буквами записанные на так называемые скрижали истории? Мучаетесь вы, когда читаете, что турки зарезали еще сто тысяч армян, что немцы отравляют колодцы чумными бактериями, что окопы завалены гниющими трупами, что военные авиаторы сбрасывают бомбы в Назарет? Мучается какой-нибудь Париж или Лондон, построенный на человеческих костях и процветающий на самой свирепой и самой обыденной жестокости к так называемому ближнему? Мучился-то, оказывается, только один Раскольников, да и то только по собственному малокровию и по воле своего злобного автора, совавшего Христа во все свои бульварные романы.

– Майна! Поехало! – крикнул Левченко, желая перевести в шутку уже тяготивший его разговор.

Соколович помолчал и, сплюнув между колен, спокойно добавил:

– В войнах участвуют теперь уже десятки миллионов. Скоро Европа станет сплошным царством убийц. Но ведь всякий отлично знает, что мир ни на йоту не сойдет с ума от этого. Говорили когда-то, что на Сахалин поехать очень страшно. Но желал бы я знать, кому придет в голову побояться поехать через год, через два, когда кончится война, по Европе?

Пильняк стал рассказывать о своем дяде, который зарезал из ревности свою жену. Соколович, послушав, заметил в сумрачном раздумье:

– Людей вообще тянет к убийству женщины гораздо больше, чем к убийству мужчины. Наши чувственные восприятия никогда не бывают так внимательны к телу мужчины, как к телу женщины, низкому существу того пола, который родит всех нас, отдаваясь с истинным сладострастием только грубым и сильным самцам...

И, поставив локти на колонн, снова замолк и как бы забыл о своих собеседниках.

В одиннадцатом часу, небрежно, свысока простясь с матросами, оставшимися сидеть в ресторане, он опять направился к Невскому.

Яркое освещение Невского подавлял густой туман, такой холодный и пронзительный, что у полицейского офицера, управлявшего на углу Владимирской водоворотом надвигавшихся друг на друга карет, саней и глазастых автомобилей, усы казались седыми, белыми. Возле Палкина отчаянно бил и ерзал по скользкой мостовой копытами, силясь справиться и вскочить, упавший на бок, на оглоблю, вороной жеребец, которому торопливо и растерянно помогал бегавший вокруг него лихач, очень странный в своей чудовищной юбке, и кричал, махая рукой в нитяной перчатке, разгоняя народ, краснолицый великан-городовой, плохо двигавший одеревеневшими от стужи губами; до слуха Соколовича донеслось, что задавлен какой-то переходивший улицу старик с белой бородой и в длинной енотовой шубе, будто бы знаменитый писатель, но Соколо-

вич даже не приостановился. Он повернул на Невский.

Некоторые обгоняли его, с удивлением заглядывали ему снизу в лицо, некоторых обгонял он сам. Запустив руки в карманы и приподняв плечи, пряча влажную от тумана челюсть в ворот и косясь на мелкую черную толпу, бегущую перед ним, почти противоестественно выделяясь над этой толпой своим ростом, он мерно клал по панели свои длинные ступни, все время начиная с левой ноги и делая левый шаг шире правого. От электрических столбов падали в дым тумана угольные тени. Густо, с однообразным топотом катились в этом дыму заиндевевшие извозчичьи лошади; рысаки неслись среди них, выделяясь силой и нахальством, кидая из ноздрей пар, мешавшийся с летевшими по ветру дымными волнами; вихрем промелькнула бешено мчавшаяся пара – молоденький офицер, крепко охвативший талию дамы, прижавшейся к нему и спрятавшей лицо в каракулевую муфту... Соколович замедлил шаги и долго глядел вслед этой паре, туда, где в ледяной мути огромного потока, которым казался Невский, терялась бесконечная цепь винно-красных трамванных огней и вспыхивали зеленоватые зарницы. Большое лицо его было свирепо в своей сосредоточенности.

Он наискось пересек Аничков мост и пошел по другой стороне проспекта. Ветром и туманом понесло сильнее, вдали, в темной и мглистой высоте, означился красноватый глаз часов на башне городской думы. Соколович остановился и довольно долго стоял, закуривая папиросу и исподлобья оглядывая бесконечно и медленно проходивших мимо, уже появившихся на панели проститутток; за ним было громадное зеркальное окно запертого, печально, по-ночному, освещенного магазина, откуда неподвижно смотрели восковые красавцы блондины с большими редкими ресницами, в дорогих пальто и шубах, с деревянными ножками, мертво торчащими из-под модных, великолепно заглаженных панталон... Потом он зашагал дальше, дошел до обезглавленного туманной темнотой Казанского собора и поднялся на крыльцо Доминика.

Там, в тесной толпе, евшей и пившей стоя и не раздеваясь, точно на улице, он сел в темном углу, – светло было только над стойкой, осаждаемой толпой, – и спросил себе черного кофе. Совершенно неожиданно появился у его столика какой-то щуплый господин в котелке, с озябшим личиком, быстро попросил позволения взять серник из спичечницы и, быстро осветив его, скороговоркой спросил:

– Простите, пожалуйста, вы мне ужасно напоминаете одного моего виленского знакомого Яновского?

Соколович твердо посмотрел ему в глаза и с тяжеловесной серьезностью ответил:

– Вы ошибаетесь, господин сыщик.

У Доминика он просидел до часа ночи. Наконец, опустевший зал ресторана наполнился стуком стульев, которые, переворачивая, швыряли на столики ставшие вдруг вольными и грубыми лакеи. Он взглянул на свои большие серебряные часы и поднялся с места.

Ночью в туман Невский страшен. Он безлюден, мертв, мгла, туманящая его, кажется частью той самой арктической мглы, что идет оттуда, где конец мира, где скрывается нечто непостижимое человеческим разумом и называется Полюсом. Середина этого дымного потока еще озарена сверху белесым светом электрических шаров. На панелях, возле черных витрин и запертых ворот, темнее. По ним, напевая, гуляющим шагом, бродят беспечные на вид, но до нутра продрогшие от ледяной сырости, дешево и несоответственно обстановке наряженные женщины, и лица некоторых из них поражают таким ничтожеством черт, что становится жутко, точно натыкаешься на существо какой-то иной, чем люди, неведомой породы.

Соколович, выйдя от Доминика и пройдя шагов двести, взял из этих женщин некую, как оказалось потом, Королькову, называвшую себя просто Корольком, небольшую, мелкую, но от дурной модной одежды на вид широкую, в шляпке, как-то очень сложно и тоже широко сделанной из черного бархата и украшенной пучком стеклянных вишен. Широкоскулое личико ее с черными, глубоко запавшими глазками имело в себе нечто, напоминавшее летучую мышь. Покачивая головой с притворной развязностью, даже как бы с некоторым сознанием неотразимости своего пола, держа одной рукой юбку, а другой, вдетой в большую плоскую муфту из блестящего черного меха, закрывая рот, она вдруг загородила дорогу сутуло шагавшему Соколовичу. Он, зорко окинув ее взглядом, тотчас же густо крикнул стоявшему на углу ночному извозчику. И вот, усевшись в низкую пролетку, покатила эта пара сперва по Невскому, потом по площади, мимо светящихся часов Николаевского вокзала, уже темного, отпустившего все свои поезда в глубь снежной России, мимо той ужасной толстой лошади, что вечно гнет, в дожде или тумане,

свою большую голову, прося повода у своего дородного седока, потом по Гончарной – далее, по туманным улицам и переулкам, в таинственную глушь ночных столичных окраин.

Дорогой Соколович молча курил. Королькова, видимо, тяготясь этим молчанием, заметила, что, по ее мнению, папиросы «Голенищев-Кугузов» лучше, чем «Сирень». Эта попытка завести разговор простой, как бы даже несколько дружеский, еще не связанный с целью путешествия, была жалка и трогательна; но Соколович промолчал. Тогда она стала просить, чтобы он заплатил ей вперед, и с напускной смелостью прибавила, что на всю ночь она согласна только за хорошую цену. Он молча вынул и подал ей два серебряных рубля. Она взяла, попробовала один из них зубом, нашла, что он фальшивый, спрятала его в муфту, говоря, что это не идет в счет, что она оставляет его только так, на память, потому что теперь война и серебро редко, запрещено, и стала просить еще. Помедлив, Соколович дал ей еще рубль. Тогда она сделала новую попытку – быть женщиной: внезапно вздрогнула и сделала движение прижаться к нему. Вздрогнула она притворно, но, должно быть, непритворно было чувство, вдруг охватившее ее: она остро ощутила влечение к нему, большому, сильному, цельному в своем безобразии и беспощадной мрачности. Но он не ответил на ее движение. Заехали они далеко. Королькова приказала извозчику остановиться возле двухэтажного кирпичного дома с вывеской: «Номера для приезжающих Белград». Было уже без четверти два, место было глухое.

Во втором этаже «Белграда», куда Соколович поднялся с Корольковой по затоптанному половику, гостей встретил в полутемном коридоре номерной Няньчук, спавший на узком деревянном диванчике под дрянным зимним пальто с вытертым барашковым воротником. Рост, мрачно-сосредоточенный вид и жидкая, мокрая от тумана американская борода Соколовича поразили его спросонья. Он поднялся и неприветливо спросил:

– Что нужно?

– Точно ты не знаешь, болван, – сквозь зубы сказал Соколович, самоуверенно проходя мимо него и кладя ему в руку серебряный полтинник.

Няньчук хотел было обидеться и сказать: «От такого же слышу», но ощутил в руке деньги, узнал Королькову, которая, проходя, проговорила: «Не узнал меня, богатой быть!» – и только нахмурился. Недовольно бормоча, что им и так каждый день неприятности от полиции, он опередил Соколовича и, черкнув спичкой, распахнул дверь в сложно и сладко чем-то пахнущий, душный и очень теплый номер, половину окна в котором наискось загораживала крыша какой-то дворовой постройки. За окном, за черными стеклами, глухо раздавались голоса, слышался шум какой-то машины и точно в аду пылал багровый огонь огромного факела.

– Что это такое? – строго и даже тревожно спросил Соколович, останавливаясь.

– Ночные работы, ассенизация, – проворчал Няньчук, все еще чувствуя обиду, и, засветив на подзеркальнике две свечи в красных розетках и пузырями опуская белую коленкоровую штору, осведомился, чего гости будут требовать.

Соколович потребовал себе квасу и, странно усмехнувшись, прибавил:

– А для барышни фруктов.

– Фруктов нету, – ответил Няньчук. – Виноград есть. Полтора рубля порция.

– Прекрасно, – сказал Соколович, – подай винограду. Корольковой такое обращение, видимо, польстило: Стараясь быть и в самом деле барышней, которую зимой угощают виноградом, оглядывая номер, потопывая озябшими ногами и дуя в муфту, она капризно заметила:

– Ой, ой, он, верно, холодный!

Через минуту Няньчук принес на большом железном подносе виноград и две откупоренные бутылки, из которых полезла пена, и Соколович тотчас же запер дверь на ключ. Королькова, когда выходил Няньчук, щипала, стоя у стола и все еще дыша в муфту, пересыпанные опилками, твердые зеленые виноградины, а ее страшный спутник с своим желтым ожерелком и свежесбритым ртом снимал в углу пальто, разматывал длинный шарф из грубой лиловой шерсти. И затем номер, за окном которого пылало зловещее пламя и глухо шумела сокровенная ночная работа, облекся в тайну.

В четыре часа задребезжал в коридоре звонок. Няньчук очнулся, скинул с диванчика ноги в штрипках подштанников и войлочных туфлях и пошел к ящику звонка. Там выскочила цифра три. Из-за двери третьего номера женский голос потребовал десяток папирос «Зефир». Возвращаясь из буфета с папиросами, заспанный Няньчук спутал, в какой именно номер нужно подать их, и постучал в восьмой, отданный Соколовичу. Грубый, низкий бас медленно спросил из-за

двери:

– В чем дело?

– Ваша барышня папиросы просила, – сказал Няньчук.

– Моя «барышня» не просила да ни в каком случае и не могла просить папирос, – ответил бас наставительно.

И Няньчук, тотчас вспомнив, кому нужно подать коробочку, и подав ее в полную женскую руку, высунувшуюся в приотворенную дверь третьего номера, снова лег на свое место и крепко заснул под мерное постукивание часов в конце коридора полутемной и тихой гостиницы.

Снова очнулся он только в седьмом часу: над ним, во весь свой рост, в пальто и в картузе, стоял и толкал его в плечо постоялец из восьмого номера.

– Вот тебе за номер и за труды, – сказал он. – Выпусти меня. Мне пора на завод, а барышня велела разбудить себя в девять.

– А за виноград же? – быстро и с тревогой спросил Няньчук.

– Я все счел, – сказал Соколович. – По-моему, четыре семь гривен. А я тебе пять с полтиной даю. Понял?

И спокойно пошел к лестнице.

С полузакрытыми от жажды сна глазами, поправляя плечом накинутае на плечи пальто, Няньчук опять опередил его и затопал вниз по ступенькам лестницы. Соколович терпеливо ждал, пока он одолеет туго повертывавшийся в дверной скважине ключ. Наконец дверь распахнулась. Он прошел мимо Няньчука, приподнял ворот и, как оперный певец, боящийся простуды, закрывая рукой горло, густо сказал себе в бороду: «До свиданья», – и вышел на улицу, на сырой и свежий воздух. Было еще совсем темно и тихо, но в этой темноте и тишине уже чувствовалось близкое утро. Надо всей окрестной далью, надо всем огромным гнездилищем еще безмолвной столицы стоял невнятный, отдаленный стон фабрик и заводов, зовущий из всех своих нищенских приютов, из всех своих низов и притонов несметный трудовой люд. Фонарь, стоявший со своей черной тенью против гостиницы, освещал часть мостовой и улицы. Туман рассеялся, ночью шел снежок, – громада теса, возвышавшаяся из-за забора за фонарем, траурно белела на черноте ночи. Соколович повернул направо и скрылся вдали. Продрогший Няньчук хлопнул дверь и побежал по лестнице назад, наверх.

Ложиться снова было уже ни к чему. Он стал искать под диваном ботинки – и вдруг увидел, что дверь восьмого номера приоткрыта и что за нею есть свет. Он вскочил и кинулся к номеру, в номере было так страшно тихо, как не бывает, когда есть в нем хотя бы и спящий человек, трещали догоревшие в лопнувших розетках свечи, в сумраке бежали тени, а на кровати торчали из-под одеяла короткие голые ноги лежавшей навзничь женщины. Голова ее была придавлена двумя подушками.

1916

Старуха

Эта глупая уездная старуха сидела на лавке в кухне и рекой лилась, плакала.

Святочная метель, вихрями носившаяся по снежным крышам и снежным пустым улицам, стала мутно синеть, наливаясь сумерками, а в доме темнело.

Там, в зале, чинно стояли кресла вокруг стола под бархатной скатертью, над диваном тускло блестела картина – зеленоватый кружок луны в облаках, дремучий литовский лес, тройка лошадей, сани, из которых розовыми лучами палили охотники, и кувыркающиеся за санями волки; в одном углу до потолка раскидывалось из кадки мертвыми листьями сухое тропическое растение, а в другом воронкой зиял хобот граммофона, оживавший только по вечерам, при гостях, когда из него вопил в притворном отчаянии чей-то хриплый голос: «Ах, тяжело, тяжело, господа, жить с одной женой всегда!» В столовой текло с мокрых тряпок, лежавших на подоконниках, в клетке, крытой клеенкой, спала, завернув головку под крылышко, больная тропическая птичка, – сном тонким и, в силу непривычки к нашим Святкам, грустным, грустным. В узкой комнате рядом со столовой крепко, с храпом спал квартирант, пожилой холостяк, учитель прогимназии, в классах дравший детей за волосы, а дома усердно работавший над большим, многолетним сочинением: «Тип скованного Прометея в мировой литературе». В спальне тяжело и зло спали хозяева после страшного скандала за обедом. А старуха сидела на лавке в темнеющей кухне и разлива-

лась горькими слезами.

Скандал-то за обедом начался опять из-за нее! Хозяйка, которой по годам уже давно следовало стыдиться ревновать, с ума сходила от ревности и наконец- таки поставила на своем- наняла в кухарки старуху. Хозяин, который уже давно красился, но все свои помыслы устремлял только на женский пол, решил сжить эту старуху со свету. И правда, была старуха куда как нехороша собой: высокая, гнутая, узкоплечая, глухая и подслепая, от робости бестолковая, готовила, несмотря на все свои старания, из рук вон скверно. Она трепетала за каждый свой шаг, из сил выбивалась, чтобы угодить. Не радостно было ее прошлое: ну, конечно, муж разбойник и пьяница, потом, после его смерти, чужие углы и поборы под окнами, долгие годы голода, холода, бесприютности... И уж как же была старуха счастлива, что опять она стала не хуже людей, – сыта, тепла, обута, одета, служит у чиновника! Как молилась она перед сном, стоя на коленках на полу кухни, всю свою душу отдавая богу за милость, столь нежданно ей оказанную, как просила его не лишать ее этой милости! Но хозяин поедом ел ее: нынче за обедом он так гаркнул на нее, что у нее руки-йоги оторвались от страха, а миска со щами полетела на пол. И что только было потом между хозяевами! Даже учитель, весь обед думавший о Прометее, не выдержал, отвел вбок кабаньи глазки и молвил:

– Не ссорьтесь, господа, ради высокаторжественного праздника!

Вот дом затих, успокоился. Посинел во дворе дым вьюги, выше крыш намело сугробы, завалило ворота и калитку... Бледный, ушастый мальчик в валенках, сирота, хозяйкин племянник, долго учил уроки, приладившись к мокрому подоконнику в своей каморке рядом с кухней. Он был отрок прилежный и назубок решил вытвердить то, что ему задали на рождественские каникулы. Он не хотел огорчать своих воспитателей и благодетелей, он, им на утешение, отечеству на пользу, старался на всю свою жизнь запомнить, что две с половиной тысячи лет тому назад греки (народ вообще мирный, с утра до вечера соборно участвовавший в театральных трагедиях и совершавший жертвоприношения, а в свободные часы вопрошавший оракула) наголову разбили однажды войско персидского царя при помощи богини Афины-Паллады, да могли бы пойти по пути цивилизации и дальше, если бы не изнежились, не развратились и не погибли, как было это, впрочем, со всеми древними народами, неумеренно предававшимися идолопоклонству и роскоши. А запомнив, закрыл книжку и долго скреб ногтями лед с оконного стекла. Потом встал, неслышно подошел к двери в кухню, заглянул за дверь – и опять увидел то же самое: в кухне тихо и сумрачно, рублевые стенные часы, у которых стрелки не двигались, всегда показывали четверть первого, стучат необыкновенно четко и торопливо, свинка, зимующая в кухне, стоит возле печки и, до глаз запустив морду в лохань с помоями, роется в них... а старуха сидит и плачет: утирается подолом – и рекой течет!

Плакала она и потом, – засветив лампочку и раскалывая на полу тупым кухонным ножом сосновые щепки для самовара. Плакала и вечером, подав самовар в хозяйскую столовую и отворив дверь пришедшим гостям, – в то время, когда по темной, снежной улице брел к дальнему фонарю, задуваемому вьюгой, оборванный караульщик, все сыновья которого, четыре молодых мужика, уже давно были убиты из пулемета немцами, когда в непроглядных полях, по смрадным избам, укладывались спать бабы, старики, дети и овцы, а в далекой столице шло истинно разливанное море веселия: в богатых ресторанах притворялись богатые гости, делая вид, что им очень нравится пить из кувшинов ханжу с апельсинами и платить за каждый такой кувшин семьдесят пять рублей; в подвальных кабаках, называемых кабаре, нюхали кокаин и порою, ради вящей популярности, чем попадая били друг друга по раскрашенным физиономиям молодые люди, притворявшиеся футуристами, то есть людьми будущего; в одной аудитории притворялся поэтом лакей, певший свои стихи о лифтах, графинях, автомобилях и ананасах; в одном театре лез куда-то вверх по картонным гранитам некто с совершенно голым черепом, настойчиво у кого-то требовавший отворить ему какие-то врата; в другом выезжал на сцену, верхом на старой белой лошади, гремевшей по полу копытами, и, прикладывая руку к бумажным латам, целых пятнадцать минут пел за две тысячи рублей великий мастер притворяться старинными русскими князьями, меж тем как пятьсот мужчин с зеркальными лысынами пристально глядели в бинокли на женский хор, громким пением провожавший этого князя в поход, и столько же нарядных дам ели в ложах шоколадные конфеты; в третьем старики и старухи, больные тучностью, кричали и топали друг на друга ногами, притворяясь давным-давно умершими замоскворецкими купцами и купчихами; в четвертом худые девицы и юноши, раздевшись донага и увенчав себя стеклянными ви-

ноградными гроздьями, яростно гонялись друг за другом, притворяясь какими-то сатирами и нимфами... Словом, до самой поздней ночи, пока одни караулили, а другие укладывались спать или веселились, горькими слезами плакала глупая уездная старуха под хриплый, притворно-отчаянный крик, долетавший из гостиной ее хозяев:

Ах, тяжело, тяжело, господа,
Жить с одной женой всегда!

1916

Последняя осень

I

Утром разговор за гумном с Мишкой.

Приехал с фронта на побывку.

Молодой малый, почти мальчишка, но удивительная русская черта: говорит всегда и обо всем совершенно безнадежно, не верит ни во что решительно.

Я стоял на гумне за садом, он шел мимо, вел откуда-то с поля свою мышастую кобылу.

Увидав меня, свернул с дороги, подошел, приостановился:

– Доброго здоровья. Все гуляете?

– Да нет, не все. А что?

– Да это все бабы на деревне. Все дивятся, что вот вас, небось, на войну не берут. Вы, мол, откупились. Господам, говорят, хорошо: посиживают, говорят, себе дома!

– Не все посиживают. И господ не меньше вашего перебили.

– Да я-то знаю. Я-то там нагляделся. А с них, с дур, что ж спрашивать. Ну, да это все пустое. А вот как наши дела теперь? Как там? Вы каждый день газеты читаете.

Я сказал, что сейчас везде затишье. Но что англичане и французы понемногу бьют.

Он невесело усмехнулся.

– А мы, значит, опять ничего?

– Как ничего?

– Да так. Мы его (немца), видно, никогда не выгоним.

– Бог даст, выгоним.

– Нет. Теперь остался.

– Ну вот и остался!

– Да как же не остался? Чем мы его выгонять будем? У нас и пушек нет, одни шестидюймовые мортиры.

– Откуда ты это взял?

– Агитаторы говорят. Да я и сам знаю.

– Нет, у нас теперь всего много. И пушек и снарядов.

– Нет, одни шестидюймовки. А крепостную артиллерию возить не на чем.

– Опять неправда.

– Какой там неправда! По этакой дороге разве ее свезешь на лошадях? Только лошадей подушишь. Станешь ее вытаскивать, а она на два аршина в землю ушла, а хобот и совсем в грязи не видать. Нет, это вам не немцы!

– А что ж немцы?

– А то, что немец рельсы проложил – везет и везет. А войска наши какие? Легулярные войска, какие были настоящие, царские, все там остались, а это ополчение – какие это войска? Привезут их на позицию, а они все и разбегутся. Подтягивай портки потуже да драло. Все, как один.

– Ну, уж и все!

– Верное слово вам говорю. Да вы то подумайте: чего ему умирать, когда он дома облопался? Теперь у каждой бабы по сто, по двести штук спрятано. Отроду так хорошо не жили. А вы говорите – умирать! Нет уж, куда нам теперь!

Махнул рукой, дернул лошадь за повод и пошел, даже не поклонившись.

Утро светлое, на почерневших, почти голых лозинках, на их сучьях и редкой пожухлой листве – блестящие растаявшего мороза. На мужицких гумнах золотом горят свежие скирды, стаями перелетают сытые голуби, давая чувство счастливой осени, покоя, довольства, – это правда: «облопались». Вдали, у нас, в сизо-туманном утреннем саду, мягко, неизъяснимо-прекрасно краснеют клены.

II

После ужина пошел по деревне. Темно, ночь бодрая, холодная.

Пройдя деревню, увидел с косогора огоньки внизу, на водяной мельнице у Петра Архипова. Пошел туда.

Спустившись, подошел к открытым воротам мельничного сруба: там внутри все шумит и дрожит, – мельница работает. Возле жирновов стоит и тускло светит в мучнистом воздухе запыленный мукой фонарь, а вверху сруба, – он без потолка, – и кругом, в углах, – мрачный сумрак. Пахнет тоже мукой, сыровато, хлебно.

Петр Архипов сидит возле фонаря, похож на Толстого. Большая, побелевшая от муки борода, побелевший полушубок; картуз, совсем белый, надвинут на брови. Глаза острые, серьезные.

Против него, на обрубке гам, сидит какой-то кудрявый мужик, незнакомый мне. Уперся локтями в колени, курит и смотрит в землю.

Поздоровавшись, присел и я себе.

– А мы Вот о войне говорили, – сказал сквозь шум мельницы Петр Архипов. – Вот он ничему не верит, никакой нашей победы не чаает.

Мужик поднял голову и ядовито усмехнулся.

– А как ты сам-то, Петр Архипыч? Тоже не чаешь?

Он холодно взглянул на меня.

– Я? А я не знаю. Пусть их воюют. Воюйте на здоровье.

Это, господа дворяне, ваше дело.

– Это как же так?

– А так. Нам, мужикам, надо одно: ничего никому не давать, никого к себе с этими поборами и реквизициями не пускать. Чтобы никто к нам не ходил, ничего нашего не брал. Ни немец, ни свой. Да.

Помолчал, потом опять заговорил, еще возвышая сквозь шум голос:

– Да. А то вон приехал на той неделе какой-то с грибами на плечах – сыновей ему давай, хлеба давай... всего давай! Раз наше дело не выходит – мировая, и шабаш. Миколай Миколаевич Младший, вот это воин. Ух, рассказывают солдаты, что только за человек! Отца родного за правду не пожалеет. Ночью встанет тихонько, чтоб ни один генерал за ним не увязался, и пошел в обход по окопам. Солдат простых увидит: «Здорово, друзья! Надейтесь на меня, как на каменную гору. Я об вас ночи не сплю!» А господам офицерам, если завидит, что в карты играют, бездельничают, без всякой церемонии шашкой голову долой! Вот это воин.

Сумрачно помолчал, потом встал и подошел к трясущемуся рукаву, по которому серой струей текла мука. Взяв горсть муки, помял ее, понюхал и спросил, почти крикнул:

– Ну, а этот самый человек, где он теперь?

– Какой?

– Сухомлин.

Кудрявый мужик, куривший на пне трубку, со свистом захохотал и махнул рукой.

– Вона! – сказал он. – Хватился! Его теперь и след простыл! Его давно покрыли и спрятали!

Петр Архипов строго посмотрел на него, на его плечи и голову, потом еще строже на меня:

– Где, по-вашему, такой человек может находиться? И что такому человеку должно быть? Что он для России может быть? Что он для ней сделал? Через кого там теперь миллионы лежат, тухнут?

Обив и вытерев руку о полушубок, он опять сел и опять замолчал. Потом тем же тоном, но уже спокойнее:

– Да. На нас, мужиков, как там глядят? Тычь его куда похуже, а нас, господ, не тронь, – мы

высокого званья. А те пускай преют, этих дураков еще великие тысячи наделают. Сейчас вон опять берут, а зачем? Чтобы последних перебить? Вы, барин, – дерзко и громко спросил он, – вы нам уж откровенно скажите, какая ваша задача: чтобы нас всех перебить, а скотину порезать да в окопах стравить?

– Петр Архипыч, как тебе не стыдно? Ведь ты человек умный!

– Умный! – сказал он, несколько смутившись, и вдруг опять сдвинул брови и поднял тон:

– Вам хорошо говорить. А у меня вот сын два месяца ни одного письма. Где он теперь, что он теперь? Мертвое тело? А потом, как перебьют всех, вы что же будете делать? Приедете, конечно, к царю и скажете: «Погляди, государь, где твоя держава теперь? Нету тебе ничего, все чисто, одно гладкое поле!»

1916